

Анатолий Санжаровский
Что посмеешь, то и пожнёшь
Роман

Анатолий Никифорович Санжаровский

Что посмеешь, то и пожнёшь

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=68993566

SelfPub; 2023

Аннотация

Третий, заключительный роман трилогии «Мёртвым друзья не нужны», повествующей о раскуленной крестьянской семье. Приложение В.В. Путина: «Ленин заложил под Россию «атомную бомбу»».

Содержание

Глава первая	10
1	10
2	13
3	17
4	21
5	24
6	27
7	31
8	35
Глава вторая	45
1	45
2	52
3	57
4	60
5	92
6	103
7	113
Глава третья	117
1	117
2	123
3	131
4	134
5	139

6	142
7	145
8	152
9	158
10	170
11	178
Глава четвёртая	193
1	193
7	226
8	235
9	243
Глава пятая	251
1	251
2	260
3	266
4	277
5	282
Глава шестая	292
1	292
2	298
3	308
4	315
5	323
6	330
7	335
Глава седьмая	341

1	341
2	353
3	358
4	363
Глава восьмая	372
1	372
2	376
3	380
Глава девятая	390
1	390
2	396
3	402
4	407
5	414
6	424
7	429
Глава десятая	435
1	435
2	443
3	450
4	460
Глава одиннадцатая	468
1	468
2	477
3	483
4	492

Глава двенадцатая	497
1	497
2	504
3	511
4	516
5	519
6	525
7	530
Глава тринадцатая	539
1	539
2	546
3	551
4	559
5	564
6	566
7	570
8	577
Глава четырнадцатая	581
1	581
2	587
3	593
Глава пятнадцатая	596
1	596
2	601
3	605
4	609

5	613
6	617
7	629
8	645
9	649
Глава шестнадцатая	653
1	654
2	657
3	660
4	665
5	669
6	678
7	683
8	693
Глава семнадцатая	700
1	700
2	709
3	716
4	723
5	726
Глава восемнадцатая	732
1	733
2	739
3	743
4	751
5	761

6	778
7	781
Реквием по советам. Эпилог	788
1	789
2	843
3	890
Приложение	960

Анатолий Санжаровский

Что посмеешь, то и пожнёшь

*Советский век – это Варфоломеевская ночь,
растянувшаяся на семьдесят три года...¹*

Анатолий Санжаровский

¹ «Судьбу народа России исковеркал тоталитарный режим... В России дана ясная оценка злодеяниям тоталитарного режима, и она не будет меняться». (Из статьи В.В.Путина в польской газете «Gazeta Wyborcza» от 31 августа 2009 года.) Президент России Дмитрий Медведев заявил, что режим, который сложился в СССР, был тоталитарным. («Известия». 7 мая 2010.)

Глава первая

Придёт судьбина, не отгонит и дубина.

На звук пчела летит.

Русские пословицы

1

Возвращаемся мы с Шукшина² – в двери белеет записка.

И Валя, и я потянулись к ней разом, ещё с верхней ступеньки, как только завиделся бумажный уголок в чёрном дерматиने двери. Валя оказалась проворней, выдернула записку.

– Ну-ка, ну-ка, – принялась она не спеша разворачивать с весёлым хрустом сложенный вчетверо листок, поглядывая сбоку на меня, выжидательно следя, какое впечатление производит на меня то, что вот она, жена, наконец-то добралась до моих тайн. – Сейчас мы узнаем, что за гражданочки добиваются свиданий с тобой. Признавайся, неверный, дрожишь?

Ладясь не пережать, я в меру вздрогнул, конечно, со стра-

² **Шукшин** Василий Макарович (25.8.1929-2.10.1974) – писатель, кинорежиссёр, киноартист. Спектакль по его роману «Я пришёл дать вам волю» шёл в московском театре имени Е.Вахтангова.

хом на лице, мелко и виновато затряс головой.

Глаза у неё засмеялись.

– Ладно, на первый раз... – Она подала уже вдвое сложенный листок. – Пускай твои секреты, эти твои печки-лавочки, остаются при тебе.

– Не возражаю. Так поступают все образцовые жёны.

Я прочитал записку.

Эта тарабарская грамотка была от почтальонки.

– Надо, – киваю на дверь напротив, – взять в шестнадцатой заказное письмо.

– Да ты знаешь, сколько сейчас!? Выходили из метро в Измайлове – я нарочно смотрела! – одиннадцать было. На автобус не сели, пешком пошли... Под первым снегом... Пока до своего Зелёного... Да наверняка уже за полночьросло!

Я отомкнул свою дверь.

Не снимая пальто, не разуваясь, Валя радостно процокала по паркету к меркло освещённому с улицы окну.

Повернулась.

– Не зажигай. Скорее сюда! Ну!

На миг мне почудилось, что она летит. Одной рукой она звала-торопила меня к себе, другой показывала за окно.

– Ты только посмотри, что там! О-о-ой!.. Какой куделится сне-ег... Снегу-у-урка...

Я подошёл.

Она молча положила мне голову на плечо, не сводя полных восторга глаз с картины за окном, где всё было снег.

Стояла тихая, безветренная ночь.

Густой лохматый снег толсто мазал, одевал во всё белое размыто освещённый двор и всё во дворе: стоявшие к нам боком легковушки, детскую площадку с грибками и качелями, утыканые скворечниками дубы, березки, клёны. Дотянувшиеся под окном уже до четвёртого нашего этажа груши, плотно обсыпанные снегом, будто кто накинул на них величавые узоры, казались хрустальными.

– Заметь, – тихо заговорила Валя. – Ни в башне справа, ни в башне напротив, ни в хрущобке³ слева, ни в башне за ней – нигде ни огонёшка! Представляешь, кроме уличных фонарей никто не видит эту красоту. Сони-засони... Да я б за сон в такую ночь ну... штрафовала!.. Утром прoderут глаза и ну ахать. Первый снег! Первый снег! А как он шёл, не видели. Всё проспали.

В знак согласия я легонько пожал её локоть – лежал у меня в руке.

– А у нас даже бобинька видел, – почему-то печальным голосом добавила Валя, осторожно пуская доверчивые точёные пальцы в белую жестковатую шерсть на спине у косматого магазинного пуделя, – стоял под рукой на подоконнике лицом на волю. Уши, ноги и хвост у пуделя были коричневые.

³ **Хрущоба** – пятиэтажный блочный дом, построенный во времена Н. Хрущёва.

2

Этого пуделя Вале подарили.

В ту пору она ещё ходила в сад, и у неё помимо обычного имени Валя было ещё одно имя, весёлое, звонкое, – девочка Всеха.

Так Валу звали иногда домашние, потому что на каверзный, не без интрижки вопрос взрослых:

– Чья ты, девочка? Мамина или папина?

Валя отвечала каждый раз одинаково:

– Всеха.

Родители втайне дивились, козыряли мудрой, дипломатичной проницательностью хитрули, и, очарованные, заклёстнутые ею до сердца, горячо любили её.

Однажды в получку папа принёс этого космача пуделя с голубым бантом на шее.

Папа поставил пуделя на тумбочку, стал рядом, и девочка увидела, что у пуделя на шёлковой блёсткой ленточке была миниатюрная цветная соломенная корзиночка.

– Валёк-уголёк! – сказал папа. – А что сегодня было!.. Идём мы, – показал на пуделя, – с Найдой с работы лесом, нас догоняет зайка. Говорит: «Передайте, пожалуйста, гостинчик Вале». Ну-ка, девочка Всеха, посмотри, что тебе такое тут зайка передал? А?

Папа указал на корзиночку.

Девочка старательно приставила маленькую свою скамеечку к тумбочке-толстухе, в восторге выбрала из волшебной корзиночки конфеты и в благодарность поцеловала важного пуделя в чёрный пластмассовый нос шишкой.

На другой день Валя убежала из сада в обед.

Ей не терпелось поскорей получить новый зайкин гостинчик.

Девочка несчастно заплакала, когда увидела, что корзиночка пуста.

Вечером пришёл папа.

Смурная Валя сидела на скамеечке у тумбочки.

– А ты что, – спросила сквозь слёзы, – не той дорогой пошёл, раз не встретил зайку?

– Т-той, – потерялся папа.

– Тогда почему ж зайка ничего не передал мне? Я сколько сижу жду... Не несёт...

– Зайка осерчал, что ты ушла из сада раньше срока.

– А если я не стану заранее уходить, он будет передавать?

– Будет.

Отцу что! Сколько до её загса наносил зайкиных подарков? Отзвонил своё и с колокольни вон.

А я носи до последнего дня.

И – ношу.

Любное дело, охотное, само в душу вьётся: кого любишь, того сам даришь.

Не без моего содействия зайка расширил ассортимент своих звериных услуг.

К обязанностям вечного поставщика сладостей пришпилено и бремя доставалы всевозможных, а чаще невозможных билетов на редкие концерты, спектакли, выставки...

И конфетами, и билетами от века набита корзиночка. Заёка работает!

Можно немного подсыпать.

Я достаю из карманов свежих теплых конфет, в вахтанговском выстоял буфете.

– Эти, – поверх трюфелей кладу «Белочек», – выменял у белки за горсть орехов. А эти плиточки, – подбавляю «Мишек на севере», – выменял на мёд у самого у Топтыги...

Валя благодарно улыбается.

– А ты, – говорит она, – молодчик, что предложил от «Измайловского парка» идти пешком. И вправду, куда спешить? Завтра как-никак суббота, край недели. Ночь... Лес... Первый снег... Мы одни... Зиму я люблю. В детстве, бывало... Снега в заполярной могильной Воркуте... Наметёт – утром дверей не открыть. Прокапывали в снегу проходы. Как тоннели! Так интересно было в тех тоннелях играть. А то накидает поверх окон да морозец схватит – закрутит лукавый, во весь день с крыш на санках лётаешь. Бедная маманя не докричится к столу. Сначала зовёт мирно, а там уже и с грозой: иди, а то убью и есть не дам! А прибежишь вечером – счастьем вся светится, не знает, чем сперва и угостить...

Валя долго и благостно молчит, стоит слушает, как шуршат по стеклу снежинки.

3

Маятно, трудно уходит от неё её прошлое, но всё-таки уходит, и она, сморгнув грусть, с каким-то вызовом бросает:

– А знаешь, Должок, айдаюшки на улицу!

Ни на какую улицу мне не хочется почему-то, и я спрашиваю, лишь бы не промолчать:

– Нагуливать сон?

– Тебе бы только спать...

– Можно подумать, что ты не спишь.

– Яви божескую милость. Ну давай сходим к нашему пруду и...

– ... и поздравим его с первым снегом?

– А хотя бы! Лично я в этом не вижу особого криминала. Хорошо в окошко на снег смотреть. Да каково сейчас бедным уточкам в холодной воде? Как подумала – мурашки выбежали. Покормить бы...

Ласковое слово и ребро ломит.

Через силу я соглашаюсь кормить уток.

Это какое-то нашествие.

Все пруды в парках, меж домами до такой тесноты забиты дикими утками, что подчас воды в пруду не видать. Одна копошащаяся серая каша.

Ближе к холодам вывелась ряска, и подачкам прохожих крякуши рады.

Вале нравится кормить уток.

Оттого куда ни иди, она всегда оказывалась у воды, и у неё всегда находился в сумочке пакетик с кукурузой.

Она снимает яркую косынку и лёгкое долгое пальто в коричневую клеточку.

Прощай, осень...

Через минуту она в поношенном коротком пальтишке, отороченном розовым поблёклым мехом, поправляла на голове перед зеркалом свою обнову, кроличью шапку с чуть выдающимся над глазами лохматым козырьком.

– Всю жизнь мечтала занять мужскую шапку вот с таким маленьким козырёчком. Ну, как она на мне?

– Да нормально, наверное... Не давит, не валится. Чего ещё?

Поводя плечами, расправляя на руках слежалые синие перчатки, она вышла впереди меня из комнаты, медленно стала спускаться по лестнице.

Расшитые узорами накладные карманы у неё на пальто, полные под завязку кукурузы, тяжело топырились.

Какое-то время я машинально брёл следом. Но необъяснимо почему остановился, постоял на разных ступеньках – духом взлетел назад на свою площадку, налёг на звонок в шестнадцатую.

Валя сбила руку со звонка.

– Ты что, хазар?! По ночам названивать! Воистину, как говорит у нас одна в бухгалтерии, у людей дураки внатруску,

а у нас внабивку. Прежде чем звонить, подумал бы, что люди-то скажут?

– Люди ничего не скажут. Письмо – скажет!

– Не читал, а уже знаешь!

Она взяла у меня пластмассовый кукиш с колечком, на котором были нанизаны ключи, открыла дверь.

Зажгла свет.

– Что с тобой, Должок? На тебе лица нет.

– Что же вместо лица?

– Одна растерянность.

Растерянность? Пожалуй... Может быть... Сразу и ума не сведёшь...

Наверное, я ничего так на свете не боюсь, как своей интуиции.

...В глубокой молодости, когда я пробовал себя в журналистике, я защищал в газете одного парня, которого ни разу не видел.

Ни разу не видел, но – защищал.

Он был в предварительном заключении. Уже назначен был день суда. Против меня и того парня были следователь, районный прокурор. За меня и за того парня была лишь моя интуиция.

По рассказам его знакомых я сложил себе его суть, я поверил в его невиновность.

Дня за три до суда вышла моя статья.

Слушание отложили для более детального изучения дела.

Однако потом пришлось вовсе отпустить парня безо всякого суда.

С той поры я почувствовал силу своей интуиции, именно с той поры я верю своей интуиции.

Но сегодня я боюсь её...

4

– Говорит Москва. Доброе утро, товарищи. Третья программа Всесоюзного радио начинает свои передачи...

Правой рукой я осторожно потянулся к динамику, что стоял в углу на сине обшитом стуле, выключил.

Из лени мы не заводили подаренный тещей красный будильник. Он валялся в шкафу. Будил же нас в будни, в семь, оставленный с вечера невыключенным динамик. А в выходные дни и под выходные динамик мы всегда выключали.

Но сегодня как-никак суббота.

– Девушка Всеха! Ты зачем с ночи включила? Тебе куда-нибудь надо?

– Или у тебя выпало из ума? Субботник!

– В парке дорожки мести под наблюдением бдительной дворничихи?

– Не угадал. На сегодня нашу бюстгальтерскую сальдовую рать повысили. Доверили ухорашивать нашу новенькую станцию «Новогиреево». Конечно, не саму станцию. А рядом, у метро. Где мусор там убрать, где деревце посадить...

– Крутиться будешь?

– Обязательно!

Я встал, поставил бигуди на газ.

С сухим, с пронзительным треском от побежавших по карнизу колесиков растолкал в обе стороны оконного про-

стора по шёлковой голубой шторе с белыми гребешками волн, поднял жалюзи.

Мертвенно-бледный свет дня втёк в комнату.

На дворе не мело. Было как-то успокоенно-тихо.

За ночь везде на деревьях выросли царственно-великолепные узоры из снега. Белые высокие колпаки надели холодно-важные бельевые столбы.

– Ради Бога, покорми же скорей детей! – сонно скомандовала жена, указывая на балкон. – Раскричались, спать не дают!

В стеклянную дверь на балкон видно, как по перилам, по почтовому, с рваными сургучными печатями, ящику (он служил нам холодильником) скакали склочно галдевшие голодные воробьи. Эти шнырики жили у нас же на балконе под деревянным настилом, куда они набили для тепла Бог весть сколько сухих листьев, сена, пуха.

Я взял горсть подсолнухов – подсолнухами мама пересыпала посылки с яйцами, – но не выходил. Совсем не видимый этим разбойникам вслушивался в их шум. Наверное, они почуяли близкий завтрак и заволновались, засновали проворней, закипели, закричали как-то требовательней против прежнего.

Я вышел.

Отхлынув на ближнюю грушу у нас под окном, воробьи наблюдали, как я сыпал подсолнухи в пакет из-под молока с оконцем, на нитке свисавший с гвоздя в стене. Наблюдали

без шума, как-то чинно.

А что было шуметь? Уйду и кормитесь.

С соседней башни, откуда-то с двенадцатого этажа, широко пропел петух, славя утро.

Месяца уже с два как проявился этот горький московский соломенный вдовец.

Подружки его где-то в деревне и петь ему самому осталось лишь до первого семейного праздника.

Пел он яростно, пел, пожалуй, даже несколько озлоблённо, домогаясь услышать ответное пенье, но ни один петуший голос не отвечал ему, не подхватывал. Оттого задор и вызов в нём помалу слабели, тухли, и скоро с той же выси падали уже какие-то тоскующие, просительные крики, и прохожие, слыша их, как-то особенно виновато улыбались друг другу и опускали глаза – давила-таки тоска по своей Полтавке, по своей Вережке, по своей Киндельке. Стегала-таки боль по своей деревеньке, а такая деревенька жила в каждом: родился ли, рос ли, работал ли, отдыхал ли там.

Послушал-послушал я тревожное пенье и, вздохнув, вошёл в комнату.

Слившись калачиком, Валя всё ещё дремала.

У неё не один – оба глаза воровали.

– Девушка! Да ты не опоздаешь? Я думал, ты уже завилась... Чем тебя кормить?

– А чем не жалко.

Я поставил на газовую плиту кастрюльку с водой на любимые ею яйца в мешочек и понёс в туалетную комнату долго кипевшие бигуди.

Щербатой деревянной ложкой я вылавливал по одному из кастрюли эти пупырчатые пластмассовые чурочки и подавал ей.

Пока она, из-под локтя косясь в зеркало, накручивала на них прядки тёмных волос, я со сна пускался разглядывать наклеенные над зеркалом одна над одной календарные стенки: зимний березовый лес, ромашки на лугу и на самом верху, под потолком, по голому сосновому стволу взбирался медведь. Снизу на медведя удивлённо и с восторженным подобострастием пялился синий волк-судья со свистком на груди и в кедах. Волка я вырезал из подарочного плёночного пакета.

Моя берегиня⁴ завивалась очень уж медленно, без аппетита, поэтому все эти картинки я самым тщательным обра-

⁴ **Берегиня** – так древние славяне звали жену: она берегла огонь дома.

зом изучал каждое утро в течение шести лет и, насколько помнится, мне это ни разу не надоело.

Правда, иногда меня клонило в философию.

– И это, – говорил я, – каждый божий день!.. А нельзя ли... Раз хорошенечко закрутись и на весь год!

– Можно при условии, если ты раз хорошенечко поешь – и на весь год!

– Ты везде свои условия выставляешь.

– Только так. Лучше помоги. Мне неудобно, накрути на затылке. На две бигудёжки там осталось.

Я накручиваю всё на одну оранжевую болванку.

– Ну я же просила на две!

– Я ж не виноват, что всё уместилось на одной! – Я поднял глаза кверху: – Михайло Иваныч! Ну скажи хоть ты ей!

Кажется, медведь дрогнул и живе́й дёрнул вверх, а предусмотрительный волк насто́роже отпрянул.

После, покуда она ест, я в блеск начищаю её сапоги, достаю из обливного таза под диваном самое роскошное яблоко, долго мою сначала под горячей струёй, потом под холодной, вытираю, кладу в походную жуковую сумочку, похожую на парфюмерный магазинишко в миниатюре.

К яблоку добавляются два крупных кубинских мандарина, пакетик с соевыми конфетами «Кавказские» к предобеденному чаю; в кошелёк идёт рубли́вка на сам обед, два пятака на дорогу туда и обратно.

Подумав, я перекладываю монетки в карман с расшитыми розами. В толчее всё легче из кармана денежку достать, не то что из сумочки.

Хотя... Совсем из памяти вон...

Ей же никуда сегодня не ехать!

Метро рядом, через школу от нас. И чая не будет. Какой ещё чай на субботнике?

Напихал всего как в обычный будний день. Ну да ладно.

Вот, пожалуй, и всё. Собрал...

Жена мне кажется беспомощной восьмиклассницей. Каждое утро, чудится, я только для того и просыпаюсь, чтоб собрать её, дать последнее наставление, пока она завтракает.

– Валентина Нифонтовна, ты уж будь там похитрей на переходах. Опаздываешь не опаздываешь – не суй, пожалуйста, нос под колеса. Помнут!

– Увижу красивые колёса – суну! – Посмеивается без зла. – Ну не нуди, а? Хоть в субботу отдохни от своих лекций.

В прихожей я помогаю ей одеться, целую её в весёлую щёку, и она уходит.

Уже хорошо рассвело.

Я снова позвонил в шестнадцатую.

Открыл сынишка с ранцем за плечами.

Он бежал в школу.

– Миша! Мама или папа дома?

– Они ещё спят. И они совсем вам не нужны Вам нужно... – Мальчик наклонился за дверь, подал письмо. – Вот...

Письмо было из дома.

По мелким, друг на дружку падающим буквам на конверте я узнал братову руку.

Здравствуйте, дорогие Тоник, Валя!

Получили от вас два письма. Хотел и на второе не давать ответа, но мама настояла.

Причина нашего молчания – горькая правда, которую не хотели вам сообщать, а теперь придётся.

Если б вы знали, как нам сейчас трудно, но я-то лось здоровый, вынесу, дал бы Бог здоровья маме, а у мамы оно пошатнулось и очень сильно.

Бедная наша мама пластом пролежала три недели, да, три недели. У неё плохи дела с сердцем, сильные головные боли, а это, наверно, из-за того, что плохо работает сердце. Давление чуть-чуть пониженное, пульс был 92, это плохо, сейчас 80, лучше.

Было уже начала подниматься, есть понемногу

(сама сильно похудела, хотя и не была полной) и вдруг коварный неожиданный удар – воспаление легких (правая сторона).

Вот тут-то и началось самое мучительное. Это было 3-4 октября. В боку кололо, словно иголками, что ни вздох, то страдание, а не плачет, только охает.

Вызвал скорую, а сам начал её собирать. Поднял с кровати, начал ноги мыть в тазике, а она, бедная, не может сидеть, так ей уж плохо.

Мою я ей ноги, а у самого слёзы ливня сыплются в тазик. Взяла она меня за голову и говорит:

– Сынок, шо ты плачешь? Всё равно колы-нэбудь один раз плакаты...

Не знаю, к чему это она так сказала.

Собрались с горем и с божьей помощью, скорая отвезла в больницу на приём. Принял врач, прошла рентген.

Если бы вы знали, как мы добирались до дома. Лил дождь как из ковша, а мы (от больницы до нас, сами знаете, метров с двести) пешком 40 минут добирались, и что ни шаг, то страдания.

На скорой мама не хотела ехать, сказала, что ей лучше.

Дома налил кипятка в грелку и полулёжа на кровати мама заснула (лежать трудно). В больницу не положили, нет мест для нашего брата.

Через день пошёл за снимком.

Рентген показал воспаление правого лёгкого. Курс лечения с воспалением лёгких длится 21 день, если всё

будет хорошо.

Боли в боку немного обвяли, сникли. Стало легче, а воспалительный процесс продолжался.

Какое же лечение? Таблетки да капли! А надо бы назначить уколы, банки, да этого херакнутый терапевт Святцев не соизволил назначить.

Усилились головные боли, заболели руки и ноги, кружится голова, в глазах разноцветные круги, слабость (мама ест очень мало, ни мой Бог; всё есть, всего до воли, а аппетита – нету).

Сегодня – оно уже отошло во вчера – снова водил на приём.

Наконец-то положили (надо бы было показать её невропатологу, но невропатолога не было, в военкомате принимал допризывников), положили не в местную, не в районную больницу, нет мест, а в Ольшанку. Из Верхней Гнилуши, из райцентра – в глушь! Районная больница на задах у нашего огородчика, а вытолкали лечиться за 20 км от нас! Какой у нас старикам почётнице!

Возили на скорой, ездил и я.

Маме очень плохо, сильно уж болит голова. Жалко на неё смотреть, сердце аж вскипает. Что характерно – температура почти нормальная. Не знаю, чем все это кончится. Развязалась четвёртая неделя, а улучшения никакого.

Я остался один, круто приходится, всё на мне: и хозяйство, и работа, и дом. Не в масть мне всё это. Глаза б завязать да уйти...

Мама сказала:

– Напиши Антонику, хай прииде, як шо можно хочь на недильку. Тоби поможе та и я подывлюсь на його, а то бачишь, яка я важка⁵ та погана: года немолоди, всэ може буты.

Тоник, если можешь, приезжай хоть на недильку. Всё у нас есть, плохо одно, что постигло нас такое горе. Всё будет хорошо. Даст Бог, мама поправится.

Приезжай, Тоник. Ждём.

12 октября, 4 часа ночи.

Глебка.

⁵ **Важка** – тяжелобольная.

Маму определили в Ольшанку одиннадцатого.

В понедельник.

А днём раньше, в воскресенье вечером, мы с Валентинкой передвинули диван – стоял, как корабль, чуть ли не посредине комнаты – поближе к оконному свету. Передвинули, ну и передвинули, эго чудо.

Вместе с диваном пришлось на новое место перекинуть и валявшуюся под ним полотняную сумку со старыми сушёными грушами от мамы.

Встали мы в понедельник утром – белые толстые короткие черви у Валентинки на чёрном платье, что лежало на спинке кресла, на потолке, даже на входной двери.

Мне тогда суеверно подумалось, что это к худу.

И вот оно вошло?

Я смотрю на письмо, вижу: огромный нож бьёт меня по рукам, и отрубленные окровавленные кисти, судорожно сжимаемая в брызгах крови письмо, тихо, сторонне переворачиваясь, как в замедленной съёмке, летят в чёрную бездну.

Громовой хохот.

«И это смешно? Кому?»

«Мне».

Огляделся вокруг – никого вокруг кроме приплясывающего ножа величиной с дом.

«Это я говорю».

«Кто ты? Я не вижу тебя... Хоть назовись».

«Я – нож!»

Кажется, я что-то надевал, куда-то на чём-то ехал, ехал, ехал и всё никак не мог приехать. Я сидел у какого-то окна. Стекло холодило. Я смотрел в неё на метель – из свинцового матёрого буйства вытекала, бесконечно удлинняясь, широкая сталь беды. Вдруг этот нож проткнул облако – посыпался мелкий пух. Подбираясь, ужимаясь, облако истаяло, пропало. И тут же в мгновение нож с приплясом развалил дом, будто арбуз, на две половины, пройдя посередине комнат. Из жильцов кто-то уже встал, кто-то ещё лежал с открытыми глазами, сибаритствовал, пользуясь правом субботы. Разом все оцепенели на своих местах, с немым ужасом таращат глаза на то, как половинки расходились в противоположные стороны, всё быстрее удалялись, опрокидываясь и исчезая в белом мраке пурги...

«Зачем ты это сделал?»

Нож засмеялся:

«Но я могу и это!»

Игольчато-тонкое начало ножа посунулось из сумрака метели к маме.

«Не смей! Возьми лучше меня. Взял же руки – возьми всего! Только не трогай её...»

«Скорее... скорее... скорее...» – торопил я кого-то, пряча глаза в воротник, прикрывая лицо руками, но ещё явствен-

ней видел летящий нож уже у материнской груди...

Наконец вокзальная очередь придавила меня к окошку.

– Девушка! На ближайший до Воронежа... Один в общий...

– Сегодня ничего... Только завтра, вечер. Общих нет. Плацкартный?

– Ну-у...

– Ехать всю ночь. Постель берёте?

– Я – спать? Думаете...

– А я никогда не думаю.

– Нашли чем похвалиться... Вот... Деньги на билет...

В билете жила какая-то ясная, властная сила.

Пропали видения, утишилась во мне паника. Я почувствовал всего себя в сборе, твёрже.

За тот час, покуда тащился трамваем обратно с Казанского, я продумал всё, чем займусь до поезда.

Выставил на балкон две красные табуретки, заходилась доглаживать на них рубанком старые доски на книжный стеллаж под потолок на кухне.

Сначала кинулись мы было купить, но оказалось, что стеллажи не продают. Мы в мастерскую. Пожалуйста, заказывайте, восемьдесят рубчиков метр. Кусается стеллаж.

И потом.

Эту бандуру в прихожей не пропихнёшь, через хрущобный балкон если – четвёртый всё же этаж! – не вскинешь...

Сел я тогда на велик и покрутил за железнодорожную ветку в милое Кусково, откуда в предолимпийской суматохе распшикали жителей по всей Москве. Кусково срочно сносили.

Дом, где была там у меня на Рассветной аллее, 56, своя холостая восьмиметровая клетушка-пенал, ещё не снесли огнём.

Из пола наковырял на стояки, из сарайных перегородок нарвал на сами полки, перевёз на велике.

Загорелся сразу ладить, даже начал и тут же отложил. Командировка. А там... Сегодня – завтра, сегодня – завтра... Доманежил дальше некуда.

Пахнувшая старым жильём стружка наполовину забелила ножки у табуреток.

Отчаянный азарт водил рубанком. Разохотился, разошёлся я, да не в час позвал к себе звонок.

С глухой досадой пошёл я открывать.

8

– Ты уже вернулась? – спросил я сияющую Валентинку, принимаясь снова за доски.

– Как видишь...

Она стояла смотрела мою работу.

– Что-то быстро... Ты хоть дошла до «Новогиреева»? Или сбежала?

– Обижаешь доблестных труженичков. Обижаешь... Во-первых, уже вечереет. Для побега поздновато. А во-вторых, нас со спасибом отпустили. Мы ж вместо одного субботника целых два выдали!

– Любопытно...

– Набилось в метро народу нашего как мурашей-дурашей на кочке. Получили цэушку: те самые ёлочки, что у выхода мы сажали весной, аккуратненько выкапывать и на их место сажать клёны.

Ворочали все с задором, с огня рвали. Все поворачивались на одной ножке, только вот одна Гоголь, козырная принцесса, сидела как именинница. Веришь, и к лопате не при-тронулась. Недоперестаралась.

Подхожу раз – красится. Подхожу два – красится. Дело глухо. Как в танке. Я и говорю этой Оленьке: где твоя совесть?

– Представь, далеко отсюда!

– Ну что ж. Сейчас пришло тебе маляров, пускай они тебя раскрасят.

Девчонки грохнули. Зашушукались ухо на ухо, а слышно за угол:

– Не мешала б. У неё ж персональный субботник: генеральная раскраска личности.

– У нашей Лёлечки мигрень: краситься охота, а работать лень!

– Пускай красится. Она ж без грима вылитая бабка-ёшка. Пожалейте!

Ну что ж. В семье не без уroda, особенно если семья большая.

Постарались мы ударно. Задание своё так в час и вжали. Что делать? Разбежаться по домам? Как-то неудобно. Рано ещё.

А на метро я была за главную.

Звоню на овощную базу. Сергееву. На базе субботничала вторая партия с нашего «Агата», и Сергеев, общий генерал субботника, был там. Сергеев ко мне с мольбой: у нас полный завал, давай, сударушка, сюда срочно своих добровольцев.

Гоголь, Алексахина, Воробьёва, Чернова, Прянишникова отпали. Не поехали.

Ничего, в понедельник выпущу стенгазету. Одну статью напишу «Мо-лод-цы!» – это про тех, кто ездил. А не поехавших продёрну в статье «Позор!!!» Я им покажу, как надо

профсоюз уважать.

Ну, примчалось нас на базу человек сорок.

Пришёл бригадир:

– Десять человек на капусту!

Капуста во дворе. Да не одна. Со снегом!

Которые с хитрецей скромно жмутся назад. В тенёчек.

Прорезается второй бригадир:

– Десять человек на картошку!

Хитрюшки носа из тени не высовывают. Скромность совсем смяла. Стоят ждут, когда понадобятся кому для дел по-радостней.

Сергеев тут командует:

– Остальные к помидорьянам в цех номер три.

В цехе сухо. Тепло.

Достали соли. Перебираем.

Откуда-то выкруживает молодое дарование Витя Бажин. С арбузом под мышкой. Съели. Конечно, арбуз. Витя понадобился ещё. Притаранил винограду. Ягоды с палец. Я такой в магазинах не видала.

Акции наши росли. Нам доверили выгрузку дынь.

Открыли на рельсах вагон.

До метра высотой полно дынь! Сверху солома.

Я полезла в вагон.

С земли кричат:

– Ищи с густой сеткой трещинок! Ищи вкусную! Сейчас в машины будем грузить.

Нашла мягкую. Во рту тает.

Ох, сколь грузили! До одурения грузили!

До того, веришь, нагрузились, хоть домкратом подымай да лебедкой ссаживай с вагона.

Ну, выпорожнили мы вагон.

Второй нам открывать не стали. Иль побоялись, что и этот выпорожним в себя, или что там, но с огромными спасибоми еле выпроводили нас с базы.

Тянемся мы черепахами через проходную.

Дедан в каждую сумочку борзой глаз засылает. Ну прямо тебе агент глубокого внедрения!

Разодрал этот труп, завёрнутый в тулуп, двумя крюками-пальцами сумочку мою. Перечисляет:

– Помадулечка, конфетулечки, яблынько, мандаринчики... Сто-оп, машина!.. Я извиняюсь. Яблынько и мандаринчики попрошу на стол.

У меня пятки со стыда загорелись. Язык потерялся.

Стою не знаю, как и сказать.

Наконец вернулась я в себя.

– Да и яблоко, – говорю, – и мандарины муж дома положил...

– Фю-фю! Так я и дал тебе веру! Нонешний муж скорей сам цопнет, нежли положит. Муж! И чего криулить?.. Ещё ни одна холера не катывала со своим самоваром в Тулузу. По-вашему, в Тулу. Не знай, не ведаю, каковски это муж и чего тебе клал, а только я знаю, идёшь ты не от мужа, а с базы.

Выкладывай, милушенция! Выкладывай, покуда я не пустил дело в милицейский пляс. Ежли это твоё, так и прячь надёжку. Съела б... Там никто не увидит. А ежель я собственноглазно вижу – вы-кла-да-ай!

Дедуха тут замотал головой и выстрожел лицом.

– Да не стану я своё выкладывать!

– Выложишь! У нас на всякий горшок быстро сыщется крышка!.. Сейчас, – глянул он на телефон в проходной, – папку⁶ вызову! Это тебе не старший помощник младшего дворника!.. Хватит мне одного... Какое правое судие учинили! Даве мигнул Васька-электрик, а его под микитки и ко мне, тычут мне Васькин пропуск. Ты кого, шумят, пропустил? Кого ж, Ваську-электрика! А ты всмотришь в карточку. И близко так к самым к глазам приставляют. Мне и сам Васька так сблизка показывал, шептал, мол, внимательно, в оба смотри, дедуня. А я что, дверью прихлопнутый? Чего я буду на Ваську лупиться? Что, я за десять годов не нагледелся на этого облезлого кобеля? У Васьки просторная лысина, хоть блины пеки... Я даже отвернулся, когда Васька внагло совал мне свой пропуск, а тепере вгляделся... Э-э! Какого дал зевка. Сам себе всю панихиду испакостил. Вишь, чего контроль подсуропил? Наклеил Ваське в пропуск крокодилью портретность! На Ваську схоже. У Васьки зубьяки длиньше пальца. Наклеил, значит, и пустил Ваську через мой пост. А сам, контроль-то этот, со сторонки смотрит-прове-

⁶ Папка – милиционер.

ряет бдительность мою. Вот грехи тяжкие! Я так и сел на посмеих, умылся выговорешником... Милушка, – жалобно заговорил дедулька, – пожалей ты меня. Мы обое попали в такую крутость... Выпусти я тебя с нашим товарищем, мне и до пенсионарии не дадут дочихать три месяца, под фанфары заметут. Давай уговоримся... Ты сейчас оставляй своё. А приходи завтра. Я тебе не две мандаринки – полную сумочку накидаю из аннулированных фондов. Не будет аннулированных, сам в цех шатнусь, выпрошу, а дам. Только сейчас выкладывай. Христом-Богом прошу. Я ж не могу тебя пропустить. Я служу под тельвизором (я поискала глазами телекамеры, но не увидела), у меня начальство видит, как божий глаз, с чем я народ выпускаю. Ежли б мне видеть, видит ли оно меня сейчас... Ежли б знатки, что не видит, я б на радость своей душе выпустил бы тебя. А так... А ну вповторно промахнусь?.. Тогда у нашей завки⁷ правду, как у ежихи ног, не скоро допытаешься.

Мне и деда жалко, и себя не хочется топтать в грязь. Да отдай я мандарины с яблоком, значит, я сознаюсь, что взяла их на этом овощегноилище? Что тогда наши подумают обо мне?

Стою вся в растрёпанных чувствах... Ну, дед, навёл бузу...

Тут входит наш начдив Сергеев. Неувядаемый лбомж-

⁷ Завка – заведующая.

бруевич.⁸

Увидал его дед, заполошно как закричит, совсем разыгрались глаза у старого:

– Выкладывай! Не то хомутской⁹ шукну! Я тут приставлен строгость держать, а не антимоньки размазывать!

Сергеев, у этого в зубах не застрянет, вежливо так и спроси:

– Я прекрасно понимаю, что ум хорошо, два лучше, а три уж никуда и не годятся. Но тем не менее любопытно знать, об чём, папаша, шум? Какие новости в мире бдительности?

Дед объясняет.

Я стою. У самой по ведру слёз в каждом глазу.

Сергеев, святая душа, и говорит:

– Папаша! Вы кого заставили плакать? Да вы знаете, кто она? Да у вас не хватит пальцев на руке сосчитать! Зам главбуха – раз! – Сергеев начал загибать пальцы у деда на руке. – Молодая интересная жена – два. Вечерница – три. Уже на четвёртом курсе. Между прочим, второе высшее ударно куёт! По субботам институт с утра. Сегодня нарочно пропустила занятия. Припожаловала вот шпионерить у вас яблочко... Лучше б смотрели, что везут на машинах. А то роетесь в дамских сумочках... Профсоюзная шахиня – четыре. Наконец, заместитель начальника по субботнику, личный мой заместитель...

⁸ Лбомж – бруевич – верный ленинец.

⁹ Хомутская – отделение милиции.

– О-ло-ло, горелая я кочерёжка, – замялся дед, отступно закрывая и подавая мне мою сумочку. – На кого замахнулся... Сама шахиня! Покорно прошу прощения... Не разглядел... Да куда... Не в жилу... Несчастный неутыка! У меня ж одна извилина, и та след от фуражки...

– Вот такие сегодня у меня новостёхи! – заключила Валентина.

– Но это ещё не всё, – буркнул я, не отрываясь рубанком от доски. – Возьми письмо у Найды в корзиночке.

Скоро Валя вжалась на тесный балкон.

Она была белее снега.

– И после всего этого, – трясёт письмом, – наводишь глянец на своих досточках?

– А что?

– А то, что как минимум надо ехать за билетом на первый же поезд!

– Лежит твой минимум в той же корзиночке. Зайка подсуетился.

– Когда едешь?

– Завтра в двадцать два сорок.

– Поздновато. Но я всё равно провожу до поезда.

– Чтоб убедиться, что уехал?

– Ну, у тебя фирмовые солдатские шуточки!

– А без шуток если, как возвращаться одной в полночь? До трамвая проводишь и точка. Это завтра. А сейчас сходи

прогуляйся-ка по магазинам... Главное уже есть, – кивнул я в угол на рюкзак с пшеном.

– Но он же ничего не пишет про пшено!?

– Мама в больнице... До пшена ему? Да и... Или ты забыла? Хотя я один... хоть с тобой – разве был случай, чтоб мы приехали из Москвы в Гнилушу без пшена и без сухой колбасы? И между ежегодными летними гостевыми наездами разве не кидаем мы им посылки с тем же добром? А чуть заезаешься, летит слезница: «Деревня просит у Москвы... Как будете собираться к нам в гости, возьмите пшена да колбасы сколько сможете... Нас бы устроило скромное соотношение 20:5. А то и каши хочется, и цыплят кормить нечем...»

– Я не понимаю... Воронежский край – российская житница. Там всё выращивают. Везут в Москву. А мы из Москвы при на своих горбах туда же, в воронежскую деревню, их же пшено! Как Богов гостинчик! Как это получается в любимой стране?

– Так и получается, раз в любимой стране всё делается через назад. Там всё зерно выметают в поставку под метёлочку. Красивыми рапортами звенят. А как простым людям жить – кого это интересует?.. Крутись, как знаешь... На прошлой неделе нарвался на рассыпное пшено. Сору многовато, какое-то серое, но уж и то хорошо, что плесенью не воняет. Взял пуд... Надо ж слать. А тут не канителиться с посылками. Привезу. Тебе остаётся – посмотри сухой колбасы килограмма четыре да фруктов.

– Вообще-то груши у нас есть. Помнишь? Недели две назад брали на вылежку. Наверно, уже дошли...

Валентина приставила к гардеробу табуретку, взобралась на неё. Приподняла над верхом шкафа разостланную газету.

– Груши все пожелтели уже! Заберёшь все до одной. Посмотрю ещё яблок получше, винограду, гранатов. Только я что, одна пойду?

– Одна. Компании я тебе сегодня не составлю. Надо успеть дострогать все достоньки, сбить стояки, внести... Пока меня не будет, замазкой залепишь на досках ямки от старых гвоздей, вмятины и трижды покрасишь голубой.

– Голубой? Ну ты же говорил – красной!

– Да ну её, красную. И так стены в прихожей, в ванной, на кухне – везде красные. Ещё здесь не хватало. И потом смотри: обои, шторы, диван, кресло, стулья – всё голубое, всё один цвет, а вымажь стеллаж в красное, так и будешь на него натывать глазами, так и будет дразнить глаза. Да, не забыть бы! После магазина заверни мне туда красного корня, золотого корня, бадана, душицы. Да я мамушку одними спиридоновскими чаями подыму!

Глава вторая

*Ни печали без радости, ни радости без печали.
Чудеса в решете: дыр много, а выскочить некуда!*

1

Была глухая ночь.

Всё в вагоне спало, и лишь я один тупо пялился в законную чёрную кутерьму. Меня несло по краю, который я избегал в молодости вдоль и поперёк. Где-то совсем рядом лились мои вчерашние пути-дороги, свиваясь в один комок в Светодаре.

Светодар – столица моей любви, столица моей беды...

Как-то уж так выбегало, что я много раз приезжал в Светодар и всегда только ночью, в поздний час, как вот сегодня. И всякий раз летишь, летишь во тьме и вдруг натыкаешься, как сейчас, на неожиданно выскочившие вдалеке огни. Далекая переливчатая дуга огней обмазывает душу тревогой, долго маячит вдали, то отходит, отливается ещё дальше, то приближается, но вплотняжь не подходит к нашему скорому составу.

Первая остановка от Москвы дальних поездов...

Вагон наш остановился аккурат против того места, откуда

когда-то провожала меня Валя в командировку в Тбилиси.
Как это было давно...

С Верхней Волты, то есть с Верхней Волги, я слетел в Светодар, в областную молодёжку. Приехал именно этим поездом, именно в этот мёртвый час.

Ни ковров, ни музыки...

Ночь я дождал на вокзальной лавке.

А наутро поехал в редакцию.

С жильём было плохо, с деньгами ещё хуже и мне, чердачнику,¹⁰ великодушно разрешили ночевать на редакционном диване.

Перед концом рабочего дня я выбегал в ближайший магазин, брал, конечно, не торт «Я вас люблю, чего же боле?», брал простенькое, хлеба там, бутылку молока, ещё чего-нибудь наподобие дешёвенькой колбасы и скакал назад. А ну закрой уборщица редакцию на ключ, я и кукуй где придётся?

Но вот и уборщица угреблась в торжественном громе своего ведра и швабры.

Тихо, покойно. Я один на всю редакцию.

Полная отвязка!

Поешь...

Ну, а что дальше?

Дальше – тоска.

Раньше двенадцати не уснуть.

¹⁰ **Чердачник** – человек без определённого места жительства.

Чем прикажете заняться до этих двенадцати?

Я надумал купить верёвку. Один конец привяжу к батарее, а другой выкину вечером в окно во двор, спущусь со своего второго этажа. И гуляй на воле, как утка в пруду. Как надоест, приложусь к родимой верёвухе и поехал спатушки к себе нах хаузе.

С неделю мялся я у хозмага, но верёвку так и не купил. Ну, хорошо, рассудил я, стану я курсировать на своей верёвке вверх-вниз, вверх-вниз и надолго ль эта спектаклюха? А ну подметит кто? А ну за вора примут? Ещё отдупят да в сыроежкин дом¹¹ не потащат? И не загорится ли мне тогда сделать из моей верёвки себе петлю?

И верёвочная отпылала радость...

В сумерках я лежал на диване и тупо пялился на телефон на столе. Телефон – это что-то отдельное!

А что если перебибикнуться¹² с какой молодкой?

Я кинулся наугад накручивать какие попало номера.

Если мне отвечал мужчина или старая женщина, я умным голосом спрашивал:

– Это роно?

И быстро клал трубку.

Но если мне отвечал девичий голосок...

Я весь вечер проговорил с Валею, и в первый же вечер чуть её не потерял.

¹¹ Сыроежкин дом – милиция.

¹² Перебибикнуться – созвониться с кем-либо по телефону.

Время уже к двенадцати, её гонят в постель, и мы на грустных радостях расстались. Друг дружке поклялись в верности аж до завтрашнего вечера.

Пришёл новый вечер.

Я кинулся к телефону и обомлел.

Номер!

О Господи! У них Пномпень, а у нас Пеньпнём! Ну пенёк с ушками! Забыл у неё спросить её номер!

Вечера три подряд я до полуночи жарил раскалённый диск. Набирал, набирал, набирал – что наберётся. Попалась же мне раз Валентина! Неужели ей запрещено познакомиться мне ещё хоть единый разок? Только один-единый! Боженька! Шепни, пожалуйста, её номерок... Только один разик! Мне больше не надо...

Боженька как-то прохладно, безответственно отнёсся к моим мольбам...

Фа, фа!.. На Бога надейся, да сам колупай!

Теперь я с надеждой смотрел на свой указательный палец и умолял его:

– Золотунчик! Ну вспомни, милашечка, её родной номерок! Будь другом. Выручай! Ты же свой мне в досточку! Ну, набери ещё разок то, что ты уже набирал один раз! Помоги! А я тебя авансом поцелую...

Я поцеловал палец и, отвернувшись к стенке, набирал что набезит.

Я хорошо помнил, что в *тот* раз я вертелся недалеко.

Надёргивал всё единички да двойки. Они крайние на диске. Быстрее наберёшь заветные четыре цифирьки. Диск-то меньше крутежа!

И теперь, не глядя, я набирал крайнушки.

И выкружилось-таки в конце концов то, что нужно!

И как только я услышал в трубке её безнадёжно-испуганное «Алло?!», мы одновременно закричали в панике друг другу:

– Номер!.. Какой твой номер!?..

– Двадцать один – двадцать! – торопливо прокричала она, будто боялась в следующий миг забыть его, потерять. – Двадцать один – двадцать!.. Двадцать один – двадцать, Тони!..

– Двадцать один – двадцать! – для надёжности повторил и я. – Номер нашего Счастья!

Оказывается, все эти три вечера она тоже набирала наугад мой номер.

Как мы обрадовались, что снова нашли друг дружку!

И прежде всего мы теперь позаписывали телефоны куда понадёжней. Уж теперь никакая глупь нас не разольёт!

Каждый вечер мы болтали до самой крайней минуты, где-то до полуночи, когда кто-нибудь из её родителей, выпрыгивая уже из себя, кидал в гнев руку на рычажок.

Ушла неделя, отошла вторая, слилась третья.

Что дальше?

Не век же триндеть по телефону. Надо ж когда-то и выходить на встречу.

Вот встречи каждый из нас и боялся.

По телефону мы сотню раз объяснились в любви. Что телефон... Телефон стерпит всё. А вот встретиться... Тогда что будет? А вдруг вживе мы не придёмся друг другу ко двору?

Между прочим, взаимное неприятие – идеальный исход. Ну, поплакались друг дружке при встрече в жилетки и на извинительном вздохе распались на атомы.

А вот будет чувал обиды, если кто-то из нас не понравится.

И я видел себя именно тем, кто не понравится, и потому не спешил назначать свидание. Уж лучше амурничать по телефону, чем лить слёзы наяву.

Мне кажется, она тоже так думала о себе.

Но однажды Валя переломила себя и бросила с вызовом:

– Тони! А давай завтра встретимся на пять секунд!

– Не слишком ли долгой будет эта наша первая встреча?

– Не слишком.

– Ты боишься, что мы дольше не вынесем друг друга?

– За нас с тобой я не боюсь. А вот за троллейбус, за нашу двушку, я честно боюсь. Дольше она нас не вынесет.

– А при чём тут двушка?

– На ней мы завтра с папайей поедem в театр. И мимо твоей редакции тролесбос этот сарай на привязи удет тащиться не больше пяти секунд.

– Бабушка-затворенка! Это что ж за встреча? Я что, должен на ходу влететь в твою двушку?

– Не надо никуда влетать. Спектакль начинается в семь. С шести до шести с половиной стой у окна на улицу. В это время мы проедем мимо.

– Но как я тебя узнаю?

– Я помашу тебе ручкой. Сяду в троллейбусе у самого окна и помашу!

– А что за спектакль завтра дают?

– «Три стана изо льда».¹³

– Не поморозят вас там?

– А мы потеплейше оденемся!

¹³ «Тристана и Изольда» – опера Р. Вагнера «Тристан и Изольда».

2

Было без четверти шесть.

С колотящимся сердцем я подошёл на ватных ногах к окну и больше не сдвинулся с места.

Ровно в шесть (часы были у меня на левой руке) я выструнился, поднял руку к виску. Служу Его Величеству Любви!

К шести обычно редакция вымирала.

А тут как назло нет-нет да и прошлёпает мимо какой запоздалец.

Как только до меня доносило чьи-то шаги, я, не отымая глаз от улицы, начинал сосредоточенно чесать висок, будто пыжился вспомнить что-то важное и никак не мог. Человек проходил, и пальцы у виска снова строго вытягивались в струнку.

Одного ушедшего ходака я не заметил.

Ответсек (ответственный секретарь редакции) рябой Васюган ходил бесшумно. Я не слышал, как он подошёл и озабоченно заглянул мне в лицо.

– У тебя всё хорошо? – спросил он.

– Сверххорошо!

– А кому ты честь отдаёшь в окно?

– Троллейбусам, – честно признался я.

– Всем?

– Всем, всем. Чтоб не обижались.

– Ну-ну... – сочувствующе хмыкнул он. – Отдавай, отдавай... Раз завелось что отдавать...

Он покачал головой и пошлёпал вниз по ступенькам.

Тротуар у редакции узкий, всего шага три, и троллейбусы скреблись почти у самого дома, так что со своего второго этажа я мог видеть лишь плечи сидящих у окон.

Чуть не выдавливая стекло, я добросовестно пялился на троллейбусы, но что-то похожее на взмах руки я так и не увидел.

Было уже семь пять, когда я покинул свой боевой пост.

На следующий день она сама позвонила мне раньше обычного. Ещё даже из отдела не все ушли.

– Ну, как вчерашние смотрины?! – радостно спросила она.

Мне не хотелось, чтоб посторонние о чём-то догадались, и я с занудным равнодушием ответил:

– Нормальный откат.¹⁴

– Там кто-то ещё пасётся?

– Ты права...

– И как тебе боевой смотр? Я не ошиблась в тебе. Тонинька, ты мне понравился на большой! А я тебе?

– Тоже... Не на маленький...

Наконец я остался в отделе один и легко вздохнул:

– Все отбыли в сторону домашнего фронта. Я могу спокойно говорить.

– Так говори! Не молчи!.. Чего молчишь? Я люблю тебя!

¹⁴ **Нормальный откат** – всё нормально.

Ради тебя я готова на всё!

– На всё? На всё?

– На всё! На всё! На всё!

– На всё? На всё? На всё? На всё?

– На всё! На всё! На всё! На всё! На всё!

– На всё? На всё? На всё? На всё? На всё? На всё?

– На всё! На всё! На всё! На всё! На всё! На всё! На всё!

– На всё? На всё? На всё? На всё? На всё? На всё? На всё?..

А на что – на всё?

– Ну... На всё!!! Хочешь, завтра приду к тебе на первое свидание Евой?

– Это как Евой?

– Безо всяких постромков и попон там... Голенькой...

– Это-то при пятнадцати мороза?

– Трублема!¹⁵ А хоть при тридцати и ниже!

– Не вериссимо!

– Не веришь? А напрасно. Я смельчуга! У нас в выпускном все девчонки отважные. Классок подобрался... Ух! Девульки-бой! Уже который день долдонят точке, точке, запятой,¹⁶ что родительный падеж – глупый выскочка. Не на своём месте! Он должен скромно идти вслед за дательным, а не скакать попереди него!.. Все наши девчонки подписали воззвание «Кончим среднюю школу недевчушками!»

¹⁵ Трублема – проблема.

¹⁶ Точка, точка, запятая – учительница русского языка.

– А кем же? Мальчишками? Непонятка¹⁷...

– Да ну тебя!.. Трус!

– А ты подписала?

– Я же сказала – *все!* Ну, так спорим?

– Спорим!

– А на что спорим?

– На поцелуй. Если я прихожу в шапке, в пальто и в сапогах и больше ничего на мне нет – выиграла я. Я и целую. Но если кроме шапки, сапог и пальтеца будет на мне хоть ещё одна финтифлюшка – выигрыш твой. Целуешь ты меня!

– Хоть так поцелуй. Хоть так поцелуй. Ладно. Согласен. Но одно условие. Целоваться врасос, по-брежневски, не будем.

– А почему такие ограничения? – загапризничала она в кокетстве. – По-че-му такие строгости?

– А потому, что я не Бровеносец в потёмках,¹⁸ а ты не Ясирка Арафат. На первом свидании всё должно быть скромно, сдержанно. Как на приёме в Кремле. Один деловой, протокольный поцелуй, и разъезд по зимним квартирам.

– Но сначала надо съехаться.

– Завтра и съедемся, съездюки!

– Нет! Сегодня! Сейчас!.. Я только у папайи отпрошусь...

О-о! Он вчера был молодцом в театре. Нарядный. Торже-

¹⁷ **Непонятка** – загадочное явление.

¹⁸ **Бровеносец в потёмках** – Л.И.Брежнев.

ственный. Будто жених при мне...

Мы встретились на автобусной остановке.

Я увидел её и сделал всё, что мог. Онемел от изумления. Меня облило счастье. Она была так хороша собой, что какие самые красивые слова ни скажи про неё – всё серо, уныло, мертво.

– Это я, Тони, – сказала она.

– Вижу. Но где же Ева?

– При тебе.

Она коротко отпахнула верх пальто, и мне озоровато улыбнулось литое ядро высокой груди. Здравствуй!

– Ты извини, что я тебе не поверил... – пробормотал я. – Я думал, ты шутила... Давай назад в автобус! Я провожу тебя до дома.

– Меня папайя не поймёт. Удивится, чего так быстро отпала я от своей неразлучницы Милки Благодравовой... Знаешь, какую я отколола мулю? Положила к себе в сумочку «Обществоведение» и сказала отцу, что иду к Милке за этим своим учебником. А когда приду, важно покажу ему этот учебник. Мол, я тебя никогда не обманываю. Ходила за учебником, вот и принесла... Можешь полюбоваться... А Милка живёт у нас же в доме через три подъезда. Когда-то я училась с нею в одном классе. По болезни я брала годовой академический отпуск. Побывала в академичках... Милка

в прошлом мае пришила школенцию. Теперь секретарит в обкоме комсомола у самого у первого! У Конского! Отец удивился. «Зачем ей твой учебник?» – «А захотела что-то там освежить в памяти. Так... Для расширения парткругозора... Почитать захотела что-то там по спиду». – «Че-го?» – «Ты, па, сильно не пугайся. Это не какая там подпольная литература... Спид расшифровывается очень простенько. А именно: Социально-Политическая История Двадцатого (века). Толечко и всего». Он знает, от Милки я быстро не уйду. А как я через полчаса нарисуюсь дома? Меня не поймут. Давай, Анчик, погуляем. Хоть поцелуемся для закрепления знакомства...

Было уже очень поздно, когда я проводил Валентину до дома.

– А как же ты, Тони? – всполошилась она. – В редакции дверь заперта!

– Надо покупать верёвку...

– Собрался вешаться после первой же встречи со мной? Разочаровался?

– Очумел от счастья! Куплю верёвку. Один конец привяжу к батарее, другой кину в окно, что выходит во двор. И спокойно по той верёвочке буду забираться к себе на ночёвку в редакцию. От тебя и на верёвочку...

– А сейчас как?

– Воробей стреху найдёт.

Ночь я перекружил на вокзале.

А утром по пути в редакцию таки купил себе верёвку.

Мы встречались в день по два раза.

Утром чем свет я вскакивал и летел к Вале под окно.

В телефонной будке набирал её номер. И как только раздавался у неё звонок, вешал трубку.

Через мгновение она подбегала к окну, отталкивала в сторону занавеску. Жди! Лечу!

Ещё со ступенек она на бегу бросала мне портфель.

Я ловил его, встречно распахивал руки, и мы, обнявшись, замирали в бесконечном поцелуе.

Потом мы шли в школу.

Я был почётным портфеленосцем при ней.

За квартал до школы мы расставались и снова встречались в этот же день вечером.

Святое время, божьи дни...

Мы убредали в Берёзовую рощу и что там вытворяли – не всякое перо осмелится описать. Мы боролись в снегу. Гарцевали, как полоумники, друг на дружке...

За все те лихости я расплатился отмороженным ухом.

И не жалею. Есть же про запас второе!

4

В редакции я вроде прижился и меня откомандировали на месяц в Тбилиси, в «Молодёжь Грузии». Эта газета раньше называлась «Молодой сталинец», где я опубликовал первые свои заметки.

Тогда было в моде крепить дружбу областных русских газет с газетами союзных республик. Обменивались опытом.

Пришла разрядка отправить одного опытного журналиста в «Молодёжь Грузии». Редактор и ткни в меня худым пальчиком:

– Ты из тех краёв... Шпрехаешь по-грузински... Ты и вези им наш опыт.

С восторгом летел я в Тбилиси.

В воображении рисовались картины одна занимательней другой. Вот я приземляюсь в Тбилиси и сразу прямым намётом к главному редактору, к Кинкладзе, к тому самому Кинкладзе...

Мои заметки безбожно кромсали в тбилисской редакции, и я попросил его, чтоб этого не делали. Так он лихо оскорбился и надолбал кляузы в райком комсомола и директору школы, требовал, чтоб меня, одиннадцатиклассца, потрудились срочно подвоспитать в комдухе, иначе из такого строп-

тивца никогда не получится журналист.

Вот Фомка неверующий!

Не прошло и века, а я уже давно профессиональный газетчик.

Прилетаю вот к этому Кинккладзе и – нате из-под кровати!

Но... Кинккладзе в редакции уже не было.

Под большим секретом мне сообщили, что Кинккладзе ушёл куда-то в архивысокие тёмные верхи и в какие именно – лучше не спрашивай.

Будем делать как лучше.

Я съездил в командировку в свои Насакиралики. Привёз кучу материалов и не спеша отписывался.

И светлой отдушинкой во весь этот грузинский месяцок-цок были мне письма Валентины.

Мы писали друг другу не каждый ли день.

Первое своё письмо я вложил в коробку из-под обуви. Это вовсе не значило, что письмо было такое большое. Просто коробку я забил мимозой и нежными первыми фиалками, собирал у себя в Насакирали на придорожных бугорках под ёлками.

Скоро самолёт привёз мне ответную родную весточку.

Валя писала, что цветы ей очень понравились. Понравились и маме и она упрекнула отца, что не посылал ей ранние цветы.

И в конце было

Люблю¹⁰⁰⁰ x Люблю¹⁰⁰⁰ x Люблю¹⁰⁰⁰

Что я мог ответить на её волшебное письмо?

Все слова казались мне деревянными, и не было тех слов, которые бы мне надо вложить в ответное письмо, и я не нашёл ничего лучшего, как отправил ей лишь один прасоловский¹⁹ стих.

Ты вернула мне наивность.
Погляди – над головой
Жаворонок сердце вынес
В светлый холод ветровой.
Расколдованная песня!
Вновь я с травами расту,
И по нити по отвесной
Думы всходят в высоту.

Дольним гулом, цветом ранним,
Закачавшимся вдали,
Сколько раз ещё воспрянем
С первым маревом земли!

Огневое, молодое
Звонко выплеснул восток.

¹⁹ **Алексей Прасолов** (13 октября 1930 – 2 февраля 1972) – известный воронежский поэт.

Как он бьётся под ладонью –
Жавороночий восторг!

За мытарства, за разлуки
Навсегда мне суждены
Два луча – девичьи руки –
Над становищем весны.

Второе её письмо начиналось сердито:

Тов. Д!

Хочу довести до вашего сведения, что буквы вашего письма похотели на закорючки.

В первом классе ты, наверное, был дружишкой?

А я была отщипница,
у меня почерк хороший.

Знаешь, Тони, что я
придумала. Давай
десятого вечером в 11
часов ~~будем~~ будем смотреть

на фильм...

попытайся увидеть
меня.

Хочешь я тебе поцелую?
А может ты хочешь
не один раз?

Когда ты придешь,
мы будем всё время
целоваться. И пусть
все завидуют!

Помнишь, ты хотел,
чтобы я сказала
тебе тысячу раз люблю?

А я была ~~в~~ жадная
и сказала всего 50.

Люблю. Люблю. Люблю. Люблю.
Люблю Люблю. Люблю. Люблю.
Люблю Люблю. Люблю. Люблю.
Люблю. Люблю. Люблю. Люблю.
Люблю. Люблю. Люблю. Люблю.
Люблю. Люблю. Люблю. Люблю.
Люблю Люблю Люблю Люблю.
Люблю. Люблю. Люблю. Люблю.
Люблю. Люблю Люблю Люблю.
Люблю. Люблю Люблю Люблю.
Люблю. Люблю. Люблю. Люблю.
Люблю. Люблю. Люблю. Люблю.
Люблю. Люблю. Люблю. Люблю.
Люблю. Люблю. Люблю. Люблю.
Люблю Люблю Люблю Люблю.
Люблю. Люблю. Люблю. Люблю.
Люблю. Люблю Люблю Люблю.
Люблю. Люблю Люблю Люблю.
Люблю Люблю Люблю Люблю.

Люблю. Люблю. Люблю.
Люблю. Люблю. Люблю.
Люблю. Люблю. Люблю.
Люблю. Люблю. Люблю.
Люблю. Люблю. Люблю.
Люблю. Люблю. Люблю.
Люблю. Люблю. Люблю.
Люблю. Люблю. Очень люблю.

В пятницу пишу я
Б

Здравствуй, Тони!

Твои цветы совсем не
увяли. Они даже стояли
у меня на столе, а
потом я поместил
их в книгу. Эту книгу
я всегда беру с собой
в школу. Твои цветы
даже сейчас очень хорошо
пахнут.

Заметка с фонариком
произвела впечатление на
людей. Она даже похвалила
от зависти, а я задрама
ное и...

Она шовкала.

Сейчас в всё время
протопчу в школе Тетовичи

в школе вечер. Мне

поручено рисовать оленей

и матрёшек. Оленей

получаются очень красивые,

а тебе обязательно такого

нарисую. А все матрёшки

похожи на одну мою

одноклассницу. Все так

и зовут Юлики Евтими

Когда я могушь спать,

я всегда думаю о тебе,

и когда проясняется твоей

думают. Мне очень хочется,

хотела

отпускала одного. Я
опять напишу тебе
100 раз люблю.

Люблю Люблю. Люблю Люблю
Люблю Люблю Люблю Люблю
Люблю Люблю. Люблю. Люблю.
Люблю. Люблю. Люблю Люблю
Люблю. Люблю. Люблю Люблю.
Люблю Люблю Люблю Люблю.
Люблю. Люблю. Люблю. Люблю.
Люблю. Люблю. Люблю. Люблю
Люблю. Люблю Люблю Люблю
Люблю. Люблю. Люблю. Люблю
Люблю Люблю Люблю Люблю
Люблю. Люблю. Люблю. Люблю.
Люблю Люблю Люблю Люблю

Люблю Люблю. Люблю Люблю
Люблю Люблю. Люблю Люблю.
Люблю. Люблю. Люблю Люблю.
Люблю. Люблю. Люблю Люблю.
Люблю Люблю. Люблю Люблю.
Люблю Люблю. Люблю Люблю.
Люблю Люблю. Люблю Люблю.
Люблю Люблю. Люблю Люблю.
Люблю Люблю. Люблю Люблю.
Люблю Люблю. Люблю Люблю.
Люблю Люблю. Люблю Люблю.

Почти, когда ты приходишь?
До свидания.
Твоя Вера.

Здравствуй Томинка!

Милый мой, у меня
всё хорошо. Жду тебя.
Смотрю каждый день
"Комсомольскую правду",
но пока ничего не
увидела.

Когда ты приедешь,
я поцелую тебя столько
раз сколько написала
люблю. Только не
приезжай в субботу,
я уеду в Москву.

3 дня совсем коротко.
4 дня твои совсем кро-
во мне и 4 мои к тебе.

она была как-то
тебе от неё. Я как
сейчас приехали бабушка
и дедушка с Украины.
Всё время провожу
в их обществе.

Я написала тебе
145 слов, осталось
605. Это почти.

Люблю. Люблю. Люблю.
Люблю. Люблю. Люблю.
Люблю. Люблю. Люблю.

Люблю. Люблю. Люблю.

Люблю. Люблю. Люблю.

Люблю. Люблю. Люблю.

Люблю. Люблю. Люблю.

Люблю. Люблю. Люблю.

Люблю. Люблю. Люблю.

Люблю. Люблю. Люблю.

Люблю. Люблю. Люблю.

Люблю. Люблю. Люблю.

Люблю. Люблю. Люблю.

Люблю. Люблю. Люблю.

Люблю. Люблю. Люблю.

Люблю. Люблю. Люблю.

Здравствуй, Гюльи!

Может быть ты не получила
моего письма и написала мне
в школу, но я тебе писала.

Я отправляла своё письмо

21-го. И писала я, конечно,
не на букву.

Если ты его не получила,
я не виновата.

В школу мне больше не
пишут. В школе цензура
нашего строжайше, как дома.

Письмо я получила уже франкоязычными,
правда, извинялись и говорили, что
они его не дали ни французам и
франкоязычными совершенно случайно.

Дома мои письма случайно
не раскрывают. Писать "люблю"
еще не умею, но тебе не боюсь

До свидания.
Люблю 1000 раз,
целую 1000.
Твоя Валя.

Итого... Кто как ни считай, а я в миллион не впихну!
А кто с миллионом беден?
Но ставки мои росли.
И в следующем письме они выросли.
Уже ни в какие миллиарды не согнать...

Здравствуй Маша!

Я тебе люблю.

$$\left[\left(\text{люблю}^{1000} \right)^{100} \right]^{1000} =$$

$$= \text{люблю}^{1000000000}$$

Все её письма я пачкой носил с собой и зачастую перечитывал все подряд по несколько раз на день. И было такое чувство, что я только что получил одно такое длинное, бесконечное письмо.

И хотелось, чтоб все её письма состояли из одного Великого Слова, прилежно написанного в бесконечные столбики.

Люблю в миллиардной степени...

Как было при таких письмах отсиживаться где-то в Тбилиси?

Я подсчитал, сколько секунд оставалось до встречи, и временами принимался вслух считать эти тягостные, бесконечно долгие секунды.

В самолёте моё место было где-то в хвосте. Я поменял его на место в самом начале салона. Разве, сидя в первом ряду, я не быстрее доскачу?

Начинало едва светать, когда я доскрёбся до Светодара.

Звонок.

Поцелуй с пылу с жару.

Теперь можно и в школу.

– Ты знаешь, – сказала она, отдавая мне портфель, – твои цветы совсем не увяли. Они долго стояли у меня на столе. А потом я положила их в книгу. Эту книгу я всегда ношу с собой в школу. Твои цветы даже сухие очень хорошо пахнут.

– Ты мне всё это писала... Эта книга и сейчас у тебя в портфеле.

– Да! А как ты узнал? Ты ж не открывал портфель!

– А зачем его открывать, когда мой нос со мной! – Я торжественно поднял портфель. – И сквозь его кожу слышу в нём милые запахи насакиральских фиалок!

– Мой Тонини не журналист. Целая собачища Баскервилей!

– Не перехваливай. А то зазнаюсь.

– А вот это лишнее. Да-а... Выскочила такая вспоминалка... Получай отоварку! Ты зачем прислал мне на школу одно письмо? На будущее знай. В школу мне больше не пиши. Цензура! Распечатали... Говорят, совершенно случайно. Мои родаки²⁰... Дома мои письма случайно не раскрывают. Писать сто раз *люблю* в тот день я тебе не стала. Я пишу на

²⁰ **Родаки** – родители.

уроках, и любопытные без конца пихают носы в мою писанину...

– Помню, хорошо помню все твои послания. Чем ты занималась, пока меня здесь не было?

– Во-первых, я ждала тебя. И во-вторых. И в-третьих. А так... Всё время толклась в школе. Готовим очередной гульбарий.²¹ Я рисовала оленей и матрёшек... Все матрёшки похожи на одну мою заторможенную соклашку. Их так и зовут: Нины Евтеевы... За весь месяц тут только и радости, что твоя новая заметка с фонарями. Заметка с фонарями произвела впечатление на Любу. Она даже позеленела от зависти. А я задрала носенко и сказала с притопом: «Мой Тонинька лучше всех!» Люба не стала хвалить своего Толю. Она молчала. Молчала, молчала и ну спрашивать, для чего нужны эти фонарики.

– И ты объяснила?

– Конечно! Буквы-фонарики высотой в две-три строки ставят в начале абзаца и отбивают ими один кусок текста от другого. Правильно я ответила?

– Почти.

– Её удивило и напугало то, что ты выбрал в фонарики четыре буквы, которые, если прочитать их по ходу текста, сбегались в моё имя. В следующий раз напиши такую большую статью, чтоб в ней хватило фонариков на целую фразу «Валя, я люблю тебя!» Тогда Люба помрёт от зависти.

²¹ Гульбарий – вечер.

– К чему такие потери? Однако заказ я принимаю.

– Когда прорисуется в газете статья?

– Точно пока не знаю. Это пока маленький для тебя сюрприз.

– А я вот отправила тебе в редакцию боль-шо-ой сюрприз!

Чего мелочиться?

Я насторожился:

– Что за сюрп...

Она закрыла мне рот поцелуем.

Поцелуй длился так долго, что я ткнул портфель её между нашими ногами и поплотней прижал её к себе.

– Это что ещё за пионерские страсти на утренней звериной тропе!?²² – вдруг услышал я скрипучий знакомый голос.

Оборачиваюсь – Васюган! Наш ответственный секретарь редакции.

– Здравсьте... – в растерянности бормотнул я.

– Своё здравсьте отдай Насте... Пора бы и повзрослеть.

Васюган хмыкнул, крутнув головой, и резво пришпорил от нас.

– Кто этот рябенький рябчик? – спросила Валентина.

– Наш ответсек Васюган.

– Да нет. Как редактор газету подписывает уже не Ухов, а этот твой Васюган! Страхи какие... Васюган – столица русского холода!

– Ты слегка путаешь. По холоду даёт всем фору Верхо-

²² Звериная тропа – дорога в школу.

янск. А Васюган там уже на прилепушке. Васюганские болота (больше Швейцарии) – одно из самых крупных в мире. Вот чем опасен твой Васюган. Болота засасывают, губят людей... Ни фиги себе! Отлучился всего на месяцок – планеты посрывались со своих орбит! Уезжал – был редактором толкующий пан Ухов по прозвищу Ух! Приехал – новый редактор! Я до редакции ещё не дошёл, а новости повалились одна круче другой. Тот-то его знает, что будет в редакции?!

Первой встретилась мне в коридоре машинисточка Тоня Хорькова, колобок-полнушечка, сама доброта, и, приложив палец к губам, велела следовать за нею в машбюро.

– Приготовься! – прошептала она, закрывая за собой плотно дверь. – Надвигается всепланетный капитальный головомон. Сечь тебя будут!

– За что?

– За всё хорошее! Ухова в редакции больше нет. В его креслице впрыгнул Васюган. Сейчас лично бегают по кабинетам и скликают народ на общее собрание в девять тридцать. Ты, может, уйди и вернись к обеду. Мол, из командировки только. Чудок задержался.

– Да нет. Не собираюсь я задерживаться.

– И напрасно. Только почтальонка пронеслась, кинула газеты. При мне Васюган выдернул из стопки «Комсомолку», разворачивает и в полуобмороке бледнеет эта рябая жаба.

Лупится в газету, качает головой и приговаривает: «Ну гадёныш!.. Ну и гадёныш!!.. Вот так полносхемный гадё-

ныш!!!» Я посмотрела в газету, в то место, куда он пялился и увидела: полполосы на первой странице – твоя статья-ра! Я ж тебе её печатала. Распрекрасно помню. Этот пендюк²³ её забраковал, плохо-де для областной молодёжки. А вышло – всесоюзной «Комсомолочке» самый раз! «Комсомолочка» тебя сегодня дала. Чуть ли не на полполосищи! А Васюган уж даст тебе на собрании... Гуляш по почкам, отбивные по рёбрам!²⁴ Ну мужлака! По пояс деревянный!.. Да слиняй часа на три. Этот самоплюй, может, и утишится...

– А мне самому в интерес посмотреть на него в таковецкий моментарий при всём честном народушке! – ералашно запустил я и стриганул к себе в отдел.

Наконец-то «Комсомолка» дала!

Это главное.

А что Васюган мне споёт? Это меня не колышет.

Всё-таки разве я не доказал ему теперь, что могу писать?

С первых дней Васюган не встерпел меня. Всё гнал на обочинку, всё кромсал, а то и вовсе насмерть рубил мои материалы. Я молчал, молчал...

И однажды после очередной зарубки позвонил в «Комсомолку». Сказал, вот на такую-то тему есть приличная статья. Не нужна ли? Нужна, говорят. Сейчас переключим на стенографистку и диктуйте.

Я и продиктуй. Это несложно.

²³ Пендюк – надменный человек.

²⁴ Гуляш по почкам, отбивные по рёбрам – побои.

Вот и дали.

Но всё же, что-то теперь запоёт пенсяр²⁵ Васюган?

Но лично мне пока не до песен.

Я дунул в ближайший киоск и угрёб всю «Комсомолку» – все двадцать штук. Взял всё, что было.

На всех парах лечу назад, через три ступеньки радость кидает меня вверх и нарываюсь на распахнутую редакторскую дверь. Она первая была справа от лестницы. Навстречу выходит *сам*.

– Что, – кривится в смешке, – с испугу удрапал и всё ж решил вернуться?

– С какого испуга? И чего мне пугаться? Я просто бегал в киоск. Взял всю «Комсомолку». Дала то, что вы забраковали... Вот, – подаю ему один номер, – посмотрите... Не треть ли первой полосы! Сверху! На открытии! Поздравления не запрещены...

Он кивнул на открытую свою дверь:

– Заходи, заходи. Первопроходец!²⁶ Сейчас и поздравим...

Захожу в кабинет – там вся редакция в полном комплекте. Носы в стол. Никто на меня и не взгляни.

Ёкнуло у меня ретивое.

Но я всё же через силу коротко хохотнул:

– Кого хороним?

²⁵ «Пенсяры» – ансамбль «Песняры».

²⁶ **Первопроходец** – первый половой партнёр девственницы.

– Тебя, – постно ответил кто-то.

– Вот и хорошо. А я уже и некролог принёс. Точный, выверенный. Сама «Комсомолка» дала. Почитайте... – и кладу каждому под нос по газете.

– Не паясничай, Долгов! – оборвал меня редактор. – Газету собери и читай сам. Пустого времени у тебя будет в избытке... Мы, товарищи, собрались по поводу недостойного морального поведения нашего сотрудника Долгова. Такое поведение несовместимо с его пребыванием как в комсомоле, так и в нашем сплочённом редакционном коллективе комсомольской газеты... И не забывайте, наша газета – орган обкома комсомола!

Все головы закивали наперегонки.

Тут и похолодело у меня в животе.

– Мы не можем позволить такой роскоши, чтобы в наших дружных рядах был человек, растлевающий школьник!

– Это как? – привстал я.

– А вот это ты нам и расскажешь.

– Мне нечего рассказывать.

– Тогда я расскажу... Да вот этот рассказ!

Редактор вскинул конверт.

Адрес на нём был написан Валентиной.

лично

И слово *лично* было старательно обведено.

– Письмо пришло на моё имя. Почему вы его вскрыли?

– Потому и вскрыл, что вскрыл!

– А что, тайна переписки уже не охраняется законом?

– А закон здесь Я!!! И не прими я вовремя мер... Что, ждать, когда твоя тайна зауакает? Ясли в редакции открывать? Мы миндальничать не собираемся! Я не стану зачитывать здесь письмо тебе. Но сказать обязан... Так растлить юную особь – триста раз написала Люблю в одном этом письме! О чём это говорит? О том, что ты матёрый ловеласища. Судя по письму, вы слишком далеко заехали, и вряд ли у тебя эти фигли-мигли со школяркой обходятся без постельного пинг-понга. А за это уже надо отвечать по суду!

Эта наглая ложь смяла меня.

Я растерялся и не мог ничего сказать.

– А теперь, – гнул своё редактор, – пускай каждый скажет, что думает о тебе.

И каждый сказал, что хотел услышать Васюган.

На то это и был *дружный советский коллектив*.

Мы остались с Васюганом одни.

– Вот что, ненаглядный, давай выбирай, – засопел он. – Бросать пенки²⁷ я не намерен. Давай ещё перебазарим с носу на нос. Политчас прошёл на ура. Выступили все. Все дали тебе по мордасам. Ты пролетел, как трусы без резинки. Такова селявуха... Как теперь тебе здесь оставаться, если все против тебя? Глупо же... А ты малый с понятием... Не без того... Секучий. Так что делай срочный *вумный* выбор. Пи-

²⁷ Бросать пенку – шутить.

шесть сей мент по собственному и я выдаю тебе чистенькую трудяжку.²⁸ Святым летишь на все четыре ветерка и спокойненько обмахиваешься комсомольским билетиком. Ну, так проходит вариант *по собственному*?

– Уволиться по вашему собственному желанию?

– Называй, как хочешь. Не уйдёшь миром...

– Не можете вы пережить мою статью в «Комсомолке»?

– Не могу и не хочу. Не быть нам тут обоим... Ты разве это не чувствуешь? Или у тебя чердак заклинило? Разве ты не видишь, что мы фазами не сошлись? Не уйдёшь, дрыгастый, миром, завтра в десять поташу на эшафот к Дуфуне. У Конского разговор короткий. Вот что ты, пенис мягкий,²⁹ там запоёшь? Знаешь же... На бюро *входит* человек... А с бюро *выносят* остывающий труп.

– Выбираю трупный вариант.

Дело подбегало к двум.

У Вали кончались уроки и я побрёл к школе встретить её.

Я провожал её по утрам до школы, но никогда не встречал из школы.

Мне она очень обрадовалась.

– Антониус! Миленький! Ты так быстро соскучился по мне? Ты делаешь гранд успехи. Я в полном отрубле!

– И я в полном... Ну зачем ты в редакцию послала мне

²⁸ **Трудяжка** – трудовая книжка.

²⁹ **Пенис мягкий** – певец Тынис Мяги.

письмо? Это твой сюрприз?

– Да. Я подумала, что в Грузии ты мог не получить моё последнее письмо. Я и пошла его в редакцию. В редакции ты наверняка получишь... И мне б было жалко, потеряйся оно... Я триста раз написала своё ЛЮБЛЮ. Вот теперь ровно тыщу написала, как ты и хотел...

– Лопнула наша тыща. Письмо перехватил редактор, и такой поднял хипеж! Полдня до пота полоскали меня всей редакцией! Так что теперь я чистенький, аки агнец.

– Не нужно мне ягнёнка! Чего от тебя хотят?

– А-а... Не бегай дальше рябого батьки.

– Переведи.

– Да! Ты ещё не видела!.. Сколько дней искала в «Комсомолке» мою классику – так сегодня дали!

– С фонариками про меня?

– С фонариками...

Она чмокнула меня в щёку:

– Вот тебе за это посреди улицы! А вечером добавлю.

Я вздохнул.

– Знай не кисни, – ласково погрозила она пальчиком. –

Вырулим на хорошку. Чего от тебя хотят?

– Чтоб я ушёл из редакции. Персональное пламенное желание Васюгана.

– С чего это вдруг?

– Да не вдруг... Эту статью он забраковал. Не дал в нашей областной газете. А я в пику и ахни её в Москву. Вот теперь

он и заметал чёрную икорку баночками.

– И на здоровье! Чего присесть перед этим рябым cretino?

– Он разбежался меня гнать. А я не собираюсь бежать. Так он... За статью в «Комсомолке» если кого и надо гнать, так только его. Как профнегодяйку... Двух слов на бумаге толком не свяжет... Так он про статью на людях помалкивает, а пинает меня за растление малолетки. И твоё письмо в строку, и утренний поцелуй при нём...

– Ох, cretino и есть cretino... Если бы он знал, кто кого из нас растлевают, если бы только знал... Я прям сейчас пойду и скажу ему!

– Пустой след... Завтра на десять он вытягивает меня в обком комсомола на бюро.

– Разбор полётов будет вести Дуфуня?

– Дуфуня.

– Тем хуже им обоим. Я приду. Закрою тебя героической грудью. Не дрейфь!

6

Моё дело сунули в конец бюро.

В разное.

Это не раньше двенадцати.

Мы с Вале́й вышли во двор.

Было сыро, промозгло.

Усталый блёклый снег, быстро таявший днём на уже гревшем солнце и по ночам снова ошети́нивавшийся внаклонку к солнцу льдистыми шпажками, грязнел под обкомовскими окнами.

Ветхая ворчливая старуха бродила меж деревьями и длинным шестом сбивала с голых веток презервативы, так живописно разукрасившие предобкомовский простор.

– Это не обком комсомольни, это – дом чёрного терпения! – громко ругалась старуха, заметив, что у неё появились нечаянные слушатели. – Цельной дом удовольствий! Во-о козлорожистый Дуфунька Конский развёл козлотрест! Ну прям как при Сталине по ночам заседает революционный шмонькин комитет...³⁰ Тут у них форменное хоровое пенье...³¹ Резинки так и выскакивают из окон! Оне эти свои резинки навеличивают по-культурному – то будёновка,³² то

³⁰ **Шмонькин комитет** – сборище проституток.

³¹ **Хоровое пение** – групповой секс.

³² **Будёновка, пенсне, писин пиджак** – презерватив.

пенсне, то писин пиджак! А ты, баб Ньюра, лазий по снегу, собирай ихний стыд. Дёржи чистоту!..


Я взял Валу под руку и торопливо повёл прочь, лишь бы поскорей не слышать этих жалоб.

Ровно в двенадцать мы были в приёмной.

Стоим у двери. Ждём вызова.

От нечего делать я внимательно рассматриваю дверь и вижу заботливо обведённую маленькую чёрненькую царапушку по косяку.

Этот автограф про пенсне, конечно, не папы римского я прикрыл плечом, почему-то боясь, что его прочтёт Валя, и вкопанно проторчал гвоздиком на месте, покуда нас не кликнули на ковёр.



Без пенсне не входить!

Мы вошли, остановились у двери. Все мужские взгляды плотоядно примёрли на плотной и красивой моей Валентин-

ке.

– Хор-роша кобылка! – на судорожном вздохе вслух подумал зав. идеологическим отделом Трещенков.

– Не забывайся, кремлёвский мечтун! – осадил его первый секретарь Дуфуня Мартэнович Конский.

Конский был толст и нелепо громоздок, как рефрижератор. Всё в нём было посверх всяких мер крупно. Высокие, в полпальца, лошадиные зубы не вмещались во рту и зловещим трезубцем далеко оттопыривали верхнюю по-лошадиному толстую губу. За глаза его навеличивали саблезубым носорогом.

– Да... Не забывайся! – повторил неуворотень и сделал тяжёлой ладонью несколько умиряющих движений книзу. – Потише! Потише!

И потом медленно, с кряхтеньем кресла под ним трудно повернулся к нам:

– Вот вы пришли парой. Зачем? Кто высочайше просил? На бюро мы приглашали лишь молодого человека. В единственном экземпляре.

– Был бы вам единственный, – сказала Валя, – делайся тут всё по правде. А так... Я пришла защитить своего любимого Тони от грязи, которую льёт и на него и на меня редактор Васюган.

– Гм... Защитить... Это хорошо... – растягивает слова Конский, котино жмурясь на прелестные развитые, крепкие яблочки Валентины, не в силах отвести глаза. – Да, любовь

должна быть с кулаками. И правда – тоже. Вот мы сейчас и попросим члена нашего бюро, редактора газеты товарища Васюгана вкратце изложить суть дела.

Васюган, сидевший на углу длинного тэобразного стола, резко встал:

– Я, собственно, в двух словах... Эти вот двое встречаются...

Васюган почему-то замолчал.

Такая краткость заинтриговала всех.

– Это что, и весь криминал? – разочарованно спросил Трещенков.

– А что, этого мало? – встрепенулся Васюган.

– Да уж без перебору, – уточнил кто-то.

– Понимаете, взрослый человек... Сотрудник нашей газеты захороводил эту, извините, школьницу! – пустился в пояснения Васюган.

– Девушка, сколько вам лет? – спросил Валентину Трещенков.

– Семнадцать.

– Гм... В таком возрасте хороводы не заказаны! – гордо осмотрел Трещенков всё бюро.

– Но она – школьница! – буркнул Васюган.

– И что из того? Школьницей можно быть до ста лет, – постно приосанился Трещенков.

– Но наша школьница несовершеннолетка. Это меняет картину. Поздно звонить в колокол, когда наехали на беду!

– А чего звонить, когда не доехали до беды?

Спор Трещенкова с Васюганом вывел из себя Конского:

– В какой-то туман заехали, дорогие товарищи члены...

Нельзя ль поконкретней?

Не выдержала Валя.

– Да темнит ваш Васюган! – выкрикнула она. – На собрании в редакции и отцу по телефону он что лупил? Раствлёнка я! Раствлевать, оказывается, меня мой Тони! А я и не знала! Так за что вы, Васюган, собрались выжать его из газеты и из комсомола? В комсомоле Тони осталось полгода. Сам по возрасту уйдёт. Но вам надо – исключить! Шандарахнуть побольней! Мол, не сам ушёл. Исключили! А за что? За ваше словесное растление? Или, может, у вас есть доказательства? Вы что, в таком случае подсвечивали нам фонариком?

– У него фонарика нет! – прыснул Трещенков в кулак, и лёгкий смешок в разминочку пробежался вокруг стола.

– Товарищи! Товарищи! Потише! – поднял сердитый голос пухля Конский. – Не кажется ли вам, что мы превращаем бюро в балаган? Не бюро, а какой-то ржательный завод имени любимого меня! Товарищ редактор, пожалуйста ваши карты на стол!

– Вчера они при мне утром по пути в школу целовались. Прямо на улице! Всё, конечно, в пределах высокой морали...

– Уж сразу и скажите, – посоветовала Валентина, – что вы перехватили моё письмо, посланное Антону в редакцию, и в том письме я триста раз написала слово *ЛЮБЛЮ*.

– Очаровательно! – саданул в ладоши Трещенков. – К вашему высокому сведению, товарищ редактор, утренний поцелуй молодых на улице и триста раз написанное слово люлю вовсе не криминал. А вот перехваченное чужое письмо – ещё какой криминалице! Ещё какой!.. Товарищ редактор, если зуб пошатнулся, его уже не укрепишь...

– Но ведь утренний поцелуй и письмо – лишь жалкий айсберг! – выкрикнул Васюган. Жабье его лицо пошло пятнами. – Вы что, не допускаете, что они встречаются вечерами? И далеко не при её марксах?³³ И что у них не бывает ничего *такого*?

– А вот за *такое* ответите! – шатнулась Валентина в сторону Васюгана и резко повернулась к Конскому: – Вызывайте сюда врача! Пусть посмотрит меня и скажет, было ли у меня *такое* напару с *этаким*!

Тут вскочил Трещенков.

– Врач уже прибыл! – и сажает себя кулаком в грудь. – Я врач! Я готов осмотреть, где что скажут. Готовность номер один!

Конский махнул ему рукой.

– Садись, рёхнутый! Ты особо не морщь коленки³⁴... Не пойму... Или у тебя в мозгах запоринг?.. Не паясничай! Прикрой свою ржавую калитку... Извини, у тебя в заднице есть резьба?

³³ **Марксы** – родители.

³⁴ **Морщить коленки** – расстраиваться.

– Как-то не замечал, – замялся пучешарый Трещенков, опускаясь на свой стул.

– Вишь, горе какое. Такой молодой, а уже сорвали!.. Хоть тыпо диплому и пинцет³⁵, да не смотреть тебе... Всего-то ты лишь ухом в горло и в нос!.. Или как там?.. Зубной, что ли... Конечно, я не собираюсь превращать свой кабинет в кабинет работника органов.³⁶ Еще не хватало установить здесь трон на раскоряку...³⁷ Не бюро, а какой-то психодром!.. Я хочу понять, что у нас сегодня за бюро?

– Я вам помогу, – сказала Валентина. – Васюган прифантазировал себе жуткую историю с растлением. И теперь навязывает эту историю всему бюро. Спросите, на что ему эта глупь? А чтоб выкинуть из газеты Антошу. Сам Васюган до редакции подвизался у папы в институте каким-то младшим... Есть ли у него хоть институтский поплавок? Не знаю... Писал в институтскую стенновку... И вдруг выплыл в областной молодёжной газете. Васюган смертно ненавидит тех, кто в работе способней него. Он давил, давил, давил Антошу. Без конца браковал его материалы. У Антоши лопнуло терпение. И одну забракованную свою статью Антон передал по телефону в «Комсомолку». Вот эту!

Она достала из сумочки газету, аккуратно развернула и белым куполком опустила её на стол.

³⁵ **Пинцет** – врач.

³⁶ **Работник органов** – гинеколог.

³⁷ **Трон на раскоряку** – гинекологическое кресло.

Пузатистый Дуфуня как-то кисло глянул на газету и побагровел.

– Нет, это полный обалдайс! Слушайте, девушка! Не слишком ли много вы себе позволяете?! Что вы тут нас учите? Я понимаю, что вы слишком много, понимаешь, понимаете! Не хватит ли тут пуржить? Ну вам ли судить о профессиональных качествах редактора? Ваша история с «Комсомолкой» – чистый домысел! И что вы нам навязываете нелепую байку со статьёй Антона в «Комсомолке»? И мало ль чего там печатает «Комсомолка»? Печатает, ну и пускай печатает на здоровье. Мы не возражаем... Вы тут самая молодая, а пришла без зова и взбулгачила всех членов бюро! Понимаешь! Кого вызвали на бюро, – Дуфуня скользом глянул на меня, – рта и разу не открыл. А кого не вызывали – рта не закрывает! Ну и молодёжь пошла! Девушка! Выйдите, пожалуйста, отсюда. Без вас как-нибудь решим судьбу вашего парня... За дверью подождите... Ну всех членов бюро взбулгачила!

– Значит, вы с Васюганом заодно? – положила Валя руки на бока. – Значит, никакая правда вам не нужна?

– Идите... Идите со своей правдой... Всему бюро надоели...

– Я не знаю, какие вы члены, но чёрных жеребцов среди вас предостаточно!

– Девушка! Вы где находитесь?! Это не психарка, а бюро обкома! За такое поведение я вас выкину из комсомола!

– А я выкину вас из партии и из этого обкомовского кресла! Не вам вершить судьбы молодых! В грязи слишком глубоко сидите! Обрюхатили её, – Валентина ткнула в секретаршу Конского, вела протокол бюро – и строите из себя святого борца за коммунизм!? А ребёночку-то в ней уже шесть месяцев...

Секретарша заплакала:

– Валя! Ты зачем это сказала? Я ж просто как подруга подруге... Просто так сказала...

– А я, Люда, тоже просто так сказала... Не за деньги... Допекли... Пускай всё бюро знает, какой у них вождяра!

Людмила упала в обмороке на пол.

– Нашатырь! Нашатырь!

Нашатырь нашёлся тут же. В шкафу.

Поднесли ватку с нашатырём – Людмила очнулась.

Загремели отодвигаемые стулья.

Не до бюро.

Рохлец Конский трудно наклонился к сидевшей на стуле Людмиле:

– Благонравова! Откуда ты знаешь эту ромашку?

– Да как же мне её не знать... С пятого класса дружим... Она мне ровесница. Из-за болезни в девятом я взяла на год академический отпуск...

– Сама печатала повестку дня. Что же не сказала про эту неизгладимую розочку?³⁸

³⁸ **Розочка** – битая (со стороны дна) бутылка с острыми краями, которую дер-

– Да кто же думал, что она придёт?

Я не знал, что мне делать. Уходить? Без решёнки вопроса?

Ждать? Чего ждать?

Валя взяла меня под руку.

– Айдатушки из этого коммунального сюрса.

Повернулась на ходу и бросила, ни к кому не обращаясь
отдельно:

– Тронете моего Тони – не обрадуетесь!

Через час я был в научно-исследовательском институте у отца Валентины.

Его холодность, трудно подавляемая неприязнь били по моему самолюбию, но я его понимал. А на что я мог рассчитывать после такого скандала? На отеческую ласку? Уж ладно и то, что хоть снизошёл до первой встречи со мной.

Я рассказал про бюро, поклялся, что ничего худого не было у нас с Валентиной.

– Не было, ну и не было... И на том спасибо, драный сынок...

– Я чувствую, вы не верите...

– Что из того, верю... не верю? Раз пустил ветры, то штаны уже не помогут...

– Никаких ветров я не пускал... Тут Васюган постарался.

– С какой стати?

– Он всё жучил меня... Забраковал мою приличную статью, не дал в нашей газете. А я ту забраковку и опубликуй вчера в «Комсомолке». Ветры и взыграли...

– Гнусь эти *бурильщики*... На высылке в Воркуте насмотрелся я, репрессированный, на эту публику. Думал, отпустила Воркута, всё, сгинут они с моих глаз. А... Сидел этот мениск³⁹ Васюган... бугринка на равнинке, круглый нуляк...

³⁹ **Мениск** (от мнс) – младший научный сотрудник.

Никаких признаков творческой жизни не подавал. Всё приплясывал перед институтской стенгазетой да постукивал... – поднял он палец кверху. – Тук-тук, я ваш друг! Достучался вот до областной молодёжки... Достучится этот нихераська и до самого комитета глубокого бурения... В какую грязь дочку втоптал... Вишь, от катящегося грязного камня какие куски отваливаются?.. Что ты собираешься дальше делать?

– А жить. По горячему желанию Васюгана из газеты я не уйду. Дело принципа... А дальше... Что бы Вы ответили, попроси я у Вас руки Валентины?

– Не рановато ли? Ей ещё полгода надо... Школу кончить... И раньше третьего курса – никакого замужества! Сначала надо хоть немного укрепиться в жизни. Любишь – будешь ждать! Насчёт Васюгана... Я бы посоветовал уйти от него. Это ничевошество станет тебе мстить... Вечные подсидки... Подальше от грязи – чище будешь! И вообще я бы посоветовал тебе уехать из Светодара.

– Уехать? Но...

– Никаких но. Это мои условия. Поговорим через три года.

Я уехал в Москву.

Перебивался случайной газетной подёнщиной. Без московской прописки кто ж возьмёт тебя в штат редакции?

Я снимал койку в ветхом деревенском доме у одинокой больной старушки в Бутове, сразу за кольцевой.

Валя была уже на втором курсе, когда умер отец. Сердце. Хватило его лишь на полвека. Сказалась долгая жизнь репрессированного в Воркуте.

Месяца через три после похорон приезжаю я к Вале, а мать её, увядающая, но всё ещё с рельефной фигурой, в подковырке и спроси:

– Частые письма, одна-две встречи в месяц... Не надоело? Не собираетесь ли вы, ромева,⁴⁰ быть вечным женихом?

– Вот перейдёт Валентина на третий курс...

– А почему у вас такое условие?

– Да не моё, а вашего благоверика Нифонта Кириллыча. Он поставил условие: вот будет Валентина на третьем курсе, тогда и...

– Ахти мнеченьки!.. О Господи! Нашли какого дуралейку слушать! Один дурак послушался другого. Какая несурядица! Вы б спросили у него, сколько мне было, когда я стала его женой. Шестнадцать! А Вале уже было семнадцать. Не к тому человеку вы шатнулись на серьёзный разговор. Не к тому! Да приди ко мне, в то же лето, после выпускного, и свертели б свадьбу!

Через месяц мы расписались с Валентиной.

В Светодаре я снова прилип к своей газете.

К той поре Васюганом там уже и не пахло. Он окончательно и полностью внедрился в святую работу Коммунистического Государства Будущего. Тук-тук-тук! Я ваш веч-

⁴⁰ Ромева (от имени Ромео) – влюблённый.

ный друг!

Вдруг из Москвы нагрянула строгая бумага. Строжайше предписывалось мне получить квартиру в доме-новостройке в Москве!

И всё это по воле старушки, у которой я когда-то снимал койку.

Старушка была единственной дочкой у расстрелянных репрессированных родителей. Их расстреляли только за то, что отец сказал, а мать подпела, что у нас строителям мало платят, а на Западе хорошо платят. Они были строители.

Старушка завещала мне свою халупку, без слезы не взглянешь. Халупка гнила в черте столицы. Вскоре после смерти старушки домок её пошёл под снос.

Вот так по завещанию мне выпала новая квартира в Москве.

В каком кино такое увидишь?

И мы с Валентиной переехали в Москву.

Глава третья

*Зачем в люди по печаль, коли дома плачут?
В ветреный день нет покоя, в озабоченный день
нет сна.*

1

Грохоча коваными сапогами, по вагону тяжело семенила проводница. Мятым, сырым со сна шумела голосом:

– Ряжск!.. Ряжск!.. Ряжск!.. Никто у меня не хочет проспять Ряжск? – И тише, себе одной: – Вот поперёчная! Сама проспала...

В конце вагона не то пожаловалась кому, не то спросила себя:

– А ведь лежал тут один до Ряжска?

– Стрянулась! Да он уже далече. Палкой не докинешь...

Уже, поди, дома у сестре чёртову кровь со́дит!

– Так-то оно ловчее, – успокаиваясь, согласилась проводница и заколыхалась назад, к своему купе, зябко поводя просторными плечами и кутаясь в платок.

Я поднял со столика голову. В проходе вопросительно улыба-
лась девушка.

- Здравствуйте, - простодушно сказала она.

- Здравствуйте.

- Как я понимаю, вы живете на первом этаже? - смелк показала
легкими глазами на нижнюю полку, в конце которой, в углу, сидел я.

- На первом, - подтвердил я, невольно улыбнувшись необычно-
сти вопроса.

- А я на втором. - Она легко вскинула сумку на полку надо
мною. - Извините, вы что, скоро выходите?

- Нет, я до конца...

- А чего ж тогда не берете постель и не ложитесь? Или вы в до-
роге со сном на вы?

- Всяко бывает...

- А я я минуты не могу, устала... Пойду за постелью.

Девушка легко и радостно повернулась идти за постелью и ли-
цом к лицу столкнулась с незаметно подошедшей сзади старухой.

- Бабушка! - сраженно вскинула девушка. - Вы-то зачем? Ну,
тронется, делать-то что будете?

- Поеду, - ласково ответила старуха. - Эка беда, не с чужим
с кем, с внучушкой... Что мне теперь... Гуляй, как вольная утка
в воде.

Девушка взяла старуху за руку.

- Пойдемте, пойдемте скорее к выходу!

Старуха уперлась.

- С больша ума сказано... Погоди, Акиша... Как ж я пойду,
не поглядывая, как ты тут устроишься?..

- А что смотреть? Вот эта вторая полка моя...

- То-то и есть, что влезет!

От двери потянуло свежаком.

Топот. Голоса:

– Серёж! Гнездись тут!

– Дальшь, ма, дальшь! Это ещё не наши места.

– Сядем – наши будут.

– А придут с билетами? Что тогда?

– Там война план скажа. А покудушки садись.

Легло молчание.

Но уже через минуту откуда-то издали заспешили молодые торопливые шаги.

Звуки шагов росли, росли, росли...

Оборвались где-то совсем возле.

Я поднял со столика голову.

В проходе вопросительно улыбалась девушка.

– Здравствуйте, – простодушно поклонилась она.

– Здравствуйте.

– Как я понимаю, вы живёте на первом этаже? – вмельк показала лёгкими глазами на нижнюю полку, в конце которой, в углу, сидел я.

– На первом, – подтвердил я и невольно улыбнулся необычности вопроса.

– А я на втором. – Она легко вскинула сумку на полку надо мной. – Извините. Вы что, скоро выходите?

– Нет. Я до конца...

– А чего ж тогда не берёте постель и не ложитесь? Или вы в дороге со сном на *вы*?

– Всяко бывает...

– А я не могу. Устала... Пойду за постелью.

Легко и радостно девушка повернулась идти за постелью и лицом к лицу столкнулась с незаметно подошедшей сзади старухой.

– Бабушка! – сражённо вскрикнула девушка. – Вы-то за-чем? Ну, тронется. Делать-то что будете?

– Поеду, – ласково ответила старуха. – Эка беда! Не с чужим с кем, с внучушкой... Что мне теперь... Гуляй, как вольная утка в воде.

Девушка взяла старуху за руку.

– Пойдёмте. Пойдёмте скорее на выход!

Старуха упёрлась.

– С больша ума сказано... Погоди, аюшка... Как же я пойду, не поглядевши, как ты тут состроилась?

– А что смотреть? Вот эта вторая полка моя.

– То-то, другонька, и есть, что вторая!

Старуха подошла ко мне и, слова не успев сказать, повернула голову на стук в окно.

Какой-то парень что-то выводил, смеясь, пальцем на стекле.

Старуха с досадой махнула на него.

– Ты-то, верченый провожалыщик, что? Доробгой, дру-

жа, надо было говорить! А не для чего теперище на пальцах плантовать.

И, отвернувшись от окна, теплея лицом, просительно обратилась ко мне:

– Мил человек, любезна душа... Ежли я вас очень попрошу... Уважьте старуху, учтите моё подстарелое женское положение...

Старуха, косясь на девушку, наклонилась ко мне, видимо, лишь за тем, чтобы девушка не слышала её слов.

Лицо старухи показалось мне как будто несколько знакомо. Я стал собранней всматриваться в неё.

И лицо, и голос вроде знакомы. Где я её мог видеть? Когда? Интересно, а я ей ничего не говорю? Наверно, ничего. Иначе разве б она смолчала?

– Мил человек, – зашептала старуха. – Внучушка моя не в спокое спит, кобырнуться может с верхов. Поменяйтесь, пожалуйста, с нею местами...

Я согласился.

– Бабушка! – с укоризной всплеснула руками девушка.

– Не бабушкой! Высватала тебе царску местность внизу, спи лиха сна не знай... С ясной душенькой теперь можно и идтить...

Поклонившись мне со словами благодарности, старуха приняла протянутую внучкой руку, и они заторопились к выходу.

Едва они отошли, сунул я сумку молодой попутчицы в

рундук, снял ей матрас с верхотуры, а сам лёг на её полку,
в ГОЛОВЫ – кулак.

2

Утром, ещё только расступилась ночь, был я в облздраве.

Ни чемодан, ни портфель, ни рюкзак с пшеном и колбасой в камеру на вокзале сдавать я не стал. Очередина! И побрёл под дождём со снегом по городу со всем своим богатством.

Уже тут, у угла на развале, подкупил я в полупустой портфель свежих помидоров, из последних.

Вваливаюсь как есть при всём при своём хозяйстве в приёмную с красно-коровыми по полу коврами дорогими. Шапку с головы, оглядываюсь.

Стол. Телефон. Проводок чёрными завитушками льётся, покачиваясь, к пухлянке секретарше.

Секретарша ноль на меня почтения. Знай грохочет в трубку.

Снял я с плеч рюкзак. Стою.

Пошёл я оттаивать.

Лужицу подо мною налило. Будто сам потёк.

Присутствие и вовсе от меня отворотилось.

Села секретарша в хрустком кожаном кресле квадратной спиной ко мне, в трубку со смехом:

– Штучка твоя на уровне! Клевяцкая. Но, мать, извини, отпустила уже ма-а-аленькую бородку. Брить пора. Вот мой вчера приволок! Кинешь Буланчикову на сон грядущий – ржачку гарантирую! Да, да. Слушай... Начальник, значит,

интеллигентно послал на три буквы подчиненного. Тот, обиженный, как заяц, бегом жаловаться в партком. Начальника вызвали, указали на грубость. Начальник снова вызывает подчиненного: «Я тебя куда посылал? А ты куда пошёл?» Ржешь?.. Говоришь, аж матка в трусишки провалилась! Тот-то! Где наше не пропадало... Выдаю ещё... Замужнему женатику... Да, да, за-муж-не-му!.. Почему называю мужика замужним? Не женатым же называть. Мужики пошли хилей уже малого пукёныша, беспомощные, беззащитные. Именно они выходят замуж, а не мы. Баба нынче и зарабатывает, и за семью где хошь и постоит, и доблестно полежит! И дома она герой – за бабьей спиной вольго-отно они разжились! Кобелянты вообразили, что они сильный пол. Но мы-то с тобой знаем, кто на самом деле сильный пол-потолок. Ну, не заставляй меня философию размазывать. Значит, замужнему мужику позвонила тайная левая дамуля – понимаешь меня, да? – и говорит, что она переехала на новую квартиру и что у неё новый телефон. Кнурик⁴¹ записал пальцем номер на стекле – его дура, в просторечии жона, в последнем десятилетии окна не мыла. Не мыла, не мыла, а тут возьми да и помой! Он...

Лопнула у меня терпелка, саданул я ребром ладони по рычажкам.

Жалобное пиканье, частое, надсадное, закапало из трубки.

⁴¹ **Кнурик** – сексуально озабоченный мужчина небольшого роста.

– Да вы где находитесь? – взвилась мамзелиха, швырнув трубку на телефон и подперев себя с крутых боков мячми-кулачищами.

– Где и вы.

– Как ведёте-то себя?

– Как уж заставляете. Если думаете, что я за тещу вёрст пёрся слушать ваши анекдоты, ошибаетесь. К заведующему мне!

– Заведующего нет. На сессии... Но вы не отчаивайтесь, – неожиданно как-то быстро переменившись, вроде участливо обронила она. – Я провожу вас к первому заму. Вещи пускай тут... Пойдёмте.

Жестом она пригласила следовать за ней. Первой вышла и уже из коридора держала настежь распахнутой дверь, ожидая, покуда не пройду я.

Стыд за выходку с телефоном накрыл меня.

Я смешался.

Было неловко идти рядом, я приотстал. Всё не видеть её глаз...

Вышагивая с опущенной головой следом, прикидывал, с чего начать извинения, как вдруг говорит она в приоткрытую дверь, что была по соседству с приёмной:

– Вириная Гордеевна! Тут товарищ... Примете?

– Что за вопрос!

Маленькая чопорная женщина с гладко причёсанными волосами вышла из-за заваленного грудями бумаг стола,

энергично здороваясь, дёрнула за руку книзу, предложила сесть и села сама.

– Я вся внимание. Пожалуйста.

– Позвольте узнать, как ваше самочувствие?

В ответ она усмехнулась дряблыми, в утренней спешке не прикрытыми пудрой уголками тонкого рта, с наслаждением выпрямилась в кресле с сине-серыми вытертыми подлокотниками.

– А разве мой вид вызывает беспокойство? Надеюсь, не в этом вся важность дела?

– Отнюдь.

Ей нравилась её тонкая, еле уловимая ирония, с которой она просто изящно уходила от прямого ответа, уходила, оставляя чувствительную царапину на моём самолюбии. Опытный ум не мог не сказать ей этого.

– И всё же, как самочувствие? – повторил я глуше, насто-роженной.

– Можно подумать, – со смешанным чувством отвечала она, – что вы только за тем и пришли, чтоб справиться о моём самочувствии.

– Представьте.

– Спешу успокоить. Отличное! – Сухими ладошками она пристукнула по краям стола. – Бессонницей не страдаю.

– Вот только поэтому сегодняшнюю ночь в поезде я провёл без сна. Хотел было сразу к районному руководству. Потом решил: ан нет, зайду сперва порадовать облздрав.

– У вас жалоба? Из какой вы редакции?

– Не из редакции я вовсе... Позавчера получил я из Верхней Гнилуши письмо. Брат пишет, тяжело заболела мама. Живут они через два дома от центральной районной больницы – отправили в Ольшанку. За двадцать километров! Немыслимо! Что-то я не слышал, чтоб, скажем, москвича везли лечить на Чукотку. А тут...

– А тут, молодой человек, надо понять. У нас больницы поделены по профилям. В одну больницу везут со всего района с одним заболеванием, в другую – с другим... В такие профильные больницы мы даём лучшее специальное оборудование, шлём наиболее опытных специалистов. Наверно, вашу маму просто-напросто направили в профильную больницу. Только и всего. Оснований для паники я не вижу.

– Особенно когда не хочешь видеть... Понимаете, брат один. Работает. Навестить даже проблема. За двадцать километров не набегаешься вечерами. А автобусы не ходят, дороге раскисело. А представьте, каково старому больному человеку одному среди чужих? И будь профильная та больница хоть раззолотая...

– Эко-о... Подумать есть над чем. Вот что... Обязательно переведём больную в райцентр. В течение трёх часов! Не успеете даже приехать! Есть блестящая возможность проверить обещание моё.

– Проверим, – кивнул я ей в прощанье и пошёл к двери.

– Молодой человек! А вы меня не узнаете?

Я внимательно посмотрел на неё с плеча и медленно покачал головой:

– Не узнаЮ.

– Между прочим, – на капризе выкрикнула она, – я вас тоже не узнаЮ!

– Вот мы и квиты.

Уже в коридоре она обогнала меня и преградила мне путь самым решительным выпадом:

– Послушайте! Да по какому это праву вы не узнаете меня?

– А по какому праву я обязан вас узнавать? Я вижу вас впервые.

– Не впервые! Мы видимся в четвёртый уже раз! Ну да вспомните! Чаква!.. Бахтадзе! Пляж!.. Ну... История с халатом наконец!

– Хоть на конец, хоть на начало... Я предпочитаю истории без халатов.

– Грубо. И поделом. Я сама была груба с вами первая... На этой работке озвереешь... Однако мне бы не хотелось вот так расстаться. Мы узнали друг друга. Я это чувствую. А почему же вы не хотите в этом сознаться? Через четверть века встретиться! Есть мнение. Давайте на радостях поцелуемся!

– А минздрав на сей счёт никаких предупреждений не даёт?

– То есть?

– На пачках с папиросами он грозно сигнализирует:

«Минздрав предупреждает: курение опасно для вашего здоровья». А насчёт поцелуев с незнакомыми при первой встрече он ничего не порекомендует? А то без цэушек минздрава я боюсь и вздохнуть...

– Обиделись... Крепко обиделись на меня... Ну извините и вспомните нашу четвёртую встречу. Насакирали... Совхозная больничка... К вам приезжает...

– ... девушка с первым моим фельетоном в газете?

– Да! Вспомнили?! Это я была. Рина!

– Газету вспомнил. А девушку нет.

– Должок!.. Долгов! Ну чего кукситься? Я ж та дурочка Рина... Приезжала к вам в больницу и упрашивала вас написать про старушку Бахтадзе... Ну вспомнили?

– Старушку вспомнил... Уже из Москвы, от журнала, приезжал именно к ней... А насчёт девушки – толстый прочерк.

– Я и на прочерк согласна... Знаю, вы в Москве... Как-то попалась мне на глаза ваша статья в «Комсомолке»...

– Ну, мне про меня можно не рассказывать. Я кое-что знаю о себе. Вы-то как здесь оказались?

– Просто. Поступила в местный мед.

– А почему не в Тбилиси? Там же ближе?

– Мне нужны были нормальные *русские* знания. А не покупной диплом. Кончила... Семья... Работа... С боями докувыркалась до кресла первого зама в облздраве. Всё фонарём!⁴²

⁴² **Всё фонарём** – всё в порядке.

– Своё кресло вы любите.

– Люблю и людей вытаскивать из хвори... С того света...

– Это уже лучше.

– Медицина наша крепенько стоит на своих копытцах.

– Что вы говорите!

– Что слышите. Советская медицина – самая передовая в мире!

– Что вовсе не мешает ей прочно удерживать девяносто шестое место по медобслуге на душу населения и сто тридцать седьмое место по продолжительности жизни мужчин!

– Зато по продолжительности жизни женщин мы на девяносто пятом месте. Разве это не прогресс?

– Величайший.

В ней что-то отталкивало, и я больше не мог болтать с нею.

– Ну, поговорили ладком, пора и расставаться.

– За маму не переживайте. Всё будет тип-топушки. Прямо с автобуса идите проведать в районную больницу. Будет на месте! Гарантирую. Возможно, возникнут какие неясности... На этот случай вот вам, – подала визитку – мои телефоны. Служебный, домашний. Звоните в любое время.

3

Дождь со снегом не прекращался.

На посадочной площадке автовокзала было ветрено, холодно, пустынно.

Слепились люди у выхода, выгладывает всяк свой автобус.

Разгневанная старуха в чёрном, с клюкой, за рукав выловила дежурного в толпе:

– Любезнай! Энта чё ж не пускаете у свой час антобус у Гниулушу?

– В рейсе задерживается... Пожди чуток.

– Кода ж будя?

– Слушай, бабка, радио. Объявим.

И боком дежурный полез к кассам, с силой прожимаясь сквозь людскую тесноту.

Скоро мы поехали.

Стылый автобус наш был наполовину пуст.

Все сидели поодиночке.

Прямо передо мной покачивалась старуха в чёрном. Покачивалась, покачивалась... Привалилась, припала острым плечом к стеклу, задремала под унылый шлепоток из-под колёс.

Чёрная старуха...

Чёрное зеркало дороги...

Чёрные, пустые, без урожая, поля...

Чёрные, тяжёлые, едва не гладят брюхом землю, тучи...

Да не снег – чёрную беду сеют...

Чем ближе оставалось до дома, тем страшней становилось мне. Забыть бы, куда еду, забыть бы, зачем еду, забыть бы всё... Хорошо б повернуть совсем назад. Да куда ж назад?

Последний приговор... Последний спуск...

Вороним крылом ударил слева в глаза наш пруд. За прудом сворот влево, к нам, а прямо если чиркнуть – на Курск.

Можно ж на ветру прочь проскочить прямо, можно ж обминуть беду. Но на кой это понадобилось шофёру притормаживать, брать влево?

Уже в селе, на развилке у прокуратуры, автобус стал.

Прокинулись как-то враз люди, посыпались из двери, точно зерно из пробитой ножом чёрной дыры в мешке.

Я всегда выходил здесь, не ехал до конца, до станции. Чего ж ехать туда, чтоб потом идти назад? Я всегда выходил здесь.

Но сейчас я смотрел, как в спешке вываливались другие, налезая друг на дружку.

Остановки здесь нет. А автобус остановился.

Не дай Бог увидит сам прокурор. Тот-то будет шофёру!

Я смотрел на давку у двери и не мог встать. Вези, беда, куда завезёшь...

На станции автобус опустел. Я остался один.

Из-за занавески выглянул шофёр.

– А вы чего ждёте? Между прочим, конечная. Дальше по-

езд не идёт.

Я почему-то пожал плечами и медленно побрёл к выходу.

– Ба-а! – разнося в стороны крепкие длинные лапищи, будто готовясь обнять меня, в удивленье вглядываясь в меня, пробасил шофёр. – Да я тебя, голубь ты мой белый, как облупленку знаю! Где понову свела судьба?! Воистину мир тесен!

Я остановился перед ступеньками, коротко окинул взглядом шофёра и, машинально проговорив, что впервые вижу его, стал сходить.

– Ка-ак впервые? А Лаптево?.. А Ряжск?.. А святцевская эпóпия?.. А спиридоновская?.. Столькое наворочал в моей кривой житухе! Спрямял всё... Задал мне трезвону... Ну да вспомни. Вспомни! А!?..

Машина рывком взяла с места.

4

У нарядной, облицованной цветной плиткой, станции грудился народ.

Пошёл, заглядываю старухам в лица.

Не она...

Не она...

Не она...

Всякий раз, когда мама прибежала сюда, вниз, в город – центр села с магазинами в Гнилуше называли городом, – прибежала за хлебом ли, за молоком ли, за какой другой мелочью к столу, она часами выстаивала автобус из Воронежа. А ну нагрянет сынок и – никто не встрене! Как же это так? Нельзя так! Не надо так!

Заявлялся я всегда без доклада, и всякий раз она, виноватая за свою тоску материнскую, за свою старость, за морщины, за верёвочно толстые жилы на разбитых сызмалу тяжким трудом руках, которые то и дело норвила подобрать повыше куда в рукава – а Боже праведный, да за что только не казнит себя без вины старый человек! – всякий раз, виноватая и удивлённая счастьем негаданной встречи, роняла она тепло слёз у автобусных приступок.

И теперь всё то отошло? Отошли встречи? Отошли слёзы у автобуса?

Надо идти домой – боюсь.

Ступнёшь шаг и станешь, задумаешься. А чего задумаешься, и себе не скажешь...

«А что, если...»

По прямушке, через сквер, выскочил я духом на свою Воронежскую улицу с падающими тополями. Молодые частые тополя наперегонки тянулись к солнцу – нависли телами над проездом улицы, того и жди, опрокинется тополияная стена.

«А что, если...»

Раза два падал я в грязь, падал и вскакивал и бежал снова...

«А что, если... Прибегаю... Дома народ, полно чёрного народу?...»

Вылетел я из-за угла – Глеб.

По двору колыхался от барака к раскрытому сараю.

– Гле-еб...

Глеб сиротливо оглянулся.

Вывалились у меня из рук чемодан, портфель; ткнулся я в небритую щёку и заплакал.

– Ну, чего ты? Всё обойдётся с мамой. Всё будет хорошо...

– Хорошо, хорошо... – повторял я, а слёз унять не мог.

Он бережно снял с моих плеч рюкзак и понёс в сенцы.

– Пшеница приехало... Наш золотой запас... А ты догадливый. Я не писал тебе, что ваше летнее пшено кончилось. Ты будто из Москвы это увидел и взял... Спасибо, брате...

Глеб вошёл в сарай, и только тут я увидел у него в руках корчажку с мешанкой. Поставил он её на пол – со всех углов,

с насестов посыпались к кормежке куры.

– Ну, зверью своему обед дал. – Щепочкой Глеб счистил с пальцев остатки месива, бросил в белую куриную толкотню. – Ни курам, ни поросёнку до вечера ничего не выноси... Пошли в дом.

В нашем баракко с тонкими стенками, засыпанными шлаком, студёно. Гулко звенят-охают под ногами простуженные половицы.

Сунулся я кружкой в ведро, хрустнуло вроде стекла.

Наклонился, вижу: у закраинок лаково поблескивают лопаточки льдинок.

– Да, батенька, пар костей у тебя не сломит. Ты так вместе с тараканами и себя заморозишь. Ты чего такую холодень развёл?

– А-а... Как отвёз в больницу, так ни разу не топил. За день вмёртвую устаю. Приду, упаду... Никакие холода не берут.

Страшно несло от окна. В верхней шибке вместо стекла зеленела сетка. С лета осталась.

– Хотя б газетой прикрыл...

– Вот теперь сам и прикроешь. Конечно, надо б стекло на место поставить. Да где... На погребку отнёс, нечаянно сапожком, – Глеб с иронией покосился на свои сапожищи сорок последнего размера, тяжёлые, в грязи, – нечаянно сапожком ступнул, оно и хрусь в мелочь... А мне, – поднял глаза к верху окна, откуда катило зимой, – как-то без разницы.

Всё время дует, дует... Не продует. Толстокорый я. Вот было б швах, если б то дуло, то не дуло. Перемен я не перева- риваю... Ладно. Довольно трепологии. Давай к столу, а то, – кивнул на цокавший на рукомоёйнике с зеркальцем будиль- ник, – обед мой кончается.

Выскок Глеб в сенцы. Не притворяя за собой двери, хватъ с газа сковороду и на стол.

– Ближе подчаливай... Вот вилка, вот хлеб, вот горчица. Ну, чего не начинаешь? Ждёшь амнистии? Не будет.

– Кто же начинает со второго?

– Я! В моей дярёвне, – кривит в усмешке лицо, – будь добр, кланяйся моим порядушкам. Это я приедь к тебе на Зелёный, там бы всё по-вашему, по-городскому: пей змеи- ный, из пакета, супчишко да ещё нахваливай до поту. А ма- тушка дярёвня не любит обижать желудки. Лично я предпо- читаю сначала мять досхочу курятинку с лучком, что и те- бе советую по-братски. А уж потом – останься в желудке ме- сто – добавлю ложку какую жидкого.

– Да где ж столько набрать курятины?

– А во-он! – пустил Глеб глаз в окно. – Сколько её по дво- ру бегаёт! Пока всех порубаешь, уже весна. Опять подсыпай квочек...

Какое-то время мы едим молча.

Глеб подмигнул мне:

– Как говаривал усатый кремлёвский нянчик, что нава- риш, то и будэш эст. Ешь. Не спи. Замёрзнешь!

– А пугать зачем?

В окно я вижу, как под яблоню, под навес кучками вжимаются уже сытые куры. Утихомирившись, нахохлившись, каждая прячет по одной ноге под крыло. Почему они все, важные, безучастные, стоят на одной ножке? У них что, соревнование, кто дольше простоит на одной ножке? Или кто кого перестоит?

– Послушай, – говорю я Глебу. – А ты почему мне телеграмму не дал? Я б уже давно был у тебя в работниках.

По лицу вижу, Глебу не хочется об этом говорить, да и некогда. Он молча потыкал начатой румяной куриной лодыжкой в суматошно хлопавший на ручкомойнике будильник. Но всё же, прожевав, грустно заговорил:

– Что письма, что телеграммы... Поднялась бы скорей... Ты думал, она у нас железная? Не-ет... Забываться стала... Пойдёт на низ, в город. Ходит, ходит по магазинам, вспоминает, чего надо взять, вспоминает – вертается ни с чем. Какая-то напуганная, потерянная. «Вы чего?» – «Я, Глеба, забула, за чим пошла в город». – «За хлебом Вы ходили». Повернётся молча, снова в магазин. А то с месяцок назад... Была у Митьки, сидела день с больной Людкой. Сошла с порожек – круги перед глазами, упала. Соседи подняли, отнесли к Митьке. Отлежалась, пошла домой. Идёт, идёт – не в ту сторону взяла с развилки. Видит, незнакомые дома, свернула. Шла среди улицы. Ка-ак машины не сбили... Хорошо, что было уже поздно, машины не бегали...

Залепил, заклеил я газетой окно. Натаскал воды полный чан (колонка во дворе ветеринарки, неблизкий свет). Притаранил из сарая дров, угля.

Затопил.

Вернулся в этот бомж-отель живой дух...

Смотрю, настучал уже мне будильник гарантийный срок, даже с напуском, как я из облздрава.

Дотёр я с кирпичом по-быстрому пол, покидал в сумку поспелей груши и в больницу.

«Постой! Охолонь, хлопче. А если не переправили ещё? Позвони сперва, узнай».

Наискосок, через улицу, маслозаводишко. Из проходной набрал приёмный покой, спросил, привезла ли из Ольшанки такую-то.

«А что это за царевна, – отвечают, – что станут её по грязюке по такой раскатывать из больницы в больницу? Лежит на здоровье в Ольшанке, там и будет до победы».

Вот тебе и обещание!

Ну что ж, сударыня Виринея Гордеевна, играть так играть!

Я в райком.

Только взлетаю на ступеньки – сверху скатывается Митрофан.

Раскис, обрюзг, как старый груздь, небогат ростком... Ко-

лобок с одышкой.

– О брательник, якорь тебя! Держи петуха! – весело выкрикивает он.

Никак не могу привыкнуть к его манере здороваться. Просто подать руку он не может. Он отводит её сначала за себя, и уже оттуда с разгона стремительно выбрасывает тебе навстречу красный тяжёлый кулак. Такое первое впечатление, что он непременно чувствительно саданёт тебя в живот, поэтому я инстинктивно дёргаюсь в сторону, и он, довольный, уже у самого моего живота разжимает кулак и ловит мою оробелую руку.

С лета, когда мы виделись в последний раз, лицо у него, мяكلое, одутловатое, ещё заметней налилось какой-то нездоровой краской. Кумачом полыхала и открытая пухлая шея. Рубашка была на нём расстёгнута на две верхние пуговицы, и всё равно она тесно давила сверху.

– Ну что? Жизнь всё хуже, а воротник всё уже?

– Само собой, брателло! – посмеивается он. – Живём же у Бога за дверьми... Не дует... Ты к нам в командировку?

– Да нет... Как вы тут?

– А-а... Как в самолёте. Всех тошнит, а не выйдешь.

– То есть? Так как вы тут?

– Ну-у! Вот так на порожках всё и выкладывай! Вообще-то... всё пучком, нормалёк... А желаешь детали, айда ко мне. – И настоятельней, твёрже добавил: – Без деталей айдайки. О! – он стукнул себя по лбу. – Главное не сказал! Да

ты ещё не знаешь, что в нашем долговском кулаке весь район!

– Ты чё куёшь? С горячего перехлёбу?

– А ты подносил?.. Лика – первая ледя района!

– Это как?

– По закону! Накинула хомуток на самого Пендюрина! На первого! А над первым она – первая! С ним в рейхстаге⁴³ намолачивает. В ранге помощницы. А по факту – он у неё в помощниках. За ней первое слово, кому чего отвесить, кому чего дать, кому чего там намылить, а кому и подождать... Нормальный ход поршня!..⁴⁴ О-о-о!

– И как же свертелась эта карусель?

– А уж это чёрт его маму знает!

⁴³ **Рейхстаг** (здесь) – райком КПСС.

⁴⁴ **Нормальный ход поршня** – всё в порядке.

6

Дважды в месяц Пендюрин выскакивал на своём бугровозе, на райкомовской чёрной «Волге», в обкомовский спецмагазин за едой-питьём, за тряпьем.

Отоварившись, на обратном пути он обычно заскакивал на психодромную автостанцию. И тщательно, с тимуровским рвением выискивал, кому бы срочно помочь.

Вот и на этот раз...

Было прохладновато.

Грустные сентябрьские облака катило к югу.

«Что-то жестковато... А не приискать ли мне на время пути разъездную раскладушечку?»⁴⁵ – лениво подумал он, и, не придя ни к какому мнению, привычно свернул на дорогу к автовокзалу, что маячил слева впереди.

Пендюрин подъехал к станции и, не выходя из машины, на вздохе задумчиво запел в ключе лишения привычного:

– Осень наступила, отцвела капуста.

До весны увяло половое чувство.

Выйду на дорогу, свой кину пестик в лужу:

Всё равно до марта он теперь не нужен...

⁴⁵ Разъездная раскладушка – секретарша крупного руководителя, которая сопровождает и обслуживает его в поездках.

Но тут в оконце меж облаками усмехнулось солнце.

В этом Пендюрин увидел вещий знак.

«А может, ещё рано разбрасываться?» – подумал стареющий тимуровец и подошёл к крикливой, суматошной очереди у кассы на Гнилушу.

Лучи солнца опажнули его теплом ещё недавнего лета, и жизнерадостный южный мотивчик завертелся у него в голове:

«Кто-то в сакля мне стучит.

– Я сейчас не жду никто!

– Это девочка пришел,

Он любиться нам принес!»

Он тихонько пел, и его усталый взгляд похотливо ползал с коленки на коленку стоявших в очереди молодок.

Наконец Пендюрин наткнулся на пару очаровашек коленок да ещё в комплекте с роскошным «конференц-задом», и Пендюрин примёр взглядом на месте, оцепенел. При этом, однако, не забыл с бескомпромиссной партийной прямоотой обсудить накоротке с самим собой злободневный вопроселли: а как эти ножки этой козобэаки⁴⁶ будут смотреться на фоне моих плеч?

Пендюрин склонился к тому, что такое соседство будет лучшим букетом в его жизни, и он державно подошёл и от-

⁴⁶ **Козебака** – сексуальная, яркая, хорошо одетая девушка.

пустил от себя на волю дежурную запатентованную глупость:

– Барышня! Мне глубоко кажется, у вас ножка отклеилась!

Это донесение было адресовано Лике.

Цыпа гордо хмыкнула, окинув кислым взором обшарпанного и потрёпанного тимуровца, бывшего когда-то юным и при барабане:

– А что, у вас есть клей покрепче?

– Есть такой клей! – готовно выкрикнул Пендюрин.

– А если я сомневаюсь?

– А если я уверен?

– Подарите себе свою уверенность и до свидания.

– Когда свидание?

– Никогда!

– А я назначаю сегодня. Сейчас!.. Побудете третьей?

И, не давая девуле разразиться гневной тирадой на тему «Да за кого вы меня принимаете!?», живо доложил:

– Двое уже есть. Я и машина, – и показал на неприступную чёрную «Волгу» в сторонке. – Мы с нею ищем...

«Волга» всегда производила неотразимое впечатление.

Лица не была исключением.

Не дав договорить Пендюрину, кинула:

– Можете не продолжать. Вашей тачанке повезло!

Они едва выжались из городской окраины, как в Пендюрине что-то серьёзно сломалось.

Он сперва держал себя в рамках приличия, попеременно с цепким интересом посматривал то на дорогу, то на девичьи колени.

Раздвоение никогда до добра не доводит, и его интерес принял ярко выраженную однобокость. Он сосредоточил свой глубокий и принципиальный интерес на её божественных коленочках.

– *Так* мы можем куда-нибудь не туда заехать, – осторожно уведомила она.

Он знающе улыбнулся и духоподъёмно запел в треть го- лоса:

– Пароход упёрся в берег,
Капитан кричит: «Впер-рёд!»
Как такому раздолбаю
Доверяют пароход?

– Вот именно! – довольно подкрикнула Лика.

– Нах! – усмехнулся Пендюрин и пустил свою чёрную тележку ещё круче.

– Вы не слышите? – забеспокоилась Лика. – *Так* мы можем куда-нибудь не туда ж залететь!

– Мне глубоко кажется, мы летим только *туда!* – ералашно выкрикнул Пендюрин, не отрывая хваткого взгляда от её коленей. – И чем быстрее, тем лучшей! У нас нет времени на медленный танец!

– А я вот сомневаюсь... Ещё вляпаетесь в аварию с железом⁴⁷. Для вежливого разнообразия вы хоть бы изредка поглядывали и на дорогу.

– Много чести этой дороге! Что, я её не видел? Лично мне дороже этот волшебный Млечный путь! – и он накрыл потной ладонью её коленку, так сжал, что где-то что-то, кажется, тревожно хрустнуло.

– Извините, у вас домик не поехал?

– Было б странно, если б при встрече с вами не поехал...

– Будьте благоразумны... Возьмите себя в руки...

– Не могу. У меня и так все руки заняты.

– Да перестаньте вы тайфунить! Распустили цапалки....

Вы что, со мной в одном танке горели?

– Это упущение исправимо. За честь сочту сгореть вместе с вами!

– Хорошо говорите... Не хватает вам только броневика...

Ой, ну... Не притесняйте, пожалуйста, мою коленку. Она вам ничего плохого не сделала... Ну не жмите же так! Неандерталец! Как вы смеете? Да что вы делаете?

– Мне глубоко кажется, я ничего не делаю...

⁴⁷ **Авария с железом** – дорожно-транспортное происшествие с крупными повреждениями автомашин.

– Но вы держите меня за коленку. И больно ведь!

«Живот на живот и всё заживёт!» – хотел успокоить он, но слова почему-то выбежали другие:

– Я тоже так думаю... Да, держу... Тут двух мнений быть не может... Но я, извините, ничего не могу поделать. Заклинило... Это у меня от столкновения с прекрасным... Я не могу разжать пальцы. Проклятый радик!⁴⁸.. Знаете, есть такие свиноподобные собаки... Как схватит и не отпустит мерзавка, пока кость не перекусит!

– Я слыхала про разных собак. Но на таких не нарывалась... Ой, тише!.. Да вы что, махнутый? Вы сейчас станцуете леньку-еньку!⁴⁹ Куда вы так летите, не глядя на дорогу?

Он сделал вид, что не слышал её и угрожливо загудел в пеньё сквозь зубы:

– Гаи, гай, м...моя звезда...

– У вас же машина для перехода с одного света в другой! – сердито прокричала она. – Куда вы так несётесь?

– Действительно, куда... – меланхолично бормотнул Пендюрин и на скучном вздохе пояснил: – Куда послал нас великий Ильич, туда и летим. Он ведь ясно сказал: «В области брака и половых отношений близится революция, созвучная пролетарской революции». Летим к созвучной...

– К-куда-а?

– К созвучной... – ещё меланхоличней проговорил Пен-

⁴⁸ **Радик** – радикулит.

⁴⁹ **Станцевать леньку-еньку** – попасть в аварию.

дюрин и на полном скаку крутанул руль влево.

Машина сорвалась с трассы на тоненький рукавчик, отбегавший сквозь сталинскую лесополосу на открытое поле.

Через какое-то мгновение «Волга» воткнулась в соломенную гору и пригложла.

– Вот мы, радость моя всенародная, и приехали к родимой револ-люции! – прохрипел Пендюрин, судорожно подпихивая под себя хрусткое молодое тело и ласково в пенье грозя:

– Изведу, замучаю,
Как Пол пот⁵⁰ Кампучию!

– Я, как умная Маша, доверилась вам! А вы? Что вы делаете с незащитной девушкой? Орангутангел! Что ж вы творяете напару со своим руководящим органом? – кричала снизу Лика, круче сжимая скрещённые ноги. – Оба ух и наглухи!.. Полканы!.. Тарзаны!.. Муджахеды!..

Кричала Лика без энтузиазма, просто для приличия. Высокий момент обязывал. Негоже приличной женщине без боя в первые же минуты знакомства сдавать в бесплатную аренду дорогие родные достопримечательности. А потому кричала не слишком громко, чтоб не привлечь внимание проезжающих и не отпугнуть своей невоспитанностью и гру-

⁵⁰ Пол Пот (1928 – 1998) – в 1976 – 1979 годах глава левозкстремистского режима «красных кхмеров» в Кампучии (Камбодже), осуществившего геноцид собственного народа. Из семи миллионов было уничтожено три с половиной миллиона человек. С 1979 года Пол Пот находился в эмиграции.

бостью орденоносного вождя краснокожих. Пусть знает, что и мы можем за себя и постоять, и полежать!

Пендюрин это прекрасно чувствовал и твёрдо ломил свою выстраданную в жестоких муках партлинию:

– Дрожит бедро...⁵¹ М-моя красавушка... Витаминушка Цэ... Да кончай ты этот брыкастый дрожемент...⁵² Эх! За-мыкаться б с тобой, марьяжушка, куда-нибудь на Канарики!.. Будут и Канарики с ненаглядными Багамиками!.. Будут!.. А пока... Не бойся, дуроська... Не бойся, святая моя первочка...⁵³ Закон абрека Болта-Мариотта... Честное партийное! Не трону! Ей-богу! Ёкс-мопс! Да ей же Богу! Да честное ж партийное!!.. Да!!!..

– Да знаю я ваше честное и особенно партийное! Какой-то махновец!.. Бельмандюк!.. Ну-ка!.. Ну!.. Дуболомное парткомарьё!.. С чужой коняги среди грязи ды-ыл-лой!

Лица осторожно попробовала скинуть его с себя – напрасные хлопоты. Энцефалитным клещом впился!

Это ей нравилось.

Но надо и не забывать подавать признаки борьбы. Этикет обязывает. Иначе что он после подумает о ней? Что она ударница лёгкого поведения?.. Сдаваться надо с гордым достоинством. Оптимистически! С верой в *свою* победу!

– Ужастик!.. Кузнец счастья!.. Я кому сказала, джигит?

⁵¹ **Дрожит бедро** – французская кинозвезда Брижит Бардо.

⁵² **Дрожемент** – дрожь, страх.

⁵³ **Первочка** – невинная девушка.

Ды-ыл-лой! В квадрате!

– Ах, леди, как вы запели⁵⁴... Мне глубоко кажется, вы недобросовестно информируете общественность, муси-лям-пампуси... Лежите вы не в грязи, а на бархате откидного кресла. Пятизвёздный лепрозорий!⁵⁵ Ленин с нами!⁵⁶ Чего ещё надо для полного счастья!? И потом... Какая ж вы чужая? Была чужая – стала родная!

– И когда ж вы породнились со мной?

– Не помню... С незапамятных времён!

– Ну... Если по-родственному... Где уж нам уж выйтить замуж, я уж так уж вам уж... – и мысленно: – «дам уж»...

С баловливым зовущим смешком она чуть развела ноги.

«Сейчас я ей впендюрю *ужа!*» – хорохористо подумал

Пендюрин и широко посветлел лицом, но скоро стал кисло морщиться.

– У вас что, *там* кактусы?

– Зашлите партгосконтроль. Проверьте...

Он привстал и увидел, что радостно курчавые золотистые ворота рая были прикрыты кукишем. Выходит, что он, Пендюрин, всё своё красноголовое счастье со всей партийной принципиальной ответственностью впихивал в синева-тый острющий коготок её большого пальца? Так жестоко посмеяться над первым лицом в районе?! Над самим генераль-

⁵⁴ **Леди запели** – рок-группа «Лед Зеппелин» (Led Zeppelin).

⁵⁵ **Лепрозорий** – международная гостиница.

⁵⁶ **Ленин с нами** – широкая семейная кровать.

НЫМ чабаном?!⁵⁷

Он онемело уставился на неё и не мог ни слова сказать.

Вот так дебютник! Вот так мочилровка! Вот так бенц!

Она ядовито засмеялась и с ласковой укоризной попеняла:

– Шофёры! Не вам ли сказано: «Бойтесь тех мест, откуда выбегают дети!»

Она не стала больше делать вид, что не знает, кто с нею, и дурашливо выкрикнула:

– Ну что, дорогой партайгеноссе неувядаемый Владлен Карлович! Вы убедились, что если низы не захотят, то верхи ни фигушки не смогут!?

Он тоже кинул открытые карты на стол:

– Ты права, Лика. Диалектика!

На радостях Лика уважительно взяла за уши Пендюрина, наклонилась к себе и вскользь поцеловала в щёку:

– Вот мы и познакомились!

– Поступило предложение обмыть наше знакомство, – сказал Пендюрин.

– Обмыть! Обмыть! – захлопала в худые ладошки Лика – Чтоб чистенькое было!

И побежала за скирд.

⁵⁷ **Чабан** – начальник отряда в исправительно-трудовом учреждении.

Бежать ей пришлось долго. Потому что скирд горбился на полстадиона. И пока забежала за него, было чуть не пролила сахарок.

Но всё обошлось, и к Пендюрину она возвращалась в добром расположении духа.

Она весело обошла машину.

Однако Пендюрин почему-то так и не попался ей на этом ответственном отрезке жизненного пути.

– Глуп Глупыч! Ау-у-у-у!!! – повыла она на все стороны.

Но и это не помогло.

От её воя Пендюрин не появился.

– Глу-у-упов! – строго позвала она.

– На своём боевом посту! – послышался откуда-то сверху его торжественный голос.

Она подняла голову и увидела Пендюрина на краю скирда. Пендюрин увешал себя венком домашней колбасы, как португеей. С плеча на бок, наискосок. В одной руке бутылка грузинского коньяка, а другая кончиками пальцев касалась виска. Служу Даме!

– Как вы туда взлетели?! – изумилась она.

– На крыльях ваших чар! – не опуская руку от виска, торжественно отрапортовал Пендюрин.

Он подал ей конец слезы, что была прислонена к скирду.

– Пожалуйте, ледя, отмечать наше знакомство на соломенных небесах! Предлагаю такое вот муроприятие.

Лица уцепилась за слегу, и он быстренько всталил её наверх к себе.

Они вырыли глубокое и широкое гнёздышко, весело плюхнулись в него и заворковали голубками.

– Пьём за знакомство! – Пендюрин поднял воображаемый бокал. – Говорят, каждая женщина должна быть Евой, умеющей создавать свой маленький рай вокруг себя. Пожелаем молодой хозяйке создать, – он обвёл взглядом соломенное, духовитое гнёздышко, – создать в новом доме рай: уют, тепло, покой, атмосферу любви, дружелюбия и жизнерадостности. Женщина – хранительница домашнего очага, и это её прямая забота. За хозяйку, за её тёплые, заботливые руки, за то, чтобы этот дом радовал наши сердца!

Лица не осталась внакладе.

– Сдвинем наши бокалы за дорогого Владлена Карловича, за того волшебника, который старается изо всех сил делать нашу жизнь из *так себе* и *не по себе* в *ничего себе* и даже в *о-го-го себе*. За здоровье милого друга! Ура!

Они *чокнулись*, и Пендюрин галантно подал ей бутылку коньяка:

– Играй горниста!

Не чинясь, она отпила прямо из горлышка несколько затяжных, колымских глотков и уже трудно подала бутылку назад.

Пендюрин не мог обойти себя, соснул пару глотков и повелел:

– А закусывать будем мной! – и потряс на себе портупейную колбасу. – Экзотики будет полный чувал! Только, чур, к *портупее* руками не прикасаться. И насквозь не прогрызать. Чтоб *домашний венок* не упал с плеча.

Они с хохотом рвали вкусную *портупею*, не забывая потесней прижиматься друг к другу. Коньяк добросовестно делал своё хулиганкино дело.

Пендюрину же казалось слишком долгим это предисловие. Он в нетерпении подторапливал:

– Всё! Кончаем грызть меня! Надо чего-нибудь оставить и на потом. Наливаем! Радостинка, ваш бокал!

Ли́ка поднесла воображаемый бокал.

– Держим ровней, сударушка... Та-ак... Слушаем новый тост... Гарем султана находился в пяти километрах от дворца. Каждый день султан посылал своего слугу за девушкой. Султан дожил до ста лет, а слуга умер в тридцать. Мораль... Не женщины убивают нас, а беготня за ними! Так выпьем же за то, чтобы не мы бегали за женщинами, а они за нами! Ведь женщины, как считает наука, гораздо выносливее мужчин и живут значительно дольше!

Ли́ка радостно покивала:

– Всё верно. Было сказано когда-то мудрецом: берегись козла спереди, лошади сзади, а женщину сверху. Ибо, если зазеваешься, она сядет к тебе на шею. Мужчины, если у вас

остеохондроз шеи, не запускайте его, лечите. А самое главное, всё же берегите зрение. Ваша зоркость на страже границ личного суверенитета!.. Дорогой! Я поднимаю бокал за то, чтобы тебя посадили в сто твоих лет – за изнасилование с извращением!

– Спасибо! Спасибо, родимушка! Буду стараться! Честное... партийное...

Он протянул ей бутылку, но она как-то вяло махнула ручкой, мол, я мимо.

– Я тоже мимо, – ословело качнулся он, всё же помня, что лез он на скирд не напиваться. – Армянский тост. Мне глубоко кажется, было это очень давно, когда горы Армении были ещё выше, чем сейчас. У скалы стоял обнажённый Ашот. На его голове была шляпа. К Ашоту подошла первобытная обнажённая женщина. Ашот прикрыл шляпой низ живота. Женщина сначала убрала одну руку Ашота, потом другую. Шляпа продолжала прикрывать низ живота. Так выпьем же за силу, которая удерживала шляпу!

Они *чокнулись*, но выпить не успели.

Нетерпение подожгло Пендюрина и понесло.

– Не бойся... не трону... Честное ж... партийное ж... – по инерции занудно заскулил он, вероломно подгрёбая её под себя.

– Не верю! – по-станиславски прочно крикнула она. – Тост за что был? Вы-пьем!.. Сначала надо выпить. А ты что делаешь?

– Ну?.. Чего ты?.. Неужели я не по-русски говорю? Ну не трону ж... Да ну ей-богушки!

– И глупо! – вдруг засмеялась она, инстинктивно обхватывая и прижимая к себе просторные пендюринские плечи.

Когда они проснулись, была уже ночь.

Тёплая, уютная сентябрьская ночь.

Пахло хлебом, свежевспаханной землёй.

Вдали, по трассе, блуждали редкие неприкаянные огни машин.

Пендюрин потянулся, вскинул высоко руки.

И тут он увидел, что так и спал, обвитый изъеденной колбасной портупеей.

– Хэх! Вот увидь члены нашего ебатория, что б подумали?

– Они б сперва спросили, что это за слово.

– Наши членюки как раз-то и преотлично знают! Я так окрестил бюро нашего райкома партии. А райком все у нас называют рейхстагом. Иной штрафник выскочит из нашей мозгорубки – не знает, в какую петлю и лезть... У нас это чувствительно... Ну... Ну что, продолжим наши парттанцы? Лёжа, лёжа да опять за то же? Молчание, я так понимаю, знак твёрдого согласия? Мне глубоко кажется, начнём с то-ста? Или без вступления?

– С...

– Хорошо. Подняли бокалы... Выпьем за товарища Ваню! И не за то, что Ваню имеет две машины и одну служебную.

Мы тоже не пешком ходим! Не за то, что Ваню имеет две квартиры и две дачи на берегу Чёрного моря. Мы тоже не в хижинах живём! Не за то, что Ваню имеет жену и трёх любовниц – мы тоже не с ишаками живём! Выпьем за то, что Ваню – честный и принципиальный человек. Он даже со взяток платит партийные взносы!

– Не желаю пить за партвзносы.

– А за девушку? В шестнадцать лет девушка жаркая, как Африка. В восемнадцать крутая, как Америка. В двадцать изъезженная, как Европа. В двадцать пять заброшенная, как Антарктида. Так выпьем же за то, чтобы и в Антарктиду хоть изредка заходили экспедиции! Так давайте скоренько выпьем и в Антарктиду! В экспедицию. Девушка – это звезда. А звёзды прекрасны ночью. Так поднимем наши бокалы за полярные ночи!

Им наскучила соломенная ямка, и они пирожком тихо слетели по длинному пологому боку скирда на землю.

Такая любовь на лету понравилась.

Но уже на пятом полёте, чувствительно исколов каравай и спину, Лика предложила поменяться этажами.

Это показалось Пендюрину несерьёзным. Ну не по чину ему быть внизу! Партпредводитель! Партайгеноссе! Первое в районе партлицо и вдруг – под слабой и беззащитной мурлеткой!⁵⁸

– Нет, нет! – сказал Пендюрин. – Этажи – дело принципиально незыблемое. Каждый – на своём этажике! Продолжим в прежнем ключе. Так романтичней! Ну кому нужна бесчерёмуха?⁵⁹

– Романтики набавится, если сам хоть разок пропадешь скирд голым ленинским местом. Боишься в кровь изодрать свой комбагажник?

– Грубо и бестактно, дольчик. С моим радикулитом первый мне этаж противопоказан. Могу ещё простудёхаться. Возможно осложнение... И вот что я вдобавок скажу... За несоблюдение партийной субординации выношу вам строга-ча с занесением в личное тело! – начальственно подкрикнул

⁵⁸ Мурлетка – красивая женщина.

⁵⁹ Бесчерёмуха – совокупление без возвышенных чувств.

Пендюрин и плотоядно откинул наверх край платья.

Лица кокетливо скрестила ноги:

– Никаких заносов! Не стреляй, голубаня, туда, откуда свою стрелу можешь и не достать.

Угроза?

Пендюрин хмыкнул, но всё же отступился от своего намерения, снисходительно погладил её коленку.

– Упоительные у тебя коленочки! И знаешь, когда меня на них зациклило? В тот день, когда я вручал тебе комсомольский билет. Было то сладкое времечко, когда я ещё первил в комсомоле... Увидал и сказал себе: не буду я Пендюорелли, если не поставлю на свой баланс эти коленочки! Как видишь, дядина мечта сбылась... Настроил пендюорочку...⁶⁰

– С той поры?! – ужаснулась Лица. – На ребёнка загорелся зуб? Да ты не углан ли ярыжный?⁶¹ Какой же ты, чупакабра,⁶² жесточара! Чья школа?

– «Вождя-с народов»! – хмелько выкрикнул Пендюорин. Ему хотелось побыстрее придавить закипающую ссору и он принялся за обстоятельную пояснюлку. – В Курейке, в сибирской ссылке, Сосо в возрасте Христа взял на болт тринадцатилетнюю крестьяночку Лидушу Перегрыгину. Явился сыночек. Лидин брат Ион хватъ будущего вождя за хибок и к жандарму. Пламенный «революционер» был отпущен только

⁶⁰ **Настроить пендюорочку** – пребывать в хорошем настроении после победы.

⁶¹ **Углан ярыжный** – человек, сожительствующий с несовершеннолетними.

⁶² **Чупакабра** – коммунист.

после обещания жениться на Перепрыгиной по достижении ею совершеннолетия. Да было бы обещано... Сбежал Сосо сразу от двух – от Лидии и ссылки... В семнадцатом в день революции и потом ещё несколько суток где он был? Все кругом суматошились... Что-то там в горячке захватывали, переворачивали... Сходки, сбежки, съездовня... Что-то решали, что-то принимали... Но почему ни под одним документиком я не увидел его закорючки? Где он был? Чем занимался? Не у него ли как раз тогда налетела своя персональная р-р-р-революция? В комплексе кто каруселился сразу с трио сестричек-подростков? Ну какая ж партсовесть позволит проигнорировать... принципиально не держать равнение на образцовый вождярский пример? А ты!..

Ли́ка не отозвалась. Она засыпала.

Её голова лежала у него на плече.

Прохлада ночи опахнула его.

Он поёжился, поудобней привалился к Лике в ямке, на-
двинул на себя и на Лику толстый ворох соломы.

Где-то вдалеке шумно играла улица. Пели.

*– Ленин Троцкому сказал:
«Пойдём, товарищ, на базар.
Купим лошадь карию,
Накормим пролетарию!»*

– На берёзе сидит Ленин,

*Курит валеный сапог.
А его товарищ Троцкий
Бежит с фронта без порток.*

*– Едет Троцкий на телеге,
А телега – на боку.
«Ты куда, очкаста розга?»
«Реквизировать муку!»*

*– Ох уж эта наша власть!
Никому позжить не дать:
На клопов, на мух, на блох
Накладает продналох.*

*– Едет Ленин на свинье
Троцкий на собаке.
Комиссары разбежались,
Думали – казаки.*

*– Сидит Ленин на берёзе,
Ну а Троцкий – на ели.
До чего ж, хриstopродавцы,
Вы Россию довели.*

*– Когда Ленин умирал,
Сталину наказывал:
Много хлеба не давай,
Мяса не показывай.*

– На лугу стоит корова.
Слёзы капаят в навоз.
Отрубите хвост по корень,
Не пойду я в ваш колхоз.

– Горевать мне нечего, –
Паши с утра до вечера.
А за эти трудодни –
Только палочки одни.

– По фабричному гудку
Прибегаю я к станку.
Снимаю я окалину
И шлю приветы Сталину.

– При подсчёте в сельсовете
Не хватило два яйца.
Прибежали в избу дети,
Второпях зовут отца.

– С неба звёздочка скатилась
На советски ворота.
Обложили продналогом
По три пуда с едока.

– «Комсомол, комсомол,
Ты куда шагаешь?»
«На деревню за налогом.
Разве ты не знаешь?»

– Нынче праздник – воскресенье,
Я лучше уберусь:
Юбку рваную надену
И верёвкой подвяжусь.

– Не хочу я, девки, замуж,
Ничего я не хочу.
Свою русую кудрявую
Доской заколочу.

– Как в вязноватовском колхозе
Зарезали мерина.
Три недели кишки ели –
Поминали Ленина.

– Встань-ка, Ленин, подивись,
Как колхозы разжались:
Пузо голо с кривым боком,
И кобыла с одним оком.

– Сошью кофточку по моде
И подвешу к зеркалу.
Мой милёнок – коммунист,
А я хожу в церковьку.

– Кабы знала девушка
На канал дороженьку,
Сбегала б, проведала

Своего Серёженьку.

*– С бригадиром я дружила.
С председателем спала.
На работу не ходила,
А стахановкой была.*

*– Неужели пуля-дура
Ягодиночку убьёт?
Пуля – влево, пуля – вправо,
Пуля, сделай перелёт!*

*– Ой, война, ты цело море
Горя нам доставила:
Лучших мальчиков сгубила,
Выбой нам оставила.*

*– Вот и кончилась война,
И осталась я одна:
Я – и лошадь, я – и бык,
Я – и баба, и – мужик!..*

*– Всё случилось ишто-крыто.
Стал возждём Хрущёв Никита.
Сталин гнал нас на войну,
А Хрущёв на целину.*

*– Я с женою разведусь
И на Фурцевой женюсь.*

*Буду щупать сиськи я
Самые марксистские!*

*– Не шуми, широко поле,
Спелую пшеницею.
Мы читаем всем колхозом
Повесть Солженицына.*

*– Как у Ваньки в заднице
Взорвалась клизьма!
Ходит-бродит по Европе
Призрак коммунизма.*

*– За Америкой бежали,
Спотыкаясь, долго мы.
Наконец её догнали
И взмолились: «Дай займы!»*

*– В министерстве нам велят
Доить тёлочек и телят
А прикажут из цэка,
Мы подоим и быка!*

*– На Малой земле победой
Брежнев не прославился.
Добывать себе он славу
На Афган отправился.*

– Если встретишь коммуниста,

*Подари ему гандон,
Чтоб случайно не наделал
Мудаков таких, как он.*

*– По деревне девки ходят,
Под тальянку ахают:
Почему в Стокгольм не едет
Академик Сахаров?*

*– Ой, до БАМа, ой, до БАМа
Не пускает меня мама.
Как туда приедаю,
Ворочусь с прорехою.*

*– По талонам – хлеб и мыло,
Без талонов – ни шиша.
Без талонов нынче вдоволь
Только на уши лапша.*

*– Масла больше не едим –
На витрины лишь глядим.
Колбасу мы видим в бане
Между ног у дяди Вани.*

*– Выбираем, выбираем,
И никак не изберём.
Чего время зря теряем?
Всё решит за нас райком*

*– Коммунисты нас терзали
Чуть не весь двадцатый век.
И до смерти затерзали
Миллионы человек...*

Пендюрин внимательно вслушивался в каждую припевку. Его грело, что в них бились те же беды, что не давали и ему покоя...

Улица уже разошлась.

А он, растревоженный, всё никак не мог заснуть.

Несмело уже светало, когда бдительный гидравлический будильничек разбудил Пендюрина и твёрдо запросился поскать по святым владениям благородной неваляшки.

Угарная ночь в скирде отлетела незаметно, и они оба пожалели, что надо собираться и ехать в какую-то Гнилушу.

Они спустились в машину.

Пендюрин включил приёмничек.

– Накинь чуть громкости, – сказала Лика. – Поёт «Дурак-дурак».⁶³ Какая песняга!.. Я её люблю. Накинь...

– Пожалуйста! Пускай каждый займётся любимым делом!

И неугомонная пендюринская красная шапочка ненасытно побежала гулять по сладкой норке.

– Глупов! Ну ты и нахалкер! Просто необъяснимый ката-

⁶³ «Дурак-дурак» – группа «Дюран-дюран».

клизм! Ну сколько можно огуливать нахалкой невинную де-вушку?

– Сама виновата. Будь ты старуха Изергиль, кто б на тебя и глаз уронил? А так... У нас короткое партсобрание... Поддержи карахтер... Чудок подзаправимся на дорожку... И с боженькой в путь!

Лику надоела уже эта вечная-бесконечная заправка.

Она безучастно смотрела вверх и увидела на потолке под плёночкой что-то написанное, взятое в чёрную строгую рамку.

Лику заинтересовалась, что ж там такое. Стала читать.

Жить для себя одного нельзя. Жизнь только тогда, когда живешь для других или хоть готовишь себя к тому, чтобы быть способным жить для других.

Лев Толстой

– Слышь!.. Глуп Глупыч!.. – Лику шатнула Пендюрина. – Что у тебя за дадзыбао на потолке?

Пендюрин молчал. Лишь угарно и часто дышал, как собака на охоте, только что притаранившая хозяину тяжёлую подстреленную утку.

– Сэр Глупов!.. Карла-Марла!.. – Лику уважительно постучала его по спине, точно стучала в чужую богатую дверь. – К вам низы обращаются за политиким разъяснением.

– Не мешай верхам! – буркнул Пендюрин. – Дай леопарду давление сбросить...

– Ты сначала ответь, а потом и разбрасывайся. А то я тебя

самого скину.

– Ну... Наглядная агитация... Почитай, закадычка, пока ещё молча, почитай... Скрась досуг...

Лику подивило, что весь потолок был усеян, как голубыми облачками, цитатами. Пока она, крутя головой, внимательно, без спеха читала их, Пендюрин успел вжать в норму давление. Но боевой пост не спешил покидать.

– Я погляжу, – хохотнула Лика, – ты превратил свой ка-тафалк в передвижной сексодром «Байконур». Если какая быстро не сдаётся, дожимаешь потолочными цитатками? А сдалась – лежи почитывай, просвещайся в культуре?

– Точно. Кабинет политпросвета.

– А почему у тебя на первом плане на потолке Толстой?

– А по важности!

Пендюрин нежно, с мягким покусыванием поцеловал её розовую коленку у себя на плече. Поцелуй – это звонок вниз. Лика как-то разом вся подобралась и в восторге ответила *там* троекратным пожатием-приглашением кузнеца счастья к продолжению любви.

Адъютант его превосходительства налился новой силой, и под встречные охи изумления с достоинством проследовал на самое доньшко восторженной радости...

Пендюрину вспомнилось...

Он был в седьмом классе, когда к ним в Елдаевку послали молоденькую учительницу по биологии и по физкультуре. Не наша, блин, пельмешка. Откуда-то с Валдая.

Новенькая так понравилась ему, что он на спор пролез на уроке под пятью партами и ласково погладил волшебную учительскую коленочку.

Непонятно почему учительница была не столько польщена, сколько оскорблена таким рыцарским вниманием к её трудовым коленям, и она за ухо выволокла чумрика из-под стола, всласть потрепала, потрепала, и как ненужную вещичку кинула-отправила это красное ухо в придачу с её хозяином за дверь.

А надо сказать, Пендюрин относился к учёбе подозрительно прилежно. Он не мог себе позволить того, чтоб легкомысленно скакать каждый год из класса в класс. Последние три класса он штудировал незнамо как серьёзно, а потому программу каждого из этих трёх классов он основательно проходил только за два года.

Несколько простеньких сложений, и вы без труда прибьётесь к выводу, что Пендюрин был намного старше сокласцев, и невооружённым глазом было видно, что новенькая учительница была ему по влюблённое сердце.

Если козла гонят в дверь, он лезет в окно.

Пендюрин так и сделал.

Он глубоко уважал дорогую французскую директиву про то, что женщину можно оскорбить, не приставая к ней. Он не хотел оскорблять свою пассию, а потому виновато-торопливо обогнул низкорослую школку, и уже из сада распахнул окно в свой класс.

Он возлѣг грудью на подоконник и деловито осведомился:

– Ну что, дети, мучимся?!

Молчат.

– Молодчуги! Все силы – тяжелухе!⁶⁴ Вы, шайтанчики-тушканчики, самостоятельно пока покопайтесь в тычинках-пестиках, а мы, – он ласковым пальчиком подозвал учительницу, и она доверчиво подошла, – а мы, – зашептал он ей на ухо, – займѣмся с тобой, валдайская козочка опущения,⁶⁵ главным уроком. Знаешь, каким? Молчишь?.. Даю второе дыхание.⁶⁶ Физкультурой. И по физкультуре у нас сегодня гимнастика на диване! Идѣт?

– Пендюрин! – зло шепчет она в ответ. – Ты что, опендюрился? Утратил пару шариков? Или начитался?⁶⁷ Совсем вытряхнутый... На всю головку больной?

⁶⁴ **Тяжелуха** – учёба.

⁶⁵ **Коза опущения** – учительница физкультуры (так как основное упражнение – наклон и подъём).

⁶⁶ **Второе дыхание** – подсказка.

⁶⁷ **Начитаться** – напиться пьяным.

– На обе-две! Тяжело болен на две головки. Обе – в жару! Дрын аж дымится! – и на миг торжественно предъявил ей на лопатной ладошке для профессионального обозрения в полной пролетарской неприкрытости и в полной боевой готовности к героическому труду своего бойца невидимого фронта. – Вот так, парашен-дервяшен! Послушай, бутончик, песню Кесаря⁶⁸... Сколько ты, тычинка,⁶⁹ ни выпячивайся, а мой пестик-убивец заутюжит к тебе в гости! Ясный же болт! Гляди. Ну аж дымится! Дождётся мой чукча в чуме рассвета!

Биологичка оказалась лукавым орешком.

Про свою задушевную беседу с Пендюриным она не стала докладывать директору. Ни ху, ни да, ни кукареку – ничегошеньки не сказала. А забежала с хитрого ходу:

– Наш Пендюрин – уникум! Очаровашка! Может, осчастливим им Сорбонну?⁷⁰

– В самом Парижике?

– Зачем утруждать молодое дарование такой далёкой дорогой? Не найдём чего поближе в районе Орловки? Или... Он так любит животных, так любит животных... Такое впечатление, что он сам... с замашками животного. Правда, по всем предметам у него удочки⁷¹... Я картину чуть подправлю, поставлю четвёрку по физкультуре. Вот достругивает он

⁶⁸ **Песня Кесаря** – «Песня косаря» (Чайковский П. И.).

⁶⁹ **Тычинка** – учительница по биологии.

⁷⁰ **Сорбонна** – школа для детей с замедленным психическим развитием.

⁷¹ **Удочка** («уд.») – тройка.

семь классов и не надо протирать ему штаны в восьмом. Если не в Сорьбонну, так, может, поскорей его к животным? На ту же свиноферму? Помогите определить в морковкину академию.⁷² Каждый крючок лови свой кусок! На животновода пускай учится. И чем скорее, тем лучше!

– Он что, ведёт себя на уроках, как скот, раз выпираете его в скотоводы? Чем этот пеструнец⁷³ вас допёк?

– Животной любовью! Не можете этим же летом определить этого удода в Сорбонну или в академию – я уйду от вас. Подыскивайте тогда мне замену.

– Никаких замен! У этого свиноёжика отец зоотехник. Подскажу, чтоб и сынок бежал по его тропке.

Летом Пендюрин приезжал из техникума на каникулы и летел крутить панты своей тычинке.

– Ты что? За труженицу лёгкого поведения⁷⁴ принимаешь меня? – отпихивалась она от его кобеляжа.

– Мне глубоко кажется, не по кайфу шуршишь, тралечка, – ласково уговаривал он, и она мягчала... – А насчёт приёма... Я принимаю тебя за ударницу коммунистического труда! За всю геройшу!

Но всё же на год-другой хватило буферястой сил выдержать из себя недотрожку, а там и – невечно ж драться, и когти притупятся! – сдайся.

⁷² **Морковкина академия** – сельскохозяйственный техникум.

⁷³ **Пеструнец** – ребёнок.

⁷⁴ **Труженица лёгкого поведения** – проститутка.

И тут приклеилась к Пендюрину чёрная беда.

Заболел *падучей*.

Неизлечимо.

Неустойчив стал перед женским вопросом. Как увидит занятную бабу, так и падает. Как увидит, так и падает... На бабёну... Вечный падёж...

А между тем сразу за морковкиной академией Пендюрин продавил и институт. Нашпигованный,⁷⁵ он первый год бегал зоотехником в колхозе и однажды удачно *упал* в лесополосе у свинофермы на *нужную* дамессу.

Была первым секретарём райкома комсомола.

Голосистая⁷⁶ дамесса была хоть ещё относительно молода, но неуклюжа и крупногабаритна, как бегемот. Муж, – ну ни жару ни пару! – тщедушный, субтильный типчик Кафтайкин со своим прыщавым леденцом, с этим застенчивым, тоскливым аномальным явлением, складывающимся в самый ответственный момент в варёную восьмёрку, жестоко удручал, а по временам и сильно бесил молодую комбонзу.

Но когда она наехала в сталинской лесополосе у передовой свинофермы на пендюринский стальной пик коммунизма, она поняла, что это уже склеенный кадр,⁷⁷ что нет и не будет на свете счастливей места для неё, чем эта кудрявая лесополоса у хуторской свинофермы.

⁷⁵ **Нашпигованный** – человек с высшим образованием.

⁷⁶ **Голосистая** – женщина в платье с глубоким вырезом.

⁷⁷ **Склеенный кадр** – прочная связь.

Её охватило такое чувство, что у неё поехал домик. Доехал до лесополосы у свинофермы и в радостном изумлении остановился.

Каждое утро она вскакивала ещё затемно.

– Ну чистая казнь на рассвете!⁷⁸ – сонно бормотал муж-военком, этот гнилушанский сёгун⁷⁹ Кафтайкин, и переводился на другой бок.

– Ка-азнь! Ещё какая казнь наша беспокойная комсомольская крутовня! – подпускала она туману, на скаку прикрывая за собой дверь. – Вечный замот! Ни выходных тебе! И в будни впотемени лети!

Она забывала причесаться и с кутерьмой на голове «Не одна я в поле кувыркалась» валилась за руль – она сама водила машину – и бешено летела в лесополосу у свинофермы на дамские вальсы с Пендюриным. Как она гордилась его главтрахом! Десять раз вокруг ноги, через зад в сапоги и на шее бантиком!

Каждый трудовой день они пылко начинали с вальса «Я встретил вас – и всё такое»...

После вальсов их сносило и на «Апассионату», и на балеты: «Красный мак», «Бахчисарайский фонтан», «Зори Парижа», «Табор уходит в космос», «Египетские ночи», «Молнии любви», «А зори здесь крутые», «Танец с саблями», «Матвей в аду», «Стон соломы»...

⁷⁸ **Казнь на рассвете** (армейское) – об утренней зарядке.

⁷⁹ **Сёгун** – военачальник, фактический правитель в Японии в XII–XIX веках.

Отвальсировали они неделю, отвальсировали две, но конца этой мандель де тревили не виделось.

Она была глубоко больна.

Как было всё запущено!

И ей чувствительно помогал лишь пендюринский перепихнин с повторинком. С многократным-с повторинком!

Как болезнь ни была запущена, но лечению всё же поддавалась.

И вот уже месяц дамесса Кафтайкина чувствует себя превосходно. Помог краснознамённый пендюринский долгостой.

А сам Пендюрин, наоборот, приуныл в своих сократовских думках: «А что мне с твоего хорошества? Мне это без разницы... чисто трактором. Ну что я вижу за все свои старания? Вечно таскай на лице и прочих дорогих местах одни твои руководящие узоры⁸⁰... Расписан, как боксёр после ринга. Мне, дорогой товарищ секретарь, одних узоров мало-ва-ато!...»

И находчивый Пендюрин робко выставь первый скромный счётёц:

– Будет ещё превосходней, поменяй мы адрес нашей клиники...

– То есть?

– Мне глубоко кажется, нерентабельно без конца петь в терновнике... Акустика плохая... Надо бы поменять для на-

⁸⁰ **Узор** – синяк на теле от поцелуя.

чала хоть фон нашей лесополосной клиники, – и показал на даром что передовую, но нудно визжащую свиноферму.

– Не понимаю. Давай, трах-тибидох, лупи в лоб!

– У меня нет слов... – крайне засмутился он.

Но у него достало сил опуститься на корточки, и он двумя пальцами, указательным и средним, важно зашагал по тропке в сторону райцентра.

– А-а! – уже шлёпнула себя в лоб дамесса. – Ладушки-ладушки! Наконец-то, бабик, дошло! Ясный перчик! Я и сама именно этого хотела! Да как-то всё не знала, пустёха бренделька, с чего начать... Не век же мне летать к тебе, факсимилейший Пендюрин, на хутор бабочек ловить... Ну нафига генсеку чирик?! Всё! Бросай свой аграрный вопрос вместе со свинюшками! Будешь под моим мудрым руководством пестовать в Гнилуше нашу ленинскую смену! Испытательный срок ты прошёл океюшки!

Она по курсу оценила его и больше не пожелала с ним расставаться.

Перевела к себе под бочок. Поближе к своей матчасти. В райком комсомола. На должность инструктора.

И розой зацвела жизнь у Кафтайкиной.

До праздника ещё недели две, а весь райком перекручивало. Напрочь бросалась повседневка, весь райком жил в едином нарастающем страстном порыве под негласным лозунгом «Все и всё – на большие комсомольские скачки!»

Праздничный гульбарий в тесном кругу комсомольского актива обычно устраивался где-нибудь на отшибе села в отдельной блатхате. И хата эта должна быть хатой проверенного лица рангом не ниже члена райкома комсомола. Голливудить собирались достойнейшие из достойнейших. Молодая гнилушанская элита. Муж не веди жену, жена не тащи мужа. У нас колупнёте чего послаще!

В этом-то и вся интрига.

По обычаю, Кафтайкина руководила всей подготовкой (в том числе и торфозаготовками⁸¹) и к последнему, к октябрьскому гульбарю, который, как правило, намётом перейдёт в вечеринку с сексом.

Она сама вела гульбарий.

Каждый должен был принести один тост, и теперь она строго следила во главе шумного стола, как все по очереди отстреливались автоматом.

Застолье колобродило.

⁸¹ **Торфозаготовка** – покупка продуктов к вечеринке.

Пило.

Закусывало.

Гремело.

Всё Кафтайкина пропускала мимо.

Её лишь интересовали тосты.

И она почему-то пыталась их все запомнить.

Наверное, это трудно сделать. Поэтому пойдём навстречу пожеланиям этой дамы и запишем их все по порядку.

Все до одного.

Опуская всё остальное.

– Есть предложение: отдадимся на этот вечер феномену БИ – благополучной информации застойного времени, иллюзии полного благополучия и сбросим гнёт наших забот... Да здравствуют песни, вино и радости жизни!

– Как-то советский работяга приехал по туристической путёвке в Индию. И пригласили его в гости к йогам. Когда все собрались за столом, хозяева поставили на стол бутылку водки, стали на неё напряжённо смотреть и... пьянели. Нашему туристу это очень сильно понравилось. Как только он приехал к себе домой, он тут же купил бутылку водки, пришёл домой, поставил бутылку на стол, сел и стал долго и напряжённо на неё смотреть. Через некоторое время он без чувств падает и умирает. Оказывается, он слюной захлебнулся.

Предлагаю выпить и закусить, иначе мы захлебнёмся слюной.

– Как известно, при социализме есть шесть смертных грехов противоречий: безработных нет, но все не работают; все не работают, но план выполняют; план выполняют, а ничего нет; ничего нет, а всё есть; всё есть, а все недовольны; все недовольны, а все – за! Сегодня у нас одно фундаментальное противоречие: водки нет, а все весёлые.

Выпьем за то, благодаря чему, несмотря ни на что!

– Самое популярное слово у нас *достать* и вот вы видите на столе экзотику – портвейн три семёрки или три топорика. Топорики – дело хозяйское, рачительное, значит, в самый раз выпить за успех затеянного нами дела.

– Сегодня у нас пирушка и веселье. Пирушки делятся на праздничные, свадебные, дни рождения, именинные, новосельные, юбилейные, наградные, отвалыные, то есть прощальные, привальные, то есть на привале, и таковые, то есть просто так, от нечего делать. Выпьем за все пирушки в нашей жизни!

– Чем больше мы пьём, тем больше трясутся руки. Чем больше трясутся руки, тем больше выплёскивается из стакана. Чем больше выплёскивается из стакана, тем меньше мы

пьем.

Так выпьем за то, что чем больше мы пьем, тем меньше пьем!

– На Лубянке прохожий спрашивает: «Где здесь Госстрах?» Ему отвечают: «Госужас – вот, а Госстрах – не знаем». Наш гость из Госстраха и может нас застраховать от несчастной любви и от затмения Луны. И уж точно страхует нас от скуки. Пьем за него!

– Скинулись три нищих академика на бутылку. Стоят и думают, как разделить бутылку на три части. Исписали все блокноты расчётами, а никак не сообразят. Мимо идёт Вася. Попросили они его помочь. «Мигом», – сказал Вася. Повернулся спиной и мигом разлил в три стакана поровну. «Послушайте, как вам это удалось?» – «Да это ж просто. По восемь булей!»

Так выпьем по паре булей и мы!

– Иду я как-то ночью через парк. Луна, звёзды и парень с девушкой целуются на скамейке. Иду в другой раз: луна, звёзды и тот же парень на скамейке целуется с другой девушкой. Иду в третий раз: луна, звёзды и тот же парень на той же скамейке целуется с третьей девушкой.

Так выпьем же за постоянство мужчин и за непостоянство женщин!

– Две янгицы⁸² под уиндбѳм
Пряли поздно ивнингбѳм.
«Кабы я была кингица, –
Говорит одна гирлица, –
Я б для фазера-кинга
Супермена б родила».
Только в Ыспичить успела,
Дор тихонько заскрипела,
И в светлицу входит царь,
Того стейту государь.
Во весь тайм оф разговора
Он стоял бихайнд забора.
Спич последний по всему
Крепко лавнулса ему.
«Что же клѳвая янгица, –
Говорит он. – Будь кингица!»
– За нашу кингицу!

– За нашу кингицу! – дружно гаркнуло всё застолье, и все
взоры и стаканы достопочтенно и резво в восторженном рывке
чуть шатнулись к мадам Кафтайкиной.

Она благодарно всем поклонилась и сиятельно пригубила.
И только потом все позволили себе выпить и легонько за-
кусить перед новым тостом.

– Снесла курочка яичко не простое, не золотое, а в кра-

⁸² **Янгица** – молодая девушка.

пинку. Дед удивляется, бабка удивляется, внучка удивляется. А петух посмотрел и сказал: «Пойду бить морду индюку!» Пошёл. Возвращается весь побитый, под глазом фонарь, хвоста нет, половины перьев нет...

Выпьем за презумпцию невиновности.

– Хочу признаться, что меня странно клонит на правый бок. Сяду прямо, а натура так и норовит свалить вправо. А что справа? Притягательная девушка. Так выпьем же за наши магниты!

– Девушка обращается к служащему зоопарка:

– Скажите, пожалуйста, эта обезьяна – мужчина или женщина?

Рядом стоящий грузин:

– Девушка, это самец. Мужчина тот, у кого есть деньги.

Выпьем за деньги! И за мужчин!

– Когда француз обнимает женщину за талию, его пальцы сходятся. Но это не значит, что у французов такие длинные пальцы. Это значит, что у француженок тонкая талия. Когда англичанка садится на лошадь, её ноги касаются земли. Но это не значит, что у неё маленькая лошадь. Это значит, что у англичанок такие длинные ноги. Когда русский, уходя на работу, хлопает жену по заднице, а приходит с работы и видит, что задница ещё дрожит, это не значит, что русские

женщины такие толстые. Это значит, что у русских мужчин самый короткий рабочий день!

Так выпьем же за нашу Конституцию!

– Выпьем за наши гробы из досок столетнего дуба, посаженного сегодня!

– Выпьем за нас, красивых. Ну а если мы не красивые, то мужики зажрались!

– Выпьем за парение над угнетённой жизнью!

– Курица убегает от петуха и думает: «Догонит – не дам-ся!». Петух бежит и думает: «Не догоню, так хоть согреюсь». Выпьем за то, что среди нас нет таких отсталых петухов, как, впрочем, и куриц с консервативным, несовременным мышлением.

За морально-политическое единство!

– Что такое сердце женщины? Улица шумная, сказка волшебная, прихоть минуты, тёмный лес и прозрачный ручей. Я бы выпил за прихоть минуты.

– Дети – это цветы жизни. Так давайте эти цветы дарить красивым девушкам!

– Да! Да! Пора! – поддержали все единым хором.

– А то девушки уже заждались подарков, – в один голос подкрикнула группка парней у края стола.

Быстро выпили, быстро закусили каким-то деликатесом вроде яичницы по-флотски⁸³ и торопливо стали парами упархивать, куда кому горелось. Кто на печку, кто в сени, кто в сад, кто в стог, а кто и в овраг сразу за огородом. В самом же деле, сбегались сюда не на обжираловку!

В хате в тени от разгромленного стола осталось лежать на ковре пять пар. *Инвалидики*. Эти неженки не выносили стоячей любви на холодном ноябрьском ветру и предпочитали крутить болеро⁸⁴ где-нибудь в тепличных условиях.

Впятероман.

Конечно, всем хотелось уединения.

Чего хотелось, то и получай. Закрой глаза – и вы одни на всём белом свете. А что рядом на полу ещё чебурашатся, так от этого всем веселей.

И только одна Кафтайкина осталась без фронта работ.

И ведёт себя престранно. Как баба Яга в тылу врага.

Она одна по-прежнему сидит за фестивальный стол и, трудно согнувшись, уложила тяжёлую голову на скрещённые руки.

Может быть, спит за столом.

А может, и не спит, что ближе к вероятности.

Как спать на боевом руководящем посту? Как спать, когда

⁸³ **Яичница по-флотски** – хлеб, посыпанный табачным пеплом.

⁸⁴ **Крутить болеро** – любезничать.

стоишь на маяке?⁸⁵

Народ молодой да горячий. А ну выпадет из кого искринка и спалит хату и всех близлежащих?

Такие потери ни к чему.

И за это уж спросится с самой Кафтайкиной. Весь этот фестиваль⁸⁶ она сама повесила себе на шею. Теперь сиди бди!

И пускай все видят, что она, Цезариха, вне всяких подозрений!

Всё шло своим чередом.

Мельница крутилась.

Гульбарий шуршал, постанывал, поохивал, попискивал, похохатывал...

Вдруг звонок сверху. С печки.

Кафтайкина *взяла* трубку:

– Алё!

Девичий тонкий голос:

– Это Сашин папа?

Кафтайкина басом:

– Да. Сашин папа.

– У меня к вам претензия. Мы с Сашей поженились...

– Когда это вы успели? Ну, чего тут нести голландию?⁸⁷

Он же пошёл на вечеринку холостой...

⁸⁵ **Стоять на маяке** – быть на страже во время совершения преступления и предупреждать соучастников об опасности.

⁸⁶ **Фестиваль** – вечеринка со спиртным.

⁸⁷ **Нести голландию** – лгать.

– А теперь уже женатый. Мы поженились между третьей и четвёртой рюмками. Всё, ёк-макарёк, процесс пошёл... У нас идёт первая брачная ночь. И ваш Саша весь в позоре! Что же вы не подготовили его к суровой семейной жизни?!

– Дай-ка ему трубку... Сашуня, сынок... Пошто ты так опозорил меня? Так ударить в грязь яйцом!

– Папа! Я же рос в советской школе! В колхозном комсомоле!

– А я думал, ты рос у меня в семье...

– Хэх! У тебя! Папа! Да ну откуда я мог знать всю эту весёлую механику? Ну разве ты не знаешь, что у нас секса нет?!

– А откуда ты взялся?

– По партийной разнарядке из рейхстага принесли! Партия подарила!

– Оно и видно... Тогда слушай... Запоминай... У тебя на теле есть вырост, а у девушки – ямочка. Постарайся своим отроском попасть в эту ямку. А дальше Бог тебе поможет.

Через час снова звонок:

– Это невозможно! Он всё время упирается мне носом в пупок и заклинает: «Господи, помоги! Господи, помоги!!! Господи, помоги!!!»

Кафтайкина сердито *бросила* трубку.

– Эй! На печке! Вы что, верующие?!.. И как эти баптисты внедрились в члены райкома? Надо разобраться...

Улеглись наковёрные страсти, затихло всё и на печке.

Большие комсомольские скачки наконец-то слились в смиренные, довольные полежалки.

Кафтайкина приподняла лицо, глянула в тень от стола.

Увиденное несколько напомнило ей фрагмент батальной эпопеи «После битвы».

Всё валялось враскид, вперемешку.

И богатырский молодой храп наводил ужас на голодных мышей – взапуски летали по загазованным⁸⁸ тёплым горкам.

Кафтайкина довольно вздохнула и на цыпочках покралась от этого адажиотажа к выходу.

В чулане старая напасть.

Бабслейленд тут ещё продолжался.

Молодые искатели экзотики принимали процедуру любви на коленях.

– Оппаньки! А это что ещё за веники-ебеники!?! – возмущилась она, и со всей партийной прямоотой тут же вынесла свой приговор: – На коленях – унижительно! Кончайте этот беспардонный биатлон! Почему вы не берёте на вооружение уроки и наказания наших пламенных революционеров? Разве я вам не рассказывала? Про опыт пламенец...

– А-а! – перебили её. – Как же! Ещё как помним!.. Петька с Чапаем воевали в Испании. Только не понимаем, чего они там забыли? Ну... Идут по городу и слышат крики. Чапай: «Петька! Сбегай узнай, кого там славят!» Возвращается

⁸⁸ **Загазованный** – пьяный человек.

Петька и говорит: «Э-э... Какую-то Хлорку там Эббаннулли!» – «А она чего кричит?» – «А она кричит: вкусней стоя, чем на коленях!»

– Так для кого говорила наша славная пламенец? Почему опыт закалённых борцов ничему вас не учит?

– Ещё ка-ак у-учит... Стоя – слаще, но на коленях – трудней. Мы учимся преодолевать трудности. Готовим себя к суровой борьбе за коммунизм...

– Ну, готовьте, готовьте, – и пошла во двор.

А там и на сеновал. К Пендюрину. Небось, заждался сладкого гостинчика!

Уж тут-то их никто не увидит. Уж ни один язык не кинет худого слова про неё.

Ей нравилось, что всё у неё с Пендюриным шло очень уж идейно.

Пендюринский маяк социализма внагляк зашкаливал за четверть метра. Разве это не повод для радости? Высота маяка социализма чёткая. Двадцать пять сантиметров. Пендюрин проскочил социализм и, по секретным уточнённым сводкам гнилушанской колодезной статотчётности, весёлыми временами твёрдо дрейфовал в сторону тридцати сантиметров, к маяку коммунизма. Разве это не символично? И не отраднo?! Мы *во всём* на правильном пути, ёрики-маморики!

И этим своим маяком коммунизма ка-ак он её инструктировал на сеновале!

«Она полюбила меня с первого замыкания. Чуть не попала на тридцать второй пикет!⁸⁹» – вспомнил он первый их схлест в лесополосе у свинофермы и почему-то хохотнул.

Кафтайкина тоже с восторгом вспоминала то первое замыкание в сталинской лесополосе, когда она от счастья невольно измазала свои формы содержанием. Благо, рядом была свиноферма. Пендюрин принёс оттуда два ведра воды, и скоро бесформенные формы Кафтайкиной снова невинно заблестали своей партийной чистотой.

Эффект первой встречи чуть было не повторился и сейчас, на сеновале.

Ну Пендюрин! Ну Пендюрин! Полный пимпец!

Ох и доходчиво и убедительно он её *инструктировал* подохи жирной хавроньи за хворостяной стеной! До ножа хавронье оставалось с месяц.

Ка-ак же он на полном закосе⁹⁰ вбубенивал, ка-ак *инструктировал* цветочек своей жизни Кафтайкину и в райкоме прямо на её же руководящем столе! Ка-ак же!.. И главное, без отрыва от дорогого производства по коммунистическому воспитанию подрастающей смены!

Так *инструктировал*, так *инструктировал*, что просто было бы большим преступлением держать его на поводке рядового инструкторёнка.

⁸⁹ **Попасть на тридцать второй пикет** – умереть. (То есть попасть туда, где закапывают умерших заключённых.)

⁹⁰ **Закос** – вдохновение.

Она не хотела никаких преступлений, ни больших, ни маленьких, никаких неладов с законом. А потому...

Раз *всё* у него с нею получалось, скоро он был уже замзавыч. А там уже вторым лицом в комсомоле, а там и первым, поскольку сама Кафтайкина тоже не забывала расти. Она доросла до первого секретаря райком партии, а Пендюрин дорос до креслица первого лица в райкоме комсомола. И параллельно всё увлечённой *инструктировал*.

Дамесса Кафтайкина доросла до обкома партии, а своё первое креслице в райкоме партии она из рук в руки торжественно передала своему верному пролетарскому перпендикулярю Пендюрину с высочайшим повелением:

– На память вытатуируй мне на бритом моём лобке одно-единственное слово *туалет*. Это всё, что осталось светлого у меня в жизни.

– А если сёгун прочтёт мой автограф?

– Мой дистрофан уже давно ничего *не читает*... Он даже спать ложится в очках, чтоб сон разглядеть.

– А как расшифровывается *туалет*?

– Очень нежно... Бери первые буквы... Ты Ушёл, А Любовь Ещё Глеет... Вот и весь *туалет*... Память о тебе... Вот состарюсь... Свалюсь, выпаду на пенсию... Буду смотреть на твою руку и вспоминать тебя... все наши радости... Но это в будущем. А сейчас... Ты изменял мне со своими жёнами... Я это великодушно терпела. Но если, Долгоиграйкин, изме-

нишь мне с какой-нибудь там дротьюкой⁹¹ – я сделаю тебе мичуринскую прививку.⁹² И можешь, факсимилейший, заказывать привет с кладбища!⁹³ Ты таблетки на меня не выворачивай!

– Оглушиссимо!!! Мне глубоко кажется, полный отруб!.. Матуня!.. Роднуха!.. Святочка!.. Да под кого ты метро роешь? Да неужель я подлая бледная спирохета?! Я твой одномандатник⁹⁴ до родных огоньков коммунизма!!!⁹⁵

– Ух ты, едрёна кавалерия! Блеск-шик! Ладно... Моё тебе полненькое вериссимо, мой ненаглядик автотовелофото-телебарадиолобитель! Спрячь агитатора⁹⁶ и слушай. Верное у тебя, огрызок ты моего счастья, партийно-постельное ориентирование. За это всегда рассчитывай на меня, на свою принцессу Дурандот. Огребёшь целиком!.. Помни, поющая оглобля, блат от неупотребления портится. И я тоже.

⁹¹ **Дротьюка** – невзрачная девушка.

⁹² **Мичуринская прививка** – членовредительство.

⁹³ **Привет с кладбища** – гроб.

⁹⁴ **Одномандатник** – мужчина, сохраняющий верность своей партнёрше.

⁹⁵ **Огни коммунизма** – крематорий.

⁹⁶ **Спрячь агитатора** – замолчи.

Глава четвёртая

«Орлам случается и ниже кур спускаться;
но курам никогда до облак не подняться!»

1

Со своей *падучей* Пендюрин наверняка *упадёт* высоко!

Было такое предчувствие.

Как человек осмотрительный он не чурался поддерживать добротные связи с начмудиком⁹⁷ в областной спецрембазе болтов и мохнаток.⁹⁸

Пендюрин очень гордился дружбой с ним. Этот начмудик очень долго раньше работал в органах.⁹⁹ Видный работник органов!¹⁰⁰

Выбился в замы.

И всякий раз, когда Пендюрин с возможным тайным подношением заскакивал в триппер-холл¹⁰¹ к начмудику на ого-

⁹⁷ **Начмудик** (начмед) – заместитель главного врача по лечебной части.

⁹⁸ **Рембаза болтов и мохнаток** – кожно-венерологический диспансер.

⁹⁹ **Работать в органах** – быть гинекологом.

¹⁰⁰ **Работник органов** – врач-гинеколог.

¹⁰¹ **Триппер-холл** – кожно-венерологический диспансер.

нёшек, он прежде всего каялся:

– Налегке грешен... Боюсь я, петух гамбургский, подхватить на конец удовольствия... Успокойте ёжика в тумане... Посодействуйте... Пускай кто из ваших доверенных посмотрит, не обзавёлся ли я первыми радостями персоны нон грата?¹⁰² Или, может, я давно уже лауреат всяких там премий!¹⁰³

Беспокоиться ему было отчего.

Как человек пунктуальный он обязательно фиксировал все свои достижения – иссёк дверные косяки зарубками.

Однажды он встречался с корреспондентом. И после опорожнённого бутылёчка корреспондент вывалился из-за стола в променаж по дому в одних носках. Наткнулся очумелым глазом на эти засечки и спроси, что это за штуки.

В первый миг Пендюрин и не знал, что ответить.

– Да, – буркнул, – это русский народный орнамент... Ну... Деревянное зодчество такое...

– Слышь, Глупов! Ты где-то в облаках! – Лика постучала его по спине. – Спустись, пристебон,¹⁰⁴ чудок пониже... Ты о чём думаешь на моей территории?

– С каких это пор моё точило¹⁰⁵ стало твоей территорией?

¹⁰² **Персона нон грата** – человек, болеющий сифилисом в открытой форме.

¹⁰³ **Лауреат премий** – человек, заражённый одновременно несколькими венерическими заболеваниями.

¹⁰⁴ **Пристебон** – высокомерный человек.

¹⁰⁵ **Точило** – дорогой автомобиль.

– Да нет. Моё тело было и навеки будет моей территорией.
– Скажи, как тонко подмечено...
– Так об чём твои высокие думы?
– Только о тебе! – автоматом соврал он.
– Да ладно тебе. И чего сплетни сплетать? А этого сладкого зачем подлепил? – показала она на цитату Горького на потолке

Если враг не сдаётся, – его уничтожают!

– Чтоб боялись и быстрее сдавались... Не зря по полю цитаты пририсовал я стреляющий пистолет. Вот ахов писателёк-гуманистик... Против своего народа так – враг! Особенно против кулака, главного кормильца России...¹⁰⁶ Его хлеб ел и звал к его же уничтожению! Наш сладенький вложил в руки комвождюков лозунг-автомат, и те рьяно отправляли «на перевоспитание» миллионы лучших людей России... И что в итоге? Как видим, в фашистскую коллективизацию уничтожили кулака – накрылись вечным голодным тазиком. Мёртвый, истреблённый советской властью кулак уничтожит эту самую советскую власть. Голод может и не такое!.. Как и верховный Лукич,¹⁰⁷ не жаловал наш сладушка и интеллигенцию. Для современников он был «предателем лучших

¹⁰⁶ Смотрите в «Правде» от 15 ноября 1930 года статью М. Горького «Если враг не сдаётся, – его уничтожают». Так же назывался и сборник его статей, выпущенный Гослитиздатом в 1938 году.

¹⁰⁷ **Лукич** – один из псевдонимов В.Ленина.

заветов интеллигенции».¹⁰⁸ Да что кулаки? Что интеллигенция? Такое впечатление, что в советские годы наш сладенький только тем и жил, что науськивал «стражу пролетариата» на каких-то вечных мифических врагов, которые вагонами мерещились ему в каждом сучочке. Даже в тридцать пятом, за год до смерти, он всё канифолил мозги через «Правду»: «17 лет партия Ленина-Сталина непрерывно борется с вредителями... 17 лет стража пролетариата вылавливает и уничтожает шпионов европейского капитализма... Мы живём в состоянии войны – вот что нам нужно помнить, не забывая ни на минуту. В нашей среде, оказывается, прячутся мерзавцы, способные предавать, продавать, убивать. Существование таких мерзавцев недопустимо... Враг вполне заслуживает непрерывного внимания к нему, он доказал это. Нужно чувствовать его, даже когда он молчит и дружелюбно улыбается, нужно уметь подмечать иезуитскую фальшивость его тона за словами его песен и речей. Нужно истреблять врага безжалостно и беспощадно, нимало не обращая внимания на стоны и вздохи профессиональных гуманистов».¹⁰⁹

– Глупов! И ты всё это помнишь наизусть!?! – изумилась Лика.

– Я встречал чумиков, на память знали всего «Евгения Онегина». А тут несколько строк... Да и по работе всё это на-

¹⁰⁸ Статья М. Горького «О цинизме». («Правда», 30 января 1931 года.)

¹⁰⁹ Смотрите «Обращение Максима Горького к Съезду Советов Горьковского края». («Правда», 2 января 1935 года.)

до долдонить. Все печёнки прожгла эта глупиздика... Не мешай. Не отвлекай... Наш сладуша постоянно «разделявался» с чудищами врагами, высосанными из волосатого мизинца, и не забывал покрикивать: «Да здравствует наша партия, неутомимый, зоркий вождь рабочих и крестьян!»¹¹⁰ И как мог «вождь народов» его не любить? Наш сладкий как-то похвалился: «Меня нельзя упрекнуть в идеализации крестьянства».¹¹¹ Что да, то да. Тот-то он в 1921 году в Берлине мечтал... Ох-хо-хо... Крестьянам, «народу-богоносцу», он что сулил? «Вымрут полудикие, глупые тяжёлые люди русских сёл и деревень – все те, почти страшные люди, о которых говорилось выше, и их место займёт новое племя – грамотных, разумных, бодрых людей». Это-то про нас с вами!.. Мы ж с вами корешками оттуда, от сохи... Значит, мы «полудикие, глупые тяжёлые люди русских сёл»?.. Получается «максимально горько». Ах тебе!.. Вот такой он был, папайя-мамайя соцреализма. Разве всё это воткнёшь в гимн о его человеколюбии? А Гитлер тоже припадал к Ницше. Выходит, наш Главсокол и Главбуревестник¹¹² с фюрером кисли на одних дрожжецах? Эха, горький буревестничек... Трудолюбивый Горький сине горел желанием порулить всей державой напару со Сталиным. Но Сталин твёрдо оттёр-таки его в сторонку, подальше от руля. Самому хотса! Один чтобушки...

¹¹⁰ «Правда» от 25 февраля 1931 года. Статья «10 лет Советской Грузии».

¹¹¹ Статья М. Горького «Мой привет». («Правда», 6 – 7 ноября 1927 года.)

¹¹² Главсокол, Главбуревестник – М. Горький.

Пендюрин немного помолчал и продолжал так:

– А ведь вся Россия выбежала из крестьянских ворот...

И Лев Толстой вот как говорил о русском крестьянине, «человеке-богоносце»: «Я так люблю русского мужика, что даже запах его пота мне приятен». Хорошо! Разве это можно сравнить с кровавым мозгоклюйством нашего сладуши, певца ГУЛАГа? В порыве откровенности он заверял: «Я искреннейше ненавижу правду!»

– Бэмс! Да с *этим* можно мозжечокнутья! – сердито выкрикнула Лика. – Ну... Хватит об этом кисленьком-сладеньком!

Пендюрин уже подъезжал к Гнилуше.

В дверное оконце Лика увидела на обочине кривой стенд.

– И такой большой! Остановись, ямщик. Дай прочитаю.

Пендюрин нехотя затормозил.

– Скажи, а что вон это? – Лика потыкала пальцем в верх стенда. – Какой то «Оральный кодекс строителя коммунизма»... Может, моральный? У тебя тут нету ошибочки?

– А почему у меня?

– Стенд стоит на территории чьего района? Не твоего?

– Район мой... Стенд мой... Всё так... Подумаешь, трагедия века... Ну какой-то дурик с кукушкой грязью мазнул, умкнул эм. Вот и получился *оральный*.

– Значит, ошибулька есть?

– Нету! – сердито буркнул Пендюрин. Он не любил, когда

ему возражали. – Оральный от слова *орать*. У него целая тележка разных значений: и пахать землю для посева, и громко говорить, и громко петь, и в крике воспитывать!..

– И кого ж вы воспитываете на ходу?

– Тех, – вмельк глянул он на потолок, густо усеянный листками с цитатами, – тех, которые сразу не отделились... Бессовестно забыли Божий наказ «Блаженнее давать, нежели принимать»... Пускай почитают тормознутые хазарки-цесарки, проникнутся высокими идеями... Глядишь, высокая совесть заговорит, дойдут, что блаженнее всё-таки давать... Одним словом, дозреют до исторической важности момента и...

– О! Ка-ак перевоспитываете! Какой же ты, Пендюрин, идейный нахапет! Интересно... Надо почитать!

И она прилипла глазами к стенду. Стала читать.

УТВЕРЖДЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ МОРАЛИ

Партия считает, что моральный кодекс строителя коммунизма включает такие нравственные принципы:

– преданность делу коммунизма, любовь к социалистической Родине, к странам социализма;

– Особенно впечатляет советская горячая любовь на танках к пражанам в шестьдесят восьмом, – вставил Пендюрин. – Советские танки спасли социализм! Как гуси Рим!

– *добросовестный труд на благо общества: кто не работает, тот и не ест.*

– Чистейший плагиат! – воскликнул Пендюрин. – Этот главный лозунг коммунизма наши верховные партайгеноссе коммуниздили из Библии!¹¹³ – И назидательно уточнил: – Кто не даёт, тот не ест белый хлебушек с маслицем!

– Не мешай просвещаться. Едем дальше...

– ... *забота каждого о сохранении и умножении общественного достояния;*

– *высокое сознание общественного долга, нетерпимость к нарушениям общественных интересов;*

– *коллективизм и товарищеская взаимопомощь: каждый за всех, все за одного;*

– А у нас пока как получается? Каждый на всех и все на одного, – постно пояснил Пендюрин.

Лица сделала вид, что не слышала его и с тоской читала дальше:

– *гуманные отношения и взаимное уважение между людьми: человек человеку – друг, товарищ и сват;*

– Тпру-у! – вскинул Пендюрин руку. – Ты что читаешь?

– Что написано... *Друг, товарищ и сват...*

Пендюрин внимательно всмотрелся в стенд и присвистнул:

¹¹³ Через много лет это подтвердил руководитель компартии России Зюганов. (Смотрите на страницах 593 – 604. материалы В.В.Путина «Ленин заложил под Россию «атомную бомбу».)

– Действительно... На месте и труп, и сват... И тут народные умельцы постарались. Подправили... Надо подослать своего малёвщика. Пускай напишет всё как следует. Тыщу раз пролетал мимо и не видел. А областная власть может и увидеть... Хвостик обдёргает за такую агитацию. У нас *это* строго.

– Пендюрин! А как должно-то быть?

– А ты не знаешь?

– Знала б, не спрашивала.

– Голова!.. Запоминай... Друг, товарищ и брат!!!

– Значит, – Лика снова прилипла глазами к строчке на стенде, – *человек человеку – друг, товарищ и брат.*

Лика толкнула локтем Пендюрина в бок:

– Ну-ка, мозгодуй,¹¹⁴ доложи, кто я тебе сейчас? Друг, товарищ или брат?

– Всё в комплексе. Сестра!

– Милосердия?

– Стогостона...

– Хоть не кодекса... – вздохнула она и продолжала читать вслух:

– *честность и правдивость, нравственная чистота, простота и скромность в общественной и личной жизни;*

– *взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей;*

– *непримиримость к несправедливости, тунеядству, нечестности, карьеризму, стяжательству;*

¹¹⁴ **Мозгодуй** – лектор, агитатор.

– дружба и братство всех народов СССР, нетерпимость к национальной и расовой неприязни;

– непримиримость к врагам коммунизма, дела мира и свободы народов;

– братская солидарность с трудящимися всех стран, со всеми народами.

– Опа-а... Не хухры-мухры, – бросила Лика.

– Вот тот-то! Сплошняком проституцион... Этот же кодекс безо всяких уточнений на листке вон приклеен у меня к потолку. Читай. То же самое. Что в реалиях и что на бумажке? – ткнул он в потолочный кодекс. – О! Но – помогает! Как какая несознательная прочитает последний пунктик про солидарность всех со всеми, сразу начинает ёрзать. Совестишка просыпается! Балласт¹¹⁵ вперёд, амбарчиком пускается зазывающее играть. И смотришь, пошла сдавать гордые рубежи. Раз партия сказала – не моги артачиться!

Лика на вздохе неторопливо обошла глазами на потолке пендюринский цитатник.

– Глупов! Я за старое... А ты свой Пежо¹¹⁶ превратил в борделино...

– А разве кто-то спорит? При обкомах, при райкомах есть методические кабинеты политпросвещения. А чем тачанка первого секретаря не филиал этого самого кабинета политпросвета на колёсах? Человек ни секунды не может быть

¹¹⁵ **Балласт** – женские груди.

¹¹⁶ **Пежо** – автомобиль «Запорожец».

неохваченным политвниманием!

– Тюк! Тюк!! Тюк!!! Села, огляделась, начиталась и – принимай горячий партградусник?

– Но ничего не потеряно, если *процедура* пошла раньше читок. Лежи под партправителем и усердно просвещайся. Повышай свой общий идейный уровень!

– А если ледя, даже начитавшись, ну никак не дозревает до *процедуры*?

– Вот этого диссидентства вперемешку с анархией нам не подавай! Читай всё ещё и ещё раз. Как сверху велено? Учиться! Учиться!! Учиться!!! Трижды было твердолобикам велено! Читай и срочно дозревай!

Пендюрин ехал быстро.

И на поворотах не сбивал скорость.

После каждого поворота горделиво докладывал:

– И на этом, муси-люси, в масть легли!

Скоро наскучили ему эти доклады, и он хозяйски погладил, потискал её налитые, торжественные колени.

– Мы ж чужаки, – буркнул он. – Давай хоть толком познакомимся.

– Опс! Здрасти-мордасти! Ну ботаник!..¹¹⁷ Всю ночь лямур-гужур... Знакомились, знакомились, но так и не познакомились? Начинай сначала?

– Я не *то* стерёг в виду. Расскажи про себя... Хоть мы и

¹¹⁷ **Ботаник** – пожилой мужчина, ухаживающий за молодой женщиной.

живём долго в одной Гнилуше... Видел я тебя, комсомольскую активистушку, лишь с трибуны да на улице где со стороны. А так... В душу не забегал...

– А тебе нужно и в моей душе потоптаться в грязных сапогах?

– Не гони волну... Давай за жизнь полалакаем. Вот после школярии чем ты горела заниматься? И что ты делаешь сейчас?

– Дистанция страшного размера...

Ухаб её шатнул.

Она нечаянно заглянула в зеркальце над Пендюриным и ужаснулась.

– Какой изумизм! Что за причесон? Волосы палками... Воистину, «я упала с самосвала, тормозила головой!» Я, конечно, извиняюсь...

Она наспех причесалась, достала пудреницу, наканифолила хорошенькую мурлетку¹¹⁸ и успокоенно уставилась на дорогу.

– Так чем собиралась заняться после школы? – напомнил Пендюрин.

– Разбежалась ковыряться всю жизнь в истории комсомола, а кончила химический. Химоза!¹¹⁹ Но веду начальные классы... Всё так наразляп... Этого дела вокруг пальчика не

¹¹⁸ Мурлетка – лицо.

¹¹⁹ Химоза – учительница химии.

обкрутишь... Ещё вот классная кикимора¹²⁰... Вышла в люди пешком по шпалам...

– И всё гладенько, как твоя коленка? Какой-то слушок ползал...

– Как же без слушков? На четвёртом курсе вlepёхалась старая херзантема¹²¹ в одного дефективного переростка с первого курса. Такая безответная агу-агу¹²²... На картошке дело спелось... Родная партия кинула клич: «Товарищи колхозники! Поможем студентам убрать урожай!» То ли убирала, то ли помогала... Я и так, я и сяк выгуливала своего вшивотёнка... Не поддаётся неумомный разложению! Хоть что ты ему – не распадается на атомы! Упёртый... С таким проще в сосновый лечь чемодан!¹²³ Вернулся с картошки девственником. Не я буду, сорву с него этот орден! Раз я и возьми почти килограмм солнцеудара и к некувыре в мужланское общежитие. Кругом хламиссимо... Ну... Где-то за стенкой то ли музыка, то ли поют... Ну прямо тебе мужикальное чуввилице... Сидим, тихонечко дуем... Я постукиваю по лёгким.¹²⁴ А мой олимпик¹²⁵ – ни-ни. Я химичка, я уже прибалдела до потери реакции. Полный пердимом-

¹²⁰ **Классная кикимора** – классная руководительница.

¹²¹ **Херзантема** – сексуально озабоченная женщина.

¹²² **Агу-агу** – любовь.

¹²³ **В сосновый чемодан лечь** – умереть.

¹²⁴ **Стучать по лёгким** – курить.

¹²⁵ **Олимпик** – студент, не сдавший зачёт по физической подготовке.

нокль!¹²⁶ А он физик, его надо доводить до стадии потери сопротивления. Проблем полный карманелли... Вижу, винцо-то мой козерог¹²⁷ не забывает дуть-подувать. Ну, на себя работа не барщина. Да признаков приближения к потерям никаких! Базука-а... Ску-ко-ти-и-ща-а... Форменное мушесонье. Тары-бары-растабары... А тут ещё мой мутант всюю раскис и прилёг на край стола спаточки... Я на последнем горе и запой:

– Надоело мне в Гнилуше
Выкаблучивать кадрили!
Милый, сделай обрезанье
И уедем в Израиль!

И вдруг я тут слышу:

«Это кто там у нас отбывает в Израиль?! Выездные завелись?»

Хип-хоп! Мама родная! Облава! Сама коменда!¹²⁸ Хипеш до небес. Грянула такая херширезада!¹²⁹ Коменда орёт на молокососика: «У нас что, сучий домик?»¹³⁰ У нас что – кильдымок!?!¹³¹ Ты почему посмел привести порядошну девушку в

¹²⁶ **Пердимонюкль** – о чём-либо превосходном.

¹²⁷ **Козерог** – студент-первокурсник.

¹²⁸ **Коменда** (студ.) – комендант общежития (о женщине).

¹²⁹ **Херширезада** – сюита Н. А. Римского-Корсакова «Шахерзада».

¹³⁰ **Сучий домик** – женское общежитие.

¹³¹ **Кильдым** – притон.

мужское общежитие и спаиваешь? Весёленькую разрядочку¹³² устроил! «А мой хвения и продай меня по самые гыгышары: «Ничего я не смел. Она сама пришла и бутылёк принесла!» – «Четверокурсница спаивает первокурсника!? Разложение малолеток!?» Не вытерпела я. Да пошёл ты в хель! И по головке бах плюгавика недопитой бутылью солнцеудара. Тут уже и статья мне новая: «Четверокурсница спаивает первокурсника! Да плюс ещё развратные действия и избиение малолеток! Попасть тебе за рай!»¹³³ Вот так клоаквиум!¹³⁴ И я, почти орденоносная комсомольская активисточка, хекнулась из комсомола. Пускай я и училась упёрто, без трояшек, без единого французского отпуска...¹³⁵ Ни разу не расчёсывала хвост.¹³⁶ У меня ж никогда не было задолженности! Не посмотрели на всё это... Вышелушили и из университета... А когда-то чего-то там горячо подавала по части надежд... Пророчили мне быть абсиранткой¹³⁷... Оппушки... Отовсюду... Со всех высот сшарахнули! Только что не сделали мне ласточку.¹³⁸ Отовсюдушки вымахнули! А за что шмальнули? Беды натворила, щуку с яиц согнала!.. Ну... С горя реши-

¹³² **Разрядка** – распитие спиртного.

¹³³ **Попасть зарай** – быть осуждённым.

¹³⁴ **Клоаквиум** – коллоквиум.

¹³⁵ **Французский отпуск** – пропуск занятий без уважительной причины.

¹³⁶ **Расчесать хвост** – сдать задолженность.

¹³⁷ **Абсирантка** – аспирантка.

¹³⁸ **Сделать кому-либо ласточку** – выбросить жертву в окно.

лась я забежать в артистки. Мне как-то наш гнилушанский Баян Баянович¹³⁹ под марш Мендельсона¹⁴⁰ сказал, что во мне туго набит целый вагонище артистического. И насоветовал вспомнить про это под случай. Вот и случай... Вот и вспомнила... Вот и пошла в театр... Вот и не взяли. Сказали, недостаточно прожиточного минимума.¹⁴¹ Ну... Думала – щёлкну хвостом!¹⁴² Получше подумала – ещё рановато. Надо снова тук-тук-тук в университет. Люди мы неродословные... Бедный папайя-маракуйя дал затыжной марафонишко по верхам. Где надо густо присорил монеткой и я по-новой втиснулась бочком в университет. Только уже на ночное, то есть на вечернее отделение... Ну... Выскочила... Родила... Черновичок¹⁴³ мой оказался слишком грязенький... Без кипеша развелась... Одна... Метла без палки... Ну... Ладно то, что в осадке нежданчик. Можно было сделать выкинштейн, но я не стала... Есть ради кого метаться. Моему киндареллику лишь две весны, а я уже вся в думах. Ради него и сунулась в химозы. Преподаю в началке. У меня он и будет учиться... Ну...

– Кем ты себя ощущаешь?

¹³⁹ **Баян Баянович** – учитель музыки.

¹⁴⁰ **Марш Мендельсона** – звонок с урока сольфеджио.

¹⁴¹ **Прожиточный минимум** – «Минимум пережитого» (термин системы Станиславского).

¹⁴² **Щёлкнуть хвостом** – умереть.

¹⁴³ **Черновичок** – первый муж.

– Сама не знаю. Хуже чем в том анекдоте... Утром встаю с петухами, верчусь на кухне, как белка в колесе. Бегу из дома, как лань. Цепляюсь за трамвай, как обезьяна. Еду в нём, как селёдка в бочке. На работе запряжена, как лошадь, и то рычу, как тигрюха, то мяукаю, как кошка, то лаю, как собака. Потом в очереди ползу, как улитка, к прилавку тянусь, как жирафа, хватаю, что есть, как акула, и волоку домой, как муравей. Дома ещё вкальваю, как вол, и падаю, как сноп. А муж мне: подвинься, корова!.. Прямо роги стонут...¹⁴⁴ Ну... Сын со свекровью. При моих копейках... Еду домой, в Гнилушу, за картошкой да за луком. Сегодня к часу надо уже быть в школе.

– Круто, да хорошо! – одобрительно давнул ей локоток Пендюрин. – Тебе только за двадцать. Но тебе уже есть ради кого крутиться. Сын! А я вдвое старше... На подскоке к пятидесяти... Как мне глубоко кажется, четыре раза был женат... И снова холост... И нигде ни одного моего киндерсюрприза. Один, кругом один...

– У Ленина с Крупской тоже вон не было детей.

– Слабое утешение... Наверное, там, – он поднял палец, – есть *Он*. Злым детей не даёт.

– Разве ты злой?

– Позлей кремлюка.

– И с чего ты злой?

– От безысходности.

¹⁴⁴ **Роги стонут** – рок-группа «Роллинг Стоунз» (Rolling Stones).

– Это что-то новое!

– Кому новое, а кому и старое... Петля на шее мотается...

Она посмотрела на него.

– Никакой петли я не вижу.

Долго они молчали.

Пендюрин безучастно смотрел на дорогу, что монотонно сливалась под машину.

Ли́ка тоже нашла себе занятие. Смотрела по сторонам и читала все агитки – плакаты, лозунги, призывы. Они были понатыканы на фанерных щитах вдоль всей трассы.

Учение Маркса всесильно, потому что оно верно!

– А почему оно верно? – спросила Ли́ка, показывая на плакат.

– Потому что всесильно! – хохотнул Пендюрин. – У кого сила, тот и правду хапнул!

– Оп-ца-ца-а... Кто силён, тот и прав?.. Владлен Карлович! А что это за такая честь в твоём районе какому-то Славе? Вот еду... По обочине на каждом шагу лозунги: «Слава КПСС!», «Слава КПСС!». Кто этот Слава с невыговариваемой фамилией?

– Ах, химоза, химоза... Это не мужик какой-то... Это здравица родной коммунистической партии Советского Союза! Нелишне и знать.

– Теперь знаю. Какой изумизм!.. Я как-то хотела всерьёз заняться политической учёбой. Пошла в книжный. Хотела купить «Детскую болезнь «левизны» в коммунизме». А мне

говорят: нам не завезли брошюрки по педиатрии. Ну а, говорю, «Шаг вперёд, два шага назад» есть? «И по физкультуре у нас ничего нету». – «А «Что делать?» – «Поспрашивайте в других магазинах». Никуда я больше не сунулась. На том и засох мой политликбез.

– А вот мы его, едрён батон, и размочим! И он у нас закудрявится да расцветёт! Я ещё из тебя капэээсную членшу сотворю. В два огляда!

– Что это значит?

– Есть, – он коротко вскинул руку, – есть такое *единогласное* мнение... Я приму тебя в члены КПСС! По ускоренной программе... Да что обещать? Ты уже принята! По всем, – он потискал, хозяйски пошлёпал её по легендарно сияющим в лоске коленям, – по всем партпараметрам!

– Нет. Я ещё не готова состоять в ваших доблестных рядах! – закапризничала Лика. – Меня ещё надо подготовить. Хоть слегка...

– Как прикажете, мадам. Мы можем и слегка, можем и скрепка... По всему парт*макси*Муму!

– Не надо нам макси. Наша Муму согласна и на мини.

– Ромашка! Мини не про твою честь. Мы тебе выдадим горячий максимум! Безотбойная программка для вступающего!

– А чем отличается программа-минимум от программы-максимум?

– Минимум – это *как надо*. То... сё... Годичный канди-

датский стаж... Книги, газеты, радио, елевидение... Там везде капитально засел твой минимум. Читай, штудируй, слушай... А вот максимум – это *как есть на самом деле*. Максимум выдам тебе лично я. Хоть завтра! Максимум по книгам не бегают, по СМО¹⁴⁵ не свистит... Цени! Сам Пендюрин будет готовить тебя в партию!

– А-а...

– О-о!.. Только слушай!

– Спешу слушать.

– Сначала задай вопрос. У нас разделение. Твой вопрос – мой ответ. Так начнём прямо сейчас.

– Я никак не могу расшифровать ВКП (б). Что это за чертовщина?

– Эта чертовщина всем чертовщинам чертовщина! Второе крепостное право большевиков!

– Гм... А чем отличаются большевики от меньшевиков?

– Больше вики – меньше хлеба, меньше вики – больше хлеба.

– Фа! Фа! Что ты знаешь... Вот тебе на засыпочку... Что такое социалистический реализм?

– Это восхваление вождей при жизни и всенародное осуждение после.

– А как вкратцах выглядит биография советского человека?

– Кто ж этого не знает?.. В понедельник родился. Во втор-

¹⁴⁵ СМО – средства массового оглупления.

ник пошёл в загс. В среду арестовали. В четверг допрашивали. В пятницу судили. В субботу расстреляли. В воскресенье похоронили... Коротко и сердито. А жить без людей невозможно. Одни создают нам проблемы, а другие решают их. И крепко решают. К счастью силой пихают. Вон на Соловках был даже лозунг «Железной рукой загоним человечество к счастью!» Вишь... Ссылали на Соловки, а там *загоняли* в счастье... Какие ж мы, русские... От счастья носы воротим!

– Кстати. А кто строил Беломоро-Балтийский канал?

– С правого берега – те, кто рассказывал анекдоты, а с левого те, кто их слушал.

– А нам с вами не придётся строить новый Беломорканал?

– Не придётся. Надо просто знать, где что и кому говорить.

Понятно я говорю, мой милый кандидат в члены КПСС?

– А кого следует считать коммунистом?

– Я отвечу *как надо*. Того, кто читает классиков марксизма-ленинизма.

– А кого следует считать антикоммунистом?

– Того, кто понимает классиков марксизма-ленинизма.

– А ты, Владлен Карлович, коммунист или антикоммунист?

– Смотря где и с кем...

– Как я понимаю, понятие *коммунист* растяжимое. Как-то я читала, что награждали старых коммунистов значками «50 лет в партии». За что их награждали? Я так и не врублюсь. Они ж сами кричали, что Сталин умных и честных расстре-

лял!?

– Э-э, у коммунистов скользкая логика... Сперва предполагалось, что каждый коммунист должен быть умным, честным и, конечно, партийным. Но вышло, что ум и партийность несовместимы с честностью, ум и честность – с партийностью, а честность и партийность – с умом. Вот такая получается кулебяка!

– И какой коммунизм строят такие коммунисты?

– Прошу пардонику. Меня срочно вызывает Таймыр! Надо поговорить с младшим...¹⁴⁶

Пендюрин остановил машину и, зажимая пискин домик,¹⁴⁷ рванул за кустик, где прямо на молодой берёзке был привязан ржавой проволокой жестяной плакат и угрожающе поскрипывал на ветру. Этот плакат был бы прямо украшением на здании артиллерийской академии.

НАША ЦЕЛЬ – КОММУНИЗМ!

Но где она, цель эта?

Лица поглядела влево, поглядела вправо... Где же наша святая цель?

Она лишь увидела, как Пендюрин брызгал свой сахарок на берёзку, и так расхохоталась, что не могла перестать смеяться даже когда Пендюрин уже вернулся в машину.

– Ты что, бегал поливать дрибною слезою свою *цель*?

¹⁴⁶ **Поговорить с младшим** – о мочеиспускании (у мужчин).

¹⁴⁷ **Пискин домик** – мотня.

Пендюрин дал кислую отмашку.

– А-а... Поливай не поливай –дохлый номер!

И оживился:

– Социализм, коммунизм и капитализм договорились встретиться. Социализм опоздал и извинился: «Стоял в очереди за колбасой». Капитализм спрашивает: «А что такое очередь?» Коммунизм спрашивает: «А что такое колбаса?» Тебе, ромашечка, нужен такой коммунизм?

– Н-нет.

– И мне не нужен... И его нам вообще никогда не подадут... Как-то на съезде колхозников один делегат с двумя классами спросил Брежнева, что такое коммунизм. И Брежнев сказал: «Когда между моей и товарища Косыгина «Чайками» будет стоять ваша, тогда, считайте, мы к нему пришли». Дома муж-съездюк хвалился: «Шибко много узнал. Однако! Первое – что Маркс-Энгельс не один человек, а два! И второе – что у нас в стране всё для человека, всё ради человека, всё во имя человека! И я видел этого человека!» – «А что такое коммунизм, ты узнал?» – спросила жена. – «Узнал... Когда между моими и твоими драными лаптями будут стоять драные лапти Брежнева, тогда, значит, у нас наступил полный коммунизм»... Так что, – Пендюрин потыкал большим пальцем за плечо, назад, где остался плакат про цель. – Так что... как мне глубоко кажется, поливай *ту*, не поливай –дохлый номерок.

– Извините, товарищ секретарь. Какое-то безответствен-

ное заявление. Откуда такой упаднический настрой?

– Из диалектики.

– Это уже интересно. Партия в вашем лице что нам торжественно обещала? Во-он... Впереди как раз с бугорка нагло-вато лыбится ваш плакатик. *«...нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме»!*

– Уточняю: при коммунизме!

– Грубо, товарищ первый секретарь! Как вы смеете так говорить про наше доблестное плановое хозяйство?

– В том-то и беда, что плановое. А Маяковский лизоблюдно иерихонил: «Я планов наших люблю громадьё!» Вот это-то чумное громадьё щедро и одаривает нас вечным битьём. Глянь во вчера, химоза-мимоза... Ну, скидали штыками СССР. Ну... На штыках что-нибудь вечно держится? Хоть и пел гимнок про союз нерушимый, но от этого Союз не станет прочней... Придёт времечко, грянется...¹⁴⁸ Ну, слепили-сваляли СССР и успокойся. И так шестая часть планеты. Так нет. Напланировали богоборцы поиметь уже МСССР. Мировой Союз Советских Социалистических Республик! Мировой!! Да здравствует Мировой Союз Советских Социалистических Республик!.. Да здравствует Земшарная Республика Советов!!! Да возради этого-такого!.. Весь мир уляпаем Советами!!! Ленин вон какого нагнал морозу? **«Пусть 90 % населения России погибнет, лишь бы 10 % дожили**

¹⁴⁸ Горькие итоги смотрите в «Приложениях» В. Путина «Ленин заложил под Россию «атомную бомбу» на 591-602 страницах.

до мировой пролетарской революции!» Да лёпнулись и притихли с Мировым и с Земшарным. Посопели в норке в две дырочки, посопели и снова бабах громадьём планов. За первую пятилетку – это двадцать девятый – тридцать третий годы – пердячим паром¹⁴⁹ построим социализм! За вторую пятилетку – это тридцать третий – тридцать седьмой – выстроим, пожалуйста, коммунизм! Мы тебе, буржуйня, утрём носяру! Да... Выкатили на-гора грандиозный пшик!.. Стандартная советская шапкозакидаловка... Но старались как! Косы покупали в Германии, а коммунизм так шматовали, так шматовали. Строили все! А больше всего и бесплатно – гулаговцы, в том числе раскулаченные, трёхколосники. По закону от 7 августа 1932 года за решётку борзо упекли миллион деревенских баб, мужиков и подростков за кражу «трёх колосков». Это... Вот убрали с поля хлеб. Не с перееду, ой не с жиру люди крадучись сбегались и подбирали оброненную мелочь. Где зернышко, где колосок... Всё равно ж пропадёт, сгниёт. А власть: пропадай и сам, да не трогай! Но голод гнал, и люди шли подбирали. И за это сажали. Мы-де в поту строим коммунизм, рвёмся из последних жил, а вы за нами подбирать?! Позорить нас?! Мол, не можете толком убрать? Так мы вас, тюха-птюха, в дома отдыха¹⁵⁰ позапихиваем! Отдохните слегка! За спасибо будете строить нам коммунизм!

¹⁴⁹ **Пердячий пар** – тяжёлый физический труд, а также человеческая энергия, заменяющая механизацию.

¹⁵⁰ **Дом отдыха** – тюрьма.

И так эта идея понравилась в верхах, что людей мели в тюрьги буквально ни за что. Нужна дармовая рабочая сила на строительство светленького будущего – даёшь сплошной Гулаг!¹⁵¹ И не превратился ли тогда СССР в тюрьму народов? Это был тридцать седьмой... Всё же нашлись умные головы, твердили кремлюкам, что «масштабы массовых репрессий приняли такие размеры, что угрожают уже безопасности государства». Конечно, не сразу, но всё же темпы репрессий слегка подували... Сколько положили народу, а коммунизм так и не состроили. А пятилетка была сталинской... После сам Сталин уже так снисходительно, как бы между прочим, просто к слову уверял, что коммунизм *сам по себе* придёт, мы и не заметим, как въедем в него. Мол, коммунизм сам по себе срастётся... Но вот в генсеки проломился Кудряш, и весь этот туманишко живо раскидал. Жди, дядя, через двадцать лет коммунизма! И ни секундой позже! Старики загоревали. Мы-то уже *пожилые*. А вот что с детьми будет?! О-хо-хо... Дальше... Кто-то в морской бинокль углядел на горизонте коммунизм, и заготовка больших ложек номер один получила отбой, поскольку достоверно известно, что «горизонт – это *воображаемая* линия, в которой небо сходится с землёй и которая *удаляется* от нас по мере приближения к ней». Удалился от нас коммунизм в тридцатых, сбежит от

¹⁵¹ **Гулаг** (главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключений) – в 1934-1956 годах подразделение НКВД (МВД), осуществлявшее руководство системой исправительно-трудовых лагерей.

нас и в восьмидесятом... А в ЦК... Бесстыжим глазам не первый базар. Перелупают и эту байку об очередном приходе коммунизма в энный раз. А собственно... Кому там лупать? Сам Кудрявик уже окопался на Новодевичьем. Зато сынуля окопался в Штатах. Не стал ждать советского коммунизма, обещанного папочкой, а хватанул западного коммунизма. Живёт припеваючи в самой той Америке, которой Никита грозил: «Мы вас закопаем!». Так что, граждандыртырдын,¹⁵² кроме коммунизма нам ничего не светит-с.

– Как понимать? На плакатиках одно, а на деле другое? Ну... Почти полвека обещали! Даже день прихода коммунизма назначили! Напомню, если забыли. Первое января восьмидесятого!

– Помани собаку костью – побежит хоть на край света. А убери кость, отлипнет тут же собачка... Ах, химоза, химозочка... Не запасайся к тому первому января большой ложкой. А придётся потуже утягивать талию... Стройней будешь... Вот ты знаешь, что означает слово *коммунизм*?

– Ну-у...

– Не больше знают и другие. А всё потому, что наш агитпроп боится широко объяснять его. Ведь коммунизм – это общий... это права каждого на чужое имущество. Представляешь... Подходит твоё торжественное первое, объявляют этот твой коммунизм. И что начинается? Всю жизнь человек жил впроголодь, жил в гнилой конуре. На восьми мет-

¹⁵² **Граждандыртырдын** (киргиз.) – граждане.

рах обреталось по пять человек... А тут объявляют – всё общее, все равны, как в бане, каждый имеет право на чужое. Не схватит ли лодырь мужичонка топорок и не побежит ли рубить головку соседу, чтоб хапнуть и его домок-красавец, и всё в домке?

– А как же моральный кодекс строителя коммунизма?

– Га! Ничему этот оральный не научит. Голодных людей, едрень пельмень, не сделаешь братьями. Природа человека... И нашей коммунистической плетью её не перешибить. Это понимает уже всякий капээсэсный ёжик. Только вслух боится признаться. Почему партия взяла курс на нищего? Он более уязвим. За одну горелую корочку его можно далеко завести. На каждом углу мы кричим: будьте скромны, богатство – зло, слава бедному, но честному человеку! Чего мы хотим добиться этой болтовнёй? Да низвести нашего человека до состояния папуаса. В хозяйстве лишь кривой лук да набедренная повязка. Кажется, у тебя ничего, у меня ничего – чего нам драться? А вдумаешься и уверенности нет, что миром всё пойдёт. Ведь ушлый углядит, что у него и повязка поистрепалась, и лук не сегодня-завтра сломаётся. И где гарантия, что не накинется он на того, у кого и повязка поновей, и лук посносней? Ну, это мелочи... А вот пострашней... Голый с голого чего наберёт? А вот если эти голяки сольются и не попрут ли против партийной элиточки от Пендюорелли до Бровастенького? Сейчас низы и верхи в партии живут оч разное. У верхушечеников и свои

спецмагазины... Я вот откуда возвращаюсь? Из спецмагазинчика при обкоме, куда и худой комар не проскочит... Всё, что мы кушали... И икорка, и балычок, и коньячок – всё это почти так. Бесплатно... И свои спецполиклиники, специбольницы, спецдачи, спецдома, спецсанатории... О-о! Специй полная коробушка! Попробуй объяви коммунизм. Гольяк тут же уравнивается в правах с генсекком. Всё кругом моё! Все кругом равны! Захотел – живи на даче Брежнева. Захотел – шикай отпуск на сталинской дачке в Абхазии. Пожелал – отоваривайся за так в обкомовском спемагазине... О-о!.. Пока верхушечка жива, она ни с кем никогда не пожелает делиться своими спецрадостями. Закон коммунистических джунглей! Верхушечники всегда крайне осторожны и к моменту не прочь прикинуться самыми отпетыми бедняками. Да что у нас брать? У нас же ничего своего нету! Квартира – государственная! Мебель – государственная! Дача – государственная! Машина – государственная!.. Ну ничевошеньки у нас взять!.. А ведь всё это спецсчастье заработано кровавым горбом советских папуасов!.. Э-э-э... В коммунизме верхушка купается с семнадцатого. А вот коммунизма для всех она не подаст... Кишка тонка... Партвласть сейчас в тупике. Все долгие советские годы мы трясли перед носом народа приманчивой сахарной косточкой – сказявками про коммунизм. За нами худо-бедно пока идут, но уже со скрипом. И немудрено. Как сказано, «мы рождены, чтоб сказку портить былью». И восьмидесятый год отнимет у нас

нашу уже трухлявую кость. Что тогда? Не повернёт ли народ против компартии? Не придушит ли за столько лет вранья и преступлений против народа? При-ду-шит... А потому живи, родимушка, одним днём! Одним днём... Обещай аморфное, медузное светленькое будущее, как церковь обещает загробное счастье... Доохал несчастушка до гробика – дальше ему уже ничего не надо... Обещай всякие бешеные блага до бесконечности... А там куда вывезет... Лупи, впендюривай партийным кнутом да гони папуасное стадушко незнамо куда, гони да лупи, пока у тебя не выбили кнут... От этой безысходности и жестоки, и злы, и наглы мы все – от Ленина до Пендюрина...

Прошло месяца два.

За всё это время они ни разу так и не встретились.

Поначалу Лика на что-то надеялась.

Но потом перестала ждать встреч. Всё выходило по очаровательному женскому кодексу.

Не гуляй с неженатым. Ни на ком не женился и на тебе не женится.

Не гуляй с разведённым: от жены ушёл и от тебя уйдёт.

Гуляй с женатым. С женой живёт и с тобой жить будет.

Ну, чего было ждать от четырежды разведённого Пен-

дюшкина?

Он будто услышал вопрос и принёс ответ.

При встрече Пендюрин бухнул:

– Как мне глубоко кажется, у настоящего мужика должно быть *серебро* в висках, *золото* в кармане, *алмаз* в глазах и *сталь* в штанах. Всё это есть у меня?

– Есть... С небольшой натяжкой...

– Ну, селитра,¹⁵³ натяжка опускается. Особенно небольшая... Принимай всё это, моя ненаглядная таможня,¹⁵⁴ безвозмездно. Как благоверная. Я усыновлю твоего парня, но с условием, что ты обязательно родишь мне, бессмертнику,¹⁵⁵ сына. Вот тебе боевое задание ЦК КПСС... Хоть живая, хоть мёртвая... Подавай сына! Большого мне в жизни не надо. Вот, молекулка,¹⁵⁶ такая моя резолюция... Ну и по мелочи... Ты у нас всё пока беспартянка?

– Кто, кто?

– Беспартийная?

– Разумеется.

– Так вот... А кто, позволь узнать, на зоне Хозяин? Я али мухи? Как Хозяин на гнилушанской зоне объявляю – с этой минуты, разумеется, ты уже партянка.

– Какой ты скоростник... Там ещё, я слышала, надо прой-

¹⁵³ **Селитра** – учительница химии.

¹⁵⁴ **Таможня** – жена.

¹⁵⁵ **Бессмертник** – очень старый человек.

¹⁵⁶ **Молекула** – учительница по химии.

ти годичный кандидатский стаж.

– Ты его с блеском прошла за ту ночь в скирде! С чем горячо и поздравляю! – ласково прихлопнул он её по смеющейся заднюшке.

– А я не рвусь в верные ленинки. На что мне твоя партиящина?

– На хлеб будешь толсто намазывать!.. Уже с самим собой договорился, беру тебя к себе в рейхстаг помощницей по вопросам ебатория.

– Неужели слово *бюро* хуже?

– Хуже. Несоветское... Капиталистическое... И вообще, ёжки-мошки, привыкай к вечной гнуси... Ёбщество у нас в рейхстаге – все архивежливые отпетые козлогвардейцы. Потому как воспитаны-с на ленинских нормочках. Как архиму-удрейший Ильич учил? «Затравить, но в формах *архивежливых*». Мы и обязаны *работать*, извиняюсь, *по-ленински*.... Так что чистоплюйчикам у нас не место... Я хочу тебе сразу сказать... Ты должна быть к *этому* готова... Переступая высокий порог нашего рейхстага, пожалуйста, не витай в облаках высокой нравственности. Будь готова к *этому* с первой минуты...

– Етишкин козырёк! К чему – к *этому*?

– Видишь ли, едреня феня... Со стороны вот так кто чужой глянь – комсомол, партия – сама святость. А залезь внутрь, в кишочки – клоака! Ложь, грязь, жестокость, подлое лицемерие... Одно слово, дно ёбщества... Помни... Кто ра-

зумом светел и душою чист – так это ж только не коммунист. Слава партии на лжи летит... Так что особо не обольщайся.

– А что ж тогда тебя самого держит в этой клоаке?

– Дармовой белый хлеб с толстым маслом. Да и выгодней самому погонять плёткой, чем быть погоняемому... Ну, об этом хватит. Хорошего понемножку... И ещё совет на дорожку... Ты когда-то рвалась влезть в историю комсомола. Предлагаю заняться матерщиной в партии и в комсомоле. Богатейший кладёзь! У нас однопартийная система. Зато, едрёный перец, мат многопартийный!

– Так пошли ко мне, – повторил Митрофан.

– Потом. А сейчас мне некогда. К первому надо!

– Успокойся, брателко... Не пи́сай кипятком. Именно к кому тебе надо? У нас сейчас на выбор два. Один бывший, другой будущий. Но нет ни одного настоящего.

– Толком объясни. Без предисловий.

– А что объяснять? – убавил он голос. – Челночная дипломатия. Обмен бандюгами, якорь тебя! Пендюрик, по слухам, даёт тягу в область. Новый – какой-то сторонний, заезжий, фамилию ещё не знаю – из области сюда. Кажется, из области. А там тот-то его знает... Вроде дела принимает. Или только пока присматривается-принюхивается... Зарылись в кабинете-яме у первого. Пендюрин, ёханный бабай, мрачно делится воспоминаниями. Вспоминать, – качнулся он ко мне, – ох и многое приходится, лопатой не прогрести. Эту материю не замнёшь... Вот таковецкие делишки в мире животных!

– Ты на что-то намекаешь?

– Дык, суровая действительность, милый, в намёках не нуждается.

Мне начинал надоедать этот балаганный пустообрёх на виду у всех. Я взял по ступенькам кверху.

Митрофан нагнал меня.

– Ёлы-палы! – тронул, конфузясь, меня за локоть. – Старшему брательнику не веришь? Говорю ж, межвластёха! Не на экскурсию сам сюда залетал. О надо было! – приставил ребро ладони к трёхнакатному подбородку. – А ни с чем отбываю. Айда самолётом¹⁵⁷ лучше ко мне в башню, пока мой бабий батальон в увольнительной до вечера. Посидим, поокаем. А то, братило, как-то неловко. Летом с Валентинкой был всего раз. А мы ж не чужие, якорь тебя! Одного, долговского, замеса...

Справа к райкому подбегал сквер.

Не сговариваясь, мы пошли по скверу напрямик. Так ближе и вдобавок всё время видать Митрофанов скворечник. Первый в Верхней Гнилуше двухэтажник из белого кирпича на шестнадцать квартир, в одной из которых шикавал Митрофан, и впрямь птицей плыл над мелкорослыми деревянными хибарками с косопузыми сарайчиками и немислимыми пристройками и пристроечками, что пластались вокруг в осиротелых садах.

Митрофан вышагивал чуть впереди, и всякий раз, когда мы приближались к ветвистому снизу дереву, набавлял шагу, отводил в сторону мокрые пустые, без листьев, ветки и ждал, покуда не пройду я, и по чавкающей под ногами сыри, трудно сопя, будто воз глины нёс, колыхался, обгоняя меня, к новому дереву.

¹⁵⁷ Самолётом – быстро, сейчас же.

Мне не нравилась эта его нарочитая внимательность. Выпалить про это я не решался, не желая в первый же час щёлкать его по самолюбию.

Не давай обгонять себя, и его внимательность кончится, сказал я себе. Оттого дальше мы шли уже быстрее, поскольку, приближаясь к дереву, он убыстрял шаг, убыстрял и я, стараясь первым пройти мимо торчащих веток с вислыми прозрачными капельками.

И так мы разогнались, что на свою площадку на втором этаже он, кажется, не поднимался по гулкой ярко-оранжевым выкрашенной лестнице, а попросту вспорхнул и поклонился двери – нагнулся разуться перед порогом.

Всё пространство у порога было закидано детской и прочей обувкой.

Из прихожей роскошные дорожки текли на кухню и в вопиюще-просторную гостиную, из гостиной – ещё в две боковые комнаты; в одной (двери были настежь), в детской, на кровати плашмя лежал растянутый баян.

Как на выставке, все стены сплошь одернuty дорогими коврами. Дорогие шкафы и всё дорогое в шкафах, дорогая посуда под стеклом в серванте и всего одна полочка в том же серванте под книжками, да и та наполовину пуста. Как-то жалко стоят внаклонку одни недодранные Лялькины старые, уже не нужные ей учебниковые книжки с первого по седьмой класс.

Не без грусти я взял букварь, стал потихоньку листать.

– Ты чего тормознул там? – выглянул Митрофан из кухни. – Давай-ка, как говорит Людка, рулей сюда!

Когда я вошёл на кухню, Митрофан стоял уже перед наотмашку распахнутым холодильником на коленях, выискивал что-то глазами.

– Ты что, солярку¹⁵⁸ в холодильнике держишь? Не простудится?

– У меня, Бог миловал, ещё ни одна не простудилась. Даже не кашлянула.

Он засмеялся.

В глазах у него затолклись больные кровавые огоньки.

Я спросил, не болен ли он.

– Смотри что, – отвечал Митрофан, – понимать под болезнью. В твоём понимании, возможно, слегка и есть...

– Лечишься?

– В обязательном порядке! Бурого медведя¹⁵⁹ не держим. А... Сразу захорошеет, как хряпнешь гранёный вот этой магазинной микстуры. – Напоследок он выловил-таки в холодильнике поллитровку, устало-торжествующе перекрестил ею себя. – Наконец-то! А я уже было труханул, не пропало ли мое лекарство...

Он так и сказал на старушечий лад: лекарство.

Сковырнул с верха посуды белую бляшку, пошёл бухать в сдвинутые гранёные стаканы.

¹⁵⁸ **Солярка** – плохая водка.

¹⁵⁹ **Бурый медведь** – коктейль из коньяка с шампанским.

Отдёрнул я один стакан к краю стола, накрыл кулаком.

Митрофан, с сожалением глядя на пролитую по столу воду, что нитяной струйкой кралась к краю стола и чвиркала на пол, подивился:

– Полный неврубант! Не понимаю столичного юморка.

– Ты или первый день замужем? Ну когда-нибудь пил я эту отраву?

– Угощают. Чего ж не употребить этого чудила под такой закусон? – Вилкой он тенькнул по миске с вечерошними подгорелыми оладьями в сметане. – А я грешен, обожаю на дармовщинку. Я б чужое винцо и пил бы, и лил бы, и скупнуться попросил бы. И Глеб чужое не зевнёт. Вот только ты у нас не в долговскую масть. Не пью, не пью... Какой-то недо-струганный Буратино! Не пьёт только тот, кому не наливают или кому не нальёшь. Например, колу в плетне. Извини! Это у Глеба ты вместе с моими Лялькой да Людкой чокался с нами шипучкой. Там тебе это сходило. Там ты был у матери. Дома. А тут ты в гостях. А гость невольник. Что велят, то и делай. Не обижай хозяина.

– Чем это я тебя обидел?

– А хотя бы тем, что не хочешь за моим столом даже пустить в жилку со мной!

– Налей газировки, молока... С удовольствием! Но почему обязательно этой подвздошной? Этого самосвала?¹⁶⁰ Почему?

¹⁶⁰ **Самосвал** – сильно действующий алкогольный напиток.

– Кочерыжкой по кочану! Ты в паспорт к себе заглядывал? Кто ты по национальности? Знаешь?

– Вообще-то догадываюсь.

– Так будь же русским не только по паспорту. По ду-ху, якорь тебя! Убирай кулак. Капну с верхом!

– Как же, мечтаю! Ты вот укоряешь, чего это летом, за весь отпуск, я только раз приходил к тебе с Валентинкой. Потому и приходил только раз... Ну да как же к тебе идти, если знаешь, что у тебя не отбояришься от бухенвальда?¹⁶¹ Ну почему ты считаешь, что в гости единственно за тем и ходят, чтоб насвистаться пьянее вина?

– Фа! Фа! Ален Делон не пьёт одеколон! Да не на лекции ли я «Алкоголь – друг здоровья»? Дёрни меня за ухо и скажи нет.

– Тебе твоё ухо ближе. Дёргай сам. У нас самообслуга. И попробуй быть за столом русским и без водки.

– Ёки-макарёки!.. Прямо вермуторно... Врачи... эти помощнички смерти... зудят: не пей! Ты туда же... Да как же не... Брательник! Да что ж это за встреча без вина? Какой тост скажешь под компот? А, между прочим, пить без тоста – пьянка, а с тостом – культурное мероприятие! Улавливаешь разницу? Живи проще... Съел рюмашку, взлез на Машку... Не срывай мне мероприятие. Не то припаяю штрафной гранёный! Давай... Айда докапаю с горкой. И притопчу!

Я не дал.

¹⁶¹ Бухенвальд – пьянка.

– Ну, оприходуй. Уговори хоть то на доньшке, что налил. Бери, сполосни зубы. Нельзя ей долго стоять, выдыхается. Разбегаются витамины.

Митрофан поднял вывершенный стакан.

Дрогнула рука; ядрёная капля, уменьшаясь, покатила наискосок по грани.

В панике Митрофан снял пальцем ту каплю и на язык. Пробно пожевал, кивнул. Годится!

– Ну! Вздрогнем, а то продрогнем! Дай Бог не последнюю!

Выдохнул, как-то махом выплеснул хлебную слезу в рот, сосредоточенно пожевал и проглотил одним глотком, поводя головой из стороны в сторону, как гусь, когда проглатывал невозможно большой кусок.

С пристуком он поставил стакан на стол.

Морщась, вынюхивает пустую щепотку:

– Ну, не тяни резину. Порвёшь! А то у нас в стране и так плохо с резиной.

Я всё же пригубил.

Но выпить у меня не хватало духу.

Пригубить и тут же поставить назад, не оприходовав ни капли, по обычаю, дурной жест, вроде неловко. Наверняка обидишь и без того обидчивого брата.

Однако пить я не мог.

Это было против моей природы.

Я не выносил сивушного духа.

Потерянный, я сидел не дыша с прижатым к губам стака-

ном. Не дышать я мог ровно минуту.

Поначалу Митрофан смотрел на меня с весёлым, победно-довольным выражением на лице. Уважил-таки, пошёл-таки гору на лыки драть!

Но время шло.

Стакан не пустел.

Весёлость на его лице задернуло смятение.

Через несколько мгновений смятение потонуло в злобе.

Митрофан демонстративно отвернулся от меня – глаза не глядят на это издевательство! – и какое-то время уже в крайнем гневе пялится на красный газовый баллон. Потом, резко обернувшись, отрывисто кинул:

– Ты не уснул?

Я отрицательно покачал головой и, в судороге хватив ртом воздуха, поставил стакан на стол.

– Не могу...

– Тыря-пупыря! Недоперемудрил! Кому ты сахарешь мозги? Брезгуешь? С родным братуханом не хочешь... Так и скажи. Не циркачничай только! Вот смотрю... Бесплатный цирк. Давно подступался спросить, какой фалалей пропустил тебя в столичную прессу? Да ну какой из тебя *рыцарь словесного пилотажа*? Пи-ить не можешь! А в наш деловой век это приравнивается к тягчайшему преступлению, якорь тебя! О!

Он обрадовался ненароком подвернувшейся крепкой мысли, в радости вскинул руку, щёлкнул пальцами:

– Его ж, винишко вермутишко, и монаси приемлют! А сунь нос в любую книженцию, подреми в клубе на картинке – на днях смотрел одну, как на партсобрании побыл – везде приемлют, везде зашибают дрозда, везде поливают, что на каменку. А у тебя своя линия? Да будь моя воля, я б тебя к журналистике и на ракетный выстрел не подпустил. По профнепригодности!

– Скажите, какие строгости...

– А ты думал! Вот, допустим, явился ты в университет поступать. Документики там всякие с печатями подсовываешь... Ради ж университета готов на всё. Даже на экзамены! А я – вот тебе первый экзамен, самый главный, самый профилирующий! – хлобысь тебе гранёный. Выютюжишь весь, не скривишься – вне конкурса зачисляю! Ты зубы не показывай... В вашем деле наипервое – умеи быстро найти с человеком общий язык. По практике знаю... Залетали ко мне в колхоз разные там районные-областные субчики-бульончики. Иной охохонюшка не успел поздороваться, уже глазищами так и рыщет, так и рвёт, без пузырька не слезет с живого. А ты? Как же ты по трезвой лавочке доискиваешься ладу с людьми? М-му-ука! А ты, – заговорил он с шёлком в голосе, – переламывай себя. Учись у жизни... Употреби с человеком лампадку, он тебе не на статью – на роман наскажет!

8

Однако жидковат на расправу Митрофан, жидковат.

С первого стакана пошёл метать петли.

– Ты уж, – говорю ему, – слишком не переживай за чужой воз. Расскажи лучше, как вы тут.

Митрофан с полпути вернул в миску сидевший на вилке оладушек, кинул ко мне пустую руку, с усилием отогнул большой палец:

– Претензий к жизни не имеется... Сыты, здоровы, одеты, обуты. Желашь если в разрезе каждой личности... пож... ж-ж-жлста... Лизка, супруженица и по совместительству генеральный домашний прокурор, по-прежнему в помощниках мастера на маслозаводе. Лика – достославная генсекша всегнилушанского райкома, якорь тебя! Заправляет самим генералиссимусом Пендюркиным! Потому как жо-на. Ты это уже знаешь... Лялька в восьмой перебазировалась. Ви-идная из себя баяночка... Молоденький мистер Икс¹⁶² заглядывается на неё на уроках... Отличница. По труду как-то жарила яйца. Не пожгла, понимаешь. Всем классом потом ели. Ну, в музыкашку всё бегают. Там на неё не надышатся. На баяне ух – я тебе дам! – режет! Недавно даже в районной хвалили газете. Цветё-ёот девка... Уже выше матери, мужики косят... Ну а меньшая, Людаш, в первых классах казакует. Вот

¹⁶² **Мистер Икс** – учитель математики.

и все мои четыре лэ. Лизка, Лика, Лялька, Людка. Вот и все мои четыре бабуинки... четыре мои кингицы...¹⁶³ Не семейка, а женский монастырь! Я у них за коменданта... Кудрявое общежитие! Целая бабс-банда... Ну вот бы хоть одного помощничка парня! Понимаешь, всё время метился в парня – сносило на вяжихвостку!

– Не ветром же сдувает...

– А и, пожалуй, – задумчиво соглашается Митрофан. – Я слышал, хочешь сочинить парня, не знай водочки... Сиди на рыбке... Так это, не так... Не знаю. А только вот возьми нашего батьку. Это я чересчур любопытный. Нет-нет да и чисто из спортивного интереса гляну, что за невидаль в стакане на дне. А батя ох строг был по винной части! И разу язык у него не перевязывало ниткой. В награду – три сына, якорь тебя! Сперва явился не запылится я, через три года – Глеб, а ещё через три – ты... Через каждые три года – мужик! Как из пушечки!

Митрофан тяжело вздохнул, так тяжело, что, казалось, до самого дна лёгких плотно набрал воздуха и надолго замолчал, отстранённо, без мысли, глядя перед собой. Потом, очнувшись, смято спросил:

– Как думаешь, не возьми война батьку, рад бы он был нам?

И сам себе ответил:

– Ра-ад... Сейчас бы он был уже давно на пенсии, ста-

¹⁶³ Кингица – царица.

арень-кий... Я б сажал его рядом и дважды на день, утром и вечером, объезжал бы с ним на «Нивке» поля свои. За обычай, у меня была б линейка... Я бы ему показывал, на сколько за день поднялись пшеничка, гречушка, свёкла, подсолнух... Возил бы по своим деревням, показывал бы да рассказывал, что такого понастроил, что таковского понаворочал за свои председательские годы. Есть что показать, есть что рассказать... Не жизнь у меня, а сплошной беличий круг. Вон нынче лето было гнилое, комбайны на лыжи ставили. А ничего, и колоску не дали пропасть. Урожайко... часами подымался... Как дашь пропасть? И у каждого года своих причуд по ноздри! Вот...

Язык у Митрофана крепко размок.

Не останови, до ночи проточит балясы.

– Слушай, милый братичек... Я вот что подумал... Пока ты был то механиком, то директором на маслозаводе, я не мог про это и заикаться... Но ты давно сплыл с маслозавода в колхозные вожди. Председатель передового колхоза... Неужели ты не можешь *продать* родной матери и родному брату один мешок пшена, чтоб второй твой родной брат не пёр его сюда, назад, в деревню, на своём худом хребту из самой Москвы?

– Не могу-с, ненаглядный ты мой пшённый столичный гостёк! Всё, под ноль, – любимой и дорогой Родине! Да кинь я зернецо на сторону, знаешь, какой расчётец получу в рейхстаге у полкана Пендюрина? Если я пустил мимо государ-

ственного мешка зерно, вес которого превышает вес партбилета, то... Что тяжелей, за тем и победа. А без партбилета я – зелёная жопа! Так что извини... Такая перспективища меня не вдохновляет. И давай про это больше не нести шелуху.

Он пристукнул кулаком по столу и замолчал надолго.

Я спросил, чего это заносило его в райком.

Он молча достал из прислонённого к стене новенького приманчивого дипломата карточку, подал мне:

– Любуйся.

Чем было любоваться?

Снимок как снимок.

Четверо на прополке молодой капусты.

Я пристальной всматриваюсь в карточку и убеждаюсь, четвёрка эта не из села. Занята вовсе не своим делом.

Ну, в самом деле, какая крестьянка выйдет на прополку в рукавицах? У женщин же на карточке, похоже, нашлась одна пара. Подружницы великодушно поделились, надели лишь по одной белой рукавице.

А мужики, дамские угоднички, по краям идут.

Позади виднеется «козёл».

Возле «козла», наверное, шофёр, в одних трусах полет.

– Да это шефы.

– Именно-с! Теперь расскажи дяде председателю, что ты знаешь о шефах.

– Неужели дядя председатель знает их хуже меня?

– Ну а всё же?

И вправду, что я знал о шефах? Бросают люди в городе свои прямые дела, спешно катят в село, когда там в тугой час не могут обернуться своими силами. Нужна помощь со стороны. Вот и едут.

Ничего архиособого.

Раз надо, так надо. Перед Урожаем все равны.

Но вот кампания сошла, шефы съехали.

Вернутся к новой горячей поре.

Это уже вошло в обыдёнку. Короче, шефы похожи на своеобразную пожарную команду. По сигналу команда неминуче проявляется в нужном месте...

Митрофан хмурится.

– Пожарные красоты мог бы и не выставлять. Не к месту они. Пожар штука случайная. А шефы у нас *раскреплены* по хозяйствам. Я могу тебе назвать деревни, где своего народу полторы старухи и свёклу там сеют в твёрдом расчёте только на шефов. Вот наличествует у меня тёща при старости лет. Техничкой бегаёт в поликлинике. А у тётчи значит закреплённый за нею участок в поле. И пляшет бедная тещенька на своей полоске с лета до снега. Выхаживает, убирает свёклу. И такие деляночки у врача, у учителя, у библиотечарши... У всех гнилушанских служащих, якорь тебя! Нету, нету хозяйства, к кому не пристегнули бы шефов. А кому это в руку?

– Урожаю, наверное?

– Дури! Дубизму! Головоотяпству! Допанькались, что ле-

нивец порой не посовестится бухнуть: а чего пупы рвать, город взрастит, город соберёт. Опекунство без меры породило иждивенческие настроения. Чёрные коммунары¹⁶⁴ знают, что погибнуть урожаю не дадут, стонят тучи стороннего люду, а обязательно возьмут. И в том, что такие настроения пустили глубокие корни, разве не виноват и ваш пишущий брат? Почему в газете не прочтёшь о себестоимости, о кап-эдэ шефства? Не пора ли подумать, должно ли шефство заключаться в налётах в часы деревенского пика или всё же надобно как-то иначе строить эту работу? Ныне шеф мелькает на просёлке то с косой, то с тяткой, то со свекловичным ножом. А может, вовсе и не грех показаться ему в селе в своей главной роли, то есть тем, кто он на работе у себя? Конечно, вахтёр сенсации не произведёт. Больше чем на тятку вахтёрка не рассчитывай...

Мысль Митрофана мне понравилась.

– Но вот, – пустился я рассуждать, – ну приедь инженер да хороший инженер. Приедь конструктор да хороший конструктор. Что тогда?

– А пока вот что! – Митрофан тряхнул фотографией. – Полют! Этот, под годами, – ткнул в мужчину с носовым платком на голове, – главный кон-струк-тор на великанистом заводе в Воронеже. Этот главный инженер. Смотри, какие птицы тятками машут! Уха-а... Эдак и мы можем. А ты повороти так... Машина всё это делай! Тогда никакая деревня не

¹⁶⁴ Чёрный коммунары – колхозники.

потянет тебя к себе в пристяжные. Вот какого шефа подай деревне, якорь тебя!

Набухли у Митрофана брови, как у Бровеносца, разошёлся Митрофан.

По всему видать, сидели у него шефы в печёнках, в почках вместо камней, сидели надёжно.

Неволью я поддался его огню, и у меня выказался твёрдый интерес к его рассуждениям.

Я слушал.

Не всё мне было у него ясно.

Но я не спешил перебивать, встречать с вопросами, только ёрзал на стуле от досады.

Ах бы записать! Сгодится в беготной журналистской жизни.

Да нет под рукой блокнота, единственного моего поверщика, вечной моей копилки.

Однако чем дальше я слушал, тем больше недоумевал.

Митрофан говорил, что у него в хозяйстве не знают такого шефства, чтоб приезжали да пололи.

А как же тогда фотография? Это ж его шефы?

Не желая обидеть Митрофана прямым вопросом в лоб, я обиняками выведал, что да, на снимке шефы его, да снимали их в соседнем «*Ветхом* ленинском завете». (Конечно, это в народе так *уточнили* «Ленинский завет».)

А любопытно всё же.

Шефствует завод над двумя колхозами-соседями. В од-

ном, в «Ветхом завете», он обычно тянет всю горящую работу. В другом, в «Родине» у Митрофана, шефов не поддразнивают этой тоскливой коряжкой. Напротив. Вовсе отказались от тяпочного шефства, даже передали «Ветхому» своих шефов, оставив за собой лишь право обращаться к ним исключительно за технической подмогой.

Разве отдача, капэдэ такого шефства не предпочтительней?

Как-то под самый под Май позвали Митрофана в область.

То да сё, а там и картишки на стол. Ты крепко на ногах стоишь, скатал бы в Томск, посмотрел на животноводческий комплекс на полторы тыщи рогатых персон. Что уж там за невозможное чудо такое, раз так расписывают, так расписывают. Может, глянется, так и себе попробуешь?

О комплексе Митрофан думал.

У него всё сильнее, всё чувствительней разгорался зуб и у себя сгрохатать храмину, грезилось и себе слить под одну крышу всю коровью орду, растыркannую покуда по чёртовой дюжине убогоньких фермочек.

Конечно, он поехал, что-то сразу поехал, не мешкая. Не в самый ли Май и укатил.

Домашние так и подумали, богородицу играет, разобиделись, совестили, корили, что-де дома и без того не бываешь, тебя и дочки того и жди, забудут в лицо, станут дядей на-величивать, несчастный ты бомж-бруевич!¹⁶⁵ И мотается, и мотается! Даже в праздник нету его дома! Отложи дорогу на день на какой, побудь праздник с семьёй. А там и с Богом.

Да пустыми легли все уговоры.

Обернулся он в Томск раз, обернулся два, а там и отважься.

¹⁶⁵ **Бомж-бруевич** – верный ленинец.

Радовался, когда лили фундамент, когда вывершали, тянули дворцовые стены, и в то же время не то что боялся, а нет-нет да и подумывал, веря и не веря: неуж выйдет в самый раз, как и загадывалось?

Хотелось Митрофану, чтоб на комплексе работалось не хуже против завода.

Обязательно чтоб в две смены.

Чистота, порядочек чтоб кругом.

Не рвать чтоб рук.

На кнопочках чтоб всё.

Решительно всё на кнопочках не вышло, а около того легло. Своё шефы плечо подставили.

Не было конца толкам про то, ах как бы хорошо получить готовый под ключ комплекс.

Но от разговора до ключа выпал большо-ой переезд.

Сельхозтехника давала не то, что надо, а что было. На, убоже, что мне не гоже!

Тебе не гоже, а мне-то на кой? А? Иль я глупей разбитого сапога?

Тогда и кинься Митрофан к своим шефам.

Побежал по верхам.

Разыскал главного конструктора, главного инженера, тех самых, что на карточке молодую капусту пололи.

Обречённо смотрят те:

– Ну что, свеколка душит? Тяпки по нас плачут?

– Рыдают! Только не вам их утешать. С прорывкой, с кури-

ным просом мы сами управимся. А вот – это куда мудрёней да важней нам! – а вот кто б его сел да перед ватманом покумекал... Вот подсовывает мне сельхозтехника аховое оборудование. А я что, устанавливай? Мне модернягу комплекс надо, но не склад металлолома под новой королевской крышей, якорь тебя!

Целая бригада заводских конструкторов с превеликой радостью подалась на комплекс.

Шастала, шастала по комплексу – строители уже надевали, натягивали крышу, – глядела бригада, какое оборудование заложено технологией и что притаранила сельхозтехника. И тут Митрофан шукни под руку: не в грех посмотреть на тот счёт, а вдруг я подпихну что получше, поспособнее против проекта – и то, где проект бухнул ручной труд, у шэфов легло на кнопки.

Сами заводчане конструировали, сами ладили, сами монтировали потом на комплексе, например, автоматические установки для выпаивания телят.

Конечно, и не только одни эти установки.

Позже, уже в крайний момент, буквально на последнем витке, в самый канун пуска комплекса Митрофан вдруг выловил жуткое упущение.

Помчался со своей бедой к ветхозаветинскому председателю Суховерхову. Разыскал на свекловичном поле.

Здоровался за руку и поверх суховерховского плеча увидал, как за убирающим комбайном понуро брели главный

конструктор и главный инженер, те, с карточки, что летом перекраивали ему комплекс, шли и уныло дёргали из земли оставшиеся после комбайна холодные, осклизлые свеколь-ные тушки.

Кровь ударила Митрофану в лицо.

Стало ему совестно, будто великое прегрешение соверша-лось по его вине.

«Этим умницам не сложишь цены, а они пионерчиками скачут уже с месяц за комбайном. Эх!..»

– Кузьмич! – взмолился Митрофан. – Даруй мне на денё-шек этих двух молодцов. Свожу к себе на комплекс, пускай поглядят раздачу корма. Может, доищутся чего поумней...

– Опеть какая да ни будь маниловская блажь дёрнула тебя за яйца! А я срываю людей с уборки? Не сёни-завтре падёт снег. Эха-а... Колхозное полюшко – нужда да горюшко! Не-е... Не отдам божью я помочь! Кыш, мелкий пух! Раство-рись!

У Суховерхова было выражение пса, у которого отнимали приличную кость.

– Не бубни чего зря. Во-первых, это мои шефы? Мои. Доб-ровольно я тебе их передал? Доброволько. А раз нуждица, на денёк не отпустишь?

– На один секунд не отпущу!

Митрофан пропустил матюжка сквозь зубы, чтоб не слы-хали поблиз у кучки подчищавшие свёклу женщины.

Митрофанов колхоз соревновался с суховерховским (зем-

ли у соседей одинаковые, один балл плодородия), оттого Митрофан, выскакивавший наперёд и на севе, и на уборке хлебов, трав, за обычай слал Суховерхову в помощь и свою технику, и своих людей.

Вон со свёклой ещё сам не разделался – два комбайна неделю назад отправил. Два комбайна! А тут в обменку выпросить двух мужиков из шефских – не подступайся! Разбогател. За нас теперь голыми ручками не берись!

Митрофан хлопнул себя по колену, подобие озорной улыбки сверкнуло на лице.

Знал он слабость за Суховерховым. Знал нажать на что.
– Слышь, Кузьмич! Давай партию в шашки! Проиграю – ухажу я без звучика и никаких мне шефов!

Суховерхов разгромлен.

– Ну на что ты мне подлянку подсовываешь? – пропаще вздыхает он и ничего не может с собой поделатъ.

Шашки он до паралича любит, возит с собой в «козле». Разбуди в ночь-полночь и предложи сыграть – возрадуется только!

В первой игре верх за Митрофаном.

Суховерхов скребёт в затылке.

– Н-не-е... – размывчиво роняет. – Не могу отдать... Давай для верности ещё одну.

Играют ещё. Потом ещё. И гореносец Суховерхов всякий раз безбожно проигрывает.

– Три сухих победы! Куда ещё верней? Давай моих мужи-

ков, якорь тебя!

– А не дам. Отлепись! Надоела мне твоя наглющая достоинщина! Ну... Дойдёт до рейхстага... До самого Пендюркина!.. Свёкла в поле. А я под раз помогальщиков раскассируй? Не хватил бы этот Борман¹⁶⁶ меня за ножку да об сошку!.. Ты б сгонял к нему. Скажет отдать – я за!

Пендюрин выслушал Митрофана, покривился:

– Вечно ты, Долгов, с фокусами. Ехать на охоту, а ты собак кормить!

– Да невжель гнать голодными?

– Разговорчивый, ух и разгово-орчивый стал в последнее время! – уязвлённо выговаривает Пендюрин и уже глуше, решительней добавляет: – Скоммуниздить шефов я тебе не позволю. Свой воз тащи сам. До Октябрьской считанные дни. Заселяй комплекс. Без митинга рапорт на стол!

– Ни заселения, ни рапорта не будет, пока не автоматизирую раздачу кормов, – упёрся на своём Митрофан.

– А я, – Пендюрин набавил в голос жёсткости, – настоятельно рекомендую: отпрапортуй в срок, а там и подчищай на свой вкус.

– А разве вы против рапорта, после которого не придётся подчищать? К сроку я полностью управлюсь, порекомендуй вы с наименьшей настоятельностью Суховерхову отпустить ко

¹⁶⁶ **Борман** – хитрый, изворотливый человек. (Мартин Борман – председатель партийной канцелярии Гитлера, один из героев популярного телесериала «Семнадцать мгновений весны».)

мне всего на день двух человек из шефов.

Пендюрин с сарказмом хохотнул.

– Ну-у... Дошёл своей головкой? Снять со свёклы хоть одну живую душу – я на себя такую отвагу не возьму. Он им и поп, он им и батька. Толкуй с ним сам, меня в эту кашу не путай.

Пендюрин беспомощно раскинул руки. Мол, не в моей силе, и Митрофан, зачем-то поведя плечом, молча вышел.

Всё б кончилось иначе, считал Митрофан, не окажись у Пендюрина новенького первого.

Новенький вёл себя как новенький. Смущался, безмолвствовал и никак не выражал своего отношения к разговору.

Митрофан даже не расслышал толком его голоса, когда тот при знакомстве называл свою фамилию. Фамилии его Митрофан не расслышал вовсе.

«Под занавес побаловался принципиальностью при новеньком» – без обиды подумал Митрофан о Пендюрине и, будто догоняя впустую ушедшее время, заторопился вниз по долгим ступенькам.

На них мы и столкнулись.

– Ну а теперь что? – спросил я, выслушав его одиссею.

– А что... Сегодня к вечеру отправит у меня последнюю машину корней на завод шаповаловское звено. Завтра с утра кину всё это звено Суховерхову, а взамен всё ж вырву этих двух молодцов, – щёлкнул пальцем по карточке. – Эх, брашуренька... Всё в нашей жизни сирк!.. Большо-ой сирк!

Митрофан засобира́лся снова ехать к Суховерхову.

Откладывать дальше было некуда. Я напрямую спросил про главное, ради чего и приходил сюда.

– А как тут мама?

– А что мама? – удивился Митрофан. – Мать у нас молодца! Героический товарищ! Бегает! Бегает, как «Жигуленок» повышенной проходимости, якорь тебя!

– Ты когда её видел в последний раз?

– Да вот Людаш приболела как-то... Мне в область, Лизе на работу... Мы и кликни мать на посидушки. Было это... Да с месяц, пожалуй, корова уже отжевала. Ну, ладно, до вечера. К огням туда поближе нагрюну к вам со своими невестами. Честь по чести уборонуем по стограмидзе. Никуда ты не денешься.

Слушал я его и думал, знает ли он про то, *что* с мамой?

Глава пятая

*Руку, ногу переломил, сживется;
а душу переломил, не сживется.*

1

Глеб стоял в сенцах у мартена,¹⁶⁷ у газовой плиты, бросал в кастрюлю нарезанную палочками картошку. Я тоже был при важном деле, держал горячую крышку.

У дальнего угла дома зачавкали нарастающие звуки шагов.

Редкие тяжёлые шаги стали перемешиваться с лёгкими, быстрыми, весёлыми.

– Начальник со своей дружной семейкой надвигается! – сказал Глеб.

– Откуда ты знаешь?

– Этот пузогрей за версту выпивон чует. Иначе и не был бы Начальник.

Глеб улыбнулся мне – а что я говорил! – увидав в дверях Митрофана с баяном на плече.

¹⁶⁷ Стоять у мартена – готовить пищу.

– Ну что, братцы-нанайцы, гостей принимаете? – Митрофан подал руку Глебу, потом мне. – Приёмный сегодня у вас день?

– Приёмный, приёмный, Никитч! – одновременно и озорно, и недовольно, и нетерпеливо откликнула Митрофану из-за его спины Лялька. – Всё приколеньенко!

Насколько я помнил, при мне она почему-то всегда звала отца по отчеству, которое всё ещё путём не выговаривала, или, пожалуй, и это ближе к вероятности, нарочито ломала. Выходило как-то фыркающе, звучно.

– Никитч, ну ты совсем обнаглел. Не пройти!

Вжала, будто кусочек картины, верх лица в малое пространство между косяком и плечом Митрофана, без церемоний подтолкнула его вперёд, втеснилась в сенцы.

Держалась Лялька вызывающе смело, дерзко. Наверное, уже сознавала свою приманчивость, понимала, что красота сполна оплатит все её детски радостные счета, отчего уже во всяком пустяке выбегала на всеобщее внимание, на первую роль.

Со смятенным чувством смотрел я на юную красавицу и не знал, как повести себя: то ли выговорить ей за грубость к отцу, кстати, принявшего её толчки как должное, то ли, сделав вид, что ничего худого не нахожу в её поведении, обнять на правах родного дяди да поцеловать, как целуют занятого ребёнка.

Замешательство проступило и на её лице.

Неожиданно дрогнули смешинки-ямочки на бледно-розовых щеках, и она, блеснув безотчётно ласковой улыбкой и не без чопорности присев, кокетливо-чинно протянула руку, слегка наклонила головку с гладко зачёсанными за уши русыми волосами.

– Здравствуйте, дядя!

Я взял руку, ладную, нежную, согретую молодой кровью, и – поцеловал.

Никогда не целовал я руки женщинам. Какая же сила поднесла мне к губам руку этой девочки? И почему?

Восторженная, не двигая вскинутой рукой, она подвигала-погрозила одним лишь указательным пальчиком:

– Ох вы и шалунишка, дядя! – и впорхнула в комнату.

Глеб, оглядывая Митрофана, насторожённо справился:

– А ты что, меньшенькую не взял? Где она?

– Да где-т плыла... – Митрофан в ленивом изумленье опустил взгляд себе под ноги, пошарил глазами по сенцам. Поворотил голову, гаркнул в темноту: – Людашка! Ты где там застряла?!

Тоненький виноватый голосок коротко, срезанно хохотнул снизу, от порожка:

– И совсемуще я не застряла...

– Где ты тут поёшь? – Повёл рукой позади себя, наискал ощупкой ручонку, что вцепилась ему в низ плаща. – Иди, иди поздоровайся с дядей. Да не бойся! Вот ещё швындя!

Став боком в дверях, Митрофан поталкивал девочку ко

мне на свет.

Пыхтя, она упрямо держалась одной ручонкой за плащ, другой за железку-перекладинку на колышках, о которую счищали с обуви. Меж пальцев чёрно бугрилась грязь.

Тогда я сказал, что привёз ей подарок.

Девочка выстрожилась, оценивающе окинула меня с головы до ног, как бы выверяя, а можно ли тебе, дядя, верить, уточнила, приставив худенький пальчик себе к груди:

– Мне?

Я кивнул.

– А что? – с вызовом спросила, поправляя вытертую козынку, козырьком падала на правый глаз. – Что?

Перед гардеробным узким зеркалом я надел ей белую пуховую шапку с кисточкой и охнул: шапка была невероятной огромности. Из-под неё едва виднелся нос.

– Шапка очень-очень хорошая! – радостью налилась девчонишка.

– Где ж оч-оч? Как кошёлка. Чересчур большая!

– Не большая. А как раз хорошая! – Девчушка благодарно уткнулась холодным носом мне в щёку (я сидел на корточках). – Теперша никто не увидит, – доверительно зашептала она, – мой похой глазик...

– Маленькая, откуда ты взяла? – так же шёпотом заговорил и я. – Нету у тебя никакого плохого глазика.

– Есть, родненький, есть... Если б не было... Знаешь, я тебе расскажу. Давно ещё, давно мамка с папкой повезли ме-

ня в чужой город к чужому дяде в халате. Посмотрел чужой дядя на мой похой глазик, сказал: «Носи, девочка, очки. В очках ты будешь самая красивая». Пришла я в очках в класс. А Мишка Воронов, Витька Буранкин, Шурка Сдвижков бегают за мной целой кучкой и дражнятся: слепендя! слепендя!! слепендя!!! Родненький, какая ж я слепендя? Я вижу всё, всё, всё! Разбила я очки камнем... Не хочу в класс... Ни с кем я там не дружусь... Сижу в углу, жалею похой свой глазик, разговариваю с ним. А он всё равно обижается и смотрит всегда в сторону, как у мамки...

– Откуда ты знаешь, что он смотрит в сторону?

– Я подглядываю! – с таинственностью и страхом выпалила мне в самое ухо и, прикрыв ладошкой именно большой глаз, наверное, чтоб не видел, не знал, показала из накладного кармана истёртой синей курточки – ещё когда я брал Ляльке в подарок! – лишь верх кругленького, с овсяное печеньеце, зеркальца и тут же снова осторожно спрятала.

– А за что ему на тебя обижаться?

– Мамка с папкой не очень мне покупают. Дорываю я всё с Ляльки. Может, надоела я ему всегда в старом? Правда, глазик? – Ноготок её пальца лёг в гардеробном зеркале рядом с задёрнутым мутной плёнкой глазом. – Правда?

Не отворачиваясь от зеркала, потерянно добавила:

– Он и не хочет на меня смотреть... Я смотрю на него, а он смотрит совсем на дверь... Отворачивается... Не хочешь, ну и не смотри на Лялькину куртку-тарактушку. Но, – плот-

ней надёрнула шапку, покорно позвала из шапки: – Глазик, глазик! Посмотри, какая у меня шапка... Но-о-овая, красивая... – Светло, ликующе повела подушечки пальчиков по верху шапки. – Из самой из Москвы! Ну посмотри!

Отлетела в сторону шторная половинка на дверном проёме, что вёл из прихожей в жилую комнату, вкатилась Лялька в своих тесных джинсах на заклёпках.

– О! Наша кудря уже прикольненько прифрантилась! – дурашливо плеснула руками, увидав на сестре шапку и потянулась было сорвать.

Но Лютик увернулась, забежала за меня.

В спешке завязала шапку под подбородком. Теперь не сдерёшь!

Лялька скривила губы.

– Эха, умнявая! Этот умоотвод, – Лялька потыкала пальцем в шапку с кисточкой на голове у Люды, – может вогнать в обалдемон только такую плюшку, как ты! И стоило этот малахай, куда хочешь помахай, везти из...

Входивший следом Митрофан беззлобно прищыкнул на неё:

– Ляль! Я не посмотрю, что ты вся в заклёпках и на целый палец выше батьки. Могу ведь по старой дружбине ремешком по сидячему бюсту пройтись. Ишь, мода какая. Дарёному коню в зубы лезть!

Лялька кудреватно ответила, что ни к какому коню не собиралась в зубы лезть, и стегнула в мою сторону тяжёлым

колючим взглядом.

Митрофан уставился на неё влюблённо-виноватыми глазами.

– Ну-у... Уже и обида поспела... Чего наворотила кисляк? Ну-ка, милая госпожа голая коленка... Лучше сконструируй улыбок шесть на девять! Негушка,¹⁶⁸ ты не обижайся. А лучше принимай вот эту бандуру, – чуть наклонясь, он передал ей баян, – да врежь нам «Светит месяц». Чтоб аж потемнело! Играй. И нечаянному маленькому сабантую музыка не помеха.

– Никитч, – поправляя ремни и поудобней усаживаясь, отходчиво проговорила Лялька, – а после сабантую что, опять будешь по полу кататься со своим сердцем?

– Не с твоим же... Надо, братцы, нам нажраться!

С обречённым весельем хохотнув, Митрофан водрузил на край стола давеча ополовиненную у себя дома бутылку. Подумал – опустил за диван.

Вошёл Глеб.

Глеб достал из шкафа новую, с большими яркими розами, скатерть на стол. Расстилая, выпел попутно Митрофану:

– Чего глядишь именинником? У нас кто не работает, тот не пьёт. Давай, помогалыч, доставай, – взгляд под кровать, откуда из-под низко свисавшего простого одеяла виднелись низы банок с солёными огурцами и помидорами. – Режь хлеб, открывай девчатам шипучку. А я отбуду ещё на

¹⁶⁸ **Негушка** – любимая дочь.

минутку, доведу до съедобных кондиций борщ. За вкус не поручусь, зато горячо будет!.. Значит, миряне, тайная вечеря такая: курятинка без борща, борщ с курятинкой и на десерт мужчинам блюдо под кодовым названием пять тридцать. Вся взрывчатка под столом.

– Есть *единогласное* мнение начать с десерта, – предложил Митрофан.

И он действительно начал с десерта, с пяти тридцати.

Столько стоила бутылка русской.

Почти с пупком набухал её в четыре узкие, высокие рюмки. Потом ещё в две грушовки налил.

Девчонки потянулись к воде.

Митрофан отвёл руку Ляльки от рюмки с вынырывающими пузырьками.

– Ё-кэ-лэ-мэ-нэйка! Ты чего не играешь? Забыла? Наш пай – музыкальное оформление, якорь тебя!

Лялька замаялась, капризно выгнула тонкую шею вбок.

– Воображувлю колдун закрутил, – тихонько шепнула про неё мне Люда.

Лялька услышала и грозливо кинула сестре:

– Рот-то закрой! А то кишки простудишь! Сделай фокус – испарись!

Что-то засерчала наша Ляля прекрасная.

А может, наша розетка ждёт, когда ей позолотят ручку?

Летом её подружке Светке достали белую водолазку. Загорелась Лялька: и мне! и мне! Прямо вот она мне, конеч-

но, не говорила, а всё стороной, всё поблиз, всё с намёком, с подходцем, мол, в Верхней Гнилуше этот номер дохлый, а вот там у вас если...

Человек я все же несколько догадливый и про себя решил, что в следующий приезд явлюсь с водолазкой этой.

Сразу по возвращении в Москву Валентина подбила на розыски свою подругу по работе Капу, эдакий ходячий комиссионный универмаг. Всё-то она знает, что где выбросят, вечно она кому-нибудь что-нибудь да меняет. С наценкой, разумеется, за усердие.

В надежде эффектно обрадовать протянул я Ляльке эту злосчастную водолазку.

Лялька поморщилась, будто у неё заболели зубы.

– Спасибо. Положите на сервант...

– Ты даже не хочешь взглянуть, что в свёртке?! – изумился я.

– А что смотреть? Всё равно не то, что мне надо.

– Белая водолазка, между прочим! Покуда достали – ведро крови потеряли.

2

– Жалко, конечно, ведра, – томно вздыхает Лялька. – Знаете, лучше б на что пустили это ведро?

Мне хочется капитально выругаться.

Но вместо этого наружу выползает какое-то помятое, побитое согласие.

– Доложишь – узнаю, – буркнул я.

– Вы могли бы принять заявку на бенц гифток?¹⁶⁹

– Попробую...

– А без пробы? Навернячок чтоб? Видите ли... На днях крутили по телеку «Даму с собачулькой». Дама, – показала она на себя, – есть. А собачульки... Мне б белого пуделёшку... Было б тогда всё прикольно...

– Это что ещё за чертовщинка? – встрепенулся Митрофан.

– Никитч, – это не чертовщинка, а приличная престижная комнатная собачка, – назидательно пояснила Лялька. – Дядь Глеб, – повернулась к входившему Глебу с ведёрной кастрюлей дымящегося борща на табуретке, – ну хоть вы скажите!

– А что я скажу? – Глеб принялся разливать борщ по тарелкам. – Я скажу... Борщ надо есть. А то тощий живот ни в пляс, ни в работу... А вот по части собачек... Звереют люди... Людям уже неинтересно с людьми. Пойди в городе...

¹⁶⁹ **Гифток** – подарочек.

И маленькое и старенькое на поводке за псинкой бежит. Вот уже и до Гнилуши докатилась эта дурацкая мода. Не за всё, Ляль, цепляйся, что видишь по тому ящику.

– А я, – захлёбисто похвалилась Лютик, – видала по телеку, как мучают в городе собачек. Застегнут рот и ведут куда им не хочется.

– А я с тобой, – относя от Глеба тарелку, возражал Митрофан, – а я с тобой на таких правилах не согласен. К твоему сведению, собака воспитывает в человеке доброту, человечность...

– Иэх, Митя-а! – пыхнул Глеб. – Извини за грубость, но из двуногой собаки ни одна четвероногая ещё не сделала Человека! Не надо слишком многое перекладывать на плечи собак. Если отец-мать профукали, то уж с собаки и вовсе взятки гладки!

Глеб считал, что надо держать только служебных, сторожевых – рабочих – собак. Каждая ешь свой, заработанный, хлеб! Точнее, каждая грызи свою заработанную кость.

Его занесло в дебри себестоимости моды на комнатное зверьё, и он вывалил такое, что никак не верилось.

– Сам читал, – говорил он. – По стране... Бульдожики, мопсики, таксюшки, пудельки в картинных жилеточках лопают столько, что того мяса хватило бы населению всей нашей области! Дорогая игрушечка собачка, о-о-оч дорогая!

Митрофан вздохнул.

Да, есть над чем помозговать.

Повернулся к Ляльке:

– А ты учудила ж... Целую собачищу в дом! В доме держать цуцыка – ему ещё собачий гувернёр нужен! Собаку – в дом! Ну!.. Своим умком добежала?

– Представь!

– По городской лавочке куда ни шло. Но в дярёвне... Пре-вращать квартиру в жизнерадостный дом хи-хи...¹⁷⁰ Такой звон пойдёт! Не вышло б соком... Станут пальцем тыкать, как в фалалейку. На смех подымут!

Лялька ядовито кольнула:

– Някитч! Не бойсь! Тебя не подымут. Тяжёлый!

И вместо того чтобы огневиться, вскипеть, топнуть да покрепче, со всей силой защищая святость родительской воли, Митрофан конфузливо-счастливо улыбается дочке.

– Негушка! Да в твои сладкие годы и на дух тебе собака не надобна. Вообще не нужна в твоей жизни. Что такое жизнь? Жизнь – это...

Он слил водку из своей рюмки назад в бутылку.

Поднял пустую рюмку, покрутил:

– Жизнь – это вакуум. Вот что налью я в эту рюмку, то и будет. Вот, – снова наливает водки, – будет горькая. Это мне горькая, это моя жизнь. А это вам, – пододвигает девчонкам полные рюмки сладкой шипучки. – Всяк пей своё.

– Я универсалка. Я и шипучку выпью, и собаку для при-

¹⁷⁰ Дом хи-хи – психиатрическая лечебница.

кола¹⁷¹ ж-жалаю.

– Зачем? – спросил я.

– А чтоб Светка Хорошилова от зависти лопнула! Точно попаду в приколы! Ни у кого в Гнилуше нету, а у меня есть! Станет подлизываться Светуха, станет канючить поводить пуделёчка. А я ей, этой глисте в скафандре:¹⁷² на на пятток минут. Только спервушки гони на эскимо!

– С подружки бабки брать?

– Ну не камушки же! Она-то с нас гребёт. Ещё ка-ак гребёт! Прямо обмиллионилась на нас! Ей дядя из Воронежа привёз в подарок золотой крестик. Стоит семьдесят рэ. Между прочим, дядя двоюродный. А мне-то вы дядя *породне-ей!*

– Из этого вовсе не следует, что я поднесу тебе два.

– Жаль... А крестики в таком ходу! Светка на переменке бегаёт в апассионату¹⁷³ показывать нам свой комбидрон¹⁷⁴ и нательный крестик. Потрогал кто крестик – покупай Светульке мороженое. Даёт и поносить одну переменку под одежкой. Только наперёд заплати за еюшкин завтрак. Мне в порядке исключения дала как-то поносить целый урок. И я как дура сидела на уроке о боже¹⁷⁵ с крестиком... А может наша Светуня дать в тёмном тайном бацил-

¹⁷¹ Для приколы – ради шутки.

¹⁷² Глиста в скафандре – высокая, худая, некрасивая девушка.

¹⁷³ Апассионата – туалет.

¹⁷⁴ Комбидрон – красивое модное нижнее женское бельё.

¹⁷⁵ О боже – учебный предмет ОБЖ – основы безопасности жизни.

лярии¹⁷⁶ и витаминчик.¹⁷⁷ За рубчик! А за два может на другой день принести целую бациллу с ниппелем.¹⁷⁸ Да жмотиха эта Светка-крестоносиха! Чересчур ву-умная, только худенькая... Школьный спид¹⁷⁹ в полном умоте от этой Светулечки!..

В разговор вмешался нетерпеливый Глеб.

Он сказал, что вовсе не обязательно заводить собаку единственно ради того, чтоб кому-то насолить. Собаке уход нужен, твоя нужна любовь.

– Любовь? – Ломливая Лялька широко раскинула руки. – Пожалуйста, дядюшка! Да что мне, любви жалко? Иль я тундрючка какая? Животных я у-ух и люблю!

– Даже так? – завёлся Глеб. – Ваши, – летучий взгляд на Митрофана, – всю дорогу держат кабана. Ты хоть раз ему вынесла?

Лялька оскорбилась.

– Что ж, по-вашему, кроме кабана мне не за кем и поухаживать? Только и свету в оконушке, что ваш кабан? Здравсьте! – Лялька жеманно поклонилась. – Да на моём полном попечении – апельсин тебе в гланды! – сам Воробей Воробейч Воробьёв!

Велико дело!

¹⁷⁶ **Бациллярий** – место для курения.

¹⁷⁷ **Дать витаминчик** – дать закурить.

¹⁷⁸ **Бацилла с ниппелем** – сигарета с фильтром.

¹⁷⁹ **Спид** (сокр.) – Совет При Директоре.

Вчера в дождь в форточку влетел к Ляльке воробей.

Лялька захлопнула форточку.

Сыпнула на стол у окна пшена, а сама выскочила в прихожую. Со стула в верхнюю щель над дверью долго наблюдала, как воробей клевал.

3

Ей хотелось, чтоб воробью было тепло, и она из цветных лоскутков сшила ему жилеточку.

Воробей Воробеич носился по комнатам как сумасшедший.

Девочке показалось, что, садясь, он может удариться, и она, от души жалея птаху, сладила крохотный, с пол-ладочки, парашютик на шёлковых ниточках. Другим концом пристегнула ниточки к жилеточке.

И теперь грустный Воробеич порхал по комнатам с парашютиком.

– Лялька! Это ж изуверство мучить так птицу! – негодовал Глеб.

– Извините, дядя, но вы слегка клеветеете на меня. Ну зачем вы катите на меня баллон? Я ж совсем не мучаю. Я помогаю птичке жить красиво. При помощи парашютика она мягче садится. В жилетике ей теплей... Прикольненько!

– Да сдалось ей твоё тепло!

– Не нужно было б, не залетала! Разве дома холодней против улицы? На улице холодища, зима мажется... Хотите, скажу отцу, сделает клетку.

– Не клетка – ветка нужна!

– Ну! Пускай веткой побудет вся квартира хотя б до апреля. А сейчас в такой холод – сердце дрожит! – я не выпущу

Воробеича. Чего ему надо? Воды, зерна до отвалки даю!

Глеб устало махнул на Ляльку обеими руками разом, словно отталкивался от неё.

– Ладноть. Вернёмся к кабану. Что ж ты его и разу не покормила?

– И не подумаю! От кабана слишком бьёт в нос французскими духами...

– Однако сало прячешь за щёку будь здоров! Послушай! А чего б тебе да не удивить Гнилушу? Возьми эдак небрежно и удиви. Вместо собачки прогуливай по улицам на поводке поросёнка. Как в Гватемале. У нас собак по улицам таскают, а в Гватемале поросят. И модно, и эффектно!

– Что эффектно, то эффектно, – подхватил я. – У нас, в Москве, стали на каждой лестничной площадке ставить бачки. Для пищевых отходов. Кормить в стране живность нечем, так хотят выскочить за счёт пищевых отбросов. Но никто ничего не отбрасывает. Сами люди могут с проголоди лишь лапоточки отбросить. И ничего никогда нет в тех бачках кроме полчищ мух.

– О! – выставил Глеб поварёшку. – Поддержи, Ляль, державу в трудную годину. Будешь прогуливаться с поросёночком и подкармливать попутно. Как раз в духе веяний века! А?!

– Не, дядь. Вы мне заменителей не подсовывайте. Я как все... Смотрю киношку, телик... Везде так приколенько фланируют с цуцками. Прямо с людьми уже будто стыдно

показаться...

– Устами младенца – истина! – воскликнул Глеб – Вот где зарыта собачка! Почему так падок город на собак? Случайность? Ой лё... Человек измельчал. Люди все меньше и меньше доверяют друг дружке. Скажи кому что-нибудь себе близкое да под секретом ещё... Тут же разнесёт сарафанное радио. Выработают слона. Просмеют. А у человека не отнять потребность выговориться. Ну и как тут быть? Кому выльешь душу, не боясь быть осмеянным? Одной собаке...

– Ну-у, – с брезгливостью в лице и в голосе поморщился Митрофан. – Это что-то из области больной философии...

Он взял свою полную рюмку, поднял на уровень глаз, с каким-то жалующимся вздохом посмотрел её на свет, подмигнул ей свойски и, тихо проговорив: «Берегись, душа, оболую!» – обще скомандирничал:

– Берите! Поехали! Да живее мне, живее. Пейте, люди смелые, воду очумелую! Стынет... Сама водка стынет! Тоник, чего ждём? Девки! Негушка! Людаш! Все берите... Нечего тянуть, а то взрывчатка с часами, как мина. Взорвётся в девять ноль-ноль.

В девять возвращалась со смены его жена Лиза.

Все встали с поднятыми рюмками.

Одна наполненная рюмка осталась стоять одиноком на углу стола.

– А эта чья? – угрожливо шумнул Митрофан, искренне подивившись тому, что у каждого уже было по рюмке и к

чему тогда налито ещё и в эту?

Все молчали.

Митрофан повторил:

– Так чья?

– Наверно, мамина... – глухо обронил Глеб.

Митрофан боярским взглядом окинул застолье и заметил пустой стул на углу стола.

На том углу, ближнем к дверному проёму, обычно сидела мама. То место было за ней. Прислуживая застолью, она лишь на миг притыкалась к столу и то только для того чтоб высмотреть, а не надо ли чего подбавить, и, решив про себя, что надо, всполошённо утягивалась к печке, к холодильнику, в погреб.

Место на углу было ей удобно.

Выходя чаще всего незаметной, она никого не беспокоила.

Митрофан вопросительно уставился на Глеба.

Глеб опустил голову.

– Ма! – крикнул Митрофан. – Ну что вы вечно с фокусами!

Митрофан привычно прислушался, как прислушивался во все долгие годы, когда перед самым застольем мама непременно толклась в соседней комнате, в кухоньке, или ещё чуть дальше, в сенцах у газовой плиты, хлопоча над чем-нибудь ещё к столу, хотя на столе и без того было уже всего до воли.

– Как чокаться, так вас не дозовёшься! Чокнуться мож-

но!.. Скорее идите! Водка же стынет! Не срывайте нам, – Митрофан потеплел голосом, – культурное мыроприятие по достойной встрече братана!

Обычно на втором-третьем слове упрёка мама виновато-торопливо отвечала, откинув дверную занавеску (между комнатами в дверном проеме висели лишь две светло-жёлтые половинки):

– Я зараз, зараз, хлопцы! А вы не ждите! Ешьте, ешьте. Закусютэ! А я зараз!

И действительно, скоро выходила к нам.

Но сегодня мама и не отвечала, и не выходила.

Не дождавшись бабы Поли, наладилась Лялька полегоньку посасывать и без того уже выдохшуюся, уже без силы выталкивавшую из себя последние точечные пузырьки шипучку.

Митрофан поскучнел.

– Есть рацпредложение. Пока там мать наша танцует танец маленьких лебедей на кухне вокруг своих сковородок-чугунков, давайте дерябнем по махонькой за то, чтоб не было войны!

– О нет! – вскинул Глеб руку щитком. – Давайте лучше выпьем за то, чтоб не было коммунизма!

– Ну-ну-ну! – загудел Митечка. – Это опасная анархия. Как член КПСС, конечно, извиняюсь, не с семнадцатого года, однако категорицки протестую!

– Протест *единогласно* отклоняется! – поднял Глеб ру-

ку. – Из войны мы выпрыгнем! Ё-моё!.. Да голыми ж телами забросаем, задавим врага! И выплывем. Как в сорок пятом. Сколько воевала Россияшка и всегда, богатыря, подымалась. А вот придави нас твой чумовой коммунизмишко, – всем нам гарантированная амбёжка! Ведь твой картавый как пел?

– Да не *твой*, а *наш*.

– Ни хераськи себе! С чего это он *нашенец*? Ни Тоник, ни я, ни мама, ни бабушка с бабушкой как с маминой стороны, так и с отцовой, – никто в партии не был и не будет. Ты, чухан, один у нас в роду вляпался в КПСС. Так тебе одному с этим картавкой по пути... И как он пел? «Прекрасная вещь революционное насилие!» Видал! Он же ради этого коммунизма будет ставить к стенке до последнего человека!

– Он-то, ёра-мамора, сам уже отставился... Он не ставит...

– Так его именем ставят! Его верные ученички-пендюорчки... Интересно... Вот лежит он в мавзолее. Мертвяку такие хоромищи! Одному! Только и слышишь с уха на ухо: «Самый дорогой наш бомж! Кремлёвский!» Мавзолей же без номера. Выходит, и труп без места? Нигде и ничей? Какая-то чертовщина! А ему наплевать! Тепло, сухо. Никакого оброка¹⁸⁰ не плати. Его бы в наш сараёк упечь. В дождь зальёт, в мороз в ледышку сольёт! Сразу б убежал отсюда, зря что трупешник. А то... Вот закрыт мавзолейка. Что хозяйко-то

¹⁸⁰ **Оброк** – плата за коммунальные услуги.

поделывает на досуге? Наверно, лежит, кинет ногу на ногу и ну распекает революционные песенки?

– Ага! – возразила Ленка. – До песенок, когда живот соломой набит!

– Соломой не соломой, – задумчиво проговорил Митрофан, – но и не живыми кишками. Какой-то чурбачок... Химический Тутанхамон... Однако мы отвлеклись от темы то-ста. Не буду я отрываться от коллектива... Давай, Глеб, выпьем не за то, чтоб не было коммунизма – его и так никогда не будет! – а выпьем просто за всё хорошее.

– Я согласен, раз выходит на одно... Что в лоб, что по лбу. Без коммунизма всё хорошее к нам само нагрянет. Помогли б наши головки да ручки...

Митрофан торопливо плеснул всё из рюмки в рот и огляделся. Кроме него никто не выпил. Это его вовсе не смутило. Медленно поспешая, снова наливает себе, философствуя:

– Негоже, едрёна копалка, отрываться от родного коллектива...

Налил, как-то успокоенно вздохнул и уже равнодушно, постно продолжал:

– Хоть и выпил я за всё хорошее, но ни матери, ни коммунизма, ни хорошего чего прочего всё равно так и не вижу. Это никуда не годится, якорь тебя! Послушай, Глеб. А я, грешный делом, мать-то сегодня вроде как и вовсе не видел... – не то спрашивая, не то утверждая, неопределенно пробубнил он. – Где она у вас?

Злые льдинки качнулись в прищуренных глазах Глеба.

– Где и у вас!

– То есть?

– То и есть, что есть. – Глеб поставил рюмку на стол. –

Ты на дню по сто раз проскакиваешь под нашими окнами на своей «Ниве». Благо асфальт, летишь на всех парах... А когда ты в последний раз видел мать? Когда? Вчера? Позавчера? С неделю назад?

– Ты на меня балетки не выворачивай...

– А ты, умняра, от вопроса в кусты не прыгай. Так когда ты в последний видел раз?

– Вообще-то...

– Месяц назад, дружочек!

– Вообще-то мать не телевизор, чтоб на неё каждый день пялиться.

– Конечно! – с донным ядом подхватил Глеб. – И даже не рюмка!

– Подбирай же, туря-пуря, слова! Аудитория, якорь тебе! – по-воловыи наклонив голову, Митрофан свирепо скосил, свёл глаза на враз приопавших девчонок.

Уж кто-кто, а они-то знавали своего родителя всякого, и не было у них отчаянней минуты, когда он, начокавшись черней грязи, не на четырёх ли костях влезал в дом и потом, мучимый, одолеваемый смертельной болью в сердце, долго катался по коврам бревном; и вот так вот, охая, стеная, разом засыпал, когда едва отпускала боль, засыпал где-нибудь

посреди комнаты, и тогда всё женское семейство старательно вскатывало его по припасенным на этот случай досточкам на диван, как вскатывали сельповские мужики бочки с квашеной капустой на машину.

Митрофану, не трогавшему дочек и пальцем, было стыдно смотреть им в глаза за свои катания, он и сам сознавал, что набираться до такого состояния не дело, но ничего не мог с собой поделаться: пил не на свои, на свои у Лизы не разбежишься; его угощали, у него не было воли отказаться. Как не уважить человека? Человек к тебе с добром, а ты... Обидишь ещё.

– Так куда ж вы упрятали мать? – срывисто бросил Митрофан Глебу.

– В Ольшанку! В больнице она там.

– Ка-как в больнице? В какой такой больнице? Розыгрыш?

– Разумеется. Вот он, – кивнул Глеб на меня, – думаешь, зачем тут? А приехал помочь мне разыграть твою персону.

– Ну-у знаешь! – побледнел Митрофан. – В Москву доскочило... А я... А я за три крыши кукую и ровным счётом ничего не знаю! Выставить на посмешище? И с таким ещё пить?!

Глеб с ленивой, неестественной улыбкой потянул к Митрофану руку.

Митрофан в недоумении покосился на неё.

– Раз водкопой отменяется, прошу вернуть тару.

Так же неестественно мягко, деликатно Глеб вывинтил из

вспотевшего кулака Митрофана рюмку и не спеша принялся сливать водку назад в поллитровку.

Делал он это с полнейшим безразличием, с какой-то дремучей унылостью в лице, с которой берутся за пустую, зряшную, неблагодарную, но необходимую работу, и в этой унылости опытный глаз мог бы разглядеть проблески и издёвки, и решимости, и торжества.

Слив изо всех поставленных в одну нитку рюмок, он так же нехотя, подчеркнуто нехотя, уныло опустил бутылку в плохое ведро под рукомойником.

Бутылка была не закрыта.

Грязная мыльная вода, будто обрадовавшись, с клёкотом, с шипением хлынула в бутылку.

Девчонки просияли, разом забили в ладошки, и уже минутой потом Лютик, снявшись со стула, переломилась через диван, широко поискала руками по ту сторону дивана, нашарила что-то и, пряча найденное за собой, стремительно прошила к ведру.

Послышался ржавый, глухой скребок стекла о стекло.

– Да ты что бухнула? – спохватился Митрофан, всё это время оторопело кусавший губы и не отводивший голодного мёртвого взгляда от ведра.

Девочка, белая, чистая, как цветок, вся засветилась торжественной улыбкой.

– Я утопила твою водку, папка!

– Да вы что, побесились?! – багровея, рявкнул Митрофан.

Обозвав дочку бледной поганкой, полоснул ей: – Косая, косая, а подглядела-таки мои похоронки да и бултых... Ты ещё нарвёшься у меня на кулак! Я тебе нацеплю орден за твои героичества! – и покрыл свою пустую угрозу бессильно-виноватым смешком.

Девочка знала, что ничего ей не будет.

Её занимало лишь одно: почему дяде Глебу ни слова не сказали, а ей выговаривают?

Митрофан считал, что на вечер вполне хватит одной глупой выходки, а две это уже, извините, слишком, перебор.

Он не сводил с ведра глаз и даже как-то нехорошо обрадовался, когда увидел, что поверху плавает покрытая, будто замаскировавшись пеной и луковичной шелухой, вроде, как ему примлилось, заткнутая кукурузным огрызком его полупустая бутылка.

– Пойду вынесу... А то полное. Вон даже через край буркнуло...

Станным показалось нам с Глебом это его желание. Ни Глеб, ни я не видели никаких выплесков на полу. Да и вообще Митрофан ни разу за всю свою жизнь в доме матери не вынес из помойного ведра, а тут прям возмечтал. Не ладится ли он во дворе выловить свои недопивки?

От этой мысли мне стало погано на душе.

Оторопь холодит меня.

Мы переглянулись с Глебом.

Кажется, то же чувство слилось и в Глебе.

– Всё-таки пойду, – глухо сронил Митрофан. – А то... Ну через же, якорь тебя!

– К чему твои враки? – буркнул Глеб. – Скажи это бабке в красных кедах!

– Бабке докладывать не собираюсь, – отмахнулся Митро-

фан, направляясь к ведру.

– Неужели, – бросил ему в спину Глеб, – неужели мы дешевле пятёрки? Разнесчастушка ж ты разгуляй-бруевич! Да кортит выпить, так и лупани прямиком. – И дразняще: – Взрывчатка у нас во всяком углу выстаивается. Все углы заминированы!

Митрофан остановился, неверяще глянул на Глеба.

Глеб как-то легко, словно удочку, кинул длинную руку в угол за шкаф с зеркалом посередке, заметно и сам подавшись за ней, приседая, и уже через миг, небрежно держа двумя пальцами бутылку за горлышко, опустил в самый центр стола.

Всё сразу как-то сшатнулось в доброе русло.

Ожили девчонки; вернулся к столу раскисший в плечах Митрофан, с нескрываемым торжеством улыбаясь во всё своё большое, как колесо, лицо, с каким-то весёлым вызовом поглядывая на обворожительно игравшую на ярком свете в нарядной одежке поллитровку, всего в мгновение обернувшуюся в пленительную силу вседобра и всепрощения, в ту единственно нужную в эту минуту силу, которая уже появлением своим сняла со всех тяжкое бремя перекоров, сомнений, подозрений, вложив каждому и в душу, и во взор, и в слово одну лишь радостную ясность.

– Всё-таки память у тебя воробьиная, – без злости попенял Глеб Митрофану, когда Митрофан, долив по рюмкам вровень с краями, вернул бутылку в середину стола. – Ты чего

ж мать обошёл? Иль уже не признаёшь за нашу?

И, выпередив тяжело потянувшуюся снова к бутылке Митрофанову руку, сам плеснул до всей полноты несколько капель под самый верх в одиноко и укорно стоявшую на углу рюмку.

– Ну как же это не признаю, – с ленью в голосе возразил Митрофан, однако не без проворности сгрёб свою рюмку, будто опасаясь, что может накатиться ещё что-нибудь такое каверзное, из-за чего опять не донесёшь горячего до рта. – Я-то и тост подымаю первый за нашу мать. Мать у нас молодца! Нас вон каких три лобешника пустила в жизнь, подняла без отца одна. А война? И холод, и голод – всё наше... Война всех нас снизила. В военную беду плохо нам, ребяташки, рослось. А всё же выросли! И вот этих моих красавиц, – повёл бровями в сторону дочек, – выпанькал кто? Мату-уня... За нашу мать выпить – больша-ая честь! За мать, Тоник! Давай едь до дна, досуха. На лоб! Хай ей, как она говорит, лэг-энько там икнэться.

Союзно, вместе, сошлись над столом стаканчики, пожаловались тонким глуховатым стоном-перезвоном друг дружке и разошлись.

А через час, вызрев до предельности, Митрофан с красным тяжёлым лицом, уже без пиджака, даже без рубахи – как же, запарился, целый вагон с углем один разгрузил! – в майке, что тесно обнимала громоздкий, валунообразный живот,

обречённо печалился размятым голосом:

– А я чуть голову не уронил на пол...

Признание это подавалось, наверное, по разряду шутки.

Но шутка эта никому не положила ни на лицо, ни на душу даже завязи улыбки.

Девчонки уже спали за столом, спали сидя, содвинувшись плечишками и уткнувшись головами в верх баяна.

Баян стоял у Ляльки на коленях нераскрытым, на ремешке. Так никто и не услышал сегодня, как Лялька играла.

– Митька! Пока не поздно, давай к делу, – сказал Глеб. – Завтра чем свет надо Тоника подбросить в Ольшанку.

Митрофан трудно пронёс перед собой палец из стороны в сторону.

– Н-не м-м-м-могу-с...

Он действительно не мог.

По уговору, к семи ему нужно было забрать у Суховерхова своих шефов и на весь день закатываться с ними на комплекс. Упусти завтрашний момент, доведёт ли Митрофан свой комплекс до ума, как ему хотелось?

– А давай, Тоник, так... – пробомотал Митрофан. – Завтра ты отсыпаешься с дороги. А послезавтра едем. Мне и самому надо бы наведаться... Аж кричит... Мать-то ведь... И потом, негаданный морозец, может, подмостит большак. А сунься по нонешнему киселю... Из кювета в кювет ныряй! Так что заспи денёшек.

Я не согласился:

– Двину своим ходом.

– Да туда ж двадцать кэмэ! По спидометру двадцать да сударыня грязь двадцатник накинёт!

Вошла Лиза, маленькая, толстая, как копна.

Стараясь прямо держать голову, Митрофан строго спросил её:

– Поз-з-звольте!.. А кто раз-з-зрешил прокурорам ходить по двое? – И, подумав, почти прокричал: – А!.. Понял! Понял! Это ты взяла своего зама, тараканьего подпёрдыша! И подобрала ж, юка-мука, по масти, якорь тебя!

Разуваясь, Лиза вскинулась от порога:

– Наловил плевков на лету! Весь заревом!.. Насосался! Как вехотка!

Оставшись в одних шерстяных носках, она пустила частые, дробные шаги к нам, забирая ногами в стороны; стала перед столом, поджав гладкие, широкоформатные бока розовыми кулачками-полнушками и с растерянной досадой глядя на всех разом и на каждого в отдельности: левый глаз у неё сильно косил, был, как говорила мама, негожий, оттого невозможно было сразу понять, на кого именно она смотрела сейчас. Я предположил, на Митрофанелли, поскольку, погрозив персонально именно ему пальцем, она уже саркастически повторила:

– Как вехотка! Бормоглот!¹⁸¹ Оформился в нокаут!

Митрофан согласно качнул головой:

¹⁸¹ **Бормоглот** – алкоголик, который пьёт дешёвое вино.

– Убавь первую программу... Кричи потише... – И жаловался: – Как ни старайся, а на прокурора никогда не угодишь. Вехотку она сразу, понимаешь, увидала... Глаза-астая! Вычистила на все боки... Не постеснялась... А мне, гляди, бегут уже зачёты как всем образцовым бесам, волам и дурдизелям!¹⁸² А мне, можь, похвальную уже грамотищу рисует сам Врубель!

Лиза не удержалась от злого смешка.

– Ё-пэ-рэ-сэ-тэ! За какие за такие подвиги?

– А хотя б, душа твоя коряга!.. Да если я с гранёного стаканидзе съехал, переломился на эту тару, – намахнул раскрытую совковую ладонь на пустую рюмку, – разве это в разрезе человечества не прогресс?

– Великий!.. Только прогрессивки за него не жди. Ты и напёрстками цистерну в себя перекидаешь за присест!

– За такие блудливые речи я штрафую! Ну-к, садись!.. – энергично подволок к себе ногой пустой мамин стул. – Да оприходуй штрафную!

Митрофан поднёс ей мамину рюмку.

Налил и себе.

Они чокнулись.

– Хоть ты и пьёшь штрафняка, но я не могу одну тебя оставить в такой беде. Знаю, ты без моего тоста не вы-

¹⁸² **Зачёты бесам, волам и дурдизелям** – о снижении срока лишения свободы за добросовестный труд и строгое соблюдение режима исправительно-трудового учреждения.

пьешь... Слушай... Как-то собрались звери на вечеринку и гадают, что такое жена. Слон пробасил: «Жена – это ГСК». Все остальные задумались, что ж такое ГСК. Как расшифровать? Заяц говорит: «Это гроза семейного кооператива». Осёл: «Это грозный семейный казначей». Соловей: «Это голубая светозарная камелия». «Медведь: «Это главная семейная кариатида». Сибарит Лев: «Гимн семейному комфорту». Паук: «Горький свой крест». Бобёр: «Это глазастый семейный конвоир». Но тут я решил подключиться. Я пью за главнокомандующего семейной каравеллы!

Не чинясь, Лиза приняла, взяла глоток, второй и, не поморщившись, выпили быстрее Митрофана.

– Ну вот, – сказал он, снова наливая в рюмки. – Зачин сделан. Теперь пьют все! Культурно. Под мой тост. Под-ды-ма-а-ем... Стучим... тар-рой по тар-ре... – пошёл он своей рюмкой остукивать встречно протянутые ему рюмки. – Что такое жена при наличии троих детей? Наседка, которая вечно копошится по хозяйству, слегка кудахчет. А я при этом чувствую себя гордо, петухом. Очень уютно. В доме всё в порядке. Всё идёт своим чередом. Курятник полон. Все сыты, все довольны. А я гребень распускаю, грудь выпячиваю, крыло веером и вокруг своей наседки таким молодцом. За мою княгинюшку и моих цыплят! Ну! Вздрогнем, а то продрогнем!

Митрофан скобкой уронил руку Лизе на оплывшее плечо, просторное, как подушка, другой рукой осторожно, кра-

дучись обнял сонно вжавшихся друг в дружку дочек, нагнал в грудь воздуха и, не давая голосине полную волю, грянул:

– С-с-сун-ду-ук с-с-сле-ева-а... –

повёл ласковым взором по спящим дочкам...

– с-с-с-сун-ду-ук э-эс-с-с-спра-ава-а... –

перевёл выпуганные глаза на Лизу.

Легонько подтолкнул к себе и Лизу, и девчонок.

*– Во-от и вся-а моя-а д-д-держа-ава-а,
С-с-сун-дуки-и, э-эх да с-с-сун-дуки-и-и-и!..*

Он не знал больше слов.

А потому снова завёл про сундук слева, про сундук справа, потом ещё, потом ещё...

И Лиза, и Глеб, и я с мрачным ожесточением ждали, когда ж он кончит сундучные свои страдания, но он, разогреваясь, всё основательней, бесшабашней входил во вкус и, закрыв глаза, сыто, монотонно гудел, будто его заело на злосчастных сундуках, и дальше этих сундуков слева и справа дело никак не вязалось.

– Русская душа требует выхода, якорь тебя! – с лёгким сердцем пояснил Митрофан и тут же куражливо, с вызовом хватил сразу, без разбега, высокую весёлую ноту:

– Зять на тётце капусту возил!..

Не без удовольствия Лиза тукнула его ватным кулачком в бок. Помогло. Пение упало.

– Мить! Ну, ты иль совсем сошёл с орбиты? Гудишь, гудишь, как малое дитё... Передохни. Мы твои песни слушали? Теперь ты послушай наши. Сверни-ка ушко крендельком...

Лиза удивилась, что муж покорно замолчал и напряжённо стал её слушать.

С просительно-вкрадчивой улыбкой она продолжала:

– Поступил звоночек из области... Нинка хвалилась, что к ним в универмаг завезли дублёнки с клавишными пуговицами. Притаила мне одну. На неделе надо ехать выкупать...

– Привалило счастья, хоть в колокола з-звон-ни!.. А чего нам!? Нам это нич-чего не стоит. И поедем! – торжественно объявил Митрофан. – И не выкупим! На что тебе вторая? А можь, ты заместителька решила приодеть? А?

Митрофан сел так, что, оттолкнувшись от стола, упёрся спинкой своего стула, задравшего над полом передние ножки, в спинку стула Лизы.

Приставил руку к уху, дурашливо канючит:

– Шепни по секрету... Шепни...

Она дважды шлёпнула его ладошкой по плечу:

– Не вяжись!

– Предупреждение шлю... Барабан, в который часто бьют, скоро треснет...

– Ты что-то выдавил, тубик?

– Так шепни...

– Да ну не вяжись же ты!

Прихватив под собой стул, Лиза отдернулась, отсела на шаг, и Митрофан, вельможно качнув нетвёрдой рукой в атмосфере, опрокинулся, словно чувал с песком, на пол.

Повскакивали с шума девчонки, насыпались подымать отца. Да куда!

Сам же Митрофан встать не мог.

Его только на то и хватило, что сел на полу.

Опустилась на корточки Лютик, выискала у отца под унылым клочком рыжих волос на затылке ссадину, боязно пронесла пальчик над ссадиной, подула: папе больно.

Расчувствовался Митрофан, обнял дочек.

– Спасибушко... Желаннушки мои... Спасибушко... А вот повыпихну вас в жёны... Кто тогда защитит от этой партизанюхи? – указал на Лизу, чуже, с какой-то мстительной тоской уставившуюся в тёмное, не задёрнутое занавеской окно. – Кто защитит?

– Я, – неуверенно, надвое, пискнула Лютик. – Я буду приходить с Женькой Зубковым и защищать тебя от тётки мамы...

– Вот так, *тётя мама*, якорь тебя! – почти выкрикнул Митрофан, с насмешкой в голосе выделяя слово *тётя*. –

Есть у меня защитница! Знай! А то... Взяла моду... Не лаской, так таской... Неужели, едрён батон, думаешь, это самый короткий путь к дублёнке?

– Не пора ли нам пора? Хватит жечь нервы! Вставай! Собирайся домой!

Митрофан поднялся на ненадёжные ноги и, надевая рубашку, пиджак, пальто, всё глухо ворчал себе под нос:

– Вот наскочил на братскую могилу: упасть, обнять и заплакать...¹⁸³ Ведь все мужеские гены повытрясла эта ночная фиалка... Ну не будь тут бракоделом...

– Это ты-то бракодел? – подал голос было задремавший Глеб. – Ты у нас златокузнец! Дамских дел спец! Три такие девки... Да девками Россия цветёт!

Мне хотелось хоть как-то подправить впечатление от испорченного вечера.

Я отважился поухаживать под конец за сердитой невесткой.

Снял с вешалки её пальто, подставил рукава.

Но она, каменно пробормотав что-то вроде благодарности, резко взяла, почти выдернула у меня пальто и, отвернувшись, с неспешной холодностью надела, с обстоятельностью принялась сбивать платок козырьком на самые глаза.

Насколько помнится, платок она сегодня у нас не снимала, даже за столом была в нём. Почему?

¹⁸³ **Братская могила: упасть, обнять и заплакать** – толстая женщина.

Наверное, слишком пристально смотрел я на её платок, поскольку моё недоумение заметила пронизательная кроха Люда.

Люда поманила меня.

Я наклонился.

– Мамка прячет ото всех чужейных поломатую причёску. Утром завивалась на гвоздике. Гвоздик перекалился, а когда мамка выкрутила на гвоздик кудрю, кудря так и отпала. На том месте у неё теперь пусто!

Докладывала Люда захлёбисто и раз за разом поглядывала на мать, отчего, пожалуй, Лиза и Митрофан вполне догадались, про что именно щебетала дочка.

– Ты уж не все секреты фирмы выдавай сразу, – умильно попросил её Митрофан.

Лиза была уже за порогом с сеткой картошки (она никогда не приходила в дом свекрови без сетки и, естественно, никогда не уходила с пустой сеткой) и, поглядывая вокруг на всякого косо и одновременно вверх, как на часы на стене, озлénно стегнула:

– Можя, ты здесь и заночуешь? Мы идём!

Они и в самом деле все трое стояли уже одетые у двери, ждали её одну.

Девочка со всех ног бросилась от меня к родителям, к рукам, но ни одной свободной руки для неё не нашлось.

Лиза и Митрофан держали гордовитую Ляльку за руки. В другой руке у матери была сетка, а отец пустую руку упрятал

в карман пальто, будто боялся потерять, настолько орёлик был хорош.

– Хочу за ручку, – пропаще попросила Люда.

– Хотеть не вредно, но у меня не сто рук! – напустила блажи Лиза. – А всего две и обе заняты. Отец, возьми свою защитницу! Ну, просится...

– Мало ли что просится... Пускай хватается за твою сетку да покрепче. А то на дворе грязина, ещё завязнет где... Потеряем...

И девочка, вжав голову глубоко в плечи, потерянно цепляется за сетку.

Отрыжка шатнула Митрофана.

Он трудно помахал рукой нам с Глебом:

– На прощанье всем привет из глубины души, якорь всех вас!.. Хор-рошо поокали!..

Митрофан тупо подумал и ещё помахал нам ватной, пьяной рукой:

– Как говорит наш граф Пендюрчик, «сердечный, большевистский привет вам, товарищи китайцы!»¹⁸⁴

Наконец гостевой поезд тронулся к углу нашей засыпушки.

Люда последней уходила со света бабушкиных окон.

Девочка на миг обернулась.

В синих сколках глаз кипело по слезинке.

¹⁸⁴ Приветствие принадлежит М. Горькому. («Правда», 3 сентября 1934 года.)

Девочке хотелось к живому теплу в родительской руке, а держалась она за сетку с грязной картошкой и горько плакала.

Глава шестая

У сердца уши есть.

*Совесь с молоточком: и постукивает и
наслушивает.*

1

Вслед за гостями Глеб пошёл убираться в сарай, а я навалился наводить порядок. Пovyтряс половики, помыл полы и всю посуду со стола, вытер досуха. Навёл в хатке полную икебану.¹⁸⁵

Ставлю рюмки в сервант.

Ба!

Письмо!

Моё старое письмо!

Слушай, Глебчик! Вот ты пишешь, неужели у меня нет человека, которого бы я мало-мальски любил, чтоб мог жениться.

Зачем же мало-мальски? Может, и больше большого люблю, но жениться сам в таком возрасте – наступало уже под тридцать! – уже не могу. Уже не могу! Как и ты,

¹⁸⁵ **Икебана** – порядок, чистота.

между прочим.

Была вот у меня одна. Всё хорошо! Всё, понимаешь, при ней.

Хорошо-то хорошо, да родинка на правой щеке! Почему на правой? Почему не на левой?

Фа! Фа! Не пойдёт! Щас не пойдёт! Через час тоже.

Говорю, не нравится мне родинка тут. Говорю, давай пересадим на левую щеку или, лучше того, на палец вместо перстенёчка. А моя ягодка-ягодиночка и вертани пальцем у виска.

Видал, что кроется за безобидной родинкой? Да у неё, оказывается, все из дому разбежались кто куда. Не обрати я внимания на родинку – жанился ба! Во влип ба!

Честно говоря, а набрыдло одному.

Если б ты знал, как влипнуть хочется. Да разборчивость проклятая не даёт!

Не-е... Самим нам не жениться.

Надо махать не глядячи. Надёжней! Надо просто дать знакомому спецзаказуху. Посмотри, чтоб у голубанюшки имелось в наличии по инвентарной описи:

1. Голова. Хоть одна. Как минимум.

2. Два уха. Чтоб по килограмму золотых звякалок пело-играло в мочках. А на что пустые? Природа пустоты не терпит.

Я тоже.

3. Лицо. Одно. Опять же маленькое (моды + цены на пуд-

ру и прочую косметику). Можно как у гражданки Джоконды. Не завозражаю.

4. Пара глаз. Как у той же самой Моны Лизочки.¹⁸⁶ Или как у пролетарочки «Неизвестной» известного товарища Крамского. К слову, она жила в Третьяковке, и её счастье, что не возгорелась желанием прогуляться по Невскому в восемнадцатом. Тогда одичалые от всевластья блин-бруевичи¹⁸⁷ расстреливали всех, кто осмеливался появиться на петроградских улицах одетым не как пролетарий. Так большевики боролись за чистоту своих рядов.

5. Лоб. Один. Сократовский.

6. Грудь. Можно как у брюлловской итальянки с виноградом в полдень.

7. Руки. Не менее шести. Как у танцующей Шивы. Будет больше – лично я за! Вот если б с сотней рук откопал... Пахала бы сразу кучу дел!

8. Ноги. Пара. Одинаковой длины и ни сантиметра из пластмассы.

9. Росточку миниатюрка. Чтоб мало переводила материю на платье. Чтоб мало брала места на кухне, на диванелли и в общественном транспорте.

Ох, Глебуня, попробуй отхвати без изъянца, без царапин-

¹⁸⁶ «Мона Лиза» («Mona Lisa»), «Джоконда» («Gioconda») – принятые названия портрета Леонардо да Винчи (ок. 1503, Лувр, Париж), предположительно изображающего флорентийку Мону Лизу дель Джокондо.

¹⁸⁷ Блин-бруевич – верный ленинец.

ки!.. Без сучка, без задрочинки!

Давнишнее письмо это, слетевшее с пера когда ещё, в холостую пору, письмо дурашливое, беспардонное – Боже, да сколько у нас сору не только в карманах, но и в душах, в головах! – я со стыда за себя того, вчерашнего, пыхнул было уже порвать, уже сложил вдвое, уже надломил, надломил с хрустом, как вдруг откуда-то сверху, сзади посыпались на меня ядовитые смешки.

Обернулся – навис надо мною скалушкой Глеб.

Я и не заметил, как он подкрался со спины.

– Ну что, – потыкал он подбородком в письмо. – У тебя жёнушка, какую хотел? Или?..

Что я ему мог ответить? Что обошлось без *или*?

Да, обошлось...

– Мне ни в чём не везло, только с женой и посчастливилось. Все мои беды перегорели в эту единственную радость.

– И не потому ли ты не боишься оставлять одну? А в Москве, между прочим, из мужиков ты не один.

– Лукавый, Глебка, ты человек. Луканька.

– А чего лукавить? Доведись мне, я б не оставил. Сказал, у меня, может, неверная молодая жена, и не поехал бы ни в одну командировку. Вот ты всё кудахтали про семейное счастье. А где оно? Холостому везде плохо. А женатому только дома. Так стоит ли жениться, чтоб от дома приходиться в себя на стороне? Ты, наверное, как выскочил за светофор, так уже

и холостой? Так уже и рыщешь, с какой бы скадритьсяя?

– А зачем? – Из потайного кармана пиджака я достал кожаный крокодилий кошелёк, из кошелька – карточку. Подал Глебу. – Вот моя Валентинка. Всегда со мной. Один я не езжу.

– Мде-е... – Глеб грустно подмаргивает Валентинке. – Куколка, доложу, со знаком качества. От такой на сторону не позовёт... Где ты её, бедняжку, настиг, рыжеусый лев?

– В автобусе! – дуря выкрикнул я.

Мне не хотелось вот так походя расстёгивать перед ним горькую историю своей любви и я болтнул первое, что упало на язык.

– В каком ещё автобусе?

– В обыкновенном... Городском... Госпоже Судьбе угодно было усадить нас рядом...

– Потом, – оживившись, подхватил Глеб, – сводила на экскурсию в зигзагс и заштриховал мой братика остаток своей жизни в чёрную клеточку? Окольцовка – свободе концовка!

– Ни Боже мой! Прежде я скитался по жизни и не знал, зачем я, на что я, к чему я. Я всюду стеснялся себя некрасивого, стеснялся своего одиночества дома, стеснялся на улице, стеснялся в кино, в театре. Я считал себя обсевком, неудахой, никому не нужным, и эта ненужность, эта бесполезность убивали меня: я всегда прятал глаза, боялся смотреть прямо вперёд, боялся смотреть прямо людям в глаза, пялился всё себе под ноги, в землю, отчего и стал сутулым; я прятался

от людей, гнал себя на задворки, гнал к стеночке, в угол, в тень – из года в год я убивал в себе себя... Я окреп её нежностью, поверил в себя... Неужели, думал я после загса, эта юная красавица моя жена? И досегодня не пойму, что же такое она, загадка без разгадки, нашла во мне?

– По-моему, – словил Глеб зевок в кулак, – грузчика. Раньше ты ездил в командировки с портфельчиком. А теперь с чемоданом да с комком сеток. В этом отличие холостяка от женатика? В этом счастье семейное?

2

Мне не хотелось отвечать ехидине.

Однако я не мог не согласиться с ним.

Действительно. Закатившись куда-нибудь в Фергану или в Самарканд самолётом, назад я тащился уже только поездом. Четверо суток умывался я, голый по пояс, грязным потом в вагоне-душегубке. Но глупей меня от счастья не было человека. Я вёз то, что любила моя Валентинка!

На верхних полках золотились дыни-крокодилы; доходили, набирались кумача бурые помидоры в два кулака; привяливался крупный, с палец, виноград, весело, ликующе овеваемый в открытые окна милыми Кызылкумами.

Что ни толкуй, а сладко бремя семьи!

Человека держит в радостных рамках, как обручем, забота о другом, пускай ближнем, пускай дальнем. Не потому ли одинокие люди, чтобы хоть как-то зацепиться за жизнь, заводят кошек, собак? Когда человеку не о ком голову ломать, из него как бы выдергивается главный стержень. Не отсюда ли чувство пустоты, угнетённости, ненужности?

– Вижу, – хмыкнул Глеб, – в чей огородко камушки. Но я не чувствую себя ущемлённым.

Он говорил неправду.

Досада в голосе выдавала его.

– Может, ты, бабан, из стали и сплавов? – терялся я в до-

гадках. – Скажи, у тебя есть, с кем ты отводишь душу?

– Хах! Тебе скажи да покажи, да дай потрогать... Есть!

Он с какой-то полугрустной, полублудливой усмешкой раскинул на полкомнаты руки:

– Вот такие вдовушки!.. Загорится у какой – потушим.

– Эна! Женился бы в Насакиралях на своей Половинке...

Не бегал бы сейчас в пожарных...

– Что вспоминать... Марусинка отломанный и потерянный сладкий ломоть...

– Горюешь по ней?

– Если честно – да.

– Странные штучки ты отливаешь. Горюешь по Марусинке, а юное народонаселение... этих внепапочных костогрызиков¹⁸⁸ рисуешь с какой-нибудь очередной Дашей-Клашей-Глашей?

– Может, и рисую...

– Как можешь, блюминг,¹⁸⁹ подправляешь демографическую картинку?

Он посмеялся:

– Рад послужить Отечеству...

– Да радо ли оно? Кому нужна безотцовщина?

– Да что я, Вова алюминиевый? Я в тряпочку своё потомство собираю... Насколько знаю, я ни разу не мазнул... Да-

¹⁸⁸ Внепапочный костогрыз – внебрачный ребёнок.

¹⁸⁹ Блюминг – высокий мужчина крепкого телосложения.

же б в случайном, нафантазированном пьяном водевиле¹⁹⁰ не зевнул. Так что у меня ни одного на стороне бейбёнка.

– Как это так у тебя получается? Нестыковочка-с...

– О-о... В жизни всё не состыкуешь. Я на Марусинке разбежался ещё до армии жениться. Женился бы и пошёл служить. А она мнётся-жмётся. Чую, чужая воля её ломает-давит. Мол, говорит, у тебя ещё армия. Да неизвестно, что там после армии... Да и Ваняга, братунец, против. И вообще все наши против... Тогда я и рубни ей: давай убежим!

Я тут невесть почему с подначкой и оскорбись:

– А! Так ты, братуля, хотел от нас убежать? От родной матери? От родного братца в моём лице? Хор-рош братучелли!

– Да ты сильно не переживай. Мы б далеко не побежали. Какую недельку пережали в лесу в шалашике и прибежали б назад. Распакованную дочуньку Половинкины без звучика отдали б за меня. Куда б они делись? Примерно такими словами прорисовывал я Марусинке картинку нашей будущей жизни, а она всё своё: «Да наши все сейчас против!..» Я и психани. А-а! Ваши все против, так и наши вовсе не за! Отказ не обух, шишек на лбу не будет!

– А дальше?

– Тут нахлынули к нам в совхоз вербованные баядерки изпод Кировограда. Я шутя и пришнурись к Веруньке. Так... Абы развеяться да налегке отдохнуть от правильной Марусинки. И отдых мой завалился. Такие страсти на новом

¹⁹⁰ **Водевиль** – обмен партнёрами во время группового полового сношения.

фронте пыхнули! Нет лучше игры, как в переглядушки... Целу-у-у-уется – я тебе дам! Как присосётся... Трактором не оторвёшь! А поцелуй – это звоночек на первый этаж. Звоним с вечера до утра. Без остановки. Звоним ночь, звоним две. Дозвонились... Кончил в тело – гуляю смело. Прогулял так недели три. Про Марусинку и думать забыл. Как-то бегу с пустым ведром к кринице – она сама у угла попадается на жизненном пути. Видал!? Гонит девка молодца, да сама прочь нейдёт! Намекает, надо, мол, встретиться. А я уже к ней как вроде приостыл, успокоился. Говорю, раз ваши все против, так и наши тоже все выбежали против. Даже куры... А на второй день сам и побеги снова к Марусинке и к Веруньке ни ногой. Вот и пойми нашего братчика обалдуя. Чёрт ли нёс на дырявый мост?.. Случай злодеем делает... Корю себя, что сбёгал от Марусинки налево.

– Не от неё... Это ты от себя бегал. Женись тогда на Марусинке, сейчас бы не бегал по горящим колобкам. Ампула пожарного штука непрестижная. Да и не век же бегать бизону с пожарным крюком. Ну что за бином Ньютона? Прости мои извилины, но я так и не понимаю, почему нельзя жениться в сорок с небольшим?

– Жениться-то можно. Да лучше в тридцать с большим!

– Ну... Тридцать давно проехали... Тут не до переборов. Чего б тебе, пластилиновый ты рыцарь, просто не жениться?

– Что ты? Что ты, сердешный!? – протестующе замахал на меня Глеб. – Держи, Кармен, шире! Уже и неудобно...

– Неудобно на потолке спать. Одеяло сползает.

– Что ты!.. Ну к чему на шею камушек в мои-то остарелые года? К чему?

Я молчал.

Задетый за живую рану, Глеб продолжал, думая вслух:

– Братъ разбитое корыто своих лет нет смысла. А молодки... Какой же интерес молодке со мной? Может, тут наработала взрывчатка или тоска по открытому слову, а может, то и то вместе, как бы тебе объяснить? Чувствуется какое-то внутреннее скопление. Похоже, настал момент, когда человеку надо разгрузиться мыслями. Это очень важно. Но не каждый говорит искренне, без смеха в душе... Дружбу ради выгоды я в дружбу не ставлю. Дружбаков у меня стоящих нету. В последнюю пору я как-то прижался к чтению. Книжки – высококалорийная духовная пища. До самого Толстого докачал.

– И чего ты хочешь от Толстого?

– И от Толстого, и от тебя я хочу ответа, почему я один?

– А блондинка?¹⁹¹

– А-а... Блондинка мимо счёта... Вот только лишь блондинка со мной и не расстаётся... Неужели я совсем такой бесперспективный? Сыновья моих сверстников уже отслужили – когда же мои сыновья вернутся из армии? Дочки моих сверстников уже матери – когда же я возьму на руки своего внука? Почему я, мемуляр Пустоголовкин, до се один? По-

¹⁹¹ **Блондинка** (здесь) – водка.

тому что дундулук? В этом есть правда, да не вся, рак меня заешь! Тогда слишком много, получается, топчет землю дураков. В одной Гнилуше знаешь, сколько холостует тридцати-сорокалетних байстрюков? Как собак нерезанных! Я не стану распинаться про чужих. Я про себя да про своих дружков. Про Шурика с Валеркой. Три каких бабая! А толк? Ну!?

Он горячечно схватил с верха серванта листок с карандашом, припал к столу, размашисто вывел: $3 = 0$ и, карандашом тыча то в тройку, то в ноль, почти крикнул с отчаянием:

– А толк – ноль целок хренище десятых! Ты ж знаешь ребят. Не калеки... Не забутыливают... Красавцы – я те дам! А где их семьи? Валерка дважды расписывался – дважды укушенный... В разводе... Шурик укушен раз... А я и не пытался. Ну куда я приведу молодую? В этот наш сарай? В одну комнату с матерью? Извини, я не скотина... Похеренная жизнь... И Шурик, и Валерка приводили в одну комнату с родителями, пожались-пожались да хрясь горшок об горшок и в стороны. Э!.. Когда его только и перестанут так легко смотреть на молодую семью? Поманило сойтись – распишут, надумали разойтись – разведут, спишут убытки по графе *не сбежались характерами*. А что же делать, чтоб люди не разводились? Не то ли, что делает наш Начальник?

Мы с Глебом дразнили Митрофана Начальником ещё с детства, когда он, старший из нас, братьев, большак, с самым серьёзным видом, основательно, совсем по-начальнически командовал нами. Попробуй только не выполни какой

его указ или огрызнись – по уху мазнёт. Начальник не поважал мышат брыкаться.

Наша дразнилка намертво припеклась к нему и – деваться некуда – после, в почтительные годы, он действительно продрался в начальники, и теперь среди нас имел самую начальничью, верховную должность – председатель колхоза.

Вовсе не то, что я, журналист.

Журналисты интервью не дают. Про журналистов не пишут, и только – журналист на десять лет живёт меньше обычного человека – и только когда опрокинешься, может, наберут петитом отходное извещение, возьмут в чёрную рамочку на последней странице, в нижнем правом уголке – был, отлепился, больше не будет приставать с интервью...

Глеб был компрессорщиком на маслозаводе.

– Знаешь, – продолжал Глеб, – как-то открылось, что у нашего Начальника меньше всех по району разводов. Где-то возле ноля дело крутится. И неженатых сорокалетних бабаёв нет!

– Может, он сват хороший? Какими-нибудь травками присушивает молодых друг к дружке?

– Не знаю, как насчёт травок, но в колхозе в своём «Красное дышло», – я на свой манер зову его «Родину» – он души не чаёт. У него душа колхозом растолочена. Колхозника своего он жалеет-ценит так, что за эту жалость ему спокойно можно вешать вторую звезду Героя, можно и – уникум наш братец! – упрятать в клеточку. На выбор. Это кто как

посмотрит.

– Антире-есно гутаришь, дядя... Дай расшифровочку...

Что это за жалость такая странная?

– Жалость у него с кулаками... Объезжает он на «Ниве» свои поля... И вдруг видит: в колхозную кукурузку залез его же колхозанчик... Этот мичуринец¹⁹² внагляк ломает кочанчики и в мешок. Ломает и в мешок. Митя выскочит из машины и – заниматься мозгоклюйством некогда! – и ну ломать бока труженичку. Не тронь колхозное! И так наломает, что тот полный месяц нянчит свои охи. Но ни за что никому не сознается, кто это его так отделал. И в душе доволен. Могло ведь быть хуже. Мог бы сдать в хитрый дом,¹⁹³ а за митлюками тюряга не заржавеет. А Митюшка, святая душа, потецки отхлопал и мягко сказал: «Пойдёшь жаловаться – в рейхстаг¹⁹⁴ загоню». И дальше делу ходу не даёт. Смазал мозги¹⁹⁵ и все отдыхают! Как русская баба говорит про своего муженька? «Бьёт, значит любит». Человеку дешевле потаскать синяки, чем добыть срок за расхищение соцсобственности. Вот так наш Начальничек страшно жалеет-любит своего колхозничка... этого чёрного коммунара... И смотреть на эту любовь можно разное...

Чтоб было всё ясней, я отбегу чуток в прошлое.

¹⁹² **Мичуринец** – вор, совершающий кражи сельскохозяйственных продуктов.

¹⁹³ **Хитрый дом** – отделение милиции.

¹⁹⁴ **Рейхстаг** (здесь) – тюрьма.

¹⁹⁵ **Смазать мозги** – избить кого-либо.

Не в давних годах стоял над землёй стон. В самом распале была чумная мода. Рушили хуторки. Мол, в хуторочке ни школу, ни дворец культуры, ни комплекс не посадишь, на улицы асфальт не надёрнешь... Рушили хуторки, свозили, сдвигали всех на жильё на центральные усадьбы.

А Митрофан не дал страшной беде воли.

Несколько лет назад, когда его, механика маслозавода, райком перекинул в председатели, он в первую же свою председательскую весну схватил ту моду за жаберки.

Строиться степняку особенно не из чего. Поблизости хорошего прутика выдрать парня не найдешь. Как зима, ехали мужики помогать северянам-архангельцам лес валить. Какой-то процент шёл в его «Родину». Два-три дома в год выводили.

Плюнул Митрофан на таковское заведение, толкнулся собственной персоной к архангелам и хлоп карты на стол. Вы нам лесу досхочу, а мы ваших детишек со всего леспромхоза, всех детишек школьных лет на полное лето принимаем к себе в колхоз, будем и тёплым нашим воронежским солнышком прогревать, и медком гречишным отхаживать. Три месяца рая гарантирую!

И в каждый июнь стал открываться в колхозе у пруда подпольный, тайный «Артек».

Тут комитету глубокого бурения работы никакой. И так видно – тёмненькое дельцо этот «Артек».

Зато в «Родине» не осталось ни одного хозяина, чтоб не

поставил себе новую домовуху. Всяк строил где и как хотелось, строил на свой вкус, на свой цвет. В новых сосновых пятистенках вода, газ. Тротуарчики, улочки в асфальт вырядились.

То, бывало, молодежь летела в город. А зачем чужой топтать-то асфальт? Свой не лучше ль завести?

И завели...

В других деревнях плач: некому сено косить, некому картошку-свёклу копать, а у Митрофана сверх всякой меры народу. В трактористы, в доярки-операторы по конкурсу берут! Своя молодежь никуда, а тут ещё, прочитав про колхоз в «Комсомолке», потянулся городской люд. Один электрик даже из Магнитогорска прибился...

3

Глеб перешёл к печке, растопырил руки над калеными кружками.

– Чух-чух... С твоим появлением в нашем бомж-отеле больше не гуливать госпоже Гренландии. – Он опустился на мамину койку у печки, пододвинул мне стул, жестом сказал сесть. – Вернёмся к молодым. Молодые что? Витают в облаках, регистрируют брак и того выше. На небесах. А жить-то спускаются всё равно на грешную землю. Медовый месячишко ещё не сломался, а люди уже оглядываются да задумываются. Но только не у Начальника. У Начальника молодая семья, если есть в том нужда, получает отдельный дом, лучшую корову из колхозного стада, поросёнка, птицу. Живите, богатейте! С «Родиной» расплатитесь, когда сможете. Видал, какая забота о молодых! Достаток крепит семью. Начальник это хорошо знает и старается, никто от него никуда не уедет никогда, постесняется из-за пустяка развестись. Подать себя Начальничек мо-ожет... Борец за счастье народное!.. Расшибётся в блин, а сделает добро чужому человеку. Он на своего колхозанчика не даст ветру подуть, зато родному брату – да что брату! – родной матери...

– Ну-ну! Пой, соловушка, пой, что я там перенедодал родному братцу, родной матери?

Вот так под раз!

Оказывается, припав к косяку, Митрофан слышал наш разговор. Как он мог войти, что мы и не заметили?

– Ну что же ты, Глебарий-кулумбарий, замолчал? – спросил Митрофан.

– А чего мне молчать? – Глебуня воинственно приподнял как бы для удара одно плечо. – Чего мне бояться? Это ты бойся! Сошли долгие годы, но мы твою заботу о нас у-ух и по-омним!

– Огня много! – усмехнулся Митрофан. – Горячее начало...

– После техникума тебя сослали в Каменку на маслозавод. В то лето Тоник кончил школу. Осенью вернулся из армии я. Мы и попади под непосредственное твоё горячее начало. Ты взял нас подметайлами.

– Извини, не мог я взять вас директорами. Сам всего-то что механик, якорь тебя!

– У нас было по одиннадцатилетке. Мы могли большее, чем колоть до окоченения лёд на смертельном ветру или таскать в котельную центнерные носилки с углём! Через полгода разрядка – послать на курсы компрессорщиков одного человека. Ты забыл, как молил тебя Тоник? А послал ты кого?

– Колюню Болдырева с четырьмя классами. Так Колюня и сейчас терпужит! А пошли я, – Митрофан качнул головой в мою сторону, – как бы я наказал производство? Он же спал и видел себя в редакции! По выходным пехотинцем да на вело-

сипеде скакал из деревни в деревню, всё строгал свои заметулюшки. Я знал, рано или поздно увееется в газету. Так и повернулось. За юнкоровское рвение обком ему хлоп грамотку и получите направленьице в Щучье, в редакцию. А сунь я его на курсы? Отучил бы он те курсы и всё равно причалил бы к своему журналистскому бережку. А я кусай локотки? Красней перед начальством? Оставил же завод без специалиста!

– А таки умно ты вертанул, что не сослал меня тогда на курсы, – буркнул я Митрофану. – Благодарствую.

– Не за что, – кисло отмахнулся он.

– А со мной какую ты собаку утворил!? – распаяясь, почти выкрикнул Глеб. – Ты разготов окунуть меня в своё озеро!¹⁹⁶ У тебя сколько гуляла-пустовала ставка компрессорщика? И ты меня не брал!

– Но – взял! И на курсы воткнул! Есть вопросы?

– Есть! Видали!.. Я со зла ушёл в промкомбинат. Шлакоблоки месил, плотничал и только через три года он снова позвал к себе на завод. А чего ж сразу было не взять?

– А чтоб пальцем не ширяли. Мол, своих пригревает! И ты у меня в обиде не горел. С учётом сверхурочных я частенько прилично и честно подсыпал тебе витаминчик Д.¹⁹⁷ Оклад в полтора уха¹⁹⁸ выскакивал! Как из пушечки! Живёшь в цен-

¹⁹⁶ **Окунуть в озеро** – утопить в ванне.

¹⁹⁷ **Витамин Д** – деньги.

¹⁹⁸ **Оклад в полтора уха** – о полуторном окладе офицеров, проходящих службу на севере.

тре, а отхватываешь северные! Чем не цирк?.. Глебарий! Ты ж труженичек вроде без задвигов. Вопросы ещё будут?!

Митрофан оттолкнулся плечом от косяка и, потирая зазябшие руки, пошёл прямо к Глебу, просительно и искатель-но заглядывая тому в глаза.

– Мужики! Да что ж мы лаем, как на тухлой мозгобойке?¹⁹⁹ Милые братове! А не совершить ли нам вливание? Не время ли окружить присутствующих теплотой градусов эдако в сорок? Сам Господь высочайше шепнул моей, и она откомандируй меня взять забытую у вас нашу сетку с вашей капустой. Сетка в сенцах спокойно лежит, без волнений. А у меня душа не на месте. У вас не осталось неразминированных углов? Опасно ж как сидеть на минах! За вас я весь начисто испереживался... Думаю, я-то пошёл... Мне-то что, я вне опасности... А как они-то там, на минах-то!?

– Ты уж так сильно не убивайся за нас, – весело пустил Глеб слова. – Вовсе не из-за нас ты весь в переживальном страдании, а из-за опохметолога.²⁰⁰ Но нормальные люди на второй день опохмеляются! А ты?.. Ах, Митёк, ты и есть митёк... Испугался проспать? А ты через час после большого вливания прибежал! Досрочно, милый братико!

– Никак нет! – обрадованно гаркнул Митрофан. – Глядим всеколлективно на времечко! – ткнул на будильник. – Побе-

¹⁹⁹ **Мозгобойка** – родительское собрание.

²⁰⁰ **Опохметолог** – спиртной напиток, выпиваемый для снятия похмельного синдрома.

жала первая минута нового дня!

– Откуда? – разом выпалили мы с Глебом. – Сейчас ровно одиннадцать!

– Скучные вы люди, господа! Никакой у вас фантазии... Представьте, что сейчас уже полночь. И никаких проблем! Уже вот и прошла целая минута дорогого нового дня. Какие вопросы? Как приближённый бацика²⁰¹ в прошлом ответственно заявляю: пропуск бодуна²⁰² опасен для вашего здоровья! Я не претендую, чтоб срочно явилась сама госпожа Ок Салла.²⁰³ Я согласен вхреначить хотеньки один ограничитель какой-нибудь баядерки²⁰⁴ или портвешка. Подумайте и о своей безопасности. Внимательно посмотрите, не осталось ли у вас заминированных углов? Ловите момент! Помогу квалифицированно обезвредить если не все, так хоть одну мину...

– Ну, разве что одну, – сдался Глеб.

Митрофан в довольстве потёр руки:

– Тогда давай поживей... Русское вливание не терпит отставания!

Закрыв глаза, Митрофан с наслаждением пил маленькими глотками. И когда кончилось в стопке, он как-то пани-

²⁰¹ **Бацик** – корабельный врач.

²⁰² **Бодун** – опохмеление.

²⁰³ **Оксалла** – водка.

²⁰⁴ **Баядерка** – смесь самогона с сухим вином.

чески быстро открыл глаза и испуганно дрогнул, глянув по сторонам. Не выпил ли за меня кто другой?

Глеб же, сжав стопку в кулаке, брезгливо распахнул рот, подумал, разом вытолкнул из себя воздух и точно с разбегу плеснул в рот, картинно постучал указательным пальцем по заднюшке стопки над раскрытым ртом, стряхивая последние капли, степенно прополоскал водкой рот, затем всего одним генеральским глотком проглотил и, с тщанием обсасывая зубы и мягко наглаживая живот, запоздало крякнул:

– Пошла, родимая, по кровям!.. Вообще-то я не пью, – тут он котовато мигнул мне. – А по мне хоть бы она и не слезала со стола... – Глянул на мою руку на перевёрнутой стопке, хмыкнул: – А! Не корчь непьющего. Слабб... В наш век легче поймать шпиона, чем найти непьющего. Не верю – как меня слопай со шнурками! – что не потягиваешь! – ералашно, подначливо вывернул он.

– Разубеждать не берусь.

Давая понять, что затеваемый докучный разговор давно навяз у меня в зубах, я отвернулся от Глеба.

Прямо перед самым моим лицом очутилась полупустая бутылка. Для видимости я с собранным рвением прилип глазами к этикетке на ней.

Этикетка меня удивила, так удивила, что я, не удержавшись, сказал, что на наклейке даже не помечено, какой завод делал эту водку.

Глеб огорчился:

– Не захмелеешь... Не знаешь, на кого и жалобу писать... А чую, придётся писать. Выпили – никакого эффекта! Ни кулеш ни каша! Налью ещё до каши... Меня одним бутылочком не с-с-с-свалишь. А тут ещё, – кивнул он на Митрофана, – этот бусыга...²⁰⁵ Нежданный труженичек Помогалкин!

Удивлённо радостно Глеб посмотрел на Митрофана, коротко дёрнул головой, будто хотел кого-то легонько боднуть.

Они выпили ещё и ещё, совсем не закусывая, лишь сосредоточенно нюхая после каждого стаканчика таинственный аромат подушечек сложенных вместе пальцев.

Наконец Глеб катнул пустую бутылку под стол. Потребовал от меня:

– Р-р-ручку!.. Б-б-бумагу... Ж-ж-жалобу!.. Без-з-з-зобра-
зие!.. С-с-совсем раз-з-збежались у них г-г-градусы!.. Не ви-
дал, тут не пр-р-робегали? А?.. Дойди тут до ваньки-в-стель-
ку! Ну?

²⁰⁵ Бусыга – любитель выпить.

4

Митрофан и Глеб сидели друг против друга за пустым, мною убранном столом, с обеих сторон подперев щеки кулаками и стараясь внимательнейше рассмотреть друг друга остановившимися глазами.

– Я теперь знаю. Это ты виноват, что я один, – Глеб тяжело поднял и потянул к Митрофану руку.

Руку вело-клонило куда-то в сторону.

Стоило немалых сил удержать её, не уронить и героически донести до адресата.

– А ты к-к-кто, якорь т-т-тебя!?!.. – Митрофан с предельным усилием едва оттолкнул трудно и подозрительно принципиально приближавшуюся руку. – Р-р-руки п-п-прочь от винта!

Рука упала на стол.

Не поднимая, Глеб волоком потащил её к себе.

Это была всё таки его рука, как он скоро догадался, и откровенно обрадовался своей проницательной сообразительности.

– Которая мамзелька засиделась, понятно, будет старая дева, – философствовал Митрофанию. – Ты тоже засиделся... Залежался! Кто ты т-т-теперь? Старый дев? Да?

– С-с-старый почти лев... Эх, мужики, мужики... С какой радости нас мать рожала? Три каких бабальника! А что

мы дали? Отец навсегда остался моложе самого меньшего из нас уже на девять лет! И то!.. Не останови отца война на трёх, как бы размахнулся? А? Может, на весь десяток! А мы что оставляем? На троих бугаев три... всего-то три... – Он медленно загнул у себя на руке три пальца. – Всегошеньки три девчоночки! Лику, Ляльку, Людку. Это Митькин партвзнос... Тоник, может, чегой-то выколупнет там ещё... А я, извините, – обречённо пронёс перед собой сведённый хмелем в крюк палец, – прочерк... Бетонно!.. Мимо-с... Зачем живёшь, если от себя ни росточка не пустишь в жизнь? Зачем?.. Хотел бы оставить, а – нечего... Всё своё з-з-забирай с с-с-собой... И, пожалста, не вон-н-няй...

– При всём желании не заберёшь, – деликатно предупредил Митрофан. – Например, свои капиталы. Те, с книжки, на счёт ада пока не переводят...

Глеб сжал в гири кулаки. Заскрежетал зубами.

Однако не сказал ни слова, уронил голову на скрещённо лежавшие на углу стола руки.

Митрофан ткнул Глеба в бок:

– С-с-спать б-б-будешь д-д-ддома... А в гостях за столом не спи...

– Я у себя дома... А вот ты у меня в гостях...

– Все мы в гостях у Жизни... Старый дев!.. А хочешь, я тебе в натурель организую целую ярмарку невест!?! Выбирай только, якорёк тебя! Ну?

– Пошёл ты со своей ярмаркой. Ты мне и так подсуро-

пил...

– Ну-ну... Конечно, это я выкинул штуку с Нинкой! Сам же прогрыз мне плешь. Ну сознакомь! Ну сознакомь! Я в обточку Лизку. Лизка насилу укоськала эту свою сеструню Нинку. Прикатила почти неваляшка²⁰⁶ из самой из области! Я зову Глеба на запой-пропой – наш синьоро кобелино нейдёт! Ну не концертуха?..

– А-а!.. Раздумал! – поморщился Глеб. – На хрена французу чум? Ну на что мне укушенная? На что мне эта эстафетная палочка?²⁰⁷ Что я, Ваня Подгребалкин? Что брошено, то не нужно!

– А может, не оценено? Нашлись же люди. Оценили. Прихватизировал ободранную эту ромашку инженер с пивзавода. Пивко потягивает да на домашних скачках выступает в парном заезде со своей Нинулей. Полный аншлаг!

– Видишь, у этой у твоей, борщ-бруевич, куклы коготки все в краске. Как её окучивать?²⁰⁸ А у меня у кабана в сарае навоз... В огороде навоз... Жди! Так и сунет она свои белы черпалки в мой чёрный навоз! Да и вообще о чём песнь? Нинка уже не мой кусок. Чего ж тогда и рот разевать?.. Да и куда б я её привёл? В эту барачную шлаковую засыпушку? В этот бомж-отель? – Глеб гневно-торжествующим взглядом обвёл комнату. – Уж как я тебе кланялся: продай нам с ма-

²⁰⁶ **Неваляшка** (здесь) – девственница.

²⁰⁷ **Эстафетная палочка** – женщина лёгкого поведения.

²⁰⁸ **Окучивать** – обхаживать.

терью один дом от «Родины», выстрой в Верхней Гнилуше. А ты что? Разве тебя кто попрекнул бы, почему ты продал дом родной матери и родному брату?

– Просто заставили б на отчётном собрании объяснить с документами в руках. И главное, разве тебе негде жить?

Вопрос этот обидел Глеба.

Своё жильё, состоявшее из одной комнатёшки и тесной кухоньки, Глебу не нравилось. Досталось оно Глебу от Митрофана, получившего его в заводском ветхом бараке ещё когда заворачивал на заводе механиком. Сначала жили втроем, мама, Митрофан и Глеб, потом Митрофан привёл Лизу. Целый год жались в одной комнатулке вчетвером, пока райвласть не кинула молодым отдельный угол.

Сколь уж председательствует Митрофан, а всё по-прежнему живёт в Верхней Гнилуше и вовсе не потому, что в Гнилуше районный центр. И рад бы Митрофан перебазироваться на житие в свою «Родину», чьи хуторки вплотную обсыпали Гнилушу, да всё не получается этот переезд, и мечется Митрофан между колхозом и Гнилушей. Хорошо, до каждого хуторка кинул надёжный асфальт, за какие полчаса хоть откуда доскачешь на сон домой.

И как ни хороши дороги, Митрофан всё твёрже в своём желании перебраться с семейством на хутор Ясный, поближе к комплексу, и всё никак не насмелится. Неловко как-то Митрофану занимать в колхозе новый отдельный дом. А вдруг он понадобится кому-то ещё сильнее? Митрофану по-

ка терпимо. Райвласть не гонит из своей квартиры. Митрофан и не высовывается на правление с домом себе.

– Заелся ты, брателька, – насыпался Митрофан на Глеба, – зае-елся. Жили ж тут вчетвером, якорь тебя! Партия чему нас учит? Скром-нос-ти. Скромности в желаниях! Желать, конечно, можно, но понемножку...

– Ну да! – грохнул Глеб. – Кашляй помалу, чтоб на век стало!

– Вот именно. Кто малым недоволен, тому великое не даётся.

– Во-во! Коммуняки позахапали себе всё великое. А почему люду бросили мелочишку. Тому и радуйся?

– Жить можно – и радуйся. А кто много ухватит, мало удержит. И надо ль лезть к большому? Ещё с год какой, временно, нельзя пожить втроём?

– Нельзя... Не хочу кое-как... Надоело всю жизнь жить ожиданием. Как светленького будущего... коммунизма... Хрущ обещал этот коммуонанизм в восьмидесятом. Восьмидесятый промигнул. А *этот* твой комму где? Я не могу больше... Я не могу всю жизнь жить по-скотски. Я устал только читать о красивом жилье. Я хочу жить в нём! Разве сейчас мы с мамой живём по-людски? Ну каково мне, сыну-мужику, крутиться в одной грёбаной комнатёхе с матерью? Под корень похеренная жизнь... Ложишься спать... С какими глазами раздеваться перед старушкой матерью? Это что за ежевечерний стриптиз на глазах у родной матери? Ну?

И этому стриптизу уже пятый десяток! Я не мечтаю получить нормальное жильё лишь на кладбище. А ондатры²⁰⁹ только и дадут сносное жильё на кладбище! В этом я убеждён! Но!.. **Я сегодня** хочу по-людски жить! А меня давят одними бесконечными обещаниями. Воистину, красно поле снопами, а советская власть брехнями! Надоело... Я хочу **сегодня** жить по-людски!

– А что ты для этого сделал? Сиди в окопе и не высывайся!.. Не пойму... То ли ты великий иждивенец, то ли порядочный рвач... Никакой нет жены, о жене только разговоры, и ты выторговываешь под эти разговоры какие-то привилегии авансом. Дойдёт до того, на свидании поцелуешь свою двустволку, потребуешь премиальные!

Глеб хохотнул:

– А чего ж теряться? Ну, кто у нас сейчас за так переломится? Вон у нас на маслозаводе месяц не могли найти кого на месткомовского председателюка. Постик этот... бугринка на равнинке... Малая бугринка эта безденежная, а хлопотная. Директор сватает меня. Я условия: одна бесплатная путёвка куда сам выберу. Согласился он. Я уже смотал в Финляндию. Тогда в силе был кримплен. Рулончик притаранил за копейки. Сотворил дядя ма-ахонький оборотец. Слегка согрел озябшие ручки... Туристом обрыскал все юга... Средняя Азия, Кавказ, Молдавия, Прибалтика... Всё проскочил... В Михайловском с Шуриком на спор выпил пятна-

²⁰⁹ **Ондатры** – номенклатурные работники.

дцать кружек пива. В Одессе за раз съедал по двести раков. В Ленинграде ужинал в самой в «Астории», по двадцатнику. Есть что вспомнить...

– А я жене на десять дней оставил семь рублей, – почему-то конфузливо признался я.

За язык меня никто не тянул.

– У неё могут остаться. – Глеб как-то с особенным налётом плохо засмеялся. – В столице мужики щедрые.

Я промолчал.

Глеб широко хлопнул Митрофана по раскисшей спине.

– Ну, так что, братишенька, отменяется купля-продажа?

– Сойдёмся на условия. Иди ко мне на комплекс слесарем.

Будешь иметь две заводские свои зряплаты, вавилоны о пяти комнатах с тёплым сортиром в тёплое лето, пораздольней участочек, чем здесь за сараем. – Митрофан немного поворотился, пододвигает по столу руку к Глебу. – Ну, по рукам?

– По ногам! – вскинулся Глеб. – Брату с матерью – условия! А что ж ты чужой бабке не ставил никаких условий? Потому что та бабка – мать нового первого секретаря? У тебя на начальство со-ба-ачий нюх. Знаешь, кому подсластить!

– А-а... То другой коленкор. Той бабке руки целовать мало, якорь тебя!

– Так вот поезжай в Ольшанку и целуй. С матерью в одной палате лежит. Вчера хвалилась матери: у вас сын не сын, а горка золота! Уважил как бабке чужой!

– А как я мог не уважить? И не потому, что завтра, может

быть, её сын будет у нас первым. Я-то срубил ей домок о-ого-го эсколь веков назад! И твой первый тогда ещё то ли служил в армии, то ли уже институтствовал! Я его и в глаза не видел.

– Но – чувствовал! Наперёд кидал кусок! Вы, коммуняки, нужного, *своего*, человека чуете за десять лет до встречи с ним!

– Да брось ты эту глупистику! Ка-ак я мог его чують? Он всё на стороне да на стороне... А бабка одна... С мальства доньне отзвонила в колхозе.

– Да не в твоём!

– Ну и что, что она из соседнего колхоза, с которым я соревнуюсь?

Совсем остарела у бабки хата; садилась, садилась и села, будто старая поскользнувшаяся лошаде́нка посреди долгой грязной дороги.

Случилось это в ту немилую пору, когда шла бойкая суетня разделения сёл на перспективные и неперспективные, вроде делёжки на чистых и нечистых. Отжила малая деревуха лет с триста, но просёлок к ней так и не одели в асфальт, не кинули по улонькам водопровод, нет в ней клуба. Чего уж там с ней панькаться? Бабах её в неперспективные и на снос, точно человека в годах ещё живого турнули в могилу.

Из малых деревень народишко выпихивали на центральные усадьбы, в многоэтажные городские вавилоны.

На первый взгляд, что ж тут расплохого?

А копни дело поглубже, только руками разведёшь...

Чинить, конечно, хату бабке не стали, а подогнули машину. Поехали, бабка, на новоселье! В саму Вязноватовку!

Согласно модному веянию, тамошний апостол «Ветхого ленинского завета» Суховерхов сгандобил два пятиэтажных куреня из блоков привозных и ну тащить в них весь колхоз.

Ну не глупость – упрятать деревенца в мёртвую коробку и поглядывать оттуда, как худая птаха из скворешни? Эка глупость! Эка глупиздя!

Это горожанину всё едино, в каком доме обретается он.

У него ж ни огородика, ни скотинки. А деревенского ты не приневолишь жить, чтоб у него за окном, в худшем случае за сараем, не росла травка, к столу надобная, чтоб цветок не горел радостью под окном, чтоб во дворе кура какая не греблась, чтоб в катухе кабан не охал, корова чтоб не вздыхала...

Крестьянин, да и вся держава не могут без подсобки. Подсобка – это две трети всей картошки, треть молока и мяса. А площади этот частный сектор ухватил от всей пахоты в стране лишь три процента. Блётка в море!

При одном доме человек может вести подсобное хозяйство, при другом, как в Вязноватовке, ой ли. За стрелкой лука к обеду лети к чёрту на кулички. Сыпнуть тем же курам горсть зерна, беги за версту. Эвона где выкроили место сараюхе!

Да иному сподручней сунуться в лавку.

Только сможет ли всё в достатке дать магазин к столу?

Тогда к чему это, может, и невольное, но злое непочтение к личному хозяйству? К чему оставлять человека без подсобки?

Приплелась бабка к Митрофану, маленькая, слабая, молит в слезах: заступись, пособи... Не хочу без грядки под окном... Не хочу примирать в камне, хочу в сосне добрать последние денёшки...

Митрофану и бабку жалко, и против соседа председателя вовсе не рука катить. Ненаваристое это дело заводить с соседом тесноту. А отчётное собрание разве погладит по го-

ловке?

Митрофан и объясни бабке:

– Мой колхоз соревнуется с твоим. Я тебе соперник, вроде врага...

– Да называй себя, сынка, как твоей душеньке понравится, а тольк сладь домок, каких понастрогал своим. Я заплачу.

– Но вы не в моём колхозе. Вы чужая.

Этого бабка не понимала.

Как чужая? Почему? Земля на всех одна, а оказывается, этот ей свой, этот чужой... Я всю жизнь служила земле и не знала, что я ей чужая... Разве бывают на земле чужие беды? Разве бывают на земле чужие одинокие матеря?

Недоумение бабки сломило Митрофана.

Вызвал Митрофан при ней бригадира – его бригада рубила на усадьбах дома, – а через две недели бригада вывела сосновый теремок. Получай, бабка, на баланс!

Митрофан говорил и говорил.

Глеб, зажав сложенные вместе ладони меж коленями, уже дремал, опустив голову на краешек стола.

Унылая бубня усыпила Глеба.

Стоило обидчивому Митрофану замолчать, как тут же пробудился Глеб, испуганно-торопливо заозирался по сторонам:

– А?.. Что?..

– Ничего. Проехали с лаптями... Ему объясняешь, а он

дрыхнет!

Глеб безразлично пожевал губами.

– Да что попусту... У тебя всё нашиворот. Чужим – пожалуйста, зато своим низзя. Как бы кто чего не сказал... Ну, как ты там ни старайся быть чистеньким да правильным, как устав, так пока новый примет дела, Пендюрин тебя по-родственному скушает и пуговички забудет выплюнуть.

Митрофан лениво скосил глаза на Глеба.

Через несколько мгновений лень из глаз вытеснила опасность. Опаска тоже продержалась недолго, её покрыли интерес и даже вызов одновременно:

– За что?

– А разное носят слухи... Когда-то ты не на ту трибуну выполз, не то вякнул. Грозится за подпольный «Артек» чувствительно помять на ковре. Где это ты так перед ним проштрафился?

Митрофан, намеренно держась ближе к равнодушию, махнул:

– А-а... Выступил на районном партийно-хозяйственном активе.

– Теперь у тебя с ним *дела*? – спросил я.

– А почему и не быть делам? Он голова района, я голова колхоза. Разве нам не о чем потолковать?

– И о чём толкуете?

– Для газетной оды наш с ним разговор не сгодится.

– Я од не пишу. Но под случай не прочь покопаться в ки-

шпочках. Служба по ведомству фельетона обязывает.

– Когда-то служил, – поправил меня Глеб. – Служил... – Он так и произнёс, врасстяжку, враспев, словно прислушивался к своему голосу. – Кстати, давно подкалывало спросить, зачем ты писал фельетоны? Из любви к людям?

Я с улыбкой кивнул ему.

– А теперь что, – кулаком он вырубил в воздухе крест, – с любовью покончено? Почему редко пишешь?

– Другим временам подавай другие песни...

Странно...

Всякий раз я садился за фельетон с тем чувством, что пишу последний. Проходило время, редакционная почта выворачивала такое, что только фельетоном и дашь ума. А вообще я для того и писал... чтоб не писать. Напёк я их девяносто девять, и каждый был последним.

Я пожал Митрофану руку, что лежала на столе неразгонистым толстеньким чурбачком:

– Может, дашь фактуру на сотый? На ебилейный?

– Не-е... Свою тележку уж я сам доведу...

Глеб включил утюг. Намахнул на стол сдвоенное синее одеяло, без спеха навалился тщательно разглаживать.

Митрофан, держа под собой стул, отсел в сторонку от стола, спросил с виноватой озабоченностью, что это тот надумал.

– Да надо погладить кой-что маме в больницу. – Глеб потрогал косынку, висела в очереди немудрёного белья на бе-

чѐвке, пробежала от стены до стены над плитой, сказал вслух самому себе: – Волглая ещё.

– Постирать, погладить... Да мужичья ль это печаль?

– В каждом сарае свои блохи, – заметно сердясь, возразил Глеб. – Что-то ты развыступался не к добру. Как бы Лизка за капустой не прискакала на кочерге!

Упоминание жены возымело злую силу.

Митрофан как-то разом сник и так, заронив руки меж ног, просидел с минуту, после чего попытался встать. Из этой затеи ничего путного не вышло. Несколько приподнявшись, он снова хлопнулся на стул, будто кто невидимый сильно нажал ему сверху на плечи.

Глеб созлорадничал:

– Ну что, вся жизнь в борьбе? Никак не поборешь закон земного притяжения и не можешь встать? Ты попробуй с разгону подняться на орбиту. Я так всегда встаю в гостях.

Митрофан прицениваяюще усмехнулся, сцепил зубы. Сквозь одутловатые щѐки просеклись, слабо заиграли желваки. Он оттолкнулся руками от стула и встал-таки, просиял детски. Сам! Без чужой руки встал!

– Покидая этот... – Митрофан шаркнул и весьма некстати, чуть было не вальнулся к стене, но, сбалансировав, устоял, – покидая этот гостеприимный дом, я осмелюсь напомнить хозяину... До твоих лет бегать по хуторам бабушек ловить – непозволительная роскошь! Живи ты в Америке, ты б, голубчик, давно женился. Бабслей там на стороне не в моде.

Тебе там не позволили б до сей поры играть богородицу... Я уже говорил... В штате Массачусетс два века был такой законище... Вот бегают парочка... Лизнул баран свою ярочку всего-то десяток раз – ша! Лапки вверх, зайчик! Женись, якорь тебя!!! Там десять поцелуев приравнивались к предложению руки, сердца и прочих причандалов из полного комплекта семейного счастья. Чу-удный закончик!.. Какие милашки были... Магниты! Чего одна Марусинка Половинкина стоила! Зла на тебя не хватает!

Больше ничего не говоря, Митрофан сосредоточенно пошёл к двери, пошёл на удивление прямо, будто плетью стегнул.

Глеб попробовал мокрым пальцем утюг, бросил весёлое вдогонку:

– Лектор! Вам киёк не дать? Надёжней доплыли б...

Ответа не было.

Лишь слышно, как звуки шагов за окном удалялись, тускнели.

С тряпкой я караулил у плиты молоко.

Глеб гладил мамину косынку. Посмеивался:

– Закрой дверь покрепче. На крючок. Чтоб не убежало.

– Не бойся. У меня только в бутылки и убежит.

– Намотай на ус. Сейчас в бутылки не переливай. Перельёшь утром, перед самой дорогой. Подогреешь до горячего, пока не схватится шапкой. Тогда и перельёшь. Бутылки газетой не забудь укутай. Донеси тепло из дому. Может, мама захочет сразу попить, так ты и плесни ещё тёплого.

За словами Глеб в тревоге взглядывал на будильник, что красным комком бугрился на стеклянной полочке над умывальником с зеркальцем, и всё быстрее росла горка глаженого белья.

Была полночь.

– Выручай! – крикнул мне Глеб, кивнув на будильник. – Совсем загулялся... Настучало уже без пяти давно пора бежать... Догладь, а?

Я согласился.

Я не припотеею, доглажу, только куда это он налаживается в глухой, волчий час? К какой-нибудь вдовушке на диванный пожар?

Я ни о чём его не спрашивал.

Он же, уходя, строго распорядился:

– Ты тут моих мышек не обижай. Будут скрестись – не пугай, не бей. Знай себе спи.

Часа через два – я ещё читал в постели – он неслышно вернулся.

– Как ты вошёл? Я ж закрывался на крючок!

– Мастер тёмных дел везде пройдёт.

Разделся. Потушил свет, лёг ко мне.

Старая сетка, охнув, не выдержала, опала, похоже, до самого пола, и мы, столкнувшись носами, очутились будто в мягкой, тёплой яме.

Ни Глеб, ни я не выказали неудовольствия.

Напротив, тихонько рассмеялись, словно боялись разбудить кого-то третьего, точь-в-точь как когда-то в детстве.

Тогда, в детстве, да и потом, пока жили вместе, я спал всё время на одной кровати с Глебом.

Ни люлек, ни колясок, ни кроваток с оградкой у нас в доме не водилось. Сколько помню, поначалу всех нас троих укладывали на ночь поперёк на одной кровати.

Годы вытягивали нас.

Мы ложились уже валетом и не всегда мытые Митрофановы ноги упирались и Глебу, и мне то в подбородок, то в ухо, то под мышку.

Потом взяли отца на фронт.

Митрофан перескочил спать на пустую койку. Долго спал всё один, очень дорожа этим одиночеством.

Пришла пора, и Митрофан – старший, ему доставалось, вырос быстрее и больше всех – уехал наш Митрофан в Усть-Лабинск, в молочный техникум, из техникума в армию.

Но и тогда мы не расставались с Глебом, спали вместе, не зарясь на незанятую постель.

И как-то позже, много лет спустя, едва получил я на Зелёном, в Москве, отдельную квартиру в одну комнату, закатились в столицу на экскурсию от завода Митрофан с Глебом.

Легли втроем, как в детстве, на один просторный диван. Куда до его шири нашей старенькой кроватоньке, а всё ж тесен оказался диван, и мы легли тогда поперёк, подставив под ноги стулья.

Проговорили мы до утра.

Никто и для смеха не свёл глаз во всю ночь; будто условившись, не единожды завертали к мысли, ненароком сходились все в едином мнении, что ни в кои веки, нигде, ни в каких богатых заграницах, не спалось нам вольготней, раздольней, слаще, чем на нашей старенькой кровати; нигде не заживали, не затягивались так быстро кровавые наши ссадины на розовых локтях-коленках, нигде так легко, без боли не закрывала живая сила наши ссадины и на душах, уже молодых, горячих, бедовых; во все времена не ведали мы исповедалища благодатней, благословенней, добрей, чище.

– Знаешь, звал я тебя к маме. А ты и мне нужен не меньше...

Голос у Глеба задумчивый, открытый, незащитный.

Как в детстве.

– С кем попало про всё не поговоришь... И мама, и Начальник, и на работе шагу не пускают ступить: когда женишься да когда женишься? Тоже мне новости в калошиках... А я почему знаю, когда я женюсь...

Глеб грустно смолк.

Прошло несколько мгновений, и мне причудилось, что сама давящая тишина зароптала его голосом о скоротечности дней наших. Наступит пора, заберёт, выпустит силу из рук, потушит во взорах блеск, кинет на глаза пелену и будешь из-под руки сквозь ту пелену смотреть на прохожего и не узнавать, как не узнают старики, как они ни старайся. И мы будем старые, вовсе уступим дорогу тем, кто у нас за спиной. А кто у нас за спиной? Кто? Лика, Лялька да Людка. Ре-е-еденько...

– А не хотел бы ты попробовать? – негромко проговорил я. – На весь отпуск кати к нам. Раздобудем месячный абонемент в клуб знакомств... Дискотеки, дрыгалки-танцы... Приплясывай на здоровье и...

– и высматривай, – с печальной иронией перебил Глеб – себе хомутишко по шее? Я читал... Абонемент на девять вечеров... А если я на первом же встречу, так сказать, свою законную половину, брошу туда ходить, мне вернут монету за остальные вечера?

– Вряд ли.

– И не прошу! – жёстко отрезал Глеб. – Что я потерял в

том клубе? Я считаю, найти жену в клубе «Будем знакомы!» всё равно, что заквасить ребёнка в пробирке. Издевательство над человеком несчастным.

– Почему? Вам же хотят помочь. В конце концов дело утраченных не их сугубо личное дело.

– Нет. Уж лучше тонуть, чем, краснея, созерцать из вечера в вечер сборища калек. Я-то в добрые, в молодые времена не совался на плясандины. Был там раз-два, с потными ладонями вжимался спиной в стену, подпирал, всё боялся, что упадёт. А теперь, в мои дедушкины годы... Согласись, есть в этих сборищах что-то убогое, унижительное.

Позавчера шли мы с Валентиной у себя по Новогиреевской. Валентина и пристынь к бумажке на водосточной трубе. Мама ещё в детстве отучила её читать настенные, заборные письма, но упустила из виду водосточные трубы.

В записке было:

Мужчина 43 лет, рост выше среднего, инженер, некурящий и непьющий ищет женщину 30-37 лет по крайней мере непьющую и некурящую. Телефон 301-29-70. Юрий Андреевич. Звонить по пятницам и субботам с 20 до 22.

Драма в четыре строки.

Это было первое брачное объявление, которое мы увидели у себя в Москве.

– Наверное, – грустно сронил Глеб, выслушав мой рассказ про это объявление, – был этот Юрий Андреич вроде меня. В клуб не затащишь, а припекло, вылез бедолага на посмешище.

– Что ж тут смешного? Я был у восточных немцев. Сам видел брачные объявления в газетах и журналах. Уже и латыши сходятся по газетам. По крайней мере люди знают, за кого идут. Отсюда меньше против нашего разводов.

– Конечно, – подумав, озабоченно проговорил Глеб, – в деревне абонемент не купишь, объявление у колодца не по-

весишь.

– А как тогда быть перезрелому кавалеристу?²¹⁰

– А как шло, так пускай и едет... На однолеток глаз брезгует ложиться. Ну, какой смысл брать разбитое корыто? А молодые цыпушки... У этих сквознячок в головке... Свои запросы... Взгляд на жизнь через цветные очки... Впрочем, зря накатываюсь на молодых. Подал Господь последнюю милостыньку... С полгода назад приехала к нам на завод одна после техникума. Помощник мастера. Ви-идная вся из себя. Катя Силаева. С бабьим сословием, каюсь, я без церемоний... А тут вроде на фальшивый фильм попал. Засовестился. Сидит в ней что-то такое, что я не могу, сильнее того – не хочу переступить. Чистая, ясная, беззащитная, какая-то вся неуверенная, какая-то вся зыбкая. Зябко девочке в жизни, как и мне, а отчего не скажу... Бывало, сведёт нас на работе случай... Что ни рассказывай, как ни рассказывай, редко когда несмело улыбнётся, а так всё больше молчит и молчит. Сейчас вот провожал со смены...

На вздохе он грустно покачал головой:

– Провожал... В кавычках...

– Почему в кавычках?

– А без кавычек пока не получается... Понимаешь... Вот идёт она одна в полночь со смены... Ну не дай Бог кто тронет! В открытку набиться в провожалыщики не могу... Так я как наспособился?.. Без двух минут двенадцать подбегаю к

²¹⁰ Кавалерист (здесь) – жених.

проходной... Не к самой... А так... в отдалёнке... Смотрю... Ага, прошла... И я поплёлся за ней хвостиком... На приличном отстоянии... Вот вошла в дом к себе... Зажгла свет... Потушила... Можно спокойно и уходить... А я ещё с час, а то и все два торчу у худенькой ивушка... Всё плююсь на её тёмное окошко. Ну не раздолбай?

– Не ругай так себя. Все влюблённые – немного тундрыки. Это их святая привилегия... Давай смелей... Проводы на расстоянии... Срежь это расстояние между вами. Однажды подойти у проходной. Гарантирую, не ударит. Может, наоборот, обрадуется. Это ж ты пока за неё всё решаешь...

– Годы... мои квазимоды... Смертельная разница в возрасте... Как эту бездну перескочишь?.. Не быть нам вместе. Вот в чём главная закомука. Как поведёшь в загс? Как выйдешь вместе на люди? Как напишешь её родителям? Нас годы бьют мои... В дочки же годится... Между нами чёрная пропасть в двадцать пять лет!

– Достоевский тоже был старше своей жены на четверть века.

– Но я-то не Достоевский.

– По-моему, я тоже не Достоевский. Однако разница в одиннадцать лет не убила меня. Как видишь, живой. А Чарли Чаплин был старше своей жёнки на тридцать четыре. Восемь детей. А вот дядя Вова Шаинский, наш детский композиторёнок, и вовсе расшалился. На сорок девять лет отхватил младше! Трёх чебурашек напел! Не стесняйся. Смелей!

Что посмеешь, то и пожнёшь!

– Дядя Вова нам не пример.

– А я?

– Разница в возрасте тебя не убила. А Валентинку? Будь на то моя воля, я б судил мужей, кто намного старше своих жён.

– Вот и начни с себя.

– Сначала надо жениться. Поделись опытом, как это ты смог загарпунить... заловить такую молоденечку в свои сети?

– Ну-у, чего захотел... Тебе расскажи, ты и знать будешь... Спи!

Нежданно Глеб дёрнул за больную мою нитку и передо мной вывалился горький клубок, что я всё держал в тайне не только от кого-то постороннего, чужого, но и от самого себя в первую очередь; я врал, безбожно врал, что разница в годах не изводит меня, я просто хорохорился, не давал виду, что переживаю; наверное, эта видимость мне удавалась, я обманывал Глеба, обманывал другого кого, но самого-то себя не обманешь.

И разве хоть как-то нельзя было понять меня? Разве я в том виноват, что такая молодая у меня жена? Ведь я же не заглядывал ей в паспорт в тот вечер в редакции, когда случайно встретил её по телефону. Откуда я мог тогда предположить, что всё кончится загсом?

Я страшился потерять её. Ну почему, почему из-за разни-

цы в возрасте мы должны расстаться? Меня можно б было осуждать, будь выбор столь молодой жены самоцелью. Но я не выбирал нарочно, так вышло, так было угодно судьбе, так пускай это будет угодно и нам. Неужели только из-за того, что я в годах, я обязан отказаться от радостей молодой любви?

Вспомнилось Валино:

«Когда я маме говорила про тебя, была её подружка. Подружка сказала: это хорошо, что старше, будет крепче любить и ценить, И чем старше, тем надёжней».

«Так вот я доказал, что люблю тебя ещё крепче на целых одиннадцать вёсен!» – выпалил я тогда.

Я пристально следил за Вале́й и не замечал, чтоб разница в возрасте угнетала её. Она у меня и умница, и красавица. Полгода оставалось до медной свадьбы²¹¹, а у неё всё фигура девочки. Это дар от Бога, когда жена одновременно и красива, и умна.

Всё шло у нас ладно.

На медную свадьбу к нам приезжала её мама.

Я почему-то забеспокоился пуще прежнего, не зная, как примет меня она.

Мама была мягкой, приветливой. Она, никак не выказала своего пренебрежения к моему возрасту. Может, так бы я и не узнал, как она относится к моему возрасту по-насто-

²¹¹ Медная свадьба отмечается в седьмую годовщину совместной жизни супругов.

ящему, не смотри мы втроём в день её отъезда по телевизору бамовскую свадьбу; и тут всегда ровная и вежливая мама заплакала в голос, завывала жестоко, по-бабьи.

Она ни в чём меня не упрекала.

Однако мне оттого не стало легче.

Я понимал, почему она тяжело так плакала, глядя на чужую свадьбу и вовсе не видя её за слезами.

Глава седьмая

Нет таких трав, чтоб знать чужой нрав.

1

А наутро, при первых огнях, отправился я в Ольшанку.

Была та смутная пора, когда в домах как-то нехотя, зябко просыпались первые огни и в полусонном любопытстве тарасились из квадратов окон на улицу, точно высматривая, кому это там не спится в это гнилое утро.

Шёл снег с дождём.

Тугой ветер холодными толчками бил в спину; силы в ветре (ветер выл, словно от зубной боли) шалели необъятные, поневоле я больше бежал, едва держась, едва не падая на скользком большаке, что косо опадал своими боками к канавам с водой.

И час и два месил я бесконечную эту сырь, дважды выскакивал из просторных Глебовых сапог, тыкался попеременке и тем и тем бумажным носком в грязь...

Сквозь толщу, казалось, вечных сумерек продирался день, продирался тяжело и, продираясь-таки помалу, скупое клал ясности, света на выступающие из ночи пустые угрюмые поля в блюдцах чёрной воды.

Посередине дорога чуть горбилась, подымалась над обочинами. Посреди было меньше грязи, зато было скользко, как на стекле, оттого во всякую минуту, пружиня, боком съезжал я то к той, то к той обочине, где по самую щиколотку тонул в вязком чёрном тесте, замешанном на горе наших проселков.

Когда же вы, горькие, нарядитесь в бетон? Когда же перестанет клясть вас мужик, в ненастье везущий в район на маслозавод единственный бидон молока на сверхмощном тракторе, в осеннюю хлябь везущий на станцию запоздалый, но не отпущенный под снег урожай?

Молчит всё окрест. Молчит ощетинившаяся мокрая стерня, молчат чёрные глаза стылых блюдец; вперехватку, будто стараясь друг перед дружкой, лопочут лишь дождь со снегом, хлопотливо постукивая своими холодными молоточками по земле, по блюдам, по щекам.

И куда вокруг ни пусти глаз, никого в щемящей дали.

Боже, в это утро на свете, кажется, только и жили двое, дождь да снег.

*Осень лето смятое хоронит
Под листвой горячей.
Что он значит, хоровод вороний,
Перед белой тучей?*

*Вороньё распластанно мелькает,
Как подобье праха, –*

*Радуюсь, ненастье накликает
Иль кричит со страха?*

*А внизу дома стеснили поле,
Вознеслись над бором.
Ты кричишь, кричишь не оттого ли,
Бесприютный ворон?*

*Где просёлок, где пустырь в бурьяне?
Нет пустого метра.
Режут ветер каменные грани,
Режут на два ветра.*

*Из какого века, я не знаю,
Из-под тучи белой*

*К ночи наземь пали эти стаи
Рвано, обгорело.²¹²*

Нет ничего печальней, нет ничего безотрадней ненастных предзимних русских полей...

«Первая направо палата... Первая направо палата...» – ворочались во мне братнины слова, и чем ближе была Ольшанка, и чем ближе была в ней сама больница, я из последнего набавлял шаг, отчего уже загнанный влетел в больничку, малорослую, долгую, какую-то приплюснутую, будто

²¹² Стихотворение воронежского поэта Алексея Прасолова.

придавленную жившими тут бедами к земле; срезанный с ног усталостью, прилип в порядочно широком и долгом коридоре к первой справа двери и, сглатывая волнение, опасно приоткрыл.

Мама спала поверх одеяла. Подобрала ноги под низ халата, собрала себя в калачик. Одна рука лежала под головой, другая, сухая, бледная, казалось, для прочности перетянутая толстыми синими жилами, уморённо покоилась по краю койки.

Раскрытая рука походила на ковшик.

Я опустил щёку на раскрытую руку.

Дрогнула, очнулась мама.

– Э-э-э! – удивленно-ликующе пропела. – Мий сыночек приихав... Мий сыночек приихав...

Мы обнялись, поцеловались.

Опершись руками о кровать, мама трудно взялась подыматься.

Я сорвался с места, кинулся было с помощью.

Но она решительно замотала головой. Не надь! Сама!

– Са-ма, – по слогам твёрдо повторила, садясь на постели. – Сама села бабка-герой. Вжэ другой дэнь сама сидаю! Отака я! К поправке дело мажется... Нам ли, сынок, плакаты?

Исхудалое, усталое лицо её тронула убитая улыбка.

– Теперь мы геройши... От тоди була беда, как тилько привезли. Я и себе не скажу, чё цэ так я боялась Ольшанку...

Дуже багато пустого казали про Ольшанку. Того и боялась. А как привезли, ка-ак четыре флакона белого всосали в один сприц, ка-ак клюнули – куда и страх от мене пишов. Сюда попала... Откачали... И Ольшанка сразу понаравилась, и ня-ни понаравились, и врачи. У нас с Борисовной, – кивнула на пустую койку у окна (палата была двухместная) – одна врачиха. Хвёдоровна отчество. Зоя Хвёдоровна... Хвёдоровна наша там хороша-расхороша. Это не докторь, а золото. Цены ей нельзя сложить. При такой докторице грех помирать... Прийдэ, сядэ на койку: «Ну, как, бабуля?» – И руку общупае, и язык посмотриэ, и в уши загляне... Там обращеньем мягка! Я век прожила, уже старость накрыла, а такого обращения не встречала. Что, сынок, ни кажи, а для таких кватырентив на цьому свити, как я да Борисовна, обращение самэ основне. Здоровье в нас кладэ...

Женщина в белом приоткрыла дверь, подала мне халат:
– Накиньте.

Как хорошо, что она не видела мою куртку.

Я предусмотрительно сидел так, что загораживал собой от входящих в палату и обжигающую пальцы батарею, и расхристанную по ней изнанкой кверху куртку.

Над курткой покачивались, изгибаясь, еле заметные столбики пара.

– Цэ була докторь по горлу. А наша унутренняя... Наша молоденька, на личность гарна. Найдись Глебу така гарна жинка, я и померла б спокойно.

– Ну-у... К чему такие жертвы?

– От меня, сынок, теперички всего можно ожидать. Не роблю, слаба... Свой век взяла – ослобони место молодому, нарождаему... А случится это годом раньше, годом потом невелик подварок. Всё ж одно ослобонять... В больнице ночь – год. Лежу, лежу... Нипочем не засну. Вас три. Об каждом подумай. За тебя с Митькой я не так... У Митьки техникум, у тэбэ вниверситет. Оба-два при жёнах. Уроде определились в жизни, уроде худо-бедно, а поднялись на ноги. Но Глеб, горький обсевок... В его лета ни семьи, ни грамоты поверх школы. Это что, порядок? Чтоб в наше время да не учиться? Достанься ему моя пора, там бы багато не научился. Побегала я по чернотропу два месяца в первые классы, а там положил ноябрь снега, сапог Польке нету. Одни сапоги на троих были. На том и покончилась Полькина образованка. А ему что мешает? Митьке нехай я помогала, подсыпала в техникум и копейку когда, и посылку. А тебе кто помогал? Работал да сдавал свои экзаменты. И он три года проучился заглазно...

– Заочно.

– Пускай и так. Три года проучился на агронома, а там зволь радоваться. Бросил! Ленъ матушка скрутила. Зарос парубок ленью... Пускають на завод, чего ж щэ! Когда ни приди на завод, спит наш стахановщик на теплой лестничной площадке меж котлов. Отоспал там смену, приходит спать другую домой. Что ему? Приходит на всё готовэ. Поел,

укрылся, опахнулся газетой на диване, читает уроде. А подойди через минуту – спит! Так до утра и спит. Не разувается, не раздевается. Сам на диване, ноги на полу. Намучится под газетой за ночь, а штаны-рубаху не скинет. Всё ото отсмеивается: «Зато утром короче сборы. Не надо снова одеваться». Все три от одних батька-матери, а яка разна поспела фасоля. Какой враг сыпанул ему в душу стоко лени, стоке спокою? Колы б можно не работать, он бы век свой проспал под газеткой. Вот что, сынок, страшно! Там гладючий стал... Размок в плечах, на ребрах сала, как у хорошего кабаняки осенью.

– Про женитьбу не заикается?

Мама всплеснула руками:

– Не к чему, говорит. На пенсию, говорит, пора! Это на всём на готовом зараз. А ну перекинусь? И тогда неженатый будэ? – Мама поудобней села на кровати, тихонько прислонилась спиной к стене. – Похоже, он людей боится. К человеку обратиться – камень для него. А сама не каждая первая обратится. Глупый, пьяный, урод – не скажешь. Сам из себя непоганый. А жизни нема. Молча́ка такой на людях... Даже вон ножик сложи да таскай в кармане. Уржавеет!.. Ожениться я мешаю? Скажи. Уйду на кватырю. Лета четыре назад слыгався с одной простифанкой. Пье, курэ, собой мелка та поганенька. Ой, гнилое яблочко остальные портит... Я про неё и слушать не хочу. А он мне напрямую и гудит про эту свою маляриху: «Давай пригласим её на воскресенье белить хату

и оставим. Я буду с нею жить». – «Та ты шо? Сдурел? У неё ж муж в военкомате повестки парубкам выписуе, дитё малое да хворое, мало не дурнэ». Смеется: «Вылечим». – «Лечи. Присоглашай без меня. Делай, шо хочешь, абы глаза мои это-го страму не бачили». Думаю себе, сильный ливень быстро проходит. Дай-ка пережду на стороне... В субботу сгребла я свои манатки да и забулькотела к тебе в Москву. Какая тут была у них любвища, не знаю, только через неделю кинулся письмо по письму засылать, кинулся отзывать домой. Да ты сам читал те письма. Помнишь?

Я кивнул.

– Больше про ту фиёну не заикался. И осталось у парубка у нашего две стыдные заботоньки: выпасться под газетой да в случай чекалдыкнуть бутылочку. А выпьет, молчаком набычится, сопит, только что не брухается. Да зубами скрипит. Не-е... Не житуха ото одному... Придёт, уйдёт... Один, как волчара... Разве ото дило? Я вот сижу над болью, всё думаю-гадаю... Знаешь, сынок, наверно, вина на мне, что он один.

– А может, глядеть надо шире? Может, – подпускаю в шутку, – вина на дефиците сельских невест?

Мама поджала губы, удручённо ожидая, что ещё за невидаль выкину я.

Мне и самому неловко за нечаянную выпренность.

Я повёл плечом, как бы извиняясь.

– Непутящим всегда этот твой дев... сыт сам валится под

ноги. Не отпустить надо было...

Истории этой много лет.

Мы тогда жили ещё в Грузии.

Каждое лето к нам в Насакиральский совхоз привозили на сбор чая вербованных девчонок. Полно было писанных красавиц. Да всерьёз ни на одну Глеб и не взглянул. Милей Марусинки Половинкиной никого не было. Он дружил с Марусинкой ещё со школы.

В октябре Глеб ушёл в армию.

А в декабре Марусинка сообщила ему, что она беременна.

Глеб написал, чтоб мама уговорила Марусинку перейти жить к нам.

Маме Марусинка очень нравилась. Марусинкой мама была захлестнута до сердца.

Конечно, мама звала Марусинку.

Однако Марусинка не шла к нам. Не отвечала и полным отказом, уверяя, что неудобно ей жить в нашей семье до расписки.

Заочно же, насколько мы знали, браки не регистрировались.

А если начистоту, Марусинка стеснялась идти к нам.

Ну, как бы она у нас жила? У нас всегда была одна комната. Как жить в одной комнате, где кроме мамы был ещё и я, ровесник Марусинке? Как жить? За занавесочкой?

На занавесочку Марусинка не позарилась.

А тем временем в посёлок к нам приехал к одним погостить винолюбивый малый откуда-то из России, куривший исключительно *беломоркэмэл*²¹³ и любивший приговорку: «Белое – несмелое, красное – напрасное, водка – в сердце прямая наводка!» Малый и просохнуть не успел, как назад, домой, поехал уже при молодой жене. Проворчивые старики Половинкины быстренько сосватали ему свою Марусинку.

Марусинка поначалу противилась выходить за пьяника.

Старики и прицыкни:

«Ещё неизвестно, вернётся ли из армии к тебе твой прыгун генералиссимус. А тут живой человек набежал. Чего отпускать божий момент? Иди! Иди, пока не видно, что ты уже с дитём. Иди, дурёка, не козоумничай. Всё будет какой-никакой ребятёнку живой батька. Выходи да живи, себе лиха сна не знай. А то довыглядаешься своего купоросного Глебуху – век бы не вековать одной, как сороке на берёзке. Дело тебе вяжем. Иди... Свезёшь свой грех на сторону и концы в омут!»

И Марусинка не насмелилась восстать против отца-матери.

Она не стала отвечать Глебу и – верила, что после армии он и без писем непременно явится к ней. А там будь что будет...

Глеб и в самом деле со службы нагрязнул сперва не к себе домой, в Каменку, а к родителям Марусинки. Растравлен-

²¹³ **Беломоркэмэл** – папиросы «Беломорканал».

ные старики не пустили его дальше порожка. Сказали, что ребёнок его родился мёртвым, так что нечего тут обивать пороги. Из злых обрывков Глеб понял, что Марусинка живёт далеко отсюда у мужа.

– А я всё равно пришёл за своей половинкой, – ершисто бухнул он.

– Может, чья и половинка, да не твоя!

– Дайте адрес... Заберу... Будем жить честь по чести...

– Твоей-то честью мы уже разок захлебнулись. Нам этого довле... Никакого адреста ты не получишь. И забудь, как открывается наша дверь.

– Марусинку я не виню, – в горечи мама нервно разглаживала на колене уголок халата. – Тут вина полностью на меня упала. Не убедила её пойти тогда сразу к нам. Сдается, и Глеб не может спустить мне это. Молчит только. Виновата бабка, кругом виновата... Когда идёт дождь, все мокнут...

Мама немного помолчала и как-то с опаской, снизив голос, спросила:

– Сынок, что мне покою не даёт... Я вот тут лежу ночами та думаю без конца-краю... Вот ты пишешь всякэ-разнэ по газетах. И не боишься?

– А чего бояться?

– А ну заберуть?

– За что?

– Пишет и не боится, – сказала она себе как-то расте-

рян-но и вместе с тем гордовато. – А тут рта всю жизнь боишься открыть... дрожишь.

– А чего дрожать?

Она вздрогнула и оглянись на дверь. Взглядом будто спросила: не за мной ли пришли?

Но на пороге никого не было. И она успокоенно затихла.

– А чего Вы дрожите? – не отступал я.

– А-а... Мало ль чего сдурячку ляпонешь... Потом ни на что не натянешь... Как говорят?... Рыба гибнет – рот роззявляе... Спокойнишь всего – молчи...

– А всё же? Чего Вы дрожите?

Она в конфузе замахала на меня обеими руками:

– Да брось ты цэй допрос!.. Ну тебя!..

2

В коротко открытую дверь бочком втиснулась, здороваясь, маленькая старушка.

Следом правился весёлый старичок в потёртом газетном колпаке набекрень.

Завидев постороннего в палате, меня, остановился, пример на одной ноге, не решаясь опустить другую. Так поторчав несколько мгновений на месте в раздумье, повёл поднятую ногу обратно и, широко забирая руками назад, путаясь в халате, не поворачиваясь, на одних пальчиках взял на пятки и осторожно, почтительно, с поклоном прикрыл за собой дверь.

– Так-то оно дажно способней будет, – косясь на дверь, ворчала, ни к кому не обращаясь, старуха. – Верблюд сопатый. Пристал, как слепой к тесту... Наказал же Господь и не помилует... У самого уже цапалки охолонули, а яго всё лешак подкусует ш-шапаться в тёмном в коридори... Ну-у мужаки! Ну-у кобелюры! Будет лежать в гробе, подойди чужейная, пристяжная,²¹⁴ баба проститься, и таде гриб мокроносый, – в тихой ярости кинула перед собой руку с выставленным в сторону двери указательным пальцем, – и таде ушшапне!

По-утиному колыхаясь с боку на бок, дошталалась до сво-

²¹⁴ **Пристяжная** (здесь) – замужня, состоящая в законном браке женщина.

ей койки у окна, взялась с ногами на постель и в полной обстоятельности пошла наставлять края халата на выступавшие в дешёвых чулках колени.

Светлея, спросила у мамы, показывая на меня:

– Владимирна, это твоечкин меньшак?

– Ага, Борисовна. Меньшенький.

– А мне и так, Владимирна, до твоих слов зашло это на ум.

Что значить одного завода... одной кровности... Что Митрофаній, что ты, что Глебко, что меньшей – узор вам одинаковый положён на лица.

С ласковым любопытством старуха повернулась ко мне:

– Ну, как там у вас? Колбаса из магазинов не убегает?

– Там, Борисовна, с продуктами гарно! – отвечала за меня мама. – Скоко миру надо накормить! И все лезут, лезут туда. Как воши на гашник.

– За своим лезут, – точности накинул я. – Колбасу не на Красной площади делают, а у вас. Везут в Москву. И ваш народ вдогонку за своей же колбасой летит в Москву. Вот как у нас всё *умненько* сработано!

Все похоронно помолчали.

– А воздух там поганый, – резнула мама. – В метре, под землёй, дух, как от лука. В глаза лезет... В метре сердце бьёт, навроне палкой по ребрах. У людей цвет лица похожий на траву, шо в тени росла. У нас люди справней...

– Владимирна! Не на жизнь я туда стремлюсь. На мой век свеклы достанет. Где-нить под кусточком смерть и сграбаста-

ет. Да я ей, знаешь, ишто покажу? Вот! – выставила на всеобщий обзор дулю. – Я ей прямки так и фукну: «Ты, девка, не прыгай пока мне на грудки. Тебе без разницы на кого сигать, так походи по окружке где, поотдохни, а мне дай в Москву обернуться. Без Москвы я тебе не дамся. Век жа изжила, а Москву не видала! Что ж это за диковинная земля Москва! Весь ум, вся вышняя правда, вся сила нам оттуда. Сам кто наш туда подайся, человеком каким вертается! Вон мой Колюшок. Кем жил посегодня? Покончал десять лет, в колхозе слесарьком бегал. Хлоп, зовут в армию. В саму в Москву! Отбил свой черёд, ан тебе учиться куда-т приткнули. Работал, ещё учился и смотри – скоро всему району голова, всему району указ. Вы-ыбился с колхозной справчонкой в люди. Вот тебе и Москва, что из слесарёнка выработала! Я б поехала, поклонилась за то за всё Москве...

Старуха замолчала, сронив перед собой взгляд, полный света, добра, материнской благодарности.

– Вот видите, – поддержал я разговор. – Москва родной вам стала. А как тут вам живётся?

– Да у нас всё по-старопрежнему... Что ж у нас может хорошее выпрыгнуть?... В колхозе жить – по счастью выть...

– Вы не сгущаете краски?

– А у нас и без сгущёнки всё густо... Не провернёшь... В тридцатых не бежали в колхоз... В спину толкали... Не шли в колхоз – маялись, пошли – покаялись... Одни жили – не тужили. В колхоз пришли – в заплатках пошли... Ну, чего

ж у нас хорошего? В колхозе поживать – одних слёз наживать...

Почему у неё такие ежовые мысли?

Я не знал, что и подумать. Если так живёт мать будущего нового первого секретаря райкома, то каково приходится простым колхозникам?

– У вас плохой колхоз? – как-то глуповато спросил я.

– Названием красик. «Ленинский завет»! Только прозывают у нас его поиначке. «Ветхий ленинский завет». Ветхий он и есть ветхий. Дохлый! Я век свой изжила в родительском домке. Родительский домок не вечный тоже, состарился и примёр. А колхозу хоть бы хны! Суховерхов наш и не почесался. Спасибо, Митрофаний, ваш братка, сгандобил мне хапушку. Не дал старухе помереть под плетнём... Чужой председатель помог, а свой и ухом-хлопалкой не повёл. Что ж мне сахарные петь песни про свой колхоз? Вот так, милоня... Да ну его, колхоз, к шутам собачьим!.. Вот только б отлепиться от Ольшанки! – вслух подумала.

– А куда, Борисовна, денемся? – улыбнулась мама. – Отлепимся! Сама Ольшанка и отлепит. Это зараз, сынок, мы с Борисовной героюхи. А сначала боя-ялись Ольшанку. Пожили трохи, распробовали – понаравилось. Сказали: с сентября до мая не имеют правия выгонять. Что нам? Комната наша лучшая, детская. Сюда все сходятся на посиделки. А питанье возьми. Яблочко, огурчик, соленье, варенье... Не надь на сторону дядьке кланяться. Всё своё!.. У больницы

своя подсобка. Крепкая больница. Ей-право!

– Не ровня Гнилуше, хоть Гнилуша и район, хоть больница там и в районном чине, – отозвалась Борисовна.

Некоторое время Борисовна молчала, что-то припоминая, и, весело качнув головой, заговорила без злости, обращаясь ко мне:

– Вы сходите поздороваться к Святцеву. Ну Святцев! Вот где бактерия!..²¹⁵ Вот где врачуща-а!.. Ну да и врачуща-вражуща! Кого схоронил, того и вылечил! Это надо... Я с ним-ка здоровкалась иначе... То же тело, да клубком свертело. Совсем уходила, умучила, согнула да скрючила боль... Я ель стою. Прошу ослобождёнки на день какой. А он: иди, симулянтка, на свёклу. Я в карман за матюжком не полезла, в бесстыжие глазищи так и плесни: «Про таких надо писать в газету!» А он: «Пишите. Я в Гнилуше не очень-то и нуждаюсь». А, гриб худой, не очень-то нуждаюсь! К такому басурманцу никакая беда не заставит большъ пойти... А тогда, там, у него... То-олько я за порог... Ой-ё-ёй! Плохость мне. Вернулась в свою память уже в Ольшанке...

²¹⁵ **Бактерия** – противный, вредный человек.

В дверях показалась каталка с таблетками, порошками, микстурами.

Молоденькая, ладно скроенная девчушка, что поталкивала её, весело объявила:

– А вот и мы. Радуйтесь, бабульки. Завтрак приехал!

– Глаза б не глядели, – с омерзением уставилась Борисовна на каталку.

Мама с усмешкой возразила ей:

– Здоровье наше приихало.

Девушка взяла с каталки стакан с градусниками.

– А градусники вам давать? Вы у меня нормальные?

– Светочка, мы уже нормальные, – сказала Борисовна. – Ещё на той неделе как померили... По тридцать пять ель наскребли. Так с той порушки и не меряем, боимся мерить. А ну ещё меньше градусник скажет!

– Да нормальна в нас температура, – подтвердила мама. – Откуда тому жару взяться у списанных бабок?

– И не скажи. Оюшки и не скажи, Владимирна! – Из-за девичьего плеча плутовато щурился на Борисовну старый знакомец в газетном колпаке.

– А тебя кто звал, голова бумажная? Поди! – махнула на него разом обеими руками Борисовна.

Но старик только рассмеялся, стал с интересом смотреть,

как девушка клала на ту и на ту тумбочку таблетки, как ставила на ту и на ту тумбочку по пластмассовой мензурке.

Весёлый её взгляд зацепился ненароком за уголок подоконника. Из-за сбитой в гармошку занавески виднелся стакешек с такой же мёртвой прозрачной жидкостью, как и та, которую медсестра только что поставила Борисовне.

Удивление округлило девичьи глаза.

– Почему ваш кальций со вчера стоит?

Бабка виновато сжалась:

– Что ему? Стоит и стоит... Не прокиснет...

– Ну-ка пейте при мне!

– Н-не насмелюсь я так сразу...

– Пейте, пейте! Некогда мне. Сколько ещё надо успеть обнести!

– Светушка! – вмешался тут старик. – Ты ехай своим дальнейшим историческим путём, а я, дай мне веру, присмотрю, чтоб было всё оприходовано наичестнейшим макарон. И потом доложу тебе по полной форменности.

– Ну, пожалуйста, – обрадовалась Светлана. – Проследи-те... Ох уж эти больные! А потом ещё говорят, чего это так долго лечат.

Проводив её необрывным, плотным взглядом и убедившись, что она и в самом деле уже в соседней палате (за стеной расплывчато дребезжал её голос), старик приветливо попросил Борисовну:

– Анна Борисовна, вы уж не подводите под монастырь

свою стахановскую палату. Исполните как надобно, чтоб не в стыд мне было перед Светланией.

– Чем пустые смехи продавать, – заворчала Борисовна, – лучше выручи. Пить не могу. А вылить жалко... За товар же дадены деньги! Пускай не мои, а всё ж деньги... Не наберусь дурной смелости выплеснуть. Иди выпей за меня!

Старик оторопело ослабился.

– Однако, – прошептал опало. – Напрочь надумала от меня избавиться?

– Вот и вся цена давешним твоим красным словам! – с укором пустила Борисовна. – Выходит, брехал... Все дни брехал напролётно! Не хочу знать! И духу твоего козлиного не надо до скончанья! Уходи!

– Ньюрушка! Да возради!..

В каком-то горячечном озарении старик подскочил к тумбочке, выхлестнул в себя стакан. Перевалившись через старуху, толкнул занавесь – на окне готовно выстроилась шеренга из пяти мензурок всё с той же зловеще-прозрачной жидкостью.

– Не смей! – вскрикнула старуха, – Не смей!

Она повисла на протянутой руке, насыпалась колотить по ней, пытаясь отвести её в сторону.

Но силы в мужской руке были молодцовские, неповалимые, и рука раз за разом дотягивалась до новой полной посуды; и только когда последний стакашек был опрокинут в рот и проглочен одним глотком, старик, утомлённо опустив-

шпись на краешек койки, в ногах, припал чисто выбритой щекой к спинке кровати и как-то смиренно, покорно закрыл глаза.

– Ванюшок! Что ты натворил? – В панике старуха кинулась трясти его за плечи. – Да ты притравился!

– Наскажешь ещё... – В слабом его голосе были ясность, твёрдость. – Лекарствами лечатся, а не травятся.

– Нигде не жгёт? Не печёт?

– К жали, нигде, золотиночка...

Борисовна ликующе уставилась на старика.

Я не знал, что делать.

То ли выйти, то ли продолжать сидеть?

Выходить было неудобно. Но и оставаться было ещё неудобней. Когда врасплох для самого себя оказываешься свидетелем пускай и высокой чистоты в отношениях людей, почему-то чувствуешь себя так, будто застал себя на чём-то стыдном.

Я встал и пошёл к двери.

– Не надо, – шумнул мне старик. – Если уж кому и уйти, так это мне, – и побито воззрился на стакан с жёлтым, стоял у мамы на тумбочке. – А вы, Владимирна, глубоко извиняйте. Вам я не помогальщик. Вам поднесли жёлтенькое, на коньяк схожее... Мне самому каждый вечер такое подносят на сон... У Борисовны больше шло цветом за винтовой коньяк.²¹⁶ Не могу я принимать ёрш.

С просительной усмешкой взглядывая на Борисовну, до-

²¹⁶ **Винтовой коньяк** – одеколон.

бавил:

– А гадость всё-таки тебе подносят. Такое ощущение, будто уговорил литровую кружку ерша неизвестной национальности.

Мама посоветовала старику пойти сорвать.

Борисовна ухватилась за это предложение и как-то просто, по-домашнему взяла старика под руку, взяла, словно старого своего мужа, с которым выстарела, и пошла с ним в коридор.

Торжество засветилось на помолодевшем лице старика.

Не прими он этого кальция, когда б ему привалило у всех на виду пройти под ручку с Борисовной?

4

Закрылась за стариками дверь.

Мама проронила с несмелым восторгом:

– Бачишь, сынок... Стари вжэ люды, а промеж ними яка милость живэ. Это надо стока выпить чужого лекарства!

– Кто не рискует, тот не пьёт ни чужого лекарства, ни шампанского, сказала бы в таком случае Валя.

– Вот так послухаешь чужу жизнью... Той же Борисовны... Воспомнишь свою... И шо в голову лезет?.. – Тут она совсем стишила голос. – Хороша советска власть, да дуже долга...

– А вы хотите покороче?

– Не возражала б, – прошептала мама. И с горячечной мольбой: – Только ты этих моих нечаяжных слов никому не отдавай...

– Не отдам! Не отдам! Успокойтесь. Положу на сберкнижку... Ну что Вы так всего боитесь?

– Давай перевернём пластинку... Спокойниш будет... Ты тут про Валю вспомнил... Как она там? Не болеет?

– Нет.

– Берётся по дому?

– Старается. Пока всё хорошо...

– Значит, не боксуетесь?.. Не деретесь?

– Мы мирно.

– Ну и славь Бога. А то я нет-нет да и подумаю грешным

явлением, какая там досталась, не бьёт ли. Глупое думаю. Человека сразу видать... Она у тебя молодая, не распущенная. Гарна у тэбэ жинка. Жалей. Повсяк день жалей, сынок.

За разговорами я устроил санитарный налёт на тумбочку. Выпростал несвежие продукты на кинутую по полу газету, положил в тумбочку принесённое. На всё хватило места. Лишь тарелка с виноградом не шла в тумбочку.

Мама велела поставить виноград на верх тумбочки и половину отложить Борисовне.

– Придёт вот зараз. Будем натошак московские митамины пробовать!

Я отложил половину винограда в тарелку Борисовне, поставил ей на тумбочку и присел на табурет у двери.

– Ну, чего ты садишься там где-то, как чужой? Садись сюда. Рядком...

Мама уважительно разгладила морщинки на одеяле.

Я пересел к ней на краешек кровати.

Она накрыла мою руку своей рукой.

Рука была лёгкая, сухая, в тугом пергаменте кожи. Годы взяли из неё силу, твёрдость, сноровку, взяли всё долгой надсадной работой. Однако жизнь билась-таки в руке, жилка на узком запястье сине вздрагивала: а мы живём! а мы живём!! а мы живём!!!

– Вы с Валеёй там дуже не серчайте на мене. Только вот летом булы. Каких месяца с два назад и сновушки ехать... Я и словами не складу... Дурна зробылась... Захотелось, как

Паски, чтоб ты приихав. И вчора утром ты был в Воронеже уже...

– Откуда вы знаете?

– Матирь всегда, сынок, чует, где её дитё, шо с ним. То все дни лежала пластом. А учора проснулась – вроде кто тяжесь с меня смахнул. В голове не шумит, нет той слабости, на душе благо. За все дни первый раз села на койке. Сижу и вижу, как ты выходишь из поезда... Как вошёл в гнилушанский автобус... Э-э-э, говорю себе, бросай, бабка, придурюваться. Хватэ лежать барыней, подымайся давай. К тебе сын едет! Пока жива, доезжай, сынок, днём и ночью... Всегда теплыми руками встрену...

Голос её дрогнул.

Она положила мне на колени голову книзу лицом, попросила поискать.

И Митрофан, и Глеб, и я были ещё маленькие, когда мама, вымывшись в корыте, просила кого-нибудь из нас поискать у неё в голове. Что искать? Я толком не знал и не спрашивал, и если это делать доводилось мне, я просто перебирал волосы, длинные, густые, зачем-то прищёлкивал ногтем об ноготь. Это щёлканье я перенял у Глеба.

Часто мама засыпала под это пустое щёлканье. Убедившись, что она спит, засыпал и сам. Проснувшись, она всегда выговаривала мне, обещала больше никогда не просить поискать, что мне и нужно было.

Когда же рядом оказывался Глеб, она обращалась только к

нему со своей просьбой. У Глеба чертовски всё получалось. Он раз за разом яростно щёлкал ногтями, будто давил какое-то страшное мелкое зверьё, пойманное им, и чем сильнее и чаще он щёлкал, тем чаще хвалила его мама, хвалила, пожалуй, ещё и за то, что он не в пример мне никогда не засыпал за делом.

Неспешно перебирал я материнские волосы.

Оторопь холодила меня.

От былых пышных волос до пояса остался всего-то жиденький белый пучок.

– Мне, сынок, большой грех будэ. Правду держу от сына. Всё думаю, сказать или не сказать...

– Хочется – говорите.

– Оно, сынок, уже кучу лет как хочется... Всё думала, вот приедешь на лето, спытаю. А приедешь – не наберусь храбрости спросить. Думаю, ладно, на то лето спытаю. Приходит и то лето, перекладу на новое. Всё перекладувала, перекладувала... Какой стаж набежал... Крутая жизнь была, а по больницам и неделю не прокурортничала. А тутечки завезли в Ольшанку в таком разбитом виде... И дождевой червяк изогнётся, когда на него наступят... Чую, плохи мои коврижки. Лежу и так страшно стало мне: помру, а так и не дождусь нового лета, не дождусь сыночка спытать, был то он или не он. Ой, та я уже дурна, стала стара, голова пуста, як кошёлка, везде продувает. Всё умное давно выдуло, а это никак не выдует... Колы, сынок, пойдёт у тебя ребячёжь, поймёшь,

как ото его жить, когда кто из детворни один куликает где на стороне по чужим людям. Зараз – признаюсь тебе на всю! – пока не болела, выходила я к воронежским антобусам. Всё казалось, ты приихав, а встретить тебя некому. Вы вчера с Валея уехали, а я сегодня пойдя к антобусу! Ну это разве нормальна бабка? Только я того никому не говорю и схожу за нормальну... А раньше, в Каменке, выходила я к дальним поездам с твоей стороны. То и свету в окошке было, что при станции мы жили. Поезда мимо неприкаянно мотались туда-сюда, туда-сюда... То в Москву. То из Москвы назад к нам и ниже туда, к югам...

Как подходит время твоего поезда, у меня важное дело. Бежу сыночка встречать! Стану на станции и жду, не сойдешь ли ты. Если нету тебя, а поезд всё стоит, пойду заглядывать в окна. Може, думаю, утомился в дороге сынок, уснул. Я увижу, постучу, он и сбежит ко мне...

Однажды она пошла к скорому поезду.

В Каменке он не останавливался.

Шла и ругала себя. Ну совсем плохая! Как же сын приедет этим поездом, если поезд этот не останавливался?

Так-то оно так, только ноги сами несли на станцию, хоть что ты тут делай.

– Дождалась, – рассказывала дальше мама, – летит этот самый скорый на всех ветрах, только окна льются. В одном окне вроде как качнулось твое лицо. Что было во мне мо-

ченьки, кинулась я за тем окном, кричу, руками зову. Уже и станции конец, семафор дальше краснеет. Упала я в канаве, выкричалась... Был ли то ты? Неужели мой сын мог проехать мимо? Я и так вижу его раз в году, и он мог? Не-е, мой не такой. То всё мне намерещилось. Мало ли похожих людей? А потом, скорый поезд, разбери на скаку... А то кольнёт в грудь. Мой! Мой был в окне! Ясно ж видела! Тогда что? За что такое зло? Может, за то, что сама не умела расписаться, а всех трёх на последнем куске довела до людей? Митька механик, Антон в газете, Глеб не камни ворочает. Всех как могла повыучила. Разве за это можно держать сердце? Не-е, не мой... Чтоб мой – сам других в газетах продёргивает! – да проскочил? Будь он, хоть на денёк, хоть на час, хоть на минутку, а заехал бы. Ну правда ж? Скажи, шо правда. Сыми с меня этот камень. Вить если сын ехал мимо и не заехал к родной матери, за то вина лежит на ней. За ту вину ей отвечать **там**... Я боюсь помирать. Человек помирает... дыхание перехватывает... Нет дыхания, совсем нет, а потом опять дыхнёт... Боюсь... Скажи, что это не ты был в окне... Правда?..

– Правда, ма, правда, – скороговоркой подтвердил я, опустив голову.

На правду меня не хватило.

Разве скажешь даже матери то, что хотел бы скрыть от самого себя?

Ещё за год до этой истории я жил со своими в Каменке.

Мама уже выпала на пенсию, выпала, как она говорила, в списанные бабки. Митрофан, Глеб и я работали на маслозаводе.

Кроме того я писал в газеты.

Меня заметили в обкоме, в день печати озолотили грамотой и направили в щучинскую районку.

К той поре я уже дважды стучался в университеты и соответственно дважды обжигался.

Первый раз ткнулся в Воронеже. Без стажа, сразу после школы. Из двадцати добросовестно наскрёб девятнадцать баллов. У нас тогда не проскочил один даже сдавший на круглые пятёрки. Десятиклашкам кинули, кажется, семь мест, а на отлично подсуетились восьмеро!

В МГУ я поймал гусика на сочинении.

Однако знакомым твердил, что свалил меня немецкий.

Выходило чуть-чуть престижней и не так стыдно. Что ж я за журналист, раз за свою сочинилку отхватываю заморскую фигуру?

Вскоре после московской беды меня послали в газету.

По третьему заходу ладился я пытаться судьбу.

На этот раз в Ростове-на-Дону.

Там только-только открыли факультет журналистики. По мне, никто про то ещё не знал. Знал пока я один. Ну, может, ещё какой университетский погорелец, от силы ну с десятков, не больше.

Наверняка конкурс будет божеский, уступчивый.

...Добежал я до своего вагона, стукнуло: останавливается в Каменке!

В газете я был первые три месяца. В стороне от своих эти месяцы показались каторжным веком. Я писал домой часто, как безнадежный любовник. Дорогого бы дал, лишь бы слетать хоть на один взгляд. И где набраться такого терпежу, чтоб поезд стоял в Каменке, а я и не выйди? Не смогу.

До вступительных неделя. Денька на три и можно остановиться, отгостить...

Можно, да лучше не нужно!

Не дай бог завалюсь снова. Ну, раз срезался. Ну, два... Ещё можно как-то списать на счёт случая. Этот Сивка две беды с грехом пополам свезёт.

Но чтоб три!

Да и как с третьей шишкой на душе гляну своим в глаза? И ребёнок же поймёт что к чему. Раз тупенький, с колокольным звоном в голове, не лезь в университет, отступишь...

А не умнее ли?

Провалюсь – гордо смолчу.

А выхватит моя, поступлю – таким чёртом на белом коне заявлюсь!

Вариант с белым конем был мне симпатичнее.

Я сказал себе, наскреби хоть малую горстку духа, заверни домой уже после университетской лотереи, с результатом уже.

Я побрёл от поезда к кассе, закомпостировал на скорый.
В Каменке скорые не стояли.

Но самое непонятное и по сей день было то, что я не торчал у окна.

Когда подъезжали к Каменке, я вжался в угол, задёрнул занавеску, чтоб ни одна знакомая душа не видела.

А как же тогда мама?

А может, матери видят своих детей и сквозь стены?

Где-то недалеко, палаты за три, слышался нарастающий глухой шум множества нестройных шагов.

– Сынок, обход... Сбирайся!

– У солдата короткие сборы, – потянулся я к горячей от больничного тепла куртке. – Что вам завтра принести?

– Завтра не приходи. Не надо. Отдохни. А там если задумаешь... А нести ничего не носи. И так набита тумбочка харчем.

– Как это не носи? Что врачи советуют есть?

Насмешливо махнула она рукой:

– Иди ты, врачи... Слухай врачей! Врачи наговорят. Им за то гроши платять... Бачишь, винград, урюк, узюм... Где вбъзмишь? Выпляшешь? Нема и не треба. Можно печеную картоху, сала немножко, селедки. А! Шо есть, то и можно... Аппетит ко мне, чую, вертается. Я теперички буду подметать всё, что ни подай. Буду наедаться, как дождевой пузырь. По нонешним временам, сынок, жить можно. Надо спастись...

Глава восьмая

Прямая дорога на кривую наведет.

1

Дорога назад была уже и короче, и ладней, и шлось по ней легче, стремительней, оттого что давешний груз неизвестности, груз страха больше не давил на плечи, не давил на душу; радостное сознание того, что с мамой всё ладится, правится к добру, к поправке, сняло с меня старый груз беды, и я широко, шаговито мял просёлочную слякоть, весело дивясь, что-де вот только ещё оглядывался на ходу, видел, как приседала за бугром ольшанская церквушка, точно играла со мной в прятки, – и вот уже сама госпожа Гнилуша!

В Гнилуше, с развилки, я не взял вправо, к дому. А сунулся к междугородке.

Благо, это совсем в каких-то шагах, под коленом у первого поворота улочки.

На междугородке, тесной, пенально-узкой, было пусто, тепло. Уютно бормотало радио.

В открытом окошке женщина в наушниках уморённо роняла в трубку:

– Горшечное... Горшечное... Горшечное... Или вы там

все послули?

Она приняла у меня заказ на Москву, сказала, что дадут не раньше чем через час, и снова взялась уныло вызывать поднадоевшее ей это кислое Горшечное.

Куда девать битый час?

Взгляд зацепился за стопку синих телеграфных бланков на круглом столике. Я сел за письмо жене.

Моя милая женьшениха!

Самая красивая девушка квартиры тринадцать!

*Второй день не вижу тебя и мне уже не сахар.
Ненадолго хватило меня, пришлёпал на переговорку
вот, заказал тебя. Пока соединят, расскажу бумаге
свою одиссею...*

Обстоятельно расписал я свои набегги на облздрав, на Ольшанку и вспомнил. Обещали ж в течение трёх часов перевести маму и не перевели. Да как же я, тыря-мотыря, забыл у мамы спросить, говорили ли ей хоть что-нибудь похожее на перевод?

Ладно.

Спрошу в следующий раз.

Милая, даю цэу по пунктам. Внимай:

1. Кончились деньги – возьми в чёрной кассе. На большую дорогу с дубинкой не ходи. Дубинку могут отнять. Лишние расходы нам ни к чему.

2. Не сиди голодом на одном таллинском кефире. Ты не срок отбываешь. Талия у тебя и так на уровне

мирового стандарта.

3. Повесть мою начисто стучаешь по вечерам на машинке? Больше воздуха (пропусков, абзацев). На твоё усмотрение. Я верю твоему чутью.

Тебя так долго не дают, что я и не знаю, что ещё написать.

Да, заглянул вчера в сарай.

Там вокруг кабана мыши водят хороводы. Я и подрядись. За пойманную мышку Глеб начисляет мне рубль – такса. Расчёт при отъезде. Вчера поймал восемь рублей.

Глеб весьма болезненно переживает мой успех. Мысленно желает мне всяческого провала.

Способы ловли не оговаривались. Я сходил купил мышеловку. Она добросовестно ловит. Я только успеваю приносить Глебу на фиксацию тёпленьких мышек. Этих сивых буренушек и дома не любят и на торгу не покупают, а у меня берут. Я очищу Глебовы сараи от мышек и карманы от валюты-с...

Вот шёл сейчас мимо Чуракова рва. Остановился, постоял, где собирали с тобой летом чемпионов, как ма называет шампиньоны. Будто с тобой побыл. Грустно так стало...

Пока с мамой всё в порядке.

Сходи на почту, узнай, можно ли послать килограммов пять винограда. Если можно, вышли. Я буду здесь до возвращения мамы домой. Мне она рада, это ей на пользу.

Ну, пока, моя женьшениха.

Пиши сразу.

Твой з-з-з-золотой кор-р-рень.

PS.

Да! А петух поёт тебе по утрам?

– Мужчина, ваш номер не отвечает. Что будем делать с заказом?

– Снимите. И дайте конвертов авиа. Десяток.

Я достал из кармана мелочь, принялся отсчитывать.

– С авиа у нас нескладёха, – замялась телефонистка. – Вот, – на раскрытой ладошке она то опускала, то подымала конверт, будто взвешивала, – вот последний. С витрины. Никто не берёт.

– Он что, инвалидный?

– Да не так чтоб совсем. С лица чистенький. А назаде художественный видок... Мухи рассыпали своё грешное золото...

– А! Согласен на золото!

Я обвёл скандальное скопление и черкнул:

Видит Бог, это не я!

И отпустил письмо в ящик у входа.

2

В компрессорной Глеба не было.

Я туда, я сюда. Нету!

Повстречавшийся старик, которого я спросил, не видел ли он Глеба, ответил как-то криво: «Нет».

– Ищите нашу месткомовскую власть между небом и землёй.

Уголки глаз у старика ехидно поблёскивали.

– А поточнее нельзя?

– В кочегарке за котлами. На лестничной площадке.

Кочегарка...

Сердечко во мне проснулось, заторопилось, переступи я только её порожек.

Трудовую жизнь я начинал помощником кочегара, оттого теперь искал приметы бывшего и, теряясь, ничего похожего, ничего мне знакомого не находил. Ни чёрных гор угля у котла. Ни пыли – на вытянутую руку ничего не видишь. Ни копыти в палец на стенах...

Как всё переменялось!

На окнах лилово горели шары гортензий. Стены и пол, выложенные цветастой плиткой, были ликующе чисты и нарядны.

В приоткрытую дверку несколько мгновений я очарованно наблюдал, как в топке жизнерадостно билось, кипело пла-

мя, вырывавшееся, казалось, вместе с тугими струйками мазута из форсунки, и видел себя давнишнего, ещё заморышем мальчишкой, который, кусая губы, качаясь из стороны в сторону, каторжно тащил центнерные носилки с углём; видел себя без разгиба натужно подбрасывающего в топку уголь; чудилось, смоченный ещё полудетским потом, горячим, взрывным, отчего, пожалуй, уголь схватывался огненной шапкой едва ли не на лопате...

За котлом почти отвесно взбегала узкая металлическая лестничка. Уже на порядочной высоте она переходила в площадку с перильцами.

С площадки свешивалась Глебова нога в желтоватом шерстяном носке. Сапог смиренно стоял под лестницей, переломившись и касаясь верхом голенища пола.

– Гле-еб... – тихонько позвал я.

Глеб готовно катнулся к краю площадки, свесился, как с креста снятый. Утомился бедолага со сна у жаркого котла.

– Высокомученик... Занесло же на такую верхотуру мучиться! Давай спускайся. Дело срочное!

– В обед у меня не может быть срочных дел, – зевая, ответил он. – Я засыпаю своё законное. Глотнул полгранёный молочка...

– Из-под бешеной коровки? – предположил я.

Он несогласно покачал головой.

– Что я, фанерный? На работе – ша! Без глупостей. Зажевал моньку корочкой и на бочок.

– Пролежней ещё нет?

– У меня бочки из дюралюминия. Ни один пролежень не проест. Лучше скажи, как там мама.

– Помалу встаёт...

– О! – оживился Глеб. – Вот кто весь из дюралюминия склёпан! Сколько бегает, за всю жизнь только раз и споткнулась. Всего-то лишь однажды залетела в больницу! Какая выносливая... Мы с тобой размазюхи против неё.

– Слушай! Да слазь ты в конце концов! Я только от главного врача Веденева.

– Так, так... Какие новости из зоопарка?

– А новости такие... Договорились, что в час будет встреча на высшем уровне. Он приглашает Святцева, я приглашаю тебя.

Глеб как-то разом сник. Поскучнел.

– Может, ты сам с ними разделаешься... Один как-нибудь...

– Вот так задел!²¹⁷ Зачем же как-нибудь? Так дела не делаются. Я, собственно, не знаю дела. Всё шло-кувыркалось на твоих глазах. Стобит уж только затем пойти, чтоб посмотреть Святцеву прямо в глаза.

– Да что мне эти смотрины? Что мне его глаза? Масла с них не набьёшь... Конечно, я не отказываюсь с тобой пойти. Но мне нельзя отлучиться от мартена. Кинутся – меня нет. Какой звон пойдёт! Апостол месткома в рабочее время по-

²¹⁷ **Задел** – исполнение на бис.

кинул территорию завода!

– Не навек же. На десять минут. Без ущерба для производства. Компрессоры без тебя гоняют холод. Всё равно без дела спишь!

– О не скажи! – Глеб щитком выбросил руку. – Это за проходной, дома я без тугриков и без дела сплю. А здесь я сплю строго по графику. Мне за это мани-мани платят!

– Ну и задвигон! Тебя б к капиталисту. Он бы живо из тебя безработного сделал. Вон в Японии... Стоят девочки на конвейере, рвут с огня, умываются потом. Как какая не выдержала темпа, чуть замешкалась – над нею загорается красная лампочка! Трижды загорится на день – ты уволена!

– Кончай молоть горох! – озлился Глеб. – Будь спок, надо мной не загорится. И вообще отзынь... Срыгни в туман! С работы я никуда не пойду.

Он лёг на другой бок, повернулся ко мне спиной.

К моему удивлению, дверь в кабинет главврача была приоткрыта.

Заглянул – никого.

На вешалке пальто, шапка. Вязанный шерстяной шарф с алой весёлостью выбегал из тесного рукава и, круто переломившись, почти до пола стекал по глянцевито-чёрной атласной подкладке пальто.

«Наверное, на минуту куда выскочил?»

Я торчал в дверях и не знал, то ли пройти в кабинет, то ли вернуться.

Мои сомнения уняли зашипевшие со стены часы.

Часы готовились бить. На часах был час.

После единственного колокольного удара я вошёл-таки.

На столе лежала раскрытая мамина амбулаторная карта.

Ага. Значит, меня ждали. Готовились.

Любопытство усадило меня за стол.

Я прилип к карте.

И двух строк не пробежал – шаги.

Я отодвинул карту на край стола, зачем-то встал.

Порог переступил молодой сутулый очкарик.

Слегка сжатая с боков тирольская шляпа с заломленными на ковбойский манер полями напозвала на глаза, руки глубоко в карманах настезь расхристанного ядовито-зелёно-

го плаща. На вытянутом узком лице нервничало самолюбие, которое только что укололи и укололи чувствительно.

Не убирая с вошедшего взора, я твёрдо снова сел, будто припёкся к креслу главного.

Вошедший с подчеркнутым безразличием торопливо бросил:

– Так кому это я тут понадобился?

– Наверно, пока мне.

– И что вам нужно?

Такие наглецы мне не нравились с первых глаз.

Меня вывихнуло, вытолкнуло из колеи и понесло.

– Что нужно, что нужно!.. – закипая, повторял я его слова. – Для начала совсем немного. Когда человек входит, он может поздороваться. При этом ему никто не запретит снять шляпу.

– Пардон, издержки воспитания... – С неохотой он таки снял шляпу, поднёс к груди и, подойдя, в лёгком поклоне протянул мне через стол руку: – Святцев Александр Александрович.

– А я её сын... – с вызовом ткнул я пальцем в карту мамы и демонстративно заложил руки за спину, добавив с чёрным удовольствием: – Вам я руки не дам!

Я понимал, что делал и говорил что-то не то и не так, как требовали того правила приличия. Но я ничего не мог с собой поделать. Я не мог корчить шоколадную мину при грязной игре.

Синева­той, нахо­ло­да­лой по­ду­шеч­кой боль­шо­го паль­ца про­тя­ну­той ру­ки он мед­лен­но, сло­вно в за­бы­тье, про­вёл по по­ду­шеч­кам ос­та­ль­ных паль­цев, с мг­но­вение по­сто­ял ещё как бы раз­ду­мы­вая, что пред­при­нять, и, опу­стив ру­ку, бли­зо­ру­ко, смя­то ог­ля­де­лся, сел на стул сбо­ку сто­ла.

– Значит... Расплата?

– На­про­тив! Бро­сил сроч­ную ко­ман­ди­ров­ку, бро­сил всё на све­те, при­мчал­ся по­бла­го­да­рить вас за ва­шу чу­т­кую доб­ро­ту.

– Ка­кие у вас пре­тен­зии? – от­чуж­дён­но руб­нул он на­пря­мик.

– Мож­но по­ду­мать, что вы их не зна­ете. Нач­нём с рас­хо­же­го. Вас не ин­те­ре­су­ет, что про вас го­во­рят?

– Слу­ха­ми не поль­зу­юсь.

– А на­прас­но. Зою Фё­до­ро­в­ну, те­ра­пев­та из Оль­шан­ки, вы, слу­чай­но, не зна­ете?

– Учил­ся на од­ном кур­се.

– Да­же так? Я её ни ра­зу не ви­дел, не ви­дел и вас до этой ми­ну­ты. За­то сколь­ко слы­шал ле­генд про вас про обо­их. Си­дит она в за­бы­той Бо­гом Оль­шан­ке...

– Уж кем-кем, – с кол­ким хо­хо­т­ком пере­бил меня Свят­цев, – а Бо­гом Оль­шан­ка не за­бы­та. Там еди­н­ствен­ная в рай­оне дей­ст­вую­щая церк­вуш­ка...

– Си­дит в глу­хой Оль­шан­ке, а гром­кая сла­ва ис­це­ли­те­ля по все­му краю ка­ти­тся. Из даль­них де­ре­вён­ по не­про­лаз­ной гряз­и пол­зут к ней со сво­ими оха­ми да аха­ми. Вы ко­ро­лев-

ствуете в райцентре. Но к вам очень-то валят?

– Баба с возу, кобыле легче.

– Не обольщайтесь. Вашей кобыле только мерещится, что ей легче. Неужели вы уже успели позабыть хотя бы выбрык с Разлукиной?

Святцев мрачно насторожился.

Наверное, он уже прослышал, что её сын принимает райкомовские дела. Как-то оно всё повернётся?

Вошёл Веденеев. Громоздкий, рукастый, в белом халате, в такой же белой шапочке.

В комнате стало светлей.

– Прошу великодушно простить. Непредвиденная жуткая чепешка... Пришлось разбираться...

Я согласно кивнул, вставая и освобождая ему его кресло. Он жестом велел оставаться на месте и сел у стены за спиной Святцева, расслабленно откинулся на спинку стула, уронил, будто неживые, руки, едва не касаясь тяжело налитыми пальцами пола.

Похоже, дело было трудное, он предельно устал, ему хотелось в эту минуту совсем малого – передохнуть, отойти, и это возвращение в себя, эта не видная постороннему глазу работа в нём шла, шла сама собой и поторопить её никто не мог.

Как-то отсутствующе смотрел он прямо перед собой и, наверное, закрыл бы в отдыхе глаза, катнув голову по верху спинки стула, не будь в кабинете нас со Святцевым. Всем

своим видом он говорил: я обещал быть – я тут, однако меня покуда нет для вас, для вашего разговора, и вы уж, пожалуйста, не тяните меня силою в ваш спор, всё равно пока толку мало; я просто присутствую, разве этого с вас не хватит?

Мы со Святцевым заговорили тише.

Подавшись в его сторону, так что он только один мог слышать, я спросил, что и когда он кончал.

– Это допрос? – неожиданно взвился Святцев.

Веденеев выпрямился, слабо отлепившись от спинки. Устало, непонимающе посмотрел на Святцева.

– Это что, допрос? – повторил Святцев.

– Вопрос, – ответил я.

Святцев повернулся к Веденееву.

– Я должен отвечать? Должен? Это не трибунал!²¹⁸

– Сан Саныч, – Веденеев положил руку Святцеву на плечо, – Сан Саныч, люди отвечают за свои дела не только в милиции. Я, например, не вижу никакого криминала в вопросе товарища. У товарища вполне приличный вопрос. У вас есть вполне приличный ответ. Скажите в виде интервью, что в прошлом году с отличием окончили мединститут. Вас оставляли при аспирантуре... Скажите наконец, что проявили высокую гражданскую сознательность, не кинулись в абсиранты, не разбежались на ту аспирантуру, махнули вот в глушь – не в Саратов! – лечить славных тружеников села... – Веденеев взял со стола мамину карту. – Вам, голубчик, да

²¹⁸ **Трибунал** – отделение милиции.

нечего сказать? Сомневаться не приходится, знания свежа-чок. С пылу, с жару! Батенька! Да советская медицина – лучшая в мире!

– Наверно, поэтому, – кивнул я в сторону Святцева, – за двадцать дней так и не смог установить диагноз?

Святцев защитительно, ладонями вперёд, выставил руки:
– Да у старухи всё болит. Даже платок на голове! Установи!

– А чего стóбит безошибочно-универсальный диагноз: по старости? А молодым тогда какой ставите? По молодости?.. А отношение? Да выслушай человека, объясни по-божески – и мёртвый уйдёт полуживым.

– Да, в нашем деле отношение – особая статья, – задумчиво покивал Веденеев, не отрывая глаз от маминой карты. – А это, – обращаясь к Святцеву, ткнул пальцем в запись, – достаточно?

Румянец полился по лицу Святцева.

Он нерешительно повёл плечом.

Я привстал посмотреть, о какой именно записи шла речь. Веденеев на вздохе перевернул страницу, другую, третью, делая вид, что никакой оплошности-де не заметил он да и не мог заметить, а смотрит карту так просто, из скуки, в подтверждение чего даже, пожалуйста, зевнул в кулак. Однако зевнул внатяжку, деланно.

– Что показалось вам недостаточным? – в лоб спросил я Веденеева.

– Да так, мелочуга... Сло́ва, поверьте, не сто́ит, – уклончиво буркнул он и сунул карту к себе в накладной широкий карман халата.

Во мне что-то ёкнуло.

Интуитивно я почувствовал, что токи тайны побежали от Веденева к Святцеву, от Святцева к Веденеву. Но что они скрывали, я никогда не узнаю. Будь тут Глеб, очевидец, наверняка докопались бы мы с ним до какого-нибудь неопровержимого святцевского художества. А так усиди меж двух стульев... Сам ничего толком не знаешь о деле, повоюй с этими ма́терыми таблетологами!

Будто шилом поддел меня их заговор.

– Конечно! – встал я мятежом. – Чужая болячка душу не рвёт. Оттого она и слова не стоит! Четвёртого брат приводил мать на приём, домой нёс на руках, сама не могла идти. Шестого...

– Шестого она у меня не была! – торопливо обогнал меня словами Святцев. – У меня не записано. Значит, не была!

– Зато приходил брат. Сказал, что в боку у неё меньше колет, так встать не может. Что вы на это сказали? «Будет хуже, положим». Куда ж ещё хуже? Больная *у ж е* не встаёт.

– Не мог я так сказать. Да я и не помню, был ли брат у меня шестого. У меня в день до полусотни народу пробегает!

– Не слишком ли многое он не помнит? – уставился я на Веденева. – Прямо какой-то юный склеротик. Просто такому в жизни. Оскорбил человека, тут же забыл. Душа молчит,

не болит. Другого равнодушием дожал до крайности, спихнул в Ольшанку и спокойненько вытер белы рученьки. Слава Богу, к надёжным людям попали и Борисовна, и мама. Их вылечат, подымут. Но где гарантия, что другие старухи не окажутся на их полозу? И потом. Почему в Ольшанке полбольницы старики и старухи из Гнилуши и её округи? Почему их не лечат на месте? В райцентре?

– Мой ласковый! – Веденеев тихонько взял меня под руку, подвёл к окну. – Видите во-он то нарядное зданьице? Там райком. Его все чаще рейхстагом навеличивают. Если вы такой любопытный, пойдите и задайте свой сакраментальный вопрос там. А мы уже задавали. Нам ясно ответили: райбольницу, где и оборудование, естественно, получше и с медикаментами побогаче, чем в любой сельской больничке, не превращать в *райбогадельню*, в пресловутый дом престарелых. Нам предписано в темпе лечить потенциальных тружеников, кто даёт хлеб, мясо, молоко ну и так далее. А пенсов, пенсионерскую рать – мест у нас нехватка – правим в ту же Ольшанку. Понятно, это не выход. Но раз велено... Мы и берём под козырек. Слушаюсь! Нам тоже хочется спокойно кушать свой хлеб с маслом.

– За счёт стариков и старух, которыми, как бочка обручами, держался район не одно десятилетие? И ничто в вас ни разу не запротестовало? Не заругалось?

– Не-е... Люди мы воспитанные... – Святцев взял с колен шляпу за куполок, мягко поднёс к груди.

Однако в его голосе была какая-то закаменелая вежливость.

– Да заартачься, допустим, я, – Веденеев сплёл большие руки на груди, – сядет на моё место другой. Без прений будет делать, что скажут. Нерентабельно вздорить с начальством.

– А вы пробовали?

Мой вопрос потонул в тревоге телефонной трели.

Трубку снял Веденеев.

Говорившего он узнал сразу. Кровь отхлынула от веденеевского лица.

– Да!.. Да!.. Да!!!.. Да-а!..

Некоролевский у главного репертуарчик... Хватает одного короткого, как выстрел, слова.

– Да!.. Да!.. Да!.. – продолжал принципиально вести разговор Веденеев, побелев как лист. – Да!.. Слушаюсь!.. Бегу на всех рысях!

Веденеев бросил трубку и, быстро одеваясь, вспылил:

– Это не *райком*! А сущий *адком*! Или *дергком*... Без конца дёргают! Не дают работать. Ну вчера же вызывали! Воспитывали с многопартийным матюжком до посинения. Воспитывали и учили успешно лечить. Недоучили... Недовоспитали... Лети в этот рейхстаг снова на ковёр!

В прощанье он помотал нам со Святцевым шапкой:

– Ну, миряне! Я побежал на партэшафон! Вторая серия... Пожелайте мне верёвки потолще! И – гнилой...

В кабинете выстоялась густая, вязкая духота, что, поди, и архимощным вентилятором не разбить.

Я расстегнул ворот. Прохлада не брала меня.

Медленно, обмякло поднял я взор на Святцева.

Злобой налитые глаза смотрели в упор.

– Неужели, – лихорадочно комкая шляпу, сквозь зубы вы-
давливал он из себя хриплые слова, – неужели не существу-
ет в природе предела человеческой жестокости? Вы – маши-
на-ад! Забрали мать!.. Забрали отца!.. Мало! Подавай и ме-
ня! Под-давитесь!

Я обомлел.

– Да вы что? Какая мать? Какой ещё отец? Я вас впер-
вые-то вижу!

– Как же! Очень даже впервые! И какой же я болван – за-
орал **тогда**! Теперь бы вы не сидели тут! – долбнул кулаком
в стол. – Не сидели!!!

Я начинал о чём-то притушенно догадываться:

– Где было это **тогда**?

– В Нижней Ищереди. Нужны доказательства? Будут!

Потрясая зажатой в кулаке скомканной шляпой, Святцев
выскочил из кабинета и с такой свирепостью саданул дверью,
что с потолка сломилась пластинка побелки и прахом брыз-
нула по полу.

Как же всё это было **тогда**?

Как?

Глава девятая

*Дай сердцу волю, заведёт в неволю.
Предательством счастья не добудешь.*

1

А свертелось это в командировке.

Давали мне на командировку три дня, я ужася в один. Помню, я безбожно спешил.

Не сегодня-завтра распустит март взломную полуую воду.

Кукуй тогда до второго пришествия!

К последнему перед распутицей самолёту я успел.

Я располагал ещё десятью минутами, но не располагал билетом до областного города. Билетов в кассе не было. Придёт самолёт, потолкую с пилотом. Может, и возьмёт.

Благополучно «Аннушка» села на площадку, где вода до-едала снег и местами сыто раскатилась уже поверх снега.

Вышел, расправляя тугие плечи, пилот и заспешил к хатке аэровокзальчика.

– Ну чего же ты? – кольнул в меня нетерпячим взглядом дедок с живыми петухами в плетёнке, невесть как почуявший моё безбилетье. – Не лови снегирей. Налетай с молитвой на пилотчика.

С пилотом я удивительно скоро нашёл общий язык.

– Ладушки, беру. Там-то, – потыкал он указательным пальцем в небо, – на контролёриков не напоремся.

В самолёте я сел рядом со стариком.

Он разошёлся в блаженной улыбке:

– Добруха наша «Анютка». В горе никого не спокинет...

А я про тебя спервача худость подумал. Думаю, а чего это он обробелый, опасливый такой... Навроде, извиняй, Святцева...

Старика, вижу, тянуло в охотку поговорить с незнакомым попутчиком, я и спроси:

– Кто этот Святцев?

– А! Долго ежель всё распевать... Драпанул шкурёнок с фронта! Мало такому хрюкальник начистить. Двадцать одно ж лето как есть укрывался у себя на чердаке да в подполе.

– И – живой?!

– А что с ним подеется? Таких земля не примаёт.

– Живёт где?

– На-аш паразит... В Нижней Ищереди. Двадцать вёрст отседушки.

Пилот втянул сходцы, отшагнул с ними к хвосту.

Не мешкая, толкнулся я ещё в открытую дверь.

Неужели я увижу некиношного, живого дезертира? Живо-го!?

Эта гнида заслонила от беды чужими жизнями, заслонила и жизнью моего отца.

Нет двадцати восьми миллионов, нет отца.

Зато есть Россия, широкая, непокорённая, свободная. Положила Россия за свою волю цену страшную, на рубли не идущую...

Зато есть мы в России. Но – есть и он!

Это справедливо, что есть и он?

Пускай его простил закон. А память погибших?

Я слуга этой памяти. Я сделаю то малое, что могу. Напишу о трусе, и это будет возмездие, и возмездие грянет во сто крат сильней, поставь я рядом на одной полосе в газете два очерка. Один про Героя, кто прошёл Бухенвальд (я приезжал к Герою недели две назад, очерк о нём был уже написан, ждал публикации), другой про Святцева.

И пускай потом читают, и пускай сравнивают, и пускай дивятся, что же это за дичинка человек.

Санная дорога змеилась, виляла, неправдоподобно вязала узоры с причудой, будто хотела, чтоб я потерялся в этом безмолвном белом кружеве и никогда не добежал до Нижней Ищереди. Я и впрямь то и дело терял под ногами твердь сбитого лошадыми пути, без конца плутал по целику поля, чистого, как листок, покуда снова не попадал на дорогу.

На мои расспросы, как быстрее добраться до Нижней Ищереди, почтарь со встречных розвальчатых саней – из-под полсти глядел хохолок с сургучной печаткой – остановился. Зачем-то степенно снял малахай, потом старые очки на ре-

зинке. Одно коричневое, в трещинках, колесико, я заметил, было пустое, без стекла.

Он потёр переносицу и заговорил:

– Нет пути способней прямого, птичьего. Будешь, размахайлова десятка, – при ходьбе я размахивал руками, почтарь углядел это, – будешь считать петляки, – клюнул кнутовищем в санную колею, – до утра не поспеешь. Ломи, молодик, по прямушке. Спервоха вот так, полем, там через кустарничек... Уже у самой у деревухи малость леском... Струни шаг так, чтоб с полудня солнце в лицо било.

Этот почтовик был единственный, кого я встретил за всю дорогу.

На возвышенках наст лежал уже без силы, совсем не держал. На таких местах я раз по разу не до колен ли ухал в налитый водой снег, отчего, пробежав немного, валился на спину и, не разуваясь, хлопал ботинком о ботинок, выколачивал снег.

Делал я это лишь поначалу.

Вскоре ноги намокли, я перестал выбивать, выгадывая время на саму дорогу.

Вечер снимал с зари последние блёклые румяна, когда я добежал до похожей на кляксу косо стоявшей хаты с прохудалой крышей, что уже кой-где взялась мхом, – вот где обитал этот птах! – поскрёб негнущейся с мороза пятернёй в низ шибки.

Минуты через три осторожно приотворилась дверь, по

грудь вывалилась дебелия тетёха в чёрном.

– Александр Акимович Святцев здесь живёт?

– Не знаю такого! Не знаю!..

Женщина отшатнулась, быстро захлопнула дверь.

Но отойти не отошла.

Слышу, стоит по ту сторону, выжидает.

Прерывистый тихий сап выдавал её.

– Ну что? Так и будете сопеть?

– А ты чей? – опасливо отозвалась она, помедлив.

– Может, вам через дверь биографию рассказать?

– Ладнотько, входи...

Клацнул выключатель.

С яркого света – лампочка была разогромная, не с чугунок ли перевернутый – заломило глаза.

Отступив в сторону, женщина в чёрном со злобным замешательством уставилась на меня.

– Воробейка мне в окно всё тукал... Вот и натукамши... На кой те Акимыч? И кто ты таков, сумеречный гость? Что вашему пригожеству до нашего убожества?

Я подал редакционное удостоверение, потянул руки к теплу печки.

– Не-е! – загремела бабка, пряча мое удостоверение где-то у себя под фуфайкой на груди. – Ты, орёлец, к печке не прилабунивайся. Свожу-ка я тебя к сельскому. Пускай твои бумажки на свет взглядит!

Смотрины у сельского головы прошли безынцидентно.

– Только ночевать – ко мне! – полуприказал он с какой-то неясной настойчивостью, возвращая мне удостоверение. – Слышите? Ко мне!.. Авдотья, под твою личную ответственность. Сама приведёшь товарища.

– А то что ж... Не врагиня себе... Нешь положу с собой, – сердито буркнула Авдотья, поталкивая тёмный платок на самые глаза и забирая к выходу. – Разносила тут нелёгкая...

Во всю обратную дорогу Авдотья не сронила ни слова. Не заговаривала и в избе у себя, возясь у огня, домашничая.

Меня она не видела.

Я не существовал для неё.

2

Святцевское жильё занимало половину избы.

В другой половине, за сквозным проходом на улицу и в глухой двор, жила живность.

Оттуда доносилось беспокойное мычанье коровы.

На время она затихала, услышав ответ недельной телочки, что свернулась у моих ног на щелястом полу возле печки.

Жилая комната была просторная, хоть зайцев гоняй и небывало бедная. Почернелые, потрескавшиеся рёбра брёвен в стенах пусты, во множестве мест их побил жук, пересыпал своей мукой.

Самодельный стол обступили сиротами такие же самодельные табуреты и лавка. Единственную кровать с тусклыми шариками прикрывало старое одеяло из цветных лоскутов.

Сверху, с печи, из-за серой вовнутрь чуть заломленной с угла шторы за мной поражённо следила пара детских цепких глаз.

Я делал вид, что никакого наблюдения за собой и не подозреваю.

Авдотья вышла к корове с ведром намешанного тёплого пойла, и я громким шёпотом ухнул:

– Эй! На лежанке! Ты кто? Мальчик или девочка?

Угол шторы упал.

– Санёка я. Мальчик, должно...

– Откуда ты знаешь?

– Мамка говорела.

– А ты без мамки знаешь, в какую пору у вас ужинают?

– А как чужие уберутся, так и садовятся.

Без дальних подходов-переходов я сознался вернувшейся

Авдотье, что со вчера не ел.

– А чего вы мне докладаете? Разь у меня сельповский трактир? Иль вы мне родствие какое?

– Да вы не думайте. Я не за спасибо...

Я дал ей две монетки по двадцать копеек.

– Ой, толенько? Всего-то две белые копеюшки? Дешёво ставите мой стол.

Я подал рубль.

Уголки полных губ тронула уступчивая усмешка.

– Эт-та бумажка нас смирит...

Вскоре Авдотья вынесла из-за печки стакан молока, прикрытый ломтем хлеба.

– Я лишнего не возьму. Это вотушки вам, – разжала дружую руку, – в сдачу полжмени жёлтых копеюх.

Но сдачу она сразу не отдала.

Наладилась пересчитывать.

Пересчитывая, жалобно причитала, звякая однушками:

– У нас, в деревне, копейка рублём ходит. Не то что у вас... По городам бабашки²¹⁹ дурные бегают. Думаешь, и к

²¹⁹ Бабашки – деньги.

нам оне дуриком добегают? На той вон неделе иездила у город. То-ольк от автобуса через улиньку переползла – сюрчит мильцанер. Не тамочки перейшла! Я труды клала, переходила, меня ещё и штрахонул! Я говорю: «Я могу перейти, где ты возжалаешь. Тогда ты мне штраф отдашь?» Усмехается, изливает бодрость. Что-то чирк-чирк в книжечке, отодрал один листок, мне сует: «Давай, бабка, меняться. Ты мне рубль, я тебе квитанцию». Убоялась я с милицией тягаться. Выменял за квиточек, – там не на что глянуть! – рублевича! Содрал полную рублину. Как с городской! Это надо такое безобразие уквасить? Один разор...

Я уже отужинал.

А она всё пересчитывала не в третий ли раз.

Руки у неё вспотели.

Мокрые от пота однушки липли к пальцам, к ладони, и когда Авдотья, вздохнув глубоко, во все, наверное, большие, точно у коровы, лёгкие, – как ни жалко, а отдай объявленную сдачу! – разжала над моей рукой кулак, ни одна прилипшая к ладони копейка не упала.

Авдотья коротко, боязно потряхнула – копейки не падали, будто сидели на хорошем клею.

Она повернула кверху раскрытую ладонь.

Ладонь светилась золотыми блёстками монеток, словно кусочек неба в звёздах.

– Копейка служит рублю... Без копейки нету рубчика...

Наша копейка знает хозяйку, – Авдотья, не убирала зачаро-

ванных, горьких глаз с налипших монеток. – Уходит тяжко, навовсе нейдёт...

– Не идёт, ну и не гоните силком, – взял я сторону её прозрачного намёка. – Оставьте при себе. В хозяйстве сгодится.

Добрая сила пустячной уступки сломала в Авдотьё что-то такое, отчего в её злобе уже не было первоначальной полноты.

Помалу мягчел суровый, отчуждённый взгляд.

Наконец нечаянная глубинная улыбка не улыбка, а так, отсвет улыбки накатился на лицо и тут же, однако, пропал. Выстрожилась она лицом, но не на веки вечные, на минуту какую, и снова – я молча наблюдал за нею, – тайная, далёкая усмешка скользнула по устам при встрече глаз.

Я осмелел. Снял ботинки. Сел на табуретку и прижался пятками в мокрых носках к тёплому низу печки.

– Ну что? Сухо по самое ухо? – покладистым, покорным голосом спросила Авдотьё, чёрной горушкой прилепливаясь на кровати, ближе к спинке, со спицами в руках. – И-и, велика ль нуждица гнала к нам?.. Неужле из-за одного Акимыча моего?

Я кивнул.

– Чести, чести-то что! Ну, упекёшь. Велик с того тебе наварко? – и, косясь на дверь, будто кто оттуда мог подслушать, сбавила голос, просительно зашептала: – Вдарь всё это побоку... Чего, добруша, привязываться?.. Чего пиявиться к человеку? У нас то и богатствия, – кивнула на стену, – что суч-

ки в брёвнах да дожди без конца... Ну, вышло ему какое-то затемнение, безо время с фронта притилипал... Что тепере?

Сухо лязгнула щеколда.

И – немо. Ни шагов, ни голоса.

Я вслушался в тишину.

В проходе, что делил дом на две части, кто-то, кажется, был.

Я сказал об этом Авдотьё.

Авдотьё устало, с донной грустью пояснила:

– *Са-ам* крадется к себе у хату... Это Санькя, – подняла глаза на верх печки, откуда, высмелев, ликующе тарацился мальчишка; похоже, чужой человек в его доме был ему в большую диковину, – это Санькя, когда летит у хату, в преисподней слышать. Со страху от такого грома хоть крестись. А отца жизнюка вышколила ходить по землюшке уважительно, на одних коготочках. Всяк ходит, как может...

За её словами я и не заметил, откуда взялся на пороге человек. Я не слышал, как он открывал дверь, как входил, как закрывал дверь. Чудилось, ничего этого он не делал, а прошёл невидимкой сквозь дверь и, попав с ночи, с темна под яркий свет, козырьком вскинул над собой короткую, полную, вроде клешни, руку в загвазданном фуфаечном рукаве, давая глазам свыкнуться со светом.

После нескольких мгновений он опустил руку, послал было вперёд и шаг, и два, но, завидев незнакомца, остановился в нерешительности, спрашивая всполошившимися глазами

Авдотью: кто это?

– По твою, отец, душу... Какой-то писарь-мисарь...

Он затравленно покосился на дверь и, сглотнув слюну, обречённо двинулся к середине комнаты, не с порога ли выставив руку поздороваться.

Мелкорослый, обрюзгший, как гриб, круглый от нездоровой полноты, он шёл как-то боком, будто разведывая, ступал не на всю ступню, а только на начало её, на пальцы, – крадучись. В маленьком, с кулак, землистом лице с неправдоподобно крупным мясистым носом, в красных, как у крота, глазах-слепышах бился, мерцал страх, вскормленный долгими годами укрывательства.

Жалость кольнула меня.

Безотчётно-торопливо я подхватил его опускавшуюся протянутую руку, не уверенную, ударят по ней или пожмут её, давнул её и почему-то не выпустил сразу, а подержал, точно давая время перелиться моему теплу в его зяблую с холода руку, рыхлую и осклизлую от пота. Мне хотелось сблизка рассмотреть этого человека, который, казалось мне, не потому ли только и жив, что мёртв мой отец, остановивший в себе пулю, предназначавшуюся, может быть, этому человеку со студливыми руками?

3

– Надо бы к столу перейти. Записать...

– Ничего. Сядите у огня. Либо-что... Стол у нас не гордый. Сам к вам перейдёт. С-сам... – С неприятным детски откровенным услужением Святцев притаранил к печке стол, локтем махнул по столу: – Записуйте за этим царём!

– Стол – царь?

– А кто ж? Стол кормит, стол силу даёт...

Я не слишком доверяю своей памяти, я верю только бумаге, оттого всё несу в блокнот. Пока сядешь отписываться, сольётся какой-то срок. Что-то забудется, выпадет, выронится из ума, что-то не бывшее примерещится от времени, от дальности, а ты и подай всё то за чистую монету?

Как-никак, на монете на той сутолока послекомандировочных дней наверняка уже поднасорила, мимо воли подмешала своего домысла, пускай сыпнула какие там жалкие крохи, а всё одно сдуй те крохи с газетного листа на человека – обида невозможная, обида крайняя. Пускай, записывая, я терял на искренности рассказчика, зато не терял и малого в достоверности.

Из потайного кармана полупальто я достал блокнот.

Святцев, примостившийся было напротив, потихоньку поднялся и, не снимая сторожких глаз с толстого, в палец, блокнота, опало, потерянно-вкрадчиво скривил рот в муче-

нической улыбке.

– Мы люди не с норкой. Либо-что... Побудем и стоявши...

В голосе у него не было ни силы, ни ясности.

Говорил он глухо, с надломом.

– Да вы что, на допросе – стоять?

– А нешто нет?.. Рубните напрямки – заберёте, начальник?

– Куда? Какой я начальник? Я всего-навсего из газеты.

В недоверчивости хмыкнул он:

– Раз пишете – нача-а-альник...

Вот ещё новости на палочке!

Даже Авдотью подожгла эта начальственная карусель.

– Ей-бо, – шумнула с укоризной, – иль тебя, отец, заело в начальниковой колее? Никак не выедешь, рохлец? Раз пишет, видали, – начальник... Какой же ты пустоколый! Ну прям, извиняй, глупый всем ростом! Да по нашей по грамотной поре одна кошка и не пишет! Хватни сам карандаш, черкни чо-нить в тетрадину... Что ж ты, стал быть, начальник уже? Не видал ты настоящего начальства! Даве приезжал вон потребитель... Из райсоюза... Во-о начальник так начальник. Пузень – на отдельной повозке надо попереди везть! А где ты видал заморённое начальство? – качнулась в мою сторону. – Где? Где ты видал, чтоб начальство из района к нам пёшки по беспутью скакало? Где?

И чем настырней, торжествуя, допытывалась Авдотья, тем заметней прояснилось на его лице. Наверняка её доводы

казались ему верхом убедительности.

– А что пишет, так это он так, абы пальцам согреть дать. И взаправдоч... Куцый капитан общипанной команды...

Я почувствовал, что мне ни слова не удастся записать, и, сказав, что я уже согрелся, вернул блокнот в карман.

Пропавший с виду блокнот явился тем лишним перышком, от которого и судно тонет. То, что я не буду записывать, на воробьиный скак набавило Святцеву смелости. С опаской, с какой-то неживой, приклеенной улыбочкой он опустился-таки на угол табурета.

– Так-то оно, – сронил, – без писанья, гляди, либо-что и способней, раздуй ты горой... Без писаньев почему не потолковать? Очень даже возможно.

Но разговор не вязался.

Широко замахнувшись, оглядчивый Святцев всё отмалчивался, смятенно пялясь на валявшийся на столе приспешный ножик, совсем уже старый, «стёртый весь бруском и хлебом», одна только спинка и осталась.

Проворчав пустую прибайку про то, что не покидай ножа на ночь на столе – лукавый зарежет, Авдотья сгребла со стола нож, отчего Святцев, дрогнув, побелел, как-то разом опал, будто мешок, откуда выпустили зерно.

Минутой потом мне показалось, что Святцев обрадовался тому, что ножа больше не было на столе.

Он стал собранней, спокойней и заговорил раздумчиво, всклад:

– А хороший был нынче денёка, ладный. Ваньке-Вояке, – кивком головы показал на окно, – во-он по той бок улыцы, навпроть живёт, щепу подсоблял щепать. Мы с ним вроде на паях. Ему надо крышу крыть, мне весь верх менять. Там ещё двор подпрел... Валится... Делов набежало полный мешок, чёрт на печку не взопрёт. Сперва Ваньке крышу скулемаем. Посля навалимся мой скворешник латать. В одно плечо работа тяжела, оба подставишь – лекша...

Он медленно обошёл комнату глазами, привскинул руку:
– Вишь, матица припрела. Пол гнилинкой исходит... Эхма, была крыша новенькая, стала голенькая. Укрывище... – он ватно шатнул рукой. – Как дождь, вся небесная вода наша. Спасибушки, дали лесу, дали лошадку. При спешном деле служила, из спешного дела выдернули! Святцеву, мол, срочней. До половодки увернулись с Ванькой привезть. Надо подновить да заживать по-людски...

Мало-помалу разохотился, разогнался он в рассказе.

Мне нравились его искренность в словах, его прямой, открытый взгляд.

Похоже, это приятие читалось у меня на лице, отчего Святцев, высмелев окончательно, так повёл дальше:

– Вот ты топтун молодой, ум свежак. Рассуди... Как, потвойски, можно умирать по работе? День-денёчный ломай спину в кузне – кузнец я, – не устаю. Вдобавки по утрам-вечерам щепу рву, не устаю. Тащит тебя ещё в правлению, на люди. На кой?.. Человеку без человек бед... По себе

строгаю мерку. Верись, как-то боязко уходить в сумерки от людей... Вроде сызнава спускаешься в погреб...

4

– Человек я ма-аленький, – жаловался, комкая ушанку, Святцев. – Грамотёшки... Всё про всё полторы зимы ума копил. Вот как ты было пошёл писать я б не смог. Нацарапаю... Одним мышам в норе читать. Обхохочутся! Ошибок же лопатой не прогрести!

Подпихнули меня под красну звезду в сорок первом, уже под сам последок. Молоденькой что, не старше твоего сейчас. Толик-только двадцать годков насобирали себе, только в ус входил. Ещё и разу, почитай, путём не брился. Аха-а...

И как судьба карты киданула... Обребятились мы с Авдотьей, явилась у нас Олюшка, первенькая. Нынь привёз из больницы, а назавтра под ружьё...

...Наша рота копала рвы против танков. Работа аж гудела. Так впряглись – раз дыхнуть некогда.

И вдруг на тебе! Накатился ненавистной немчура бомбить. Всё сделалось пламя и дым, вокруг и на локоть не видать.

Ото всей роты уцелели лишь двоя. Я да Иван Севастьяныч. Мы с ним и однодеревенцы, и одной фамильности. Но не родичи.

Завспоминали Нижнюю Ищередь. Всяк вспомнил своих. И такая тяжесть навалилась...

По слухам мы знали, что деревенька наша охала под нем-

цем. Что постоем стоят человек с десять у меня в хате. Живность всю нашу прирезали. Авдотью с Олюшкой выпихнули в сарай. Чем мои живы и в толк не возьму.

Стал я потиху экономить на желудке, стал откладывать сухие пайки. Надумал собрать посылочку – не век же немчурёнку власть держать. А тут и ударь меня: *сам* снеси своим гостинцы да постояльцев не обойди!

И так нам загорелось, и так нам восхотелось к своим.

На одну ночушку!

Абы повидаться! По такой близи к утру обернёмся! На домок, на своих взгляну и в часть!

Поверх пайков накидали в мешки гранат, патронов, в руки по автомату – постояльцам моим гостинчик будет горячий!

Обозначились мы в Нижней Ищереди уже под вечер, разведали: немчика нету, во вчерашний день наши вытолкли.

Авдотья моя не насчастливится. И радостной слезой слезу погоняет, и корит себя: «А я, мокрохвостка, когда провожала, воюшкой выла: что военная буря подхватила, пиши пропало! Не-е, не пропало. Хоть ранетый, да мой!»

Про раненого она взяла с того, что правая рука была у меня в бинтах. Шалавая пуля летуче карябнула поверху.

Ну, час у нас радость, два, три...

На первом свету проявляется Иван Севастьяныч.

– Не время, товарищ Мозоль,²²⁰ наведываться в потайной

²²⁰ **Мозоль** (пренебрежительное.) – крестьянин.

час к бабе за сладким пайком. Хватит жопой жар раздувать!

Я засобирился.

Авдотья с Олюшкой на руке повисла на мне, благим криком кричит:

– Ты, Ванюшок, как знай! Тебе что? Ты в жизни без семейственности прохлаждаешься. Встал – один, пошёл – один. А у нас рождёное дитё. Дитю надобен батька не на карточке. Живой надобен. Никуда не пущу!

Этой вяжихвостке что...

Чуток уступку дал, всего на ноготь – либо-что захочет боле. Будешь отдавать, пока всю руку не отдашь. Верно, пусти бабу в рай, она и корову за собой приведёт. Это уже так...

Бабье дело реви да не пущай, жаль свою кажи. Да ты-то, мужичина, не будь тряпицей. Побыл, сповидался – в сторону свою уютнозадую и ступай!

Набрался я смельства, шагнул было к Иван Севастьянычу. Был он за порошком, так при открытой двери и вели перетолки. Он – там, мы – тут. Шагнул я, значит, – Авдотья с больной дочкой у груди бух на пол поперёк в дверях:

– Иди, герой! Иди!! Через!!!

Разбилась моя Россия на две.

Жена, дочка, дом – одна; в фашистском горела огне другая.

И обе звали.

Не хватило меня переступить через жену, переступить через больную дочку. А не сделавши первый шаг, разве сдела-

ешь второй?

Той, другой, я был нужней тогда.

В лихочасье она выстояла и без меня. Не согнулась. Русская кость не даёт себя гнуть! А будь я с ней, и первая приняла б меня потом всякого, приняла по богатой цене...

Это после мы так с Авдотьей рядили.

А в то утро, как ушёл Иван Севастьяныч, думали инаково. Одну надумали удобную оправдательность: ну чего ловить пули, когда можно и переждать?

Сразу видать, у-у-умные головы дуракам достались...

Ну, неделю я дома, либо-что две. Поправилась наша Олюшка. Зажила моя рука. Хватит, поди, курортничать. К чему приступаться?

На народ не покажешься. Что делать? Заворачивай оглобли в часть? Да где ж её, часть-то, искать?

Авдотья моя – кара те в руку! – подкатывает коляски с мягким советом: ступай в военкомат, там пояснят, где часть.

Мозгови-итая! Да я до её указа был уже у военкомата. Ночью бегал. Так и думал, дождусь утра, скажу всё как есть. Решайте! Навесил медальку свою боевую. Жду. Жду и раскидываю умишком. Хорошо, что я пришёл. Да медальку мне вторую за это не нацепят. Весь же я в грязи. Невозможный принял грех. Присягу съел. Лупанут же по всей вышней строгости. Вожмут под трибуналку!

Страх душу в пятки вбил.

Покрался я назадки. Домой.

А над землёй подымался рассвет...

Никак не думал я, что родной дом, пустивший в жизнь, станет лютей каторги. Сожмёшься, бывало, в комок ночью на чердаке, вот в этой, что на мне, фуфайке... Либо-что... Бедная, вся изнасилась, меня не спросилась... Чёрные думы мутят голову. До того от тоски, от страха тошно – впору... Дело в прошлом... Вверху, возле трубы, приладил я петлю. На крайнюю крайность. И ходили эти крайности ко мне не по всяку ли ночь...

Лежишь, обминаешь бока. А тебя вроде кто приподымает, руки твои к белому провислому кольцу тянет.

Зыркнешь навкруг – никого. Сам себя к петле подсаживал...

Впереглядки с белой петлей и тащишь с тайным дыханием рассвет из ночи.

А то прилипнешь к раздёрганной соломенной щёлке...

Луна. Парубки женихаются. Девчачий пересмех.

Там «жизнь жительствоует». А ты смотри, как она льётся мимо.

Смотришь, смотришь... До слезы насмотришься.

Да ещё ревмя ударишь.

Авдотья вскрехтит по лесенке – из хаты на чердак люк у печки был, – с иконой утешает, понуждает креститься. Икону подставляет: цалуй!

Да толку...

Мочей моих полный нехват...

Болит душа... Душка не сучка, не вышлешь вон, коли Бог не берёт...

Спустишься, добромученик, во двор. Двор у нас глухой. Чужому глазу нет ходу.

На воле покойнее.

Покружишь-покружишь по-над плетнём. Откатит вроде на волос. А сон нейдёт. То в сарае посидишь, то в подвал наведаешься, то на чердак снова... И весь уши, весь глаза. Как бы не прикрыли!

Мельком меня видели либо-что раза три. С обысками на-скакивали.

Лежу как-то – рожа из люка сунется. Она – за трубу, я под стреху и на огород. Поднырну под горку картофельной ботвы – ищи Ваню Ветрова в поле.

Из будылья вижу, угорело скачут мужики вокруг избы. Побегают-побегают, на полях и отъезжают.

Не было ночи, чтоб спал я сполна. Я знал, когда кричать первым петухам, когда вторым, третьим. Ждёшь-пождёшь... Молчок. Наладишься считать... Над ухом, оглашенный, как заорёт петушина. Душа с телом расставайся!

И с простомом, донно дохнёшь в судороге.

Ещё одна ночь изжита. Ещё одна ночка прощай.

А сколь таких было ночей? Семь тыщ шестьсот...

Авдотья тягуче загремела подойником. Олюшка понеслась за водой.

Расчехлился новый день...

Да какой он новый? Вчера белый червяк сыпал на голову березовый порошок, выдавливал паук из себя свою хатку. И нынче пред глазами та же публика. Что ж тут нового?

Бабы выпроваживают стадо.

Чинно здоровкаются мужики. Я слышу, как они ручкаются. Вроде пустяк, вроде ничего такого. Но ежели тебе не подали руки год, не подали два, не подали двадцать, тут, братка, другая ручканью цена.

...Сготовит Авдотья, подаст в ведёрке на чердак. Иной раз и спустишься поглотать. Убираешь, а глаза с двери и на раз не отдерёшь, хоть вся изба на запорах, хоть ставни всегда назаперте...

5

– Чтоб днём спать – этого не бывало. Ещё сонного угребут. Тачал сапоги, тапки, вязал на всю семеюшку носки, варежки там, душегрелки – это вроде свитеров без рукавов. Да-а... А что тут диковинного? Нуждинка научит сопатого любить.

До войны, как и таперика, был я в кузнецах. С утра до ночи начальник над молотом. Намахивал крепко. Откуль что и бралось, виду-то я был жиденького.

А тут трянуло... Прилепился клопиком к жизни, наловчился вязать.

Наловчишься...

Какая жива душа корочки не просит? Да трижды на день? Дитю сама природа положила есть родителево.

Ну а я-то, кормилец, чьи хлеба лопал? Бабы. Совестно дурноедом сидеть. Уцелился ей подсоблять.

Поскоку толкёшься всё в тёмном да в тёмном, наострился я видеть в ночи проворней лошади, проворней крота или той же совы.

Подавила деревуха огни, послула – у меня самая работоспособность.

Двор наш на отшибе. В глушинке. Вскопать огород... Либо-что там посадить, протяпать какую огородину, выкопать ту же картоху, перетаскать – всё сам.

Леснины – яблук, груш, грибов, ягод – в дому вдохват.

Места вокруг лесные. Подле лесу голодну не быть, потому как в лесу и обжорный ряд, в лесу и пушнина, в лесу и курятная лавочка.

Вытаиваешься, бывало, где-нибудь в мёртвой чащаре.

Мимо пробрызнул заяц, так я и без ружья – автомат с гранатами спокинул у военкоматовских дверей, – корягой настигну беляка. В ночи лиса мышкует и вовсе не догадывается, что промышляют и её.

И у высоких гор есть проходы, и у земли – дороги, и у синих вод – броды, и у тёмного леса – тропинки. И ежеля на этой на чёрной тропинке вяпается мне в капкан лиса ли, заблудный ли телок, я не погребу от себя. Чать, не кура.

А скоко дивных трав живёт в лесу!

Ну, репей ото всех скорбей. Плакун – всем травам трава... Вот ещё святая рябина, адамова свеча, царский скипетр, русалейка... Оё! До бесконечности пальцы на руках пригибай!

Как из счёта выкинешь тайнишную траву? Сердечну траву? Царский посох? Расперстницу? Кукушкины сапожки? А самсончик? А собачий хмель?..

Светова трава вытягивает дурь из порезов. Ромашку хорошо от живота. Чихотная трава вытаскивает зубную боль...

На всяку болячку выросло по травке!

Я знал, на какую боль какую напустить травку. Одни травки и бегали у меня в надёжных докторях!

Ну... Отдымилась войница...

Вернулись наши не все мужики.

Да и то у кого рукав заткнут порожний за пояс, у кого холостая штанина на булавке сбоку.

Можь, под таку горячу моментуху и мне вывернуть на люди? Ну ведь жа и птицу стрела настигнет, засидись она на однем месте!

Не решился я выявиться своей волькой.

Страх не пустил... Такая в башке растрáva... Либо-что... Этого дела вкруг пальца не обмотаешь...

Вскорости завернула к нам почтарка. Пихнула Авдотьё какую-то бумагу. Причитался я – извещенья. Александр Акимович Святцев пропал без вести!

Вот те и раз!

Писали писаки, читали собаки!

Пропал я для державы без известий. Потерян. Отчислен, откинут от живых...

Быстро сработала сарафанная почта. В минуты натекло в избу полнёхонько баб.

– Что слыхать про твоего? – для зачинки справляются у Авдотьи.

– Что... Вот он весь, – суёт Авдотья извещенью.

Заохали бабы, заохали да в голос. Моя тоже не скупилась на слезу, держала с бабами компанию...

Видишь в щель такую скандалию – так бы выдрал доску, о-оп им на головы: «Не войте на похоронку! Живой! Живой же я!»

Да не рвал я досок. Голоса не подавал.

Скоро почтальонка стала пособие таскать на дочку за пропавшего без вестей отца. Оно б по-хорошему ежле – откажись Авдотья от пособия. Но... Одна, при дите, копейка всяка на прокурорском учёте. Как откажешься? Люди враз неладность учуют.

А меж тем подбольшела дочка. Въехала в допрос, с чего это я то в подвале впряме на картошке сплю, то на чердаке отсиживаю дни, а на улыцу ни ногой? Полный нельзяш, отвечал я. Стал я её побаиваться. Стал подламывать к тому, чтоб никому не уболтнула, что я дома.

– А у тебя что, игра? Я читала... Играли мальчишки. Один стоял на часах. Все забыли про игру, рассыпались по домам. А он всё стоял до ночи... Ты тоже с кем-то играешь по-честному?

– Как же нечестну быть? Как же?

Не проговорила Олюшка, не пропустила славку про меня. Только... Придёт, бывало, из школы и ко мне, печальная такая, с уговорами. Иди, пап, да иди на народ!

А каковецкий он, этот выход? Я и не знай, что уж и отвечать. Да она, поди, и без слов уже либо-что понимала. И совестно вроде ей за меня, и жалко меня. Так она после школьности всё толклась подле, всё высиживала со мной в потанных местах, всё жалела, жалела с тоской... С той тесной тоски, верно, и примёрла в девятых классах.

Два дня стоял в дому гроб. Горели свечи, чужие шли люди, совсем чужие, шли без конца. А ты, родитель, смотри на

всё на это с потолка в щель. Так и унесли кровинку чужие люди. Не смог даже толком проститься.

Без дочки холодно стало на земле.

Холодней против прежнего заступили ночи. Безо время хряпнул мороз, капуста на огороде железна до седьмого листа. Обнимаешь, обнимаешь трубу, никакого согрева. Перебазировался я на житие в погреб. Лаз в подпол был у самой койки, ино на короткую минуту и вальнёшься к жёнке на согрев. На беду, с согрева того наявился у нас Санька Городской.

Прозвище ему Авдотья не от счастья пристегнула. Как могла отводила от меня подозрения всякие. Всем одинаково тлумачила, что прикупила Санька́ в городе. Пригуляла, стал быть. И что это именно так и есть, под запал даже побрёхивала, что в метрику впихнула ему прочерк в том месте, где надобно было врисовать отца.

Ну, отдрожал я пятнадцать... Отдрожал все двадцать...

Стала моя Авдотья в старость валиться. У самого дых ухватывает, зрение побегі хужать. В ночь ещё так-сяк. Конечно, не зорче филина, но вижу. А при дне слепым слепой. А погост всё боевей вижу. Неужели и ховать потащат из подпола?

Дале – боле. Совсем дожал я свою Авдотью до горячего. Нет-нет да и взбунтуется:

– До коих можно таиться? Крыша днями провалится. задавит же!. Докуда я тебя буду кормить? Докуда по-за чёрны-

ми дворами крадкома шастать? Сколь верёвочка ни вейся...
Надо обозначаться на народ!

Сам знаю, либо-что надо. Да как я, глупарь, гляну людям в глаза? Что скажу? К сельскому к голове я не отважился грести. Порешил так: не бечь, как случится кто из чужаков в нашей хате. Люди увидят, люди выведут в люди.

Но страх был плотней меня. И едва, бывало, заслышь ша-ги пускай и своих, страх рысью нёс меня под пол. Лаз был всегда наготовку открыт, и чёрно стекала в него лесенка шириной в ступню.

Однажды я ел и не слышал, как вкатился наш магазинщик. Магазинщик был с корзинкой. Собирал яйца.

Я в чулан.

Бечь, раздуй ты горой, больше некуда. И – видно.

Выхожу.

У магазинщика глаза вываливаются, покорячился он от меня.

В молодую пору мы с ним были друзьяки. Вместе казак-ковали на вечорочках, вместе казаковали на фронте. Вме-сте уходили бить немца, вместе крадучись утрепали по дури молодой проведать своих. Он-то сразу и вернись на фронт, до самого до Берилина докувыркался орёлишко. Уже в Бе-рилине его подбило. Выдал ему майский Берилин костыли для крепости... Как вы догадываетесь, магазинщиком был мой Иван Севастьяныч, по-уличному его ещё навеличивают Ванькой-Воякой.

И вот стоим мы друг против дружки, потерянные от удивления. Хватаем воздух, как рыбы на берегу, а слова выкинуть не можем. Наконец закашлялся мой Севастьяныч, тянет мне свою руку.

Не знаю, как я не дал слезу. За столько-то веков смертельного страха тебе впервые подаёт человек руку, друг с малого мальства!

Руки наши было уже сошлись, как вдруг Севастьяныч в гневности зыркнул на меня и вскозырился. Согнал пальцы в тугой комок-кулак, кинул кулак себе за спину. Чуже шёпот полосонул:

– Не-е, подлюга! Да ты мне противней однойцового Гитлерюги! Не дам я тебе своей руки! Я б другое охотно сделал. Так и рвётся огонь настучать тебе по бороде!

Тесно потолковал тогда со мной Севастьяныч.

Я и не знаю, как я тогда не попал под его молотки. Я намекнул, чтоб шукнул про меня властям. И колодец ведь причерпывается... Мне было всё равно, что со мной станется. Я ненавидел свою бирючую жизнь. Не манило большь преть в подвале.

Дня через четыре к нам снова замахнул Севастьяныч втроём с корзинкой и с палочкой – подпирался в ходьбе. Он дважды на неделе обегал дворы.

– Зови, – велит Авдотье, – своего ненаглядушку.

– Какой разбегчивый! А где мне его взять? – с готовой слезой в голосе запричитала Авдотья (я не говорил ей про встре-

чу с Севастьянычем), выдернула из-под матраса затёрханную косынку с домашними бумагами, зашуршала листочками. – Чего б слепой и плакал... Разве война отдала его мне? Мы с войной вроде как в менялки... Я ей хозяйина, Акимыча своего, а она взаменки всего-то и дала что вот этот лоскуток, – жалостно подала похоронку на меня. – Разь ты это не видал?

– Это видал. Давай теперь в натуре самого сюда. Кукиш в кармане утаишь, а шила в мешке не утаишь!

– Да как же, гиря ты холодная, я его тебе дам-подам, коли на то мне от державы гербовая бумага дадена? Погибши он состоит! – Авдотья хрустко тряхнула похоронкой. С жаром намахнула: – Можь, геройски! А ты!..

– Дуня... Дуняша... – запросился я из погреба. Выбрался я на свет по грудки, откинул полсть одеяла, столбком торчу на лестнице ни жив ни мёртв. – Зачем же... Как же... Либо-что... Где я... геройски?..

– Чего ж, шелудёвый ты пёс?.. Чего ж ты, чёртова ты простокваша, поганую мордантию свою выставил?! – загремела на меня Авдотья. – Я за него тут глотку в кровя рву! А он... Ну совсемуще чердачок пустой!.. Дурик в полный рост! Как только и расплачиваться будешь?

В ярости поймала меня Авдотья за руку, выдернула из чёрного погреба.

Я попробовал вырваться. Спасибо, держала мёртвушко. А то б, игрец тебя изломай, сглупу ужёг бы в бега.

В дверь, понятно, я б не стриганул. За дверью наверняка

могли быть люди. Я б своим проверенным порядком стёк: на чердак, во двор и в лес. А там ищи зайца!

Со слезами поталкивает меня Авдотья к Севастьянычу.

Томко пристёгивает к случаю слова:

– Забирайте! Делайте, что угодно! Тольк Христа ради развяжите наш грех. Ской принять утеснения... Умучилась я с ним. До смерточки умучилась!

– Нет! – выставил Севастьяныч щитком литую ладонищу. – Мне он никакой цены не имеет. Не сдашь же в райпо вместо хоть одного яйца. Может статься, *им* он в интерес?

На красоту размахнул Севастьяныч дверешку.

В хату неспешно вошли две фуражки²²¹ и наш сельский головарь.

Ясное дело, душа моя в подпол слилась. Враз разучился говорить. Присох язык к зубам. Вот я и попал под власть...

– Если по-хорошему, – сказали мне после долгой мягкой беседы, – надобно тебя под кару поджать. Да какой законник придумает кару страшней? Ты ж за четверых дезертиров отвалял! Самосудно покарал себя!

Я как народился. Наново начал жить... Либо-что... Поступил в кузню. Как и до войны. Молот у меня не холодит. Да что молот... Какой инструментишко ни возьми, молот ли, косу ли, пилу ли – всё в руках играет. Ежели по правде, я уж, кажется, так особо не стараюсь. А вот оно само собой уж выкручивается, что я в поте лица рвусь, будто отрабатываю

²²¹ **Фуражка** – милиционер.

за ту чёрную пору. Это ж надо... Полжизни выстегнул...

6

После рассказа я таки не удержался, достал снова блокнот и принялся по горячему следу записывать услышанное.

Какое-то время Святцев похлоливо косился на блокнот.

Потом словно выдохнул:

– А я уже и въехал в веру, что ты не начальник... А ты всёжки начальство!

– Опеть ты, кривой кочедык, своё раздишканивать! – напустилась Авдотья на мужа. – Ты что, сослепу не видишь? Дитё перед тобойкой!

– Это тебе он дитё. А мне не то что начальство... Вышкарь! Ты ж, – придвинулся ко мне Святцев, – вышку мне привёз! Так? Разрядишь в меня пистолю, как в погану собачонку, и укаатишь к себе допивать свои чай...

– Какую ещё пистолю? Если вот это, – покрутил я карандаш, – можно назвать пистолей, так да, это единственная моя пистоля. Но разрядить её не разрядишь. Её можно только стереть о блокнотную бумагу.

– Пошёл писать... не верю, – сторонне твердил Святцев. – Я на своём зарубил... Не верю, что мне простили... Такое не прощается... Сменял горшок на глину... Либо-что... На рак сел...²²²

– Э! Пустограйка ты! – с ядовитым смешком в голосе воз-

²²² На рак сесть – потерпеть неудачу.

разила ему Авдотья. – Да кому ты сейчасшний нужен? Кому охота тратить на тебя цельную пулю?

Святцев зыбко устался на тёмную тѣлушку с зеркалом.²²³ Основательно и сдавленно вздохнув, тѣлушка потянулась в незакрытой на вертушок своей закути, легла.

– Уклалась, Маечка... Ну и подай тебе Господь хорошей ночи! – ласково погладила Авдотья тѣлушку по голове. – Зараз и мы ляжем, перестанем колготиться. Не будем тебя беспокоить.

Со смешанным чувством обвел я просторную комнату и подумал, где меня положат. В комнате была всего одна койка, старая, с вытертыми белёсыми шариками на спинках и с прихваченным к пруту у изголовья корнем думной травы от клопов.

– А вы-то что не собираетесь? – виноватясь лицом, как-то уютно спросила меня Авдотья. – Сельский мне строго-на-строго наказал, чтобы кирспандента вела на сон к нему.

– А нельзя ли у вас переночевать?

– Оно и можно... Только... Больно уж строг сельский наш владыка. У него на ножу ходи. Сказал привести, надо весть. А у сельсоветчика в дому какой рай! Жарких комнатей... Заплутаешь, как в лесе! Пуховые перины одна одной выше. А нам вас и положить негде. Разь что на лавке?

– Посплю и на лавке. Не переломлюсь.

²²³ **Коровье зеркало** – задняя поверхность окороков отличной шерсти; по нем узнают удоилвость коровы. (В.Даль.)

– Мне лавки не жалко, не протрёте, – подойдя ко мне вплотную, как-то странно проговорила Авдотья, понижая голос, понижая, видимо, с тем, чтоб не мог её слышать её же муж. Наклонилась, горячечно зашептала: – Не оставайтесь у нас... Мой на одну ножку немножко ухрамывает. Не попёр бы в дурь, как всё поснёт в доме. От греха подале!

Эта интрига подогрела меня.

Нет уж, я всегда норовил к греху поближе.

Работа!

Разве газетный раб не обязан, по крайней мере, разве не должен быть очевидцем того, про что наладился чирикать?

Правда, чтобы написать о Святцеве, вовсе не обязательно скрываться с ним двадцать один год. Но почему одну-то ночь не провести под одной крышей с этим человеком? Все-го-то одну?

– Позвольте остаться, – шепнул я. – По работе так надо...

– Ну, разве по работе... Оставайтесь. Может, что и выработаете. Только под бока нечего вам кинуть и раз... Одна соломенка и есть...

Она взяла с койки ближнюю из двух подушек, тесно набитых хрусткой соломой, положила на конец лавки.

После пробежки двадцати вёрст по налитому водой снегу я обрадовался лавке не меньше чем королевской перине и безо лжи повалился в восторге на лавку, вольно раскидав руки по сторонам, отчего одной рукой бухнулся в лопнутое бревно в стене, другая упала на стылый пол.

И только сейчас я почувствовал, что устал, настолько устал, что не нашлось сил подобрать с пола руку.

Я тупо пялился в аврально провисший чёрный потолок, готовый во всякую минуту рухнуть.

Хозяева потихоньку укладывались.

– Двигайся, клумба. Знай двигайся к стенке. Дай места с краю, – ворчал он.

– С краю все места заняты, – с глухим трудным смешком отбояривалась она. – Ползи, кривой партизанин, через. К стеночке давай.

Наконец они присмирели.

Поперёк одеяла на них толсто чернели одна за другой её и его фуфайки, будто две громоздкие птицы раскинули подбитые крылья.

– Дуня, выщелкни свет, – жалобно запросил он. – При свете я слепну... Без света способней...

– Пускай горит, как у всех у добрых людей, – твёрдо обломила она и принялась мне объяснять: – Вперёд у нас в лампочке ель-ель желтела ниточка. А вот уже с год кормимся мы от высокой линии. Светло – майский день! Вся Ищередь спит при свете, наглядеться, – гордо повела бровями на толстую, жирную лампочку без абажура, свисавшую так низко, что не пройдёшь под ней, не пригнувшись, – наглядеться никак не наглядимся да не налюбоемся. А кому не нравится свет, – коротко катнула по подушке голову к мужу, – воткни свои бесстыжики в подушку и сопи. А без света как? Мыши

на свет всё робеют лезть. А коли полезут, так коту способней будет на свету перехлопать эту нечистоту.

За Авдотьиными словами я не слышал, как на мягких копытцах подошла Маечка.

Схватила меня за ухо, накинута вразмаху сосать.

– Майка! – шумнула Авдотья. – Тебе сбедокурить – молоком не корми. Иша, игрец напал! Чего не лежалось у печки?

Отвечая, Маечка задавленно замычала, и я, выдернув своё родное ухо из её розового рта, пахнущего молозивом, надел шапку, завязал тесёмки под подбородком.

Долгим и пронзительно-печальным взглядом посмотрела на меня Маечка. Тяжко вздохнув, она не пошла назад в свой закуток, легла возле лавки. Я благодарно положил ей руку на лоб, погладил атласную шерстку.

Лавка моя стояла вдоль глухой, без окон, стены. Было холодно. Холод я прежде всего ощущал коленями, на которые никак не мог натянуть короткие полы полупальто. Я лёг, во все не раздеваясь: в ботинках, в ушанке, напялил даже перчатки.

Сквозь дрему я размыто вслушался в улицу.

Улица студёно безмолвствовала. Лишь изредка за стеной взрывались стремительно нарастающие, столь и стремительно затухающие хрустки снега под быстрыми, спешащими ногами. В зимний холод всякий молод!

Сильней таки невероятного холода была усталость, взявшая меня в тисы, и я скоро заснул.

Откуда-то сверху раздался надсадный, истошный детский голос:

– Папка!

Этот цепенящий вскрик подбросил меня, как мяч.

Я было сел, но тут же, увидев над собой Святцева с длинным – с локоть! – блестящим тонким ножом, снова повалился на лавку, зачем-то заслоняя лицо руками.

– Папка! Что ты! – дуром ревел всё тот же голос, и вырonnenный нож, которым обычно колют кабанов, стоймя упал мне на грудь.

Жало ножа было до того острое, что насквозь прохватило пальто и завязло, завязло настолько глубоко и плотно, что, когда я в следующее мгновение вскочил на ноги, нож торчком торчал из меня и не падал.

Я сражёнno вытаращился на пятящегося к двери Святцева. Лицо у него было дикое, мстительное. Я не знал, что мне делать.

– У-уб-и-и-ил! – придушенно захрипела Авдотья, схватываясь с постели.

В два резвых прыжка Святцев вернулся ко мне, потянулся, растарачив крованистые глаза навылупке, к ножу, но я, растерянный, инстинктивно опередил-таки Святцева, выдернул нож.

Это уже кое-что, если не всё, меняло.

Увидев у меня в руке нож, Святцев кинулся прочь, и я, двумя пальцами сжав нож за шильный кончик, изо всей силы метнул вдогон Святцеву.

Какой-то миг спас его. Хватило именно мига, когда Святцева успела загородить от летящего карающего ножа закрывающаяся дверь. Воткнувшись в дверь, нож закачался из стороны в сторону.

Я окаменело сел на лавку.

Подбежала Авдотья, с плачем обняла.

– Сынок!.. Сыночек!.. Т-ты живой?

– А я почему знаю...

Я расстегнул пальто, задрал к горлу свитер.

На мне не было ни царапинки!

– Вот так штука! – Разлохмаченная Авдотья разинула рот, как поле поворот. – Я ж своими гляделками видала... Из самой же из грудоньки ножина колом выставлялся!

Я обследовал пальто.

Сверху оно было испорчено. Я сунул в дырочку палец. Наткнулся на жёсткий широкий блокнот в кармане. Достал блокнот. Насквозь, до второй обложки, блокнот был пробит.

Конечно, в блокноте нож и завяз.

Под ножом, под этой бедой, страницы как бы сжались, плотней подобрались друг к дружке, чтобы выстоять, чтобы уберечь меня, литком слились в единую тугую броню, и сломалась беда в этой броне, не дала броня ей дальше ходу.

Зато теперь эти дырчатые страницы уже не жили отдельно, уже не могли с бархатным хрустом рассыпаться, разойтись по листочку – по краям прохода ножа листки чуть завернулись во все стороны, и одна сквозная смертельная рана держала их вместе.

Ком набух у меня в горле. Я погладил блокнот...

– Мамушка моя породушка, – вслух разбито думала Авдотья. – Ну какими словами всё это обрисуешь? Какого ума дашь всей этой ужаси? Курёнку ж головы не срубил! А под старость лет на человека с чем лихостной кинулся!.. Я-то, ляпалка, ещё с вечера как-то неясно почуяла, к неладности он правится... Хотел, чтоб ночь без огня... Тогда б, сына, я уже не говорила с тобой как сейчас...

В бережи положил я блокнот в карман.

Застёгиваю пальто.

– Это ж надо, – благостно засветилась Авдотья. – Так глянуть – белые листочки. А ты смотри, артельно уберегли человека...

И, оживляясь и радуясь голосом, почти выкрикнула:

– Однако листочки листочками, да не одне листочки были тебе, соколушка, защитой. Наиглавный спаситель вот он вот! – в торжестве указала на беленького мальчика, что заморенно и пугливо хлопал с печки долгими ресничками. – Вот кто выдернул из беды. Царствует себе на бочкú, тепло стерегёт. Санушка, бесхвостой горносталя, как ты всю эту безобразию углядел?

Саня конфузливо задёрнул занавеску, поскрёбся в запеченую глушь.

– Чего ж прятаться? Ты уж со своей вышки докладай ёбчеству как на духу, – ласково выманивала Авдотья признание.

– А чё, мамика, докладать... – несмелым, мятым голоском откуда-то, казалось, из недр печи отозвался Саня. – Вскотелось по-малому, толкнулся лезть вниз, в холод, и не полез. Увидал чужого дяденьку, забоялся... Лежу гляжу, больно интересно, как он в завязанной шапке спит. Тут ворухнулся папка, тихо кругом посмотрел и кошкой полез с койки не по ногам твоим, ма, а так, через верх...

– Через спинку, – пояснила Авдотья. – Я его, паразитовца, даве нарочно утолкала к стенке. Думала, ежели поползёт, заслышу. А он, видал, в самую силу сна через верх тенью прынул! Через шишаки! А потом? Что потом, сыну?

– Оделся, обулся, на пальчиках докрался к дяденьке и хватать из сапога ножик да ка-ак замахнётся! Я и воскричи.

– Божье дело сделал ты, сынок... Спас... Человек не без сердца. Ты вот уберёг гостюшку, а гостюшка, может стать такое, в благодарность не тронет папаньку нашего. Подаст же Господь гостинчик!

– Да не трону я ваш гостинчик. Не убивайтесь... – Я поднял тон, нарочито громко позвал: – Саня! Божий человек! Покажись! Дай пожму на прощанье твою ясную руку.

– Уходить?! – всполошилась Авдотья. – Одному? Не лепи дурину! Не пуцу! Самая ночь, зги божьей не видать. На

свету только и выпущу из хаты!

Авдотья пришатнулась ко мне. Затараторила на ухо:

– Ты, стоумовый, думствуй... Можя, он за дверьми дожидается с топором... И за селом способный настигнуть... Кисель же в коробке!.. Пропащая душа! Ни к лугу ни к болоту... Запало дуравливому, что ты заберёшь его, он и...

Авдотья снова подняла голос, твердя, что не пустит в ночь одного.

Она напяливала на себя в спехе фуфайку, совала босу ногу в валенок и не могла всё никак попасть.

С минуту я постоял у печки, ожидая Санушку.

Однако ждал я напрасно.

Санушка так и не выткнулся меж плотно сдвинутых кусков занавески.

Жутко стало мне в святцевской хате. Ещё не хватало, подумалось со злорадством, что в этой Ищереде уцелеет от меня один мой полустёртый карандаш. Потемну незвано пришёл, потемну в глухой час и выкачусь.

Я побрёл к двери.

Распатланная Авдотья, выпередив меня, распято кинула руки перед дверью. Не пушу!

Молча я приподнял её податливую, усталую руку и ступил в тёмный проход, опавший стыню.

Оберегая в проходе от нечаянной беды, Авдотья подняла, разрогатила руки, нависла сзади надо мной, идя след в след.

– К чему этот маскарад? – запротивился я, конфузясь.

– Ничего, ничего! Так он тебя ничем не достанет.

Провожала Авдотья меня и по мёртвому селу, не отставала уже и потом, когда дорога упала с бугра и полилась в стонущий на предугтреннем ветру голый лес...

Глава десятая

Что сказано, то связано.

1

Я стоял у окна, собрав руки на груди.

За окном кидало мрачным снегом. К снегу несмело подхватывался редкий, непрочный дождь. Я смотрел на эту то-ропливую, тревожную заветь и явственно видел давнюю Ищередь и всё то, что там со мной случилось. Неужели тому уже двадцать лет? Неужели тот маленький храбрун, так и не отважившийся подать мне руку на прощание, и есть вот этот человек?

Из снежной кутерьмы выломилась расхристанная, нервная фигура Святцева-младшего с трепетавшим на ветру куском газеты в руке.

– Какой же я дубак! – во весь рот пальнул он с порожка. – Какой же глупарь! И на что было тогда кричать отцу? Сейчас я бы был по крайней мере избавлен от объяснений с вами! Да, я резок. У меня есть на то право. Вот оно!

Святцев карающе потряс старой, с желтинкой, газетной вырезкой, швырнул её ко мне на стол и, процедив, что вернётся через минуту, демонстративно вышел, нервно подтан-

ЦОВЫВАЯ.

Старые газеты всегда меня волнуют.

Но когда в старой газете видишь себя, цену такой газеты в две копейки не впихнёшь.

В святцевской вырезке был мой фельетон «И покойницу выдали замуж».

«А, старый знакомый... Ну, здравствуй, здравствуй... Что же ты весь такой рваный да мятый? Или ты с кем воевал?»

Осторожно разгладил я на колене истёртый, продранный во многих местах на сгибах листок и с грустью начал читать:

«Его любили коллективно.

Всей службой Фемиды.

– Наш Алёша – эталон молодого человека. Услышит неблагозвучное слово – рдеет, что невеста на выданье. А какой внимательный! Ах, если бы все мужчины были такие! На женском лице не просеклась бы ни одна морщинка!

Им восхищались. Носили на руках. Потому что «вёл себя идеально и на работе, и на досуге».

Алёша Шиманов – судебный исполнитель. Учился заочно в юридическом. Прочили ему карьеру народного судьи.

Для начала перевели в нотариусы.

Вызвали в область. Опыта подбавить.

«К прохождению практики Шиманов относился серьёзно, – свидетельствует заместитель областного нотариуса Катигрош. – Особое внимание уделил сложным видам нотариальных действий, а именно:

удостоверению сделок, выдаче свидетельств о праве наследования, о праве собственности и т. д. Зарекомендовал себя настойчивым, энергичным в достижении поставленной цели».

Напрактиковали Алёшу.

И в новом мундире он идеален. По-прежнему все от него без ума.

Однако любовь любовью, а табачок врозь.

Как ни обожали, а ревизора прислали.

«Проверить тождественность принятых сумм полноте сдачи их в госбанк бывшим судисполнителем Шимановым».

Ай-ай!

У непрошеного гостя «вызвали сомнение подчистки и исправления банковских документов с меньшей суммы на большую. С 20 рублей на 200. С 8 на 80...»

Гранатовым огнём горел Алеша, шумно сморкался и писал объяснение:

«В четвёртом квартале было большое поступление исполнительных листов. Выезжая по ним на места, т. е. в сельские Советы, я расходовал деньги, принятые по квитанции, так как своих не оставалось. Когда наставал срок нести деньги в банк, для сдачи полноты сумм у меня не хватало, взять негде. Кроме того, часть денег я израсходовал на сессию в юридическом институте, где заочно учусь. Недосдал я всего 306 рублей. Основная причина состоит в том, что в это время в семье были большие неприятности. Я отдавал зарплату на питание, а жена Ираида из

своей зарплаты мне ничего не давала и – обратите внимание! – даже запрещала учиться. А учёба в то время была для меня всего дороже. Я стремился получить образование и быть достойным человеком, т. е. достойным членом нашего общества. А на поездку в Москву требовались определенные расходы. Вот это и толкнуло меня на преступление. Заверяю, что никогда не совершу больше ничего такого и прошу дать мне возможность оправдаться честным трудом на том участке, где позволите работать».

Кумачовый Алёша умолял.

Это ничуть не мешало ему параллельно заваривать кашу покруче, чтобы «разойтись с долгами». Он почти твёрдо считал, что клин вышибают клином.

Глаза не смотрели со стыда, а руки, соответственно, делали.

Не дай Бог обозначится на миру эта история. В неё ж в мгновение ока вцепится прокурор. Тогда доказывай, что тебе до смерти хочется быть достойным человеком!

Вошла знакомая бухгалтерша узла связи Борина с каким-то мужичком. Мужичок петлично заулыбался.

– Работёшка, сынок, есть...

– На общественных началах?

– Кладёшь в обиду... либо-что... За барашка, спаситель наш, в бумажке... Чтоба колёса не скрытели... Всякие колёса любят масло...

– Бабульки вперёд...²²⁴

– Только вперёд!.. Слушай, не благопрепятствуй. Тут такое дело, сам архиерей не расколупает... Значит, у меня примёрла Дуня. Мне жена, а ей, – кивок на Борину, – сестра. Раз померла, чвирикаю один... Недели с три! Вдруг заявляется Ванька-Вояка, с детства дружок: «Акимыч, наливай благодарственную. Невесту тебе нашёл! Мотюшку!» Я, может, и не взял бы горожанку в дом... Да осенины уже на носу, картошку убирать, а подсобить некому. Ладноть, думаю, вдвоёмша скорей уберём.

Расписываться я не стал. Резона не видел. Распишись, ан сам Христу душу наперёд подаришь, чем она? Тогда ей – всё моё! Дни-то мои заходят, тухлеют. Мне под полста, а она на полный двадцатник свежей!

Ладно, сошлись. Сжили без венца, без расписки всего полтора месяца и на, раздуй ты горой, выпала моя Мотенька из лада. Слегла в городе в больницу. Бах вскорости новостюха. Угас огонёшек! Померла! Я так и сел. Да что это бабы моду взяли? Мрут, как мухи! Схоронил одну, вот другая. Снова ищи невесту?

Ну, невеста товар не заморский. Същется. А вот неповалимое горе сушит-кручинит. Распишись, совет отвалил бы красненькую на похороны, а то – ни граммочки!

Ладнуха. Открываю её чемоданишко. Одежонку-то ей надоть в чём привезть. Глядь – кучка десяток! Четыре тыщи! Я считаю в старых. Так всегда боле...

Либо-что... Еще две книжки! На пят-над-цать тыщ!

Чёрная кровь во мне так и закипела кипнём.

– Ну, Ваня, – смеюсь дружку, – некогда распускать басни. Раз ты самолично подсуропил мне такую невестушку, ты и вези мне моё достояние из города. Лови машину да за Мотюшкой за золотой!

Ванька-хват живо прикатил покойницу, гроб – за магарычовую косушку чужой отдали! – и два ящика зверобоя. Проводины были красные! – мужичок мечтательно закрыл глаза и пошатался. – Господь не прогневаётся!

Розовея, Шиманов робко покашлял в кулак.

– Папаша, давайте дело.

– Завсегда, пожалуйста. Какими чарами мне уголубить, усватать эту пятнадцатку?

– Чары стандартные, потолочно-чернильные, – аля от крайнего смущения, покаянно прошелестел тихими словами Шиманов. – Так и быть, пожалуйю вам свидетельство, что вы, Святцев, – господи, фамилия-то какая святая, аж холодно!.. – Святцев Александр Акимович, житель села Нижняя Ищередь, являетесь единственным наследником имуществва гражданки Алексеевой Матрёны Николаевны. И в сберкассу!

– Отдадут мигом? – маетно уточнил Святцев.

– Быстрее мига! – багровея, роняет Алеша. – Только сперва... Поддай горы бумаг. А где они у вас? Ну, хотя бы свидетельство о браке, самая главная бумага, где?

– Нет как нет и невеста на погосте... Ах, бабы, ах, козье племя! – яро хватил себя Святцев по колену. –

Это идола в юбках! Ведь сколь ш-шокоталенка²²⁵ таила! Наведался в больницу.

– Мотенька! Малинушка моя! Либо-что мне скажешь? – спрашиваю.

По лицу вижу, музыку пора заказывать, а она: не думай, от соколика от своего я ничего не скрываю. А!

– Волнуетесь? Со всеми бывает перед регистрацией. – Пуцовой Алёша заговорил менторским, вязким голосом: – Для регистрации требуется: а) взаимное согласие; б) достижение брачного возраста; в) паспорта. Согласие и возраст имеются, паспорт её будет. За неграмотного, – повернулся к Бориной, – вы? Пишите. Такая-то и такой-то вступили в брак – до нас замечено, «разве б хорошее дело назвали браком?» – десятого января одна тысяча девятьсот пятьдесят второго года.

– Эк хватил! – сглотнул слюну Святцев. – Додуть могут. Ить Дуня, законница, перед Матрёной была, только в шестьдесят третьем отстрадалась-то!

Алёша с изысканной вежливостью пропустил замечание мимо ушей и, пылая осклизлым кровавым румянцем, поздравил «новобранца» с законным, вручил копию свидетельства.

– А теперь выправим бомагу о смерти. Почила дорогая не четвёртого июля, как тут, а четырнадцатого февраля. Смерть в наших скромных интересах должна наступить раньше, ибо имущество умершей можно получить лишь через полгода после

смерти. Ждать? Рискованно. На вклад вне конкурса претендует сестра умершей. Сестра пока и не подозревает о наличии этого вклада.

Отредактировал Алёша.

И вышло...

На пятый день после отхода в мир иной «невеста» собственной персоной пожаловала не в небесный сельсовет, а в земной и прописалась в Ищереди.

Ах, Алёша!

Маху дал. С лёта.

Горячая головушка.

Ей и сейчас горячо.

Под южным красно-медным солнцем.

Видите, устал, умучился в заботах. Катнул в геленджикское «Солнце» побаловаться солнцем.

Время мне сделать доклад прокурору. Ан против супругица Алёши.

– Да Алексей Михалыч вовсе не виноват! – истомно разгъясняет она. – Он мягкий, застенчивый, добрый. Но есть, мягко говоря, люди, которые, опять же мягко говоря, нахально эксплуатируют его доброту в корыстных целях. Во-он кого надо брать под микитки! Не Алексей Михалыча! Да узнай Алекс Михалыч, что им интересовались из газеты, – со стыда помрёт. Я-то его знаю лучше вас!».

2

Тэ-экс... Хли-ипенький фельетонишка.

По нынешней поре водрузил бы на нём тяжелуху крест и забросил, не подумал бы вовсе печатать.

А тогда...

Тогда он стоил мне дорогого...

Был сентябрь. Не смолкавшие целую неделю дожди в кисель растолкли дорогу, так что покуда из района докувыркался я на своих клюшках до Ищереди, был я грязнее грязи.

Не успел я перевалиться через порог, как Святцев, громоздкий, отъевшийся гладуш, будто из теста сжатый, помедвежьи облапил меня, забухал по звонкой спине.

Он бесшабашно обрадовался моему приходу, тем самым загнав меня окончательно в тупик. Смотрел весело, даже с каким-то большим бравым вызовом.

От прежнего Святцева, затюканного, пугливого, не уцелело и следа.

Скоро с огня явилась на стол полная сковорода жареной картошки, обозначилась чекушка.

– Поесть поем, а наливать не надо. Язва! – соврал я.

Язва производит впечатление.

Он удручающе смотрит на меня.

– Ну, гореспондент, нельзя так нельзя... А, – скосил он глаз на чекушку, – а книжечка, доложу я тебе по всей радост-

ной форме, в хор-рошем переплётё! Выгодный ты гость... – С видимой досадой он лениво крестит себя чекушкой и, о зуб сорвав с неё ребристую нашлёпку, тянет прямо из горлышка. Дохлопав до дна, захвалился: – Кому и нельзяшко, а мне всё полная возможность. Либо-что... Ни одна язва не связывается со мной. После чердака отродился я, в рост попёр. Дело кувыркается к старости, а я всё справней, а я все толстей. Живу в одно рыло! Раскраснелся, хоть прикуривай. Даже неловко перед тобой. Ты чего такой худючий? Форменный мешок с костями... С лица белый, никак чахоткиной мучкой город тебя припорошил? Зудится в этом коробке, – тукнул себя по лбу, – одна мысль... Не знаю, как ты... Вижу, остонадоели тебе городские газы, перекочёвывай ко мне на вольное деревенское житие. А?! Гореспондент? Теснотиться не будем. Сараюшку эту, – подолбил пяткой в пол, – завалю, царскую хоромину выставлю. Два медведя угнездятся!.. Кругом леса. Ягодки, грибки все наши. О! Женю! У Вояки роскошь дочка на возрасте. К свадьбе подарю тебе стального коника... мотоциклетку... Ну, что? Будет у нас свой доктор. Санушку – где-то по улицам шлэндает, домой днями не загоняется! – зашлю в институт по медицине. Выучу разнепрременно и будет он нам с тобой без очереди уколы колоть. Благода-ать!..

Подбоченясь и подтанцовывая, Святцев прошёлся по простору комнаты и, неожиданно чуть припав на одну ногу, резко выбросил вперёд другую и быстро, сильно хлопнул под ней в ладоши. Это ему понравилось, и он, заполошно присе-

дая, выбрасывая попеременно то одну, то другую ногу и хлопая, раза два обежал комнату и, оглаживая вислые, обрюзглые бока, восхищённо вымолвил:

– На старости в плясуны записался! Хошь, плясака дам!

Я рассеянно пожал плечами.

– Да что ты, Тоска Хлипич, киснешь, как мёд?! Какой-то недоваренный, скушный... Любимушка! Иля у тебя либо-что болит? Болит – вот капнул на пальчик, – он пододвинул полный стакан, – прими один ограничитель, сожги боль и запляшем союзом! Ну! Да что насчёт съезда? Не молчи. Мне это не в масть.

– Да ладно вам! – отмахнулся я.

– Ладно, а не пляшешь. Так что?

Что я мог ему ответить?

Я думал своё.

Думал, как подступиться к нему с разговором о письме, что снова привело в этот дом, сверху похожий на кляксу. Хотелось завести разговор ненароком, неназойливо, как бы нечаянно, по случаю случайно случившегося случая, что ли.

Но хода такого не выпадало.

Я молчал.

Моё молчание начинало его беспокоить, подкусывать.

– Ну что, писарюн, всё строгаешь? – не без сарказма спросил он, заметив торчащий из кармана пиджака блокнот. – Ну, строгай, строгай, – с каким-то жёлчным благодушием разрешил он. – Я твою газетину получаю. Всё читаю твоё.

Страх сколь лепишь. Плодушой чертяка! Только не нравится, какой-то ты насуровленный. Я к тебе со всей нашей милостью. А ты, может, расчётец принёс за перышко-ножичек? За топорок?.. Ну, кидал, кидал я в тебя топорок. Так сколько тому лет! Пальцев на одной руке не наберёшь. С другой присчитывай.

– Прошёл всего год.

– У тебя свой счёт, у меня свой. По-оздно стрянулся, гореспондент... Года большие сбежали. Они давно-о мне амнистию дали... Так либо-что подчистую забывай всё вчерашнее. Я винюсь перед тобой... Вот глупинку сморозил... кидал... Дурень тот поп, что крестил меня, да забыл утопить... Несуразно таки верховодит людьми жизнь... Спасибо, парнишка ты добрый, простил все мои выгребеньки, не кинулся искать мне кары в мильтовне да в судах. А с другой стороны, ты молоденький, не мудр годами... Раскинь умком, ну как бы искал? Где свидетели? Дуня? Оттуда, – поднял палец кверху, – никакой повесткой в суд не дозовёшься... Санушка? Каков с дитяти спрос? А дело в лесу кто видел? Одна ночь да ветер? Хор-ро-ши-и свидетелёчки...

Я сделал вид, что не понимаю, о чём речь:

– Вы про какой топорок? Про какое лесное дело?

– А-а... Вспомни... Было дельцо... Ты первый раз прибежал к нам в Ищередь... Уходил по ночи... В ночном лесу метнул я в тебя топорок. Да промахнулся... Тем лучшей... Чего в задний след шуметь? Ты это лучше моего понимаешь. От-

того не то что по судам меня мазать, даже в газете и словом не обмолвился про тот же нож... Про то и не след шуметь... А вот в кузне я стахановский, на почётную доску грозятся повесить. Что об этом не прозвонить? Ты мне знакомый, за-кадычный, можно сказать, тёмный друг, а не напишешь. А мне в интерес про себя почитать...

– Нам про вас уже написали, – подбежал я под момент.

– Худость какую? – изменился в лице Святцев, будто морозом на него пахнуло. – Какие ещё народные мстители фугаски подпускают?

– Письмо анонимное. Подписано: селькор-доброжелатель.

– Всё ясно, – бормотнул Святцев. – Бред беременной медузы! Мне пала в голову мысльюха... Это мог наплести один ссученный Костюнька Васильцов. Наскок обух на обух... Какой он селькор я не знаю, а доброжелатель кре-е-е-епенькой... Ему опарафинить²²⁶... Это он гонит пургу... Так глянешь, на человека не похож. Рябой, будто черти на роже в свайку играли... Либо-что... Чтоб его те же черти горячим дёгтем обосрали! Кляуза, форменный кляуза! Как такому верить? У него одно ухо где-то срезали. Не подслушивай чужое! Не таскай по миру непотребщину! Это он, Костюня-проклятуха! Нагнал холоду! Напужал! И знаешь, за что взелся этой глупан? В прошлом месяце, в крайний день, услал бригадир меня с одним ездюком²²⁷ забить двухгодова-

²²⁶ **Опарафинить** – опорочить кого-либо.

²²⁷ **Ездюк** – плохой шофёр.

люю тёлку для садика. Я спросил какую. Бригадир говорит, спроси у главврача, то есть у ветеринара... ну, у этого у самого Костюни. Этот лохмоногий там что гонористый – квас на вилках едет! Встретил я его совместно с пастухом Михелкиным, спросил, какую забивать тёлку, он и ответь: да поймите там, которая прошлый год болела лишаем. А в прошлом годе всё стадо болело лишаем. Ну, приехали мы в загон, поймали тёлку, какая на нас глядела. Я считаю, из этой тёлки получилась бы хорошая корова. У нас на ферме стоят об двух сосках, без зубов. Не коровы, а козы. В самый напор дают по литру. А тут молодой племенной скот собственноручно уничтожается... Ну, забили, обделали. Как игрушечка! Тушу в кузов на шкуру и повезли на склад.

Ну, начали сдавать. К нам на склад подъехал в нетрезвом... в непотребном состоянии этот самый глумной Костюня. Сразу набросился на нас, почему мала шея у телёнка. Я ему ответил, что это не жирафа из Африки. Потом он стал наезжать, что мала печёнка. Вначале я думал, что он шутит. Я подвесил тушу, сдал в склад сто двадцать четыре кило мяса, восемь кило ливеру и двадцать четыре кило – голова да ноги.

На второй день в конторе шум, будто мы отрубили шею. Я к митрополиту, то есть к председателю. Настрогал заявлению, что это является оскорблением... Который обещал разобраться... На этом дело и заглохло. Чеши, паря, грудь, отдыхай... Но получаю я зарплату, с меня сдержано восемь

рубляшей. За мясо! Я в профсоюз. Да полный бесполезняк! Посегодняя он и не думает разбирать либо-что. А промежду собой говорят, что шея не отрублена, а вырезано из неё восемь кило. Я к главврачу, то есть к ветеринару. Тот начал наносить всякие оскорбления налево и направо.

– Каждый шинтрапа будет ещё искать свои права! – заявил при всей конторе. Заявил и ряд других слов. За оскорбление я отдал заявлению в товарищеский суд. И посейчас никакого ответа ни от одной дистанции. Конечно, как же они, суд да профсоюз, пойдут на главврача, то есть на ветеринара? Он может им спонадобиться... Бурёнка личная заболит, кабанчик ли... Это мне он без разницы. Санушка будет и людям доктор, и скотине доктор. Доктор и в Африке доктор. А этому преподобному Костюне я не шинтрапа, а участник Великой Отечественной войны. Сходи понюхай... Там крутило, как в котелке! Имею два ранения, принёс грыжу с фронта, сделал по счёту две операции и зараз честно работаю в Ищереди, где и родился чернорабочим. Я, можно сказать, герой по труду. Кую, сею, убираю, кормлю его же. А он уже и в газетёху вставь меня!

Нетерпение разрывало меня.

Но я стойко слушал.

Я нарочно не перебивал, зная, дай человеку выговориться, и его язык сам его сгубит.

И впервые проверенный во многие годы мой принцип дал осечку: к тому, что было в письме, Святцев даже намёком не подходил.

Пьян, пьян, а худого себе на хвост не уронит. Послушай ещё его, так начнёт распинаться, что он герой войны, не меньше и великомученик.

Злость закипала во мне.

Я не выдержал правил игры, рубанул в лоб:

– Что вас подожгло расписаться с покойницей? Её девятнадцать тысяч?

– Глумёж это, гореспондент. – ровно, владь, даже с ленью в голосе проронил Святцев. – Да свались мне самодуром Мотюшкины капиталыцы, разве б я вёл смертную войницу за какие-то восемь целкачей? Я ж не получаю, как Ленин в семнадцатом, по пятнадцать миллионов марок... Ну?

– Вы уже получили её деньги.

– Вот какой басурманец всё это нанёс вам в редакцию для смехоты, с того и сымай спрос либо-что. А я чист, как божье стеколушко. Не промахнись. Не удумай рисовать, не вы-

знавши дело с корня. Мало ль какой враженья побалохвостил. А ты что, всё то и ладь в строку? Не пихай, писарюк, меня в эту грязь. Христом-Богом прошу. А то... На тебе ли бронь?.. А то так отмажу, что в заду затошнит!

И чем навалистей Святцев уверял, что он чист, во мне всё сильней наполнилась вера в обратное.

Да что вера, что интуиция, когда нет документальных подтверждений?

От Святцева, конечно, ничего не добиться.

Он твёрдо шёл в благородную. Не сознавался.

Надо возвращаться в область, в управление сберкасс. Иначе как я получу официальную справку, кто оприходовал алексеевский вклад, по каким документам, когда.

Однако в управлении начальница, круглая, как кадушка, выслушав меня, молча указала на желтевшую на столе под стеклом памятку вкладчика, чиркнула неочищенным концом карандаша под первой строкой.

«Государство гарантирует тайну вкладов», – прочитал я и непонимающе уставился на начальницу.

– Ну, как? У матроса есть ещё вопросы? – колко спросила.

– Естественно. Кому выгодно и удобно возводить надёжную тайну вокруг вклада, который по липе хапнуло жулье? Государству?

– Ой-ой! – защитительно выбросила она короткое полешко руки. – Это ещё надо доказать. Письменно изложите ваш сигнал и в течение месяца ждите ответа.отреагируем обя-

зательно.

Вот так штукерия!

Да на что ж я жую газетный хлеб, если до публикации отдам свои материалы в управление? После принятия мер печатать? Махать кулаками, в кустах пересидевши драку?

Снова приплёлся я к Святцеву.

Полувиновато проямлил:

– Здравствуйте... Те же люди, в ту же хату...

Святцев даже не повернул ко мне лица.

Я подсел к нему на завалинку.

Намолчались мы до устали.

Я и заведи обиняком свою старую пластинку.

– Внасмех, что ля? – набычился Святцев. – По второму заходу окучиваешь! Иля думаешь, я мешком из-за угла пристукнутый? Либо-что? Да никакими щипцами ничего свежего из меня не вынешь!

– Вот беда, – вслух огорчился я.

– Эта беда не беда. Только б большей беды не было... Либо-что... Не дёргай меня боле за душу. Не то разгоню и носа не покажешь!

Уходил я из Ищереди с тяжёлым сердцем.

Как садиться за фельетон, раз на руках нет ничего документально подтверждённого? Надеяться на одну голую интуицию?

За долгую одинокую дорогу пробился я к мысли, что в

районном городке непременно надо зайти к Шиманову. Шиманов молод, наверняка будет покладистей. Уж-то он что-нибудь да расскажет!

Но ни на работе, ни дома его не было. Отбыл в Геленджик. На курорт.

Пришлось говорить с Ираидой, его женой.

Молодая, соковитая, одетая в бордовое атласное платье с катастрофически глубоким вырезом на царски пышной груди, была она сама врачующая любезность.

Извиняясь и не в силах отодрать голодных глаз от погибельно засасывающего, как смертный водоворот, выреза, я пролепетал, что собираюсь писать фельетон про её мужа, но негоже писать, не поговорив с ним...

– Да, да... Очень даже негоже! – в меланхолической истомлённости смело поддержала меня в трудную минуту Ираида и пошла слегка дальше: – Не кажется ли вам, что *всё* это можно отложить?

– Лично мне не кажется, – сожалеюще возразил я, трудно отрывая глаза от пропасти коварного выреза.

Хорошенький пальчик указал на хрустальную вазу на столе. Ваза была полна невероятно крупных и красных яблок:

– Пожалуйста, угощайтесь!

Утром я наспех заморил коня стаканом гостиничного кефира, и во весь день больше ничего не ел. И теперь при виде этих выставочных яблок (на областной выставке только и видел такие), от которых, однако, упрямо отнекивался, я на-

столько одурел с голода, так разом придавившего, что у меня замутилась голова.

– Ваш муж на юге... – пробормотал я. – Пускай наотмашку отдыхает...

– Да, да! Пускай! – торопливо согласилась плутоглазка. – Знаете, бархатный сезон... Не отзывать же!

– Конечно. Только созвонитесь. Скажите помягче, был какой-то корреспондент, любопытничал относительно алексеевского вклада. Если ему есть что сказать, пускай даст в редакцию телеграмму в одно слово «*Подождите*». Телеграмму я жду ровно неделю.

– Право, какой вы нетерпеливый... Всего лишь одну? – с печальной надеждой улыбнулась Ираида. – А потом что будет, не напомни Алекс о себе?

– Увы. Фельетон в газете.

– Это жестоко! – с чувством резюмировала она, так что у неё даже шатнулась уютно торжественная шоколадница.²²⁸

Я поднялся идти.

Но, потеряв равновесие, снова сел на стул. И невесть почему тупо уставился на её волшебный, жизнерадостный бедраж. Я не мог отвести глаз – не было моих сил.

– Вы хотите уходить?

– П...пробую...

– Вы где остановились?

– В вашем бигхолле.²²⁹

– Боже! – вскрикнула роскошная Ираида, с хрустом ломая бархатистые пальчики. – Да что вы там забыли в том сарае?! Коммунальных клопов? Голодных мышей? Оставайтесь у нас! Вам будет хорошо! Гарантирую!.. Я бы на вашем месте осталась без колебаний. Ей-богушки! Мы вдвоём с сынишкой. Пеструнец уже спит. А-а... Тут такой маленький деликатес... Рядом с нами дом культуры. Я там в самодеятельности... Балуюсь на поварёшке.²³⁰ И какой счастливый наезд! Через час даём концертуху. Пойдёмте! Развеемся... Послушаете, как я играю на своей поварёшке. Не пожалеете. Вам понравится.

– Наверняка! – быстренько заверил я. – Мне уже нравится. Но...

– Ваше *но* пускай идёт в кино! Не держим... А... Повторяю... А киндарёнок спатки уже вовсю... Он нам не помеха... У нас три комнаты. Да неужели в этих апартаментах, – торжественно повела сановитой рукой вокруг, приглашая обозреть дорогие покои, – вам будет хуже?

– Хуже.

«Приказано выжить! – сказал я себе. – Уходи. И чем быстрее, тем лучше».

Сердце у меня билось так сильно, что я видел, как вздрагивала моя рубашка на груди.

²²⁹ Бигхолл – гостиница.

²³⁰ Поварёшка – домра.

Я прощально оглядел комнату.

Всё в комнате величаво багрово пламенело: в широкие окна зовуще и тесно било последнее вечернее солнце.

Дома через три я наткнулся на столовую.

Дверь была ещё открыта.

Я ликующе нырнул в неё.

– Э-э!.. Куды-ы!? Обедня вся, кончилась. Ос-сади-и! Ос-сади-и!..

Невесть откуда взявшаяся плотная деваха в белом, сытая, осклизло равнодушная, как медуза, одним толчком мягко-подушечного плеча эдак небрежно выпихнула меня из дверей.

Это развеселило меня.

– Тё-оть! – с ласковым укором запросился я (иногда на меня находят называть молоденьких забавниц тётями). – Тё-оть! За весь божий день ни крошки не склевал горький воробейка... Дайте иль продайте хлебца хоть кусочек с лошадиный носочек...

– Вот борзота! В ноль зальют тут!.. Потом ходют. Дайте им! Подайте! Иди своей ходкой. Не то я подам тебе пятнадцать суток на блюдечке!

Я весело пялился на неё и не уходил.

Стою молчу: на брань словцо купленное. Думаю, коли б эту попадю переделать на бадью, может, был бы толк.

– Се-ень! – запрокинув голову, суматошно крикнула де-

вахоня куда-то в кислое нутро тошниловки. – Тихохо-од!

Из боковой, отдельной комнатёшки в зал вывалился трудный в шаге увалистый благодушный парень в милицейском. На ходу он вытирал пот со лба, губы.

– Ньюш! Ну, ты чё, радость, шумишь?

– Зашумишь! Тут один в водяную хату²³¹ просится... – И показывает на меня. – Вот хухрик выкушал шкалик, а закусить нечемко. На закуску клянчит пятнадцать суток. Не найдётся?

– С дорогой душой! Только чего мелочиться?.. Какие-то пятнадцать... Для надёжки сдадим в камеру хранения!²³²

– Гражданин! – с заметным усилием хмурясь, загремел бдец комком ключей. – Ну, что? Гуси улетели?²³³ Пожалуйте в канарейку! – полуприказал он мне, указывая на жёлтую милицейскую машину у выхода. – В политбюро²³⁴ обязательно поймаем ваших гусей. А попутко и разберёмся.

В отделении дежурный сказал моему конвоиру:

– Сень! Покуда я буду оформлять свеженького бомбардира... Я тут собрался... Вот тебе лампочка. Вкрути в амбарухе, – и кивнул на комнату за огромной застеклённой рамой.

Там на лавках вдоль стен понуро сидело человек пять задержанных.

²³¹ **Водяная хата** – медвытрезвитель.

²³² **Сдать в камеру хранения** – посадить в тюрьму.

²³³ **Гуси улетели** – о странном поведении человека.

²³⁴ **Политбюро** – отделение милиции.

Сеня схватил лампочку и в амбар.

Влез на табуретку.

– Сень! Ну ты умён до безобразия! Постели ж хоть газету!

– А зачем? Я и так достану!

Дежурный записал меня в какую-то амбарную книгу, записал с моих слов.

А потом спрашивает, а чем я могу подтвердить, что я – я.

Молча подаю командировку, редакционное удостоверение.

– Сенья! – потускневшим, линиялым голосом проговорил записывавший за перегородкой. – Ты с чем привёз товарища к нам в трибунал?

– Да как сказать... С Нюшей в дверях что-то не поладил.

– А что мне было с ней ладить? – не смолчал я. – Командировка какая-то жизнерадостная. С утра до ночи в бегах. Толком и разу не поел. А тут вдруг на пути родная столовка. Закрывалась уже. Я и попроси эту Нюшу дать или продать хоть кусок хлеба. Вот и вся авария!

Дежурный толсто вычеркнул меня.

Пристукнул кулаком по разложенной книжке:

– Ох, Сенья, Сенюшка! Тоскливая портупеюшка...²³⁵ Всё-то у тебя кверх кутырками... Несчастный безнадёга! Неминаче выстарал себе выговорешник в приказе. А сейчас повинись перед товарищем да по-рыхлому²³⁶ свези назад в тош-

²³⁵ **Портупея** – милиционер.

²³⁶ **По-рыхлому** – быстро. (От польского guchly – быстрый.)

ниловку. Пока там твоя ненаглядка всё перемоеет, он и поест.

И мне:

– Вы уж извините за нашего бейбёнка.²³⁷ Совсем оплошал молодожён от счастья. У него с Ньюшей медовый месяц в самом распале!

Сеня трудно извинился и покуда вёз в столовую, покаянно ругал себя малоумным до полного упора и рассказывал про себя, про Ньюшу.

На прощанье он достал пачку дешёвеньких сигарет «Друг». Простодушно тряхнул передо мной пачкой с изображением овчарки:

– Угощайтесь портретом участкового!

Я не курил.

Но отказать не повернулся язык. И я взял одну сигарку. Так, на сувенир.

Из столовой я не пошёл в гостиницу сразу.

А вернулся в отделение.

Любопытно было понаблюдать, что за публика туда стекается. А заодно попрошу, чтоб не наказывали Сеню.

Приворожил он меня своей наивностью и чистотой.

²³⁷ Бейбёнок – ребёнок.

Святцев вернулся в кабинет главного врача и, бледный, угрюмый, угнездился в проседавшем уголке дивана.

В холодном вызове складывая руки на груди, ядовито проговорил:

– Итак, вернёмся к нашим баранам. – Однако с опаской, будто боясь испачкаться, тронул двумя оттопыренными пальцами, указательным (старики ещё называют его шишом) и средним, газетную вырезку, что свисала со стола. – Вы внимательно изучили это?

– Допустим.

– Вы думаете, чем кончается ваша эта писанина?

Что следовало отвечать на столь грубую выходку?

Взорванный ею, я, трудно сдерживаясь, глухо отстегнул, если он не сбавит тон на пол-оборота, я вообще не стану с ним разговаривать.

– Понятно! – отозвался он со слепящей злобой. – Что с нами разговаривать? Кто мы? Так... Второсортняк... Белые нули!

– Не смею возражать. Вам лучше себя знать.

– Но мы и вас знаем! – привскочив, он неистово ткнул в меня шпажисто острым пальцем. – Знаем и не боимся вашего железного клюва. Как клонете, – кивок на газету, – так покойничек, как... Антон Долгов... Скажите, вы не задумы-

вались, случайность это или закономерность, что ваши инициалы складываются в жуткое слово АД? Человек-ад... Передвижной ад... Ходячий ад... Для кого ад? Мне кажется, для всякого, с кем вас сводил рок. Адская жизнь начиналась для того, кого хотя вы и не клевали своим железным клювом, но на кого положили свой глаз. Этого было уже довольно... И в конце концов... Нынешний день встречи с вами мне следует, как учат древние, отметить белым камушком. Мать моя отмечала свой день... Мать мою вы не трогали, но после встречи с вами она вся изошла переживаниями. Всё ждала, ждала позора, который назовете вы на нашу семью, раззвонив на всю область об отце-дезертире. Изодня в день ждала она беды, всё прислушивалась, не носят ли по селу слухов про отца с ваших газетных слов. Каждый день молила Бога, чтоб в газете ничего не было, и в газете, действительно, ничего не было. Отмолила мать от дома беду, да не отмолилась от вас. Со страха, с того надсадного, кусающегося страха, когда ждала, как приговора, вашей статьи, с бесконечных удушливых переживаний таяла, таяла... Сгорела свечка. Кому-то от этого темней стало в жизни, только не вам. Вы-то хоть раз подумали о ней!?

Ещё бы!

Не появилась статья вовсе не потому, что слишком хорошо молилась Авдотья, вовсе не потому.

Помнится, обе статьи занимали целую полосу.

По верху полосы шла шапка

ЛУЧШЕ УМЕРЕТЬ СТОЯ, ЧЕМ ЖИТЬ НА КОЛЕНЯХ!

Статью про бухенвальдца разверстали под тремя начальными словами шапки «Лучше умереть стоя...», а статью про Святцева – под окончанием шапки «... чем жить на коленях». В самый последний момент уже с подписанной в свет полосы я снял статью о Святцеве. Долго колебался, а снял-таки. И слава богу!

Самому Святцеву эта статья была б что мёртвому припарка. А Авдотьё? А Санушке? Каково на всю жизнь печатные клейма: жена дезертира, сын дезертира?

Обо всём этом сбивчиво, путаясь почему-то, рассказал я Александру.

Александр принял рассказ с открытым недоверием.

– Если вы промолчали однажды, – пробухтел он с чёрным, дробным смешком, – то что же потянуло вас осчастливить отца во второй ваш визит вот этим? – костью пальца он сильно пододбил в вырезку фельетона на краю стола. – Что вам не молчалось? Разве вам уже не было жаль меня? Между нами, мальчиками, на что было подымать весь этот бум вокруг алексеевского вклада? Он что, ваш личный? Не мои это слова. Отцовы... Сын за отца не ответчик... Не одобряю я его... В законе не твоё – не тронь, считаю я. Отец же, увы, считал иначе. По его мнению, преступление там, где есть пострадавший. В данном случае, спросил бы он вас, кто в убытке? Государство? Не-ет... Шелестелки не его, шелестелки Алек-

сеевой. Пострадала сама Алексеева? Опять же нет. Эти мани-мани, – подушечкой большого, наладонного, пальца он блатмейстерски потёр по подушечкам среднего и указательного пальцев, – ей там как-то ни к чему. Тогда зачем весь этот сырым-бырым? – показал снова на вырезку. – Хоть знаете, чем кончилось?

– Помнится, мы давали последушку. Редакции сообщили о принятых мерах. До копеечки всё взыскали с вашего отца и с нотариуса Шиманова. С Шимановым отец поделился, как и обещал. На те тугрики Шиманов успел прикупить южного загара. Значит, взыскали, хотели было уже переслать весь вклад сестре покойной – случайно натолкнулись на завещание Алексеевой и сделали по её воле, отправили вклад гнилушанскому детдому, где когда-то сама воспитывалась.

С печальным погрёком Александр покачал головой.

– По чёрной иронии судьбы, – вспоминал он, – вскоре именно в этот детдом меня привёз наш сосед дядя Ваня-Вояка, тогдашний завмаг. Вся Ищередь обегала наше семейство, как прокажённое. Один дядя Ваня не гнушался. Как водился с отцом смалу, так и до конца... Ну, привёз, оставил и пошёл, подпирается палочкой. Люди кругом ласковые, а чужие. Как одному среди чужих в четыре года? И вижу, уходит от меня самый близкий человек... Заревел... погнался за дядей. Обнял за ногу, стою реву последними слезами. Сквозь слезу улыбнулся мне дядя Ваня, говорит: Санушка, не горюй. С четырьмя ребятами похрамываю, а будет и пять – не упаду.

Перехромаю. Так я до армии и рос у дяди Вани. Из армии не отважился я вернуться в Ищередь. Ищередь не забывала. Ищередь не прощала за отца... Подался на шахту, в Воркуту. Подкопил денег – кто бы меня кормил в институте? – поступил в медицинский, как хотел когда-то отец. И во всё время, пока учился, слал мне посылки дядя Ваня, святая душа...

– А отец что, отказался от вас?

– По вашей милости, – глухо, укоряюще ответил Александр. – Когда он прочитал про себя, с ним случился удар. Своим клеветоном вы убили отца...

Не мог я этому поверить. Всякое бывало с фельетонными друзьями. Снимали, судили... Одна вилюшка – расписалась с одним, но прямо из загса уехала жить к другому – пила уксус. Всё внутри пожгла. Однако уцелела. Уксус был отличный, советский, то есть с брачком... Всякое бывало, но чтоб удар...

И всё же что я мог сказать Александру?

– Не думал, – пробормотал я, – что всё так... Вы уж...

– Что, извините?! – угарно вскричал Александр. – Мол, издержки производства?! Извиняю! Пожалуйста! – переломился в широком свирепом поклоне, загребая растопыренными пальцами по полу. – Только никакими извинениями не подымешь отца! Вам мало смерти матери? Мало смерти отца?.. Как же! Бог любит троицу, а вы разве ниже Бога? Тоже подавай троицу! Не на то ли и заявились сейчас ко мне? Это низко! Это, наконец... Да не имеете права писать обо мне!

Я ответил, что и не собирался писать о нём, и, подумав, а не занесена ли эта птаха в Красную книгу, полюбопытствовал, почему это не имею права?

– В личных целях мести использовать служебное положение... Это безнравственно, если хотите!

Ба-а, куда он погнул углы! Напрасно. Понадобится, я не паду на коленки перед этой демагогией.

Там, в зимнем ночном лесу...

Догнав меня и не подходя близко, отец его начал памятный мне торг. «Давай меняться, писарчушка. Давай менка на менку. Ты мне – блокнотину, я тебе – жизнь, и катись ты к кривой матери. Где ты такой вумный и выщелкнулся!?»

Как я понял, он тогда пуще всего боялся моих записей в блокноте.

Блокнота я ему не отдал.

Он швырнул в меня топор, по счастью, мимо.

Я словчил подобрать топор раньше Святцева.

Святцев тут же отстал от меня.

С топором я благополучно и добрался до района.

– Как вы думаете, – спросил я Александра, – бросая топор в меня, ваш родитель, может, думал о высокой нравственности? Может, все двадцать один год, укрываясь, он думал-решал, нравственно или безнравственно поступил, сбежав с фронта? Может, наконец, он думал о нравственности, когда подбирался к чужим деньгам?

– Отец получил своё, – скомканно проговорил Алек-

сандр, – и давайте не трогать мёртвых. Лучше давайте раньше времени не подымать живых в воздух.

– Давайте.

Никогда не искал я корысти в газете и не ищу. Но меня почему-то задели Александровы разглагольствования. Ишь, журналист не имеет права защитить даже родную мать, попавшую в грязные лапы к этому фрукту. По его логике, сапожнику нельзя самому себе шить сапоги, врач не имеет права лечить своих родственников. Этот шкодливый гусь будет фокусничать, а ты молчи?

Вспомнилось, само упало с языка:

– За двадцать дней поставить диагноз – по старости. Что это за диковинный диагноз?

– Продолжайте, продолжайте... Сейчас самые квалифицированные медики – это родичи больных! – Слабая, незлая улыбка тронула его тонкие нервные губы. – Я не оправдываюсь, только скажу. Я сделал всё, что мог. Кто может, пусть сделает лучше.

Опираясь на вытертый диванный валик, Александр медленно встал и, длинно посмотрев на блёсткий кружок часов у себя на руке, с виноватостью в голосе добавил, что сегодня в ночь ему дежурить, не вредно соснуть бы с часок.

Я промолчал.

Он пошёл к двери. Натолкнувшись глазами на овал стенового зеркала, вопросительный задержал на себе взгляд в зеркале. Остановился.

– Как говорили древние, – сказал Святцев в раздумье, – никто из смертных не бывает всякий час благоразумен, никакой человек не может быть умён всегда. Наверняка вывернул я что-нибудь да не то... Извините...

Промолчал я и на этот раз.

Однако уходил я от Александра с сосущим, неясным чувством вины.

Глава одиннадцатая

*Сердце без тайности – пустая грамота.
Сердце сердцу весть подаёт.*

1

После техникума Катя Силаева первую осень работала помощником мастера на маслозаводе.

Была Катя среднего роста, ладно сшитая. Наделила её судьба той зовущей русской красотой, которая властно заставляет при встрече обернуться на неё всякого парня в Гнилуше, обернуться да ещё тоскующе и вздохнуть.

Подружки завидовали Катиной красоте и открыто не любили Катю за скрытый, молчаливый характер. Нет в Кате артельной струнки. С такой ни на танцы, ни на пруд. Только и знает: работа – дом, дом – работа, работа – дом, дом – работа!..

Ну, работа, положим, понятно. Тут обсуждать нечего. Отдай восемь часов и не грехи. Так неужели остальное время только на то и дано, чтоб приятельствовать с полуглухой бабой Настей, одиноко доживавшей свой век тем, что понаасбирала полный, как лукошко, домок квартирантов?

Остальные замечают бабу Настю, лишь когда прибегают

упрашивать подождать с платой.

А Катя...

Копать картошку – вместе с бабой Настей. Собирать в саду яблоки – вместе, стирать – вместе, по магазинам – вместе.

У Кати твёрдые, тугие, как у парня, руки и всю ломовую домашнюю работу она вертела играючи, оттирая от той работы бабку. Привезли уголь, сама перетаскала в сарайку. Сама наколола дров. Топи, баба Настя, до мая!

Не надышится бабка на Катю.

Понесла старая по Гнилуше:

– Да, домушница моя жиличка. Да, тихая. Сама смирнота! Ваше дело, называйте скрытной, называйте смурой. А я скажу: смыслёная, строгая. Вся в деле. Смолить булды²³⁸ и минуты не будет. Одно слово, не такая, что сею-вею. Чистынько держит свою марку! И смирночко живёт...

Точёное, обворожительное лицо у Кати было продолговатое, и было в его выражении нечто такое, чему одним словом не дашь названия. Тревога не тревога, беда не беда...

Казалось, будто кто задал неподъёмно трудную задачку. Девушка всю жизнь билась, добивалась ответа – напряжённая сосредоточенность навсегда вошла в лицо; казалось, уже вот-вот дойдёт Катя до ответа, она уже его видит, близко видит, но не настолько ясно, чтоб всё понять-разобрать; она старается, тянется рассмотреть, оттого лицо, чудилось, за-

²³⁸ Смолить булды – бездельничать.

острилось, вытянулось несколько вперёд навстречу скорой томительной отгадке.

Из маслоцеха Катя побежала в компрессорную.

В компрессорной только что прошла пересменка.

Принявший смену Здоровцев, дородный, словно стог, держал Глеба за руку, поданную на прощанье, тихонько, заискивающе потискивал и не отпускал, торопясь выложить Глебу свои горячие новости.

– Знаешь, отец Глеб, – радостно рокотал Здоровцев, – мой сосед купил вчера мотоцикл с коляской. Жена и говорит: вот, Ванька, ещё б одно колесо и – «Волга»! А мужик на то отвечает: вот, Манька, тебе б ещё две титьки и была б ты корова.

В тот самый момент, когда неплотно вставленные стёкла сухо звякнули в окнах от толчка хохота, в компрессорную упругой, с прибежкой, походкой влетела Катя.

– Эгей, весельчаки! Кончай гнать картину! Где ваш холод?

– Что тебе здесь? Северный полюс? – в смехе отмахнулся Здоровцев.

– Да у меня масло горячее в ящики хлынуло!

– Отстудим! Отстудим, Катюшка! – ломливо взял под козырёк Здоровцев. – Нам это, милая, – потянулся к аммиачному вентилю, – разок крутнуть... Вот... Набавил... Пошёл наш холод, милая лирохвостка, к вам в гости. Ступай и ты... Встречай! Уж больно ты ревностная на работу. Не наседай

ноне сверх всякой меры. Пойми, голова! Вчера был на гранд-приёме!²³⁹ У меня со вчерашнего мотоцикла шум в голове застрял. Уж так обмывали, уж та-ак по-гвардейски стар-ра-лись...

– Что сегодня в работу не годен? – подрезала Катя. – Ве-е-еликий пьянист! – в издёвке щелкнула она себя пальцем по горлу. – Вот, профсоюзный председатель, – повернулась к Глебу, – чем не тема для собрания?

– Ну-у! – простительно улыбнулся Глеб. – До собрания наш Здоровцев успеет выздороветь. Ты, Здоровцев, повторяй про себя: я здоров как бык, я здоров как бык, я здоров как бык! И неминуче будешь здоров как бык. И спокоен. Даже кольцо можно в нос продеть.

Здоровцев опасно потрогал нос и как-то легко вздохнул, не обнаружив в носу кольца, которого почему-то забоялся.

Катя грустно усмехнулась одними ласковыми ямочками на щеках, медленно побрела назад, во двор.

Её взор упал на клумбу.

Не убирая взгляда с хризантем в шапочках из первого снега, Катя поражённо остановилась.

Независимо, с каким-то решительным вызовом и низкому небу, укиданному сплошными комьями облаков, и пробежавшим мимо людям, и ленивому, монотонному шуму, сдавленно бившему откуда-то, казалось, из-под заводской стены,

²³⁹ Быть на приёме – пить спиртное в компании.

стояли на клумбе прямыми чёрными столбиками стеблины подсолнухов, астр, георгин, с которых давно посрезали цветы. Зато как-то ненадёжно, врасстопырку держались ещё живые хризантемы. Под белой тяжестью снега хризантемы клонились в беспорядке в разные стороны, готовые вот-вот подломиться.

В растерянность на Катином лице втекла тревога.

«Живым всегда трудней», – обречённо подумалось и она принялась стряхивать снег с хризантем.

Подошёл удивлённый Глеб.

– Катерина Ивановна, всё равно ж под снег уйдут. Чего с ними нянькаться? Кому они нужны?

«Мне, например! – лишь бровями корильно повела. – Могли б и поднести...»

Никому и никогда Глеб не дарил цветов, ни матери, ни девушкам, и не было в том, пожалуй, его прямой вины. Уж так исстари велось в роду, что вся прошлая жизнь, вытолкнувшая свой росток и в наш день, всегда крутилась вокруг того, как на всякий час добыть сытый кусок, и цветы, росшие и в палисадничке под окном, и на огородчике за сараем, никогда не входили в ту цену, чтоб их дарили хоть кому-нибудь даже в красные дни. Не принято было раньше, не принятым так осталось и дотеперь.

Это по городам с купли дарят, это по городам цветок подарок, а тут цветов до пропасти, как крапивы некошеной. Чего ж их дарить? Стоят, сколь надо рви, и никто тебе слова

поперёк не кинет.

Цветы на заводе не шли в приварок к статье прибылей. Всем миром сажали цветы во всякую весну. Надо ли на регистрацию, жену ли из родильного привезти отделения, проводить сына ли, дочку ли в первый класс или на выпускной вечер – иди ломай, не оглядывайся. Своё!

Хотел было Глеб всё это объяснить, да раздумал, свёл всё к мысленной плоской шутке: начальник не имеет права принародно делать подношения подчиненному. Положение не позволяет-с!

Когда Катя становилась на профсоюзный учёт, Глеб, месткомовский предводитель, не отпустил случай приблизить её к себе, предложив ей вот так с лёта взяться за беспризорный культурно-массовый сектор.

За первые три месяца Катя уже успела сладить громкую поездку заводчан в Киев.

На подходе маячил Волгоград.

Тихая, тихая, а на всякое дело цепкая. Дай только!

Шли дни.

Всё чаще Глеб ловил себя на том, что после смены караулил её за проходной.

Но едва девушка проявлялась в виду, почему-то именно в тот миг ему вспоминалось, сколько лет ему, сколько ей, и несчастный провожальщик панически утягивался в свою сторону, прямо противоположную от Катиной, гонимый погибельной разницей в годах.

Со временем отважился, стал следом плестись на большом расстоянии от неё, когда возвращалась она с ночной смены. Провожал... Вся смелость и примёрла, размазалась в проводинах на отстоянии.

Он боялся встреч с нею вне завода и – не мог не видеть её. Он ничего лучшего не придумал: под предлогом неотложных профсоюзных забот чуть ли не каждый день вызывал после смены её к себе за столик, прижатый к углу в громадной комнате бухгалтерии, и под горячими, лихостными обстрелами испытующих взоров мучительно и сладостно придумывал, что бы такое ещё спросить, что бы ещё такое уточнить, что бы ещё такое не забыть сказать, что бы ещё разъяснить зелёнькой, неопытной заведующей сектором.

И вот этот бессловесный упрёк – а вы дарили мне цветы? – застал Глеба врасплох.

Неужели в ней шевельнулось что ответное? Неужели это правда? А может... А может и в самом деле... Ну если я ей тошней старого чёрта, так на кой тогда поталкивать меня к тому, чтобы я дарил ей цветы? Для смеха? Не-ет... Не из того семени вышла Катя...

Глеб посмотрел Кате в лицо. Было оно смятенное.

– Как холодно цветам, – выдохнула она тихие слова и осторожными красными от стужи ладошками обняла освобождённый от снега цветок, близко подышала на него, согревая в живой хатке ладошек своих.

Глеб не мог вот так уйти домой от Кати, не мог и позвать

её за свой столик в бухгалтерии. С сегодня Лизавета в учебном отпуске. У неё сессия в заочном техникуме. Подмену пока не нашли, Катя сама и вызовись отдежурить две смены подряд. Первую отстояла за Лизу. Теперь вот бегает вторую смену за себя.

Не мог Глеб и начать стряхивать снег с хризантем. Он видел, как потемнело уже у окон от любопытных. Нелепо было и вот так торчать столбом рядом с молоденькой девчошкой, работавшей странную работу на круглой, выпуклой клумбе.

Глебу показалось, что Катя горько усмехнулась, и он, загоревшись, – а! была не была! – навалился выводить цветы из беды. Пускай перемывают косточки. Чище будут!

Катя молча ушла.

Глеб споро сбивал снег, лёгкими, кроткими щелчками остукивая твёрдо державшиеся стебли хризантем. С надломившихся таки стеблей он карманным ножичком аккуратно срезал цветки.

Вскоре под восторженное, ройное гудение, шедшее от впритыску млевших в окнах любопытных баб и девок, Глеб конфузливо внёс Кате в лабораторию огромный нежно-пенный букет.

В сумеречной лаборатории посветлело, добавилось тепла.

– С таким богатством, – шёлково просияла Катя, – я побоюсь одна в полночь идти домой...

– А зачем одна? По линии месткома настоятельно рекомендую в провожатые вот этого товарища, – в энергичном

поклоне Глеб с шутливо-подчеркнутым уважением патриаршим жестом указал на себя. – По авторитетным данным, товарищ проверенный, надёжный, не имеет задолженности по профвзносам... Рекомендую... Соглашайтесь...

Бесхитростная Катя не сдержала счастливого смеха и согласно затрясла головой.

2

Со смены Катя пойдёт ровно в полночь.

Ещё целых шесть часов! Куда девать эту вечность? Шатнуться домой?

Нелепым показалось Глебу грести на это время домой, хотя дом и темнел наискосок по тот бок улочки. Полторы минуты в ходьбе.

«Еще зевну проводины. – Уж для верности перебуду пустое время в котельной. Всё рядком».

Решив так, Глеб было уже двинулся на выход, когда зазвонил телефон.

Катя сняла трубку.

Заслышав голос Митрофана, Глеб попридержал разгонистый шаг, медленно побрёл к двери, ловя сторожким ухом каждое слово в телефонном разговоре.

– Что же это ты, дорогуня, – не здороваясь, с мягким укором насыпался на Катю Митрофан, – своим людям безбожно портишь передовую картинку? Где это видано, чтоб мне привозили смехотворную жирность три и шесть?

Катя напряглась.

В широко распахнутых глазах плеснулась обида.

– А я тут при чём? – тихо возразила.

Кате не нравилось, что Митрофан разговаривал с нею как с какой-то вертячей фуфынькой, которой что ни скажи, всё

сделает.

«Если Лиза, жена, завлаб, мне начальница, так я и рисуй ему жирность по заказу?» – подумала она.

А вслух сказала:

– Видите ли, претензии не по адресу... Один у нас на всех жиромер. Что жиромер показал, я то и записала в накладную.

– Ну писала, грех тебя изломай, писала-то ты живой рукой! Светопреставления, гарантирую, не произошло бы, на какую десятинку и черкани процентишко посправней... – Митрофан натянуто хохотнул, и Катя не поймала, говорил он всерьёз или вёл всё к шутке. – Человек я добрый. Даю возможность исправиться. Что бы тебе да не учесть пожелание трудящихся насчёт десятинки при вечерошнике?²⁴⁰

– Учту, – так же тихо и ровно отвечала внешне спокойная Катя. – Обязательно учту.

– Рыжовый каляк!²⁴¹ – весело крикнул Митрофан.

– Но я ещё не всё сказала... Что жиромер покажет, то и будет всё ваше, – как-то виновато проговорила она и твёрдо положила трубку.

Уже с порожка, обернувшись, Глеб, осиянный, торжественный – наконец-то он сегодня открыто, с согласия Кати провожает впервые её! – гордовито и ободряюще выставил Кате оттопыренный большой палец. Так его! Так его!

²⁴⁰ Вечерошник – вечерний удой.

²⁴¹ Рыжовый каляк – золотые слова.

Ишь, привык, что перед ним все на пальчиках. Как же! Первый бежит в районе, по всем статьям маяк. А ты... Всякому в открытую лепишь свою правдёнку, никаким чином не кланяешься. У-умница ты у меня!

Глеб вышел в холодный заводской двор, немного проко-солапил в сторону котельной и, подняв глаза на лабораторное окно, вкопанно остановился.

В окне, точно в раме из ребристого черного кирпича, была Катя, говорила по телефону. Ранние предзвездные сумерки уже перетекли в ночь. В лаборатории горел свет. Низко спущенная лампочка без абажура сияла из-за головы Кати, будто нимб. Катя отстранённо смотрела со света в ночь, на волю. Однако Глеба не видела.

В высшей степени довольный этим обстоятельством Глеб, стоявший в своих резиновых сапожищах в разведённой молоковозами хляби по щиколотку, мёртво пристыл у лаборатории под окном, безотрывно пялился на Катю,пил счастье с лица, такого родного, единственного.

Счастливым своим видом, счастливой своей выходкой Глеб окончательно сломал работу всей смене. Вся смена плющила, давила лица на оконных стёклах, радуясь, завидуя, осуждая Глеба.

Здоровцев – разгорячённый взгляд, лицо пылающее – устало сронил руку Глебу на плечо, кисло пожмурился.

– Обегался его!.. Пан воевода! Ну что за интерес любить

через окошко? Не смеши мои подмётки! Кончай ты эту детскую кино. У нас кино почудней!

– То есть? – без охоты отозвался Глеб, трудно забирая глаза с Кати в окне.

– То и есть, что есть! – ликующе выкрикнул Здоровцев, нетерпеливо поталкивая Глеба в сторону котельной.

Податливый Глеб медленно пошёл.

– Пшёл! Пшёл! – торопил Здоровцев. – Да живей шевели помидорами!²⁴² Не имеешь праву камышить!²⁴³ Мотоциклетный соседюшка приплавил на своём на новеньком аспиде бутылъ червивки!

– Какой ещё червивки?

– Да ты иля с Луны чебурахнулся?! Червивка, она и есть червивка! Ну, ещё плодово-выгодная... Пролез, чёртушка, в дырку в заборе, притаранил прямо в компрессорную. Знаю, говорит, горит непохмелённая душа, на, примай микстуру... Да разве я несознательной? Разве я распозволю себе одному свалить целую фугаску? Я, извиняюсь, хочу такую радость разломить напополамки с тобой! Даю приём!

– Не-е, тырь-монастырь. До конца смены никакой радости! Никакого приёма! Это я смену свою отстрелял. Я неуязвимое лицо. Я могу что хочу! А ты по этой линии, – Глеб постучал себя по кадыку, – ничего не можешь. Ты в смене!

– Не в лад... Какое дельцо рассохлось, – неподдельно

²⁴² Шевелить помидорами – идти.

²⁴³ Камышить – уклоняться от работы.

грустно пожалел Здоровцев. – Н-ну... – Здоровцев тоскливо погладил себя по горлу, – хоть эту генеральную смочить линию... Горит... Пожар последней степени!

– До полуночи не сгорит. А то... Это и ёжик расколукает... Случись что с тобой, верней, случись что у тебя, первому холку намнут-то мне. Месткомовский генералитет не пресекает буревестник²⁴⁴ в рабочее время! Разнарядка такая... Я своё... два балдометра...²⁴⁵ оприходуя сейчас и шпацирую на боковину. А твою долю я тебе торжественно вручу в ноль-ноль часов ноль-ноль минут. За минуту до четырёх нолей разбудишь и получай свою радость в полном количестве. И запускай приём! Только смотри, разбуди, как сказал. Мне никак нельзя ни минуты лишней спатки. Ты слышишь?

– Да уж слышу... Бу сделано, – глухо пробубнил Здоровцев.

Уполовиненную бутылку Глеб зарыл в шлак во дворе.

«Пёс с сытости прячет кость в землю. Так и я...»

Ему помстилось, что этот ходовой парень, как любит подавать себя Здоровцев, наверняка видел его похоронки, и Глеба повело перепрятать к себе поближе.

В котельной Глеб пихнул бутылку из-под полы за тумбочку в уголок, чтоб никто не уволок. Потом трудно взобрался

²⁴⁴ Буревестник – пьянка.

²⁴⁵ Балдометр – кружка.

по шатким, гремящим мосточкам на самую верхотуру, развалил усталую, громоздкую тушу по тёплому железному листу площадки у самой головы котла.

И приснился Глебу сон...

3

Макушка лета.

Нигде ни облачка. Чистое, будто к празднику вымытое и подсиненное небо.

Маленький Глебка, босой, в одних подвёрнутых до колен полотняных штанишках, перешитых из старой отцовой рубахи, стоит посреди своего огорода и счастливо таращится по сторонам.

Вокруг, насколько брал цепкий глаз, крутыми полосатыми горюшками подымались не пудовые ли арбузищи.

Сколько помнил себя Глебка, столько и знал арбуз. И познакомился Глебка с арбузом не за столом, а на огороде.

Какой огурец, какая морковка могли сравниться с арбузом!

И потому весь жар детской души отдавался единственно ему. Чистишь ли сарай, курятник – в отдельные кучки навоз под арбузы.

Сажают отец с матерью прочую огородину – Глебке без разницы. А как дошло до арбузов – дай да дай! Я! Я!! Я!!!

Норовил всё сам воткнуть ещё слабо гнуцимися пальчиками в лунку и своё семечко острым вниз.

И потом каждое утро летел проведать, не вынесли ли ростки из земли семенную одёжку.

Прорывка, прополка, поливка арбузов – всё это остава-

лось у нас за детьми, было их привилегией. А за остальной огородиной уход несли взрослые.

И когда начинали спеть арбузы, это была самая сладкая и мучительная пора. Только пролупил глазёшки – бегом от арбуза к арбузу. Какой поспел? Какой можно сорвать?

Обскачешь весь огород, все перехлопаешь и беда, коль ни одного, по твоим приметам, спелого.

Однажды – то невезучее утро Глеб запомнил навсегда – не было ни одного спелого.

Как *выспелить*?

Иначе мама не сорвёт.

Наше дело показать на спелый. А родители уже сами рвали. Боялись, что мы плети пораним.

Под великанистый, звонкий, как гитара, арбуз Глебка незаметно в луночку подложил – голь на выдумку мудра! – старый фуфаечный рукав. Звону, кажется, поубавилось.

Привёл маму.

– Постучите... Спелыш! Совсем оглох!

Настукивать она не стала.

– Раз считаешь, – сказала, – спелый, аккуратненько рви да режь.

Арбуз оказался белей молока и не вкусней мочалки.

Это был урок самому себе.

Больше Глебка не ловчил. Зелёный, он и есть зелёный. Не хватит ему выспеть той секунды, пока срываешь.

В другой раз мама тоже не стала рвать, а только вслух по-

думала:

– К вечеру, может, дойдёт. Тогда и сорвём.

Глебка не пошёл в детский сад. Весь день простоял у того арбуза. Караулил, как бы он куда не спрятался да как бы кто его не унёс. Но под вечер – сторож вышел из Глебки аховый – усталый Глебка уснул меж плетей, прижав к щеке тёплый живой арбуз...

Вдруг упруго подпрыгнул ближний тяжёлый арбуз, весело махнул Глебке листом лопуховым, которым арбуз обмахивался. Жарко!

– А ну, – повелел арбуз, – отгадай мою загадку.

И, указывая на себя листом, стал загадывать:

– Кафтан по мне зелёный
И сердце, как кумач.
На вкус, как сахар, сладок,
На вид похож на мяч.

Не успел поражённый Глебка открыть рот, как подкатился другой арбуз. Отдышался и попросил:

– И мою... Моя куртка зелена, рубаха белая, штаны красные, галстук чёрен.

– Отгадай и мою... – Голос у третьего был тихий, далёкий. – Я не могу прибежать. Я на привязи... Зелёный телёночек привязан верёвочкой, лежит на боку и толстеет... Скучно мне всё время лежать на одном месте. Проведай меня!

– И меня...

– И меня...

– И меня... – неслось жалобное со всех сторон.

Плотнели сумерки.

Глебка пошёл от арбуза к арбузу.

Перед каждым арбузом Глебка становился на колени и тихонько гладил на сон.

Так Глебка исходил весь вечерний огород и выбрался на стёжку.

Стёжка вприпрыжку бежала по бугоркам к дому.

Уже с порога мальчик слышал глухой ропот.

Шёл ропот от овощной лавки, стояла за три барака.

Глеб метнулся на голоса.

У лавки толклась толпа и гудела, как кипящий улей.

– Дорогие граждане und²⁴⁶ гражданки! Ну чего меня уютить!? Да об чём ваш шум? – стоя к людям спиной и закрывая лавку на пудовальный висячий замок, лениво спрашивала продавщица. – Об чём вскудахтались? Что, Баб-эль-Мандебский проливишко заиграли? Так нет... Русским языком повторяю. Рабочий день у меня скончался. Арбузов завались. Тащи хотько мешками! Только завтра!

Глеб и дай голос:

– Кому сейчас нужны – за мной! Безо всякой платы!

– Задарма не возьмём, – отвечают ему. – А что стóбит отдадим.

²⁴⁶ Und (немецкое) – и.

Пятна арбузов были хорошо видимы.

А тут вышла ещё луна.

На всё кругом легла такая ясность как днём.

И все ахнули, увидев, что за дива растут у Глеба на огороде.

– Огуречные гранаты! Откуда?

– А откуда квадратные арбузы?

Глеб не спеша, гордовато развалил квадратный арбуз.

– Сахар! Переливается звёздочками, искрится. Угощайтесь.

По аккуратному ломтю протягивает каждому.

Потчевал и смущённо пояснял, что такие, квадратные, арбузы при перевозке не бьются. Их и проще нарезать. А ещё проще выхаживать. В простор плексигласа или плотной полиэтиленовой плёнки впихни завязь и получай через месяц полосатую арбузину удобной формы. То же и с огуречными гранатами. Пупырышек воткни бутылке в горло. Бутылка зальётся огуречиной. Вид у огурца, конечно, бутылки. Посудинку эту аккуратно кокни. Вот тебе и огуречная граната!

Всем взял арбуз, всем понравился. И «красный, как кровь, и крутой, как пуля, и сладкий, как мёд»!

– Ну что же, Глебушка, спасибочки за царское угощение. Пора к делу подступаться.

Что здесь началось!

Обгоняя друг дружку, в радостной суматохе заметались люди от арбуза к арбузу. Каждый на свой лад выискивал спелый.

Один, чудаковатый дядько в галстукe, растопырился над арбузом, как петух. И, прерывисто дыша, мурлыча: «Для ма-тушки княгини угодны дыни, а для батюшкина пуза надо арбуза!» – в лихорадке стучал по корке острым когтистым ногтем и скоро проломил арбузу бок.

Перебежал дальше. Потом ещё дальше.

Второй искал непременно с сухим хвостиком.

Накидал добрую чёрную кучу арбузов, но сухого хвостика с тем звуком, какой при переломе издаёт палаая сушинка, так и не доискался.

Третий вместе с обрывком плети вскинул арбуз, со всей слоновой силой жал, приставивши к уху. Не пищит-трещит – не мой. Не беру!

– Пожалуйста, осторожней, – простонал маленький Глеб-ка и горестно заплакал, закрыв лицо руками.

И тут случилось невиданное.

Люди наклонялись над арбузами – арбузы убежали из-под рук.

Человек гнался за арбузом и не мог догнать.

Наконец все арбузы, сорванные и на плетях, разбежались кто куда, пропали вовсе, растворились в воздухе.

Облако плотно накрыло луну. Стало темно и жутко.

– Вот так конфуз – съел арбуз! – пробормотал Галстук, в

панике пятысь с пустой сумкой прочь.

Страхом выдуло с огорода и всех остальных налётчиков.

И когда на огороде остался один Глебка, облако упало с луны. Свет разлился кругом.

Вернулись все арбузы, стали уговаривать Глебку перестать плакать. Они уговаривали и корили.

– Зачем привёл этих бармалюков? – сердито просопел толстый, как ящик, арбуз.

На огороде жирели и обычные, круглые, арбузы:

– Эти бармалеи ещё и лентяйки. Ленятся разводить нас у себя на огородах... Сколько сегодня от них беды. Кому бок пробили, кого с плетью, даже с корнем выдрали из земли. Кого вовсе раздавили!

– Глебка, – пропищал маленький арбузик в два кулака, – ну разве ты не хочешь, чтоб мы жили только с тобой? В золе, в зерне, в сетках на весу мы б жили до самого до Нового года. Не отдавай нас больше чужим!

Глебка рассвобождённо просиял и пообещал.

Восторженные арбузы кинулись качать Глебку.

А потом, взявшись за руки-плети, повели вокруг него хоровод...

Долго кипело веселье.

Устав, арбузы разбрелись по своим местам отдыхать.

Каждый лёг на своё прежнее место, прирос к своей плети, будто его и не срывали. Никто не охал от болей, будто ему и не протыкали пальцами бока: раны затянулись. И раздав-

ленные арбузы снова слило в целые. Всё было как прежде.
Белым арбузом висела в ясном небе луна.

Во втором классе вытвердилась в Глебе воля: буду агрономом. Выведу новый сорт помидоров. Покрупней головы!
Да как это сделаешь скоро?

Не знал ещё Глеб, зачем мама обламывает на помидорах пасынки. Он и спроси, зачем она это делает.

– А шоб помидоры гарни росли, агрономик ты наш...

Выспели помидоры и впрямь хорошие. Один в один. Такого сильного урожая Глеб ещё не видывал.

Эге, смекнул Глеб, обдёргали лишь пасынки, а вон какие здоровые. А что если...

На новое лето обламывал Глеб с последнего куста пасынки, всю завязь, цветы, листья, когда на огороде появилась мать. Увидела Глебово старанье, побелела вся.

– Без помидоринки оставил и не охнул... Ты шо учубучил, пылат?!

Пылат, то есть пират, было самое ругательское у мамы слово.

Ну, тоскливо подумалось Глебу, раз дошло до пылата, наверняка на голых, как палец, стеблях ничего не вызреет кроме встрёпки.

На бегу подхватила мама с земли пук уже привялых помидорных цветов на ветоньках и ну ими *учить* Глеба по ушам, по ушам.

Глеб смотрел на мать немигающе, упрямо стискивая зубы. Не-ет, он не побежит, он не захнычет, он не извинится, он не запросит пощады, хоть прибай на месте!

Остановившимися виноватыми глазами смотрел Глеб на мать и вдруг заметил, что у матери – лицо Марусинки.

Глеба так и осыпало морозом.

Дрогнул Глеб и проснулся.

4

Несколько мгновений Глеб ещё лежал, потерянно соображая, к чему бы могло такое насниться.

Плохих снов он суеверно боялся.

«Марусинка... Цветами... К чему?»

Тупая тревога разлилась, угнездилась в нём.

Ему было уже не до сна.

Он покосился за котёл.

На лавке в углу старик Галдабин пил чай.

У этого кочегарщика была странная привычка. Будь то первая ли, вторая или третья смена, он начинал свою смену непременно с чая.

«Галдабин должен сегодня в третью... Уже третья заступила?»

Окликнув старика, Глеб подолбил себя пальцем по запястью:

– Сколько на ваших золотых?

– Десять минут первого, – приветливо отозвался лёгкий на слово старик, не без рисовки подкручивая в нить кончик сивого уса. Тщедушный старчик носил роскошные усы. Оттого, казалось, он и ходил внаклонку, усы перевешивали. – А ты, Глебушко, с чем будешь пить чай? С ложечкой или с сахаром? Тебе сколько домина²⁴⁷ положить? Три хватит? Чай,

²⁴⁷ Домино – пиленый сахар.

скажу, путёвый. Три дня с огня и всё пар идёт!

– Только и дожидаясь вашего чаю! – простонал Глеб, камнем падая вниз.

Сунулся за тумбочку – вина нет!

«Эх-ха-а, унесённый вермутом Здоровцев! Эха, сундук лохмозады! Не разбудил! Перенедопил!.. Баобаб! Всё тебя лад не берёт. Так-то ты со мной? Ну-у, дунгыз!²⁴⁸ Пог-г-г-годи-и!.. Ты ещё у меня матушку репку запоё-ёшь! Встал в позу – получи дозу! Да я ж тебя, жопа с ручкой, вырублю как мамонта!»

Ни в лаборатории, ни у проходной Кати уже не было.

Не могла, не могла она уже придти домой!

Что было в нём силы, кинулся он вслед за Катей.

Темна стояла эта глухая, волчья полночь.

Однако летел он по непролази проворней тяжёлого лося. Скользя, он то и дело хлопался, вскакивал вёртко и снова, заплетая ногами под властью выпитого на голодный желудок вина с его горячечными толчками, во весь опор настёгивал за Катей, следы которой, трудно думалось ему, ещё нетронутыми лежали на этой скользкой ночной дороге.

«Ну и Здоровцев! Ну и гад ты здоровый! – мстительно ворочалось в голове. – Я тебе, бажбан, этого выбрыка за так не спущу! Иша, мордотень раскормил, как ведро. Умоешься ты у меня кровяными слёзками! Умоешься, рак меня слопай без приправы!..»

²⁴⁸ Дунгыз – опустившийся пьяница.

Бог весть каких ещё кар насулил бы Здоровцеву Глеб, не приметъ он впереди смутно-белого шара над землёй.

«Ну да! Это Катя! С хризантемами! От хризантем и этот свет там впереди!»

Минутой позже он успокоенно заулыбался душой.

Да! Это Катя!

Он позвал её с осторожностью в голосе.

Катя шла не останавливаясь.

Она не слышит?

Несколькими прыжками нагнав её, не смог он на удобном расстоянии остановиться на скользкой тесной стёжке и, боясь сбить девушку с ног, невольно обнял её за плечи.

– Не смейте ко мне прикасаться! Вы пьяней грязи! – жиганула Катя, брезгливо сметая с себя руки Глеба и толкая его в грудь.

Не устоял Глеб, повалился на плетень.

С хрустом подломился под ним плетень и упал.

Глеб потянулся встать и не смог. Совсем перешибла усталость, дух нечем перевести.

Ничего, отдышусь, догоню, сказал себе, прислушиваясь, как её шаги торопливо уходили по всхлипывающей под ногами грязи.

– Не уходите! Без вас так хорошо! – прошептал он. – Простите мне ошибку пьяного индуса...

Где-то далеко, не у речки ли, вроде пели.

Глеб прислушался.

– Не играй в мои игрушки
И не писай в мой горшок,
Ты ушёл к другой подружке,
Ты мне больше не дружок.

«Вроде как про нас? – трудно подумал Глеб. – Надо бежать
догонять свою игрушку...»

И лихостно запел:

– Ехала деревня мимо мужика,
Вдруг из-под собачки лают ворота.
Крыши испугались, сели на ворон.
Лошадь подгоняла мужика кнутом.
Лошадь ела кашу, а мужик овёс.
Лошадь села в сани, а мужик повёз.

Глеб дёрнулся встать. Но не смог.

«Счас... Соберу силы...»

Ему смутно вспомнилось, как он раз заснул в армии в карауле с горькими покаянными мыслями: «И спать охота, и родину жалко...» Теперь ему было жалко уходящую девушку... «А вот ей меня не жалко... Ей полный дофенизм до меня! Вот что обидно!...»

Стекло минуты три.

«Ну, вставай, спящая красавица...²⁴⁹ – трудно приказал

²⁴⁹ Спящая красавица (армейское) – часовой.

себе Глеб и ещё попробовал подняться.

Тут кто-то неведомый мягко надавил ему на лоб. Он как-то согласно снова опрокинулся и, словно пустив сквозь плетень корни лени в землю, остался лежать. Расстегнул ворот рубахи, вольней раскинулся на плетне и, усмирённый, блаженный, заснул без задних гач.

Его разбудил неожиданно ударивший по-июльски обваль-ный, породистый ливень.

Вскочил Глеб с плетня, закрыл глаза руками: как раз на-против, с больничного двора, выворотила машина. Слеп-лённый под дождём ярким светом, он не мог сразу понять, где он, что с ним.

Ныряя на ухабах, машина отвернулась от него, понесла, покатила попереди себя два чистых снопа света на низ, к цен-тру села.

По включённому проблесковому маячку Глеб догадался, что это была скорая.

– Эй!.. Скоренькая!.. Психовозка! Куда ж ты от меня? Дав-вай, милашечка, ко мне! Мне хужей всех!.. От меня ушла Она! – дурашливо вопил Глеб и жёг за машиной, пока не распластался посреди самой грязи.

Глава двенадцатая

*Рысь пестра сверху, а человек лукав изнутри.
Сердце не лукошко, не прорежешь окошко.*

1

Громоздкой горой пропихнулся Глеб в низкую нашу сарайную дверь, отдохновенно привалился к косяку. Расхристанный, он пьяно жмурился, потерянно катал голову по груди.

– Что, отец Глебию? Бухенвальдом угостили?

– Есть немного... Хваченый...

Я взгляделся в его одежду и ужаснулся:

– Боже! Да что ж ты весь в чёрной грязи?

Глеб с силой поднёс палец к губам.

– Тс-с-с... У меня... братишечка... траур...

– По недопитой лампадке?

– По сорванному ебилею! «Ах, ах... Не подходите, не подходите! Вы выкушамши! Я вас боюсь!» Сладенькая ты моя куочка!.. Да я, м-может, боюсь сам больше твоего... Я, м-можь быть, на то и выкушал, чтоб самому не бояться... Чтоб набавить рукам и мыслям божественной лёгкости... Иэх! Только ноги и время убил... Уплыла сегодня золотая рыб-

ка с крючком. Вековая беда... Ничего... В свой черёд я ещё дергану за свой крючочек... О-ой да ка-ак ещё дергану-у ж!

И неожиданно, не к месту пожаловался, будто в лужу ахнул:

– Беспорядок тут у меня, – тронул грудь. – Всё тут в беспорядке, как борода у шута...

Набычился он. Взмыкнул.

Хотел, похоже, грозно тряхнуть кулачком-кувалдой, так у него не хватило сил собрать пять братьев, пять пальцев, в кулак и поднять, отчего он, едва отлепив руку от бедра, мёртвой корягой уронил её снова к бедру.

А меж тем с него выжалась просторная чёрная лужа.

Жижистая лужа стояла толсто, подрагивала, словно думала, куда бы, в какую бы это сторону пустить чёрное жало ручья.

– Я скоблил, скоблил и топором, и кирпичом этот пол... А ты, слоняка... Разувайся да проходи!

– Не гони, ямщик, лошадей... Тряпку разок протянул... Велика важность! Да я двадцать... Какой там двадцать! Я тридцать лет драю этот самый поляру и, как видишь, не рассыпался на атомы. Ты кабану, курам выносил? На замки позакрывал?

– Выносил. Позакрывал. А дальше что?

– А хотя бы то, – зверовато сжал он зальдившиеся глядела. – Какие новости в мире животных? Чем там всё кончилось? Почему я не споткнулся о труп Святцева? Он что, всё

таскает мешками аппендициты?

– Не путай. Он не хирург, а терапевт. Дежурит сейчас.

– Дурапевт! И ещё дежурит этот раздолбай гороховый? Даже вон как! – подавшись ко мне верхом, на весь упор гаркнул Глеб. – До се не проводили с колокольным звоном? А зачем я тогда востребовал тебя? А зачем я тогда насылал на него тяжёлую московскую артиллерию, дозвошь узнать? Почему это пушечка так и не гахнула по этому михрютке?

– Не было наводчика.

– Ка-ак это не было!?! Ка-ак это не было!?!

Ему вдруг стало тесно в сапогах и он, не утруждая себя тем, чтоб наклониться да снять, рывком во весь мах ноги сдёрнул и один, и второй сапог, так что чёрное сеево брызнуло на печку, на рамку с семейными карточками под расшитой цветами накидкой, на настенный ковёр вокруг рамки.

– Тебе не жалко *пэрсидский* ковёр?

– Не жалко! Не жалко! Я деньги зарабатывал – пот кровью тёк! – а не деньги меня! – на высоких тонах отломил Глеб, босиком мечась по комнате, не чувствуя, казалось, подошвами ледяного пола, глянцевито поплёскивавшего. – За двадцать дней этот мясник изловчился не установить даже диагноз. На двадцать первом вывалил диагноз: по старости! Не дикость ли? А какие лекарства выписывал? Сплошная хрень-дребедень! Совсем не помогали. Четвёртого с нею ходил. Унёс с приема на руках. Шестого не могла встать. Я сам пошёл, сказал. А он? Будет хуже, положим. В башке не

укладывается... Неужели надо браться лечить, когда человек уже отбросит копылки? До крайности дожал и сфутболил в Ольшанку. И за всё за это хорошенькое ты не мог для начала спустить с него хоть одну шкурку?

– Что, за живодёра меня держишь?

– Ах, извините! Я забыл, что вы у нас интеллиго сопливое. За родную мать не постоять!

– Да что ж теперь мне убить этого Святцева? Если дело только в этом, лично тебе сподручней это и сделать. Ты и сильней, ты и свидетель всего того балагана, что разыгрался тут у вас. И потом. Я же звал тебя в больницу на разговор. Чего не пошёл? Какими-то промашками можно было бы стегануть Святцева по глазам так, чтоб он вздрогнул при начальстве. Но я-то всех тонкостей не знаю. А ты не соизволил пойти. Это и развязало руки Святцеву. У него в общем-то отговорка не лишена логики. Шестого ты пришёл и доложил, что маме лучше, что в боку перестало колоть.

– Но я ж и сказал, что она не может встать! Это почему он мимо ушей кинул?

– Мог бы это сегодня лично у него уточнить. А то он тебе сказал, что надо подождать, поскольку сразу положи сюда, в районку, в тесноту, здесь и здоровый заболает. Ты фактически и согласился? Согласился. На крайний случай, не стал возражать. Тоже пронадеялся на авось? Авось обойдётся, авось перемелется... А теперько чего ж чужими руками приставлять нож к святцевскому горлу?

Распаляясь, Глеб носился из угла в угол, явно набирал скандальные пары. Мне холодно было смотреть на его босые пятки. Холод наверняка прихватывал с полу, прихватывал, казалось мне, так сильно, что ещё минуту, и он не отдерёт пяток от желто крашенной доски, оставит их с мясом на полу, побежит на одних костях.

– Слушай! Тебе что, нету тапок? Простудишься!

– Мне всё равно! Я виноват!.. Святцев прав! Веденеев прав!.. Один я вкруговую виноват, сказав, что ей лучше. Да если б ты видел, какая она выморенная сидела тогда на койке – я бы всем глотку перегрыз!

– Не надо сильных выражений. Ты не на сцене. Не забывай, как говорит жена.

– Я-то не забываю... Как дело к празднику, ма не даёт проходу. Собери да собери ему посылку. И я, дурко, собираю. Яиц ли, яблок ли сухих, маринованных грибов ли... Что есть, то и шлешь вам в Москву. Самое лучшее! А ты много чего матери наслал?

И у него поворачивается язык... Хотел я всё тихо-мирно, ну раз нарываешься, так получай отдарки!

Я вымахнул из-под кровати трёхлитровую банку.

– Что это? – ошарашенно уставился на неё Глеб.

– Маргусалинчик твой! Самый лучший! Думал, отвезу назад, тихонько суну под кровать, вы незаметно и скормите кабану. Всё равно ж ему варите с нутряным свиным салом. Эвона сколько! – отмахнул кружевную занавеску, потыкал в

густо заставленный трёхлитровыми банками с жиром угол. – Не кормите, пропадут ведь!

– Пропадут не пропадут – не твоя печалища! Сами растили, сами как да ни будь и разберёмся... А крепко ты с маргу-салином с этим... Тебя с ног не свалишь. Мы на нём картошку жарили. А вы... Брезгуете... Хорошо-о, столичане, живёте! А то всё прибеднялся – бьёмся на одну Валентинкину зарплату!

– Да. На одну.

– Какого ж ты околачиваешь хреном груши? Чего было драпать из штата редакции в этот дурацкий комитет литераторов? Совсем выпал из лада... Стаж идёт, а жить по-человечески когда?

– Так... Мы с Валентинкой люди скромные. Мы не томимся в кругосветных путешествиях... Не знаем, как открываются двери в тех ресторанах. Мы обходимся прекрасно без своей «Волги», хватает одного харьковского велосипеда... Да и при одной твёрдой копеечной зарплате мы и разу не нарисовались у вас с пустыми руками.

– Велик навар с вашего мусора! Платочек, туфельки, козыночка, отрезик... Ну вы ещё ладно... А вот этот бегемот рыжий... Митя преподобный! Ему мать трёх девок каких вынянькала! А он ей за все-то её египетские труды только и подсубботил²⁵⁰ единственный джемперок! Я, говорит, на горбочку добываю денежки. Мне, говорит, помимо матери

²⁵⁰ Подсубботить – подарить.

есть кого одаривать. Каково слушать? Ни у тебя, ни у рыжего нету матери!

– Не ты ли нас родил?

– Это моя мать! Я двадцать лет один с нею живу! Это только моя мать!

– Однако ты жуткий собственник.

– Вы оккупировали себе по горячей тумбочке, отхватили в загсах под расписочку. Будите их на боевой зорьке кошачьими поцелуйчиками, в постельке кормите с ложечки, моейте им ножки. А матери вы целовали руки? А матери вы мыли ноги? А мать вы кормили хоть раз с ложечки? Не-ет!.. Мать вы за-бы-ли-и, как меня заешь! Напрочь забыли! Один я кормил её с ложечки, когда не могла держать ложку. Подынешь... Вся худая... Косточки одни... Каково?!

Нервные скорые слёзы покатались у него из глаз.

2

– Будь моя воля, – продолжал Глеб, промокнув глаза рукавом и саданув гиревым кулачищем в ладонь, – я б вас, любящие сыночки, вздёрнул бы на одном высоком суку. За ваше отношение к матери. Тот завернёт раз в квартал, слова ему некогда человеческого сказать. Он вечно или жуёт, или пьёт. Ты объявишься, губы ломаешь. Это пересолено, то подгорело, это бьёт в нос! Чего ж ты хочешь от старого человека? Ей за семь-де-сят! Не за семнадцать!.. Не слышит носом, не различает вкусы на язык. Что ж не смолчать лишний раз? Невжель высекать тебе боль на материнском лице первое счастье?

Нотация начинала донимать меня.

Да не останови его, до света будет толочь божий дар с яичницей!

– Послушай, нештатный ангелочек! Помолчи о своей любви. Она, эта любовь, такая горячая, что едва не допекла маму уйти и отдельно от тебя сладить хатушку. Любофф тогда была. Только к кому? Ты тогда схлестнулся с одной бражной свистунеллой, загорелся в дом вести ненаглядку. Мама воспротивилась. Ты куда её послал? Ты как с нею заговорил?

– Ну и что? А ты как думал, прожить вдвоем столько и ни разу не пукнуть? Э-э! Так не бывает. В кружку не без душку... Ма шатнулась к тебе. Что же она у тебя не уякорилась?

– Я оставлял... Не осталась... Затосковала по Гнилуше. Твердила, я всю жизнь тёрлась в делах, была в сохе да в бороне, тянулась в нитку. Когда только и спала? И вдруг на! Пустяком сиди днями у окна, как ворона. В Гнилуше минуты не посидишь, и бегаешь, и бегаешь навроде заводной где в магазин, где на огород, где к кабану, где к курам. Бегаешь и здоровше себя чувствуешь. А посиди, а покисни денёк без дела, на другое утро уже с койки не сползёшь. Что ж мне ей погибели желать? Я и отпусти. Ты как раз прислал письмо. Наказывал мне: береги маму, а то уши пообломаю! Звал её назад, клялся, что той веснушчатой твоей свистушки-пеструшки ввек не будет у нас в доме. Я и отпусти спокойно.

– Видал! За моим горбом ты спокоен. Еще бы! Да возради матери я изжил жизнь! Если хочешь, пожертвовал ей свою жизнь!

– И ты уверен, эта жертва ей нужна?

– Нужна!.. Вон на третьем курсе институт потребовал с меня, заочника, работу в колхозе. Уже тогда будущему агроному надо было быть при земле. Я не поехал в колхоз, бросил институт. Ради матери! Не покидать же её одну!.. А я б мог с дружками закатиться и во Львов, в милицейскую школу. Да с кем оставишь мать? С четырьмя этими сарайными стенками? И теперь благодаря мне *тот* королевствует в шишкарях районных, ты в столицанах. Один я копаюсь как проклятый жук в навозе!

– А это уж, брáтушка, у кого какое хобби. Задним чис-

лом не делай из себя великомученика. Неинтеллигентно. Ни Митрофан, ни я не поднимались на твоих костях. Бросил ты, ленивая соха, институт и не поехал в школу по причине несусветной лени. Ты болезненно ленив, и мама тут ни при чём. Будь причиной мама, ты наверняка призвал бы нас на совет, и мама жила б со мной или с Митрофаном.

– Как же! У того свой содом. Да и с тобой больно манит её жить? Ты у нас славный норовом, чистый как бумага. Только что же она у тебя, у хорошего, не осталась?

– Как ма говорит, опять за рыбу гроши? Опять двадцать пять?

– Опять! – выкрикнул он с больным вызовом. – Если ты такой хороший, забирай к себе. Полторы тыщи кидаю без прений!

– Во столько ты, бессребреник, мать ценишь?

– Как угодно толкуй. У нас на книжке три тыщи. Половина книжки её.

– Заберу без денег.

– Ага! – зло коротко хохотнул Глеб. – Ты заберёшь. Все тугрики отнимешь и прогонишь. Это я, Дураков, ломал с нею беду и горе пополам.

– Не бойся. Как-нибудь поделим и мы.

– О! Ловлю на слове!

Выхватив из потайного кармана мелкий ключ, Глеб в два просторных быстрых шага был у серванта.

Ткнул ключик в замочную скважинку. С минуту лихора-

дочно вертел игрушечным ключиком, но открыть никак не мог и, разбитый нетерпением, рванул ключ.

Сухой, капризный треск полированной доски – изувеченная дверка отворилась.

Из её торца горбился язычок ключа.

– Вот! – мелко вздрагивающими медвежеватыми руками выгреб он из вороха старых квитанций, счетов, рецептов какую-то ветхую, отёрханную книжищу, швырнул на стол. – Вот!.. Тут!.. Всё!

Меня почему-то начал душить смех.

Стараясь не засмеяться, я нарочито вежливо взял книжку, оценочно скользнул глазом по названию. «Изобразительное искусство древнего Новгорода». (Привёз её Глеб из турпоездки.) Перевернём, посмотрим цену. Рубль пятьдесят.

– Это и всё? – скучно спросил я и непонимающе уставился на Глеба.

– Всё там! Внутри!

Вырвал он назад к себе книгу, откинул обложку. Сотня!

Сотню на стол.

Перекинул первый лист. Ещё сотня.

С пристуком хлоп на первую сотню.

– Мало?

Я молчу.

Суматошно зашелестел он, переворачивая листы.

– Пятьсот! Шестьсот! Мало?

Я молчу.

– Шестьсот вот восемьдесят! Всё!

– Мало.

– Гребни под метёлочку! – Он выдернул из ящика, где была книжка, консервную поржавелую банку, с грохотом вывалил из неё мелочь на верх денежной стопы.

Вывалил и в горячем нетерпении уточнил:

– Ну теперь-то хватит?

Я степенно пересчитал мелочёвку.

– Не хватит. Ты замахнулся на полторы, а тут всё про всё шестьсот восемьдесят три рубля сорок девять копеюшек. За вами, сударь, должок. С вас причитается восемьсот шестнадцать рублей пятьдесят одна копейка.

– Досниму с книжки. Без оха отдам!

– Тогда и продолжим наши танцы. А сейчас, во избежание возможных недоразумений, давай в законном порядке оприходуем имеющуюся сумму. Все деньги на столе мои? Я правильно понял?

– Твои! Твои!

Я протянул ему школьную тетрадь в клеточку. Я собирал в неё любопытные истории, слова.

– Пиши вот тут, – показал я на чистое место ниже испи-санного: «*Все деньги мои*». – Пардон, не *мои*, а – *твои*. А то напишешь *мои* и угребёшь назад. Из тебя потом никаким судом не выколотишь.

– На черта эта писанина?

– Для порядка. Я всё делаю чисто. Указывай сумму. Рас-

писывайся.

Я поднёс шариковую ручку с чёрной пастой.

Деваться некуда.

Нервно, размашисто кидает он по листу:

Отдаю всё что, лежит на столе!!!

Вскозырился, кипит мальчик.

Даже запятую не туда сунул.

– Видал, отдаю всё... О-ой, хитрунелла! Не порть мне документ.

– И не думал, – натянул Глеб губы. – Всё, оно и есть всё.

– Э нет! Прими я эту расписку, ты, положив ручку, цапнешь деньгу и будешь прав. А мне достанется всё остальное на столе: стёртая резинка той поры, когда ты в первом ещё классе сводил ею двойки в дневнике, огрызки трёх простых карандашей, засохлый паук, обломок шила – всё, что было в банке с мелочью. На что мне весь этот вздор? Переписывай по-новой бумагу.

– Вот тебе моя бумага, рак меня целуй!

Со всего гренадерского роста он съеденным, стёртым в работе узким ножом, валявшимся на подоконнике, бьёт по деньгам. Пожалуй, на палец нож вбежал в столешницу и закланялся в обе стороны.

– Деньжанятки-то, родные купилки, на что колоть? – отшагнул я на всякий случай.

– А чтоб ветром, братишечка, не унесло... Прикнопил...

приножил...

Сбычил он кровавые глаза на форточку.

В форточке с самого лета не было стекла. Толчком предгрозового ветра ударило форточку, стекло вылетело. Стало дуть как из трубы.

Глеб привык к этому холодному, прохватывающему сквозняку. Зато теперь, заметив, что от окна не несло, смешанно подивился.

Для проверки пихнул палец в форточку.

Палец сухо тукнулся в стекло.

– По щучьему велению затянуло стеклом? – спросил он, бессмысленно полуулыбаясь.

– По щучьему...

– А спасибо даю не щуке, а тебе, братунчик...

3

Завтра Глебу-раноставу вскакивать до света к первой смене, так что нелишне пораньше и лечь.

Час поздний, глухой. Хватит попусту мять слова.

Кончать этот нудный спектакль!

Бессуетно, ладясь не уширить рану в столе и в деньгах, тихонько вышатнул я нож из столешницы и, сунув его почему-то к себе вниз ручкой в носок на ноге, принялся ногтем заглаживать прорезы на хрустких шелестелках и отправлять по одной в карман.

Сложив руки на груди, Глеб с каким-то нарастающим недоумением, я бы сказал, с какой-то просыпающейся, с трезвеющей у меня на глазах тоскливой тревогой всё тесней сводил набухлые брови и, не выдержав, с вызовом накрыл ладоницей уполовиненную уже горку шуршалок, спрессованных, вжатых друг в дружку одним сквозистым поранением.

Он молчал.

Я тоже молча медленно пронёс у него перед глазами его расписку, разрешающую мне брать всё, что пребывало на столе, взял его руку за каменно-твёрдый от постоянных мозолей большой крюковатый палец, вежливо перенёс и опустил в четверти от джорджиков.

Рука не двигалась.

Она виделась мне затаившимся зверем, который, прики-

нувшись мёртвым, выжидает удобный момент, чтоб со всей жестокой силой навалиться на жертву, внезапною сломив её.

Делая вид, что я с неохотой разглаживаю и забираю деньги, я таки медленно поспешал.

Я чувствовал, в нём боролись силы великодушия и мщения, силы слова и дела. Ему хотелось выставить себя стоящим выше каких-то бумажек. Однако копились они долгие годы и ему жалко было их. Налететь и отнять или продолжать игру? Игра-то игрой, читал я в его взгляде, да не окажусь ли я в один миг на мели?

Я медленно поспешал.

Глеб даже обалдело приоткрыл рот, когда последнюю медяшку кинул я себе в карман и для надёжности обстоятельно зашпилил карман его крупной булавкой.

Играть так играть!

– Всё угрёб? – мстительно холодея лицом, вытолкнул он сквозь зубы.

– В соответствии... – Я ещё раз медленно пронёс у него перед глазами его расписку, трудно удерживая в себе смех.

– Угрёб для своей... Забавнице своей, командировочная ты пиявка, ты таскал дыни, арбузы, виноград. Пёр из самой из Средней Азии! Центнерами наволакивал! А больной матери ты хоть кисленькое яблочко привёз? Хоть напоказ?

– Зачем же вам кислюшка, когда у вас сладких целый сад? До самого марта свои яблоки не выводятся?

– Ну и что!? А ты привези! Ты внимание поднеси. Любовь к матери окажи!

– А-а... Тебе *оказия* срочно понадобилась... Так была! В отпуск, в медовый месяц, мы с женой закатились в Астрахань убирать арбузы. Чтоб хоть поесть до отпаду. Я взял ещё командировку от журнала, очерк написал... Всё дешевле. Привезли вам арбузище в двадцать пять кило! Может, самый крупный в мире... Это не *оказия*?

– Так это один раз! Это не любовь... Ну так где она твоя эта самая любoff? Вот с чем ты заявился к больной матери? Пузырёчек мумиё, пузыречек облепихового масла, травушки, настоечки... золотой корешочек... Этой дребеденью собираешься мать подымать?

– А ты хоть знаешь, как и откуда эта дребедень пришла к тебе в дом?

– Ты ещё спроси, чего она стоит. Отвечу: не дороже грязи, братишечка! Так как насчёт любви? Где она?

Он мрачно, сосредоточенно оглядел стены, потолок, пол, сунулся под стол, толкнулся к шкафу, заглянул за дорогое пальто, за чёрный костюм. Заглянул даже за дверь в сенцы.

Устало раскинул руки:

– Что-то нигде не вижу эту госпожу Любоff. А увидеть хочу. Ты всёжки покажи. Мы тогда и увидим. Мы тогда и оценим. А то на словах вы все любите мать. А как до дела... Ни у тебя, ни у того рыжего Капуцинкина нету матери! Вы не любите, я один её люблю!

– Особенно когда перенедовыкушаешь. Ты чего, пернатый друг, добиваешься? Чтоб я уехал?

– Пожалуйста! Не держу!

– Не-ет, дорогуха. Такого счастья я тебе не поднесу. Ехал я сюда в долг. А теперь-то с моим капиталом, – давал я оттопыривавшие на груди пиджак шелестухи, – спокойненько могу отбывать в вашу гостиницу. Как она называется?

– «Националь»!

– Расплатиться за койку, надеюсь, хватит. Дождусь утра, дополучу с тебя свои законные восемьсот шестнадцать рублевичей пятьдесят одну копейку и отбуду. Да прежде чем удалиться, я скажу маме, что ты меня прогоняешь.

– Этого не делай. Умрёт она – не напишу! – сорванным дурным голосом прокричал он.

И в этом его крике я впервые за весь наш дурацкий трёп услышал правду.

Я обмяк.

Из меня как-то разом вывалилась охота говорить.

«Эх, Глеб, Глеб... Придёт утро, протрезвешь... Но поймёшь ли ты когда-нибудь?.. Мама... цепочка... Связывает всех нас троих. Случись беда, рассыплется наша цепочка... Увидимся ли мы когда-нибудь потом? Без мамы?.. Что нам делить? Что за грязь между нами? Не нам ли надо быть всегда вместе? Пока не поздно, не нам ли в святости беречь нашу...»

Стылая боль разлилась в груди, зашипало глаза, и я вы-

скочил во двор.

4

Когда я вернулся, Глеб выбирал золу из печи.

Как-то прощённо, скупно улыбнулся он.

– Хорошо у вас на Зелёном, – глухо заговорил Глеб. – Золу не надо выгребать. Батареи вечно греют. В одном кране спит горячая вода, в другом холодная. Рай! Э-хэ-хэ, тыря-пыря! А тут... За этими парламентскими дебатами совсем забыли про зверьё. (Всю домашнюю живность Глеб называл зверьём.) Надо наварить поросёнку, курам, козе. А то чем кормить?

– А тебя-то самого чем кормить? Или ты сытак?.. Что дрючил?

– Винишко.

– Какое?

– Самая последняя марка!

– Портвяга?

– Не-е...Портвейн – первая марка. А мы чёртову кровь сосали, фруктовое. Так, мультка...

– Пан Думалкин, вредно тебе фруктовое.

Вижу, виновато лыбится, неловко ему за скандал.

– Да тебя, изверг, – осмелев, потянул я его за нос, – я имею полное право бить для профилактики. Ну! Так бы и запустил скворца в душу!²⁵¹ Вот что ты тут за бредовину нёс? Уйди я

²⁵¹ Запустить скворца в душу – ударить кого-либо в грудь.

спором, перенесла б это мама? Хорошо, что не ушёл. Хоть один человек в доме трезвый.

– А я под парами, да расчётливей. Тебя ничем не выгонишь! – Он осклабисто усмехнулся. – Ты извини. Не то я плёл. Не корми зла... Мы свои... У вас жёны, дети... У Митьки трое... Будут и у тебя. А у меня нету и не будет. Я живу ради матери одной... Если б ты только видел, какая мама плохая была. То хоть она лежала, всё ойкала. А то один и один... Устал... нервы... сорвался... Вот ты с погрёком, чего я не пошёл к Святцеву. А я тебе как на духу: не поманило на пятнадцать суток набежать. Я б ему в белую этикетку обязательно заехал!

– Такая выходка стоит дороже. Пятнадцатую сутками не отбояришься. Он бы вытер свою белую и снова на коне. А тебе года три удружили бы. Тебе это край надо? Тут нужна дальнобойная деликатность. Я мило побеседовал с ним, дал понять, с кем имеет дело. Нахами ещё, уж я побеспокоюсь. Как минимум разлучу с белым халатом. А это дурноеду могила на всю жизнь. Таскай кирпичики да помни!

На газетный комок Глеб шалашиком уложил мелко поколотые чурочки, сыпнул сверху угля-орешка.

Бумага прогорела.

Но дрова не взялись сразу огнём, зачадили.

Полез дым из-под ведёрного чугуна.

В нём готовили поросёнку и курам.

С веранды я принёс корчажку зелёных помидоров в чёр-

ных пятнах. Горькие отдарки бедоносного лета...

Вспомнилось мамино:

«Июнь, июль выскочили тэпли. Богато завязались помидоры, по ведруросло коло корня. Сроду нэ було так багато. Плясали коло них всэ литочко. Забурели – посыпали гнилые да холодные дожди, ничему не стало росту. Зайдешь на горóд – плакать хочэться. Мокнуть, чёрниють наши помидорики. Наносили в хату двадцять ведир – вси пропали. Так толком и не распробовали...»

Я брал из корчажки помидоры, резал и бросал в чугу́н, где поверх свёклы и картошки белел осадистый ком свиного жира.

Уже не минуту и не две стоит Глеб на коленях перед им же заляпанной печкой и никак не может растопить.

Отстраняясь верхом, он глубоко набирает в лёгкие, до самого доньшка, воздуха, пришатывается к дверце и дует с таким остервенением, что мне становится жутко.

Зола и дым бьют из печки ему в лицо, чёрным тугим облаком обнимают его.

Он руками отталкивает от себя почти недвижимое облачко, страдальчески смотрит на меня.

Мне его жалко.

Самому хочется кинуться на колени добывать огня.

– Был бы женат, – на присмехе подначиваю, – было б кому дуть... Давно было б всё наварено и кабану, и курам, и даже, может быть, тебе. Наверняка было бы в доме тепло. кланялся бы в полночь печке. Чего не женишься?

– На ком? – с сарказмом осведомляется он из дыма.

– На какой-нибудь бакланке, надо полагать.

– Да покажи мне хитрохвостку, на которой я мог бы жечь! Такую днём с факелом в руках не сыщешь!

– Правильно мама говорила, ты сам себя любишь раз в год и то в високосный. Перебо-ористый жених.

– Жених не жених, – вслух опало думает Глеб, – старый дев, как зовёт меня Митрофан. Старый не старый, а вот что

горький бобыль... Горький бабух²⁵²! Это уж точно... Ну на что я положил лучшие годы? На что?.. Не построил своего дома, не вырастил сына, не посадил дерева... Не вырастил даже колоска. Ничего не сделано, всё проспано! Хоть рисувай мемуары «Моя жизнь во сне». Человек должен оставить след на земле. Разумеется, следа своей обуви маловато. Нужно нечто гораздо большее. У меня ж кроме следов обуви – ниче-го... Зажился я в долг... Должник... Прямо под лад фамилии. Какая-то она у нас дурацкая. Долговы... Всему миру должны! Гм... Какая-то зудящая... Будто ты должен вечно кому-то...

Глеб замолчал, не сводя тягостного взора с холодной дымной печки. Грустно усмехнулся:

– Да оно и ты должник. Ну, где твои дети? Чем ты, женатик, отличаешься от себя того, холостого? Че-ем?.. Где, позволь узнать, твои... ваши детки? По части деток у вас, извиняюсь, прочерк... То-олстый прочерк-с... А деток нету... Вас ничто не связывает. Живёте, как квартиранты!

Прыгая с пятого на десятое, он горячечно пушил всех и вся, сыпал обвинениями так плотно, что я не мог вставить и слова. А и начини я говорить, он жестом велел молчать. Да слушай ты старшего!

– Раньше, – гремел Глеб, – дети нужны были! Сами в поле, и дети в поле. Старшие спиногрызы смотрели за мелкотой. Чтоб не уползала, привязывали к кусту, к колесу, к оглобле.

²⁵² **Бабух** – холостяк.

А сейчас киндерята нужны? Особенно по городам? Выйди на Арбат... Выйди на Невский... Выйди на Крещатик... Выйди на Дерибасовскую... Кого прогуливают? Цу-цы-нят! Цу-цыка любой национальности увидишь! А ребёнок уже вроде того как в диковинку. В стыд! Видите, немодно заводить ребятёжь. Не спорю, собак тоже надо любить. Как не любить друга человека? Любить не только в нынешний год собаки! Но не докатимся ли мы до таких степеней, что землю заполнят одни друзья, а люди напрочь выведутся, как дивнозавры? Не взвоют ли смертным воем тогда наши дружбанчики? Им же жрать нечего будет. Не хотите стараться ради киндер-сюрпризов, ради самих себя – постарайтесь ради друзей, что ли... Вон в Гватемале обычай. Прогуливают поросят! Я уже говорил... Дефилирует, скажем, по проспекту парочка, а на поводке похрюкивает кабанчик или свинка. Чего ж этот гватемальский шик да не пустить нам в моду? Выхаживали б и в магазин, в магазин, в магазин! Глядишь, вот и мяско на полках замаячило!

– Да в тебе государственный ум сидит!

– А то что... Уже в мятых годах сляпают с грехом напололамки одного демонёнка и наплясывают вокруг него, наплясывают да от врача баба не вылазит... Кольцовых, Толстых убивают! И помогает им в том хвалёная человеколюбивая медицина! Эхма... Медицина тоже... И хорошо, и не очень... Раньше при слабой медицине был естественный отбор. Гниль пропадала сразу. Сейчас гниль до ста лет мучит и

себя, и родных... Это я так... Лирическое отступление. Все хотят себе вечного курорта. Вот твоя молодая, красивая чего не рождает? Лень? Боится талию потерять? Отдыхать всю жизнь желает?

– Успеется.

– Было б вам по семнадцать...

– А что, намного больше ей? Туда подальше родит. А пока никак нельзя, пускай подучится. На четвёртом курсе. По вечерам в финансовый бегаёт. Сейчас, в молодости, что ухватит, то и её. С ребятаём же кроме пелёнок и горшков ничего не ухватишь!

– Всё-таки идут замуж ради детей, а не ради одних диванных игрищ.

– Откуда такие точные сведения? Да вырасти в Москве человека... Ты знаешь, что это такое?

– Что, в Москве концлагерь? Другие рожают, растят...

– В деревне всё проще.

– Ага! И у деревни, и у города свои плюсы, свои минусы. Только что-то все бегут от деревенских плюсов к городским минусам. А в деревне, между прочим, труд на износ. А в деревне, между прочим, как и везде, ничего не делать – само не сделается. Не пукнешь – духи малиновые сами не пойдут. Вот ты скачи назад в деревню! Давай к нам на заводикшко в слесарьки. А то ты у нас чистенький, беленький... Строгаешь про людей... А людей – рак меня заешь! – не знаешь. Какое ж ты право имеешь писать? А ты спустись в низы, пой-

ди поишачь вместе с низами, покушай низовского хлебушка. Правда, после школы ты его кушал, да маловато. Подбавь!.. А-а, сразу поскучнел. Ну да... У тебя диплом-поплавок! А что диплом? Да!.. Мужик я добутной... Да я экстерном могу отхватить хоть два! Счастье какое – плавать с дипломом по верхам...

– Корабль, между прочим, ходит по поверхности океана. Вглубляться опасно.

– Да не тебе! Ты вон меня в тетрабочку записываешь. В форточку слушаешь, как говорит улица, записываешь. А ты с чёрной костью потришь, устакань гранёный водки из-под лодки да рукавом закуси. Они тебе сами жизненный романюху наскажут!.. И не хвались, что не попиваешь и не манит. В том проку круглый ноляха, орденов не кидают. А прикладывайся с умом, давно б был в дамках. Ради дела сломил бы себя. Сейчас непьющему трудней, чем безграмотному. Накатилось мало-мальски серьёзное делишко... Без бутыльца не прошибёшь! И вообще, слышал, непьющих берут на подозрение...

Как-то придушенно, сиротливо прокричал наш петух.

– Слышь, – кивнул я Глебу, – петухи запели. Пора тебе жениться.

– Что ты, братуля! – разом обеими руками отмахнулся от меня Глеб. – Что ты! Как говорит Кузьминишна, Боженька тебе навстречу! Да я женюсь, когда волос на ладони вырастет! Этих вилюшек на мой холостой век хватит. А вообще я

бабняк ненавижу. Если б не природа, я б их и вовсе знать не желал. А так... Один хлеб приедчив... Специализируюсь я больше на легкодоступной публике разового интереса. Разведёнки, вдовушки, христовы невесты...

– Конкуренция с самим Господом?

– А ты думал! Есть ещё девушки Петра Великого.

– А это что за девушки?

– Сидят ждут женихов со времён Петра. Есть бабушки-резвушки. Ей лет тридцать шесть – сорок, кому-то она уже бабулёк, а нам сама огнёвка. Соломка в стогу за погостом под ней так и искр-р-рит!

– Ну, потопчешь свою резвушку, как петух курицу, а дальше что? Какими глазами смотришь?

– А чего смотреть? Какие ещё смотрины по ночам? Культурно стряхнул с её элеватора соломку и дуй до хаты. Порознь, конечно. Всяк своей стёжкой...

Долгие годы доискивался я семечка, что пустило в Глебе ярую неприязнь к девушкам. Не натура свила в нём это зло, это уже молодость наградила его этой горькой медалью...

Всё вокруг любил он молчаливой восторженной любовью. Не тронет деревце, не пнёт кошку. Уж на что не любил мышей, а моет, бывало, в детстве пол, наткнётся где-нибудь в заброшенном под сундук старом ботинке на ещё слепой розовый мышиный выводок. В плохое ведро не вымахнет. Вынесет за сарай в стожок, выроет гнездо, в гнезде и оставит тайком ото всех.

Или...

Загнать вечером кур в сарай – адова мука.

До ночи будет носиться, но хворостиной не замахнётся, палкой не пустит, подворачивая глупую пеструшку к дверному распаху.

Пас сколько коз и разу ни одну не стегнул. В холода всё клянчил маму брать на ночь козлят из сарая в дом и засыпал с самым маленьким и слабеньким у себя на груди.

Вспоминается, как мы таскали навоз на огород. Как таскали на плечах с огорода всё, что тамросло.

Глеб навьючивал себе мешки – страшно смотреть.

Сядет на пятки, надвинет, натянет на себя горой чувал и

почти три километра вприбежку домой.

Меня он берёт.

Всегда давал мне, младшаку, нести меньше того, что я мог донести. Всё говорил: успеешь, натаскаешься, твой мешок от тебя сам не ускачет.

Как вспомнишь, какие мы, пацанята, нянчили чучвалы, тошно становится.

Ни один тогдашний мешок я сейчас не то что унести – поднять не смогу.

И в детстве, и в юности Глеб был мне первым защитником. После школы мы с год вместе работали на одном заводишке. И тут, когда начальство накатывалось пробирать меня, между мной и начальством становился Глеб, и воспитательный приступ как-то сам собой глож.

А потом нас жизнь развела.

Газетная карусель кружила меня по стране.

Я дни считал, когда снова увижу своего Глебушку. Магнит его чистоты, участия всегда тянул к себе.

В каждый отпуск я был дома. Мы не могли наговориться. Глеб рассказывал о своей заочной учебе, о прочитанных книгах, об увиденных фильмах, о своих путешествиях...

И вдруг ровным счётом ничего из всего этого.

Рос человек, казалось, в счастье шёл в гору и будто смерчем сорвало, сошвырнуло в гибельную пропасть. Должно быть, произошло что-то страшное, если вот так вдруг выпал он из жизни, как голый птенец из гнезда, и уже безо всякого

к ней интереса, пусто изводил дни свои. Отчего же вот так враз сварился парень, которому не было ещё и двадцати пяти?

Не однажды подтирался я к нему с зыбкими полурасспросами.

Грустно улыбаясь, как улыбаются малешке, когда тот затевает что-нибудь не по детскому разуму серьёзное, Глеб хлопывал меня по плечу и уклончиво выворачивался из разговора.

Но сейчас, стоя перед печкой на коленях, он с пьяных глаз вывалил то, что прежде так скрывал.

Оказывается, в его контрах с женщинами была виновата... женщина.

Я не стану её называть.

Я видел её всего лишь раз.

В тот день я приехал в Гнилушу в свой очередной отпуск. Вечером Глеб потащил меня в кино.

По пути он весело говорил, что завтра едет в Лиски на двухнедельные курсы. А сегодня ему охота познакомить меня со своей невестой. Она с билетами ждёт нас у входа. После курсов понесут заявку на расписку. Всё у них сговорено.

Мы опоздали к началу.

Жизнерадостно уже гремел журнал.

Мы быстро вошли и в зале, при мерцающем свете над головами, Глеб познакомил меня с нею.

Помню, сидела она между нами.

Глеб держал её за одну руку.

Свободной она всё досаждала мне. Прихватит кожу кого-то точками то на локте, то ниже или выше локтя (я был в безрукавке), порядком вкогтится да ка-ак крутанёт.

Нашла весёлую игрушку!

Щипка так после пятого я молча отодвинулся от неё в кресле, насколько это возможно было.

Она бесцеремонно притянула меня за ухо к себе, дурашливо вшепнула: «Дурасёк!» – и, прикусив мне мочку уха, небрежно оттолкнула за ненадобностью, словно выбросила наскучившую ей безделушку.

Ей было лет двадцать.

Она была в меру красива, почти в меру умна, зато без меры коварна и блудлива. Если первые качества всегда на виду, то о существовании последних узнаётся потом. Человека, как и айсберг, нельзя видеть всего сразу. Что-то, конечно, самые пустяки у плавучей горы наверху, однако скрытое водой в этой горе всегда значительней, потому что держит весь ледяной восторг на поверхности.

Глеб писал ей каждый вечер.

А разве могла отстать она? Чем она хуже? Она тоже писала каждый вечер, что, к слову, вовсе не мешало ей ежевечерне встречаться с подвернувшимся командированным.

Время у неё было строго разграничено.

Письму – закатный час дня. А свиданиям (по пути на свидание она опускала в почтовый ящик письмо с лепестками

роз), а свиданиям – вся ночь вплоть до размытых рассветов.

Она уехала с командированным.

А что же Глеб?

Всё то, что делал он вчера, всё то, что вчера было полно высокого смысла – всё вдруг померкло, всё вдруг потеряло всякий интерес, всякий смысл. Он бросил институт. Его больше не видели в библиотеке, не видели в кино.

Да что кино!

Он телевизор годами не включал, и теперь захочешь – не включишь. От безделья весь ящик зарос паутиной, перестал показывать.

Скажешь, бывало, отремонтируй.

Глеб только кисло пожмурится да отмахнётся.

Не вяжись!

Осталось у человека одно.

Работа.

Всё поглядывая на часы, скачал кое-как смену и пошёл пал давить бока. Спать стал он много. Даже как-то сам подивился и мрачно сострил: за сном всё некогда написать свои мемуары «*Моя жизнь во сне*», а во сне почему-то не получается.

Такую беду не заспишь.

Сломалась у парня жизнь, хрустнула, как детский стул под тракторной гусеницей. И похожа его жизнь на раздавленный этот детский стул. Все в нём части новые, а валяются пыль-

ной горкой на чердаке. И составит ли кто их снова в стул или их однажды выбросит?

Знал человек, зачем жил.

Теперь вот не знает...

Высока себестоимость женского вероломства. А впрочем... Разве тут таксу введёшь? Всяк свою плати цену.

– Она мне одному насолила, а я им, – Глеб бросил чёрную от возни в печке руку в сторону двери, – целому косяку! Выложил обиду!

«Вон как! Не хватило тебя перебебовать беду, пал до места?», – подумал я с сожалением и посмотрел на дверь.

У двери никого не было.

– Где же твой косяк?

– Где и должно быть косяку. Каков подарок, таков и отдалок...

Я принялся изучать дверной косяк.

Косяк, как и дверь, был покрыт свежей нежно-голубой краской. Ничего особого не увидел я на косяке, если не считать мелкие, аккуратные насечки по краю.

– Что, на ажурную резьбу повело?

– Сам ты резьба! Да это стольким вавилонским блудницам отлил я свои слёзки! – победно выкрикнул Глеб. – Как зарубка – так дрючка с моим знаком качества!

– И у кого ты перенял эту песенку?

– Мы скромно держим равнение на! – Он вскинул указательный палец кверху. – На наших богов в рейхстаге! Пер-

сонально на гэнсэкса Пендюрина! Это наш верхнегнилушанский рулевой. Партайгеноссе! Вольго-отно живёт. Как Ленин в Разливе. Падок наш рулевик до бабняка. Похотливей колченогого гномика Геббельса!²⁵³ Знай скачет из одного Баб-эль-Мандебского пролива в другой, из одного в другой.... Этот членопотам Пендюшка полрайона по-чёрному огулял... И после каждой отжарки – зарубку на косяк. У партии нет секретов от народа! Мы всё знаем! И поступаем, как учит великая партия! – торжественно указал он рукой на свои свежие зарубки.

– Ну, зачем ты портишь косяк? Как оформил какую хризантемочку – рисуй звезду себе на банкомате.²⁵⁴

– Не пойдёт! Когда-никогда я всё-таки моюсь. И будет всякая звёздочка лишь до первого заводского душа. А это – он победно глянул на свои зарубки, – несмываемо! Нестираемо!

– Зато сгораемо.

– Обнеси нас, Боже, пожаром, – покорно вздохнул Глеб. – Сохрани все мои... Девяносто девять штук! Тютелька в тютельку. Хошь пересчитай. Ты считай зарубки. А я по порядку стану называть фамилии, ни одну не пропущу. Кочкина, Краснощёк, Невалышкина, Рябоножка, Лежачёва, Плутало-

²⁵³ **Геббельс Йозеф** (1897 – 1945) – с 1933 года министр пропаганды, глава пропагандистского аппарата фашистской Германии. Идеолог расизма, насилия и захватнических войн.

²⁵⁴ **Банкомат** – зад.

ва... Вот на ебилее забуксовал. Никак ебилейная не набезит...

Я оторопел.

– Постой, постой... У тебя что, трёх вольтов не хватает? Какая ж тут любовь? Тебе Катя нужна была всё-то лишь для юбилейной зарубки? Какой же ты матёрый баптист!²⁵⁵

– Не обскорблять! М-может, я испытывал, как она... Сразу или погода... Сразу по мусалам мазнула. Молодчинка! По обычаю, я прогуливаю своих кукушек в сторону погоста. Поближе к стогу. Туда эта сразу не пошла как все. Все ходили, а она взяла и не пошла. За это я – рак меня заешь! – может, на ней и женюсь!

Последние слова проговорил он машинально, так, с разгону. Вывернулись про женитьбу слова, не удержал, по инерции и высыпал.

Однако, видать, они ему легли к душе, он уже твёрже повторил:

– Женюсь! А что? Я, баобабник, да не могу жениться? Давай на спор!

Протянутая рука перевесила его.

И он, подавшись всем корпусом вперёд, навалился грудью на печку.

– Всё! Амбец! Ебилейко отменяется самым категорюющим образом... М-может, у меня и с самого начала было именно так задумано судьбой? Девяносто девять наказал, а сотую

²⁵⁵ **Баптист** – любитель женщин.

осчастливилю! Катюшка была б мне в вечный праздник! Да я-то, вечный понедельник, на что ей? Разве что в отцы... Годы мои не малышовые. Как поётся, первый тайм мы уже отыграли. А счётец? По но-лям... Золотое времечко укатилось. То дочек двадцатилетних подсовывали, ту же Тамарку... Теперь навяливают вдовушек да в приданое двое-трое пукёнышей. К чему мне эта божья прибыль? Поэт Жуковский вон в пятьдесят шесть взял у друга дочку. Розочке – двадцать один годик! В Одессе видел в музее одного военного на карточке. В шестьдесят шесть обженился и нащёлкал четверых пузыриков, что характерно...

– Шаткое утешение. Неужели из всех твоих великомучениц нельзя было выбрать жену?

– Представь. Время было с кем провести, а жениться не на ком!

– Тише... Вот свести их на собрание с повесткой «Наш Глеб-гад, почему ты не женат?» и услышь они это. Они б тебя усватали живо. По косточке на сувениры разнесли б!

– Можно подумать, уцелеешь ты, встреться с теми, про кого фельетонил.

– И всё же у меня было бы больше шансов уцелеть.

Глеб рванулся привстать от дыма, что ударил в лицо. Заскрипев зубами и схватившись за поясницу, болезненно опустился снова на колени.

– Проклятый радикулитища! Утром баллон с газом припёр. Полный трындец! Совсем гниляк... Спасибушки уса-

чу... Отзывается проклятое счастливенькое детство... Помнишь же, вязанки тяжелей себя тетёшкал... Давление подавливает...

– С дуплом уже дубок?

– Совсе-ем гнилой. Думал, толстой моей шее вовек избою не будет. Ан нет. На душе неблаго... Да какой дрыгалке я такой нужен? Брось Глебку на дороге – никто не подымет. Пожалуй, пускай молодое к молодому клонится. А мне постарше к какой примериваться... Бегаёт на заводе одна жиганка, с интересом глазками постреливает. Тося, приданое – тридцать годков. Губастенькая, фигурка веселенькая... развод хороший... Поступила вот в институт на заочное. Всё на пятерки ссыпала, да, – прицокнул языком, – пальчики крашешные. Эту пейзажочку в навоз не сунешь... Мне надо искать бабищу самую затюканную. Чтоб знала, где сарай, как выгребать из-под кабана... Чтоб знала, где лопата, где половая тряпка, где огород. А то мать, видать, и простыла, когда чеснок под зиму сажала. Три грядки посадила... А холодно... Вот и получите воспаление! А то в весну... Приезжаю из Лисок... С курсов... Каждый год езжу, подтверждаю, на что способен. Приезжаю, а она плачет: руки болят. Все четырнадцать дней выливала из погреба воду! Легко? Всё в погребе метра на полтора поднято над бетонным полом. А ну вылей в день двадцать вёдер! Да не забывай, ей за семь десятков! Не-е... Надо срочно поджаниваться! Бабец мне помогай, а мамунька пускай посиживает. Такое разделение труда

узаконить бы в доме...

Он надолго замолкает.

Стоит на коленях перед печкой, не дует; сторонне смотрит куда-то сквозь выбивавшийся из-под чугуна дым. Лицо беззащитное, мечтательно-тихое.

Думает что-то своё, сокровенное.

– Эха, жизнь, жизнь... – роняет глухо. – Дыр много, а выскочить некуда... Найти б только мою Марусинку... Мою Половинишку... В частых снах вижу. Даже сегодня видел... Первая любовь, она и есть первая. А всё остальные – это всё остальные. За Марусинкой было б и мне благо, и матери. Не жгла б ржа ни её, ни меня, что подло поступил с девчонкой. По молодой глупости чего не утворишь?.. Чужому глазу она, конечно, уже под годами... Мне б она никогда не старилась. Мне б она была всегда молодой... картиночкой...

Глеб писал ей из армии.

Но однажды его письмо вернулось с почтальоновой припиской: *«Не вручено по причине выбытия адресата»*.

Куда уехала? Почему бросила писать? Отыщи маковку в копне...

Невидяще смотрит Глеб на витой столбик дыма.

– Дрянь дельцо, – вздыхает, пристально глядя в окно. – Погода тихая. Совсем нет тяги, нет давления. Весь дым сюда... И за окном снежинки как-то беспризорно болтаются...

Его глаза цепляются за будильник на полочке над умывальником.

Он сражён.

– Уже четыре! А мне в первую! Зверью сварить утром сам. Доверяю! А теперь спатоньки! Хватит митрофанить.²⁵⁶

Радикулит не даёт ему разогнуться.

Не подымаясь с колен, поскрипывая зубами, он поворачивается к маминой койке, стояла рядом с печкой, и, не раздеваясь, вальнул на одеяло.

Немного помолчав, он с извинениями требует вернуть деньги.

Я вежливо показываю ему его расписку.

– Расписку я разрешаю оставить себе, а бабульки, – долбит он указательным пальцем в ладонь, – на бочку!

Я возвращаю ему три рубля с копейками.

– А ты скорохват! – шепчет Глеб разгромленно. – Умкнуть шестьсот восемьдесят рубчонков за визит к больной матери... Не спорю, твоё посещение почётно. Но зачем же так бессовестно грабить? И чего ты сунул мне трёху?

– Видишь ли... Именно столько стоит входной билет в рай.

– А сколько, – любопытничает он, – стоит отдельный номер в раю? Не из крохоборов я, как некоторые... Жалаю взять отдельный, со всеми удобствами, с царским шиком. Как московская кооперативная фатера.

– Опоздал... Свободные со всеми удобствами расхватаны ещё при Горохе. Остались одни входные контромарки. Но

²⁵⁶ Митрофанить – болтать.

знаешь, по букве бэ, по благу, могу удружить отдельный котёл с автоматически регулируемым самоподогревом.

– Спасибо. Что-то не манит... Если я в ад и пойду, так только оператором-истопником. Удружишь?

Глава тринадцатая

*Каково делается, таково и износится.
Всяк сам себе и друг и враг.*

1

От угла дома устало отлепилась маленькая чёрная фигурка и несмело потащила по грязи к Кате навстречу.

Катя остановилась.

Сжимая глаза, судорожно стала всматриваться в фигурку и никак не могла понять, кто это.

Букет?

Не может быть. Не такой он смельчуга...

Букет без звонка не нагрывает. Букет во всём чтит, стережёт обстоятельность. Этот с бухты-баряхты не прорисует.

Тогда кому ещё её поджидать?

А между тем фигурка медленно надвигалась, всё слышней было, как протяжно чавкала под ногами глубокая вязкая непролазь.

Катя была порядочная трусишка. Панически боялась темноты, теряла в темноте всю себя.

К свету!

Скорей к повороту!

Там за книжным магазином горит фонарь! Бежать!

Полохливая Катя попятилась.

Фигурка слабо засмеялась.

Знакомый утомлённый голос позвал её:

– Ка-ать...

Дрогнула Катя.

Без письма, без звонка... Это что-то не так.

– Ваня... Ну ты совсем выпал из ума, – тихо зажаловалась с лёгким укором. – В смерть, окаянушка, выпугал!

– Чудно, ёксель-моксель-фокс-Бомбей!.. Я за ней приехал. А она от меня бечь...

– Ка-ак – за мной? – насторожилась, подобралась она вся.

– Обыкновенно... А как приезжает жених за невестой.

– Да в ночь, наверно, Ваня, не приезжает, не караулит за углом. Ты давно в Гнилуше?

– А по свету ещё прикатил.

– Полный откид! И с той поры подпираешь угол?

– Зачем же... Парень я ходовой. Мог бы к тебе на заводшко привеяться. Но ты не разрешаешь мне на заводе возникать... Так я на девять сходил в кино. Честно отсидел сорок три тегеранские серии²⁵⁷ и на свой посток к тебе под окошко. Стою вот, ёксель-моксель-фокс-Бомбей! Грею твой угол.

– Ты не помнишь, – осуждающе заговорила Катя, – кто мне клятвенно обещал, что без предварительного звонка или

²⁵⁷ В виду имеется кинофильм «Тегеран-43».

письма не придет? Забей митинг²⁵⁸, тогда и лети! Помнишь наш уговор?

– Помню, Катюшенька! Всё распрекрасно помню! – зато-ропился словами парень. – Только ты уж прости. Некогда было названивать. В десять ноль – ноль спрыгнул с крыши и к вашей милости!

– С крыши? Это уже лучше, чем с дерева. Всё-таки прогресс... Так ты чего не дал предупредительного звонка?

– А когда б я давал? В шесть утра всей помочью навалились тюкать. Грому на весь мир! Железо оно и есть железо, без грома не пустит в себя гвоздь. Эх, нечего гвоздю делать, бьют по шапке, надо лезть! Ты только представь! Ровно в десять вмолотили последний гвоздину, а в пять минут одиннадцатого я уже в электричке, летел тебе лично отпрапортовать...

Сперва, когда он сказал, что спрыгнул с крыши, её зажгло позлословить над ним.

Но после, когда заговорил о какой-то помочи, о последнем гвозде, Катя смутилась. К чему обо всём этом он с таким детским энтузиазмом докладывает именно ей?

– Стой! О каких гвоздях? О какой помочи? О какой крыше? Почему ты считаешь, что я непременно должна знать обо всем этом?

– Катюшка... Да как же тебе да не знать? – разбито про-

²⁵⁸ **Забить митинг** – договориться о свидании.

молвил Иван. – Или, извини, у тебя корочка усохла?²⁵⁹ Иль ты, притворка, напрочно забыла, про что и речь? Ну, пошарь по мозгам...

– Моя бестолковка, – постучала она себя пальцем по виску, – ничего не вспоминает...

– Тогда я напомню... Я приезжал к тебе в техникум в январе. Ты как говорила? Посади отдельно от своих нам вигвам и мы распишемся... Домину вывести не катушок сляпать. Про мою заботу-кручину прослышал молодняк нашего депо, пристегнулся в помощники. По выходным, после смены вламывали без дураков, рвали с огня! Сегодня надели крышу и – конец кину! Может, кой-какие там мелочишки подчистить ещё надо, так это в процессе всё утрясётся. Главно, дом под крышей! Наш с тобой домища! Наш небоскрёб! Наш!!!

Кате стало не по себе.

Действительно, ставила такое условие, уверенная, что Ивашка, этот аршин с кепкой, вовек не сладит своего дупла и отпадёт сухим листиком. А он – с докладом! Нагле-ец!

«Ох и умнёха! Надо было затребовать что-нибудь невыполнительное... А то... свой те-ре-мок!» – краснея, запоздало корила себя Катя, уставившись в счастливого парня невидимыми в египетской тьме горевшими жаром глазами.

Стоя на своём, чтоб всё всегда было по ней, вслух капризно вымолвила:

– А все-таки, слово есть слово. Сначала позвони...

²⁵⁹ **Корочка усохла** – о плохом запоминании, соображении.

– А чего бюрократию развешивать? – искренне полувозмутился он и предусмотрительно помягчел голосом, подпустил неумелой ребячьей рисовки: – Может, я хотел увидеть тебя непредупреждённую?.. И увидел. И рад! У тебя целый букет. Букет – Букету! Ей-богушки, звучит!

Иван потянулся взять цветы.

Катя холодно отвела цветы в сторону.

– Не тебе. Не суетись.

– Не мне? А кому тогда?.. Э-э-э... – парень хлопнул себя по лбу. – Я тут распинаюсь про наш дом... А она... В ночь! С цветами! Да не со свиданьишка ли ты, моя ненаглядочка, ка-тишь колёсики?.. Да так оно, похоже, и есть! – рассудительно заключил он. – Кроссворд, я тебя разгадал! Работать тебе сегодня в первую. Со своей смены ты не приходила. Так где тогда королила?

– Там и была, где была. Докладывать не собираюсь! – резко отчеканила Катя и, трудно вытягивая ноги из крутой грязи, побрела к дому.

– Ка-ать... Ну... Ты чего? – смято забормотал Иван, семеня следом. – Ну... Дай в зубы, чтоб дым пошёл! Только не обижайся... Я ж без претензиона... Ну... Завёлся кто здесь... Ну и на здоровье! Сегодня есть, завтра нету... Вот увезу... Жена... Мой броневичок... Никого у тебя не станет покроем меня одного... Я безо всяких претензий... Я тебя *всякую* возьму...

Пощёчина была столь звонкой, что где-то на дальнем кон-

це улицы, выбежавшей на луговину к речке, на всякий случай спросонья залаяла предусмотрительная собака.

– Залез в чужую копну, ещё и шелестишь?! Так какая я – всякая? Разбросная гулёна, вью подолом? Мухами засиделая? Или ухо соломой заткнуто?

– Ка-ать... – повинно нудил Иван. – Ну... Выболтнулось с языком.... Ну что теперько?.. Смажь для равновесия и по другой щеке. В науку пойдёт. Говори-де, Ивашка, да оглядывайся, не буровь чего зря! Ну смажь! Только не комкай мне душу... Не мне ли в счастье во всём тебе угодить, попасть в честь? Нам ли открывать руготню? Приехал же забрать тебя...

– Это как забрать? Что я, чувал какой с гнилыми опилками? Кинул в кузов и повёз?.. Ты меня опросил?

– А то нет... Ещё в январе...

Как-то разом, обвалом, ударил плотный, тяжёлый дождь.

Что же делать? Звать гостя в хату Кате отчего-то не хотелось. Неловким казалось ей и хоть для приличия не пригласить его в дом, негоже и спровадить вот так в гостиницу, где у Ивана была оплаченная койка и где он уже однажды без места толочся до первого утреннего автобуса.

Человек с другого края области скакал. Пускай не родня, да и не чужой вовсе, на одной лискинской улице росли. С родной стороны привет привёз, а я ни на порог...

Она было повела его в дом.

Однако остановилась у молоденькой тоненькой ивы у себя

ПОД ОКНОМ.

Защиты от голой ивы не было.

Иван, ругнув себя, ну как это он сразу не догадался, сдёрнул с себя плащ, торопливо, с извинением напахнул Кате на плечи.

Они молчали.

Слушали, как ливень жестяно барабанил по плащу.

Этот сухой, тревожный грохот разбудил бабу Настю.

Бело качнулась на окне занавеска, заломилась и в чёрно открывшееся пространство старуха угрожающе подолбила костью согнутого пальца по невидимому стеклу.

– Катёна! Вертянка! Чтой ты как какая сею-вею... Не хватит кочевать по ночи? Что за свиданка?

– Иду, бабушка, иду...

Сенная дверь была настежь размахнута.

Катя подтолкнула Ивана к жутко зияющему провалу.

Иван заартачился.

– Да не сахарные! – прошептал он. – Чего нам при ней?

– Разварня... Натощак не сговоришь! Иди, тебе говорят. Не бойся! Бабка сжила век, плоха на ухо. Ничего нашего не поймёт.

2

Комната Кати и бабки была узкая, протяжная.

В доброе, хлебное время, когда в доме не держали постояльцев, в этой проходной комнате не жили, и она служила лишь коридором. По одну руку в стене три окна на улицу, другую продольную стену сплошняком составляли темно-коричневые двери, что вели в отдельные просторные палаты, откуда доносился осторожный квартирантский сап.

В комнате до смерти тесно, так что для прохода оставалась не раздольней локтя дорожка, петлявшая меж стеной из дверей и Катиной и старухиной койками, разделёнными несколько наезжавшим на эту дорожку столом. Первая от порога койка бабки.

В переднем углу, у её ног, рядом с ведром воды на табурете высвечивало дорогое трюмо, вскладчину купленное молодыми жиличками.

Не нравится бабке, что молодые не заперли уличную дверь на запор. С ворчаньем закрывает она и возвращается в свой старый уют под толсто стёганное, домашней работы одеяло.

Какое-то время старуха лежит недвижимо, затаённо следит в зеркале за молодыми.

Катя сидит на койке, к ней боком на расшатанном скрипучем стуле Иван. Над ними, на краю стола, белым помертвелым солнцем букет хризантем в вазе.

Старухе жалко Ивана.

Нарядный, во всем новеньком. Куклёнок! А чего ж ты, мысленно спрашивает его, весь такой тихий, жалобный, виноватый? Перед кем ты виноватый? Совсем, парнёк, не можешь держать себя в струне. Ну, чего ты прилепился на крайке стула, будто он куплен? Расселся бы, как чирей на именинах! Барином ей, непочётнице, подавай себя! Барином! Эх-о, барин ты умученный... И умный ведь, только худенький... И чего ты приповадил её грести короной?²⁶⁰ Ну чего ты, несчастушко, в немой панике то и дело удёргиваешь книзу рукава синего костюмчика? Прячешь просторно выскочившие зелёные манжеты с распрекрасными чёрными запонками с белыми камнями? Чего ж, Ванюшок, свою красоту таить? Ах ты, бедуля... Да погуще ты на неё навались! Ты свою красотень так и тычь в бесстыжие глаза этой фукалке! Так и тычь! Тогда, может, и разглядит!

Старуха переводит взор на потерянно притихшую Катю.

Иван зачем-то наклоняется, лица не видать.

В суматохе старуха тайком отодвигается от подушки, просовывает ногу в простом чулке меж решётинами, наводит зеркальную доску на Ивана.

О! Теперь снова оба как на ладонке!

Иван захлёстывает внимание старухи.

Ей до горечи жаль этого низкого, тощего – хоть в щель пролезть! – парня. Ей хочется, чтоб всё у молодых прибыва-

²⁶⁰ Грести короной – вести себя вызывающе, заносчиво.

лось к ладу. Тянет даже помочь ему. Только как она не знает.

Первый раз баба Настя увидела Ивана в тот день вечером, когда Катя приехала в Верхнюю Гнилушу по направлению.

Он перед ней, перед Катей, на пальчиках. Чуть на ладошки не положит.

Ему тогда даже страшно было подумать, ну как она одна устроится, и он за свой взял счёт два дня, заявился вместе с Катей.

С Катей на завод, с Катей по Гнилуше угол искать.

У бабы Насти и пристыли.

Нет ничего одинаково хорошего или одинаково плохого.

Ивана не устраивало, что Катя будет жить в коридоре. Зато пришлось по нраву, что будет напару с бабкой. Всё какой-никакой контролишко.

Освоившись, Иван с извинениями да с корявой шуткой намекнул бабе Насте, мол, посматривайте тут за нашей пташкой.

Бабка и всплыви на дыбки, шумнула, я-де тебе не надсмотрщица, а после почитала его письма – Катя сама давала читать, – стала жалеть.

– Стоящей парнишок, не выкинуть с десятка! – говорила старушка Кате. – Ты, вертушка, пиши ему. На каждую грамотку засылай ответ души. Он-то тебе часто гонит письма, а ты, холодная лягуха, одним отбиваешься на целую пачку!

– А ну его! Ещё набалуется! – взакатки смеялась Катя.

– А зря! Из рук вон зря, крутишка! Наперёд кусок кидай.

Этот за волей ходить²⁶¹ не станет. Цени... Письма какие ловкие! Он много читал, что ли? Письмища прям книжные!

И теперь бабу Настю донельзя допекало услышать, как говорит Иван, и она наладилась тихонько ссаживать косынку с одного уха (по обычаю, старуха спала в косынке).

Косынка подавалась, уходила под рукой назад, за ухо. Как только старуха переставала придерживать, косынка снова наползала на ухо.

Наконец, сбитая гармошкой косынка больше не накатывалась.

Бабка вздохнула с лёгкой, счастливой судорогой.

– Бабуль! А ты чего надставила локатор? – подломленно спросил Иван.

Их взгляды столкнулись в зеркале.

Старухе казалось, её манёвра никто не заметил, но, застигнутая врасплох, конфузливо разлилась в улыбку, с чистосердечным вызовом созналась:

– А горит послушать твои речи озорные!

– А речи, бабуль, старые. Ты их лет шестьдесят назад уже слыхала от своего деда... Вот, – набавил силы в голос, чтоб старуха ясно разбирала, – вот зову Екатерину Великую за себя. А она...

Бабка замахала на Ивана руками.

– Эт вы сами!.. Сами маракуйте! – И с подпрыгом отвернулась. – Не путайте меня в свой клубок!

²⁶¹ **Ходить за волей** – гулять от жены.

И баба Настя туда же...

Уж ей-то, думает Иван, печали, послушай да забудь. Ан нетушки! Она тебе в полной демонстрации крутнулась к стенке. Уж она-то наточняк знает, что у Кати ко мне...

Катя ясно посмотрела на плащ, что висел на плечиках у порожка.

– Ну, Ваня, – прикрыла поддельно зевающий рот кулачком, – мне завтра в первую... Рано... Посидели на дорожку... Плащ, гляжу, твой высох. Ты б собирался в гостиницу.

Иван не шелохнулся.

Тревога втекла во взгляд.

– Катя, – с тоскливой мольбой прошептал одними губами. – Катя...

– Ну что каткать? Что? У людей самый сон! Чего мешать?

– Неужели я к тебе только на то и ехал – посушить плащ?

– Не знаю, не знаю! Ну, повидались... И до свидалки! Что ещё высиживать?

– Катя, малинка моя... Не серчай... Наверно, ты не совсем поняла... Всё так перепуталось... Я тебе ещё раз... По порядку... Помнишь, на Новый год ты сказала...

– Обалдеть!.. – с деланной отчаянностью взвилась Катя. – Одно и то же! Одно и то же! Ну сколько можно? Ну, ляпнула, дурцинея внасыпочку! Дальше что?

– Тебе легко сказать... А я где что возьму? Тот же кирпич, тот же лес, ту же жесть на крышу? Да и на что? Какие у меня капиталы? Вечно живёшь в минусах... Что получу, всё в семью гоню, в один котёл. С моей дохлой минималкой далеко

не побежишь... Со мной то и ходило денег, что даст мать на обед. Перестал я в столовки бегать, начал копить...

Взяли Ивана в подковырки. Слава борцу за мировую талию! Давай, давай! Ещё Алисултаника²⁶² обставишь! Наверняка! Куда ему тягаться с тобой?! Только слишком низко не кланяйся этим юаням. Помни, деньги прах, ну их в тартара-рах!

Молча сносил Иван насмешки, в крепких вожжах держал свою затею. У него копейка к рублю бежала, рубль сливала. Рубль звал рубль. Только что чёрт люльку не качал.

На Май у Ивана заночевал закадычник Тимоша Сдвижков. Комсомолок. Вождёк деповского комитета комсомола.

Спали на веранде на одной койке.

Ивану приснилась Катя, и он захлёбисто толковал с нею о доме.

Бедный Тимоша с полночи не мог сомкнуть глаз, да и не хотел. Затаив дыхание, подслушивал сонного Ивана и, ни слова Ивану не говоря, сразу в местком.

Вызвали Ивана в местком. Попеняли, почему это он таится от ребят, и пошли как по нотам. Проводим три молодёжных субботника. Всё заработанное – на покупку стройматериалов! Подвезти – деповский транспорт. Строим – сами!

И вымахнули Ивану домину!

Но это не всё.

²⁶² **Алисултаник** – Махмуд Алисултанович Эсамбаев, российский артист балета. У него была очень тонкая талия.

Комитет навалился на администрацию. Парню двадцать восемь, женится. У парня непотопляемая анкета, у парня золотая голова, шарики бегают классно, а он у вас шесть лет всё дудит помощником машиниста.

Добился комитет, будет Ивану в конце ноября экзамен на машиниста.

– Вишь, сколь всего набежало? – уныло говорит Иван. – И это ещё не всё. Комитет уже заказал приглашительные на нашу свадьбу.

Катя горестно сцепила пальцы рук. Похрустела.

– Если не секрет, позволь невесте узнать, когда у неё свадьба?

– На Октябрьскую! На Октябрьскую! – готовно выпалил Иван.

– Оп-цы-цы! – нервно хохотнула Катя. – Показательное муropriятыце застолбил твой профсоюз. А ты без памяти и рад. Бесклёпочный! Так им нужна красивая галочка в отчёте! Так и снаряжайте ту галочку к венцу!

Иван долго молчит.

Потом, словно пробуя голос, говорит несмело, снова выкруживая к сломанному разговору.

– Как же?.. Ты ставила условие... Я... Всё депо... Да весь же город знает! С какими глазами возвращаться одному? Скажут, врал, всем врал. Никакой Катерины нету и всю эту комедищу разыграл ради дома. Не-ет... Без тебя мне назад нету пути...

– Глупушки! – обрезает Катя. – Автобус, электричка...

Они-то распрекрасно дорогу знают. Довезут.

Разговор снова надолго глохнет.

– Или ты, – говорит он, – пасёшь меня в запасных? Я устал от тебя... Я как на духу... Шила в мешке не утаишь, всё наружу выпрыгивает... Я к тебе с женитьбой... А ты всё фырк да фырк. Всё на после да на после сталкиваешь... С отчаянности я и подумай... Раз не суждено с Катериной, сойдуся, кто любит меня... Хотя та любовь меня вовсе не грела. Тому года два... Пришатнулся я к Танечке Шуршовой. Ну зачем ты тогда ко мне сама подошла? Зачем было сажать меня поновой на старый поводок?

Катя задумывается.

И впрямь. Зачем?

Парень нравится и не нравится. Так, может, и надо было с самого первого раза дать вольную? Беги, петушок, на все четыре! И не было б этой бесконечной нуди?

– Ну, разлепила нас с Танечкой... Дальше как всё повела? Назначили расписку на Новый год. Помер отец, подожди год. Жду. Называешь Май. Пришёл вот дорогой Май... Переносишь на Октябрьскую. С Октябрьской снова на Новый. Потом вот... дом. Стоит дожидается тебя не шалашишко какой из палых веточек. Когда он тебя дождётся?

– Ничего не скажу. Надо подождать...

– Четвёртый год уже жду. Пора б...

– Хоть завтра выскочу! – сорванно выкрикивает она и, вы-

ждав паузу, уже с весёлым укором, твёрдо выставляет свой новый резон: – Я никогда не была на море. Надо сперва поехать отдохнуть.

– А разве нельзя ехать на море мужем и женой?

– Нельзя, – она ласково приставила ему ко лбу прохладную подушечку пальца и подвигала им, как бы втирая, вдавливая свой довод.

– Ну, нельзя и нельзя, – соглашается Иван. – Не век же будешь на море. Вернёшься когда-нибудь.

Катя кокетливо качает головой.

– Одна у нас говорила: выйду, у кого будут свои «Жигули», дача и кляча. Я у тебя всего этого просить не стану. Ты нахалина такой, всего достигнешь. Потом от тебя ничем не откупишься, как от смерти... Я ведь про дом так... Просто слово подбежало такое...

Иван глуповато просиял.

– Так пускай подбежит ещё! Ради тебя... Подожду...

– Полный безандестенд!..²⁶³ Го-осподи! Некультяпистый!

Кто ж тебе вложит ума? Нет, нет и нет!

В такт с каждым тихим, усталым *нет* Катя всё злей давила Ивану на лоб.

Конфузясь, потея, он счастливо пялился на неё из-под её руки.

– Ну что встроил глаза, как баран в новые ворота? Пока смотрел, ворота уже постарели. Всё, Ваня, кончен балок.

²⁶³ **Безандестенд** – ситуация непонимания.

Неужели это в самом деле *всё*? Неужели вот так можно взять и объявить сонным голосом, что всё кончено? Да разве можно всё это кончить?! Мы росли в Лисках на одной улице, жили в соседях, виделись каждый день. Сколько себя помнил, столько и любил эту Катеньку, и вот эта Катенька, пряча за кулачком зевки, говорит, что всё кончено. Нет, нет! Что угодно, только не это! Правда же?!

С большим жаром Иван упирается вопросительным взглядом в Катю.

– Это всё, – ровно подтверждает она своё.

– Бодастеньякая м-моя... Ты что-то перенедомудрила...

– Пока ты сам это и пере... и недо...

Заикаясь, он попросил воды.

Она подала.

Напиться и уйти?

Напиться и остаться! Навсегда!

Непослушную, словно чужую, руку впихивает он мелкими толчками в тесный карман. Под пальцами хрустко щёлкнул, будто выстрелил, газетный катышек. Иван дрогнул. От рясных блёсток пота засиял под ярким светом лоб. Загнанно, неотрывно смотрит на Катю.

На последнем терпении ждёт она его ухода.

Догадывается ли она, что у него в руке? Может, сказать? Как она среагирует? Ведь выпей, он уже не увидит её реакции, вот в чём вся штука. Несправедливо... Почему человеку отказано в последнем желании? Почему ему не дано знать,

как воспринимают близкие его смерть? Ведь ему только бы увидеть боль, раскаяние на родном лице, больше ничего не надо... Увидеть и уйти...

Ивану кажется, что Катя слышит его мысли и как-то насторожённо улыбается ему.

В улыбке Ивану видится надежда.

Не всё ещё потеряно! Рано ещё выставлять жизни счёт!

И он, судорожно сглотнув воздух, залпом осушает бокал, не вынимая потной руки из кармана.

– Ты чего весь вспотел, покуда пил? Будто в гору тащил свой потухший паровоз...

– Тащил, Катя! Тащил! – торжествующе расплывается Иван. – Я ещё выскочу из беды... Только бы ты помогла... Невозможного я не прошу. Не выхватывай последнюю надеждушку... Ты только пообещай разкогда угодно. И назад я не поеду. Остаюсь!.. Тракторишко тут заваляха сыщется. Иль в шофёры... Зато рядом... Возле... Мне бы видеть тебя хоть издалёчка...

Нуднота эта надоела Кате, наскучила до последних степеней.

– Епишкин козырёк! Какой-то с кукушкой... неандерталец... – в сторону роняет она отрешённо. – Я даже не обижаюсь... Я не обижаюсь на того, на кого уже не обижаются врачи... Ну, останься... Что заменится? Между нами всё кончено. Точней скажу. Тому не кончатся, что и не начиналось.

Если бы это Катя выпалила в гневе, в пылу, Иван, может, и

не поверил бы её горячим словам. Да сейчас они были произнесены бессуетно, спокойно, как-то выверенно, итогово, так что не поверить им Иван не мог, но, поверив, окончательно потерялся.

У него достало сил дойти до ведра.

Зачерпнул воды, сыпнул в бокал серо-белого порошка.

– У тебя что, изжога? – спросила Катя, приняв этот порошок за хлебную соду.

Он кивнул.

Прощальными глазами обошёл комнату, жалко и сиротливо улыбаясь. Он медлил. Он ждал, ждал хоть намёка на надежду в чужом взгляде Кати. Неужели у неё и мысли нет, чтя это уже *всё*?

4

Катя сидела на своей койке и молча ждала его ухода. Изжога так изжога, пей, мне-то какое дело, говорило выражение её лица.

Он уже поднимал бокал к губам, когда Катя, почуяв запах чеснока, рванулась к Ивану, вытолкнула из руки бокал.

Бокал слетел на пол и разбился.

Заворочалась укутанная с головой старуха.

Больше никто и никак не прореагировал на этот короткий, как хлопок, шум.

Кате кажется, что у неё развалилась высокая причёска. Царицей проследовала к трюмо и принялась обстоятельно, рассвобождённо взбивать, ухорашивать волосы, мстительно любуясь собой.

Выходка эта вывела Ивана из оцепенения.

Ни удивлённый, ни огорчённый тем, что опять, словно в дешёвеньком фарсе, всё обошлось, он несколько мгновений с полным безразличием наблюдал, как она, вовсе не замечая его, извивалась перед зеркалом, упоённо хлопоча над великолепием бабетты.²⁶⁴

Глухо спросил:

– Сколько можно играть?

²⁶⁴ **Бабетта** – вид женской причёски. По имени героини фильма «Бабетта идёт на войну», носившей такую причёску.

– А эсколь захочу! – хлётко стегнула.

– Э нет, милахуня! – всё так же глухо пробубнил Иван, закипая. – За кого ты меня дёржишь? За долбонавта? Ну сколь можно кидать метлу?²⁶⁵ На конце концов каждый отвечает за свои штукерии. Тоже деловая колбаса!..²⁶⁶ Ты не даёшь мне житья, не даёшь и смерти! Что же ты за изверг!? Вечная мозгобойка!

Резкий прыжок перенёс его к Кате – он дважды ударил её в спину ножом, что лежал на подоконнике.

Всё так же держа расчёску глубоко в волосах, Катя запрокинулась на старуху.

Выглянув из-под одеяла, старуха блажно завопила.

– Молчи, глуха, – меньше греха! – сквозь зубы прищикнул на неё Иван, медленно занося над Катей нож.

Со страха ничего не соображая, старуха сошвырнула с себя край одеяла и, боясь перевернуться на живот, привстав, накрыла собой Катю и увидела, что уже над ней стоял нож.

Капля крови стекла с ножа и, упав старухе на нос, мелким алым веером рассыпалась по сторонам.

Старуха не знала, что делать, и не спускала вывороченных глаз с ножа, от которого, казалось, не могло быть большой беды: нож короткий, столовый, всего на палец красным отростком высывался из пестрой магазинной обертки. (Вчера Катя купила; не развернув, сунула на подоконник.)

²⁶⁵ **Кидать метлу** – обманывать.

²⁶⁶ **Деловая колбаса** – о хитрой девушке.

В следующий миг старуха сдёрнула со спинки кровати свою юбку, со всей старой силы перевалила ею Ивана с плеча на плечо.

– Ну ты, прелая авоська! Ещё драться... Не суетись, пока я тебя не смокнул!

Плашмя приложив пластинку ножа к старухиной щеке, Иван толкнул с такой силой, что старуха скубырнулась с Кати на пол. Падая, старуха угадала поймать за полу пиджака, так что Иван, замахнувшись Кате в грудь ножом, сполз, съехал – удар завяз в одеяле.

Это набавило ей смелости, и навалилась она из крайней силы тянуть Ивана от Кати, настёгивая по чём попало веником, подвернулся под руку.

Может, это и помогло.

Отступившись от Кати, Иван поднёс нож себе к горлу.

– Ва...ня... не... – вышепнула Катя.

Прикрываясь у груди своим белым букетом, Катя перехватила голой рукой нож, отвела от Иванова горла.

Это вконец взбесило Ивана.

Резко крутанув ножом и до кости развалив Кате ладонь, он со всего маха кольнул ножом в цветы и раз и два, а затем, вскочив на Катину койку, открыл окно и выломился в ночь.

И только тут, будто по уговору, разом изо всех трёх дверей высунулись, наползая друг на дружку, полунапуганные, полуудивлённые молодые жилички.

– Аспиды! – захрипела на них старуха. – Ни одна зараза не

вышла!.. До чего ж дешёвый мир!²⁶⁷ Уберите ваши поганые рыла! Не то я сама вас топором посеку!

Девчонки втянулись в темноту, неспешно закрылись двери, и старуха, обняв Катю, с причётом заплакала невыразимо горько.

– Бабушка, – слабо сказала Катя, – что же вы плачете? Зачем вы плачете? Всё обойдётся... Что же так тянет?.. Что же так печёт?..

Ей казалось, что цветами обязательно уймёшь жар, и она в судороге стала прижимать к себе свои белые хризантемы.

Но жар не уходил.

Обхватив туго голову руками, села за стол; и пяти секунд не удержав себя в покое, побрела в угол, воробушкой пригнулась на табурете; тут же снялась и маятно закружила по комнате, криком крича:

– Вот и всё!.. Вот и всё!!.. Вот и всё!!!..

За нею под неярким светом каплями чернела кровавая дорожка.

Катя вышла в сени.

– Мамочка!.. Ноги не слушаются... Уста-али... Пи-ить!.. Тесно... Всю жжёт... И почему дверь на запоре? От кого запираемся?.. Бабушка!.. От кого запираемся?..

Она отодвинула засов, вышагнула на улицу.

На улице лил дождь как из ковша.

Катя стала ловить лицом благодатные, прохладные дожди-

²⁶⁷ Дешёвый мир – пустые, никчёмные люди.

ны, пробуя содрать с себя тяжёлую красную кофту, паркий, тугой чёрный сарафан. И кофта, и сарафан тоже были в ранах.

С угла крыши аврально бил водопоток.

Катя сделала к нему шаг, второй и упала.

Тоненькая ивушка вздрогнула над ней.

Первое движение мысли – убежать!

И Иван, спотыкаясь, падая, бежал что было в нём мочи, бежал, не разбирая пути, не ведая направления.

Но чем дальше бежал, понемногу остывал. Червь начал точить его. Он засомневался, что сможет уйти.

Куда скроешься по такой мразине дождю? Кто приютит? Гляди, уже дозвонились до собачьего домика,²⁶⁸ рыщут уже псы по всем кусточкам.

Тут всяк кусточек – враг!

Иван ловит себя на том, что правится к городу. Зачем к городу? В объятая городских тухлых ментозавров?²⁶⁹ Наверняка связалась уже Гнилуша с городом, наверняка в подмогу уже летит навстречу наряд. Да куда ни ткнись теперь, нарвёшься на ночника краснопёрого!²⁷⁰

«И что я, тупарь, пру, как танк, посреди большака?»

Он берёт по канаве за голой посадкой вдоль дороги.

Едва сошёл с тверди, как откуда-то сзади покачало светом: по ухабам плыла с подвоём машина.

У Ивана душа оторвалась. Где стоял, там и повалился, вжался в канавную киселину.

²⁶⁸ **Собачий домик** – отделение милиции.

²⁶⁹ **Тухлый ментозавр** – опытный, неподкупный работник милиции.

²⁷⁰ **Ночник краснопёрый** – милиционер, участник засады, группы захвата.

Просвистев на дурной скорости, машина погнала ныряющие огни к городу.

Иван зверовато приподнялся и застыл.

Бобик!

Наверняка ментовоз. Кому ещё в этот ненастный глухой час гонять?

Не сводя сторожких глаз с уходящего света, присел на канавный бережок.

Куда бежать? От кого бежать? От беды? Ты сел – и беда с тобой села. Ты встал – и она встала. Ты пошёл – и она пошла. Ты сам – беда. Так куда от себя убежишь?

Он сидел на земле и вовсе не чувствовал ни сырости, ни холода. Он не знал, что предпринять.

Из вязкой выси чёрно валил забубённый, не последний ли перед снегами дождь.

«Катя... Жива ли?... Я на всё пойду... Лишь бы ты жила... Мне от тебя не уйти...»

С каким-то лихим молодечеством выкатился он на середину большака и заторопился в Гнилушу.

Теперь он знал, что ему делать.

6

Вся Гнилуша пропаче спала.

Ярко и тревожно горели лишь два окна у самой дороги.

Это была операционная.

Иван вошёл в свет.

Серые выцветшие шторы будто нарочно, для дразнилки на палец не добегали до низа окна.

Иван припал, втаился в щёлку.

Он увидел пару мужских ног до колен. Мужчина был в красных туфлях на тупых высоких каблуках. Дальше – враспырку пара женских ботов.

– Кто же это тебя так? А? – нарочито громко спросил Святцев.

Иван слил всё внимание в кулак, в струнку вытянул слух.

– В... Ва-а... – трудно выдохнула Катя.

Ни ответа, ни голоса Кати Иван не расслышал.

Легонько надавил на створки – створки пошли врозь.

С полминуты Катя копила силы, по слогам повторила ясней:

– Ва... ня...

Дрогнул Иван.

Жива Катя!

В её голосе ему послышался зов.

Не мешкая, кинулся в окно.

– Ох уж этот Ва...

Святцев обрезался.

Заслышав сопенье, выше надвинул на Катю простыню, что бугрилась у её ног, бросил выжидающий глаз на окно.

Качнулась штора, выступил Иван.

Мокрый, загвазданный; на пиджаке, на брюках размытые красные пятна, вся шея в крови.

– А это что ещё за явление из-за шторы Христа народу? – громким шёпотом выдавил из себя пораженный Святцев. – Что за бегунец?²⁷¹ Кто ты?

– Ваня я, – так же шёпотом ответил Иван.

– Какой ещё Ваня?! – свирепо раздул ноздри Святцев.

– А какой... – Движением головы Иван указал на Катю.

– А-а... Вон оно что, – сразу как-то мягче, покладистой заговорил Святцев, на всякий случай отшагнул от Ивана. – Понимаю... – На святцевском лице просеклось подобие улыбки. – Всякого влечёт своя страсть. Ты что же, явился до конца свести с нею счёты?

– Не тратьте время на дуристику.

– Я тоже так думаю, – строго рубнул Святцев и обратился к оторопевшей от ужаса сестре: – Мария Онуфриевна, проводите товарища в приёмный покой. Пускай ему перевяжут шею.

– Не суетитесь, доктор. В милиции мной и таким не побрезгуют.

²⁷¹ Бегунец – клоп.

– Тем не менее, – жёстко продолжал Святцев. Ему не нравился тон этого гаврика. – Это не танцплощадка! Посторонним здесь не место. Уходи.

– Никуда я от неё не пойду! – напористо пробормотал Иван.

Обидой легло на душу, что даже чужие люди гонят от Кати.

Иван видел, что простыня над её лицом стояла белым шалашиком.

Ему вдруг наперекор всему и всем захотелось подойти, поднять белый шалашик и хоть раз в жизни поцеловать Катю.

«Столько встречались, а и разу не поцеловал», – пропаше подумал он и твёрдо побрёл к столу.

– Ради всего святого, не подходите! – с блёстками слёз на глазах бросилась к нему сестра. – Я вас прошу... Совсем её погубите...

Мольба сестры отрезвила его.

Попятился он назад к окну.

– Нет, нет, – упрямылся Святцев. – Попрошу вообще из операционной!

– Разве я вам мешаю? – набычился Иван.

– Что это ещё за митинг? – Святцев гневно выпрямил спину. – Молодой человек! Безумствуйте там, где это уместно. Не уйдёте сами – позову милицию!

– Напугали шоколадной ментовнёй...²⁷² Я сам туда пойду... Отвечу за своё... Лет на десять наработал... Я уже заштриховал в клеточку свой червонец, никто его у меня не отымет... А вы, доктор... Что же вы теряете время? Сейчас время – жизнь! Не только её, – кинул руку в сторону Кати, – но и – ваша. Учтите! Умрёт – платите головой. И плата на месте. Если не хотите сегодня нырнуть в гроб...²⁷³ Так что работайте... До упора! Без помарок!

В знак того, что разговор окончен и что больше Иван ничем не намерен мешать, он вернулся за штору, к чёрному окну.

²⁷² **Шоколадная ментовня** – милиционеры, сотрудники правоохранительных органов, берущие взятки.

²⁷³ **Нырнуть в гроб** – умереть.

Мучительно уходили минуты.

В кровь искусал Иван губы, слыша Катин стон.

– Ва... ня... Ва... ня... – звала в бреду. – Разве я виновата, что ты такой маленький, и я не вижу тебя за...

– За кем? – невольно выпало у Ивана.

Иван было шагнул к Кате.

Опустив окровавленный тампон в лоток, Святцев жестом запретил приближаться.

Сам подошёл к Ивану:

– Человек вне сознания. И чего лезть с выяснениями?

Минутой позже Катя просила:

– Не говорите... маме... Мама... этого не...

Каждый её стон гвоздём вбивался Ивану в душу.

Не выдержал Иван, тихо заплакал, когда Катя, поймав блуждающими руками докторову руку, целуя её и плача, стала горячечно умолять:

– Где-е-е... Где-е-е-еб... Никит Михал... Родненький!.. Спасите... Я хочу жи-ить!..

Слепляя с запястья цепкие пальцы, высвобождая руку из слёз, Святцев с плохо скрываемой раздражительностью назидательно бормотал:

– Я не Никита Михалыч... Александр Александрович я... Святцев...

Иван насторожился.

Почему Катя зовёт человека, которого здесь вовсе и нет? Не Никита ли этот Михалыч заслонил его перед Катей?

Иван спросил сестру:

– Кто такой Никита Михалыч?

– Старый, видалый хирург.

Иван приподнял бровь, узнав, что Никита Михалыч сам лежит в четвёртой палате. Видалый и – болен! Лежит в больнице!

Вот тебе на...

Каждый в округе ловчил угадать к Никите Михалычу. По кусочкам ведь склеивал. Живут! А вчера самого прищемило сердчишко в этой же операционной. Чуть не слетел на пол со скальпелем.

– Гле-е-е... Никит Михал... жи-ить!.. Ники Ми... жи-ить!.. Ни...

Иван нетвёрдо подшагнул к Святцеву.

– Доктор! Несчастный вы помощничек смерти! А вам не кажется, раз больная зовёт Никиту Михалыча, то вам она не доверяет?

– Не хотите ли вы сказать, что она доверяет только вам? – с ядом резнул Святцев.

– Я в положении вне игры. Но если она зовёт Никиту Михалыча, так и со сна подавайте его сюда. Не забывайте, товарищ мясник в глаженном халатике, условие прежнее.

Из глубины коридора донеслось слабое постукивание.

Мария Онуфриевна выглянула за дверь.

– Никита Михалыч! Про вас речь, а вы навстречь!

– Только навстречу, Машенька, только навстречу! – страдательно просиял Никита Михалыч, робко радуясь тому, что вот встал и с палочкой, по стеночке, волоча ноги, а сумел-таки самостоятельно докулюкать. – Нипочём не усну... Слышу: машина, голоса... Беду привезли... Думаю, надо пойти посмотреть. Может, чем буду в пользу.

Однако старый хирург уже ничем не мог помочь.

Катя умерла, не приходя в себя, умерла с тихим последним вопросом:

– Так... никто... и не сбросит... снег с хризантем?..

Иван закрыл Кате глаза, ждущие ответа, в первый раз поцеловал.

Только тут Ивана заметил Никита Михалыч.

Помрачнел.

– Молодой человек! Вы-то что здесь потеряли?

– Что и он... – Вмельк глянул Иван на Святцева. – Всё!

Растерянный Святцев покосился на Ивана:

– Поменьше хлопотунов... Оно б и лучше...

Иван выстыл лицом:

– Так звоните в лягавку.

Святцев хотел прощённо улыбнуться – только кисло пожмурился.

– Зачем же? – уклончиво возразил он. – Я не видел вас, не слышал... Можно тем же порядком, – еле заметно качнул

бровями в сторону окна, – что и сюда...

Говорил Святцев одними губами.

Напрасно Никита Михалыч напрягал слух, пытаясь понять, что же такое потаённое сорочил Святцев; недоумевающе перекинул взгляд со Святцева на Ивана.

Иван показывал на черневший в предбаннике телефон:

– Звоните! Не то!.. Слизняк!..

Хмыкнув и коротко раскинув руки, мол, раз требуете, не смею не повиноваться, Святцев привычно, легко набрал ноль.

Но двойка ему не давалась.

Он долго никак не мог попасть пальцем в нужную ямку.

В нетерпенье Иван оттёр его локтем от телефона, выкружил ноль-два.

– Милиция! – отозвался ясный голос. – Дежурный сержант Коренной.

– Милиция... Ровно в четыре ноль-ноль тут убили человека. Убийца Александр Александрович Святцев. Находится на месте преступления. В операционной гнилушанской районной больницы. Спешите. Через пять минут вы можете его самого не застать в живых.

Иван резко, с пристуком положил трубку.

– Ну... У вас, извините, и юморок, – искательно поморщился вспотевший Святцев.

– Да нет, это, – указал Иван на стол с Катей, задёрнутой простынёй, – это у тебя юморок... Неужели он тебе ничего не

будет стоять? За такое, ёксель-моксель-фокс-Бомбей, мало потушить бебики...²⁷⁴

Святцев пробует говорить что-то невнятное в своё оправдание.

Иван выставил усталую руку щитком. Не трещи! Разве не о чем помолчать?

Оставаясь сидеть у телефона, кладёт медленно руку на трубку так, что его часы хорошо видимы всем.

Воцарилась такая тишина – часы словно колокол слышны во всех уголках.

Недоумение сковало лица Никиты Михалыча и Марии Онуфриевны.

«Что это, шутка? Розыгрыш? – загнанно думает Святцев, подымая глаза на Катю. – Не довольно ли одного розыгрыша?»

Отрешённый Иванов взгляд блуждает по Святцеву.

– Безвыходняк... – бормочет зацепистый Иван, вставая и опуская руку за полу пиджака. – Ну что, минисованный?²⁷⁵ Похоже, им там, в мильтовне, живой ты, мудорез,²⁷⁶ не очень-то и нужен. Не спешают что-то...

В панике Святцев попятился.

Невзначай смахнул на пол лоток с инструментами.

Невообразимый грохот побежал по всей больнице.

²⁷⁴ **Потушить бебики** – выколоть глаза.

²⁷⁵ **Минисованный** – пугливый.

²⁷⁶ **Мудорез** – хирург.

Из этого грохота Иван слышит ещё более громкое:

– Руки!.. Вверх!

Крутнулся на голоса – из простора двери наставлены два милицейских пистолета.

Иван обмякло растарашил руки.

В правой у него сверток. Край свёртка концами пальцев прижат к ладони. Серый бумажный свёрток разворачивается сам собой, тянется книзу тяжестью, похожей на металлическую палочку.

Из бумаги, перепачканной кровью, с тонким звоном падает на пол нож с белой пластмассовой ручкой. На лезвии в сухой крови несколько лепестков хризантемы.

Следом за ножом с бумаги слетел магазинный чек на семьдесят пять копеек.

Иван настолько устал, что не может поднять пустые руки, и, секунду помедлив, покорно несёт их навстречу пистолетам. Надевайте ваши браслеты!

Ему надели наручники.

Один милиционер, тот, что повыше, покруче телом, вышел в коридор, посторонился, дал выйти Ивану.

Второй припал на корточки в операционной, подхватывая с полу всё, что оставил Иван.

– Надо трофеи подобрать... эту потеху...²⁷⁷ Наши рыщут по всему району, а он, видите, субченко-бульонченко, обос-

²⁷⁷ **Потеха** – нож небольшого размера.

новался в операционной. Дома сказался...²⁷⁸ Это жирно зачтётся... Может, загасился на дурдом?²⁷⁹ Разбежался отдохнуть в доме жизнерадостных?..²⁸⁰ Хор-ош гусик, ещё б летал...

²⁷⁸ **Дома сказать** – сдать при аресте без сопротивления.

²⁷⁹ **Загаситься на дурдом** – симулировать психическое заболевание.

²⁸⁰ **Дом жизнерадостных** – психиатрическая лечебница.

8

Издалека, из приёмного отделения, долгое время рвался придавленный телефонный стон.

Почему не снимают трубку?

Мария Онуфриевна скользнула тревожным взглядом мимо Святцева, кто был ей сегодня начальством непосредственным, вопросительно уставилась на помертвелого Никиту Михалыча, – добровольно ведь приполз в операционную на правах болельщика. Не больше.

Никита Михалыч согласно кивнул.

– Сан Саныч! – строго заговорил он, когда дверь едва закрылась за медсестрой. – Зачем вы заехали не в свою епархию?

Святцев отчуждённо молчал.

А что скажешь «в защиту своего дома»? В хирургии Святцев чужой. Однако ради чего он, терапевт, нехирург, кинулся на самостоятельную операцию?

Святцев галопом заперевирал события этого злосчастливого ночного дежурства по больнице...

В два тридцать по звонку выскочил на «скорой».

Пострадавшей нужна срочная операция.

Кто будет делать? Главпинцет,²⁸¹ генерал хирургического корпуса, как за глаза звали Никиту Михалыча, со вчера сам

²⁸¹ **Пинцет** – хирург.

лежит почти с инфарктом тут же, в больнице.

Второй хирург, Катигроб – с такой фамилией как только и жить? – отпускник. Где-то на море охотится за последним загаром.

Везти в город?

Неблизок свет. А потерпевшая нетранспортабельна. Нет, нет. Город отпадает.

Будить хирургов в соседних селах?

В волчий час по такой непролази пока вытащишь кого – не поздно ли будет?

И тогда он решился.

– Что же не послали за мной? – как-то виновато разводит руками Никита Михалыч.

– Дык... Преступление трогать вас с вашим... – на полуслове завяз Святцев.

– Ох уж эти реверансы! Да разве я не оперировал, когда сам был на излечении в больнице? Пускай сейчас я, может, и не стал бы сам. Но... Всё равно лежу без сна. Увидал свет в операционной – заныли все косточки. Пробую встать – никак... Всё же переломил себя, поднялся... Да... Время упущено, жизнь упущена... Трудно стоять... Приди сразу... На худой конец, я б на каталке прискочил. С каталки мог бы вас хоть консультировать... А то... Ну никакой же подготовки хирургической!

– Почему никакой?... Я в меде первый курс полностью отбегал на хирургическом... Потом меня попросили переве-

стись на терапевтический...

– За громкие успехи?

– Возможно... Подвернулся случай... Мне загорелось доказать, что напрасно срезали меня с хирургического... Я и полез...

– Ах ты, мать моя! Да хоть позвали б меня для совета!

– Я как-то не подумал, – прижух Святцев.

– Тот-то и оно! – с видимым усилием поднял голос Никита Михалыч. – Когда мы не думаем, мы вот что в итоге получаем! – кивнул на покойницу. – Ах, беда!.. Будто у самого под ножом дочка умерла... Совсем ведь девчошка... Ей бы к венцу собираться... Ей бы жить да жить...

Святцев окаменело уставился на Никиту Михалыча:

– Четыре колото-резанные раны. Повреждены лёгкие, диафрагма, печень, брыжейка, тонкая кишка. Всё в ранах и на ранах и – жить?

– Да, жить! – пристукнул костылём в пол Никита Михалыч. – Если вы заметили, на ноже были лепестки хризантем. Наверное, пострадавшая прикрывалась толстым, тугим букетом, когда ей наносили ножевые удары, и нож, не очень-то и длинный, пока проходил сквозь цветы, гас, застревал в цветах, нанося несерьёзные увечья. Вы плясали вокруг этих зряшных царапин спереди. У вас не хватило интуиции осмотреть спину. А все-то тяжёлые беды пришли именно со спины. Вы даже не знали о ранениях со спины, которыми следовало заняться в первую очередь как наиболее опасны-

ми... Я считаю, если человек живой попал на операционный стол, вернуться домой он обязан на своих ногах. На своих!

– Ну... Это в идеале... У вас, знаю, не было случая, чтоб умер кто на операционном столе. Счастливое исключение. Так у других, увы-с, умирают. Даже у московских грандов, профессоров, не говоря уже о богах младших родов, – извинительно поднёс в поклоне ладони к груди.

Из последней силы ударил Никита Михалыч в пол палкой.

– Несчастный дурапевт! Да над вами весь район уже в поговорах смеётся! Кого схоронил, того и вылечил! Каково? Как вы не поймёте? Кто везде, тот нигде! Врач, уврачуй наперёд свой недуг!.. Да где... Врачу не исцелить свою хворь. С вашей меркой, сударь, вас нельзя подпускать к больному. Да! Нельзя! И об этом я уж позабочусь!

Глава четырнадцатая

Суд правый кривого дела не выправит.

1

Её нет... Её больше нет...

Глеб сидел за своим столиком, за которым ещё вчера напротив сидела Катя, и без мысли на помертвелом лице смотрел в окно.

Он видел, как люди шли *смотреть на Катю*, как возвращались от неё.

Покойницкая находилась по тот бок улицы, почти напротив завода – наискосок вправо от проходной. Всем в одночасье не уйти, производство без присмотра не кинешь, и люди, меняясь, ходили поодиночке или маленькими кучками.

Две встречные людские струйки чёрно лились от завода к покойницкой.

Дело уже к обеду. А народ всё шёл и шёл.

Струйки потоньшели, но не рвались, всё текли, текли в молчащее горе.

Глеб тоже было качнулся посмотреть.

Дошёл до скособоченной ветхой двери подвала, занёс ногу над гнилым порошком, увидел самый угол сине-холодной

простыни, свисавший с носилок и неосторожным сапогом вдавленный в сырь земляного пола, – его что-то резко толкнуло в грудь, и он шально вальнулся назад, вызвав у идущих следом недоумение.

Постояв несколько у двери, он снова двинулся войти.

В тесный просвет меж людьми увидел глянцевито блестящую ручку санитарных носилок – снова полоснуло в душу.

Глеб попятился и, выворотившись из толпы, разгромленно побрёл к заводу. Он понял, что боится посмотреть *Ей* в лицо. Но почему? Какая его вина перед *Ней*?

За проходной он почему-то не повернул в компрессорную, а как-то неосознанно, по привычке поднялся к себе на второй этаж, в бухгалтерию, присмирившую, полупустую. Машинально сел за свой столик.

Сел, поднял лицо и вздрогнул: с того самого места, где ещё вчера сидела Катя, теперь смотрела *Она* с большой карточки в чёрной рамке.

Перед карточкой на столе широкая тарелка.

На тарелке горка мятых рублёвок, белая мелочь.

Глеба ошеломил Катин взгляд. Любопытство, удивление, восторг, вполовину смазанные недоумением, укором.

Не вынес он этого взгляда, тихонько поставил карточку несколько к себе боком и почувствовал себя сразу успокоенней: изображение карточки размыло боковым светом.

Входили люди, молча клали деньги на тарелку и так же

неслышно выходили.

Глеб никого не замечал.

Но он весь подобрался, заслышав грузные шаги на лестнице.

С каждой секундой тяжесть шагов нарастала.

Запоскрипывали уже коридорные доски.

– А! Председатель! Наше вашим! – Поднятую руку Здоровцев сжал в кулак, разжал. Так он здоровался. – Я ведь, есля честно, могу не класть пока свою долю. Не в смене я. Я мимоидущий. Я пофигист...²⁸² Отхрамываю на низ за молоком. Слышу, такая чудасия, я и вильни на заводошко. А ну дай разведая, что оно такое да как стряслось. А мне говорят: сбегай кинь сколь можешь на похороны. А что я кину? Не из воды деньжанятки гребу... Мне бабеч под строгай расчётко ссудила полтинник. Вернусь без молока своим киндеряткам. Зато полтинничек отдаю досрочно. Не попрекнут...

Здоровцев прошёл к столу, с шиком бросил монетки в тарелку у карточки.

С жалобкой звякнуло.

– Слышь, пред! Я не пошёл в химкину хату,²⁸³ сразу сюда... Зафиксируй исторический моментик... И почему не фиксируют, кто дал, кто не дал... А то потом ещё ляпнут, что не дал. Неси по второму кругу.

Этот скулёж взбесил Глеба.

²⁸² **Пофигист** – человек, безразличный ко всему окружающему.

²⁸³ **Химкина хата** – мертвецкая.

Вальнувшись через стол, он зачерпнул из тарелки горсть мелочи и швырнул Здоровцеву в глаза.

– Бери! Тебе нужней!

Сражённый неожиданным поворотом, Здоровцев хлопнулся на колени подбирать мелочину.

– Ну и начальнички пошли, – рассеянно забубнил. – Хулиганят как хотят... Не отсаживаться ж от коллектива... Раз надо, так надо. Посидят денёк какой мои чингисханушки без молочка. Я негордюха. Соберу и верну на стол. Бу-удет и моя там доляра...

«А не внёс ли ты свою долю ещё вчера? – скомканно думается Глебу. – Не с твоей ли доли эти похороны? Не твоя б, гад, червивка, я б на розвязях не уснул за котлом... Проводил бы её чин чинарём до дома и ничего б такого не сварилось... А набегу тот плюгашка машинистик Ванюра, я б ему живо голову открутил, как курчонку пакостливому...»

Собрав монетки столбиком, Здоровцев сунулся поставить его на тарелку.

Глеб защищающе заслонил тарелку руками:

– Оставляй себе. Я скажу, что ты вносил. Оставляй на похмелюгу... На банки-хвостики²⁸⁴ там...

И покровительственно дважды тукнул Здоровцева пальцем по лбу:

– Спокойно отпускаю тебе две пиявки!

Здоровцев насторожился.

²⁸⁴ **Банки-хвостики** – спиртное с закуской.

Как-то жалко взвесил на руке монетный столбик и не спешил класть его в карман, будто ожидая ещё чего.

– Что, мало?! – с подначином яростно гаркнул Глеб. – Добавлю! – Сорвал со Здравовцева промасленную блинчатую кепку-аэродром, смахнул в неё всё с тарелки и надёрнул кепку на Здравовцева, горячечно твердя: – Всех-то и сборов набезало... Разве что на каблук хватит. Нужны эти поборы нищие? Обойдёмся!

Уваловатый, неповоротливый Здравовцев вроде того и опешил.

Да как можно похоронные деньги брать? Как можно?

В следующий миг его мысли споткнулись.

Встретив утвердительный кивок Глеба, говоривший: «Бери! Можно!», – он легко успокоился и даже с каким-то скрытым торжеством несмело погладил деньги на голове. Эти мятые, всяко кручёные рубливки и вытертая мелочь приятно холодили ему голову.

– Раза три хватит сходить на низ за червивкой иль за соляркой,²⁸⁵ – уже тише, свойски сказал Глеб. – А здоровяк своих потчуй не молоком – маслицем! Покуда начальство из маслоцеха унеслось *смотреть*, дуй в цех. Прямо из-под рожка набирай в бидончик и до хаты!

– А не в засыпку втравливаешь? Не попаду я в бидон?²⁸⁶ Если что, статьёй стеганут!

²⁸⁵ **Солярка** – плохая водка.

²⁸⁶ **Попасть в бидон** – попасть в беду.

– Я когда-нибудь тебя подлавливал? Сказал – честно!

Здоровцева это ободрило.

Да, сколько он знает Глеба, своего сменщика, Глеб никогда не подводил его, не сажал в калошу.

Напротивушки.

Уже трижды Глеб, месткомовский вождь, спасал его, несунешку, от стыдного увольнения. Весь свой в доску был Глебка!

И как только обрадованный Здоровцев – Алёха не подвоха, сдуру прям! – загрохал по хлипким ступенькам в сторону маслоцеха (похоронные деньги он всё же вернул на стол), Глеб позвонил на проходную.

– Сейчас на выход прошпацирует панок Здоровцев. Не стесняйтесь, загляните к этому мазурику в бидончик. Шутя устройте сухую баньку.²⁸⁷ И вы увидите такое, что может вас слегка заинтриговать.

²⁸⁷ Сухая баня – обыск.

2

В странный час пришёл Глеб домой.

Был обед.

На обед он никогда не ходил. С газеты ел обычно в компрессорной. Утром брал хлеба, шмат сала или мяса и весь обед.

Другим проще.

К куску хлеба на заводе всегда набегала корчажка молока. Хочешь, черпай дуриком сколько надо. Глеб завидовал тем, кто мог пить молоко. Сам Глеб не мог. Редко когда-никогда выпьет полстаканчика. У него ж, говорила мама, панский желудок. Прими всего-то три глоточка, как желудок начинал давать гастроль, и Глеб не поминутно ли тяжёлой рысцой бухал в сторону нужника. Спешил срочно сменить воду в аквариуме.

Как мне и поручалось ночью, я наварил зверью, замесил ведро мешанки курам и кабану.

Вынес им.

И теперь, отдыхая от потной зарядки, разбито брёл от сарая к дому.

Я шёл, привычно уставившись себе под ноги, будто что богатое мог увидеть и боялся пропустить.

С этой привычки у меня выросла сутулость. Всякий раз,

когда я горбатился при жене, мне отсыпалось на орехи.

Сейчас жены не было близко.

Я не следил за собой и шёл, как мне шлось.

Вдруг я заметил, что на пронзительно пустом дворе стало темней. Поднял голову – из-за угла по хлопающей грязи тяжело садил Глеб в чёрной стёганой фуфайке.

– Тебе привет! – вскинул я руку.

– Не до приветов! – поморщился он, но спросил: – От кого?

– Пробежала мышка, передавала большой привет тебе, кормильцу.

– Ё-твоё... Без мышей хлеба не съешь...

Видишь, ты добрый. А я твоим мышам смерть придумал. Что за дела! В сарае, на веранде – тучи! Пешком туда-сюда под ручку шпацерируют! На твоих харчах толще тебя стали!

– Я – толстый? Да я за этот месяц сбросил с десятков кило!

– В мышеловку бы мяса...

– Мяса не клади. Мсяю я и сам люблю. Мышам ещё мясо... Хлеба со столичанским маргусалином – обойдутся. Сначала дома поставь. Там одна бегаёт. Никак не доберусь до проклятой... Две пачки чаю слопала! Всухую! Без кипятка! Без варенья! Без сахара!

– Боишься, доберётся до твоих «двух косточек»²⁸⁸?

Он неподдельно вздохнул:

– «Двум косточкам» пришла кончита... Нетути пока... А

²⁸⁸ Две косточки – денатурированный спирт.

вот водярка... Водочка постоянно блистательно присутствует! Водочка у меня не задерживается открытая... Ставь сперва дома.

– Дома мышка с высшим образованием. На маргусалинчик не купится. В сарае публика проще, голодней. Табунами носится.

– Ну что ж, круши мои табуны. Большое, неподъёмное спасибо заработаешь!

– Э не-ет, дорогуша! – смеюсь. – Спасибом не отбоаришься. Даже за большое спасибо я не работник... Да на твоих табунчиках я в миллионеры влечу! Свою операцию я назвал «Мышонком – по Глебову карману!» Такса прежняя. Рупь штука!

Вяло махнув рукой, Глеб прошёл в дом.

Сразу к серванту.

– Что это!?! – в растерянности показал он на открытую дверцу. Лакированная дверца была изурочена, из неё торчал ключ. – Какой багдадский воровайка сюда лазил? Или медвежатник шутил?.. Чья работка?

– Чья... Кто ж кроме тебя станет ломать дверцу, когда в ней ключ?

Навспех перелистал он новгородскую книгу. Ни рубля!

Схватил с обеих сторон за корешок, затряс. Выпал лишь один затёрханный листок-обтрёпыш. С винными долгами дружков. Брали всё на выпивку.

Помидор: $1 + 2.30$

Хлебод: $15 + 2 - 7 - 10 + 5$

Невинный: 2

Лохматый: $3 + 2$

Гнутый: $10 + 3$

Гитара: $1.10 +$

Хитрый: 1.30

Хиленький: 2

Честное Слово Отдам: $2 + 2 + 3 + 2 + 1 + 2 + 1.10 + 2$

Оборвань: $0.50 + 0.72 + 0.40$

По коням!²⁸⁹: $10 + 30 + 15 + 25$

Летуче пробежал Глеб листок. Выронил из пониклых пальцев, но поднимать не стал.

Не вспомнилось ли ему всё вчерашнее: и проводины, и история с деньгами? Чего же их искать?

Лицо его побелело. Вымертвилось.

Кажется, его обдало обмороком.

– В одну ночь стать... нищакон и сиротой... – пробормотал, не убирая остановившихся глаз с изувеченной дверцы.

Он машинально вынул из-под газеты – застылало дно ящика – сберкнижку, машинально пихнул к себе в карман фуфайки.

– Может, тут нагрянет один хиленький – дверь наша ему тесна! – ты так и скажи: подался Глеб в город. Надо...

– Но ты и смену не достоял!

– А мне теперь всё равно...

²⁸⁹ **По коням!** – призыв выпить коньяку.

– Хоть бы переоделся. Какой город в таком виде?
Он только в досаде вздохнул и вышел нетвёрдым шагом.

Вскоре действительно прибежал с завода один хиленький. Толще и выше шкафа! Его цветущий вид говорил: я здоров как бык, не знаю, как и быть.

Это был Здоровцев, человек несуразного, гулливеровского, покроя, с толстыми красными щеками и немыслимого аппетита.

На свадьбе у Митрофана и Лизы Здоровцев столько пил и ел, что взяло кота поперёк живота, и у него лопнул желудок, лопнул самым натуральным образом. Сделали Здоровцеву четыре операции. Всё заросло, и его дуршлаг стал крепче прежнего.

Здоровцев был готов гулять на новой свадьбе хоть у чёрта. Но его предусмотрительно не звали уже.

Наша дверь Здоровцеву была и низка и узка.

Топчась у порожка, он не мог заставить себя нагнуться и боком вдавиться в комнату. Затарабанил в окно. Я открыл ему дверь, пригласил войти. Он отрицательно закачал головой-шаром, хрипло прогудел:

– Глебку подавай! Начальство спрашивает!

– Глеб ушёл в город.

– Вот так краковяк! – всплеснул руками Здоровцев. – Полное выпирато! Меня, понимаешь, втёр... У меня ажник зубы

вспотели!..²⁹⁰ Ввертел меня в тюремную кашу, «завязал уши бантиком», а сам и ах в кусты! Куча смеха!

Закусив губу, он как-то отринуто задумался, напряжённо припоминая что-то своё, соображая вслух:

– А моть, к лучшему такой перепляс?.. И чего вгоряче бить яйцом скалу? Тихо-мирно достую его сменушку, останусь на свою. Гляди, начальство задобрится, спростит мне распроклятуший бидончик...

Перекипелый, с зябкой надеждой в лице отходил он от дома, ворча:

– А и поганая кость этот Глебка... А и поганая...

²⁹⁰ **Ажник зубы вспотели** – о сильном переживании.

3

После обеда погода сломалась совсем.

В мелко и плотно сеявший дождь вмазалась, продралась крупа. Скоро крупу сменил снег, лохматый, ошмётьями.

Бел снег на чёрну землю, и то к лицу!

Не спеша, прочно ложилась снежная кидь на мокрую землю. Картина была редкая, дивная. Неторопливый радостный снег... Праздник глазу, праздник душе.

Не прошло и часу, как невесть откуда стеной навалился бесноватый ветер. Поднялась, застонала ведьмовская метель-завитуха, сдирая с коченеющей земли и вознося к небу молодой, нетвёрдый ещё снег.

Быстро стемнело.

Не зажигая света, весь вечер просидел я у печи.

Смотрел, как горел орешник, и слушал печальный вой ветра в трубе.

Уже при последних огнях в нашем порядке вернулся из города Глеб, включил на веранде лампу. Совершенно весь он был забит снегом и походил на привидение с вытянутым снежным комом в авоське.

Наверное, Глеб думал, что я сплю, и на пальчиках прокрался в угол веранды, к ширме, за которой бугрились мешки с зерном для кур и кабана. Я же, продолжая сидеть, не покидая уютного тепла печки, наблюдал за ним в полоску, —

осталась от неплотно закрытых на окне занавесок.

Несколько раз Глеб осторожно потрянул авоську.

Снег с неё свалился на цементный пол. В авоське я увидел пеструю обувную коробку и свёрток. Стоя ко мне спиной, Глеб переложил что-то из коробки, из свёртка к себе на грудь под фуфайку, сунул пустую коробку и бумагу за ширму на мешок и всё так же, на цыпочках, выскользнул во двор.

Перед сном Глеб часто проверял замки на сараях и сарайчиках. За тем, думалось, пошёл он и сейчас.

Но он взял не к сараям, а за дом и на низ, к центру села, к городу.

Я встрепенулся.

Какие могут быть дела на низу среди ночи?

Я накинул пальто, шапку и за ним.

Нас разделяли метров двадцать.

Может, окликнуть?

Мне почему-то не хочется этого делать.

Может, догнать? Не решаюсь и догонять.

Я держусь на одном расстоянии, тянусь следом, едва не падая под неистовыми ударами ветра.

Наконец я вижу: с тротуара Глеб срезал несколько влево, побрёл к покойницкой, что ютилась в тёмном подвале маленького одноэтажного домика из обшорканного давностью лет кирпича.

«Зачем он пихнулся в эту дуборезку?»

Я почувствовал холод в животе.

Притаился, примёрз за старым расклевнятым, полным тополем, так что если Глеб и оглянется, вряд ли заметит меня.

Вытянутый в нитку слух ловит придавленный лязг замка. Замок там висит всегда и никогда не закрывается на ключ.

Ржавый, жалобкий скрип двери...

Воровато и коротко полоснув взглядом по сторонам, Глеб боком втирается в жалкий чёрный отвор.

Боже... Там же мёртвая Катя!.. Как же...

До гибели боюсь я покойников. Днём не могу подойти к гробу на столе. Но вот так... чтоб в ночь... один...

Крутой страх сжимает меня тугими обручами, резко поворачивает и шальным шагом, с прибежью, гонит в обрат, домой, под невыразимо горькие плачи и стоны не то чёрной вьюги, не то человека.

Глава пятнадцатая

*Быстрой речке тихую не догнать.
Всякая неудача – шаг к удаче.*

1

А в Ольшанке между тем всё ласкалось, кажется, к доброй развязке. Несколько оправившись, налившись малой силой, мама затревожилась о выписке.

– Докторь, – просила на обходе Зою Фёдоровну, – выпи-сали б...

– Выпишу, когда окончательно выздоровеете, – с уютной улыбкой отвечала Зоя Фёдоровна, и своим отказом повергла маму в тяжёлое недоумение.

Чего же тянуть, думалось ей, ведь здоровая, как есть здо-ровая! Я не спорю, плохая была, когда привезли. Что пло-хая, то плохая, вся прелая да гнилая, не могла усидеть на койке. А зараз чего держать в вашем царстве? Ем, хожу, хо-рошо сплю... Чего пролёживать бока? Чего придуриваться под больную?

Маме неловко оставаться дольше.

Прежде она лишь однажды лежала в больнице.

Ещё в войну.

А больше сильно не болела и во всякий день со света была на ногах. С первого света до полуночи (раньше не ложилась) – долгий переезд. Спроси, чем занималась, она надолго задумается и только в досаде махнёт рукой, так ничего в ответ и не вспомнив.

– День оттолклась... Ани минуты не сидела, не лежала... А шо такэ исделала, ей-бо, и не скажу. Шо в будни, шо в выходни... Выходного тоже не бачу. Я его жду, жду... А он через забор и нема его! От нахалюга! Одно слово, ох – крестьянский Бог.

Начнёшь вместе с нею по часам собирать её прожитый день, набегает гора переделанных безвидных дел. Годы её уклонные, кажется, какие особые хлопоты? Ан нет. То пока в огородчике покопается, то пока на низ слетает и по магазинам пробежится, то пока наварит, то пока постирает... Всё пустяки, всё так, вроде и всерьёз нельзя сказать, что при деле была. И была не была, а дня нету. Да что дня? Целой жизни нету! Нету и её как-то не видно. Хорошие года ушли, не простившись, старость накрыла, не спросившись...

На что ушла жизнь?

Мама вовсе не ответит. Только смутится ещё больше против того, когда спросишь, на что ушёл нынешний беготной день.

И вдруг вывалилась такая прорва пустого времени.

Больничное лежание она расценивает как постыдное и непристойное времяпрепровождение. Ей кажется, всех этих

людей в одинаковых пижамах свезли сюда из окрестных деревнюшек на барский отдых.

Отдых сверх меры затянулся. Ей уже не с руки здесь ни есть, ни пить, она тяготится пребыванием в больнице и больше всего её убивает, когда приносят в палату обеды.

«Як барыне», – хмуро отмечает и видит в уходе за собой необъяснимый великий грех.

Она не может уже прямо смотреть нянечкам в лицо, приносящим еду, моющим полы. Прячет совестливые глаза и живёт надеждой от обхода до обхода. Ну, может, вот сегодня, вот, может, ну сегодня...

В обход она не пропустит так Зою Фёдоровну, чтоб с нарастающим недовольством не спросить одно и то же: когда выпишете?

Наконец Зоя Фёдоровна ответила ясно: через три дня.

Я пришёл уже после обхода.

Мама светилась радостью.

– Всё, сынок! Покончились твои страдания. Сказано бабке собираться через три дни додому! И правильно... Накурортничалась – до смерти хватит! Нема ничо тяжелей против пустой лёжки. Ну му́ка!

В приоткрытую дверь всунулась голова простодушного старика в газетном колпаке.

Нюрушка, сидевшая за спицами, проворчала дежурное:

– А чтоб тебя в раны разбило!

Однако весело и стремительно сорвалась с койки, вышла.

Мы с мамой остались одни в палате.

Я спросил, был ли Митрофан.

– Був! – рдея, с вызовом ответила.

Я понял: не был.

– Да ты, сынок, ничо ему не кажи про мене. Не ругайтесь.

Зараз токо и чуешь, дисциплина да дисциплина. Та дисциплина не токо рядовому, она и председателю указ. До мене ли ему? Ну вот крутни умом... У тебе в хозяйстве одна шарикова ручечка та блокнотик с ладошку. А у Митьки – полный колхоз. Скилько людей, скилько скоту, скилько машин и всему дай ума. Да его и без мене хлопоты заливают!

– Конечно, конечно... Шейка похудела, петельки порвала... Не пеше ж. На председательской вездебеге мог бы на минутку заскочить.

– Значит, не мог...

В её голосе, во всём её облике было что-то такое обиженное, виноватое, растерянное. Безусловно, она была б рада, привези Митрофан хоть на миг сюда свои глаза. Мать в больнице не грех и навестить. Ей от людей просто неловко, а так и не приезжай.

Так Митрофан и не ехал.

Значит, такая мать, корила она себя. Раз и в больницу сын не едет, значит, недостойна, значит, в воспитание сына не доложила чего-то, сама не доложила. Сама на себя теперь и пеняй, читалось в её лице, и потому мама оправдывала Митрофана, прикрывая его безумной занятостью.

– Ну ладно, пропустим Митрофана мимо. А она, она-то! Лизонька!

– А что Лиза? У Лизы то и делов, как раскатывать по больницам? У Лизы экзаменты. Это не шутки!

Да, у Лизы шла сессия. Заочно учится в техникуме, в Россоши. На экзамены ездит автобусом, одним днём оборачивается.

– А сегодня, – допираю, – Митрофан сам возил её на своей «Ниве». Могли б маленький кружок на обратном пути кинуть.

– Значит, не могли, – оправдательно жмётся мама. – Люди не могут... Как за это судить? Оно, конечно, в кружку не без душку... А потом, что ж я за барыня такая, чтоб через такую грязюку, через снега летели все ко мне на свиданку? И говорить не хочу! На что мешать людям? Ну на что? Вот вернусь через три дня, ото и все дела.

– Зоя Фёдоровна серьёзно пообещала через три дня отпустить?

– Врачица у нас серьёзна... Меня через три дня, а Нюрушку завтра. Комната у нас стахановська! Ты б, сынок, пошёл сказал Зое Фёдоровне за меня спасибо... Э-э, дырява память. Зовсим забула... Она ж тилько подалась по вызовам. Цэ надовго. Не до вечера ли...

2

Уже далече отшагал я от Ольшанки, когда возле меня остановилась вишнёвая «Нива» с открывающейся дверцей.

– Садитесь, нам по пути, – позвал мужчина лет тридцати шести.

Кроме него в машине никого не было. Я сел рядом.

Мы познакомились.

Это был Разлукин Николай Константинович, новый первый секретарь райкома. Возвращался из больницы, от матери, как и я, только с той разницей, что он ехал, а я бежал считал сухие с мороза кочки.

– Знаете, – окинув меня тёплым взглядом, просто заговорил он, – я много слышал о вас от своей матери. Как-никак, и ваша, и моя лежат в одной палате. Так что давайте без чинов... Вот что бы вы, семейный человек, посоветовали?

Я выслушал его, развесил губы, однако ничего толком так и не сказал.

Оно хоть и твердят, что все мы в чужом деле академики, да не всякую чужую беду мизинцем разнесёшь. Тем более, эта беда не беда, так и счастьем особенно не назовёшь.

А песня такая.

Речь шла о его матери. Покуда лежала в больнице, навёл с ней дружбу тот самый привязчивый королевич в газетной пилотке. Я видел его то нетерпеливо заглядывающим в пала-

ту к нашим матерям, как это было сперва, то уже смело вызывающим Нюрушку к себе на посиделки, как было сегодня.

И кончилось это тем, что выписывать старика, а он – молить Зою Фёдоровну. Вы уж потерпите-де малешко, всё одно места мужские в свободе киснут, дозвоьте ещё побыть и выпишете, когда станете рассчитывать такую-то.

Зоя Фёдоровна, естественно, могла выписать и все концы. Не держать же в больнице здоровяка. А она... оставила.

Неопытное сердчишко охнуло, когда узнала, что старик совсем один.

Дети взрослые, развеялись по городам, и старик один не просто дома, один в своём доме на весь заколоченный досками хуторок Медовка. Последние хозяева ещё летом скочевали на центральную усадьбу, а старик не снялся, не поехал от своих пчёл, от своего родового гнезда, остался один.

И та, которую он назвал, тоже была одна на весь заколоченный уже хуторок Золотой.

Эти два умирающих хуторка стояли рядом.

Конечно, не стена в стену жили и эти два одиноких человека, жили близко, и вот больница совсем свела.

Старик молил Зою Фёдоровну оставить его на время, поскольку ему беспрерывно надо возвращаться домой только вместе со старухой.

И Зоя Фёдоровна согласилась в один день выписать обоих, чем вовсе затёрла в тупик старуху.

Старухе казалось, что всё то пустые разговоры, так, от

больничной скуки колоколит дед без пути, а тут, поворачивается, не в одних словах сила.

Вчера что вошло на ум...

В подтверждение своих слов, что на всё ддяради неё согласен, выкрикнул, глянувши в окно и увидавши пушной первый снег: зарадушки тебя готов хоть на край света, а сначала по первой снежурке для тебя похожу босиком.

Завертелась Нюрушка, как сорока на колу:

«Чем ушибся, тем и лечись! Мне-то на кой твои расколбасы?»

Как отговаривала – упрямый хоть колуном по голове бей. Разувшись, потоптался-таки под окном. Никто кроме Нюрушки не видел. Иначе Зоя Фёдоровна, оставившая его сверх всяких порядков, непременно выставила бы его из больницы за такой выбрык.

Всё обошлось.

Посторонний глаз не видел, а Нюрушка запечалилась пуще прежнего, будто окатило её холодной водой. Больной, он и есть больной! Выписываться, да куда? Эта смола прикипела, не отодрать.

«Едем сразу прямо ко мне на мои меда!.. Доколе?.. Я один... Ты одна... Как палка в поле... Доколе?»

Ехала в больницу одна, смято думала Нюрушка, а из больницы – с таким же болящим? Да что ж я за зайчиха? В поле пошла одна, зато вернулась сама-друга, напару...

«Да он тебе хоть нравится?» – наосторожку спросил Ни-

колай.

Мать замахала на него руками:

«Наплетёшь! В трёх мешках не унести... Ну кто мне зараз может нравиться? Шестой же десяток молочу! Жа-алко, Колюшок... Вроде не пьёт, вроде не курит, вроде, по разговорам, хозяйновитой. Всё какой гвоздок забьёт... Не матершшинник ещё... Славный норовом, весёлый, как игривой кот, хлёсткий покуда на ногу... В полном уму, расторопный... Не то что оторви да брось... Последние дни всё в одну точку стучал: это не докторица, это ты меня так скоро подняла. Возле тебя я не болею. Цвету! В каком кине такое услышишь? А, думаю, пускай. Абы на страх мышам в дому мужиком попахивало, всё и мне на душе смелей... Ума не дам...»

«Переезжала бы ко мне в район».

«Ни в район к тебе, ни на центральну усадьбу, в пять этажей скворешник, не пойду. У вас, у молодых, свои игрушки, у стариков свои... Как оставишь гнездо, где увидел свет?»

Какое-то время мы оба молчали.

Разлукин ждуще посматривал на меня.

Ну что я мог сказать ему в ответ на вопрос, заданный ему его матерью, следует ли ей выходить за больничного знакомца? Судить-рядить со стороны всё равно, что советовать солнцу вставать ему или подождать. В свой час оно само подыметя. И у стариков всё должно бежать так, как хотят только эти двое.

3

Как мог, путано и ломано, объяснил я свою точку.

Разлукин горячо улыбнулся на мои слова.

– Я тоже так думал. Так и ляпнул, как сами решите, так и поступайте. И лучше будет. По крайней мере, не на кого будет валить в случае чего. Обыкновенная житейская история, да выворотила сколько нерешённых проблем. Неперспективные деревни... Неперспективные старики... На перспективные деревни махнули, как на безнадёжных, перспективных стариков, а эти перспективные старики ещё такое затевают, ещё такое живёт в их душах, они ещё такое могут!.. Обычай уже отёр их в разряд ушедших, бесперспективных, так зато они нам говорят: не спешите, рано отстёгиваете нас от жизни. И действительно, рано. Ведь смотрите, мать всё колеблется, как девочка, не даёт твёрдого ответа. Старик ей ультиматум. Знает, на что бить, вымогатель, на то, что ей его жалко. Говорит: если пойдёшь к себе на хутор одна, я увяжусь за тобой босиком по снегу. Нужен – неправда, сжалишься. А не нужен я тебе – так я и себе не нужен! Мне без тебя не жить. Мать сокрушается: «Как идти за такого? Он, раскати поле, в уме повредился». – «Из-за любви к тебе», – смеюсь... Бедная не знает, что и делать. Наверняка пожалеет. Вижу по ней, сольются в одну душу. А мы, увы, как смотрим на стариков? Нажил человек пенсию,

вшатнулся в старость – всё! Жизнь проскочила! Ты неперспективный теперь жилец. Однако на поверку получается ой как не по-нашенски, точно с неперспективными сёлами.

Сёла, как и людей, нельзя делить на перспективные и неперспективные. Тем не менее... Дело это уже несколько отстоялось, и какую страшную картину мы увидели. Интересно, какой болван пасьянс этот раскладывал: перспективное, неперспективное? Кто именно всё это перспективил? Почему эта деревня перспективная, а вон та неперспективная? По какому принципу им приваривался тот или этот ярлык? Я считаю, весь этот делёж сёл вели головоупячество, тупость и лень. Сельцо маленькое, надо дорогу к нему, надо водопровод, надо клубишко, надо медпункт, надо магазинчик... Проще столкнуть мелкие деревеньки-хутора в одну кучу! Всё будет в одном кулаке! Оно-то, правда, всё в одном кулаке. Да не этот ли кулачина так грохнул по городским полкам, что они враз окончательно опустели? Не этот ли кулачина взашей вытолкал в города миллионы крестьян?

Бухнули в колокола, не глянув в святцы.

А глянь в святцы – спроси народ! – экой катавасии не было б. Давайте разложим по полочкам конкретный пример. Вот два колхоза, Суховерхова и вашего брата Митрофана. Колхозы соревнуются. Суховерхов гоняется за всем экзотическим, звонким. Этому надо поскорей да позвончей отпартовать. Какую новенькую игрушку завидит в газете ли, в журнале ли – дай-подай сей же мент и мне! Как шурёнок,

падок на всё блёсткое. Прокукарекал кто-то где-то на совещании про городские дома в селе – давай лепить. Скулёмил, по словам матери, на весь колхоз три пятиэтажных куреня из блоков и хошь не хошь езжай. Подгонит машину – грузись добром... Это пустому человеку легко. Что на нём, то и всё с ним. Встал – всё его с ним и поднялось. Встало. А мы, говорит мать, хоть и не богатецкого замеса, а всё ж как встанешь, не всё твое на тебе. И курочка в серёжках, и кочеток в сапожках, и уточка-такалка, и гусь-чевошник, и поросеночек-подросток, и коровушка не с кошку, и овечка-баловница, и криволапая молчан собака, Мурка-пустомойка... Животов полный свой колхоз, на пятый этаж не взопрёшь. Вот в чём закавыка! Вот почему народ с великой неохотью шёл в те дома!

А Митрофан ваш не кинулся на пятиэтажки-недоскрёбы, не навалился крушить и мелкие глубынь сёла. Живут люди, есть чем жить – живите. И разве он не строит? Побольше Суховерхова и поумней. Создал из старинных плотников бригаду. Нужна хоромина – давай чертёж, всё на твой вкус, и через две недели принимай на баланс персональный выставочный домик. С резьбой, с картинным крылечком... Праздник на всю жизнь. От Митрофана ни одна душа не уехала. Напротив. Городские напрашиваются к нему в «Родину». Из суховерховских же недоскрёбов бегут кто куда, просятя в митрофановские пятистенки. Поближе к земле. Дошло даже до курёза. Моя мать, как я узнал из её рассказа к случаю уже

в больнице, наотрез отказалась забираться в «скворешник» и поклонилась Митрофану, умолила, чтоб родинские маги и волшебники сладили ей домец, пускай тесный – кошка ляжет, хвоста негде протянуть, – абы до дна добрать свой век на своём же хуторке. Представьте положение брата. Тогда меня ещё здесь не было, не могло быть и речи, что угодил он моей матери с какими-либо корыстными завитушками. Неслыханно! Одинокой старушке вывести дом в чужом, в соседнем колхозе. Он как бы бросал вызов Суховерхову. Вот-де ты запечатал людей на верхотуре, точно каторжанцев, не видят они у себя под окнами ни лучка, ни огурчика, а я рублю своим такие обычные, веками проверенные земные дома в усадьбах, и посмотрим, друже, чей век окажется дольше.

Скоро схлынула волна на конвейерные многоэтажики, заговорили о перспективности неперспективных сёл и рады, что ещё не все малые свели села. Глупо, ой как глупо запахивать их! Да отсеки у Волги малые речушки, ручейки-бормотуны, ключи – уцелеет от Волги лишь сухое её ложе мёртвое. А тут – убрать малые села! Да малые села держали и ещё долго будут держать продуктами город.

– Но вот, – продолжал Разлукин, – что дальше? Суховерхова-то возносили до небес за пятиэтажки и уклончиво помалкивают сейчас, когда они наполовину пусты, поскольку многие их жители в открытую подались в города, другие, не пожелав уйти с земли, перекинулись в соседние хозяйства, в человеческие дома. Суховерховский «Ветхарь» скатился в самые низы районных сводок.

А провидец Долгов за эти «смотровые» годы продвинулся вперёд. Сёла, зачисленные сверху в неперспективные, он не обидел, не сгубил там ни одного двора, напротив, поставил новые. Больше того. В обречённой деревеньке вымахнул как назло крупный молочный комплекс, словно бы на деле доказывая, как следует относиться к малым сёлам. Пробыл к ним водопровод. Вода прямо в доме! В асфальт вырядил дороги, построил школы, магазины... И какова себестоимость его подвига? Думаете, орденки поцепили? Два строга! За нежелание ляпать суховерховские скворешники со всеми удобствами во дворе, за нежелание сносить кому-то вверху неудобные сёла.

Время рассудило, Митрофан вошёл в честь... Анекдотию! Выходит, выговор – первая ступенька к удаче. Выговоры сами собой сошли. Угорели. Зато остались жить-поживать десять сёл. Зато встало столько хороших крестьянских домов.

Появился комплекс. Краса-авец! Кстати, сейчас идёт прокрутка, подгонка всего и вся. Шефы приплясывают дай боже как! Всё делают без дураков. На ять. Любо-дорого глянуть. Приглашаю через три дня на официальный пуск комплекса. Напишите, воздайте Митрофану Долгову должное.

– Не с руки... Да и не вижу в том особой нужды. Брательник и без газетного звона перебеётся. Меня в данную минуту беспокоит эта жестокая картина, – киваю на подымавшиеся из горизонта на том берегу Чуракова оврага безглазые, без окон, серые коробки районной больницы с полыньёю на крыше, видные отовсюду, как укор всему живому. – За двенадцать лет ухлопали миллион, здание валится на корню. На крыше всякий сор уже растёт. Подмоют ключи, недостроенное упадёт, а люди так и лечись по окрестным больницам? И надо же где посадить? Рядом с кладбищем и птицекомбинатом!

– Оп-паньки! – Разлукин горестно покачал головой. – Наследство досталось мне не подарок... Что я скажу? Я тут всего первую неделю. Не обещаю, что завтра больничный городок будет задействован. Обещаю лишь, что предприму всё, чтобы скорее ввести его.

– Может, написать об этой вечной стройке?

– А не будет пустой выхлоп? Газетой не заткнёшь подземные ключи. Не перенесёшь больницу от кладбища. Вторично не накажешь дароимца Пендюрина. Тут такое открылось...

– К слову, как он наказан первично? А то носят слухи,

уволен с повышением.

– Проводили на пенсию. С цветочками в палисаднике пускай копается... Говорили ему, нельзя здесь привязывать, вода близко. А он топнул партийной ножкой, пристукнул руководящим пергаментным кулачком: «Вода на бугре? Враки! А панорама какая с бугра?! Привязывай тут!» И привязали. Едрёна кавалерия! Каприз первого секретаря – удовольствие дорогое... Миллионом кинулся!.. Долларов! А теперь... Городок не перенести. Надо гасить ключи. В трубы их да в ров. Со вчера народ этим занялся... Может, подрядчики начнут где ломаться, может, с поставками оборудования что застопорится... Как почувствуем, что без пробивной силы прессы не обойтись, мы дадим вам знак. Тогда и напишете. А пока вам нелишне знать, что прежний районный генералитет не очень-то радел... Весь он, вплоть до избранных вахтёров, приписан к областной больнице. Как чуть что – на машину и мимо своих поликлиники и больницы, видных в райкоме из окна, ж-ж-ж-жик в область! Ну что тут мораль читать? Одной моралью пока ещё не поднялось ни одно мало-мальское дело. Какой бы пост человек ни держал за собой, какой бы сверхсознательный он ни был, но если он знает, что об этом и об этом ему нужно биться лишь по службе, если он знает, что всё это лично ему никогда не понадобится, он чисто произвольно, увы, может что-то забыть, что-то упустить, чему-то не придать должного внимания, что-то недосмотреть. А вот когда все в районе будут знать, что этот

больничный городок жизненно необходим им всем, наверняка дело столкнётся с мёртвой кочки. Первое, что я уже сделал, я не поставил себя на областное медицинское довольствие, снял с него всех подчиненных мне охотников со всяким прыщиком, как с золотым слитком, носиться в область. Будем лечиться у себя. Разве у нас врачи хуже тамошних? Разве наши врачи не в тех же институтах учились? Мы – дома, и нам самим надо у себя дома наводить порядок. За нас его заезжий гость не наведёт, перепиши хоть сто статей. Другими словами, на чужой каравай губ не надувай, а пораньше вставай да свой затирай. Начнём, – он криво усмехнулся, – пораньше вставать... Начнём у себя с районных министров... Верно я говорю?

Я молчал и думал.

– Молчите? – нетерпеливо спросил Разлукин. – Молчание – это тоже позиция.

От удивления я весь подобрался.

По краю большака навстречу вышагивала Люда, глубоко засунув руки в карманы красного уже до ветхости изношенного пальто.

Я сказал Разлукину, что это моя племянница, и попросил остановиться возле.

Разлукин так и сделал.

Я позвал Лютика в машину.

– Я не одна. Я с Тёпой, – тихо возразила она и посмотрела на старого тяжёлого гуся.

Только тут я его заметил.

Изогнув шею, гусь насторожённо вслушивался в разговор.

– Как тебя зовут, девочка? – спросил в окошко Разлукин.

– Девочка Лютик.

– Хорошо зовут, – похвалил он.

– Тем не менее, – бросил я Разлукину, – мы с вами не едем. Спасибо, что подвезли, – и на прощанье подал ему руку.

Я наладился было идти за уходившей машиной, пускавшей весёлые сизые завитушки, – Люда только подивилась мне.

– Да нам в обратушки!

– В обратную так в обратную...

Я взял девочку за руку. Рука у неё была очень холодная.

Я спросил, давно ли она гуляет.

– Я не гуляю. Я иду к бабушке.

– Ты? К бабушке? – опустил я на корточки перед девочкой, сжал её ладошки вместе и, поднеся ко рту, благодарно задышал теплом на спичечные розовые пальчики.

Пронзительно тронуло меня то, что у самой маленькой, у самой слабой во всем Митрофановом семействе шевельнулось что-то в груди к бабушке.

Я почувствовал резь в глазах.

– Славненькая ты моя! Ты соскучилась по бабушке?

– Соскучилась, дядя... Бабушка хорошая. Бабушка не лайкая. Не дерётся, как тётя мама...

– Это ты свою мать тётей зовёшь?

– Да, – со вздохом подтвердила. – К бабушке когда ни приди, даст сладенького. Потом даст карандашики, и я рисую, рисую, рисую... А как устану, бабушка положит меня в кроватку, говорит: пускай твои глазки поспят, пускай пальчики поспят, отдыхай... Раньше бабушка всегда была дома, я в сад не ходила... Я повсегда была с бабушкой на пенсии... А те... перь... приду из школы, хочу пойти к бабушке, а баушки нету... – Слезы дрогнули в её голосе. – Сколько прошла...

– Километра три одолела. А до бабушки ещё столько в семь слоёв. По нашей скорости, до ночи не дошатаемся.

– А надобится дойти. Позову на своё рождениё...

– Послезавтра только будет. Ты что же, досрочно отмеча-

ешь?

– Не-е! – оживилась девочка, довольная тем, что и не все взрослые всё знают. – Вправде, я родилась послезавтра, а Лялька сегодня. А чтоб не делать два рождения, папка с мамкой сразу отмечают посередке наших днёв. Чтоб без обиды. Ни в Лялькин день, ни в мой... Побыла б бабуня у нас завтра, а там и продолживай лечись вовсю.

– Нет, маленькая. Такой воли больница не даёт. Я думаю, бабушка не обидится, если один раз вы погуляете без неё.

– Вовсю обидится, – доверительно прошептала Люда. – Наши ни разу не звали её на деньрожку. Я от себя хотела позвать. Ни мамке, ни папке про то не сказала... Бабушку только зовут к нам, когда я заболею и сидеть со мной некому. Или ещё когда на ночь, когда папка уедет куда, а мамке надобится на завод. А так совсем не зовут.

С горячих глаз я едва не выпалил, что у неё не только мама – тётя, но и папа – гусь не лучше. Не папа, а форменный дядя.

К счастью, я сдержался и коснулся губами её виска.

– От бабушки спасибо за приглашение. Я ей всё расскажу. Она не обидится. Вот увидишь. Бабушка скоро вернётся.

– Через сколько пальчиков она вернется?

Девочка выдернула из тепла моих ладоней свою ручонку и подняла, растопырив пальчики.

Я загнул большой и мизинец:

– Через три. А теперь домой. Наверно, уже кинулись ис-

кать тебя.

– Неа, – грустно ответила девочка.

Я взял её за руку крепче, и мы пошли назад, к Гнилуше.

Люда брела нехотя.

– Лютик! – шумнул я. – Ну кто за тебя будет ноги подымать? Живей шевели коленками!

– Дядя! – взмолилась девочка. – А вы обещаете, что сейчас пойдёте к нам? Если я одна приду, мамка меня забьёт.

Гусь – важно шёл чуть позади – прогоготал, как бы подтверждая: забьёт! забьёт!

В таком случае как не пойти?

6

Разуваясь, Люда увидела, какие заляпанные у неё ботики, обомлело прошептала:

– Совсем разгрязнились...

Лизавета, короткая, круглая – за глаза Митрофан звал её баба-котёл, – картинно устала сытые кулаки в бока.

– Явилась геройша! Съякшалась с гусакон и днями чёрте где шлэндает с ним напару. Ну после этого не дурища!?

Неожиданно резко она выбросила руку вперёд, норовя поймать девочку за волосы.

Но Люда, шедшая впереди меня и, видимо, ожидавшая такого наскока и при дяде, глазом не мелькнуть как стремительно, профессионально отпрянула назад за меня и уже из-под моей руки, из безопасности, дразнительно посмеялась матери: ну что, обрезалась?

– Скажи спасибо своему дяде! – погрозила Лизавета ей тупым, отёкшим пальцем. – А то б я те проредила космы, дура умнявая!..

Меня завело.

– Лиза, – мягко, как-то вкрадчиво сказал я, – ну что ты заладила дура да дура? Со всей ответственностью заявляю, если тут дура и есть, так не Люда.

– А кто же? Кто же ещё? Я? Может, Лялька? – ткнула Лизавета на сидевшую с книжкой за столом старшую дочку, сго-

равшую от нетерпения забросить учебник с этой тоскливой «Капитанской дочкой» подальше и ввязаться в общую суматоху. – На весь дом у нас одна дура. Иначе не назовёшь. Ну посуди сам. Вечер. У меня завтра экзамен. Некогда носа под-нять. На последнем дыхании строчу шпоры. А эта трёкалка, изволь радоваться, учудила. Выдула вчера из пузырька все чернила! Я так и отпала. Ты ж меня на второй год на первом курсе оставишь! Чем мне теперь писать? Карандашом? Карандаш я плохо разбираю... По её милости я сегодня на экзамене молчала, как партизанка Зоя. Еле выплакала дохленький тройбанчик.²⁹¹ Спасибо, преподаватель попался сочувствующий. Пожалел заочницу с тремя детьми. Сказал: «В Японии за шпаргалки студентов судят. Вы шпаргалками не пользовались. Только за это на первый раз...» Золоту-у-уш-ная, затюканная удочка нас и развела. На дурика еле сда-ла. И всё из-за этой шмынди!.. Вот видал, дядя, такую у нас дурочку? – с ласковой мстительностью указала Лизавета на Люду. – Ничего. За мной не прокиснет. Ты ещё у меня на-ткнёшься рылом на кулак!

– Усекла? – весело кинула Лялька Люде. – Жди. Упадёт тебе ещё марксов²⁹² кулачок с ёлки.

Покивала Лизавета головой и покатила на кухню к своим шпаргалкам.

Проводив мать боковым взглядом, Лялька с ликующим

²⁹¹ **Тройбан** – тройка, оценка «удовлетворительно».

²⁹² **Марксы** (шутл.) – родители.

торжеством захлопнула книжку.

– Дя-ядь! – колоритно потянулась Лялька, сцепив пальцы рук на затылке. – Забудь ты моих марксов, прикольноенько погутарь со мной... Ну зачем нас, маленьких, так безбожно тиранят? Ну на что нам тоскливушка про какую-то капитанистую до-чурку? А то раньше зубрили муру про этот дурацкий дуб, про это лукоморье, про этого котяру? Какое мне дело до его сказок? Можно ж коротко и ясно, от мальчишек слышала:

*У лукоморья дубок стилили,
Котика на мясо порубили...*

Разве этих двух строчек не хватит? По-моему, с избытком! И нечего антимионии разводить. А пошто нас запрягают во все оглобли? Заставляют зубрить всю учебниковую нудятину. Я вся прям в умоте!

Всем своим видом она говорила: ну полюбуйте, какая я красивая, какая я умная. Похвалите, пожалуйста, меня.

Хвалить было не за что, кидаться же с нею в дебаты глупо. Мало ли какой чепухи нанесёт болтушка, работая на публику.

Холодное моё молчание подсекло её.

Она померкла и стала осматриваться по сторонам, желая найти что-нибудь ещё такое, чем можно было бы наверняка изумить. Смешанным, долгим взглядом обходила стены

комнаты и – просияла. То, что ей надо, что искала, было под нею!

Лялька вскочила с баянного футляра. Расстегнула. Достала баян.

Я поразился не баяну, а той старой мысли, ещё раз подкрепляемой конкретным примером, что дети повторяют и то родительское, чего никогда не видели.

Её отец, Митрофан, в детстве и в молодости, глубокой, нежной, играл на гармошке, потом на баяне. После армии у него открылся интерес к баяну с неожиданной стороны. Он стал обедать, восседая на баяне. Не пропадал без дела и футляр. В футляре он после таскал уголь из сарая.

Эту дистанцию – от игры до сидения на новом баяне – дочка прошла проворней. Ещё не выкружила из лабиринтов детства, а уроки уже учит, восседая на баяне.

Конечно, до угля всего один поворот.

Лялька опустилась на диван, с торжественным ожесточением рванула меха.

Минуты две пофальшивила, капризно прислушиваясь к ладам, с пристуком поставила баян на пол.

– Прижгло этим марксам, – повела руку в сторону кухни, – чтоб я музишвили занялась. Сдали в музыкалку. Знаете, по праздникам во дворце выступаю... На баянде²⁹³ играю. В районке даже мою фотомордочку напечатали. И интервью. Один из редакции всё расспрашивал, так сказать, интервью

²⁹³ Баянде^{ль} – баян.

брал. Я дала интервью, да назад не отдали...

– Ребусами говоришь.

– Заговоришь... Эх-х!.. Как мне хоц-ца пропороть ножом баяну бок, налить в баян полно воды... Только поскорей от него отмучиться... Надоел хуже Витьки!

– Какого?

– А... Водится тут один неотразимый ни в каком болоте. Гля сюда!

Она резко отбросила уголок занавески.

В окне напротив я увидел печального мальчишку.

Заметив, что на него смотрят, он дёрнулся за стену.

– Сижу с этим жульеном²⁹⁴ за одной партой. Живём окно в окно. А он мне каждый день письма рисует. Я в откиде! После школы сядет у окна, смотрит на моё окно и пишет. И чтоб посторонний кто не догадался, обратный адрес на конверте ставит то Москву, то Ленинград, то Мурманск, то Уэлен, то мыс Доброй Надежды, то Баб-эль-Мандебский пролив... А раз из Сингапура или из Сиднея – я путаю эти города – *написал*. Всё умасливает ходить с ним вместе в школу и из школы. Очень мне надо! Спотыкаюсь и падаю! Да мне никто не нужен!.. До Артека этот Виташечка меня не видел, высоко себя ставил. В Артеке – вот только вернулись – два раза с ним потанцевала, этот долбёжка и вообрази! Давай напрягать пипл!²⁹⁵ Нужен мне этот безлошадный!²⁹⁶ Ну, на

²⁹⁴ Жульен – простак.

²⁹⁵ Напрягать пипл – приставать.

фига лисе жилетка? Да я его... даже не за ми бемоля...²⁹⁷ Да я его по дешёвке за два мороженных уступила плоскодонке Светочке по кличке Хулиганита. Это моя подруженция. Про неё я вам тыщу разиков пела. Наша классная красуля минога. Худая, длинная. Три метра сухостоя! И ноги рогачиком! А Витечка оказался перебористый. Не смотрит на Хулиганиту. Мне-то что! Мороженое съедено, не вернёшь... У меня этих Витек до фи́га и больше. Целый Артек! Все артековские пионерята строчат мне. Два ящика накидали писем. Желаете обхохотаться? Дам почитать. Укатайка!..

– Читать чужое...

– Ну-у, – уныло перебила Лялька. – Повело вас на лекцию. Знаю, нехорошо читать чужие письма. Да я читаю. Мы с девчонками обмениваемся мальчишечьими письмами. Все надорвали животики, как этот Витёк... В стихах!..

Может, всё же сядешь,
Пару слов черкнёшь?
Чёлка, две косички,
Как ты там живёшь?

– А мне почему-то не смешно. Неужели у тебя не было ни одного письма, которое не хотелось бы показать девчонкам?

– Если бы... Боярский Миша...

²⁹⁶ **Безлошадный** – глупый, убогий.

²⁹⁷ Ми бемоль – три рубля. (Связано с *ми* – третьей нотой звукоряда.)

– Это какой поёт по телеку про мерси в боку! – с энтузиазмом пояснила Люда.

– ... ответил... Я люблю его. Что мне делать?

– В таких случаях говорят: подожди, когда и он тебя полюбит. Когда запоёт про мерси не только в Баку, но и где-нибудь ещё в Ереване...

– Сколько ждать? Я этому боярину честно написала. А он... Найдите его там у себя, спросите построже, чего не отвечает.

– К счастью, твоим послем я быть не могу. Твой Миша не москвич, а ленинградец.

– Ладнотько. Напишу и в Ленинград. Сама напишу. А вы...

Она замялась.

Немного поколебавшись, растеклась в жеманной улыбке.

– Дядь! А вы принимаете заявки на подарки?

– Смотря на какие...

Лялька по-старушечьи приставила ладошку к уху:

– Неслышиссимо!

– Приглохла, что ли? Снова, говорю, станешь выплакивать золотой крестик?

Лялька скучно усмехнулась.

– Неа... Крестик, дядь, дело тоскливое... Эх... Пусть течёт кровь из носу в мире шоу-бизнесу!.. Вон Светка-крестоносиха, я вам про неё только и шуршу, уже сгорела вчера на крестике синим огонёчком. Дошло до Электрички! Это

мы так за глаза зовём нашего главнюка... дерюгу... директора. Ракетой бегают по этажам! Вызвал родителей. Я в потрясе! Без перемены три часа чадил проповедью! Умереть не встать! И Светуля навечно подарила своё золотце древней своей бабке-косолапке. Бабка от счастья чуть не померла... Мне такого счастья, – Лялька вскинула руку и, не двигая ею, строго провела лишь указательным пальцем из стороны в сторону, сказала в нос: – *на нада*. Со вчера мода на крестики у нас побежала на спад... Лучше пришлите золотой перстенёчек. А то Хулиганитка в полном оболдайте и страшно задаётся. Прямо выёгивается. За рубляшку только и покажет в травилке²⁹⁸ или в тёмном углу под лестницей... Второй дядя ей из Риги подвёз. Неужели мой московский дядюшка хуже её дяди рижского?

– Не сталкивай дядюшек лбами. Напрасные хлопоты. Ремешка да пошире выпрашивает эта дурка Хулиганита вместе с теми, кто бегают смотреть.

– Не-е... Мы так не договаривались. Не можете, так и скажите. А чего навяливать заменители?.. Ну... На серёжки фирмовые я уже расколола папочку Митю. А вас, может, расколю на блёстки²⁹⁹ или на приколенькое колечко. Выберите, что хотите. Лишь бы исполнение было золотое.

Господи! Птичка ещё не обсохла, а рот распахнула с калитку. Дай! Дай то! Дай это!

²⁹⁸ **Травилка** – школьный туалет для девочек, где они тайком курят.

²⁹⁹ **Блёстки** – наручные часы.

Не слишком ли рано запросила? И кто в том виноват?

Бывало, тянет бабушка из *астронома* по сумяке в каждой руке.

Маленькая Лялька выпрямится: ба, на ручки бери меня!

И бабушка берёт.

Лизавета на работу опаздывает – привереду никак в сад не соберёт. Плохие носки, плохое платье, плохая лента! Это не ем, это не хочу, это не буду!

Пожаловалась Лизавета воспитательнице.

Воспитательница и ахни:

«А мы ей цены не сложим. Такая золотуля! Ложки может, постельки перестилает, накрывает на стол, младшеньких раздеть, одеть... Лялька первая!»

Припугнула воспитательница Ляльку. Если будешь так плохо вести себя дома, буду ставить в угол. В углу вырастешь.

Однако в углу Лялька не росла.

Лизавета плакала от неё, но воспитательнице больше не доносила на свою дочку.

Схватится когда Митрофан за ремень, допечёт – Лялька остудит ультиматумом: тронешь – уйду из дома.

И воспитательный приступ в Митрофане гас.

Лялька быстро усвоила, где, с кем и как вести себя. В саду, в школе – примерная, отличница, образцово-показательная. Дома – сущий вампир со смазливенькой мордашкой. Все ей обязаны, все ей должны. Ей уже мало простых подарков, по-

давай в золотом исполнении.

– Так тебе золотое колечко? – сухо уточняю. – Золотые часики?

– Мне. – В её голосе дрогнула капризная обида. – Для любимой племяннелли жалко?

– Видишь ли... У меня у жены нет даже простых часов. Отсюда следует, что у меня нет даже филиала Монетного двора. А и будь... Не возьму. Вот пойдёшь, милая племяннушка, работать, станешь ковать монету и покупай золото хоть слитками. Лично я возражать не стану.

– А я у вас и не просила. Это я так... Для связки слов.

Вскинулась Лялька с дивана и холодной, чужой походкой прожгла к кухне.

– Обиделась хитруля, – шепнула мне тихо Люда.

Лялька услышала. Прощедила сквозь зубы:

– А ты, наколдованная, закрой калитку и не квакай. Это тебе ничего не надо кроме ведра чернил.

В комнате без Ляльки стало как-то просторней, светлей, уютней.

Всё время жавшаяся ко мне Люда заговорила раскованней.

Я спросил, почему Лялька назвала её наколдованной.

– А! Верьте!.. Она мне рассказывала, что мамка с папкой обещали ей родить братика. А она наколдовала, и они породили меня. Вот она и дразнит меня наколдованной.

– Теперь никого нет. Скажи, зачем ты выпила чернила?

– А так... Мамка целымя днями дома и пишет, и пишет, и пишет... И совсем не видит меня. А мне скучно одной. Я и подумала, если я выпью чернила, ей нечем будет писать, и она бросит писать. Возьмёт меня на коленки, сказку расскажет. Потома пойдёт погуляет со мной.

Бедняжка как могла, так и боролась за родительское внимание к себе.

Конец истории печальный.

Оставшись без чернил, *тётя мама* кинулась было отхлопать.

Девчонишка успела выскочить на улицу.

На народе Лиза не трогала дочек.

– Теперь у меня внутри вся пузичка синяя. Как небушко...

Надо было уходить.

Но я почему-то медлил. Не уходил.

Почему?

Что меня здесь держало?

Я сидел и думал над этим, и где-то на самом доньшке души шевельнулась догадка – я ждал, когда Лизавета или Лялька хоть вспомнят о матери, спросят, ну как она там.

Зачем мне надо было *ЭТО* услышать?

Не знаю, но – хотелось. А они и не заикались о ней, будто её никогда для них не было.

Я встал идти.

Из кухни вышла Лизавета.

Жестом велела подальше отойти Люде и вгоряче забормо-

тала, словно недолаялась давеча:

– Вот ты говоришь, недуга она у меня. Как же недуга, если во всех трёх измерениях дура! Перед чернилами я её купала. Попарила мозги, они и пойдёшь набекрень. Выпить чернила – это что! А то... Есть тут соседский шкет, ей ровня. Женька Зубков. Идёт, бывало, в сад, заходит за нашей мадамой. Придут вместе в сад, он её и пальто на вешалку повесит, и сапожки отнесёт на место, и в обед обязательно за столиком рядком, знай все допытывается у нашей мамзельки, а можно я к тебе подвинусь поближе, а можно... У нашей всё можно. С её позволения подвинется он, неминуче одарит припасённой на случай конфетой. Одним словом, это юное дарование записной жених. Мы его так и зовём: жених. Вместе вот теперь и в школу, вместе из школы... Вчера наша чернильная невеста спрашивает меня. Мам, говорит, а как я выйду за Женю замуж, я должна вместе с ним спать? Конечно, говорю. А она, синепадая, стрижёт дальше: а если я уписаюсь? Хоть стой, хоть падай. Ну что отвечать? Видал, какие заботы жмут ей голову. А ты говоришь...

Я не нашёлся, что сказать, и молча вышел.

Что попусту мять слова?

Я ползал на коленях под кроватью, мыл пол.

Вошла Лялька и, распустив важность, процокала к зеркалу на гардеробной дверке.

Зеркало – её вечное рабочее место.

– Мордогляд у вас, – стучит крашеным коготком по зеркалу, – расшибец! Прикупили б попримичней!

– Ляль, – говорю, – нас и это старое зеркало устраивает... Лучше покажи дяде, как моют полы.

– Обознатушки, дядь! Не по адресочку...

– А всё же...

– Офигенно! Да только что, – поправляя чёлку, отвечает Лялька, – я, как Миколка-паровоз, одному показывала. Еле отвалил...

– Кто ж этот счастливчик?

– Родной папулец... Знаешь, дядь... Я б и тебе показала, да я лечу к Светоньке на именины. Надо добавить ещё кросс на целый километрище. Думаю, додам. Мёртвые не умирают!.. Надо со Светулей пошептаться насчёт одного важного дельца. К вам я так... Попутно... Глянуть на себя... Ой!.. Некогда! Хватай мешки, вокзал поехал!.. Я уже бегу... Уже вся выбежала, – доносится из сеней. – Извини, пожалуйста!

– Хотя б похвалилась, как жизнь?

– На широкий лапоть!.. Метр курим, два бросаем! Про-

щайте, дядюшка! До свежей встречи! – и жизнерадостно помахала мне в окно ручкой.

Да, эта вертлячка везде вывернется, везде выплывет...

День толком не осмотрелся, а уже снова вечерело.

Глеб спал ещё.

Как с вечера повалился, так и спал.

Я тронул его за плечо.

Он чуть разлепил один глаз на разведку.

– Ты щэ не вмэр? – спросил я на мамин лад. – Довгэнько таки спишь, хлопче!

Такими словами будила нас всегда мама, когда мы спали слишком долго.

– Не радуйся, не помер, – насупился Глеб. Глянул на мутный свет в окне. – У меня выходной. Чего растолкал? Ещё ж светает!

– Смеркается, друже.

– Вот так я. Вот так стахановец. – Глеб сел на кровати. – Весь выходной в подушку вмял. Спал, спал, голову, как ведро, наспал. Устал со сна. Зато за весь месяц, за все страдания отоспался.

Его взгляд упал на пол.

Глеб удивлён, по какому это поводу вымыл я пол.

– Как-никак, завтра прибывает мамá. Нелишне подчепуриться.

Он согласно кивает. Хватает со спинки кровати шерстя-

ной свитер. Натягивает.

На рукаве я замечаю дырочку.

Глеб просовывает в неё палец. Сокрушается:

– Моль покушала...

– На тебе? Ты ж этот свитер в каждый след таскаешь.

– На мне... Во мне моль завелась...

Довольно жмурит Глеб глаза на чистый пол.

Ходит на цыпочках и не дышит.

Будто от дыхания может снова нагрязниться пол.

– Вот что, – говорит, – раз дело повело на чистоту, давай до победного конца! Ты наблестил пол, я постираю. Собери всё, что надо постирать. Я пойду на завод в котельную, принесу два ведра горячей воды и выстираю. Только прежде надо умыться. Если я не умоюсь, у меня целый день чего-то не хватает. Приглядишься к воробьям, к голубям. Все по утрам умываются. Дядя Глеб тоже...

Он нарочито пугливо окунает указательный палец в кружку с водой, протирает мокрым пальцем глаза.

– Что-то ты по-китайски умываешься. Слишком экономно.

– А ты думал! Экономия прежде всего. Да и чего размышляться? Всё равно скоро опять на боковую.

Остатки воды он выплёскивает из вёдер в рукомойник и – на завод.

– Ты хоть бы чаю сперва попил, – говорю ему в спину.

– Это ты у нас в интеллигенцию играешь, чай по утрам

дуешь. А я его не пью. Я сейчас – рак меня заешь! – ударно поработаю, охотку сдёрну. Там и разговееусь курочкой.

Целых две верёвки белья настирал Глеб.

Развесил.

Посветлело во дворе от белья.

И без передыху навалился белить печку.

Сам угваздал, сам с колен и белит.

А я тем временем наведалься в детскую библиотеку.

Утром на мой вопрос, у кого можно достать последнюю «Смену», почтальонка сказала: «Смена» ходит у нас только в детскую библиотеку.

Милая молоденькая библиотекарша, вырвав себе несколько страниц, где шёл юлиан-семёновский детектив с продолжением, остальное отдала.

В журнале напечатали мой перевод одного украинского рассказа. В Москве я зевнул этот номер в киосках, а тут тебе на!

– Наши не дремлют! – эдак небрежно вымахнул я на стол журнал, раскрытый кверху моими страницами.

Не подымаясь с колен, неверяще всматривается Глеб в нашу фамилию.

– Ты что, – хохотнул он не без гордости, – с русского назад на украинский переводишь? – И без смеха, с грустью: – Есть же человеку чем гордиться. А здесь...

Мне неловко перед Глебом, не рука травить ему душу.

Забрать бы да спрятать журнал – духу не хватает.

Меня всего-то лишь на то и достаёт, что я поталкиваю журнал подальше от Глеба, поближе к окну, чтоб журнал был виден мне одному. Три года ждал очереди рассказ, только что увидел напечатанным и – спрятать? Не-ет... Теперь я ночь не усну, буду лупиться на него.

Дома, на Зелёном, у меня уже вошло в порядок. Как где что дали моё, накалываю на гвоздок над письменным столом на кухне, и бог весть сколько разглядываю его, всякую беду разбавляю им. И когда меня спрашивают, что новенького в мире, я без слов показываю на своё творенье на гвозде; и сидит оно там до тех пор, пока не появится новое.

Если без кокетства, кто не любит себя?

Время от времени покашивая на журнал, навожу чистоту в верхнем ящике стола, где чего только нет: сухие прелые зубки чеснока, луковицы, какие-то пакетики, коробки спичек, рассыпанные спички, старые, поверх срока таблетки и прочая мелочь. За неимением места её на пока суют именно в стол и так как нет ничего долговечней временного, всякий пустой хламишко копится тут с потопа.

– Это что за сор? – подаю я Глебу тарелку с яичной скорлупой, затянутой паутиной. – Пасха когда была? А эта грязь всё валяется! Надо выбросить.

– Я тебе по мусалам выброшу! Это священная скорлупа, а не грязь. А вот мы все – грязь!

Я задвигаю ящик, наваливаюсь пемоксолью сдирать черноту с чайника.

– Чего возрази стараешься? Чего тянешься в паутиночку? – отходчиво, плутовато лыбится Глеб. – Это не опасная грязь. Продезинфицированная на огне. Это недвижимая грязь. Ты недвижимой грязи не бойся. Бойся той, что на двух ногах ходит.

Его распирает пофилософствовать под случай и он, подержав на журнале долгий взгляд, роняет в раздумье:

– Жизнь – пустое пространство. Чем наполнишь, то и будет... От нас от самих зависит, что ты будешь делать в жизни. То ли белить печки, то ли печататься... Раньше ты строгал фельетоны. Зачем?

Я мнусь. Странный вопрос. Писал и писал. Работа...

Это всё равно, что спросить, зачем ты дышишь.

Не дождавшись сиюсекундного ответа, Глеб нетерпеливо уточняет свой вопрос новым вопросом:

– Чтоб не писать, да?

– Мы ж об этом уже говорили...

– Помнится, ты сказал, что писал фельетоны из любви к людям. Тогда чего ж бросил? Разлюбил людей? Или все мы уже настолько исправились, что не по ком жахнуть фельетоном?

– Видишь ли, человек, лысина, морщины, усы к чему-то обязывают. Нельзя же всю жизнь гоняться за фельетонишками. Пора намахнуть сети на зверя покрупней.

– На повесть на какую, что ли? А не поздновато перескакивать на ходу с телеги на телегу? К твоим годам Пушкин,

Грибоедов, Лермонтов были уже убиты. Гоголь сошёл с ума. Маяковский застрелился. Есенин... Пока не понятно. То ли сам зарезался... То ли ему горячо помогли... Толстой был уже при «Войне и мире». Шукшин добирал свои последние дни... А впрочем, чего теряться? Подходящая линия. Лезь в эту компанию, поступай в писатели...

– Там сидят дожидаются... Чтоб вступить в союз писателей, надо две книжки. Да не в мизинец толщиной. Чтоб можно было убить. Тукнул этими кирпичиками по головке и «относи готовенького». С такими кирпичами только и подступайся к писательской цитадели.

– Не верю, скажу словами Станиславского. Не верю, что всё так сложно. В библиотеке иногда нарываюсь на «Литературку». Когда ни открой, одно и то же. На одном конце страны заседание, на другом совещание, на третьем бюро выездное. Алло, мы ищем молодые таланты! По газете судить, не едят, не спят писательские боги. Бросили горшки обжигать свои. В пене ищут-рыщут! У меня такое чувство, что в это дело включилась и дорогая милиция. Ведёт отлов молодых дарований.

– Ведё-ёт! – с горьковатым смешком подхватываю в тон. – Как-то перед приездом сюда во сне просыпаюсь и глазам не верю. Вроде за окном светло и – черно. Понимаешь, сверху светло, снизу черно. Я нос в окно. Батюшки-светы! От моего подъезда по двору, за дом, за горизонт утягивается чёрная полоса «Волг». Одна за одной, одна за одной.

У машин люди в торжественных фраках. Вон откуда вся чернота!

Вдоль этой чёрной полосы распахивают духи³⁰⁰ в белых перчатках. Порядок берегут.

Кто эти во фраках? А, главные. Главные редактора издательств, журналов, газет. С ночи продувные сельжуки толкуются. Всё ждут, когда я, неизвестное молодое дарование, вынесу им свою первую строчку.

Ей-богу, надоело. Так бы всем и врезал по самое не хочу! Ну не могут у нас без заморочки. Ни стыда ни совести. Ну сколько можно!?

Я выхожу на балкон прогнать их.

Начинается вавилонское столпотворение.

Всё кидается ко мне с распростёртыми в бешенстве руками:

«Мне! Только мне! Пожалуйста, мне!»

Один прыткий, наверное, самый главный, выдавленный кипящей толчеей, словно выпущенная из лука стрела, взмывает и безуспешно пробует выхватить у меня папку. Долететь до четвёртого этажа! Не надо бы, думаю, так нервировать искателей талантов. Тем более, у меня от них нет никаких секретов.

Чтобы волнение улеглось, я поясняю, что у меня в папке не рукопись, а чистые листы. Добросовестно демонстрирую эти ненаглядные листы. Утаи правду – с корня своротят дом!

³⁰⁰ Дух – милиционер.

Как видите, говорю, бумагой я уже запасся. Сегодня в девять ноль-ноль начинаю творить. Идите и терпеливо ждите.

«Мы уже который год ждём-с, – робко возражают. – Ваш гордый нешевелизм нас пугает... Только мы большие оптимисты. Всё же настойчиво ждём-с!»

«У вас такая горькая доля. Ждите! У меня всё пока творческий запор... Вот кончится... Ждите!»

Я ухожу. А они, – ангидрит твою перекись! – принципиально не уходят. Наглецы! Ждут на месте. Моё чуткое ухо ловит вздохи, ропот, попреки в мой адрес. Да при таком шуме, при таком, извините, нахрапистом внимании к начинающим попробуй начни. Просто мешают как следует начать!

– А ты все-таки начни, – строго советует Глеб.

– Придётся, – говорю я как о деле будущего, хотя это дело для меня уже не первый год давнее.

Написал я уже одну повесть.

Говорить про неё Глебу не хочу. Конечно, пока. Напечатаю – покажу, как сегодня с рассказом.

А то раззвони раньше дела, ещё не дадут.

У меня случалось так не единожды. Потому до времени выгодней помолчать.

...Загорелось мне узнать мнение какого-нибудь маститого о первой моей повести.

Я к одному, я к другому...

Один говорит: я не читатель, я писатель. Я себя выражаю.

Ну выражайся дальше, выражайся на здоровье...

Второй клянётся-божится, что обязательно прочитает и даже скажет своё мнение, да только в том случае, если принесу я ему повесть уже опубликованную.

Третий чистосердечно спросил:

«А почему именно меня вы приговорили к чтению вашей классики?»

Четвертый, Роман Эпопеевич Многоточиев, прервал меня на втором слове:

«Я написал пятьсот статей, предисловий, рекомендаций. В пятьдесят лет нажил два инфаркта... Пускай другие... Я десять лет не пишу ни строчки. Весь в общественном замате. У меня двенадцать общественных поручений. Я в пятьдесят хочу начать писать. Хватит общественности с меня! Двадцать лет отдал кедру – пшик! Двадцать Байкалу – пшик!.. На подёнку не кидаюсь. О природе не могу говорить без содрогания, осточертела эта тема. Откликаюсь на самое-самое. Вот в черте города есть Васильевская дача, сносить хотят. Вкрутился в это дело. Во все инстанции пишу спасительные кляузы. Писатель – это кляузник профессиональный, с именем... Вы хоть, спасибо, прежде позвонили, а то иные прямо шлют. Поначалу всё подряд читал, потом стал отсылать назад. Повестей я не читаю. Современных. Прочту пять страниц – меня трясет! И вас читать не буду. Я не буду вам благопрепятствовать... Надо самому пробиваться своими вещами. Вы думаете, как нас учили плавать? Кинут в воду, а сами

идут пить кофе».

«Видите, вы меня не выслушали... Никакого покровительства я не ищущу у вас. Я хотел бы малого. Прочитали да сказали, что я такое наворочал, стоит ли продолжать. Может, полезней бросить?»

«Как тут советовать... Одно я знаю, пробиваться, что называется на чужом горбу в литературу – это я считаю очень нехорошим делом, непорядочным, глубоко неэтичным...»

Ну и питомец советского зоопарка! До чего злой. Даже в заднице зубы!

Ну, заладит сорока Якова одно про всякого. Да не собираюсь я запрыгивать на его, эпопеевский, горбик, сам с усам. А потом, если начистоту... Каждый порядочный русский писатель приводил кого-то в литературу, передавал эстафету. Хоть называй это преемственностью, хоть ещё как угодно, только что стыдного, безнравственного в том, что Державин благословил Пушкина? «Старик Державин нас заметил и, в гроб сходя, благословил». Та-ак?... Пушкин уже привёл Гоголя, Кольцова. Некрасов и Белинский – Достоевского. Твардовский – Солженицына...

Новичка поддержал мастер. Что в этом пагубного?

Глеб перебил мои мысли.

– А знаешь, – сказал он, – я б и не советовал особенно рваться в писательскую шатию. То ты фельетон выдал – прочтёт каждый... Хорошему человеку поможешь в беде или негодяя загонишь за решётку... Обязательно прочтёт каж-

дый. А книжки. . . Иногда пьяные ножи занесут в библиотеку. Книг! Книг!! Книг!!! Страшно! А кто их читает? Я? Я не читаю и не буду. Из всех книжек я признаю лишь одну. Сберегательную! Сейчас и без тебя перебор пишущих. Да читать нечего! На заводе вон записываются в очередь на Виктора Астафьева, на Василия Белова, на Василия Шукшина. . . На тех, кто сам выскочил из деревни. Этой троице у мужика какая-то особенная цена. А на москвичей у нас что-то не кидаются. Я так посмотрю, ушла из Москвы литературная столица. Стали литературными столицами Красноярск, Вологда. Не потеря ли для Москвы?

– Потеря, Глебка! – вырвалось у меня искреннее. – Ах, как ты верно заметил!

Я чуть было не вывалил ему в горячах судьбу первой повести, но, слава богу, суеверный расчёт взял во мне верх.

. . .Потоптал я, потоптал московские порожки да и сошли повесть за Уральский Камень, в Сибирь самому N.

Неожиданно быстро вернулась повесть.

Неделю боялся я распечатывать. А что, ну-ка разнос? А что, ну-ка смертельный приговор?

Я пожалел, что посылал.

То б писал и писал, а ну выкати он на сто лет, разгроми – не усадить меня больше за машинку. Не той величины N, чтобы пренебречь его мнением.

На восьмой день я таки разорвал пакет. Поверх рукописи лежали вырванные из середины школьной тетради два листа

в клеточку. Текст был внутри сложенных вместе листов. Я струсил, побоялся сразу раскрыть их. Тут приговор, непременно смертельный!

И всё же потом раскрыл.

Торопливая, участливая рука.

Простите меня великодушно. Ваша рукопись попала в завал. Жена убирала в кабинете и положила ее под листки и лежала она там до моего возвращения из... (слово неразборчивое). Сейчас начал разбирать бумаги и наткнулся.

А потом были написаны главные, ободрительные слова.

Это письмо разбавило мой страх перед издательством, я отнёс туда повесть.

Кажется, повесть приветили, собираются вроде того что издать.

Да что говорить, покуда не держишь в руках книжку?

– А ты всё же, – брюзжит Глеб, как муха в осени, – не лезь в писарьки. Всё равно из тебя Толстой не выйдет.

– Ну-у, как ты поёшь... Один вон из предков Льва Николаевича посылал своё бельё стирать в Голландию. Однако из этого вовсе не следует, что и тебе и мне необходимо делать то же самое. Я сам дома стираю со своей половиной. Ты стираешь в гордом одиночестве. И неплохо.

Я посмотрел в окно на темнеющий двор.

Простыни, хлопая на ветру, взлетали белыми аистами и

не могли взлететь.

– И потом. Зачем сравнивать несравнимое? Ещё неизвестно, был бы Лев Толстой Львом в литературе, не будь он графом и не имей крестьян. Крестьяне кормили и его и всю его многочисленную семеюшку. Правда, он ругал себя, что ест чужой хлеб, мучился этим. Ой как му-учился... Та-ак мучился, та-ак всё мучился, что жил чужими трудами. Наелся чужого и мучился, наелся и мучился... Во-о мозгоедство...

– Живи Лев Толстой в советское время, был бы он писателем?

– Ни-ког-да! Он кончил один курс казанского университета. Значит, ему без образования кто бы дал приличный пост? И что тогда ему светило? Чёрный уккрыр!³⁰¹ Орденоносная пролетарская лопата! Хватай больше, кидай дальше! И чтоб прокормить огромную семейку, ему б пришлось столько кидать, столько кидать!.. Ни о какой литературе он бы и не подумал... А так... На всём готовеньком... Чужое ел и преспокройненько по десять раз перелицовывал, латал-утюжил свою классику. Ему не нужно было думать о том, что будет кусать завтра. У меня же, насколько я знаю, работников нет. Ему не надо было до сорока лет гнать газетную шелуху, не надо потом сидеть где-нибудь в штате редакции на договоре, не надо собирать гонорарные справки для литпрофкома в доказательство того, что ты прожиточный минимум *сам* себе обеспечиваешь... А тут аж кричи надо состоять в дурацком лит-

³⁰¹ **Уккрыр** – рабочий; человек, занимающийся физическим трудом.

профкоме, чтоб из Москвы не турнули как тунейдца, чтоб трудовой стаж копился, чтоб набегал хоть жалкий приварок к заработку Валентины. А что жалкий, то жалкий... Бывают часто и густо такие месяцы, когда ничего не прошло в журнале. Прочерк. А этого ни-ни-ни! Там какие-то показушные строгости... По советскому законодательству вроде нельзя, чтоб человек ничего не получал за весь месяц. Жить, мол, не на что. А потому – принципиально низзя! И придумали, как это *нельзя* перевести в *можно*. Мне давали на ответ три читательских письма. Ответишь на эти три письма – получишь три рубля. По рублю за ответ. На ноль рублей прожить месяц нельзя, а вот на три рубля в месяц можно прожить с шиком! На три рубля купишь целый килограмм любительской колбасы, и десять копеек ещё останется! И разве этого килограммища с лихвой не хватит на весь месяц? Нечего тут обжираловку устраивать!

– Вау! Вау!

– Вот и крутись, как воробейка на колышке. А литература дама с норкой. Капризная. Суеты на два базара не терпит.

– Теперь я понимаю, почему средний возраст члена союза писателей шестьдесят семь лет. Но убей, не пойму, как дурочка Валюня тебя выносит. Вроде умная... Такого лба кормит, а он бумажечки с места на место перекладывает на кухне. Знал откуда брать. Из провинции-матушки. Верно сказано, «хорошие девушки остались только в провинции» и, – насмешливо покосился на меня, – добавлю от себя – хоро-

шие писатели.

За дверью слышались тихие шаги.

Мы подобрались.

Не знаю как Глебу, но мне подумалось, что это приехала мама. Раньше отпустили!

Не сговариваясь, мы бросились в сенцы.

– Ты-ы!?! – в один голос воскликнули мы разочарованно, увидев Люду. – Ты, деньрожденка, зачем сюда? К тебе ж съезжаются на сабантуй!

– Я уёрзнула со своего рождения... – смято призналась девочка, пряча что-то за спиной.

– Может, – прыснул Глеб, – ты принесла нам по рюмашечке в честь твоей деньрожки?

– Я пришла бабушку встречать.

– Бабушка, – сказал я, – будет только завтра. А сейчас шла б к своим гостям. Наверно, уже ищут.

Девочка отрицательно покачала головой и, просясь глазами, твёрже повторила:

– Я останусь с вами... Ждать бабушку.

– Хочется – оставайся, – разрешил Глеб, добеливая печку. – Бабушкину койку не пролежишь. Вот не заледенела бы... Сама, Людаш, видишь же, какая у нас жарница! Хоть волков морозь!

Девочка благодарно промолчала и, разувшись, с ногами

забралась на мамину койку. Угнездилась, подала тонкий голосок:

– Я буду, – прикрыла полой пальто колени, – собирать бабушке тепло. Жалко, что у меня свинка уже прошла. То бы быстро нагрела бабушке постельку... Бабушка ж вернётся из больницы вся слабенькая... Сильно похудится... По себе знаю... Дяди! А почему, когда я болела свинкой, я не хрюкала?

– Спроси что-нибудь полегче, – не тратясь словами, отмахнулся я, обставляя в печке газетный комок шалашиком мелко наколотых полешек.

Наконец всё готово.

Спичку поднеси, загопочет радостно пламя.

Пока я к спичкам не тянусь.

Мы с Глебом решили: затопим, когда мама войдёт. Приедет сегодня – сегодня и затопим, не приедет – не топим.

Добелив, Глеб с минуту восхищённо любит, будто облитой молоком, нарядной печкой. Ай да я, ай да молодец! Подновил печечку к приезду мамушки!

Он несёт черепушку с известью в сарай.

Возвращается с прибежью.

– А мороз, – хукает в кулаки, – на дворе учесал – я тебе дам! Хорошо, что подёргали с тобой да спустили в погреб свёклу. Под навесом оставил корней пять потереть поросёнку. Гремят... Прихватил. Вовремя мы успели. Что значит интуиция. А то год расти, на одну ночь зазевайся... Пошло б

хинью всё!

Заметно плотнели сумерки. Быстро накатывалась ночь.

Мы все трое вслушивались в заоконье. Не застонет ли где в ближней колдобине ольшанская скорая? Не слышатся ли мамушкины шаги?

Но во весь вечер ничего не было слышно.

Ни машины, ни шагов.

Только однажды, уже среди ночи, на углу остановилась машина. Я выскочил, да напрасно. Сосед приехал.

На дворе действительно было холодно. Мерцали, жмурились звезды. Медведица ехала в ковшике.

Застёгивая фуфайку на все пуговицы, под самое горло, я не спешил уходить и тупо стоял на углу, втайне надеясь, что именно сейчас машина с мамой и вывернется.

Я слышал, если чего-то очень захотеть, то оно непременно явится. Я верил в это чудо, пришедшее ко мне, может, из глубинных недр детства.

Однако время шло, чудо не свершалось.

Ни в одну, ни в другую сторону улицы – я тёрся-мялся на её изломе – не теплилось ни огонёчка. В мёртвой тишине выстывало на верёвках бельё.

Я уже взялся за дверную ручку, как неведомо какая мягкая сила повернула моё лицо назад.

На перекладинке забытого табурета – на него Глеб ставил таз, развешивая стиранное, – я увидел беловатый комочек.

Что могло в этот волчий час, в холод быть там?

Я подошёл, потрогал комочек.

Он просительно запищал.

Это была курочка, самая маленькая. Спрятала головку в ошипанное местами крылышко и сидела.

Бедненькая...

Все в тепле на насестах, а что ж ты здесь одна коченеешь?
Самая маленькая, самая слабенькая...

Жалко мне стало её до слёз.

В ней я будто себя увидел.

В детстве, да и всю жизнь потом я держался как-то ото всех на отшибе, особняком, всё стеснялся лезть в кучу жизни, всё всегда первый отскакивал уступительно в сторонку и когда что раздавали, я всегда оказывался обделённым.

Зоб у курочки не прощупывался. Пустой.

Я принёс её на веранду, посадил на открытый мешок с зерном. Она поклевала, попила подогретой воды из плошки, и я отнёс её в тепло ко всем, определил на жёрдочку.

На следующий день, часу в двенадцатом, Глеб – у него был, по его словам, выходной – сказал мне:

– Сколько можно выгладать! Это что-то не так... Давай на завод в проходную. Звони в Ольшанку. Да возьми язык с собой. Если что, покруче там с ними...

Трубку сняла сама Зоя Фёдоровна.

– Маму я вашу выписала. Вот пообедаёт сегодня у нас в последний раз и приедет.

Меня поразил её голос. Прямодушный, ясный. Судьба подмешала в него участия, печали, заботы, счастливого восторга. Такого голоса я ещё ни у кого не слышал, и в то же время мне чудилось, что именно этот голос я уже где-то слышал. Он как-то несмело, словно пробиваясь сквозь далёкие голоса, размыто звучал во мне.

Назад я возвращался медленно.

Мне подумалось, если я войду в дом, мы наверняка прозеваем машину. А потому уж лучше поджидать её у угла.

Как раз напротив наших окон улица делала колено, изгибалась. С этого колена было далеко видать вниз, к центру Гнилуши, куда спадала, стекала улица. Оттуда, снизу, и надлежало ждать.

Я привалился плечом к старой раздетой вишне у нас под окном.

Мне снова прислышался *тот* голос.

Где я его слышал-таки?

За припоминаниями я вовсе не заметил, как мягко мимо прошлёпала машина по развезённой дневным теплом грязи. Я только увидел, как неотложка, вильнув к обочине, остановилась.

Сперва из неё выставилась обшорканная сумка, верная неразлучница. С нею мама в каждый след ходила: и на огород, и на базар, и в магазин, и даже вот теперь напару отбыли больницу.

Из второй дверцы выскочила молоденькая девушка.

Приняла сумку у мамы, помогла выйти.

Я всё это видел, но оцепенело торчал столбом на месте, не веря, что это вот вернулась мама, что вот теперь всем бедам и конец.

Как-то осуждающе мама посмотрела на меня.

– Сынок! А ну присоглашай Зою Хвёдоровну у хату. Нехорошо ж як... Привезли, а у хату и не зайти...

Девушка что-то возразила.

Из её слов я понял близкое к тому, что вот, мол, на ноги вас подняла, привезла домой, передала с рук на руки. На этом моя миссия и кончается.

– Только начинается! – на разгонку гаркнул я, помня, что для зачина главное кинуть какие придут на язык слова.

Девушка обернулась на мой голос и удивлённо закусила нижнюю губу.

Да мы с нею от самого Ряжска вместе ехали! Вот так встреча! Вот откуда этот знакомый голос!

Мама обрадовалась, что с Зоей Фёдоровной я уже знаком, и в этом ничего дивного не увидела. Хорошего человека знать везде!

Пока мы раскланивались да ахали, мама зашла за угол, и Зоя, почти приблизив ко мне своё лицо, заговорщически прошептала:

– Знаете, я всё думала, вы это, не вы... – Из чёрной сумочки на плече она достала ветхую газетную вырезку, что зияла пустотами на затёртых сгибах. – Посмотрите, она вам что-нибудь говорит?

Я взял вырезку.

В этом году, – читал я, – читатели дважды встречались на страницах нашей газеты с фамилией Фёдора Спиридонова. Сначала в номере от 13 января с.г. появилась корреспонденция «Любовь под следствием», где говорилось о злключениях молодой пары из города Ряжска, ставшей жертвой грубой судебной ошибки. Затем 14 марта газета с удовлетворением сообщила о благополучном исходе этой истории. Следовательно тов. Шиманов за грубейшее нарушение уголовно-процессуального закона снят с работы. Прокурору района тов. Завальнюку объявлен строгий выговор. Фёдор освобожден из-под стражи. А 9 февраля состоялась комсомольская свадьба Лидии и Фёдора.

На днях пришло письмо от Фёдора:

Дорогая редакция!

Примите сердечное спасибо за Ваше чуткое, внимательное отношение к моему делу, за то, что помогли разобраться во всём. Особенно мы благодарны корреспонденту тов. Долгову, проявившему личную инициативу и настойчивость для того, чтобы восторжествовала справедливость. Исполнилась наша мечта, мы с Лидией поженились. Живём мы очень хорошо, в дружбе, в любви, в согласии. Успешно продвигаются моя учеба и работа...

– Откуда у вас эта моя последушка?!³⁰² – вскричал я.

– Наткнулась вот у своей ряжской бабушки в старых бумагах. Она приболела, я приезжала к ней на отгульные два дня. Я расспрашивала бабушку. Бабушка ничего не стала говорить. Я вспомнила, что у меня в больнице лежит старушка Долгова. Не сын ли её, подумала я тогда, в чём-то очень важном помог моим родителям? Маму вашу я не стала спрашивать, и все эти дни ходила с этой заметкой. Так не тяните душу, расскажите, что это были за злоключения? Что это была за история?

³⁰² **Последушка** – материал, публикуемый в газетах, в журналах под рубрикой «По следам наших выступлений».

Глава шестнадцатая

*В бессилье не сутуля плеч,
Я принял жизнь. Я был доверчив.
И сердце не умел беречь
От хваткой боли человеческой.*

*Теперь я опытной. Но пусть
Мне опыт мой не будет в тягость:
Когда от боли берегусь,
Я каждый раз теряю радость.*

Алексей Прасолов

Друг другу всяк помога.

1

А произошла эта история очень давно, ещё в нежной молодости.

Тогда я только-только вжимался, входил в газетную суматоху.

Прокрутившись, как колёсная белка, года три в районных газетках и поступив на заочное журналистское отделение университета, загорелся я пробиться в областную молодёжку.

Я собрал свои лучшие очерки, фельетоны и отправил их редактору Ух! Прозвище это ему приварили за отчаянный и бесшабашный нрав.

Ответ был деловой:

«Приезжайте. Вас ждёт работа. Правда, с месячным испытательным сроком».

С испытательным так с испытательным...

Помнится, отлетала последняя неделя моего испытательного срока.

Вызывает меня редактор и говорит:

– Ручку держать ты можешь, прилично строгаешь. Но! Великое есть *но*. Вот три раза посылали тебя в командировку. Что ты привозил?

– За чем посылали.

– В том-то и беда! Да, да! Беда! Сказали тебе о препо-

давателе-изобретателе Кутьине – раскрутил дай боже! Даже «взрослая» областная газета похвалила. Не спорю, удача. Сказали про дояра Крутилина – живо, интересно, без претензий. Сказали про свинарку Клаву Варфоломееву – пожалуйста, про Клаву... Вот что странно. Неужели в командировке ты вокруг ничего и никого не видишь кроме того, о ком велено писать? Тогда ты не журналист. Вокруг жизнь! И преступление выхватывать из неё на всеобщее любование одну какую-то персону, пускай и рекомендованную свыше. Тебе, думаешь, зря подсовывали задания только о передовиках? Не-ет. Пробовали, щупали, как ты, увидишь ли кого за передовиками. Увы, не увидел... Это втёрло тебя в пиковое положение. От тебя дрейфует твоё место к Ряшину. Я не делал секрета. В первый же день сказал, что на одно место два претендента. Старайся. А ты?

– А Ряшин выполнил хоть одно прямое задание?

– Этим и берёт! Да, прямого задания ни одного не выполнил. Зато из каждой командировки приволакивал чужую боль. Незаконно уволили молодого мастера – Ряшин восстановил. Без дела вlepили парню строгача – Ряшин снял. Э! Ряшин усвоил, что газетчик не фиксатор, а боец, и потому в командировке он ищет человека в беде, тащит из беды. Ради этого и можно и нужно поступиться заданием. К маяку не грех наведаться в другой раз. Ни-че-го с ним не случится. Но с человеком в беде – уже случилось! Понимаешь?

– И без пониманий остаётся Ряшин... – сломленно сложил

я крылышки.

– Ещё тебе одна командировка. В Новодеревенский район к знатной телятнице. Телятница... Так, поплавок на крайний случай. Смотри хорошенько вокруг. Честно говоря, мне хочется, чтобы остался именно ты.

Без энтузиазма принял я его заверения в симпатии ко мне. Пожалуй, это он из вежливости подпустил.

Игра проиграна.

Время собирать свои тряпочки.

Самое верное, надо забрать трудяжку и...

Ну куда мне теперь деваться?

2

Делать нечего.

Я поехал в последнюю командировку.

Я сидел в вагоне у окна. Смотрел на печальные снега и перебирал наш разговор с редактором.

Редактор был молод, как и все в редакции. Помимо молодости у него ещё был тот плюс, что он считался у нас самым стойким к ударам жизни.

Смельчак!

Боец!

Ему, выпускнику МГУ, молодому специалисту, не нашлось жилья.

Два года Ух! спал у товарища на сундуке, написал на сундуке первую книжку, выстроил дом, будучи холостым и счастливым.

Ещё в прошлый понедельник был он холост.

А во вторник...

А во вторник попал-таки под колёса любовной интрижки, неожиданно для самого себя женился.

В ту пору Ух! крутил, вернее, по его мнению, благополучно докручивал угарный романишко с одной прельстительной белокурой газелью.

В злосчастный вторник они прогуливались в сквере.

И как скверно всё повернулось!

Прижгло им на тропинке у развилочатой чёрной берёзки поцеловаться.

Незапрограммированный поцелуй непростительно затянулся.

Мимо проходили люди.

Всем был без разницы этот горячечный экспромт, всем кроме мужа этой газели. Судьба вытащила его с пятилетней дочкой совершить променад и привела именно к целующимся.

Капитан приказал дочке молчать, а сам, культурненько дождавшись конца исторического поцелуя, заговорил.

Последовало короткое трехстороннее объяснение такой силы, что капитан, вытирая платком руки, победно и легко вышел из сквера холостым, а Ух! – женатым и с плачущей тяжёлой падчерицей на руках.

По уточненным авторитетным слухам, капитан был безумно счастлив, что подловил чистый, безупречный момент расстаться со своей пакостливой белогривкой.

А как себя чувствовал в новом качестве Ух!?

Депрессуха придавила его...

Мне непонятно...

На газетной полосе он горячий боец, в редакторском кресле отважный боец. Той же бойцовой прыти требует и ото всех нас. Так неужели он боец только в служебное время, с девяти до шести? А кто он с шести до девяти? Почему свою свободу он даже и не подумал защищать?

А впрочем, как защищать, когда из ста шансов сто против тебя?

Сам себя загнал в тупик, из которого один выход, и тот предательски вёл в загс. Грустный конец у опрометчивых заигрываний с мечеными, замужними, газелями.

Кому пожалуешься на себя?

Я вспоминал вчерашнее чадное, тоскующее его лицо.

Мне было его жалко.

3

Скорый допил до Ряжска в одиннадцать. Опоздал на двадцать минут, и этих двадцати минут вполне хватило, чтоб моя электричка бездумно улизнула без меня.

Следующая будет в десять вечера.

Долгохонько таки куковать.

И я отправился в город.

У меня была привычка: в маленьких городках я не спрашивал, где находится нужное мне присутствие. Я любил отыскивать его сам. Шёл и читал вывески и ничего увлекательней у меня в том городке не было и не могло быть.

Вот так и в Ряжске.

Туристской рысцой с любопытством обежал весь центр, пока не упёрся в райком комсомола.

Я сразу к первому, к Ивану Рыжкину.

Мы с ним шапочно знакомы.

На прошлой неделе я брал у него в обкоме какую-то информашку, так что к Рыжкину я прошёл без доклада.

Не могу я начинать разговор с погоды.

Сразу с места в карьер.

Без подходов-переходов возьми и бухни:

– Не надо ли у вас за кого заступиться?

– В каких смыслах? – не понял Рыжкин.

– А в самых прямых. Стряслась беда, человека молодого

уволили ни за что... Оклеветали... Ещё что там в этом роде...

– Обижаешь комсомолию, обижаешь, – насупился гроздкий Рыжкин, подымавшийся над столом крутым стожком. – Да что ж мы сами не защитим, если кого надо? – Рыжкин лениво поставил по углам стола комковатые кулаки. – И потом, на крайность... Что, нету у нас милиции, прокуратуры, суда? Надо – не станем ждать заезжего корреспондента. Будьте покойнички!

Рыжкин уничтожающе уставился на меня.

Моя хиловатая комплекция явно не вязалась у него с самозванной миссией защитника. Краснея, с минуту я не сводил с него конфузливых глаз и, прощально кивнув, неловко вышел.

Городок, закиданный чистыми глубокими снегами, казалось, вымер. Улицы были пусты, и в диковинку было увидеть кого-нибудь на улице в тридцатиградусный холод. Лишь сыто толклись над крышами прямые сизые столбики дыма.

Обжѣгшись на своей дурацкой помощи, я двинулся к остановке. Не хотите, ну и не надо. Вернусь на вокзал, в буфете пожую, а там до своей электрички как-нибудь доторчу.

Одначе уехать мне не суждено было.

Уж что тебе начертано, не обежишь.

Я уже поднялся на первую ступеньку, радуясь зябкому автобусному теплу, как кто-то сильный дёрнул меня сзади за низ пальто, и я повалился на спину.

Оглядываюсь – я на ручищах у гиганта Рыжкина.

– Извини, пожалуйста! – поставив меня на ноги, будто вонзив в снег, он зачастил словами, с трудом переводя дыхание. – Упыхался, пока бежал... Слуш сюда. Я ж тебе почти нагрубил и вовсе не по делу. Вот голова и два уха в придачу по бокам. Ну начисто запамятовал! А когда ты отбыл, нака- тилось, вспомнил и рысью вдогонец. Вот какой компот!

Рыжкин подтолкнул меня вперёд по пробитой тропинке, как бы говоря: иди.

И я пошёл, не спрашивая, куда и зачем идти.

Для надёжности он взял меня за руку выше локтя, точно боялся, что я убегу.

– Вот какой компот! – на разгонку повторил он. – Только, – недоверчиво покосился, – прости за прямоту, квёленькой ты весь какой-то. Справишься ли?

– В грузчики нанимаешь? – поддел я.

Меня заело, что мою худобу ставят мне в вину.

Рыжкин простительно качнул рукой. Мол, была не была.

– Вот такое у нас чепе... От имени и по поручению бюро райкома я писал в саму в Москву. В «Комсомолку». Люди там, конечно, вежливые, прислали цидульку: ждите, командирuem корреспондента. Ещё когда я получил эту писульку, а никто не едет. Спешат и падают! А суд уже на той неделе. Уже день слушания назначен! А до суда нельзя допускать... Я верю, суд оправдает его, но, повторяю, до слушания дело нельзя доводить. Мы ж провинция... Городок с кулачок...

Все друг дружку знают. На суде весь город скопится... Как жизнерадостные дети Совка...³⁰³ Выставить на судилище... Каково потом и ей и ему в этом городе жить? Ты понимаешь?

– Пытаюсь... Толком можешь объяснить, что же, наконец, такое стряслось?

– А ничего, собственно, такого не стряслось, – опустил как бы под тяжестью случившегося плечи, устало пробормотал Рыжкин. – Просто комсомолка пошла на свидание с комсомольцем, а со свидания вернулась... недевушкой...

– А кем же? Членом КПСС с семнадцатого года?

– Женщиной.

– Это ново? А к кому ходила... Он-то что?

– А сидит. Ждёт суда. Так судить надо не этого парня, а того, кто ладится его судить!

– Это уже что-то новое.

– Представь! Мать этого парня, Фёдора, в суде секретарша. Между нею и новым следователем – я его не знаю, не сталкивался – вспыхнула какая-то служебная свара. И надо же такому набезать... Под следствие попал именно её сын! Дело отдали вести именно этому следователю. Вот он, кабриолет,³⁰⁴ и выгибается! Я был у Фёдора в кутузке, спрашивал, согласен ли жениться. Согласен! И на очной ставке подтвердил. Он согласен, она согласна....

– Гм... Он согласен, она согласна... А как же дело оказа-

³⁰³ **Жизнерадостные дети Совка** – психически больные.

³⁰⁴ **Кабриолет** – очень глупый человек.

лось у следователя, а сам Фёдор в предварительной отсидке?

– Подробности у Лиды. К ней я приведу тебя в самую последнюю очередь. А сначала, свожу-ка в финотдел, где Фёдор работает инспектором и шофёром по совместительству, в вечернюю школу к учителям, к ребятам прямо на занятие, к соседям. Послушаешь, что же этот Фёдор за человек, и ты убедишься, что вовсе не зря от имени бюро писал я в «Комсомолку».

Я был и у Лиды дома.

С самой Лидой не разговаривал, и слава Богу.

Мать её, узнав, кто я и зачем явился, взмолилась:

– Не надо! Не трогайте её! Она и так на работу бросила ходить, в школу бросила ходить, на улицу даже со стыда глаз не выносит. Сидит за стенкой в комнатёхе да ревмя ре-вёт. Боюсь я за неё. Не наложила б на себя руки из-за этого ковырялки-следователя. Это в какой позор втоптать!.. В чёрном воронке возить на допрос, на обследование к судебному врачу... Не силоводёром ли бельё снять... Какое сердце не охнет? Какое сердце не затаится от таких надругательных обид!.. Сидит, всё стонет да всё душой честит себя. Оно и жалко. А подумаешь, дура и есть! – неожиданно выворотила мать. – Я как понимаю...

Она придвинулась ко мне, заговорила вшёпот:

– Дело молодое... Подожгло... Сгорела... Чего в задний след кричать? Чего рот ширить? Сперва она молчала, правильно пошла на дело смотреть... У них уговор какой был? Встретятся на другой день. А он, бешеный бычок, не то что на другой – не приди и на третий! Моя – она у меня ещё сопливенькая, не вошла в года – и всполошись. Мол, забрал чего надо да и в сторону. Моя мне и пожалься. Мне б этот конфуз молчаком примять, а я, бесклёпочная, знамо дело,

сама в дурь и стригани. А-а, заблажила я лихоматом, ссильничал – рисуй бумагу в суд! Она вроде того и не хочет никаких бумаг затевать, жмётся, пятится раком. «Он, – подаёт ему оправдательство, – ничего не делал против моей воли, вовсе даже не...» – «Силовал! Молчи, дурёна! Мне лучше знать! Что ж, тебе твою чистоту мухи расклевали?» Она слезьми умывается, а я знай вкручиваю щетинку, знай выжимаю своё: пиши, прибитая на цвету, пиши, не то зубы выну! Ты только напиши, а я сама отнесу. Ну, деваться ей некуда, со слезьми начеркала, всё слезьми улила... Я в момент и снеси... Я-то всемушку и вина! Это из-за меня такой срам выскочил на мир... А подожди ещё денёк, ничего б этого ни один кобель не узнал. Он-то, Фёдор, на второй день после того дела был по службе заслан в область. Да не один, а со своим начальством. Отчёты там какие-то... В день не управились, еле в три впихнули свои дела. Катят в микрик-ке³⁰⁵ назад, а Фёдорушку уже чуть ли не весь трибуналий³⁰⁶ встречает под городом. Встрели, ручку под козырёчек и зовут из микрика: «На минуточку». И пересадили к себе в машину, да и туда... в деревуху...³⁰⁷ что ли... Звали на минуточку, а он досе сидит в каталажке... Вот чего я наработала... Ах, собачья нетерплячка!.. Ну, дальше... Узнала моя про такой мармелад, сама настрочила, сама отнесла хорошее

³⁰⁵ **Микрик** – микроавтобус.

³⁰⁶ **Трибуналий** – отделение милиции.

³⁰⁷ **Деревуха** – тюрьма.

заявление. Прощение вроде. Так, мол, и так, мы согласные, хотим сойтись, пустите его на волю ко мне. А они – дулю! Не выпускают. Всю оказию к суду плавят. Где ж это такой закон – не моги дажно сойтись с кем душе угодно? Ведь засудят, утартают, где и Макарка с телятками не толочся. Что тогда? Я своё напланировала... Вот не отдаст нам суд Фёдора – силом погоню свою к врачу. Иди, накричу, выковыривай из себя свой позор!

– Ка-ак позор? – отшатнулся я. – Какой же позор – ребёнок? Выходит, и вы сами, и Лида, и я, и все, все, все люди на свете – позор?

– Что мне все?! Пальцем будут тыкать в мою в одну. О! Полюбуйся, принесла крапивника! Как матери переморгать такое?

– Оно, конечно... Если вы погоните Лиду к врачу, я и пальцем не пошевелю, чтоб Фёдора отпустили с миром.

– Это ещё почему? – заробела женщина. – Всю так и одел холодом... Ты уж, мил человек, шевели чем угодно, только подавай нам Федюшку обратки... Она ж, – глянула на дверь в соседнюю комнату, – вся горем исходит...

– Дайте слово матери, что ни при каких не погоните к врачу.

– Чуда ты! – радостно всплеснулась она. – Да что мне, слова жалконько? Да я тебе хоть какое обещанье подам! Полное лукошко! Только выверни из этого кривосудия нам Федюшку. Я тебе присоветую... Ты обязательно заверни к его мате-

ри. Дверь в дверь с нами проживает. Она служит при суде, в этом деле большая знатница.

5

Двое любят друг друга.

Двое хотят пожениться.

Какой в этом криминал? Лично я не вижу никакого криминала. А вот следователь, продолжая вести следствие (наверняка у него зорче ум), видел криминал.

Да какой же именно?

Я тасовал события этой немудрёной истории и так и эдако, никакого криминала не выискивалось.

Оставалось одно.

Может, излишне усердствуя в этом деле, он сводил какие-то счёты с Фёдором, с Лидией? Может, с кем-то из их родственников?

Вздор!

Не может того быть. Зря грешу я на следователя.

А... А вдруг не зря?

Своими сомнениями я поделился с матерью Фёдора, помня, что она не новичок в суде.

– Во весь наш разговор, – призналась она, – я только и думала, как бы не выболтнулось с языком *это*... И раз вы сами спросили... Как-то у нас обокрали продуктовую лавку. Заняться ею поручили именно этому следователю. Это было первое его дело. И новенький показал товар лицом. Безме-

НОМ³⁰⁸ оказался.

В понятия попал один мой знакомый бухарик с нашей улицы.

Лицо смуглое, волос смоляной – кличка Негативчик шла ему.

Оттёр следователь Негативчика в угол. Шепнул:

«Эти два ящика у порога – ко мне! – и показал на мятый «Москвич» у незапертой чёрной двери. – С каждого ящика поимеешь по премиальной ампулке.³⁰⁹ И остопаривайся до не хочу! Не на одну опохмелюжку хватит! И какой-никакой приварок на операции «Хрусталь»!»³¹⁰.

Негативчик растерялся:

«Идти на операцию?»³¹¹»

«Бежать, огрызок счастья!»

«Нужно мне это, как зайцу триппер. А если осложнёнка?»

«Ослан! Ну чего строишь из себя особиста?..³¹² Чего теришься? Всё равно ж покупать будешь. Где станешь осликов³¹³ искать?.. Подумай своей башкатурой... Тащи! И свободен, как облако! Спишу на кабурщиков.³¹⁴ Кабурщики всё

³⁰⁸ **Безмен** – деловой человек.

³⁰⁹ **Ампула** – бутылка.

³¹⁰ **Операция «Хрусталь»** – сдача стеклопосуды.

³¹¹ **Идти на операцию** – идти на преступление.

³¹² **Особист** – сотрудник особого отдела (в армии, в органах безопасности); о человеке, ведущем себя по-особому.

³¹³ **Ослики** – деньги.

³¹⁴ **Кабурщик** – вор-взломщик.

свезут».

Негативчик обомлел, но ящики снёс. После получил две бутылки водки. Одну выпил с друзьями, расписал им в картинках эту историю. А вторую бутылку он припрятал.

Конечно, эту историю Негативчик рассказал и мне. Закончил укором: «А я, осуня, думал, правосудие вершится чистыми руками...»

Не знаю почему, не сдержалась я тогда, заплакала. Я всю жизнь в суде, девочкой ещё поступила в секретари, так всю жизнь на одном месте. Ни разу не слыхала, чтоб такое было замечено за кем-нибудь из наших. А тут тебе на!

«Чистыми! Чистыми! – закричала я. – Затесался один... Сегодня у нас в шесть профсоюзное собрание. Я обо всём этом скажу. А ты будь возле, позову подтвердить и оставшуюся бутылку сунь на обзор собранию».

Так и было всё сделано. А чтоб благодетели следователя не затевали лишние дебаты, попросила проверить отпечатки пальцев на бутылке. Отпечатки были следователевы. Он же сам брал из каждого ящика по бутылке и отдавал Негативчику, не доверял тому. Боялся, что тот вместо одной непременно цапнет больше.

Завальнюк, прокурор, поершил новенького звездохвата,³¹⁵ пообещался взять в ежовые рукавицы. На том и разошлись.

Выходим с собрания.

³¹⁵ Звездохват – удачливый вор.

Следователь и толкни меня в локоть:

«Ты ещё у меня попляшешь лезгинку на раскаленной сковородке».

Я посмеялась ему в лицо.

Ну, собрание было во вторник. В среду возвращается мой Федя из командировки домой и попадает в изолятор. Уже позже я узнала стороной, что за час до собрания Завальнюк получил заявление от Лидиной мамы и сразу – новичку. Действуй!

Я просила Завальнюка передать дело кому угодно другому.

Завальнюк с ухмылушкой и ответь:

«Может, вы пожелаете, чтоб дело вашего сыночка вёл сам Роман Андреич?»³¹⁶ К глубокому сожалению, Роман Андреич у меня в штате не состоит».

– Вам не кажется, что следователь предвзято ведёт дело? – спросил я.

– Видите ли, я лицо заинтересованное. Позвольте на этот вопрос не отвечать. Судите сами. Со стороны видней.

– Но всё же?

– Понятно, моё мнение о своём сыне не совпадает с мнением Шиманова.

– Кто этот Шайтанов?

– Не Шайтанов, а Шиманов. Новый копач... Следователь.

³¹⁶ Роман Андреевич Руденко (1907-1981) – генеральный прокурор СССР с 1953 года.

Помилуйте, подумал я, не тот ли это Шиманов, о котором я уже имел счастье писать фельетон «И покойницу выдали замуж»? Если тот, то как он мог здесь выплыть? Ему запрещено заниматься юриспруденцией. Так по крайней мере отвечала редакции областная прокуратура.

– Как он выглядит? – спросил я в напряжении и только тут вспомнил. Хотя писать-то я писал, но видеть-то я его не видел, так что никакие приметы мне ничего не скажут. Я обогнал её ответ, задал вопрос про то, что было у Шиманова самое пикантное. – Жену, жену его Ираидой зовут?

– Ираидой. А вы откуда знаете?

– Ну-у! Эту бабочку «ловкого» поведения мне доводилось наблюдать в полёте.

– Справка. Ираида приходится Завальнюку какой-то десятой водой на сотом киселе. Оно хотя кисель и сотый, а всё же сродствие. Ходили толки, у Шамана в соседней области, где он раньше трубил, вышел скандал. По слухам, о нём даже там в местной газете писали, как он за приличный эфиопский налог³¹⁷ выдал одну покойницу замуж. Завели на Шамана дело. Грозил Шаману тюряжка. Его спас от этого родного дома и обогрел своим сердобольным крылышком наш Завальнюк. Уж как он там смог – замял дело и тихочко пригрел Шамана у нас в Рязске.

Боже, неужели судьбе угодно снова столкнуть нас?

³¹⁷ Эфиопский налог – взятка.

...Фельетон я тогда накидал в блокнот ещё по пути из командировки.

Расставаясь с Ираидой, я сказал ей, чтоб позвонила в Геленджик мужу, где он отдыхал, и сообщила, что им интересовался корреспондент. Если мужу есть что возразить, пускай даст телеграмму в одно слово *Подождите*, и печатание фельетона будет отложено до встречи. Крайний срок телеграммы четверг.

В четверг я сидел как на иголках. Я вздрагивал от междугородних звонков, боялся смотреть в глаза доставщицам телеграмм.

Фельетон мне нравился и мне жалко было его выбрасывать.

Его уже вот подписывает редактор...

Вот засылают в набор...

Вот уже набирают...

Вот ставят на полосу...

Вот уже печатают... (Газета выходила по пятницам.)

Не дай бог вякнет Геленджик...

Но все обошлось!

Геленджик молодцом молчал, будто набрал в рот морской воды.

Спустя дней пять в обком поступило экстренное донесение.

Разгневанная Ираида спешила уведомить, что я, «коварный искуситель», воспользовавшись отсутствием мужа,

остался у неё, конечно, у слабой, беззащитной женщины, ночевать со всеми вытекающими отсюда последствиями. Первое: «лишил невинности», разумеется, её, «огулял нахалкой»³¹⁸. Второе: «надругался как хотел над законным мужем – написал нехороший фельетон».

В обкоме весело смеялись.

Нелепость обвинений была очевидна.

В самом деле, чего стоила одна песнь песней о жестокой разлуке с невинностью. Как я мог разлучить пылкую Ираиду с этой святой добродетелью, если при нашей встрече у неё уже был сын? Слава богу, хоть не вешала мне этого юного чингисханёнка.

Итак, трогательная версия о расставании с невинностью в моём активном присутствии отпадала начисто.

Зато повисла в воздухе любовь с криком.³¹⁹

Всё-таки, где я провёл ту ночь, когда под вечер действительно был у Ираиды?

Мне верили и не верили, что я не завяз тогда у неё до утра, и, дабы поставить все точки над *i*, пошли навстречу моим настояниям. Вместе со мной выехал к Шимановым инструктор обкома партии.

Мы подняли старые квитанции в той гостинице, где я останавливался.

Однако моя квитанция ещё не алиби.

³¹⁸ Огулять нахалкой – изнасиловать.

³¹⁹ Любовь с криком – изнасилование.

Я мог заплатить, а в гостинице не спать.

Толкнулись в отделение милиции.

Там раскопали запись о моём задержании, привели Сашу, того милиционера, который меня задерживал, когда я, голодный, просил продать мне в столовой хоть кусик хлеба, поскольку столовая уже закрывалась и не горевала, что весь день я не ел. Милиционер прекрасно всё помнил, рассказал в таких подробностях всё, что усомниться в достоверности его слов невозможно было.

Очищенным покидал я тот городок.

За визиты к Шимановым расплачивались Шимановы сами.

Ираиду, воспитательницу детского сада, уволили.

Всякая клевета чего-то да стоит...

В мгновение пролетели в голове эти воспоминания, и оставили во мне неприятный осадок.

Снова предстояла встреча.

Меня передернуло.

– Да вы что, – опечалилась мать Фёдора, – знаете Шимановых?

Я не хотел распространяться и неопределенно пожал плечами.

Был уже первый час ночи.

Я засобирался уходить.

– Да куда вы в такой мороз? – Она глянула в окно на градусник. – Тридцать три! Куда в такой час? В Фединой ком-

нате переспите. Оставайтесь.

Я не остался.

После истории с Ираидой у меня теперь твёрдое правило: никогда не пристывать на ночь у тех, о ком будешь писать неважно что, фельетон или песнь-очерк.

6

Гибельный морозина всякому набрасывал резвости.

Особенно у меня мёрзли ноги в лёгких, осенних ботиночках и в простых бумажных носках. Хоть под носками я обернул ноги газетой для тепла, но оттого мои ступни почему-то не прели от жару.

Молодой, хлёсткий на ногу, уже через несколько минут я стучался в гостиничную дверь.

– Ну чаво надоть? – дребезжащим голосом жёстко спросила гостиничная владычица, толстая неприветливая старуха. – То-ольке угнездилась... Ломятся господа дворяне!³²⁰

– Переночевать у вас очень хочется...

Старуха узнала меня.

– А-а! – с тихим, ликующим злорадством сказала. – Ты, кирспандент, зря стараешься. Нечаво по пустому делу колотить. Ничаво не выступишь. Твоё место отдадено.

– Что-о?

– С грушами, говорю, проехали. Яблоки провезли.

– Я же был у вас днём! Мы договорились!..

– Ка-ак, полуношник, договаривались? Ежель в двенадцать не наявляешься, я могу отдавать твою койку. Так?

Я поддакнул.

– Так чаво тебе? Уже половина первого. Местов у меня

³²⁰ Дворянин (здесь) – бродяга, человек, ночующий под открытым небом.

больше нету... Добавочных не пририсовали... Шóффер проезжий с вечера твою ждал месту. Всё молил Бога, чтоб ты не пришёл. Я не отдавала, всё берегла уговор. Тольке уже в первом часе уступила, сдалась по полной. Человек уже благородно спит... Устамши... Он мне не сродственник дажно такой, про какова скажут, что ихний плетень нашему сараю двоюродный дядя...

– Вы б хоть дверь открыли.

– Бегу... Пот кровью текёт! На что мне напускать стужу? И так не парко... Да ещё из тепла выползай. Идь на вокзал. Може, тамочки что уколупнёшь...

Мне ни к чему бросать живое, искать мёртвое.

В моём вытертом осеннем полупальто да в холодных ботиночках на газетном меху только и разгуливать сейчас. А потом, чёрт его знает, где тот вокзал.

Автобусы уже не ходят. Примёрзли.

А до вокзала километра, может, три да полем ещё... Пока добегу, окоченею. И без того зуб на зуб не приходит.

Что же делать? Как поднять эту кочерыгу? Как упротить открыть дверь? Впустила б в прихожую, у батареи до утра сидя перемялся бы в дрёме...

Меня тянет словчить.

– На моих, – трогаю пустое запястье и зычно говорю в чёрную дверь, – ещё нет двенадцати. Телячье время!

– А я живу не по твоим часам. Над головой свои вызванивают.

– Откройте. Давайте сверим часы. Я гляну, сколько на ваших на золотых.

– И что пустое лалайкать? Прямо душу вынимают...

Молчание.

Только слышно, как от мороза потрескивала деревянная гостиница, будто тащилась старая арба, запряжённая ленивыми старыми волами.

А между тем холодина велик, стоять не велит. Так как взять этот неприступный бастион?

Совершенно машинально я выдираю из блокнота лист, складываю вдвое и пихаю под дверь.

Зачем?

Не знаю...

Ржаво скрипнули диванные пружины. Ага, забрало!

Слышу, со стоном прогибаются половицы.

Идёт.

Наклоняется.

Удар в пол ногтем, точно клювом.

Однако уголок листка у меня по-прежнему.

Секундная тишина. Наверное, соображает, как подхватить едва видный край короткими налитыми пальцами.

Как я и предполагал, она толкнула наружу дверь, сгребла в комок лист. Я тем временем сунул в отвор двери ногу.

Чистый, без ничего, листок, похоже, изобидел её.

Озлénно вскинулись мохнатые кусточки поблёлкых бровей.

– Ты что ж меня пустым интересом сманил с дивана, как глупую кошку с тёплой печки? Для смеху? Дразниси?

– Извините. В щёлку миллион не воткнёшь.

– Ишь! Богатей Богатеич! У тя что, черти яйца несут?.. Думала, телеграмма кому из постояликов...

Она дёрнула дверь на себя.

Дверь не закрывалась. Мешала моя нога.

– Убирай свою клешню!

– Пускай погрееется... Пустите и другую...

– Убирай!

– Пустите глаза обогреть... Лишь бы не на улице. Я в коридоре...

– Убирай! Не бандитничай!

– В такой морозище не впустить... Эх... Дай Бог, чтоб на моём месте оказался ваш сын! Как бы вы тогда...

У меня защипало в глазах.

Я убрал ногу и отступился.

Не миновать топать на вокзал.

Дорога на вокзал шла мимо гостиницы, но в какую сторону?

Я побрёл наугад.

– Ге!.. Обида!.. – слышался мяклый старухин голос. – Вокзал покуда не в том крае. Обратки надоть!.. Да... Давай приворачивай к моему шалашику. Где приткнёшься, там и перебедуешь до света.

В тесной прихожей, у самой двери, мёрзли три стула.

Я поставил их в ряд, лёг на них. Потуже завязал под подбородком шапку, роднее родной обнял еле тёплую батарею.

Засыпая, я слышал обрывки старухиных попреков, задавленно падавших с дивана:

– Дёрнул за что... Сынка помянул... Нетути сыночка... Война... прибрала...

Старуха разбудила меня в шесть.

– Иди ляжь на шóферские перины. Только что поехал.

Я перешёл в номер.

Меня знобило, всего разламывало.

Наверно, сильно просквозило у двери?

Однако я до смерти обрадовался тёплой постели и быстро уснул. И так же быстро проснулся.

У меня был жар.

Сосед по койке, ездивший в командировки со своим градусником, вложил мне градусник под мышку. Температура набежала весёленькая. Тридцать девять и три.

– С такими градусами, – сморщился он, – лучше всего позвать скорую или, на крайняк, сей же мент убираться болеть домой. Что вы предпочитаете?

Я с грустью слушал, как где-то в конце коридора бойко гремели рукомойниками, и молчал.

Час был ранний. Народ только растекался по службам.

В прокуратуре кроме уборщицы ещё никого не было.

Уборщица наскоро протирала полы.

В вестибюле по стенкам стояли стулья.

Я сел на крайний от входа стул и принялся наблюдать за всеми входящими. Интересно, со слов посторонних зная о делах человека, смогу ли я его самого узнать в лицо?

Сначала я неуверенно принял за Шиманова, как потом выяснилось, самого Завальнюка.

Мелкорослого, тщедушного человечка, вошедшего пятым, я твёрдо назвал про себя Шимановым, и он действительно, окинув вестибюль испуганно-торопливым взглядом бесцветных маленьких глаз, как-то стремглав воткнулся в комнату, на двери которой болталась временная бумажная табличка на кнопке «Следователь Шиманов А.М.». Вошёл так быстро, будто спрятался от кого.

Я даже выглянул на улицу.

Но никого не увидел, кто бы мог преследовать Шиманова.

Я с лихвой выждал время, нужное на то, чтобы раздеться, причесаться. Довольно громко постучал.

Тишина.

Тем не менее я вошёл.

Шиманов сидел в тулупе и в высоких белых валенках, грел

руки в шапке на столе.

Я подал ему командировку, удостоверение.

Не дождавшись предложения сесть, опустился на стул сбоку у стола.

Время от времени сверяюще косясь на меня, Шиманов долго и недоверчиво изучал моё удостоверение.

А я изучал Шиманова.

Лицо нервное, скользкое, без возраста. Ему можно дать и двадцать пять, и все пятьдесят. На землистом лице раз и навсегда пристыли насторожённость, недоумение.

– Видите ли, – наконец заговорил он отчуждённо, – я не могу с вами разговаривать. Вы командированы в соседний Новодеревенский район. Ну и езжайте туда. А к нам вас никто не посылал. Никто вас сюда не звал.

– Меня интересует спиридоновская история.

Шиманов с сановитой небрежностью откинулся в кресле.

– Я бы хотел напомнить вам статистику. Журналисты умирают на десять лет раньше, чем люди других профессий. По моему глубокому убеждению, это происходит оттого, что ваша пишущая братия слишком часто, извините, суёт нос не в свои сани... Я бы не советовал вам лезть в эту кашу. Обожжётесь. Наверняка обожжётесь! Вот через шесть дней суд... Пройдёт... Подымайте, взбучивайте пыль. Шумите. Это ваше право. Но давление на правосудие до суда, но разглашение данных предварительного следствия или дознания... это знаете... Соответствующая статья в кодек-

се на сей счёт чётко гласит: разглашение данных предварительного следствия или дознания без разрешения прокурора, следователя или лица, производящего дознание, наказываемся исправительными работами на срок до шести месяцев или штрафом до пятидесяти рублей. Как минимум. А максимум... Клевета в печати стоит три года разлуки со свободой. Вас это устраивает?

– Вполне.

– Тогда катайте, что взбрѣдет на ум. Вам это не в новость, крестничек! – озлоблѣнно, с вызовом выпалил Шиманов.

– С каких это пор я стал вашим крѣстным? Не с тех ли, как вы покойницу выдали замуж?

– Именно! – ядовито подтвердил Шиманов. – Налить на меня столько парафину!³²¹ Человечество признательно вам за ваш мини-шедевр, но позволительно ли так, извините, нечистоплотно работать? Не разговаривая с человеком – наvertеть клеветон!

– Э! Зачем же ехать на небо тайгой?..³²² Да вас в ступе не поймаетшь! Я сейчас у вас. Кто не хочет о спиридоновском переплясе говорить?

– Это сейчас, – выворачивается вѣрткий Шиманов. – А тогда?

– И тогда Ираида, жена, навела вам звон в Геленджик?

– Ну и что из того, что звонила? Одно дело её звонок и

³²¹ **Налить парафину** – оклеветать.

³²² **Ехать на небо тайгой** – врать.

вовсе другое... – Шиманов болезненно поморщился. – Разве ради высокой правды вам не следовало приехать самому в Геленджик?

– Только на Багамы! Не ближе... Неужели вы думаете, что областная молодёжная газета в состоянии одаривать командировками на юг? И потом, в южной командировке не было нужды. Вы пожалели двадцати копеек на телеграмму в одно слово, а дай – с публикацией мы бы подождали, выслушали вас. Вам нечего было сказать в оправдание, потому вы и не телеграфировали. Так?

Шиманов демонстративно отвернулся к окну и длинно замолчал.

Мне изрядно поднадоело сидеть и смотреть, как дует себе под нос этот недовольный и капризный шилохвост.

– И что вы вымолчите? – спросил я напрямки.

– А что в пустой след тарыхтеть? – вгоряче выкрикнул он. – Что изменится оттого, что я скажу? Не разговаривая, отрапортовали в тот случай? Валяйте так и сейчас!

– Тот случай... Это тот случай. А сейчас мы встретились.

– Хороша встреча! Так... для блезиру... Вы обежали полгорода, насобирали кучу сплетен, а к следователю пришли последним. А надо было начинать со следователя!

Опять я не угодил, будь ты не ладна!

В конце концов, не существует указов, как начинать есть рыбу. Кто начинает с хвоста, кто с головы. Дело вкуса. Я предпочитаю начинать с хвоста.

Раз Шиманов вне конкурса претендовал на роль гвоздя в будущей статье, всё ведь крутилось вокруг него, я и приди к нему после встреч со всеми остальными. Пришёл уточнить слышанное.

– У вас есть, – говорю, – прекрасная возможность разбить все нападки на вас. Говорите. Я попробую вас понять... Однако сразу замечу, с кем я ни разговаривал порознь, конечно, все сходятся во мнении: пристрастно ведёте вы следствие.

– Этими агентурными данными меня не удивите. Веду как могу.

– Сложилось впечатление, что вы хотите представить Фёдора как отпетого бандюгу...

– Что вы! Спиридонов сама святость, ангел с крылышками. Хорош ангелочек! Рыдает по нём Колыма!

– Спиридонов мне ни брат ни сват. Я его не видел, я его не слышал. Я только послушал тех, кто знает его и, верите, – да простите мне сентиментальность, – я влюбился в этого парня. Меня потянуло разобраться, что же такого преступного выкинул он.

– Вы всё уяснили, как он покуражился над так называемой любимой девушкой?

– Не рановато ли иронизируете? Парню двадцать четыре. Работает и учится. Ходит в десятый класс вечерней школы. Учитя ещё заочно в лесном техникуме. Много вы таких собранных, цельных ребят встречали? Я думаю, будь он отпетый шалопай, не бросились бы школа и финотдел так рев-

ниво защищать его. Было специальное открытое комсомольское собрание. Были те, с кем Фёдор работал, с кем учился. Собрание направило в райком целую петицию, под которой поставили подписи тридцать пять человек. *Все*, кто был на собрании! Они просили бюро райкома ходатайствовать о прекращении следствия. Райком отправил петицию в «Комсомолку».

– Ну что петиция? Что подписи? Выгораживают дружка!

– Вы слишком много тратите энергии на то, чтоб представить дело так, будто Фёдор и Лидия незнакомы... Третий год сидят за одной партией, помогают друг дружке в учебе и, по словам одноклассников, везде, везде вместе.

– Это ещё не доказательство.

– Живут на одной площадке. Дверь в дверь.

– Тоже не доказательство.

– Наконец, их родители сообща выписывают на две семьи газеты, журналы. Тоже не доказательство? Всё равно Фёдор и Лида незнакомы?

– Одно есть точное доказательство. Она несовершеннолетка. Ей нет восемнадцати. А это образцовому комсомольцу обойдётся дороговато. Насилие у нас...

– Вы хотите сказать, что у них была любовь с криком?

– Лично я никакого крика не слышал. Я просто говорю, что на сегодняшний день насилие котируется прилично. Грустных лет пятнадцать придётся ангелу, как говорится, взять в клеточку...

– У вас есть заключение судмедэксперта?

– Заявление пострадавшей...

– А у меня, могу поделиться, есть заключение судмедэксперта Гордецова. Никаких признаков насилия! Это Гордецов заявит и на суде, если дело дойдёт до суда. Так мне сказал сам Гордецов.

– Там слова. У меня оправи́лы хозяина³²³.

При разговоре Шиманов то и знай совал нос в папку, лежала перед ним на столе.

Я потянулся было заглянуть в неё – он поднял обложку.

Я увидел, что это было досье на Спиридонова.

– Какая пруть! – с укором уставился на меня Шиманов. –

Вижу, вы горячо желаете досрочно загнать меня за Можай? Да если хоть слово из этой папки попади к вам в статью, мне кабздец!

Сперва я хотел попросить разрешения полистать дело.

Теперь понял, никакого дела он мне не даст. Надо действовать иначе.

Как иначе выудить достоверную информацию?

Я заметил, отвечая мне, Шиманов, непременно желая быть точным, цитирует из бумаг целые куски. Грех не воспользоваться такой его промашкой. Ведь всё, что услышу, спокойно можно подавать как надёжные извлечения из самого дела. Только бы незаметно записать...

– Вы, – говорю, – похвалились первым заявлением Лидии.

³²³ **Оправи́лы хозяина** – подлинные документы.

Ну какая скромность заставляет вас молчать о втором её заявлении? Оно к делу не приобщено?

– Почему? – несколько смутился Шиманов. – Вот оно, родное... – и, повыше поднимая обложку, чтоб не мог я видеть текст, принялся театрально читать: – «В тот вечер Фёдор ничего не делал против моей воли. А заявила я сгоряча потому, что он не приходил ко мне два дня. Оказывается, он был занят по работе... Я не думала, что его посадят. Я думала, ему просто дадут какое-то маленькое наказание, попугают там и отпустят».

Шиманов смачно прищёлкнул пальцами, весело подмигнул мне. Ну каково резвятся детишки?

– А дальше вовсе детская лепетуха. «Я люблю его. Мы поженимся. Прекратите следствие, помогите нам создать семью...»

Это важно.

Это надо записать слово в слово. Записать при этом белохвостом гну? Глупо рисковать. Может догадаться, что пишу за ним, и бросит читать.

Извинившись, я говорю, что мне необходимо на секунду выйти, и выхожу.

В коридоре тоже не решаюсь доставать блокнот.

А вдруг Шиманов тоже выйдет?

Самым подходящим и приемлемым в данной ситуации мне видится туалет. Там-то без спеха, спокойно можно всё записать!

Минут через пять я в настроении возвращаюсь с Курильских островов.³²⁴

Завидев меня на пороге, Шиманов насмешливо щёлкает ногтем по Лидиному заявлению:

– Иха! Каждой Маргарите по Фаусту! Из прокуратуры делать сваху! Видал, помогите им сочинить семью... Пардон, у нас несколько иной профиль.

По-моему, новая семья – единственный выход из этой истории. Другого выхода я не вижу. Второе заявление целиком уничтожало первое, написанное под диктовку страха, стыда.

Как продолжать следствие, имея два таких заявления? Не понимаю. Я об этом так прямо и сказал Шиманову.

– Жаль, что вам простые вещи непонятны, – ответил он. – Я не имею право торопиться закрывать дело. Ведь написала второе заявление несовершеннолетняя!

– Можно подумать, она была совершеннолетней, когда писала первое. И она, и он хотят пожениться. Что вам тут делать? Вам надо срочно подаваться в тысяцкие.³²⁵

– Не спешите с переквалификацией. Девице надо вдолбить, она многое не понимает что к чему. Там он, может, если не в натуре, то хоть в мыслях уже выскочил в канцлеры³²⁶ или парашеносцы и быстро дозрел. Разготов взят не то что

³²⁴ **Курильские острова** – туалет, где курят.

³²⁵ **Тысяцкий** – старший свадебный чин. Обычно это и посажённый отец жениха.

³²⁶ **Канцлер** – уборщик туалета.

бабу-ягу столетнюю. Сейчас он до одури счастлив жениться даже на дырке в плетне. Лишь бы выскочить на волю. А потом? Бро-о-осит! Он же не олень какой с развесистыми рогами... Наверняка бросит! Она-то, святая другиня, ка-ак его оформачила!³²⁷ Всему городу выставила на позорище! Думаете, он ей это простит? Да ни за что! Надо смотреть в корень. Вот я и не спешу примерять ленту вашего тысяцкого.

Шиманов слушал меня на нервах, сквозь зубы, а потому, наверно, и спутал тысяцкого с дружкой. Дружка носит ленту.

– Всего четыре месяца не хватает ей до восемнадцати. Неужели вы не знаете, что городской администрации разрешено срезать для женщин брачный возраст на год?

– Никак не пойму... Или вы имеете на меня клык? От ваших выяснений у меня извилины задымились. Устал. Надоело... Давайте расстанемся... Идите вы изюм косить!

– Какая косовица по снегу?

Шиманов чуже процедил:

– У меня такое чувство, что вы нанялись в адвокаты к этой Спиридонихе. Чем она вас, извиняюсь, прельстила?

– Теми двумя ящиками водки, которые вам таки пришлось по-тихому вернуть продовольственной лавке.

³²⁷ **Оформачить** – опозорить.

8

В тот же день к вечеру возвратился я в редакцию. Рабочий день уже кончился. Кабинеты были пусты.

Однако редактора Ух! я застал и то лишь потому, что он дежурил по номеру.

Он как-то болезненно улыбнулся, отрываясь от читки полосы и с недоверием принимая тетрадь со спиридоновской историей. Я написал её в поезде на коленях.

– О доблестной телятнице? – с иронией спросил он, раскрывая тетрадь. – В темпе...

– До телятницы я не доехал...

– Это уже кое да что! – потеплел он лицом, кладя тетрадь на влажную, чёрно мажущуюся полосу.

Ничего не знаю ужасней, когда редактор при тебе читает твою классику.

А сейчас сильная тупая боль снимала, заглушала страх перед тем, что скажет через десять минут редактор. Мне было даже как-то безразлично. Хотелось одного. Поскорей отпусти с миром.

Но мне лишь казалось, что мне всё равно, как будет принята моя статья. Во мне что-то оборвалось и упало, когда я увидел, что он крест-накрест перечеркнул всю вторую половину истории.

– Водку я отсёк, – пояснил он. – Водка дело десятое. К

тому же её уже вернули... Да и не пиши всё, что знаешь. А так всё на большой! Всё правильно?

– Всё.

– Смотри. Идём под нож!

– На той неделе суд... Надо бы дать в следующий номер... – осторожно попросил-подсказал я.

– В сегодняшней! – с упоённым вызовом рывкнул Ух! – С третьей полосы долой серую кирпичину! Пускай пропаганда над ним попотеет ещё, обожжёт получше. Пускай ещё поперепеленает!.. А тебя ставлю. На линотип несу. Ты же топай отсыпайся. А то какой-то вареный, мятый... Устал... Отсыпайся спокойно. Знай, над тобой не каплет. Я выбираю тебя!

Я хотел помочь Лидии и Фёдору, а помог прежде всего самому себе. Меня оставили в редакции.

Правда, это кое-чего мне стоило. Ну хотя бы того, что, промаявшись ночь на составленных стульях в гостиничном предбаннике, я прихватил какой-то простудной непотребщины.

Долго она меня мучила.

Месяца два кололи пониже спины. Кололи каждый день, кололи дома и в командировках.

В командировки я обычно брал коробку с высокими ампулами. Как куда приезжал, сразу летел к медичкам-сестричкам. Доставал свои ампулы, просил:

– Пожалуйста, отметьте мне командировочку. Да не очень

глубоко.

И мне на попенгагене *ставили отметку* шприцом.

А что же сама спиридоновская катавасия?

Кончилась эта кутерьма счастьем.

Недели через три я получил телеграмму. Лидия и Фёдор приглашали на свадьбу в качестве посажёного отца.

Телеграмма меня и обрадовала, и смутила. Ну, какой я посажёный отец, если жених, Фёдор, старше меня, отца?

И потом, разве без меня свадьба развалится? Чего я там стану мешаться?

Застолий я не выносил и, разумеется, ни на какую свадьбу не поехал. Отбоярился поздравительной телеграммой.

Однако не мог я ответить отказом на приглашение областного прокурора. Он собрал прокуроров, следователей из районов. Хотел, чтоб в моём присутствии шёл разговор о моей статье «Любовь под следствием».

Какие-то неотложные хлопоты задержали меня.

К началу я опоздал.

Приоткрыв первую дверь, я услышал энергичный прокурорский бас.

Я пристыл в тёмном тамбуре и стал слушать, не решаясь войти.

– ... взаимоотношения юных – очень тонкое дело. Сплеча тут рубить негоже. Как же назвать случившееся? Досадным недоразумением?

Прокурор сделал эффектную паузу, и я, нагнувшись, тихонько промигнул к ближнему свободному стулу.

– Досадным недоразумением? – повторил прокурор. – Но уж слишком жестокою досаду вызывает недоразумение, которое столько слёз и нервов стоило двум ни в чём не повинным молодым людям. И всё по вине человека, должностью своей призванного утверждать справедливость!

И его могучая, твёрдая рука указала на человека, что сидел со мной рядом.

Кто это был?

Я медленно поворачиваю голову и глаза в глаза сталкиваюсь с Шимановым!

Я обомлел.

Так вот почему рядом с ним никто и не сел?

– Сам собой, – продолжал греметь бас, – напрашивается вывод: можно ли доверять такому эту очень человеческую и очень ответственную должность? Нельзя! Поэтому-то вы, товарищ Шиманов, уже бывший следователь. И уж не переживайте, мы побеспокоимся, чтобы вы никогда больше не были в наших органах. Правосудие должно вершиться чистыми руками!

Шиманов ищуще покивал и, вставая, мстительно косясь на меня – не обожгу, так хоть замараю! – оправдательно выкрикнул:

– Товарищ прокурор! А ведь корреспондент большой шантажист!

– То есть?

– Однажды звонит и издевательски спрашивает: вы ещё работаете? В смысле – ещё не уволили меня...

– Вопрос резонный. – Прокурор одобрительно улыбнулся мне.

Действительно, такой звонок был. И действительно, я так спрашивал. Я не мог дождаться, когда же уберут Шиманова.

Так что же придумать сейчас? Как прикрыть эту вывернувшуюся нелепицу?

– Да, – говорю, – я звонил. Но вы, товарищ Шиманов, помните, какой день недели был?

– Н нет...

– А я помню, – твержу, не моргнув глазом. – Была суббота. Сокращенный день. Рабочее время уже вышло, а вы всё вертелись на службе. Я без всякой издевки и спроси.

– А-а...

– Вот видите! – снова накатился прокурор на Шиманова. – Напраслину, клевету возвели на человека. И скажете, что полчаса назад нам здесь не врал? Будете по-прежнему утверждать, что не давали корреспонденту материалы дела?

– Не давал...

– А почему в статье точно воспроизведены заявление пострадавшей и ряд других выдержек? Я не спрашиваю корреспондента, как они к нему попали. Я спрашиваю вас.

Шиманов очумело молчал.

Молчал и я.

Что мне было делать? В самом деле, не вскакивать же и не доказывать, выгораживая Шиманова, что я по памяти записал мне нужное в туалете. Вина Шиманова уже была и в том, что он всё-таки читал мне материалы.

Вязкий, свинцовый взгляд поднял прокурор на Шиманова:

– Ящики... Разглашение данных предварительного следствия... Клевета на корреспондента... За всё с вас закон спросит. Закон на всех один.

Прошло ещё года четыре.

Редакционная суматоха снова забросила меня в Ряжск.

На этот раз старуха администраторша была со мной совсем другая. Её нельзя было узнать. Увидав меня, как-то безыскусно обрадовалась мне и повела сразу на второй этаж показать лучший номер с балконом.

Номер оказался одноместный, уютный и, самое главное, недорогой. Мне он понравился.

Воспрянувшая старуха вытащила меня и на балкон, кажется, единственный на всю гостиницу. Как не похвалиться таким сокровищем!

Ненароком она глянула вниз, ойкнула и, горячечно тыча горбатой, сухой рукой, во весь рот всшумела:

– Смотрите! Смотрите! Ваши спасёнки!

Я посмотрел, куда показывала рука.

Мимо по улице, широкой, солнечной, ехали на одном ве-

лосипеде трое. Впереди, на раме, внаклонку сидела девушка с цветком черемухи. Сзади, с багажника, егоза лет трёх цветком черемухи торопила, кокетливо постёгивала по боку возницу, ладного, красивого парня.

Парень хотел поцеловать девушку на раме.

Девушка весело вертела головой, не давалась и счастливо смеялась.

Никого из них я не знал.

Я встроил глаза в старуху.

– Не знакомы! – всплеснула руками. – Да это ж ваши крестники-воскресники! Лидка с Федькой да назаде их девчошка. Зойка!

Я смотрел уезжающим в спину.

Под ними весело ворочались в спицах два солнца.

Сами собой накатили слёзы.

Печально подумалось...

Ну если бы не я, были бы ли они все трое вместе?

Там, на гостиничном балконе, по углам поросшем мхом, я впервые почувствовал, что хоть капельку могу быть кому-то нужным. Значит, не так уж я зря топчу земельку?.. Значит, не так уж и зря перевожу я чёрствый журналистский хлеб?

Глава семнадцатая

*Жизнь не река, она – противоречье, она, как речь,
должна предостеречь.*

М. Светлов

1

Бегло, с пятого на десятое, пересказал я Зое Фёдоровне ряжскую историю.

Зоя Фёдоровна потемнела лицом, расстроилась.

– Что же, – спросила потухшим голосом, – если бы не вы тогда со статьёй, может, меня вовсе и не было б на свете?

Я не знал, что отвечать, и молча пожал плечами.

Мне привиделся мостик из далёкой молодости моей в сегодня. Подумалось, добро, свершённое в Ряжске, не отозвалось ли в Ольшанке? Возможно такое? А почему невозможно? Доброта Зои Фёдоровны не продолжение ли моей когдашней почти случайной доброты?

Помалу я утвердился в этой мысли.

– Точно, – прошептал я, – я знаю теперь лишь одно. Без вас наверняка не вернулся бы покой в наш дом.

– Вы неправы, – задумчиво возразила Зоя Фёдоровна. – Не я, так другой врач помог бы вашей маме...

– Был один помощничек. Помощник смерти... Доводил иных своих больных до предсмертных кондиций. Потом срочно сплавлял их вам.

– У вас не язычок. Бритва! Так остро ненавидеть Святцева... Хотя... – Слова замерли у неё на губах. Она слегка нахмурила чуткие брови. – Это одноклеточный всегда ясно-однообразный...

– А Святцев, конечно, многоклеточный! – в сердцах подпустил я.

Зоя Фёдоровна мимо пропустила мою подковырку. Продолжала раздумчиво ровным голосом:

– Разложим по полочкам... В Святцеве кошёлка грехов. Резок, несдержан, мнителен, тороплив, в иной момент просто неуправляем. В нём нет собранности... Он не может в горячую минуту взять... слить себя в кулак. Он ругается там, где надо улыбаться. Его не хватает на главное, на внимание к больному... Сплошные пятёрки на экзаменах... От рассказа о том, как надо лечить, до самого лечения перегон большо-ой. И ох трудный... Иногда, может быть, больной наполовину выздоравливает от внимания к нему. А уж всё остальное работа лекарств. Я бывала на приёмах у Святцева, наблюдала его со стороны. Войдёт человек. Святцев так глянет, что бедняга со страху вжимается в дверь. Несчастному кажется, что он попал к следователю, от которого уже не выскочить на волю. Какой уж тут контакт, какая уж тут откровенность! Был и он на моих приёмах. После плевался. А сам,

чувствую, завидовал. Всё укорял, ну чего каждому строить глазки, лыбиться до ушей? Не в цирке ж! Да, кабинет терапевта, палата не цирк и всё же... Больному, этому горькому дитю природы, и без того бермудно, тошен свет. А начни и врач подаживать, ещё сильнее придавит беда. Но завидь он улыбку, в первое мгновение недоумеваает, во второе уже робко цепляется за надежду. Ага!.. Если врач улыбается мне, похоже, не так уж я и плох!

– Значит, ложь во спасение?

Зоя Фёдоровна улыбнулась.

Я не берусь описывать её улыбку. Мне ещё неведомы те слова, которыми можно было бы передать счастье и силу, обаяние и восторг её улыбки. Ни в каких театральных студиях не научат этой улыбке души. С этим счастьем надо родиться.

– От мамы я слышал, – сказал я, – что вас в институт за улыбку приняли. В самом деле?

– Представьте. Я недобрала полбалла. И меня зачислили. После профессор так и говорил: «Авансом, за улыбку взяли. Хорошая улыбка врача возвращает больному веру в себя. Улыбка ему важнее самого дорогого лекарства».

Зоя Фёдоровна печально посмотрела на тающее облако, похожее на белого пуделя, и продолжала с какими-то оправдательными нотками в голосе:

– А вообще я стараюсь быть строгой. В конце концов, твержу себе, ты на работе, следи за собой. Но когда я увижу

больного, я не могу не улыбнуться. Это посверх моих сил. Для меня каждый больной – это моя мать, это мой отец, это моя бабушка, это, наконец, мой сын. Не могу же я с окаменелым лицом взять сыночку на руки... Я же живая...

– А Святцев вот другой.

– Видите... Он у нас *хампетентный* скоростник. Лошадиными дозами назначает антибиотики. Мол, скорей подымутся. Ему сию минуту подавай счастливый исход. Сколько ему твердила, нельзя ускорить роды, нельзя и задержать. Всё, когда скажет природа! Замахивается он вечно на быстрое лечение, да что-то на долгое сносит. От больших доз близко до беды. Пожалуйста, случай с вашей мамой... А послушай Святцева... Не для себя, для больных старается! Да, он их любит, но любовью диковатой. У него не хватает терпения по всем нормам поднять человека. Ему то ли некогда, то ли лень возиться с ним, и он наваливается на антибиотики, когда можно без них обойтись... Его *творемы* дорогонько обходятся кой-кому... Сейчас носится, как курица с яйцом, с идеей вечного двигателя в медицине. Ударила в голову фантазия изобрести универсальную таблетку ото всех болей человеческих...

Я слушал Зою Фёдоровну, наверное, до неприличия разинув рот.

Фантазия Святцева мне глянулась.

К ней Святцев пошёл от мысли отца медицины Гиппократа:

«Голод есть болезнь, ибо всё, что приносит человеку тягость, называется болезнью. Какое же лекарство от голода? Очевидно, то, что утоляет голод. Но это делает пища, поэтому в ней заключается лекарство».

Если голод есть болезнь, следовательно, болезнь есть голод какого-то органа. В этой-то лекарственной лепёшечке и должна быть *пища* для всех недугов.

Ты не знаешь, что у тебя болит. Ты принимаешь эту таблетку, и таблетка, действуя избирательно, сама находит твою болезнь, съедает её. Причем, расходуется лишь та часть таблетки, которая предназначалась именно недугу, а всё остальное в таблетке, невостребованное, чтобы не навредить, не растворяется и само собой уходит из тебя целеньким, словно нечаянно проглоченная вишнёвая косточка.

Святцев спал и видел свою всемогущую таблетку.

Фантазия уже до того закружила его, что говорил он о своих мечтаниях как о чём-то сбывшемся. Торжественно проводим последнего больного и закрываем больницы! Не нужны! Прихлопнем мединституты – на врачей нет спроса!

Святцевские прожекты коробили Зою Фёдоровну.

Может, через сто-двести лет врач и выйдет в тираж. Но вот сейчас трещать? И кто трещит... Ему ли, терапевту, толком не знающему, как и держать скальпель, было оперировать Катю Силаеву? Чем кончилось? Завтра похороны... А не лез бы *скоростничок* – я сам, я быстрее! – жила б ещё, гляди, Катя. Хирург же рядом был, только позови.

Райздрав мёртво вцепился Святцеву в горло.

– С его характером нельзя практиковать, – вполголоса молвила Зоя Фёдоровна. – Я так прямо и написала в облздрав Виринее Гордеевне, замше. Вы у неё были, поделом шерстили Святцева. Уж союзом-то мы обязательно свалим этого горячего друга-скоростника.

– И вы не очень-то, как погляжу, любите Святцева?

– Я-то как раз, дурочка, и люблю. Иначе была б я ему женой?

Я так и присел.

– Вы – жена Святцева?!

– Я – жена Святцева, – с ласковым достоинством ответила Зоя Фёдоровна. – И потому хочу выпихнуть его из практиков. Для его же пользы... Он с красной корочкой выскочил из института. Оставляли в аспирантуре. Сам набился в село. В глубинку... Пускай откатывается в аспирантуру и химичит на мышах, на кроликах. Пускай опытничают, пускай колдует над новыми препаратами. Там он на своём месте. А здесь заедает чужой век.

– Я что-то не пойму... Если вы жена Святцева... Как же?.. Он в Гнилуше, вы в Ольшанке?

– А! Разругались из-за его дурацкого скоростного лечения, и я ушла на пустовавшее место в Ольшанке. Сняла комнатку и живу...

Зою Фёдоровну мягко перебил короткий, полный, как мешок, весёлоглазый шофёр.

– Зоя Фёдоровна, – шумнул он, – можно, пока вы поговорите, я к знакомым ребятам на почте наведаюсь?

– О чём речи! Виктор Петрович! – и разрешительно кивнула.

Машина двинулась.

Зоя Фёдоровна запоздало взглянула на часы. Смешалась.

– Что же я наделала? Зачем отпустила? Через двадцать минут в «Клубе путешественников» отец выступает!

– Посмотрите у нас. А пока до телевизора есть время, согреетесь с дороги стаканом чая.

От чая она отказалась, и, едва вошли мы в дом, прилипла к рамке с нашими карточками на стене.

Мама толкнула меня в локоть, взглядом велела отойти в угол.

Я отошёл.

– Ты, – в панике зашептала она, – чего намолотив про телевизор? Яке там смотренье? Вин у нас, чёртяка, года три вжэ на пензии! Ничо не показуе, ничо не росказуе!

Я неверяще улыбнулся.

Мама осерчала:

– Кажу ж, не робэ!

– Да ну почему не работает? Чего тогда стоит? – Я с огнём ткнул в телевизор – горкой торчал на громоздком отёрханном радиоприёмнике. – Радиоприемник не работает. Телевизор не работает. На что держать?

– А ты Глебку спытай. Грошей на починку ему жалко. По-

купать новый ще жалкишь! Ото и настоновыв однэ на од-
нэ. Для шикозного виду. Одна тилькы и слава, шо сыто жи-
вэмо... А... Я б и сама колы подывылась...

– Поклевали б носом перед телевизором, – уточнил я.

– А хоть и поклевать, так всё ж перед тильвизором. А то...

Мама виновато подошла к Зое Фёдоровне и покаянно
взмолилась:

– Зоя Вы наша Фёдоровна... Вы уж, пожалуйста, не дер-
жите на нас сердца. – С чужими мама говорила *по-городско-*
му, стараясь ясно произносить каждое слово. Это только со
своими она переламывала слова на хохлячий лад. – Он, –
качнулась в мою сторону, – сманул Вас смотреть, а Вы ж у
нас ничего не высмотрите. Наш тельвизор уже три года ба-
стует, ничего не хочет показывать.

Крутой румянец поджёт тугие щёки у Зои Фёдоровны.

– Как же?... – совсем сникла она. – Отец не каждый день
выступает по московскому телевидению... Что придумать?

– Что в наших скромных силах, – играя голосом и с ри-
совкой включая телевизор, ответил я. Повело хвастунишку
на кокетство.

Мама язвительно глянула на меня.

– От так я! Герой! Нажав на кнопку... А кто показуваты
будэ?

Тут засветился экран.

– Ты дывысь! – Мама в печальном озарении сложила руки
на груди. – Як зломався, Глеб, наш Комиссар, его и не тро-

гав. Разве в праздник колы нажмэ на усякий случай. Нажмэ, посмотрэ на тэмно стекло та и пьяным кулачиной трах по верху... Нам три года нипочём не хотив показуваты! А тучки тоби подай гостям гостинчик! О! Он и дядько в пусти ворота не попав... Сам вскочив...

Показывали футбол.

Несколько секунд мама с нарастающим недоверием всматривалась в экран и в растерянности отшатнулась.

– Та чи вин сказывся! – отстранённо подумала вслух. – Був простой... Невжель с довгой мовчанки став соображаты по-цветному? Не-е... Цэ дило трэба розжуваты...

2

«Клуб» был про Алтай.

Во весь час в доме рокотал мелодичный спиридоновский басок. Фёдор Михайлович, молодой профессор биологии, рассказывал об алтайской природе.

Мама напряжённо уставилась в экран и размышляла своё, убравшись в свои хлопоты.

Это я видел по её лицу.

Я наблюдал за нею краешком глаза. Она никак не могла приставить ума, как же это так крутнулось, что молчавший три года кряду чёрно-белый телевизор вдруг пошёл показывать в цвете. Может, пока отлёживалась в Ольшанке, купили новый?

Она тихонько подалась вперёд, трудно прошлась глазами по названию. Собрала буквы в кучу. В слово. Вышла старая марка *Темп*. Это и вовсе спутало её...

Зоя Фёдоровна, сидевшая между мной и мамой с Людой на коленях, светила вся умилительным восторгом. Счастливей ребёнка я не видел.

Что до меня, лучше бы я вообще ничего не знал об этой передаче! Я готов был вскочить и уйти, но почему-то было неудобно перед Зоей Фёдоровной и я, ёрзая нетерпяче на стуле, будто подо мной раскладывали костёр, ждал конца.

...Нынешним летом уже по заданию одного московского журнала я был у Спиридонова. Заслан в набор, по мнению редактора, мой роскошный очерк о нём. О Спиридонове.

Я влюбился в Спиридонова с первой минуты, как девочка. Кажется, не в назойливость был ему и я. Потому те две недели, проведенные вместе в экспедиции по Горному Алтаю, радостью легли мне на душу.

Может, Фёдор никогда и не завернул бы в науку, если бы...

Он работал помощником лесника. Собирал травы для вечно болеющего старика соседа, готовил отвары, настои, чай.

Фёдор заочно учился на втором курсе лесного института, когда его укусил энцефалитный клещ. Заболел кожевниковской эпилепсией.

«Живица кедра заживляет раны и дерева и человека, – слышу я Фёдора не с экрана, я слышу его голос у далёкого вечернего костерка на берегу беспокойной Би. – Человек и высшие растения имеют в общем-то одинаковых возбудителей заболеваний – бактерицидных вирусов. На уровне клетки организмы человека и растений близки. Те же биохимические реакции, те же обменные процессы... Напрашивается мысль, а не пригодятся ли лекарства, *приготовленные* растениями для борьбы с возбудителями своих болезней, и для борьбы с болезнями человека?»

На два года Фёдор взял академический отпуск.

По книжкам, а больше по рассказам травниц изучал лечебные свойства нужных ему растений, в поисках которых излазил все горы.

И беда откатилась.

По горькой иронии судьбы болезнь сделала его учёным.

Необходимость заниматься травами переросла в потребность, в которой было всё: и восторг перед магией травы, и благодарность ей за исцеление, и долг, обязанность, если хотите, вступить за траву в невидимой и вечной схватке с невежеством, и горячее желание сказать своё слово о богатырской, несвалимой силе травы.

В походах Фёдор составил гербарий из одной тысячи восьмисот видов растений. Описал две тыщи растений, половину из них разнёс по болезням.

При таком багаже не грех появиться на учёном миру. С отличием кончил институт. Защитился. На травах въехал в кандидаты...

Когда Фёдор узнал, что при смерти Шукшин, Фёдор всканителился лететь в Москву со своими травками.

Сразу Фёдору отпуск не дали. Всё с завтра да с завтра.

Опоздал Фёдор.

Судьба только и позволила, что прошёл за гробом громкого земляка и без речей положил на оседающий холмок ветку калины красной с Родины.

– А будь, – спросил я тогда у костерка, – а живи ваш тёзка Достоевский в наши дни, взялись бы его лечить?

– А что же нет? Укатал в себе эпилепсию, да посмотрю на его?

В той экспедиции мы тесно сошлись.

Так много говорил о себе каждый, что, казалось, ничего нельзя было утаить при нашей отпетой откровенности. Однако, выходит, воистину человеку язык дан на то, чтобы скрывать свои мысли...

Я хмуро взглядываю на теле-Спиридонова и теряюсь в догадках. Вот тебе и дар души!³²⁸

Если это *тот* Спиридонов, так почему он мне ничего не сказал про свою ряжскую эпопею?

Конечно, всякому встречному-поперечному не след распространяться. Но я, я-то!

Я-то, в конце концов, имел какое-то к ней отношение. Не мне ли он слал благодарность? Не меня ли звал в посажёные отцы?

Что же после, через четверть века, в экспедиции он даже и не заикнулся про Ряжск?

А может, это совсем разные Спиридоновы? В самом деле, Ряжск, московская околица, эвона где. Если *этот* Спиридонов ряжский, то как попал на Алтай?

Я спросил про то Зою Фёдоровну. Она ответила:

– А просто. Распределили туда после лесного техникума.

Так почему он тогда молчал?

³²⁸ **Свиридон, Спиридон** (в переводе с латинского) – любимый, дорогой; буквально: дар души.

В лицо, конечно, мы никогда не знали друг друга.

В Ряжске...

Тех нескольких мгновений, пока он на велосипеде проезжал мимо, мне не хватило, чтоб запомнить его лицо, тем более я видел его с гостиничного балкона лишь сверху и сбоку.

Я спокойно могу сказать, что в Ряжске давнем мы не виделись.

Но фамилия, фамилия-то моя наверняка могла что-нибудь сказать ему при встрече в экспедиции?!

Однако...

А почему это моя фамилия должна ему что-то сказать?

А его фамилия мне ничего не могла сказать?

Могла. Так не сказала же! Не могу я упомнить всех, о ком когда-то писал. Не мог, ясно, не забыть за давностью и он мою фамилию. Мог вообще забыть ряжскую историю.

Всё возможно.

И потом, укорно думается мне, сделал доброе дело, что ж о нём звонить? И охота ли ему лишний раз походя кидать соль на свою старую рану?

Постепенно к концу «клуба» обида во мне ломается, расцасывается, и мы дружески расстаёмся с детски ликующей Зоей Фёдоровной у вовремя вернувшейся за нею машины.

– Ну, вот бабка и дома! – опускается мама на свою койку у жарко разгоравшейся печки. – Даже не верится...

– Бабушка, – ластится к маме Люда, – а Вы больше не

будете болеть?

– Не буду, говорунчик мой... – И с детьми мама говорит по-городскому.

Люда выворачивает из кармана липкий комок пирожного.

– Это Вам со вчера, – подаёт маме, – с моей деньжошки...

Не болейте, – жалобно просит внука. – Подправляйтесь...

– А куда, Людушка, деваться? Пойду поправляться... Это ты мне вроде подарок принесла?

– Эха-а...

– Вот спасибо, вот спасибо... Есть кому об бабке позаботиться!

Мама отщипывает от пирожного ломтик, ест, закрыв глаза и качая головой:

– Вку-у-усно!

Девочка розовеет от восторга и победно смотрит на меня: ага! Я подарила, а Вы не подарили! Я подарила, а Вы не подарили!

Ну, думаю, раз повело на подарки, так у меня тоже кое-что припасено. И достаю из портфеля полиэтиленовый мешочек с травками.

– Эти травки, ма, мне дал, между прочим, отец Зои Фёдоровны... Вот по телевизору на него смотрели... Во-он откуда приехала Вам подмога...

Мама не знает, что и сказать, хлопает усталыми глазами. Вишь, с кем сын водит знакомство? С отцом самой Зои Фёдоровны!

Я читаю её мысли на расстоянии и согласно киваю. Да, да.
С отцом самой Зои Фёдоровны!

Люде неинтересно, кто и что с кем водит.

Она следит, как я закрываю потихоньку портфель, и, тыча в него пальчиком, таинственно шепчет:

– Бабушка! А портфельик зажмуривается... И тут же: – Бабушка! А моя кукла потеряла бантик... И лопаточку я свою разломала...

– Ничего, не горюй. Будет тебе и бантик, будет и новая лопатушка.

Девочка довольна.

На радостях распахивает альбом.

Показывает маме свои рисунки.

– Тут Вы... И тут Вы... Везде Вы... Я повсе дни Вас рисовала, покудушки Вы болели...

– А почему я у тебя на всех картинках выше дома?

– Вы... – смутилась девочка, – хорошая... молодая...

– Э-э, Людаш... Я сама стара... То только вид молодой...

3

Мама прилегла на свою койку у печки. Подобрала под себя ноги.

Потрогал я лоб – горячий. Спросил, не болит ли голова.

– А шо ей делать? – мама скептически махнула рукой. – Нехай болит. Я ось шо думаю... Чого люди гибнут? Чем дышим, шо йимо? Конхветы, шиколанды, печенья... А люды негожие. У нас, було, ведро картохи – картоха рассыпчатая, як песок, – за раз ведро картохи в мундирах зыдалы... Перевернём сковороду, як колесо, – одни шкарлупки... А вси здорови. А вси сильные булы. Шо трэба йсты, шоб швыдче бигать?

– Выпили б мумиё, – предлагаю.

– Да ну... Дай передохну от лекарствий. Подожди... Зараз Глеб придёт, – несмелая улыбка шатнулась в глазах, – а то помру и Глеб не побаче... О! – показала на окно. – Быстрый на помин!

Я посмотрел в окно.

В окне посмеивался Глеб с двумя сумками через плечо.

Секунду отпустя он вошёл и, не снимая сумок, коротко поклонился маме с улыбкой:

– Ну, как, ма, лежится на новом месте?

– Мякше, сынок.

– Ну слава Богу!

– А я дывлюсь на часы та думаю, пора вжэ с вахты явиться нашему Топтыгину. А его всё нема та нема. Не украли его там жинки?

– Не волнуйтесь, ма. Товар я недорогой. На тропинке буду лежать – переступят, а не подымут! – весело пожаловался Глеб и уже строже продолжал: – Я, чтоб лишнего круга не делать, со смены да за покупками. Хлеба надо, крупы надо... По случаю Вашего приезда бутылёчек умильной не надо? Тоже надо! Правда, в отделе «Соки-водки» я слегка ографинился... Оприходовал стаканчик валерьянки за Ваше выздоровление. Понравилось. Прошу бутылёк завернуть домой – на вынос сорокаградусной валерьянки нет. Пришлось взять звездинского.³²⁹

– Пьёте коньяки? – деланно удивился я.

– А что? – вальяжно щурится Глеб. – Или мы много получаем? Или мы мало кому должны?.. Нагрузился я, как середняк... Мешок на груди, мешок на спине. А между мешками, посредине – се-ред-ня-чок! Нагрузился середняк, еле дотащил. Как Вы, ма, эти сумяки только и таскаете?.. Да! В хлебном нос к носу столкнулся с лучшим другом. С самим Святцевым! То обегал меня сотой дорогой. А то первый поздоровался. Что-то в лесу сдохло! Поздоровался и спрашивает, как мама. В другой раз я б ему промеж глаз молнию пустил. А тут, раз такое галантерейное обхождение, раз на культуру занесло, я ему на его культуру отвечаю так же куль-

³²⁹ **Звездинский** – коньяк 5 звёздочек.

турно. Дня три назад, говорю, брат был в Ольшанке, рассказывал, сердце работает не совсем как надо, шум в ушах бывает, однако посулились сегодня выписать. Святцев и доложи: сегодня выписали, должно быть, уже привезли. Может, говорит, есть резон привести ко мне. Что-нибудь выпишу на время адаптации. Больница, лекарства и вдруг ничего, никакой поддержки. Такие резкие перепады для старых людей нежелательны. Поспасибствуй я и проямли что-то вроде того, что, может, и приведу.

– Не-е! – со спокойной твёрдой решимостью возразила мама. – Ни к якому Святцеву ты мэнэ, хлопче, и на налыгаче не затянешь. То ты миг мэнэ повести под руки, поky я не мала сил даже минуту яку выстоять на ногах. А теперечки я тако крепко упрусь, шо ты мене не сдвинешь к Святцеву. Да вин гяне – не знаешь, чи лечить будэ, чи ще шо. Чем к Святцеву, уж налучше пить цю мумию.

Глазами мама повела на пузырьрёк с темно-коричневым порошком на столе.

– Не мумия, а мумиё, – поправил я.

Глеб взял пузырьрёк, болезненно посмотрел его на свет.

– А я бы не советовал пить эту мумию, – посмеивается надвое. – Напьёшься – точно сам станешь мумией.

– Да ты хоть слыхал, что это такое? – накатываюсь я на Глеба.

– Звон большой идёт... А... Его ещё не то горным воском, не то горной слезой называют... Нет, ма, Вы не пейте. И я

пока не буду. Сначала пускай он сам выпьет, а мы посмотрим на результат. И тогда... А то, может, натолок чёрных листиков и – мумиё!

Это меня заскребло.

Неужели я мог везти Бог знает что! Правда, я и сам толком не знаю, что за зверь это мумиё, какое оно на самом деле. Но уж если профессор даёт и говорит, что даёт мумиё, так я и верю профессору.

Я бросаю в стакан порошка, сколько зачерпнулось на кончике спички.

Жду, когда растворится.

Мама с опаской смотрит то на меня, то на Глеба.

– Хлопцы! – в панике просит она. – Та бросьте вы эту крутаницу! Не пей! – машет мне. – И шо ты там такэ наводишь?.. Давайте зробымо так. Напоим попервах петуха. Забастуе... Отвёрнем голову та в борщ! И пить сами ничо не будем.

Предложение её ещё больней подкусило меня.

Я стал лихорадочно взбалтывать, стараясь поскорей разнять водой последние крупинушки, и, дождавшись, когда на дне не осталось ни одной малой чернинки, разом выпил.

Мама охнула. С горьким упрёком, потерянно сронила:

– Или у тебя разум, как стекло, чистый?

– Это он душу промочил, – хохотнул Глеб. – Аппетит к обеду собирает.

За обедом Глеб наливает маме, Люде, мне ситра, себе ко-

ньяка.

– Природа не терпит пустоты, – подмигивает. – Надо заполнять.

– Ты б не трогал вина, – посоветовала мама. – Оставь на проводины.

– Ма! Вы меня оскорбляете! – На полкомнаты разнёс Глеб руки. – Да неужели мы не найдём чем выпроводить? Найдётся и с лихвой. Что ждать проводов! Надо, мам, жить *сегодня*. Жизнь нам дана во благо. Надо спешить здесь. А там не нальют, сколько ни подставляй. Вы вернулись... Разве грех выкушать за Ваше здоровье? Я ведь сегодня и не буду уж шибко разбегаться. Так, для приличия всего один стакашек пригну и ша. На боковую.

– А Вас, – поддела Люда, – не придётся до койки катить, а потом по гладильной доске вскатывать на постелю, как папку?

– Не переживай, малышок. Меня одним пузырьрёчком, – подолбил ногтем по нарядной бутылке с коньяком, – не свалишь! – Он замолчал, будто споткнулся. – А... Вообще-то надо бы докопать в огородчике, покуда мороз не ужарил.

– Тогда не пей, – ожила мама. – А то в работу не сгодишься.

– Там той работы... В полчаса впихнёшь...

Глеб оценочно покосился на меня, задержал на мне медленные глаза. Хмыкнул.

– Ма! Да наш москвичок начинает синеть, и усы опусти-

лись. От мумиё. – И мне: – Думаешь, то ли жив буду, то ли нет... Жене прощальное письмо написал бы, что ли... Завещаньице там... Чего не ешь?

– После мумиё надо немного подождать.

– Ну жди, жди. Дождёшься – улетит курятинка!

Мама потихоньку ест свекольный салат, как-то вслух про себя говорит, словно оправдываясь:

– А мне мясо низзя, а зым – сердце по рёбрах бух! бух!! бух!!!

– А мне можно! – выкрикивает Люда, уцеливаясь вилкой в кусок потяжелей.

– Ну, тебе по штату положено, – отзывается Глеб. – Ты у нас невеста. Жених ещё не сбежал?

– Неа...

– А за что ты любишь своего Женьку? – допытывается Глеб.

– Он маленький, худой... И конфеты мне давал...

Девочка прислоняется к маме.

– Бабушка... – шепчет. – У меня левый глазик ленивый, не хочет видеть. Я закрою правый, сама смотрю левым, а нос от меня убегает...

Мама молча сажает девочку к себе на колени и гладит её по руке.

После обеда мы долго не расходимся.

Тихий разговор о житье-бытье держит всех нас вместе не

до сумерек ли.

Нет-нет да и завернёт Глеб к мумиё. Подколет:

– Я ждал... Вот-вот начнёшь зевать от этого своего... Да разве дожждаться? Один уговорил почти целую сковороду курятины с луком! Мужественный товарищ! Все великие свои новые препараты испытывали на себе.

Мумиё всё больше, плотней занимает маму.

Наконец, перекрестившись, на разведку принимает глоток золотистой влаги.

– Во рту холодит, як мята... А приятное... – Отщипнула хлеба. – Бачишь, похлебала твоего лекарства – прибежал аппетит в гости. Хорóша мумия...

Впервые за все эти дни я вижу на её лице улыбку. Светлую, кроткую. Казалось, мама пробовала, *училась* улыбаться.

– Ну что ж, спасибо этому дому, побежим к другому, – вставая и смахивая с коленей крошки на ладонь да в рот, с протяжным вздохом проговорил Глеб. – Как с Вами ни хорошо, – наклонившись, он глянул в окно, на огород, – а где вчера воткнул лопату, так там досе и ни с места. Не копает сама. Стоит нахалюня. Ждёт!

Глеб вышел.

4

Мама прилегла.

А чем мне заняться?

Хлеб есть, свёклы кабану натёр, мешанка курам готова, воды натаскал... Чёрт, всё поделано!

Однако не сидеть же скрестивши лапки на пупке.

Неловко перед мамой.

Внимательней посмотри вокруг. В деревенском доме да не найти за что зацепиться? Ага, те же мыши. Надо к хулиганкам наведаться.

Я сказал маме, что пойду в сарай гляну, не попискивает ли уже там мой свежий законный рубляшик.

Мама принахмурила брови. Не понимаю!

Люда спросила:

– А там у Вас клад?

– Почти. Я, ма, заключил с Глебом договор. За каждую пойманную мышку он мне платит рубль. Я уже две красненькие³³⁰ выработал.

– Бедно у тебя в кассе, бедно, – попеняла мама. – Их у нас развелось, гляди, уши пообъедают. Трэба крепко за них взятысь. А то до того поразъелись – и дома, и в сарае пеше ходють!

– Ничего. Я эти светские променады прихлопну.

³³⁰ **Красненькая** – десятирублёвая купюра.

Пообещал я это, и у меня сама собой отвисает нижняя челюсть.

В окно я вижу: из сарая на пуле вылетает какая-то чёрная кошка с мышеловкой на передней лапе и с дикими воплями проносится мимо дома.

Я из кухоньки к окну в большой комнате.

Кошка чёрно перехлестнула дорогу и меж голых, стылых акаций и лип кинулась куда-то в овраг, вплотную подступавший к посадке.

Хоть смейся, хоть плачь.

Видимо, чернушке лень ловить мышей. А может, они ей надоели. И она уже не охотится за ними, предпочитает разговляться-лакомиться колбасой из мышеловки.

Иногда в таких случаях справедливость ещё напоминает о себе. Всяко ремесло честно кроме воровства! Даже если ты крадёшь у воришки. Те же кошки платят тем, что капканы безбожно мнут им усы.

Эта налётчица, похоже, уже учёная.

Завидев колбасу, не схватила её сразу, а тихонько, наверное, попробовала снять лапой и своей хитростью вскочила в беду. Не всё Котофеевне Масленица. Живёт и Великий пост!

Я представляю, как видевшие плутовкино несчастье мыши катаются сейчас со смеху где-нибудь в бочке с зерном на погребнице.

Мда-а... Мышкам игрушки, а кошке слёзки...

Из-за неё в прогаре и я.

Бог весть куда умотает мышеловку. Поневоле прикроешь
столь пышно цветущий трест по ловле дармовых капиталов.
К моей законной двадцаточке больше не прирастёт ни один
весёлый грошик...

Уже при огнях вернулся с огорода Глеб. Горячий, в поту. Жаром несло от него.

Разуваясь у порога, широко сверкнул маме радостной улыбкой.

– Ну что, бабушка, лежите? Может, разомнёте косточки? Сходим в гости к Святцеву? Звал же!

– Иди ты! – разом обеими руками махнула на него мама, словно оттолкнула его слова. – Нашёл к кому... Всё-таки, хлопцы, врачи в районе у нас... По две стулочки позахвачувалы, сидять на часики поглядуют, шоб додому скоришь. А ты хучь отмирай...

На два растопыренных пальца Глеб поперёк кладёт ещё два растопырика.

– Ты мне тюрьму не показуй, – снова отмахивается мама. – Шо е, то и кажу. В Ольшанке вон Зоя Хвёдоровна – як будто тёплыми руками здоровья подаёт. Пока её нету, все места себе не находят. Заждались!.. И сёстры скрозь разные. Одна делает укол... Навроде комарик сел отдохнуть. И обращение... Потрёт и не услышишь, как укол тебе отдала. А другая... Все от страха зеленеют. Кольнёт – як финкой садыкнёт!.. Всю правду рассказала, як размазала...

Помолчав, мама с добродушной иронией в голосе говорит Глебу:

– Хотела пойти, да лень не даёт встать... План был посмотреть, як ты там качаисси... Копаешь ли, не умер ли на лопате...

Хмыкнув, Глеб в одних носках идёт из передней, из кухоньки, в бóльшую комнату, тихо ворча:

– Что-то Вы сегодня расшутились...

– А тебе что, одному шутковать?

Мама с усилием подымается со своей койки у тёплой печки и следом за Глебом медленно входит в комнату, шурясь на ярком свету: от него отвыкли уже глаза в больничной палате. Как-то поражённо пялится на простенький во всю стену ковёр туркменской работы, спохватывается, обращаясь ко мне:

– Сынок! Хвалилась, хвалилась я тебе обновками, а про самую главную обновку забула. О! – показывает на ковёр. – Вся стенка одёрнута. Угадай, сколько отдали?

– Сот пять?

– Выще бери! – нетерпеливо выпаливает. – Семь! Тута брали... Хватит лохмоты вешать. Стенка... Какая там стенка? Так, названьё одно... Между досками насыпали из кочегарки шлака – и вся тебе ото стенка!.. Стенка под ковромдохлая, сырая, в щелях... Так мы под ковёр подбили стари одеяла. Отодвинули от ковра сервант. Тамочки должен ходить свежий воздух. Господин Ковёр должен дышать. А как сервант, сатаняка, стоял плотно, плохо було большому ковр-ру.

– Ну, Вы, ма, – с мягким, ласковым укором перебил

Глеб, – не всё выкладывайте. Чего это ковру Вашему плохо? Может, ещё скажете, нам здесь с Вами плохо?

Гордовато-звероватым взглядом он окидывает комнату, снисходительно улыбается. Кажется, ему здесь всё мило, у души лежит. У других войдёшь – можешь и цыганского ковра не найти, а тут тебе все стены, весь пол одёрнуты дорожками коврами!

Глеб блаженно распохаживает в одних носках по стылому ковру. Пол худой, совсем разохся, пудами пропускает холод. Из-под ковров стужа так и садит. Надо бы поменять пол. Да как менять? Дом не свой. Заводская эта гнилая шлаковая аварийная засыпушка, может, добирает последние деньки. Два десятка лет сулятся дать в новостройке.

Вижу, холод поджигает Глебовы ступни. Но Глеб ершит-ся, хорохорится – нам ли мёрзнуть! – и в упоении тяжело упирается при ходьбе ногами в проседающий под ним пол, усиливая дорогой звон в серванте.

– Слышите?! – восторженно вываливает Глеб маме. – Какой же Вам сервант – сатана?! Это ж надо так понимать хозяина!

В самом деле. Ходит ли мама в этой комнате, хожу ли я – сервант молчит. А вот Глеб пойдя, так половицы под его тушей начнут гнуться, и тоскливый хрусталь, тесно стоящий в серванте, принимается тонко, заискивающе вызванивать.

Собака всегда сразу узнаёт хозяина и как может пылко выражает ему свою радость от встречи с ним, облизывая ему

руки, лицо. Неужели и хрусталь тоже узнаёт своего хозяина и тоже радуется ему, но – дрожа и скуля?

Глеб не надышится на свои ковры, на сервант с дешёвеньким хрусталём, на все три этажа культуры, как он окрестил тумбочку с установленными на ней радиоприемником и телевизором.

Тумбочка – первый этаж культуры – забита ветхими, полусопрелыми учебниками и конспектами Глеба. Дотолкался Глебушка лишь до третьего курса сельского института и бросил грызть гранит наук. То ли зубы повитерлись, то ли лень парализовала.

Печальные достоинства остальных *этажей* уже известны.

– Главное, – назидательно, с усмешкой выпевает Глеб, – красивый отделать фасад. Красиво жить не запретишь. Как видишь, – сановито повёл вокруг рукой, – фасад у нас недурён. По крайней мерке не хуже чем у других...

– А под коврами, – вкрадчиво уточняю я, – гнилые стены и пол; давно молчат телевизор и радиоприемник, плесень на книжках... Какая ж в этом фасаде красота? И за фасадом-то что? Ну, пришёл человек в гости. Потянуло, зажёгся включить весёлую технику. Да радио не желает разговаривать, только простуженно хрипит. Телевизор не желает показывать. Ничего не работает...

– И не надь! – пальнул Глеб.

– Будя, паря! Что ты терпужишь? – осаживаю я Глеба.

– Что есть... Отошли времена, когда люди шастали по го-

стям. Ты ко многим бегаешь чай гонять? У тебя многие бывают? А мы, дярэвня, чем хуже столицы? У нас тоже гость не засидится. У нас тоже посиделки протоколом не предусмотрены. Рабочему человеку что прежде всего надо? Спа-атеньки! Сон, он что богатство: чем больше спишь, тем больше хочется. Оно хоть и говорится, что сон не богатит, а что-то ничего милей и сильнее против сна не стал я видеть... Сперва хотел отремонтировать ящик, да... Надоела эта жвачка для глаз. Лучше лишний часок поспать...

– А ты ключи зараз, пока не уснул, – с лукавинкой подсказала мама.

Глеб безразлично нажал на клавишу.

Заслышав в теленедрах потрескивание, мёртво прислушался к нарастающим шумам.

– Выходит, телевизор работает, а ты жадничаешь включать?! – выпалил я нарочито оскорблённо.

Привалился Глеб опало к стене, молча хлопает изумлёнными глазами.

Показывали балет, больная мамина тема.

– Ты дывысь, ты дывысь, шо вытворяють! Биссовистни! Хиба цэ танции? Допрыгались... Обое боси. Вин без штанив, вона без тэплых рейтузив и гамашей, в одной марличке. Ани стыда ани совести...

– Ма, – тихо сронил Глеб, – и что б Вы понимали в балете?

– Шо и вси, – посветила слабой улыбкой мама. – Раз погано танцюють, я и кажу: погано танцюють. А соображенье в

тильвизоре чистэ. Ранишь хуже показував. То дождь, то туман, то сниг уроде метелички... А зараз чисто показуе.

Глеб сунулся к задней стенке телевизора. Присвистнул:

– Вот так концертино в нашем борделино! Без заявки! За чем было, братишечка, приволакивать эту новую жвачку?

– Для украшения фасада твоего. Чтоб быстрее засыпалось...

– Хитё-ёр бобёр! Марка та же, только в цвете... И дата хорошая, начало месяца. Поработает без дураков... Ишь, на тот же третий этаж вспёр... Я и не заметил... Ёрики-маморики! А брал, брал-то на какие тити-мити? – поднял он голос, потирая подушечкой большого пальца подушечки указательного и среднего.

– На твои. Которые аннексировал на вход в рай.

– А вообще жаль, – грустно сознался Глеб. – Я думал, достанешь мне дублёнку. Чтоб кожа естественная... Чтоб мех естественный... Цвет чтоб чёрный... Размер пятьдесят шестой... Я б в долгу не остался. С полсотняги кинул бы на конфеты... А ты до копейки всё ухайдокал на эту цветную мудозвонь.

– Чудильник! За модой гонишься? На что тебе дублёнка? Северяне носят... Понятно, холода. А тут? Укрываться поверх одеяла?

Глава восемнадцатая

*Что отдал – с тобой пребудет,
Что не отдал – потерял.*

Шота Руставели.

Конец всему делу корень.

1

На похороны Кати Силаевой директор выделил машину.

Однако Глеб, месткомовский воевода, запротестовал, жестоко вскинулся против машины, твердя, что это не дело, варварство это провожать человека на кладбище на машине.

– Конечно, – первым поддержал Глеба Здоровцев, втайне надеясь, что сегодня на месткоме Глеб в ответ обязательно потянет его руку, и тогда заварушка с бидоном украденного на заводе масла наверняка сойдёт ему, Здоровцеву, мирно, без крови, – конечно, надо бы отнести на руках... Честь по чести... Была б даль какая... А то ту даль до Трёх Тополей в полкилометра впихнёшь.

От нашего дома кладбище, всё затянутое сиренью (как хоронить – неминуче сирень рубить), было ещё ближе. По его краям с трёх сторон росли видимые отовсюду три могучих старых тополя. Эти тополя были чем-то значительно бóльшим, нежели просто деревья, они имели какую-то сверхмогучую, сверхъестественную силу, какую-то необъяснимую власть над Гнилушей, отчего я никогда не слыхал, чтоб в Гнилуше кладбище называли кладбищем. У нас не говорили: понесли на кладбище, а непременно: понесли под Три Тополя. Не скажут: похоронили, а обязательно: отнесли под Три Тополя.

Дорога к кладбищу ломалась в дугу у наших окон.

У тюлевой занавески мама поджидала, караулила похороны, и, когда они уже миновали наш дом, вышла, крестясь.

Четверо мужиков несли гроб.

Двое впереди, двое сзади.

Впереди шли Глеб и Здоровцев.

И вторая пара мужиков была такая же рослая и крепкая, как и первая, так что мама, глянув из придорожной канавы на гроб, не увидела лица покойницы.

Следом за гробом одиноко и мелко покачивалась маленькая, простоволосая баба Настя, в фуфайке, в сбитом на плечи тяжёлом сером платке.

Мама называла бабу Настю по отчеству – Кузьминична.

Усталая Кузьминична жалконько причитала:

*Отлетела наша чистая ли горличка,
Отлетела щebetунья наша птичечка,
Что ко Господу ли Богу ее душенька,
К милосливому Иисусу на живленье,
Во его врата святые во спасенье!
Ты простилась со любимой своей горенкой,
Ты со мной ли, со родимой своей матушкой...
Ты великое мне горюшко да сдияла,
Вон из телушка мою ты душу выняла...*

Перетирая последние слухи и порядочно отстав от Кузьминичны, осоловело брела пчелино гудевшая жиденья кучка заводских.

Мама засемила по удобному желобку высушенной за
ночь морозом канавы, липко вслушивалась в Кузьминичну.

*Красно солнышко мое закатилося...
Ясны звездочки за облачки тулятся,
Громы-молнии на небе разряжаются;
На могилушке-то матушка убивается,
Она горькими слезьми что заливается!..
Не воротится что красное-то солнышко
Со киян-моря да после-то закатаушка,
Не вернуть и мне, горюше горе-горькоей,
Что своей ли ненаглядной дочи родной!
Буду я да на могилушку учащивать,
Буду zde-ка долго-подолгу угащивать:
Я по дитятке творить ли поминание,
Для ее ли душеньки во вечное спасение.
А подруженькам твоим раздам я покруты,
Раструбисты сарафаны шелком вышиты,
Чтоб они за твою душеньку молилися,
Чтобы свечи в болтаре тебе теплилися;
Чтоб ходили на могилушку частешенько
Ранней порушкой, что утрьшиком ранешенько;
Чтобы все тебя подруженьки не забывали,
На беседаушках горюшу б вспоминали.
А меня пускай возьмет скорей смеретушка,
Без тебя мне жизнь не в жизнь, рожона детушка:
Уж я старая стала, совсем старешенька,
Во крестьянскую работу негоднешенька;
Мне бы презж тебя, белой лебедушки,*

*Что лежать да спать в дубовой ли колодушке:
Никому на свете я теперь не нужная,
Ни на што про што теперя и негодная!
А придет как мне-то скорая смеретушка,
Кто закроет мне-то тусклы мои очушки
Без тебя-то, дочи-то моей родимой,
Без тебя, рожоно дитяtko, любимой?..
Ох, уймись, уймись ли, сердце бедное,
Образумься ли, головушка победная;
Отвались от грудей, что тяжел свинец,
Дай закрыть глаза ты мне на белый свет!
Расстунись, развались, мать сыра земелюшка,
Дай мне место не сомножечко в своих недрушках!*

И чем дальше слушала Кузьминичну мама, тем всё ясней проступало на её лице недоумение.

Маме непонятно, почему Кузьминична голосит **это** сейчас, по пути на кладбище? Ведь **это** ж голосится уже **там**, у могилы. С горя всё перепутала?

И потом.

Чего жиличку родной дочкой навеличивать?

Не хотелось маме выходить из гладкой удобной канавы на дорогу в застывших комьях грязи, но не утерпела, выбралась-таки глянуть, по ком это так убивается Кузьминична.

На тот момент, похоже, кто-то в задней паре споткнулся о мёрзлую кочку, да, слава Богу, не упал, удержался, только несколько подался вперёд, припадая, отчего изножье гро-

ба на какой-то миг осело, приспустилось, и того мига маме хватило увидеть посверх маленькой Кузьминичны и белые туфли, и белое платье, и белые хризантемы в каплях крови покойницы, и лицо самой покойницы с остановившимся на нём выражением укора.

Лицо покойницы поразило маму.

«Да цэ молодой Глеб!» – прожгла её мысль.

На весь дух обежала кружком равнодушно гудевший людской табунок, упалённо наставила глаза на прямую, сильную спину Глеба с гробом на плече.

Это её успокоило.

Её Глеб живой.

Вот он вот ступает попереди всех, живой, неповреждённый...

Живой?

А может, то тень его несёт гроб?

Она гонит от себя глупые мысли, и в то же время её тянет за язык окликнуть Глеба, удостовериться, что он и в самом деле живой, идёт под гробом.

Она несмело зовёт сына, и сама же стыдится своего смятого, тихого голоса.

Глеб, конечно, не слышит её, не поворачивается на зов. Как шёл, так и идёт, не обходя ни глыбы комьев земли, ни блюдца луж, на которые мороз положил толстые ледяные стёкла.

Но она не решается вместе со всеми идти за гробом. Бо-

ится поднять голову, боится увидеть укор и на лице Глеба.

За все свои долгие годы мама не встречала человека, чтобы так крепко, как пара глаз, был похож на её Глеба в молодости.

Кто эта девушка? Почему у неё Глебово лицо? Почему Кузьминична причитает над ней, как над родной дочкой?

Мама остановилась на обочине, отстранённо выждала, пока не прошли все, и устало, будто выпала из сил, побрела назад к дому.

Дом наш стоит у дороги на кладбище. Не было ещё такого, чтобы мама не пристала к похоронам проводить будь кого до самого свежего могильного холмика.

А тут вот впервые возьми и вернись, твёрдо решив расспросить про всё у Кузьминичны.

2

Возвращалась Кузьминична одиноко и, пожалуй, последней.

Мама зазвала её, навела чаю, подала блюдечко.

– Кузьминишна! Вы у нас чаёвница. Лизнить чайку с малинкой. Согрейтесь... Варенье свежее. Капнешь – капля пуговкой держится... Это надо! Безо время ночью якый морозяка хряпнул. Капуста железна до шестого листа!.. Ну не томите, рассказать, кого Вы тамочки ховалы?

Кузьминичне против сердца разговор без подхода, необстоятельный, несерьёзный. А потому она, утягивая горячий чай с блюдечка, сипло возражает:

– Владимирна, Вы прям сразу... Кого ховали, кого ховали... Кого ховали, тому уже чаю не поднесёшь.

Кузьминична надолго замолкает.

Мама не напоминает про себя, выжидательно посматривает на Кузьминичну.

Напившись чаю, Кузьминична неспешно расстёгивает плюшевую фуфайку. Сталкивает платок на плечи.

– Я, Владимирна, – разбито говорит Кузьминична, – к Вам привернула на совет... Вот мы с Вами кочерёжки давние. Выпали из годных. Гроб, гляди, за задом волочится... А Вы хоть подумали, когда последний раз были в церкви?

Мама покаянно молчит, вспоминая.

– Да колы... – тихо роняет. – Як ще мала була. Покойница мама водила за руку...

– Оно и я ещё тогда была, до кроволуции, кара те в руки... Я, – Кузьминична плотно придвинулась верхом к маме, – грешная вся. Надо просить у Бога прощения. Я, сухопарая сидидомица, про это вот только зараз и надумала, как шла от Катерины...

В подробностях рассказав о Кате, об обстоятельствах её гибели, старуха горько засокрушалась, что на похороны никто из Катиных не приехал.

– Я две телеграммы матери услала. Ваш Глеб, начальник похоронный, отбил целых три от месткомовской властёхи. А мать и не ответила, и не приехала. Полную неделю Глеб с дня на день откладывал похороны. А ну нагрянут! Не дождалась... Понесли... Тилипаюсь... Бреду я за Катей и мозгую, кто же она такая. Сирота? Так нет, при матери сирот не бывает. Не сирота? Так чего ж тогда здесь нету маточки?.. Надо б попричитать. А как? Как по сироте? Ни одного сиротского причитания я не знала, я и... Ей-пра, я и не хотела обвывать её как сиротку. Я и заголоси, как по взрослой дочери. Разве это не грех? Разве можно упокойнице врать? Как вот этот мой грех обозначить?

– Тут я Вам, Кузьминишна, не советчица... Не знаю...

– Да ну-ка б впервинку... Да ну-ка б этот грех один... А то покуда дошталась от Кати, понавспоминалось до вихря... Я в своей молодости, – сняла голос до шёпота, – ох и разгреш-

ница была... Парней соблазняла... Как такой грех в покаяние запишешь: от юности? В детстве ходила в церкву на Паску, ложила копеечку, а яичко восмятку брала. В голодовку взяла в колхозе без спросу сумочку проса...

Некоторое время старухи подавленно молчат.

– А вот это не грех? – вздыхает Кузьминична. – Ещё не закопали – стадом марахнули мужичары в красный уголок. Как же, поминки стынут! Водка стынет! Я не пошла на те поминки в красный уголок. Говорю: разве Катя свой век свековала в красном уголке? Пускай её выносили из мертвецкой, а я таки дома положила камень.³³¹ Катя жила у меня. У Кати был дом и устраивай поминки дома! А мужики: к тебе, Кузьминишна, далече. Мы за то, чтоб приблизить поминки к производству. Принял, размочил желудок и рви с огня, вкалывай! Им же главно упиться на пласт... Ну, принесли... В могиле воды по колено подо льдом. Ясно, вода наточилась. Ну сколь стояла ждала яма?! А яму даже на ночь нельзя рыть. Когда хоронить, в той день и копай. Глеб примчал из ближнего двора ведро на верёвке. На Глеба мужичьё дурноматом: гаси эти глупые нежности, трупу всё едино где преть! Глеб не послушался, сошвырнул ведро ребром на лёд. Лёд не рассёкся. Глеб и реши, лёд крепкий, может статься, до самого дна, и отступился, не стал колупать... Ну, опустили на чистый, как девья слёзынька, лёд, засыпали... Народ весь потёк назад. К

³³¹ По старинному обычаю, как только выносили покойника из избы, в передний угол клали – в качестве заместителя умершего – камень.

поминкам. Состались у могилки одни мы с Глебом. Подобрал Глеб всю свежую земельку на холмок, пустился лопаткой мягко обстукивать холмок – холмок и провались. Скоро с укорным шипеньем из могилы зацвиркала, запенилась межкомьев вода. Не захотела помирать... Что же, говорю Глебу, делать? Погладил он меня по руке, просит: идите, покиньте нас одних... Любил он Катю... Любила и Катя... Это я знаю. Сколь раз она во снах его звала. Звала уже и в больнице, как отходила... В крайнюю минуту чужого имени человек не скажет... Они друг дружке самим Богом дадены. С лица до чего подобрались... Брат да сестра!

Старинные товарки сиротливо переглянулись и, столкнувшись лицами, разом заплакали.

3

Сколько живёт мама в Гнилуше, столько и знается с Кузьминичной.

Приятельство это негромкое, не видное постороннему глазу, но обеим радостное.

У Кузьминичны сад. Кузьминична ждёт не дожждётся, когда дойдёт до дела садовина, и уже первые спелые грушочки, белые наливки обязательно принесёт в фартуке маме на пробу. Получив удовлетворительный ответ, примется таскать нашим садовину вёдрами. И будет носить, пока сад не опустеет.

Так уж слеплена Кузьминична. Все ближние дворы, у кого нет своих садов, будут с её яблоками до середины зимы. Всех оделит!

В отдарок мама носит Кузьминичне всё лучшее с огорода, носит вишни из предоконного палисадничка.

Приношения у старушек вроде повода повидаться. Соваться с пустом неудобно, а увидеться, поточить новостёнки аж горит как манит, вот они и носят одна одной угощения своей души.

Было недоразумением, если в какой день не встречались они.

И теперь, после долгой разлуки, они не могли наговориться, не могли вместе насидеться и наплакаться.

Они стесняются заикаться про то, что каждая ждала, до смерточки ждала другую, что соскучилась незнамо как.

Кузьминичну поджигает поведать, как она названивала Зое Фёдоровне в Ольшанку, как упрашивала:

«Вы не обижайте ж мою Владимирну. Делайте там что-нибудь... Лечите на́хорошо!»

И беда как зараволалась, когда ей наконец-то сказали:

«Она у нас уже ходит. Ей лекша».

Кузьминична молчит про свои звонки в Ольшанку.

Вспоминая про них, только улыбается как-то светло, достаёт из потайного кармана плюшки тёплое красное яблоко.

– Вы у нас, Владимирна, болющая... Берить...

– От спасибоки Вам, Кузьминишна, – с молитвенной благодарностью принимает мама гостинец. – Подай Вам Бог здоровычка!

– Куда он денется? Подаст! – согласно, не без иронии махнула Кузьминична рукой и поспешила подкатиться с расспросами: – Ну как там, в Ольшанке?

– Та як... Хброше! – похвально и простодушно выпалила мама. – Я скажу... Не надо пужаться Ольшанку. Як бы здесь Зинка не дала укол, гляди, в дороге и перекинулась. Укол дали, я чуть согрелась. Там с машины под руки свели... Шо ж то за хворь тогда ко мне присатанилась? Всю трепает... Замерзаю, а щёки – хоть прикурью! В Ольшанке, спасибо, откачали. Из самой смерти Зоя Хвёдоровна выдернула. От человек! Золота кусок! Без улыбки слова не скажет. Харак-

тер який! С народом як обходиться... С машини вылазит, никого нема – улыбається. Сама вся така... То вжэ така в чело- веке заправа, всегда така будэ. А то Святцев...

– А я вот, – жалуется Кузьминична, – ползаю к нему на уколы. От сердца... По науке прозваньє ему кардиолох... Лох или лух? Разбери... Одно слово, кардиолух... Уколы у него дуже болючие. Нельзя нахилиться... Болит сердце, прям горит. Другим разом грудь таки лёгкая, а башкатень болит... Давленьє сниженное.

– О! – радостно подхватывает мама. – А у мене тоже за- низженное. Оно хуже повышенного...

– Я пью всё взаподрядку!

– Напрасно, девка. Здоровье – всё наше золото, берегти трэба. А то можно напиться, шо отравитесь!

– На уколы к Святцеву я раз схожу, два с испугу пропу- стю. Мне сказали бабы, надо понемножку пить водочки, я и попиваю по во столенько – в стаканчике на полноготка.

– Не, Кузьминишна, то не дило... Мне вот младшенький навэз золотого корня. Будем вместях его пить, будем вместях повышать давление...

– Вы смотрите! – наивно детски удивляется Кузьминич- на. – Да у нас, Владимирна, и одни болячки!.. Сниженное давление... Вместях будем подвышать!.. – Смеётся: – Мо- жет, разом примрём, разом приберёмся...

– Кто знае? – задумывается мама. – Э-хэ-хэ... Живи, жи- ви, ще и помирать трэба... Я. Кузьминишна, смерти боюсь...

Хотя... Одна смерть справедлива. Всех привечае, никем не брезгует... Никто у неё не откупится. Никто не отпросится. Никто не отплатится...

– Верно... Смерть честна... Смерть едина, как мать. Хорошая, плохая, а одна родила. Не две матери родили одного. Мы, нищие, сортируем людей. Тот умный, тот глупый... Тот директор, а этот сторож...

– А вышел секунд – смерть, Кузьминишна, принимает и сторожа, и директора... Смерть никем не брезгует, всех подбирает. В какую щёлку ни залейся – выколупает и заберёт к себе. Вот... Что мы знаем?.. Умирает человек, у него дыхание перехватывает. То нету дыхания, а потом опять дыхнёт. Навроде как из милости смерть разогрешит ще який момент пожить... А ще боюсь, колы опустят в могилу и начнут засыпать. Земля бух-бух-бух по лицу, по грудям... Я не вынесу этого! Выскочу!..

Кузьминишна ласково усмехается.

– Да нет, Владимирна, не выскочите. Знаете, гроб по краям какими гвоздями прихвачують? Длиньше и толще пальца!

Мама печально и обречённо смотрит на Кузьминишну.

– Была в Москви, – говорит тихо мама, – хóроше сделала, купила младшенькому одеяло зимнее. Это память долгая... Тёплая... Надо щэ Глебу и Митрофану купить по одеялу. А то вничай перекувыркнусь и памяти не оставляю...

– Ну-у! – надувает губы Кузьминишна. – Вон Вы как запе-

ли! Да нам ли об отходе думать? Раз отпустила Вас Ольшанка, мы ещё с Вами всех воробьёв переживём! Оно и совестно сознаться... Одначе часом я чувствую себя дитём. Впала в детство. Чистю зубы детской пастой! Другой в магазине не было... Хоть нас уже и давненько укололо под пенсию... Всё одно в наши помятые годы вёрткие бабки, случается, ещё в жёны записываются!

– Ваша правда, – теплея лицом, соглашается мама. – Вон лежала я в Ольшанке с Нюрушкой. Одна эта Нюрушка в хуторке завязла. Придёт волк – напугается! В больницу Нюрушка ехала одна. Зато назад поехала в паре... Спечётся же блинец! При нас привезли одинокого, как кукушка, старчика. Продал даве корову, совсем заходилса в понедельник уйти на вечную жизнь. Да всё дело вон куда крутнулось... Ну, выкупали его, одели в чистое. Он свою одежину в узелок да в голову. Лежит, квёлый, руки к сердцу собирает... Вывернулся откуда-то из области незванный внук. От пятой курицы десятый цыпленок. Цэй изворотистый чертяка на примусе и пытается деда: «Дедулио, где, в какой кубышке капиталики сокрыл? Давай, старый пим, гони мне на свадьбу». Дед сопел, сопел, промежду ушей всё пускал головорезовы слова, а там и пусти с ветерком: «Ах ты, кобелина пёстроглазый! Моих денег восхотел? В поле, выжига ты восемьдесят четвёртой пробы, в поле мои деньги!»

– О-хо-хоеньки, – горестно сникла Кузьминична. – Зараз на старых людей гоненье. Про стариков только и воспомина-

ют, когда что да ни будь надо. Призвали в город в гости – набивай в сумяку курей, гусей, сала. Не нас – наши сумки ждут!

– Не скажить, Кузьминишна. Не везде под одну шерсть. Не везде. В каждом сарае свои блохи...

– Может, и так. Не спорю... Чем там с дедом кончилось?

– А тем, что ушёл понедельник, а дедок живой. Он же в понедельник разбежался помирать! День ото дня дедку... Сегодня лучше... Не как вчера... Приискал себе под пару мою Ньюрушку...

И час, и второй согласно льётся беседа.

Обстоятельно, до блеска отмыты все гнилушанские истории.

Подружки уже устали одна от одной, посоловели, но разойтись выше их сил.

Наконец Кузьминична, открытая душа, смято поглядывая в окно на предвечерний двор, сетует:

– Такой день маленький, такой день маленький... В два двора сходишь и больше никуда не сходишь. Туда-сюда и день пропал, дня нету... Мне ж ещё к свахе надо. Хворает... Позавчера не дошла до неё, так вчера в пух разбранила. Чего, говорит, не приходила? Чудок не померла, да чтой-то осечка вышла. Смотри, говорит, а то примру и отделаюсь, а ты и не узнаешь. Надо зайти...

– Ну, зайдись, зайдись, – благостно разрешает мама.

Кузьминична сосредоточенно застёгивает, забирает свою

плюшку на верхние пуговицы. Не в спехе оглаживает, одавливает её.

– Надо идти. Время. Куры уже на насест летят... Ладком мы с Вами посидели. Надо и честь знать. Я своему гостю, брату из Киева, – летом вот наезжал, – сказанула: хорошо, что приехал, да спасибо, что ненадолго. А сама...

Минут ещё сколько старухи толкутся у двери. Отоптали все сени, Никак не расстанутся.

– Э-э-э! – спохватывается Кузьминична. – Чуть не забыла... Та же сваха с полмесяца назад звала меня на печёнку. Я сегодня-завтра, сегодня-завтра... Приползаю, а сваха и говорит: нетульки печёнки. Я так удивилась и спрашиваю: а что, баран был без печёнки? Быть-то была, да умолотили... Без моей подмоги...

В конце концов Кузьминична уходит.

Не дойдя и до угла дома, не бегом ли возвращается.

– Оё, чёртова простокваша! – на весь двор сокрушается. – Ить воистину, худая голова – плохой товар! Сколь цынбалы разводила, да про наглавное, Владимирна, так и не доложила!

В сенцах Кузьминична тесно припала к легко выскочившей навстречу маме, зачатила вшёпот:

– Про Катю про покойницу... В мертвецкую снесли её в больничном халате... Ага-а... На новое утро смотрят... Халат пропал, и лежит Катя во всём белом невестином убранье. В том убранье и схоронили. Я от себя, от своей воли по-

ложила с нею её последние хризантемы... Хризантемы она люби-и-ила не сказать как...

Мама поднимает на Кузьминичну оробелые глаза.

– Кто же, Кузьминишна, её переодевал в свои покупки?

– А кабы знатьё, разве б я умолчала? До точности никто ничего не знает. Бабы по Гнилуше таскают гибель всего разного. Ни в какую гору не складёшь. Одни твердят, божье то дело. Другие Бога не трогают. Сходятся на том, что это какой-то божий человек сделал. А кто именно?

Старухи в крайней озадаченности молчат.

Кузьминичны уже не было у нас, когда пришёл Глеб. Безмолвный, зачужелый.

Глебу нужно на отчетно-выборное собрание.

Мама забеспокоилась.

– Надень, – на вешалке подаёт из гардероба белую рубашу. – А то в тёмной нехорошо.

– Перетопчутся, – еле слышно без зла буркнул Глеб.

– Ну надень красну. Чего висит?

– А Вы хотите, купил, сразу и носи? Пусть повесит.

– У тебя их тыща.

– О чём спор? – возражает Глеб и задумывается. – И перед кем там *теперь* разряжаться? Что они, не видели меня?

– Ранишь ты так не говорив. Последние два месяца на каждую смену бежал в свежей рубаше...

Глеб горестно покивал головой.

– Так то раньше...

– Да, хлопче, тебя в разговоре не перешибёшь, – сердится мама и набавляет в голос напусной строгости: – Смотри! Не ругайся там. Во вздорах пути не бывает.

– А чего мне ругаться? – блёкло спрашивает Глеб. – Это пускай они ругаются, чтоб поскорей турнули меня из председателей. Знаете, ма, так не хочется идти... Может, Вы б пошли за меня отчитались?

– За свой борщ перед тобой я всегда на пятёрку отчитаюсь. А шо я понимаю в твоём деле? – серьёзно оправдывается мама.

Глеб вздыхает. Как-то побито перебирая ногами, неуверенно, будто под ним закачался пол, медленно убредает.

И уже с той самой минуты, когда он, может, ещё не взял за угол, мама уцеливается на будильник. Сначала смотрит молча, потом, спустя с час, накатывается потихоньку поварчивать на затянувшееся профсоюзное собрание.

– Ты дывысь, – тычет кривым пальцем в будильник на полочке над умывальником, – пошёл в четыре. Уже семь! А его всё нема и нема. То вжэ не собранье, а пьянка. Повод к ним в любом случае подбежит. Выберут его... Льют за него. Выбрали другого... Шо ж, обмывают того добела... Водка делает человека медведем...

Мама навела блинцов.

Налил я первый блинец. Толстоватый.

– Не! – осудительно замахала на меня мама руками. – Налил горой! Толстуха! Не пойдёт!

– Не пойдёт, так поедет. Такой блинец в желудок положишь, сразу сытость почувствуешь.

Второй блинец у меня уже потоньше. Поприличней, с дырочками.

– Ну а цэй хоть на базарь неси! – подхваливает мамушка. – Ты, я погляжу, повар у нас... Тебе и цены не сложишь!

– А Вы сами разве плохо пекёте? – спрашивает маму Лю-

да. – Это моя мамка не может пекти блинцы. Спекёт – ни одной дырочки. Чижолый, как из железа. А у Вас... Дырявый, как решето. Так весь и светится! Вы и хлеб пекёте с дырками. Рука лезет, будто мышка в норе сидела. Большие носики! Дышит хорошо Ваш хлебушка!

– Ох, Людаш! – потрепала мама девочку по плечу. – Ты ж и хитрюшка! Знаешь, на какой козе к бабушке подъехать.

– Ничего я не подъезжаю. Просто говорю как есть.

Мама сидит любится, как я пеку.

Люда подметает блинец за блинцом.

У каждого занятие по душе.

– Сынок, – говорит мама, – летом, кажется, ты справней был.

– То я, ма, сейчас постригся...

– Бог даст, – мечтательно продолжает она, – доживём до нового лета. Наезжайте. Може, не будет дождей. Помидоры наспеют. А то в это лето ну совсемка дожди нас закупали. Редко колы сонце чуть выяснится... А то всё дождь да дождь. Помидоры почернели. Вроде кто смолой намазал. Это надо такому случиться? Ни один помидор не вызрел... Валя... Валя у тебе гарна. Не то шо у соседа жинка. Сам справный, высокий, а взяв худу та погану. Повёз невесту родителям напоказ, родители и зажурились. Кажуть: «Что ж ты, Гармонь-Мать, не мог в лесе палки найти?» Гармонь-Мать – это у парня такая присказка. У нас его все и зовут так: Гармонь-Мать. Надо брать кость по себе... Валя гарно готовит,

чисто. На отпуск едите к нам. Хай Валя берёт свой фартук. Мы её на весь отпуск оформим главным поваром. Она у тебя проста, як с Гнилуши. Где живу, где работаю... Мы не слышали от неё таких вертихушек. То наедуть с городов, понакрасются, кудри наведут, выламываются: я оттуда! я оттуда! А эта проста, как крестьянка. Не ошибся ты, сынок, в жене... Не ошиблась и я в своих сынах. Спасибо, сынок, шо приехав, поддержал тёплыми руками. Не приедь ты, я, может статься, и не поднялась бы вовсе... А если б и поднялась, то, чую, ой и нескоро. Побыл ты у меня в Ольшанке первый раз, пошёл, а я лежу та думаю. Настёгивать себя стала. Шо ж ты, говорю себе, лежишь, як коровя? Да где такое видано, шоб у меня дома гостюшка сын був, а я по больницам отлёживалась?! Не-е... Надо отсюда выбиваться... Была я тогда или в самом деле такая плохая или придурювалась... Лежу, хоть кипятком обливай, нипочём не встану. И пошла я над собой сильничать. Как утро, подняться не могу, а я таки подымаю себя. С палочкой норовлю доползти до врачихиной комнатёшки. Доползти да постоять там возле. Нехай почаще видит меня на ногах врачиха, поскорей, глядишь, и расчётец поступится дать. Поскорей выпишет. Вроде всё это, кажется, и помогло. Спасибо тебе, сынок. Вот, сынок, пока жива, доезжай днём и ночью. Всегда тёплыми руками встрену...

Стаканчики в серванте предупредительно, жалобно звенели.

Вошёл Глеб.

– Ого! Да у нас запахло домом! – шумно потянул он крупными ноздрями блинный дух. – Вот это я понимаю!! Наша мамушка снова дома!

Глеб нетвёрдо подошёл к столу, поднёс обливную чашку с блинцами к самому лицу. Неистово потянул в себя крутой блинный дух.

– Вот это и есть жизнь! – рывкнул, возвращая чашку на стол.

– Это вы что же, – указала мама на будильник, – до восьми часов голоса рвали?

Закрыв глаза, Глеб пьяно помотал головой.

– Голосовали, ма! Ой и голосовали ж! В стельку!

– А я вся так выпужалась. Час поздний. Моего генерала Топтыгина всё нэма. Ну? Шо ты там выголосовал?

– Отстегнули мне четыреста экс-председательских граммулечек, и я перешёл на жёсткий режим. Больше – рак меня заешь! – ша!

Мама с сарказмом кивнула:

– Зарекалась кобыла оглобли бить... Выгнали, шо ли? Ты хоть отчитался? Не должен?

– За что?

– Да мало ли за шо... Выходит, непутящей, березовый ты председатель... Кого ж ты там огневил? Кто ж против тянул руки? Все?

Глеб поднял на маму медленные, унылые глаза.

Ответил с холодно-насмешливым вызовом:

– Ну... Погнали за неправильный подход и обращение с администрацией. Ну и что? Что это Вас так волнует?

Мама смутилась.

– Не волнует... Я так...

Говорила она неправду. Ей было приятно, что её сын был на видах у всей Гнилуши. Нравилось гладить ему белые рубашки, особенно когда он шёл на собрание.

Глеб иногда ворчал, что вот за так, за спасибо, приходится бегать на эти заседания, приходится сшибаться лбом с администрацией. Но он никогда не давал в обиду простого работника, если тот был прав, и всегда выручал. После обычно с налётом иронии рассказывал об этом дома и маме радостно было сознавать, что вот если б не Глеб, человека ни за что ни про что уволили б, а вот её Глеб поднялся на защиту, заткнул чужую беду.

Втайне она гордилась им.

Только ему об этом не говорила, боясь сглазу.

И вот больше не ходить Глебу на заседания. Больше не гладить белые рубахи к тем заседаниям.

Нежданной этой перемене она никак не могла приставить ума.

– Шо ж... Ты копаешься в людских напастях, як жук, всё копаешься, а тебя ще и молотять? – потерянно спросила.

Убитый вид матери пронял Глеба.

Он обнял её за плечи. Весело и сдержанно тряхнул.

– Ма! Да кто меня тронет!? Вы уже и поверили... Я сам

бросил! Не удивляйтесь. Вот взял и бросил... Я не робот заводной. Мне мало просто быть нужным массе. Я хочу, чтоб в той массе был и тот... кто нужен мне. – Глеб понизил голос: – А его... а её уже нету...

Мама насторожилась. Потянулась что-то спросить, и Глеб, сообразив, что проговорился, обогнал её вопрос, заговорил торопливо, заслоняя выпавшее невзначайку.

– Я человек прямого глаза. Вижу что не так, не смолчу. За все четыре года, покуда я казаковал в председателях, я не дал ни одного согласия на увольнение. А сегодня, выпуская из рук праведные профсоюзные вожжи, за час до отчёта, предложил уволить Бывай Здорова.

– Кто это? – перебил я.

– А! Здоровцев. Мой сменщик. Единомысленничек... Ты этого кологадского жука видел... На приветствие он всякому отвечает одно: бывай здоров! Его и прозвали: Бывай Здоров. Отрастил будку метр на метр и думает, что всё ему дозволено, всё ему можно, тащи, что рука загребла. У государства, мол, всего выше глаз. Одна фрейлина старого мерина приловчилась сахар через проходную проносить. Подвяжет в низу живота, поближе к демаркационной линии...³³² Там какие-то секретные ёмкости, что ли... Ни одному вахтёру не нагнетаться пощупать там... Этот бугай масла бидончик прёт... Народные умельцы... Обоих настоял выжать. Надо когда-нибудь всерьёз браться за воровство на производстве.

³³² Демаркационная линия – углубление между ягодицами.

Иначе дай послабку, трубу заводскую сопрут! Вывернут вместе с фундаментом котельной! Только подраспусти... Так он день будет считать потерянным, если ничего не утянул с завода. Прямо с горя заболает...

– Что-то ты лишь под занавес, за час до схода со сцены, раздухарился? – поддел я.

– Просто раньше несуны крупно не разбойничали, только и всего, – пожал Глеб плечами. – Не в масть пришлась начальству моя активность, расценило едва ли не как неправильный подход к администрации: в неловкое положение нас загоняешь, эдак мы пробросяемся специалистами! Видал, кто специалисты?

Глеба повело.

Не останови, до утра протарахтит о своих заводских болячках, и я шутя (шутка – самый надёжный и деятельный посланник в пикантных делах) поинтересовался, не горит ли он желанием отвалить мне мой мышиный гонорар.

– Потухли во мне эти желанья. – Глеб широко перечеркнул перед собой воздух. – Сарай, мыши, мышеловка, приманка – всё моё, я и плати? Получается, у Фили пили, Филю и побили. – В зрачках у Глеба качнулись весёлые бесенята. – Дело выворачивается так, что с тебя надо брать. Во-первых, ты вёл ловлю блох... мышей, не соблюдая элементарнейшую технику безопасности. И результат? Пострадал не тот, кто должен был пострадать.

– А какую тут безопасность придумаешь? Разве что поса-

дить на крючок поверх колбасы записку: «Колбаса есть, да не про вашу кошачью честь»? Всё равно безграмотная чернушка не прочла б.

– Дурной знак валить всё на невежу киску. Не лучше ли мышеловку приладить в клетке, куда могли б прокрасться лишь мыши?

– И стрелками указать, где искать колбасу?

– И без стрелок тогда б не потерпел аварию наш агент, наш, можно сказать, пламенный товарищ по борьбе. Ты грубо сыграл на слабости кошки. А кто из нас без слабостей?.. Но вернёмся к оплате. Чернушка умчала мышеловку бог весть куда. Никакими собаками не сыщешь. Следовательно, из твоих червонцев я вынужден отозвать за мышеловку восемнадцать копеек. Дальше. Пострадавшей оказалась приبلудная Мурка, почти удочерённая любимица всего нашего двора. Весь двор, восемь семей, со мной не разговаривают. Нас помирят лишь здоровье Мурки. Я взялся её выводить. Чтобы не докучали ей мыши, я не вселил её в сарай, а на подушечке с вышитой розой пристроил в тёплой котельной. Я ей молочко, я ей колбаску, я ей прочий нежный харч. Всё это чего-то да стоит. Иногда Мурка слегка проминается. Ходить она будет. Но пожелает ли ловить мышей? Большой вопрос. И пока она лежит, из чего оплачивать ей больничный? Не платить я не могу. Комитет бродячих кошек изничтожит меня. Ясно, обе твои десятюльки ста́ют ей на больничный. Даже не хватит. Так откуда ещё и тебе кроить? Сработал ты,

дорогуша, с больши-и-им минусом!

Мама, то и дело порывавшаяся перебить Глебову болтовню, недовольно поморщилась. В обиде натянула губы.

– Напился в поле... И лопоче, и лопоче в пустой след... А ну, хлопче, бросай гору на лыки драть. Ступай лучше заруби петушаку с перебитой ногой. Петушака той справный, гарный. Там як нарисованный! Хвост дыбарём... Да парочку курочек. Маленьких, як голуби, не трогай. Выбирай справных, важных. Шоб сала на них було, як на кабане. Наш гостюшка, – мама глянула на меня, – утром отбывает. Возьмёт с собой туда.

Удивлённый Глеб, мякло вразброс вскинув руки, глухо прищёлкнул длинными, тонко раздавленными в тяжёлой работе пальцами:

– Вот так компот! Вот попробуй в такой обстановушке вырвись из аликов. Я ж, признанный мастер спирта по литрболу,³³³ полчаса назад клялся, что больше ни-ни! Перехожу на жёсткий режим и на! Какие ж проводины без... Обязательно придётся принять! Чтоб всем весело ехалось!

Пузастый, тонкобокий стакан на столе притянул его нетвёрдый взор. Стакан был пустой.

– Природа не любит пустоты... Закон... Нальёшь, врежешь... Крякнешь, как гусь... Хор-р-рошо!

³³³ Мастер спирта по литрболу – пьющий человек.

Нет ничего гнетущее расставания с мамой...

Каждый раз я прощаюсь с мамой дома, и каждый раз она не удерживается не потянуться следом, шепча то ли просительно, то ли оправдательно:

– Проводю сыночка хоть на уголочек...

Я беру её за руку.

Тихо глажу верх её руки и бреду как на ватных ногах. Ком набухает в горле...

Уже позади наш дом. Позади завод, больница. Вот уже и развилка дорог. До остановки меньше половины.

Мама сломленно смотрит на маячивших впереди в отдалёке Глеба с чемоданом на плече и Люду с альбомчиком под мышкой. Глеб и Люда провожают меня до автобуса.

– Ну, сынок... – щемливо улыбается она, и мы, целуясь, прощаемся снова.

Объятия наши размыкаются, и я не то выпускаю её из своих рук, не то выталкиваю мягко, не поднимая глаз и бросаюсь прочь. Давят слёзы, стыдно поднять голову...

В этом стремительном, жгущем душу уходе вприбежку есть что-то подлое, что-то преступное, что-то вроде грешного побега от матери.

Недостаёт духу оглянуться.

Не смотрю я назад, но знаю: обернись, неминуче увижу

зыбкое лицо в отуманенных, кротких слезах, коротко вскинутую измученную руку.

Приподнятая рука не движется, лишь пальцы нетвёрдо, жертвенно чуть сжимаются и снова разжимаются, как бы покорливо призывая воротиться в дом отчий, как бы к себе загребая тебя, твою душу.

Отойдя несколько шагов, я таки скашиваю глаза и вижу всё *это*.

Во мне всё леденеет.

На миг я вкопанно останавливаюсь то ли чтоб всё же вернуться, то ли чтоб, собравшись с духом, двинуться сломя голову дальше, и вопреки своему чистому желанию вернуться я ровней, спокойней беру к видимым впереди брату и племяннице, покидая маму одну у развилки посреди безмолвной, пустой улицы, посреди ясного, холодного утра – посреди России.

Близ автобусной станции нас – Глеба, Люду, меня – нагнал Митрофан на чёрной «Волге».

– Тпру-у-у! – рисуясь голосом, нарочито громко тянет Митрофан, останавливая машину. – Ну что, брателло, уже шнуруешь отсюда?

– Отчаливаю...

– Ну! Держи петушка!

Мне не очень-то хочется подавать ему руку. Ругнув себя за слюняйскую уступчивость, подаю. А он тем временем от-

пахнув дверцу, протягивает навстречу угрожающий, поросший рыжей щетиной раскисший кулак, протягивает так стремительно и рьяно, что, кажется, его подожгло садануть меня в живот.

В панике я отпрядываю.

Это вызывает у него приступ восторга. И когда кулак поднесён уже вплотную, Митрофан резко разбрасывает в стороны клешнятые пальцы, растопыренной пятернёй ловит мою руку.

– Эхушки! – сожалеюще роняет Митрофан. – Эсколько ты пробыл, а мы так и разу не посидели толком, не перекинули по стограмидзе. Я готов с тобой принимать градусы за здоровье каждого листика на дереве... Да... Получилась у нас с тобой, как говорит Людка, разомкнутая любовь. Совсем текучка захлестнула... Тут такой круговорот пошёл... Долгая волынка рассказывать. До всего дойди своей башкой. До чего сам не дошёл – ставь крест! Наконец-то спихнул с плеч этот чёртов комплекс. Опуеоз! Полеживают теперь мои бурёнки в тепле, досматривают летние сны. В районке видал целую полосищу про мой комплекс?

– Не довелось...

– Напрасно. К Глебу ходит районка. Районную прессу надо и почитать, и читать. Между прочим, лично я литературу всю уважаю. Книжку не брошу, пока не заслужу... Смандыхнул с плеч гору, а депрессняк не отпускает... В покой не войду... Тут такой, братуша, горьковатый припев... Смот-

рю я, дурёка, на этот комплекс, смотрю... Что-то не тое... Полторы тыщи коров под одной крышей, якорь тебя!.. Ну не дурацкая гигантомания? Коровы на решётке ноги ломают... Как я раньше про это не допёр? А ну я всё стадо обезножу?! А корова без ног – труп! Обезножить стадо – потерять стадо... Разве это комплекс, небоскрёб твою мать!? Ското-мо-гиль-ник! Вот так фор-бом-брам-рей!³³⁴ Неужели полный бесперспективняк?! А столько возились! Столько дудели! Навязали, – кинул он руку вверх, – пристебашки... олухи Неолита Ильича! Строй! Не то партбилет на стол! Охо-хохоньки... Бермуды, а не комплекс... Бермудно на душе... Чем они *там* только и думают? Да кому *там* думать!?! – Он с силой хлопнул себя по лбу. – Вспомнил! Всё боялся забыть рассказать эту хохму. Укат! *Там* из думцов думец – твой папашка!

– Какой ещё папашка? – кисло буркнул я.

– А тот самый... Насакиральский... Сразу после войны все наши соседи дети бегали на городскую дорогу встречать с войны своих отцов... И ты ходил. И раз привёл собачанского козла. Горбылёва! Папунькой ещё тебе назвался...

– А-а...

– Этот Горбыль ещё до войны уже сидел в номенклатурной обкомовской обойме... Был секретарём в райкоме комсомола... Потом двинули в райком партии... Это было в Старой Криуше, потом в Калаче... После войны он и завейся в

³³⁴ **Фор-бом-брам-рей** (морское) – четвёртый снизу рей на фок-мачте.

свою тёпленькую обойму... Номенклатура – страшное дело! Главное влезть в неё. И там до скончания века будешь кататься в масле. Что ни вытворишь... Вот у неутыки полное несварение головы. Он крупно напакостил на одном месте... Думаешь, его берут на цугундер? Хер наны!³³⁵ Для всенародной видимости устроят головоймойку... Вытащат даже на бюро, сгоряча влепят строгача с занесением, а чаще без занесения в учётную карточку... Чтоб меньше было следов... Всласть покрутят гнилой понт... А дальше? Самая смехотень дальше! Куда этого нерюха запикивают? Потихоньку сплавляют на новое местечко. И чаще с повышением!..

– Стоп, телега! Стоп! – перебил я. – Я вспомнил... Ты говорил, Пендюрина кинули на повышение в область...

– Именно! Кинули вверх!

– А вот новый первый мне сказал, что Пендюрина столкнули на пенсию.

– Уйми звонок и не пори глупизди! В обком наш Пендюрелли шагает! Я не только известный звездочёт коньячных этикеток, но и по совместительству тесть Пендюрину. Мне известно то, что неизвестно твоему новому первому. И со всей ответственностью докладываю тебе. Пендюшкин наш отбывает на областные не-бе-са! Сейчас у него отпуск. Поковыряется в палисадничке с цветульками, посверкает мохнатым задом на Чёрном морюшке и херак прямым рейсом в область! Вот такой расколбас.

³³⁵ Хернаны – ничего подобного.

– Но новый первый...

– Не слушай сплетни... Их нарочно разносят... Эта такая политика в коммунистических верхах. Районный парпуп³³⁶ наколбасил в Гнилуше. Ему бы дать сапогом под зад, а его тащат вверх. А для низовухи распускают небылицы про пенсию там... Про увольнение... Чтоб те из местных, кто дрочил на него зуб, успокоились и обрадовались слегка. Выжали! Да, выжали. Выжали наверх! Партподданные не дадут в обиду своего самого маленького шишкарёнка. Ты наш. Не переживай. Партия всегда ценит твою ленинскую верность! Партия всегда думает о тебе!.. Я продолжаю про Горбыляку. Вот этот Горбуха тёрся вторым секретарём у Пендюрина. То ли не ужились в одной партберлоге, то ли накурволесил чего с верхом... Вылетел Горбуха из Гнилуши в Каменку. Это повышение. Там и район почти вдвое крупней, и райцентр не село, а посёлок городского типа да ещё при железной дороге. В Каменке Горбыль был при нас уже предриком. Пуп района! Вся власть!

Митрофан поплотней высунулся из окна машины, заговорил тише – не слышь ездоки:

– Так этот пуп земли знаешь, какую шишулю в Каменке отколол?.. К нему на приём пришла одна школярка из хуторка Голопузовки. Экий свеженький батончик...³³⁷ У пупика

³³⁶ **Парпуп** – партийный пуп.

³³⁷ **Свежий батон** – красивая девушка.

и отвернуло башню.³³⁸ Разбежался римским корпусом рачком в снегу,³³⁹ якорь тебя! Возжелал посадить смазлявочку на свой руководящий советский столик и огульнуть... покрыть отеческим благословением... А девашенция росточком под потолок, кувалдой-кулачком кэ-эк всадит ему под дыхало, так у пупа земли чуть пупок не развязался. Он с копыток хлоп на пол. На отдых заслужённой. Еле очухался. А тут через неделю мать той бесовочки вышла из больницы и тут же побежала к этому предрику на приём. Дюже он им со своим бемодем³⁴⁰ понравился. Да побежала не одна, а напару со шкворнем. Как живой остался... Одни Боги знают. Весёлый звон покатился по району. Докатился до области. В облисполкоме топнули ножкой, пообещали забулдону прижать хвост. Уволим за скотское отношение к подрастающему славному советскому поколению! Горбыль и зачесал мохнатую задницу. Побежал по верхам-блатарям. И областной партбомонд вознёс кискадёра! Кошматерно!.. Встал горой, якорь тебя! Нашлась у Горбыля какая-то крутая лапа в обкоме. Не то Хитров, не то Мудров, не то Хитров-Мудров... Мохнату-ущатая лапища... Вынесли дело даже на бюро. И дело назвали как?.. «В защиту верного ленинца!» На бю-

³³⁸ **Башню отвернуло** – о потерявшем контроль над собой.

³³⁹ **Римским корпусом в снегурачком** (шутл.) – название оперы: Римский – Корсаков. «Снегурочка».

³⁴⁰ **Бемоль** – большой живот. (От названия нотного знака, по форме напоминающего большой живот.

ро лапа орала: «Из-за какой-то голопузовской тли³⁴¹ ставить крест на судьбе верного ленинца с сорокалетним партийным стажем!?!.. Конечно, товарищи, откровенно скажем, нехорошо, что товарищ Горбылёв споткнулся. Так зато он вперёд подался! Товарищи! В свете сказанного скажу с прямой партийной прямоотой. Да нас же и партия, и народ не поймут! Вы только подумайте, какими кадрами мы разбрасываемся!?! Товарищи типа Горбылёва – золотой фонд партии! И я не позволю, чтоб этот фонд так бесхозяйственно транжирили. Подумаешь, какое-то там скотское отношение... Да за такое отношение к скоту – честь и хвала товарищу Горбылёву! Лучше к скоту и нельзя относиться! Его район идёт одним из первых в области по надоям! По привесам!»

«А как официально обставлено дело в Каменке?» – спросили.

«Всё на уровне. В соответствующих документах записано: «Тов. Горбылёву вынесен выговор без занесения в учётную карточку за допущенный досадный случай выпивки в чайной вместе с первым секретарём райкома КПСС тов. Сологуб после расширенного районного совещания по случаю успешного завершения зимовки скота в районе». Лебединая песня! Что ещё надо? Товарищ на деле доказал свою высокую профессиональную подготовку в деле решения насущных задач партии! Готов и впредь доказывать! В заявлении так и пишет: «Очень хочу послужить родной власти». Товарищ мно-

³⁴¹ Тля – девственница.

гоопытный. Может на спине блохи построить замок! Переводом берём товарища Горбылёва из системы советских органов к себе в аппарат обкома КПСС. Пускай возглавляет в отделе сельского хозяйства сектор скотских... э-э-э... животноводческих комплексов!» – «Но у него всего три класса образования...» – несмело поинформировали из задних рядов. Лапа и на это нашла что сказать: «Так гордиться надо! В сталинском политбюро не было **ни одного** человека с высшим образованием. И не померли. Ещё как коммунизм строили! Был бы один класс или вообще ноль... А то целых три! У дорогого товарища Калинина больше было? А Михал Ваныч не районом рулил. Всесоюзный староста! Так что не мешайте человеку работать. Он делом доказал право на это! Можно сказать, выстрадал это право...» И всё это мне не со- рока рассказала, а сам козлоногий Горбыль в своем дорогом обкомовском кабинете. Вот мудота!.. Он, сблёвыш морковный, со смехом мне всё это докладывал. По-свойски! Поро- дились в Насакирали... А я вот всё круче опасаюсь за свой комплекс... Носился с ним, как белочка больная... А... На решётку поставить такое стадо... Это ж оставлю я коров без ног... Погибнет стадо, якорь тебя! А спрос с меня, не с того кефир-бруевича Горбылюхи с его бемолем. Ему за семьдесят. Этот белокурва³⁴² в любую минуту может сойти на берег.³⁴³ Всё! Он пенс³⁴⁴ в законе. Каких песен ждать от этого

³⁴² Белокурва – блондин.

³⁴³ Сойти на берег – выйти на пенсию.

пенсяра?³⁴⁵ А мне-то что делать? Ты понимаешь?!

– Не понимаю. О коровках ты печёшься... Прямо мычать хочется... А ты б ещё так думал про... Ты, плоскостопый марабу, в Ольшанке... был?..

Выжал я это конфузливо.

Пустым мне виделось затеять в задний след жёсткий разговор про Ольшанку. В то же время распирало посмотреть ему в глаза, когда он будет обелять себя. И внутренне я как-то ненадёжно немного обрадовался самому себе, что горячий этот вопрос, терзавший меня во все гнилушанские дни, я всё-таки задал. Это была маковая победка над собой.

Митрофан смиренно уронил руки на колесо руля, обвитое цветной плёнкой.

– Чего не было, того не было, – с детским простодушием хохотнул он. – Сознаюсь как на духу... Без изгибов... На дню по сотне раз пробрызгивал мимо Ольшанки... А чтоб зайти... Такого не было, врать не хочу. И всё...

Помолчав, он поднял голос:

– И все дела! Крутят бедную головушку!

Он длинно и шумно вздохнул и, сдержанно выдыхая, пыжкая полными лоснящимися губами, выставил защитительное:

– Всё в жизни си-ирк! Мы с тобой из одних ворот выскочили. А глянь, как мы разно сляпаны. Да как же нам быть

³⁴⁴ **Пенс** – пенсионер.

³⁴⁵ **Пенсяры** – ансамбль «Песняры».

одинакову, на одну колодку, если даже на одной руке пальцы и те не уровнены? Ты из-за девятой земли прикатил! А я от матери через улицу и не мог к ней выдраться. Тебе что! Ты свободный художник! Работуха – пупок не сорвёшь. Знай точно держи нос по партветерочку... Не забывкивай свивать даже всякое виляние хвостом и всякий чих Муму с последними историческими решениями съездюков партии!.. Да визжи поросяче: уря-я-я-а-а!.. уря-я-я-я-я-а-а!..

Митрофан обречённо уставился на небо.

– Твой партветерочек меня не колышет, – ответил я. – Если помнишь, я пеленал фельетоны.

– А-а... Ты, бодастый, по другому ведомству... Ты у нас держишь нос по добру. Узкая специализация. Как фельетон – получай зло по мусалам! Понимаю, – он кисло усмехнулся, – тебя только греет высокая доброта к людям...

– А разве иначе стоило околачиваться в газете?

– Добреньким жизнь не отживёшь... У тебя в хозяйстве одна пишущая машинка да с пяток мух на кухне и то лишь в жаркое лето.

– И в жару мух не держим.

– Тем легче тебе. А тут!.. Что сравнивать несравнимое? И потом... Ну, будь мать плохая, тогда ещё... А то ж, – хмуро наставился на Люду, жавшуюся к Глебу, – раз эта обормотка своего дома не знает, значит, отирает у бабки углы. Значит, бабка уже вернулась. Всё в порядчике! Не понимаю, о чём речь? Бабка у нас крепче железа. Нас ещё с тобой перебёгает.

Это ж не бабка... Мотор! «Жигулёнок» повышенной проходимости, якорь тебя!

Лиза, что широко, чинно разгнездилась, будто квочка на яйцах, подала сытый голос из-за спины Митрофана:

– Бедная баба Поля! Пока лежала в больнице – королевствовала. Отдыхала от внучек. А выписали из больницы... Кончился отпуск! Ишь, эта оглоедка, – смерила Люду с ног до головы чужими глазами, – днюет и ночует у неё. Всю душу, поди, бабке измозолила!

– У бабушки слаще спится, у бабушки слаще естся, – смягчая разговор, позевал в кулак Митрофан. – И всёшки великая штука бегающая бабка. Всех трёх девок выходила! Нам с мадамкой, – сонно пожмурился на Лизавету, – самая малость перепала в их воспитании. Наше дело, – толсто хохотнул, – наше дело слепить тело, а там бабка душу вставит... Амбец! Не я буду, сегодня в вечер нагряну. Уж проведу, так проведу. Надеюсь, Глеб, пузырьёчек сыщется, и мы с тобой клюнем сюда, – прищёлкнул по горлу, – за каждый сучочек в заборе.

– Конечно, на халяву и уксус сладкий, – подпустил с сольцой Глеб.

– Насчёт халявы можно и помолчать... Просто я такой. Я добруха... Пью, пью за чужое здоровье, – со смехом махнул Митрофан рукой, – что и своё потерял... Ну, панове, разрешите откланяться. Труба зовёт. Не на хутор еду бабочек ловить... Везу свой матриархат в область на срочную экскур-

сию по магазинам. Лизке отложили шубу. Звонила Лика, наша госпожа старшуня, надо забрать. Этой... – Митрофан замялся, указывая на Ляльку, сидевшую сзади рядом с матерью, – эта помешалась на серёжках, на каких-то кольцах...

Впереди вальяжно полулежала худая, плохо кормлёная подмолодка лет двенадцати. Это была Светочка по кличке Хулиганита, достославная Лялькина подружка из голубой гнилушанской знати.

Заслышав о покупках, она лениво, из милости чуть приподняла рукав каракулевой шубки, потукала долгим, фиолетово крашенным коготком по браслету из золотых колечек на запястье:

– Такие колечки сегодня купят Ляльке. Клэ! Мечтяк!.. Я консультирую...

– Дать совет, – сказал я Светочке, – дело тебе доступное, поскольку бесплатное. Но ты, Лялька, за какие шиши ухватишь эти браслетки? Ты заработала?

– С избытком! – с саркастическим укором фыркнула Лялька. – Да как же вы, дядя, далеко отстали от нашей прекрасной действительности! Да знаете ли вы, что в Гнилуше сознательные, передовые марксы платят за отметки?! За пятёрку – двадцать пять копеек. За четвёрку – двадцать. За трёху – пятнадцать. А лебедь ни тинь-тилили. Ни фига не стоит. Задарма. А кол – ремня! Так что расторопные девчонки имеют свою монету.

Вон оно как! Чёткая система материальной и моральной

заинтересованности.

В мои годы из этого меню только ремень был доступен, и тот символический. Дальше горячего посула дело никогда не забегало.

– Слышь, – кивнул Глеб Митрофану, – возьми его. – Глеб положил мне руку на плечо. – Вам по пути. Светку переседи назад.

– А понравится это Светочке? – Скользкая, вязкая улыбочка стекла с Митрофанова лица.

– Светочке это не понравится, – капризом налились губы Светочки.

Глеб мне шепнул, что эта Светочка – дочуня председателя райпо. Эко Митрофанушка перед ней хвост пушит!

Я посмотрел на Лизавету и Ляльку.

Они даже не повернули ко мне своих лиц. Остекленелые глаза насильственно тарацились на падавшую вниз дорогу.

Понял я, не ехать нам вместе, хоть и по пути.

Я и не набиваюсь. Доберусь рейсовым.

– Я что, – мямлил Митрофан, смотря в сторону, – я б со всей дорогой душой. Да тачка, ёлики-палики, под завязку набита... Ну, давай, – обмякло понёс он мне руку.

– Давай, – неопределенно, размыто ответил я, но руки не подал, и мы все трое, Глеб, Люда, я, медленно поплелись к автобусу.

Краем глаза я видел, как Лялька, высунувшись из окошка проезжавшей машины и корча Люде рожу, прислонила к

виску палец. Покрутила.

Люда ответила тем же.

Сестрички обменялись любезностями.

– Я куплю альбомчик Клавки Черепицыной!³⁴⁶ – крикнула Лялька. – А вечером мы пойдём на концерт «В морду током»!³⁴⁷

– И пускай вас стукнет! – крикнула вдогон Люда.

– У меня такое чувство, – тихо проговорил Глеб вслед чёрно уходящей «Волге», – что у него сердце вынул колхоз, растолок. Такие в *нашей* жизни преуспевают...

Какое-то время мы шли молча.

– Дядя! – Лютик потянула меня книзу за палец. – Вы мне говорили, почему я не рисую папку и мамку. За всю время я нарисовала их всегошки один раз. Ещё когда Вы приехали, ещё сначала. Рисунок я никому не показывала... Я подарю Вам этот рисунок.

Девочка на ходу вырвала из блокнота лист, сложила вдвое, отдала мне:

– Но вы только не смотрите сейчас.

– А если я не всё пойму в нём?

– Тогда смотрите.

Рисунок меня озадачил.

На первые глаза, рисунок как рисунок. Родители, похожие

³⁴⁶ Клавка Черепицына – топ-модель Клаудиа Шиффер.

³⁴⁷ «В морду током» – поп-дуэт «Модерн Токинг» (Modern Talking).

на роботов, вели за руку девочку. Весёлая девочка шла вприпрыжку.

А сзади, на втором плане, была видна ещё одна девочка, совсем кроха, худенькая. Маленькая девочка плакала.

В чём здесь соль?

Почему одна пропадает со смеху, а вторая слезой слезу погоняет?

Наконец я замечаю, что у родителей на всё про всё лишь по одной руке. Может, поэтому и плачет младшая? Тогда чему рада старшая дочка? Да и сами родители, судя по развесёлым лицам, вовсе не делают трагедии из того, что у них по одной руке.

– Знаешь, – честно признался я, – я совсем запутался в твоём рисунке. Распутай меня назад. Расскажи, кто здесь кто.

– Это, – старательно показывает пальчиком, – папка. Это мамка. Ведут Ляльку... Им всем весело... Им всегда весело... А эта... в углу рисунка... сзади... я...

– Отчего же ты плачешь?

– А оттого, что за Лялькой они никогда не видят меня. У них по одной руке, им хватает для Ляльки. Для меня у них никогда не бывает рук...

Вспомнил я тот вечер, когда провожал Митрофаново семейство с пирушки у Глеба. И вправду Лизавета и Митрофан держали за обе руки Ляльку. А Люда, не удержавшись за материну сетку, набитую картошкой, упала, отстала, и в

слезах брела по ночи сзади одна...

6

Из тесноты у кассы Глеб еле вытолпился.

– Ну, добыл на проходящий. Не сидеть ждать. Да... – машет билетом в сторону заляпанного окнастого «Икаруса», что мягко подкатывал к стоянке, – вот он и собственной персоной.

Автобус остановился.

Из прогала двери посыпался народ.

– И место у окна! – продолжал Глеб. – Вот тут. На нём доживает последние секунды какая-то мамзелино в чёрном.

Тяжёлой нетерпеливой ладонью Глеб с улыбкой хлопнул по стеклу у самого выхода. А ну подымайся! А ну подымайся, живей освобождай место!

На стук оглянулась женщина в чёрном – и она, и мы с Глебом остолбенели.

Это была Мария, Мария Половинкина, та самая Марусинка...

Боже, пути господни неисповедимы.

Я помню Марусинку молоденькой красавицей. Тонка, как травинушка, бела, как сметана... Это было так давно, это было так далеко... Местечко Насакирала близ Батума.

И было тогда и Марусинке и Глебу по восемнадцать.

Сейчас и Мария и Глеб стояли на пятом десятке. Долгие годы помяли обоих, износили. Разбежался в плечах Глеб, хо-

тя и теперь его не выбросишь из десятку. Ещё меньше стала Мария, святая душа на костылях, болезненная и тихая.

Тогда, в Насакирали...

Глеб ушёл в армию, а забеременевшую от него Марусинку силой выжали отец-мать за залётного ухажористого молодца Силаева. Приезжал в гости к одним. Выгостил свою неделю и увёз Марусинку куда-то к своим в Россию.

Сразу из армии Глеб поехал к родителям Марусинки, просил дать её адрес. Хотел забрать свою половинку. Но адреса ему не дали.

Глеб разбежался толкнуться к тем, к кому прилетал погостить Силаев.

Те тоже давно уже уехали из Насакирали.

Ни с чем Глеб и покати́л тогда к нам в Каменку. К той поре мы с мамой и Митрофаном уже жили в Каменке. Ехал Глеб через Лиски. И не знал, не ведал, что именно в Лисках жила теперь Мария. И вообще от Лисок до Каменки с полчаса пути. Долгое время они совсем друг подле дружки были, а не знали про то... По одним лискинским улицам ходили. Ведь Глеб раз пятнадцать по полмесяца жил в Лисках, куда приезжал на ежегодные курсы компрессорщиков.

Как-то в новогоднюю ночь перегрелся её благоверный с дружками. Без билетов набились компанией в проходящий поезд. Надумали к его сестре ехать в Сочи купаться.

Но до Сочи далеко показалось ехать, и вывалился он меш-

ком на ходу из вагона в Дон... Проехал всего-то с километр... Он погиб...

Смерть дочери застала Марию в больнице. Телеграммы ей не показывали, боялись, не стало б хуже. И лишь когда немного окрепла, главврач с извинениями отдал-таки целый пук телеграмм. Мария тут же собралась в Гнилушу забрать с чужой стороны Катю... (От Силаева у Марии не было детей.)

...Глеб помертвел, узнав, что Катя Силаева – его родная дочь. И похоронные телеграммы, выходит, слал он Марии, своей Марусинке, вовсе не подозревая, что это была именно *его* Марусинка... *его* половинка...

Горько было видеть, как эти уже немолодые, привялые плачущие люди, держась за руки, скользя по грязи и едва не падая, шли по скатывавшейся сверху раскисленной оттепелью улице. Они шли вверх, а их сносило, они съезжали, при этом безнадёжно взмахивали руками, резко невольно кланяясь то вперёд, то вбок, но, Бог миловал, они ни разу не упали и с каждой минутой всё дальше утягивались-таки вверх по трудной, скользкой дороге, ведущей мимо больницы, мимо завода, мимо нашего дома к кладбищу.

Родители Марии развели её с Глебом.

Зато уже мёртвая дочь Глеба и Марии через долгие годы снова свела эти две половинки.

Рядом со мной оказалось место Зои Фёдоровны.

Я обрадовался такому соседству.

Да и сама Зоя Фёдоровна не огорчилась.

Вскоре я знал всё, что не мешало мне знать, а именно: ехала Зоя Фёдоровна в облздрав за новым оборудованием для Ольшанки. Новое оборудование – это так, сбоку напёку. Главное, ехала она на *дело Святцева*.

Наконец-то столкнуло воз с мёртвой точки. Допекла Зоя Фёдоровна, сама Вириная Гордеевна занялась-таки Святцевым. Говорила с Зоей Фёдоровной по телефону, клялась отозвать Святцева в аспирантуру, а на его место пришлёт нового терапевта.

Предыдущим рейсом отправился *на разговор* главный врач Веденеев.

Нашим рейсом должен был ехать Святцев.

А его что-то не видно.

– Наверняка прорежется на станции минуту спустя после отхода автобуса или перехватит автобус где-нибудь у прокуратуры, – предположила Зоя Фёдоровна.

Так и вышло.

У прокуратуры, на развилке, автобус стал.

– Вне сомнения, – улыбнулась Зоя Фёдоровна, – это голоснул он. Не выносит очередей у касс, предпочитает совать

натуру ездюкам в руки. Оттого его знают все шофёры, останавливаются, где он ни вздумай. О! – качнула в окно взглядом на Святцева, суетился у передней двери.

Автобус набит – руку не воткнёшь.

– Товарисчи унд милые товарки! – хмелько завопил на полную отвёртку крайний на порожках мужичок. – Христом-Богом прошу, разом выдохните на полчеловечка. Впустите женщину с пьяным дитяtkом!

Судя по тому, как весело перемигивался Святцев с этим в муку пьяным мужичком, были они коротко знакомы.

Святцев хлопнул хваченого мужичка по тощей недвижности. Так же весело потребовал:

– Жалобней кричи! Не слышат народы гласа беды. Ну не шевелятся!

Наконец Святцев вдёргивает в толпу руку, вдавливаясь одним плечом и – вываливается из давки.

Обхватив крайних, вкогтившись в них и прочно привалившись к ним верхом, он вжимается-таки в людскую стенку.

Створки двери сошлись неплотно, оставив на воле святцевское плечо.

Автобус двинулся с приоткрытой дверью.

Увидав меня с Зоей Фёдоровной, Святцев как-то смешанно кивнул.

Я тоже ответил кивком, а Зоя Фёдоровна, смутившись отчего-то, виновато наивно показала ему свой тугой кулачок.

В этом жесте пробрызнуло что-то чистое, близкое, понятное только этим двоим и держащее их вместе.

...Девчонки, с кем в одной комнате жила Зоя, – было это ещё в институте, – спрятали в день регистрации её паспорт.

«Не дадим тебе с ним сойтись. Слухи носят, отец у него был дезертир. Да в газете ещё печатали: ради корысти оформил папаня-хват брак уже с покойницей. С сынком такого связаться – стыдобу на всю жизнь принимать».

Так отговаривали, так отговаривали...

Если б не отговаривали, Зоя, может, ещё и подумала подольше, идти не идти. А коль всем митингом удерживали, так в пику всем подала заявку в загс на самый близкий день. Она считала, что сын за отца не ответчик. И потом, что же по отцу судить о сыне?

Весь курс недолюбливал, не переваривал Александра. Может, только потому Зоя и была с ним пооткровенней, посочувственней. За всех! Отошёл загсовский срок, пропал; записались на новый, и паспорт Зоя отдала на хранение Александру. Уж никакие вертушки ей больше не помешают...

– Слушай сюда, Асмодеич! – толкнул Александра в локоть мужичок под градусами. – Новенький, горячий, ещё шипит-шкварчит. Только со сковородки скovyрнул. Один, значит, пришёл к одной. То да, понимаешь, сё. Звонок. Муж. Что делать? «Прыгай с балкона!» – командирничает она. «Восьмой этаж! Убьюсь до смерти!» – жмётся этот перехватчик. «Тогда муж тебя убьет!» Выбора нет. Прыгнул. Летит и

молит Бога: «Господи, спаси только! А я гулять брошу, пить брошу, курить брошу!» Упал в сугроб. Отряхивается и говорит: «Летел всего три секунды, а сколько гадостей успело придти в голову. Фу!»

Рассказчик и двое ближних парней сдержанно смеются.

Святцев ржёт, как в лесу. Работает дядя на публику. Причём работает с браком. Переживает. Всем своим видом, всем своим поведением он твердит: вот мчат меня с дудками на ковёр, а мне всё то трень-трава, рай на душе, вот я и пропадаю со смеху.

Да смех что-то чужеватый.

Пробавляясь анекдотами с попутчиками, он время от времени кидал на нас с Зоей Фёдоровной нервные взгляды скользом, опасливо, маятно вслушивался в наш разговор.

– После встречи с вами, – вслух рассуждала Зоя Фёдоровна, – я много думала. Да простите мою выпренность о силе газетного слова, но я прибилась к твёрдой мысли, что для меня лично все романы мира не стоят одной вашей статьи «Любовь под следствием».

– Ну-у... Юморок у вас злой...

– Напрасно вы так... Роман – это роман. От романа кому холодно или жарко? А не будь вашей статьи, наверняка не было бы и меня... Я-то свою бабушку распрекрасно знаю! Не было б целой семьи вообще какая есть: мой отец, моя мать, мои младшенькие две сестры, два брата. Сила у статьи несборимая... И с другой стороны заверни... Часто писатели

пишут истории своих романов. Но я что-то ни разу не читала, как была написана та или иная журналистская статья. И вообще мне кажется, журналисты, эти верные слуги Правды и Добра, в чём-то недооценены, держатся в тени...

– Ну что прикажете? Нож в зубы и наплясывать лезгинку? Обыкновенные люди. Обыкновенная работа.

– Не скажите. Не скажите...

Тут автобус остановился.

– Эй! Передняя площадка! – сухим, жёлчным голосом пустил в микрофон водитель. – Чего лыбьтесь? Ну чего порасчехлили лапшемёты? А ну отвали от дверей! Пускай Сан Саныч весь войдёт. Он же наполовину на улице! Выпадет ещё!

Казалось, автобус качнулся от сильного взрыва хохота.

– Га-га-га, – уныло, передразниваяюще произнёс по слогам в микрофон вошедший в распал водитель и выскочил заталкивать остатки Святцева.

Все уставились на переднюю площадку.

Одни искали глазами полицезреть, кто же такой этот легендарный Сан Саныч, которого знает сам областной водитель. Другие, кто был ближе к окнам справа, припали к стёклам, со смехом наблюдая, как водитель рьяно запихивал Святцева, хвост его плаща в приоткрытую дверь.

Я тоже разлил щёку по стеклу, следил за сердитым шофёром. И чем дольше смотрел на него, тем сильнее вызревало во мне странное чувство.

«Неужели *тот* самый? – оторопело думал я. – Неужели?..»

Чёрная родинка, на правой мочке уха... Он... Да ведь он и сюда вёз! Сам он ещё заговаривал... Тогда я не узнал. Не до него было...»

– Почему вы переменялись в лице? – насторожилась Зоя Фёдоровна. – Что там такое?

Привстав, она тоже посмотрела в окно, куда смотрел я, и, не увидав ничего особенного, пожав плечом, села обратно.

Наконец весь Святцев втолкнул в салон.

Дверцы за ним сошлись плотно, надёжно.

Мы поехали.

Завертелись, зашуршали жернова беззаботного, дорожно-го разговора.

Пока человек в пути, никакие дела, большие и малые, не смеют достать его. Оттого, кажется, человек в пути добрей, оттого в эти отдохновенные минуты он охотней, с лёгким сердцем вяжется в беседы с незнакомыми.

Я смотрю на радостные лица в этом новеньком, улыбающемся автобусе и думаю про то, что никто и не догадывается, что за леший-красноплеший за рулём.

– А вы знаете, – как бы между прочим говорю я Зое Фёдоровне, – что вы едете вместе с человеком, по злой воле которого вы могли и не родиться? По злой воле которого Александр прежде времени лишился отца?

Зоя Фёдоровна напряжённо заставляет себя улыбнуться.

– Разыгрываете?

– Ничуть. Это ваш непрошенный крёстный из Ряжска, быв-

ший судебный исполнитель, опять же бывший следователь Шаманов... э-э-э... Шиманов. Не без протекции вашего почтенного слуги переметнулся в ездуны.

– И эта зла мельница ведёт наш автобус?

– В том-то и весь парадокс.

– Для начала нелишне бы глянуть, что за... А потом... Совсем без ума сделалась... – бледнея, бормочет Зоя Фёдоровна, беда и выручка наша, ясное дитя ряжского скандала.

Острым, тонким, сильным плечом она рассекает толпу, продираясь к зашторенному мятыми, холодно-тёмными занавесками водителю углу.

От двери за ней устремился Александр.

Конечно, он слышал, что я сказал.

Зачем я вот так спроста вывалил всё это?

Не лучше ли было смолчать?

Что же сейчас будет?

Неожиданно ярко ударило в глаза солнце.

В оконце меж свалок туч впервые пробилось оно за все мои гнилушанские горькие дни.

Не теряя дьявольской скорости, со стоном кренясь, автобус резал излом широкой бетонки.

Дорога забирала, властно заламывала в крутой долгий поворот.

Воскресенье 6 сентября 1981 – четверг 14 апреля 1983

Реквием по советам. Эпилог

*«Зачастую в светлое будущее нас звали за собой
люди с тёмным прошлым».*

*Коммунизм – это фашизм бедных.
Генрих Бёлль*

1

*После того как поймешь простые истины,
хорошо бы понять еще более простые.*

С. Тошев

– Здравствуйте, папа...

– Здравствуй, сыне... Навконец... Навконец-то... И кто?

Меньшак! Каюсь, тебя-то как раз я меньше всего и ждал.

– Почему?

– А вспомни, мой горький младшик, как мы прощались...

Да где тебе вспомнить... На всё про всё было тебе три ле-

та. Уходил я на фронт утром. Была смертная рань. Я под-

нял тебя с койки, хотел поцеловать. Так ты распустил тюни...

Стал вырываться... Раза три сыпнул мне голыми пяточками

по лицу. Вырвался-таки и в одной рубашонке, унырнул под

наш барак на низких столбках... Стоишь на коленях-руках,

ревмя ревьешь. Так мы и не простились.

– Какие с глупского детства спросы?

– И то верно... Что ж такие у вас долгие сборы? В полве-

ка не втолкёшь... Лежи жди. Это неправда, что мёртвые не

видят, не слышат. Железная ветка и станция рядом. Внизу.

Я вас всех сверху, отсюда, с горки, видел. Не по разу мимо

проскакивали. Митрофан то в техникум, то на каникулы. На

год по два конца туда-сюда, туда-сюда... Позапрошлой осе-

нью в Адлере в санатории жировал. На Рицу ездил. Перед

ним автобус с людьми сорвался в пропасть... Всё ахал на абхазские горы. Палец-гора – шестьдесят метров ростом – особенно легла к душе... А ко мне и носа не высунь... И Глеб в армию... Из армии... Даже Поленька наша раз промигнула вместе с тобой...

– То возвращались мы из Грузии на Родину.

– Наконец-то вырвались из каторжного чайного ада! Даже отсюда, из могилы, я видел по утрам, как бригадир Капитон бегал по посёлушку и стучал палкой в каждое окно, будил в работу: «Аба!.. Вставай!.. Сэгодня воскресень, работаэм да абед! Аба! Вставай скорэй». А было всего-то если не пять, так только четыре часа утра. В такую рань по воскресеньям гнали на сбор того проклятухи чая... Наконец выпрыгнули из этой чайной могильной ямы... Ну... В сторону этот чай!.. Ты... А ты? Ты без конца веялся мимо. Командировки... В Батум. В Тифлис. В Ереванко. А заодно, раз тут при близости, и в Насакиралики наведывался. Оно, конечно, кому не в охотку глянуть на места, где возростал... Скучаешь. Но почему по батьке никто не заскучал? Иле не знали, что я здесь? Разве вам власть не писала – похоронетый в Сочах?

– Писать-то писала. Да искать-то где? Развалились те Сочи на сто двадцать километрищев вдольки моря. Сыщи ветра в горах! Да я сам сперва сколько раз писал тем властям? Просил сообщить, где именно Вы похоронены. Нам не отвечали. Мы и реши, никто Вас не хоронил. Вынесли за госпиталев забор и весь расчёт. По газетам, у нас везде прокляту-

ха глянec. А в новгородских, в псковских, в ленинградских лесах до сей поры спотыкаются о солдатские косточки. Где пуля остановила, там и схоронила. В эту зиму снова написал. То ли гласность затюкала – ответили сквозь зубы. Похоронен в братской могиле на Завокзальном кладбище в центре Сочи. От железнодорожного вокзала можно доехать на такси, расстояние полтора километра. Откуда они взяли эти полтора? С платформы сразу на мост над путями, взбежал на горку по каменной лестнице и у Вас.

– Спасибо, сынка, что наведался. Я боялся, что никто так и не покажется. Невжель хорош и был, покудушки в рот подавал? Подымай, подымай и на. Никтошеньки! К другим худко-реденько наезжают... А ко мне... От соседей совестно... Ну да ладно. Рассказывай, как вы там. Среднюю школу все покончили?

– Да вроде. В одно лето я кончил школу, а Митрофан молочный техникум на Кубани. От Вас совсем рядом. Кончил он красненько. Как отличнику – выбирай сам себе место работы. Он и выбери город Серов. А после раскинул спокойненько умком, за головушку за бедную и схватись. Господи! Да на кой кляп нам тот Урал? Чего менять одну чужбину на другую? Разве мало навидались мы лиха в Грузии, в «стране лимоний и беззаконий»? Хорошая земля Урал, а лучше драпану к себе на Родину! И дикой полночью, в одних трусах жиганул по общежитию меняться. Серов! Город! Большой город! На любую воронежскую деревнюху! И выменял

у одного дружка Тришкина.³⁴⁸

– Умно! Умно!

– Мы сразу с Митрофаном уехали в Каменку. Это посёлок под Лисками. Потом из армии вернулся к нам Глеб. Я поехал в Насакирале, еле уговорил маму бросить тот кагорный, рабский чай и увёз в Каменку. Года пенсионные ей ещё не успели, а мы всё равно не пустили её больше ни в какую работу. Три лба одну мать не прокормим?!.. Митрофан был механиком на маслозаводе, а мы с Глебом разноработчими. Я кочегарил и писал в газеты. Через год меня направили работать в редакцию. Вжался заочно учиться в университете на журналиста. В Ростове-на-Дону. Недалеко тут от Вас... Менялись редакции. Менялись города... И кружило, кружило по провинциальным стёжкам, пока не прибило к московскому берегу. В Москве и прикопался.

– А наши всё так и живут в Каменке?

– Нет. Года четыре там помучились, и Митю перевели в Верхнюю Гнилушу. Это на севере нашей же области. С ним переехали и мама с Глебом. Митрофан добежал-таки до директорского кресла на маслозаводе. Потом власть подпихнула его в председатели колхоза. Глеба уже пенсионер. Компрессорщиков в пятьдесят пять выпроваживают.

– Господи-и!.. Уже сыновья стареют... Не вдвое ли старше против меня... Дети у всех?

– Только у Митрофана. Три девки. Сдал России под рас-

³⁴⁸ Тришкин (здесь) – троечник.

писку... Уже распшикал под загсовскую расписку. Недоверчивый... У меня... пока никого... Как ни старались...

– Значит, плохо старались. Плохой из тебя стахановец...

– Ну... Дело не в стахановце... Наверно, есть на небушке силы, руководят нами... Вот сверху голос нам был: какую жизнь вы при Советах прожили – такой жизни ни одной собаке нельзя пожелать. А вы в эту жизнь тянете своих детей! Подождите. Проводим вот Советы к хренам, тогда и зовите деток в новую жизнь.

– А годы что говорят? Дозовётесь? Зовутки не помрут?

– Зовутки у нас вечные! А вот деньки Советов катятся к похоронам. Отходит их жизнь... Мы столько настрадались в бездольной советской житухе, что все её ужасы напугали и наших ещё не зачатых детей. И боятся они идти в нашу жизнь... Ничего ж нет в мире страшней нашей рабской жизни при Советах! Хотя... До жизни римского раба нам никогда не допрыгнуть. «Римский раб гарантированно получал от рабовладельца литр вина и краюху хлеба в день. В случае невыполнения этих обязательств хозяин должен был бы его либо убить, либо отпустить». Зато в кремлёвской столовой в меню 144 блюда. О жили слуги народа! Зато сам господин народ не всегда имел к обеду сытый кусок хлеба.

– А кто спорит? Расхор-рошую жизнь соорзили Советы! Гибель ско-олько народу *шиковало* по сталинским дачам!³⁴⁹ Сколько полегло в незаконных репрессиях! Так смелее до-

³⁴⁹ Сталинская дача – тюрьма.

давливайте те проклятые Советы!

– Они сами себя уже раздавили своей ненавистью к простому Человеку. Накрылись тазиком... Тут дело решённое. Россия вбежала в новую жизнь. И уже в новую Россию придут наши дети! Первый счастливка уже поселился под сердцем у Валентинки... Она вот со мной рядом... Моя жена...

– Спасибо, дочушка, что наведалась... Не смущайся, не красней у доброго дела...

– Мы с Валентинкой, пап, не промахнёмся... А вот Глебушку жалко. Отец наш Глебий ведь вовсе не женился!

– Это ещё почему?

– От житухи роскошной... С мамой они тридцать лет протолклись напару в одной засыпушной бомжовой комнатёхе. На двенадцати гнилых квадратах! Дом-то – сарай аварийный! Свои года отслужил чёрте когда.

– Да где это видано, чтоб взрослый сын и мать жили в одной комнате? Или они звери? Где это видано?

– А-а, па... У нас ещё не то видано... Не мог Глеба жениться, хоть девчонок хороших у него ско-олько было... Одна Катя чего стоила... А... Приезжала к нему из Насакирале Марусинка, любовь из юности... Покрутились, покрутились... Не отважилась она жить с ним в одной комнате с матерью... И разве за это её осудишь? Да и он... Ну, говорил он мне, как я приведу жену? Как я лягу? Рядом же койка матери! Не чурки же мы с пластмассовыми глазками... Не скоты... Так и не женился. Рассудил... Дадут просторней ко-

нурёнку, абы не спать в одной комнате с матерью, женюсь. Ещё успею. Это дело не усколет от меня на палочке. То даже не подавал заявление на жильё у себя на маслозаводе. А я подкрути гайчонки – отнёс. И вот сидит ждёт ордерок. Тихо, без шума. Смирно прождал пятнадцать лет. Что-то не несут ордерок... Я каждое лето бываю у них в отпуск. Был и в прошлом году. Раздраконил Глеба, еле заставил пойти узнать, в чём дело. Оказывается, ни в какую очередь его не впихнули. Заявление честно-благородно утеряли. Что и следовало ожидать. Отпуск кончался мой через два дня. Я обежал все нужные конторы. Соскрёб нужные бумаги. Осталось райначальству снести. Оно обманом ушло от встречи. А я и не набивался особо. Послал в Кремль, президиуму съезда депутатов. Кремль столкнул бумажонки этажом ниже. В область. Область – в район. Сунули наших в очередь. Сто двадцать шестая! Общая многозначённая.

– Ка-как общая? Они безо всякой должны очереди! У них же целый бугор льгот! Взрослый сын и мать мучаются в одной комнате тридцать лет – раз! Дом-сарай аварийный – два! Семья погибшего – три!..

– В том-то и гнусь, папа, что гнилушанская райсоввласть не считает Вас погибшим. Так и сказали. В справке написано: умер в госпитале от ран. Фи! Умереть от ран где хочешь можно. А ты добудь нам справушку, где чёрным по белому будет начирикано: Ваш такой-то погиб в бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив герой-

ство и мужество. Надо чтоб обязательно погиб в бою. Только это тянет на льготу. А умер от ран – это недоразумение.

– Ах, сволота! Ах, сволота-а!.. Да что ж я, от обжорки иль от ресторанных ран спёкся? Не знаешь, так пошерсти законы. Найдёшь. Только за что и дают той гнилушанской властюре-петлюре хлеб с маслом? Жрёшь хлеб, так хоть законы чти! За это тебя кормят. Тыкни их пасекой в двести девятое совминовское постановление от 23 февраля 1981 года. По-русски ж там отрублено: имеют льготы семьи не только тех, кто умер от ранений, но и тех, кто даже лишь заболел на фронте... Ах, сволота-а... Додави, сынок, это верхнегнилушанское райдерьмо, добудь мамке сносный божий угол. Не могу я покойно лежать, всего трясёт её беда. Ей ли в восемьдесят два года гнить с сыном в падающем сарае? Дождь дуется ещё за Гусёвкой, а они в своей недоскрёбке распихивай всюду тазы да вёдра. Где ж тут быть покою? Ты Митрофанья подожги в союзнички на добрейское дело. Председателёк. Какая-никакая властёшка.

– О! За своё тёплое местынько он костыми падёт. Этому трусу всякий заяц в райкресле тигром мерещится. Я за Гнилушу, он и ну Глеба тиранить: «Чего этот писарь кадил по начальству? Меня теперь тут слопают и пуговички забудут выплюнуть. Зачем ты ему разрешил?» – «Да сколько ж нам терпеть эти квартирные страхи?» – «О! Тридцать лет это жильё тебя устраивало, а теперь не устраивает?» – «А тебя сколько такое жильё устраивало? Забыл, как вырывал

себе хоромы?» После женитьбы Митрофан, молодой специалист, попрыгал-попрыгал года три по развалюшкам и засобирился вкатиться в новый дом. Ни окон, ни дверей ещё не было, а он перетащил туда все свои тряпочки-тапочки. На ночь клал топор в головы. Оказывается, на его трёхкомнатную резиденцию твёрдо положил восхищённый глаз новенький райпрокурор Блинов. Он позже Митрофана приехал в Гнилушу. Прокурор тоже досрочно собирался влететь на воровых. Но лопухнулся. Митечка выпередил. Так коммунист у коммуниста чуть глазик не вырубил. Что там ваши вёроны! Топорок произвёл на прокурорика неизгладимое, неумирающее впечатление.

– Как коммунист – так нет человека! Кто у нас ещё в роду коммунист?

– Митечка в гордом одиночестве.

– И слава Богу, что лишь один. Коммуняка за своё поганенькое креслице от всей родни открестится... Ну, как он, наш партийный подпёрдыш, сейчас крутится, когда прижали хвосток коммунякам?

– О! Этот лук-бруевич³⁵⁰ как истинный хитрожопый коммунист вывернется везде. Перевертыш ещё тот! Он всегда там, где выгодней. Была партия на коне – он был в ней. Накрылась тряпочкой – он к партии уже крутнулся задом. Из дрын-бруевичей, похоже, наш преподобный Митрофаний,

³⁵⁰ Лук-бруевич – сельский верный ленинец.

наш Митечка драпанёт в митричи³⁵¹. Говорит, займусь бизнесом по-русски.

– Это что ещё за такой бизнес по-русски?

– Ну-у... По части бизнеса он у нас дока. То занимался бизнесом по-советски. Сляпал у себя в колхозе комплекс на полторы тыщи коров. Чёртова советская гигантомания... Конечно, по команде с партверхов. И поставил такое стадище на решётчатый пол. И стадо погибло. Конечно, оно не пало... А ну корова постой на решётке месяц, другой... Корова обезножели и их пришлось пускать под нож... Крепенько умылся наш бум-бруевичок с комплексом своим... Это был бизнес по-советски. Теперь этот наш бывший прыщ-бруевич мостится кинуться с головкой в бизнес по-русски.

– Да что это за счастье?

– А-а... Бизнес по-русски: украли ящик водки, продали, а деньги пропили.

– И он всерьёзку хочет таким бизнесом заняться?

– Говорил, вот отремонтирую бивни³⁵² и перекувыркнусь на русский бизнес.

– Блин горелый! Он так и жизнь кончит где-нибудь в доме отдыха...³⁵³ Лучше б ты мне про него не говорил, я б и думал про него хорошо...

– Разве Вам не о ком думать хорошо? Мама...

³⁵¹ Митрич – дезертир.

³⁵² Ремонттировать бивни – лечить зубы.

³⁵³ Дом отдыха – тюрьма.

– Верно... Подумай только... Поверх восьми десятков пришилино ещё два года... По живым годам она мне бабушка... А под венец бегала со мной в семнадцать...

– Папа, я всё не насмеливался спросить... Подольский архив нам всё отвечал, что Вы умерли в госпитале от ран. А тут на мой запрос вдруг пишут этой зимой: «По документам учёта безвозвратных потерь сержантов и солдат Советской Армии установлено: стрелок... рядовой такой-то, находясь на фронте Великой Отечественной войны, умер от истощения 16.3.43 г. в АГЛР³⁵⁴ – 32134». То от ран, а то уже от истощения. Что это значит?

– То и значит, что значит.

– Выходит, Вас в госпитале не кормили?

– Раз хата сгорела, чего воду разливать?

– Что-то Вы загадками заговорили...

– Какие уж тут загадки? Немка³⁵⁵ у Туапсе. Снабжения из России никакущего. А Грузиния не слала... Сама любила кушать сладко. Кормёжка у нас аховецкая. На одной шрапнели лежали. И лекарствушек никаких. Одного йода залейся. Эвкалипт, травы кой да какие были... Один и тот же бинт по четыре раза гнали в дело. Простирнули, подсушили и снова пошли тебя мотать. Ни лечения, ни питания. Только успевали ещё тёплышков отвозить...

– Непостижимо... Но лагерь *лёгкого* же ранения! Как же

³⁵⁴ АГЛР – армейский госпиталь лёгкого ранения.

³⁵⁵ Немка – немец.

можно умереть?

– Ни лекарствий, ни лечения, ни питания... И лёгкое перегорало в тяжёлое... Кому мы нужны? На лечёной кобыле далече ли упряшешь?

– Теперь я понимаю, почему кругом все глухи, ничего не знают, никуда не пускают. Правду стерегут. Хотел я зайти в санаторий имени Фрунзе. Там был Ваш госпиталь. Хотел посмотреть, что Вас окружало, что Вы видели в последний раз. Вахтёр, сытый спесивый язовский³⁵⁶ бульдог, дальше проходной не пустил. «Нечего тут шлындаться всяким!» – «Здесь в войну лежал мой раненый отец. Здесь он и умер...» – «Ну и что, что когда-то здесь лежал твой отец? А сейчас не лежит. Сейчас здесь санатория министерства обороны. Всё деревянное заменили на каменное. На что глядеть?» Круглая проходная, похожая не то на КПП, не то на дот, и по ней, как фельдфебель с ружьём, важно расхаживал этот облезлый язь и нёс ахинею, не глядя на меня, не видя меня. Я спросил, как фамилия главврача. Он: иди на Курортный проспект, из автомата по 09 спрашивай. Ну не бегемот с автоматом? Главврач Хетагуров дал по телефону ложный адрес медсестры Демиденко, в войну здесь работала. Мы с женой как последние умотанные савраски по дикой жаре излетали по рвам-кручам всю проклятую Бытху, но третьего дома не нашли. Нет такого в природе! Стали спрашивать всех встречных-поперечных. Язык вывел. Гнез-

³⁵⁶ Д. Т. Язов – министр обороны СССР в 1987 – 1991 гг.

дилась наша сестричка в доме, где поликлиника на первом этаже. На грязно-белой стене гвоздём нацарапано латинской: KLINIKA VATSONA. На долгий звонок еле узко открыла, гремя цепями и не снимая совсем их, испуганная злая старушоня с жидкими недодранными кудельками. Прилегла грудкой на цепи: «Чего надо?» – «Ульяна Григорьевна! Миленькая!.. Мы из Москвы, проездом... У нас всего два часа... В войну у Вас во фрунзенском госпитале лечился мой отец... Как всё было? Как лечили?.. Два слова...» – «Ничего не знаю!» – и закрылась на цепи. Из-за двери: «Начальником Вашего госпиталя был врач Шапошников, заместителем по политчасти Борисов». – «Порасспросить бы... Но как их найти?» – «Ничего не знаю». В сочинском военкомате, что в трёх саклях от санатория, один припев: не знаем! не знаем!! не знаем!!! Поезд ушёл, люди ушли. Брешут! Всё они знают. Да нам не откроются. Сколько хренова гласность отмерила, то и знай. Но за край не заскакивай.

– Э-э-э... Властёшкам мы вроде шила поперёк горла. Вот нас накидали сюда, как дрова, посверх двух тыщ душ. А все ль ранбольные отошли божьей волей? Голодом да нелечением сколь дожали? Возюкаться ещё с нами... Дешевше в земельку швырнуть... Было тут обыкновенное кладбище. В войну братскую вырыли... Госпитальный склад готовой продукции! Потом гражданских убрали. А кто своих не вывез, того наказали: оставленные гражданские могилы бульдозером поровняли да отгрохали мемориалище. Нам он, извини,

как до бритой лохматки дверцы.

– Почему?

– Откупаются от нас, от мёртвых. Сначала удавят. А потом памятники гандобят! Да не один. Целых два! В сорок восьмом во-он, под платанами, поставили. Скромный, тихий. Сходите посмотрите...

Старинный воинский шлем скорбел чёрными глазницами на верху белого обелиска. По постаменту ранеными, рваными ручейками лились фамилии. Памятник низко, повинно обегал широкий каменный парапет.

На нём сидели с ногами две зелёные полуголые шалашовки и курили.

За спинами у них маленькая девочка что-то сметала ладошкой с парапета, объясняла неведомо кому:

– Это не я намусорила. Это тётеньки намусорили...

– Курячки! Вон отсюда! – зыкнул я на гулѣх.

Девушки лениво ушли.

Мы с Валентиной молча постояли у сиротливого памятничка, усталого, замытого дождями. Отыскали свою фамилию и невесть сколько простояли ещё...

– По нашей богатой бедности разве б не хватило, сынку, одного памятника? Так нет, давай ещё. Эти звѣзды в полдома, эти столбы до небес, эти лестницы с бесконечными фонарями по бокам, эти великанские мраморные стены полукругом с фамилиями. Каждая буква с кулак... Каждая фамилия по метру... Этот вечный огонь... Нас он согреет? Нам

от него тепло? У нас же не у каждого ли ещё дома полуголодные вдовы без дров мёрзнут зимами. Лучше б им отдали этот газ, мы б только легче вздохнули... А то глаза позамазали нам показушной памятью. Почитают! Да не нас – себя они почитают!.. За что мы полегли? За кого мы полегли? Будь у нас правдонька, я б, может, тут бы и не курортничал. А так... Чужая судьба обняла да раздавила меня, сынку... Я прибаливал дома. Четверо детей мал мала мельче. Фронт мне не светил. А выдернули из мира под горячий глаз в счёт какого-то местного нацмена-прихвостыща. Это мне служивый прошепнул в Махарадзе, в военкомате. Надо было заерепениться. А я застеснялся. Прижух. Да ну ещё в дезертиры впишут... Русская простота... Не простота, а дряннота. Рябой кремлюк разве не берёт своих? Разве спешил выпихивать их под пули? Кругом война, кругома беда, а здоровые мандариновые носороги не драли пьяного песняка по садам? Глянуть бы на того муфлона, что откупился мной. Досе наточняка жрёт винище где-нить у себя в саду в бузине и варалокает.³⁵⁷ А я в тридцать три сопрей... Из-за гор немчура ломил к Грузии. Кто отбивался? Смотри фамильности на обелиске... Самарский, Самодымов, Сапожников, Рубаха, Недайбеда... Русский дурёка напару с хохлом. Хоть фронт и кавказский был, а кавказюков-варалоковцев на этом самом фронте мы не больше ли видели на плакатах? По нор-

³⁵⁷ **Варалокать** (от варале, варале – dfhfkt, dfhfkt) – припев застольной грузинской песни.

кам отсиживались соловьи? Ты б, сыняра, до точности проведаль-узнал, в счёт какого ж геройца меня сунули под пули?.. Эх... Ты много нашёл тут на мраморе ихнейских чалдонских имён? Пальцев на одной руке в избытке лишних. Вот так-то! И мы ж плохие. За что ж мы полегли? За кого ж мы полегли?.. Ты мне пояснишь, чем Ленин отличается от Сталина? Чем Хрущёв³⁵⁸ отличается от Сталина? А «генеральный бровеносец в потёмках» Брежнев³⁵⁹ от Хрущёва? А Черненко³⁶⁰ от Брежнева, про которого живые поют, аж нам слышать:

³⁵⁸ **Хрущёв Н. С.** (1894 – 1971) – первый секретарь ЦК КПСС в 1953 – 1964 годах, одновременно в 1958 – 1964 и Председатель Совета Министров СССР. Играл одну из главных ролей в организации массовых репрессий в Москве и на Украине. Один из инициаторов «оттепели» во внутренней и внешней политике, реабилитации жертв репрессий; предпринял попытку модернизировать партийно-государственную систему, ограничить привилегии партийного и государственного аппарата, улучшить материальное положение и условия жизни населения, сделать общество более открытым. На двадцатом (1956) и двадцать втором (1962) съездах партии выступал с резкой критикой так называемого культа личности и деятельности И.В.Сталина. Однако сохранение в стране тоталитарного режима – подавление инакомыслия, расстрел рабочих демонстраций (в Новочеркасске и в др., 1962), произвол в отношении интеллигенции, вмешательство в дела других государств (вооружённая интервенция в Венгрии, 1956, и др.), обострение военного противостояния с Западом (берлинский, 1961, и карибский, 1962, кризисы и др.), а также политическое прожектёрство (призывы «Догнать и перегнать Америку!»), обещание построить коммунизм к 1980 году) делали его политику непоследовательной. (Большой энциклопедический словарь, Москва, 1997.)

³⁵⁹ **Брежнев Л. И.** (1906 – 1982) – генеральный секретарь ЦК КПСС в 1964 – 1982 годах.

³⁶⁰ **Черненко К. У.** (1911 – 1985) – с 1984 года генеральный секретарь ЦК КПСС и Председатель Президиума Верховного Совета СССР.

«Брови чёрные, густые, речи длинные, пустые!»?

– Бабки-ёжки! Нашли где искать разницу... Да все они одним Самозванцем мазаны! Короткую хрущёвскую оттепель сам Хрущ и придушил. Окончательно добавил её холодный, пьяный застой при Летописце. «Хороша моя подруга и в постели горяча – в этом личная заслуга Леонида Ильича».

А сам Ильич очень не любил Урал. «Причина нелюбви Брежнева к Уралу выяснилась позже. Один из местных жителей в 1930 году написал на Леонида Ильича донос на имя председателя райисполкома. Якобы землемер Брежнев отрезал соседнему колхозу лишний участок земли. Опасаясь ареста, Брежнев, уже занимавший в областном управлении сельского хозяйства высокий пост, даже не снялся с партийного учета, а быстренько перебрался из Свердловска в Днепрпетровск».

А рекомендовал Брежнева кандидатом в члены КПСС Иван Непутин из посёлка Бисерть под Свердловском. И получил непутёвый вождюк.

Застой застоём, но у него скопилось к его могильному отвалу сорок две легковые импортные машины, до двухсот наград. Вот такой был Леонид Летописец. «Леонардо, «Ренессанс»» – так в Италии перевели название его брошюрки «Возрождение»... При Летописце усердно затачивал карандашики один референт. И до того насобачился анафемски ловко затачивать эти самые карандашики, что выскочил на них на самый верх – дослужился до «тубаретки» генсека. Что

один, что другой – без смеха и слёз не взглянешь. Цековские плеснуки еле ноги таскали, еле языками ворочали, уже слова по бумажке не могли толком прочесть, но – правила одной шестой планеты! Один застой имени Бровеносца – Брежнев запивал таблетки зубровкой – крепче берёт! – сменился другим застоём имени Карандашика. И какой работы ждать от «застойщиков»? Зато анекдотов про них накиданы кучи. Объявление по метропоезду: «Станция Черненко-ская. Переход на Брежневскую линию». Едва благополучно уронили гроб с Чернобровым в могилу у кремлёвской стены... Нет, это было позже... После андроповского перебега в мир иной³⁶¹ по народным каналам полетела новостёнка: «Сегодня в 9.00 после тяжёлой и продолжительной болезни, не приходя в сознание, приступил к исполнению своих обязанностей Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР, Председатель Совета Оборона Константин Устинович Черненко». Большой друг Бровей, этот генеральный карандашевед так стёрся в усердных заточках карандашей для генерального любвеобильного Неолита Ильича Летописца, кидавшего карандаши, даже не выходя из своих весёлых цековских апартаментов, – друг Бровей настолько уработался, что, когда допластунился-таки до генпоста, то у него уже не было здоровья, и этот несчай-

³⁶¹ Генсек Ю. В. Андропов долго лежал в больнице. А в то же время каждое утро от подъезда, где была его квартира, отходила его личная машина, в которой сидела кукла с Андропова. Пусть знают все, что генсек работает! И постовые отдавали честь кукле.

ка ездил в присутствии на катафалке. Приезжал хоть полежать у руля. В кресле генсека он ядрёно задыхался. Кислородный аппарат трудно выкраивал ему последние минуты. В больнице у Черненко дежурил военный. Всё следил, чтобы вождь, вызывая обслугу, не нажал на ядерную кнопку. Выступал Черненко сразу перед толпой микрофонов. За один держался, по другому подавали ему кислород, а по третьему ему шептали, что надо говорить. Вы будете смеяться, но он тоже умер! Бегали слухи, что в Колонном зале Дома Союзов его гроб был покрыт переходящим Красным Знаменем. Ну, кто следующий? Черненко успел-таки занять последнюю могилу у Кремля. Больше у Кремля не хоронили. Черненко был замыкающим в эпоху трёх пэ: пятилетка пышных похорон. В эту легендарную пятилетку с 1980 по 1985 ушло три генсека – Брежнев, Андропов, Черненко – и ещё четыре члена политбюро.

– А чем, скажем, Горбачёв³⁶² отличается от Гидаспова?³⁶³

– Ленинградцы в своём Гидаспове души не чают. Называют его нежно «наш маленький Гестапов». И ещё они присвоили Гидаспову почётное звание «Народный артист КПСС». Правды от него не добьёшься!

– А какой ты хочешь правды от цэковских генералуков?..

³⁶² Горбачёв М. С. – президент СССР в 1990-1991, генеральный секретарь ЦК КПСС в 1985 – 1991.

³⁶³ Гидаспов Б. В. – первый секретарь Ленинградского обкома и горкома КПСС в 1989-1991. В 1990-1991 секретарь ЦК КПСС.

Рыжков чем отличается от Лигачёва?³⁶⁴ А Лигачёв от Полозкова?..³⁶⁵ Эти кумедные Кузьмичи... Я что-то не вижу между всеми ними особой разницы.

– У Вас тут, папа, на Кубани *кре-епенько*, наотмашку секретарил казачок Медунов. Не ему ли ка-ак светили огоньки сталинской дачи?! А его – в Москву!!! На пенсию. С поклонами поднесли столичную квартирищу. Орден за комзлодейства? И Полозков, кому он кинул кубанскую власть, вытворял ой-хо-хо! Сколько виноградников угрохал! С пьянством боролся! Химией всю Кубань угадил. Чёрное море возвёл в выгребную яму. Душил кооператоров... По убогому умку быть бы ему не выше завхоза в худом колхозе. А его столица кликнула под своё крылышко. Бегают слухи, кубанская мафия ищет художника, чтоб сочинил картинищу «Лигачёв и Полозков в Кремле». От злого бессилия запел народ:

*– На Кубань уеду я
В полозковские края.
Я туда, а он в столицу
Делать из страны станицу.*

И сделает, раз партия прикажет!

– Господи! Неужели из трёхсот миллионов нельзя вы-

³⁶⁴ **Лигачёв** Е. К. – член политбюро ЦК КПСС в 1985-1990.

³⁶⁵ **Полозков** И. К. – бывший первый секретарь Краснодарского крайкома КПСС; короткое время руководил российской компартией. Демократическая пресса потешалась над ним как хотела.

брать в кремлюки толковых? Или толковым запрещён въезд в Москву? Неужели что поплоче, то и наше? Это система подбирает «методом обратного отбора». Она не терпит умных. Умный начнёт ещё, чего доброго, думать, прежде чем что исполнять. А это уже опасно. Вся соль в поганой системе. Систему надо херить... А пока комцарьки передают друг дружке, как эстафету, палочку из умирающих рук в ещё чутельку тепловатые. Цэковский престарелый дом правит страной. Царюй! И в верховную касту чужак не проскочи. Вот уж где – хватнёмся «крепче за руки друзья». Друг дружку дёржат. Да умно веди дело – дёржи. А то не по красной ли дури эти партправители так устряпали страну за семьдесят три года? Что случилось со страной? Кругом нищета, запустение, разор... Семьдесят три года Советы гноили Россию... Пропащой век... Загубленный век России... Растерзанный... расстрельный русский век... Слава Богу, Советы накрылись мокрым рядом. А чего ж ихний символ валяется в мавзолейке? Вытряхивать не думают?

– Всё демократничают. В бирюльки заигрались с коммуняками. Но это до поры. Уберут!

– Давно пора. Не только тело Ленина, но и его дело смертно. Что он сам и его верняки сотворили с Россией?.. И виноватого не найдёшь. Не знаешь, в кого и стрелять. Все орали: коммунизм! коммунизм!.. Да ну какой он? Хоть вполглазка глянуть... Хрущёв как-то с перепою проорал по радио: «Мы достигли таких высот, откуда зримо видны сияющие верши-

ны коммунизма!» Вся Гнилуша так и села. Вся Гнилуша дунула на бугор, на самое высокое место. Ладони к глазам, крутят головы во все стороны. Где сияет?! Где сияет ненаглядный?! Ну!? Где!? Где этот самый коммунизм-онанизм-онанизм!? И видят... Слева Чураков ров, справа гусёвские гнилые овраги. А дальше... Туман, туман, туман... И мелкий зануда дождяра сеет-веет. И весь сияющий...

– Оп-пашки...

– В другой раз что мы слышали от того же Хруща? Уже конкретно обещал коммунизм первого января в восьмидесятом. В общем, Канары обещал. Вся страна бросает работать, едет жить на Канары. Хватит пахать. Даёшь краснознамённые советские Багамы-Мальдивы-Бали-Канары!.. Получили почти что голые нары. Лишь сынуля самого Хруща оказался ближе всех к Канарам-Багамам. Вынырнул в Штатах... Горбач вот сулит каждой семье отдельную квартиру в двухтысячном. Получит каждая семья квартиру так же, как получила коммунизм. Получит от большого хрена большие ушки. А ежели и получит, то такую квартиру, какую получили мы. Ско-олько народищу в одной яме!.. Даже на отдельный гроб не заработали. В простынке... И вся красная цена защитнику Отечества... Эх-х... Да что об нас, об пыли, бить слова?.. Кудрявый наобещал всем проснуться во вторник первого января восьмидесятого года в коммунизме. И обещанка его прокисла...

– Протухла... Конечно, проснулись, кто дожил. Сам он,

генеральный обещальщик, не дожил, спрятался на Новодевичьем кладбище... Там проще отчитаться о проделанной партией работе под твоим мудрёным руководством. А вот его сынуля не стал поджидать советского коммунизма. Загодя усвистал на гнилой Западок, в капиталистический коммунизм. Говорят, он колебался – ехать не ехать. Может, через сотняжку лет уж наверняка у нас построят? Может, подождать? Хотел уже было ждать. Да нечаянно глянул в календарь и тут же полетел. Две тыщи восьмидесятый год начнётся понедельником! Ещё хуже!.. Прикопался в Штатах, выкулил их подданство. И фонбаронствует себе подпёрдывающи. Конечно, всей Россией на американские хлеба не драпанёшь... А потому все прочие, кто дожил, уткнулись в талончики не только на продукты, но даже и на спички, на табак. Я в Москве тридцать лет и за тридцать лет только один раз набежал на вольную продажу гречки... Будто её и не было... За тридцать лет только раз увидел гречку в магазине на Мартовской!

– А что ж вы видели? На чём же вы ехали? На чём ехала Москва?

– На вечно прелом пшене, на зелёной перловке, на гнилой картошке...

– Эхэ-хэ-э... Это сейчас, в девяностые... Так, а то ещё и хуже было в тридцатые... – У нас, сынок, в госпитале был москвич, мой сосед по койке, рассказывал, как жилось в тридцатые в Москве. Гремели сталинские пятилетки. Пона-

везли из деревень голодных мужиков. Ударную работу требовали. А жить негде. Многие жили прямо у станков. На фуфайках отжимали ночи кто на лавке, кто на подоконнике, а кто и на полу. А один рабочий-крестьянин жил над трубой сталеплавильной печи завода «Серп и молот». С едой было плохо. У продуктовых магазинов стягивались десяти-тысячные очереди. Как решать проблему? Завалить магазины продуктами! Но заваливать нечем было Сталину, и «великий отец народов» приказал многотысячным отрядам милиции разгонять очереди. Он «мудро» долдонил: «На улице не должно быть очереди. Только в магазине». А кто оказывался за порогом магазина, того гнали взащей. Хоть человек и дежурил в очереди вчерашний день и всю ночь. Если человек на большую семью что-то уже взял и сумел второй раз достояться в очереди, у него отбирали продукты, ранее купленные, и возвращали тут же в продажу. А чтоб не отобрали, буханка хлеба тут же крошилась. Разные крупы смешивались. Этого уже не отберёшь. И вообще, учёные-сталинцы с пеной на ушах твердили, что обедать рабочему вредно. После обеда человек расслабляется, ему хочется отдохнуть. Поэтому лучше не обедать. Больше будет ударной трудовой отдачи. И на предприятиях время обеда было срезано с часу до двадцати минут. За двадцать минут не успеет человек расслабиться. О-хо-хо... А ведь голодные люди строили самое гуманное общество в мире! На словах, конечно. Голодом строили коммунизм... А как сейчас у вас в столице по

части мяса, колбаски?

– Чаще на картинке увидишь, – присмехнулся я. – Как-то мы с женой пошли в картинную галерею. Всё чин чинном. Экскурсовод вела нас от картины к картине, и все её песни были про эти самые картины. Табунок поклонников живописи с благоговением слушал. Вдруг какой-то мужик с драной шляпой в руке и с первобытным воплем «Колбаса!» побежал от нас.

«Где? Где? Где колбаса? – заволновался наш табунок. – Где выкинули колбасу?» – и стоного дунул за драной шляпой. Красивушка экскурсоводиха осталась наедине со своей голой худой палочкой.

Все сбежались к колбасе на картине. И все голодно зацокали языками, заоблизывались. Какая аппетитная колбаса! Ну разве позволительно так жизненно рисовать!? Один даже достал перочинный ножичек. Говорит: «Отрежу себе колёсико, а там будь что будь». Ему сказали: «А там мы тебя съедим!» Все голодно засмеялись, но от картины так никто и не подумал отойти. Какое это счастье – увидеть кусок вкусной колбасы хоть на картине! Ён-макарён... Никакое искусство не лезет, папа, в душу, когда жрать хочется!

– Боже мой! До какого сраму дожили... Москву душат прелым пшеном да гнилой картошкой...

– В Москве хоть прелое есть пшено. А в Гнилуше, – в деревне! – и того нету. Маме с Глебом постоянно шлём из Москвы с пшеном посылки. Как в гости ехать – всегда рюк-

зак пшена ташу!

– Боже, боже... В моей хлебной воронежской сторонушке нету своего пшена! Ума не скласть... Кулак *всегда сверхосьтку* кормил Россиюшку... Сколько оставалось ещё зерна на продаж за границе! В иные годы более трети мировых продаж зерна приходились на Россию! А они в фашистскую коллективизацию изничтожили кулака... Ну, изничтожили. А дальше? Чего они добились? Пустых полок? Так и пустые полки стреляют! Пустые-то полки и сметут такую неспособную, гнилую советскую властью-петлюру!.. Пшено из Москвы возят в рюкзаках в Гнилушу... Ох... Вот так коммунизмий!.. К слову набежало... Вы проснулись... Вас хоть поздравили сверху с коммунизмом?

– Что Вы, папа! Состроили вид, что никто ничего не обещал. Молчанкой отыгались... А обещали как жарко. Тот же Хрущ орал: «У вас там что, в жопе чешется? Пидарасы! Мы вам ещё покажем кузькину мать в производстве сельскохозяйственной продукции!» Показал... Первый из комцарей стал за границей покупать зерно. И к чёрному вторнику притопали с талончиками не только на продукты, но даже и на те же спички. Задохнулись от коммунистического изобилия!

– Что же народ?

– Народ, известная карусель, был серьёзно занят своим прямым делом. Безмолвствовал.

– Горький народ... Горькая страна... Дурю-ют... Ещё во второй сталинской пятилетке разбежались состроить комму-

низм. Ленин называл конкретную дату приезда коммунизма. Хрущёв называл... А он, этот самый коммунизм, всё не едет и не едет. Всё куда-то его в сторону заносит. Да всё в чужую, в гнилую. На Запад... Совсем заблудился-заплутился коммунизм. Там его одного упоминания боятся, зато, по сути, живут при нём припеваючи... Вот концертуха! А тут его строят! строят!! строят!!!.. Зовут! зовут!! зовут!!!.. Все-тоньки глотки порвали... А он им все красивые сроки сры-вает один за одним, один за одним... Что историки думают?

– Историки? Думают? Лет через двести что-нибудь надумают... А сейчас они организованно целятся пальцем в небо. Правда, неуверенно. Они пока никак не найдут, где это самое небо, где эта самая цель, во что целиться... Есть у меня один кепочный знакомец историк. В молодости в одной газете крутились. В профессорки выбежал. Послушал я, послушал лепеток этого Королькова, и уши в трубочку завяли. Оказывается, сейчас историки пока выясняют, кто был архитектором коммунизма. «Демонтаж на двадцатом съезде КПСС культа И.Сталина в первую очередь как теоретика, классика марксизма-ленинизма фактически сделал вакантным пьедестал главного архитектора «светлого будущего»». Ну, покидали, покидали туда-сюда костяшки на исторических счётах и прибились к бугорку: архитектор строительства «светлого будущего» Никита Хрущёв. Нашли наконец крайнего главного. Теперь веки вечные будут выяснять, что он обещал, чего навертел сам, чего навертели его последова-

тели-преследователи... Через толстые годы придумают сказку про убежавший на Запад коммунизм. Ну, говорю этому Королькову, сколько можно выяснять? Неужели неясно, что и когда обещали нам Ленин, Сталин, Хрущёв? «Не только вам, но и нам обещали. Но не рассчитали... Ленин, Сталин, Хрущёв – простые утописты». – «Не могильщики России, а всего-то лишь утописты?»

– Эти, сынок, утописты и есть могильщики. Они у-то-пили державу!

– Но, вишь, говорю Королькову, не рассчитали... А где же их хвалёное-перехвалёное научное предвидение? Нравится утопать – лежи на печке и утопай на здоровье в своих красных фантазиях. Кто против? Да зачем было семьдесят три года топить всю страну? Не Шурунди-Бурунди там какую, не Буркину или Муркину Фасоль... Шестую часть планеты! Изувечили страну, народ... Гнали назад в пещеры да на деревья... А отвечать некому. Кто же виноват? Да Афганистан! – открикивает Корольков. Афганистан испортил нам коммунизм! И понёс, и понёс, не подмазавши колёс, таки-ие толды-ялды... Оказывается, украли у нас коммунизм, слопали наш родненький коммунизмишко и утопили его в космосе наши вернейшие друзья! Афганистан, Куба, Вьетнам! Друзья и космос слопали наш коммунизм! Ежегодно Афганистану и Кубе подпихивали помощи по пять миллиардов доллариков. Сосала Куба нашу помощь и наплясывала в угаре ламбаду с лампасами. Работать некогда! А тут ещё попёр-

ли наши гены ружьём на Афганистан. Афган и оторви от нас пятьдесят миллиардов долларов. Это вам не пятьдесят копейшек. А ещё вляпались в войну с Америкой во Вьетнаме... Ой, до-ро-го обходится дурь. Мало явили её на земле, так полезли в космос. Одну ракетку закинь на Луну – тридцать миллиардов долларов. Столько отстёгивалось в год на несчастное сельское хозяйство.... А сколько ракеток-спутничков болталось наших в небе? И все к важному делу были пристёгнуты? Ничего мимо дела? Ах, космос... Ах, ненаглядные верные «друзья»... Афган окончательно перекрыл нам кислород и разлучил нас с дорогим коммунизмом. А так хотелось... Много чего хотелось. В сорока социалистических и сочувствующих странах содержали армии! Зачем? Для чего подкармливали «своих»? Чтоб былью одеть свои «светлейшие» мечты? Как в тридцатые запели

*Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем!..*

так никак и не могли остановиться? Несло наших комарьков, этих прыщ-бруевичей, и несло... Всё мечтали всучить всем светленькое будущее? Готовы были силой разнести его на штыках по всему миру?

– Мечтали-горели... Так хотелось... И слава Богу, что не срослось...

– А так подумаешь... Историков отчасти можно и понять.

Их же держат подальше от правды. Даже всякий генсекковский чих прикрыт грифом «Совершенно секретно!». Всё в секрете держат от нас правду о Ленине, о Сталине...

– Что да, то да... «Со Сталиным трудно было спорить. Ты ему цитату, он тебе – ссылку!»

– В Кремле-то он храбрун... А начинал как?... В ночь госпереворота-1917 Ося кувыркался с трио юных бандурсток – с тремя девицами-подлетками. Вот пока и всё, что известно об участии папочки народов в ревперевороте? Как-то на досуге решил наш «дуректор Есесера» поразвлечься и взял на излом – надумал пихнуть одного известного писателя военным корреспондентом на фронт. А тот писатель был его любимчиком. И ответил любимчик «дуректору»: «Я глубоко не военный человек... я болен...» И «дуректор» тут же *единогласно*, то есть единолично, исключил писателя из партии «за трусость». Снова написал писатель: «Я трусом никогда не был и не буду» – и уехал на фронт.

– А сам-то «дуректор» был очень большой геройка?

– Оч-чень, ну-у оч-чень большой... Не известно ни одного случая, что Верховный главнокомандующий побывал на передовой. Зато известна целая «фронтальная сталиниана» – куча картин «Сталин на фронте». (Особо тут постарался известный художник Павел Соколов-Скаля.) Но кто видел хоть одну фронтальную фотографию вождя?

– Гм... Какая-никакая всё-таки у нас гласность, кое-что узнаём про своих «царей» из газет, и восторг что-то не бе-

рёт... Ведь наш «дуректор Есесера»... Верховный Главнокомандующий нахапал в войну пять должностей высшего уровня... Своя рука владыка... А на фронте владыка бывал?.. По слухам, был целых аж два раза! И из этих двух разов один сплясался, сляпался такой... Немец отступил от Москвы. И Верховный, вспоминал Анастас Микоян, отважисто дунул по Минскому шоссе, где не было мин. Едет, едет... До фронта километров шестьдесят. То ли со страху от близости фронта, то ли... Прижала Верховного большая нужда. А кремлёвский бундесрат остался в Кремле. Выходит он бочком из своего бронированного «паккарда» и спрашивает свою многочисленную военную челядь: «А нэ можэт ли бить заминирована мэстность в кустах вдол дороги?» Ни один генерал, ни один офицер, ни один солдат из охраны не мог дать ему твёрдого ответа. И тогда Верховный Главнокомандующий на глазах у изумлённой многочисленной охраны героически метнул свою проклятую глину³⁶⁶ прямо на асфальт и на том гордо и мужественно завершил знакомство с фронтом. На всех парах жиманул назад в Москву. Ну чем Верховный Главнокомандующий смелей пуганой вороны? Голого куста испугался!

– Вот так генералиссимус! Кабинетный генералиссимус! Только по карте палочкой водил... Сталин рукойводил войной по карте. Картоводитель... Воевал... Генералиссимус... Кто он рядом с Суворовым? С Кутузовым?... Жил – косил

³⁶⁶ Метнуть глину – опорожнить кишечник.

свой же горький народушко. Помер, а косовицы не бросил. На мёртвого вождя захотели многие посмотреть в Колонном зале Союзов. Была страшная давка в очереди. В давке погибли 127 человек. И уже мёртвый вождь ещё убивал.

– Папа, говорят, мы выиграли войну благодаря Сталину...

– Вопреки!!! Разве не вопреки Сталину взяли мы войну!?³⁶⁷ В конце чумовых тридцатых кто заигрывал с однойцовым Гитлером? Перед войной зачем «дуректор» снял два заградительных пояса? Оголил пограничье? Из трусости перед Гитлером. Войны ждали. И будь наши крупные военные силы на границе, Германия никогда б не дошла до Волги. А так... Этот деспотюга изничтожил девяносто процентов руководящего состава нашей армии. Ухлопал весь военный генералитет! Весь цвет! Увидев обезглавленную армию-труп, Гитлерюга и встrepенись. А чего нам не домолотить её? Че-

³⁶⁷ Президент России Дмитрий Медведев: «Великую Отечественную войну выиграл наш народ, не Сталин и даже не военачальники при всей важности того, чем они занимались. Да, их роль была, безусловно, очень серьёзной, но в то же время войну выиграли люди ценой невероятных усилий, ценой жизни огромного количества людей. Если говорить о государственной оценке, о том, как оценивается Сталин руководством страны в последние годы, то здесь оценка очевидная – Сталин совершил массу преступлений против своего народа. Возвращения сталинизма не будет... Преступлениям Иосифа Сталина против собственного народа нет прощенья... Для большинства людей в мире эта фигура очевидна, она не вызывает никаких тёплых эмоций. Люди, которые любят Сталина или ненавидят Сталина, имеют право на свою точку зрения... Режим, который сложился в СССР, был тоталитарным... Гриф секретности должен быть снят с большинства документов из российских военных архивов». («Известия», 7 мая 2010.)

го нам не хапануть дохлю Россию? И в первый же военный день уже бомбил Киев! Война началась не на границе, а за полторы тыщи километров от неё. Почему мы первое время всё отступали? Потому что молодое, новое руководство армии не умело воевать. Погибая, мы учились воевать. Не так? Почитайте Малиновского!³⁶⁸ И дальше. Разве не подпровоцировал Сталин эту войну? И тем самым не подпихнул ли однойцового к нападению? Эха-а... Онойцовый громил чужеземцев, однорукий «кремлёвский горец» гнобил свой народ... Ума... Где было занять ума? В его ж политбюроху не промигнуло *ни одного* человека с высшей образованкой. Хотя... Не умней и гитлербанда. Там с высшим был всего-то один человек.

– Папа! Но... Разве не бывало такого, чтоб подымались в атаку с криком «За Сталина!»?

– Сучьи брёхи! Да хоть привали к моему виску дуло... Всё одно не заору имени палача... А так... по жизни... Я снимался в атаку за тех, кого оставил дома... За тебя... За Глебушку... За Митяюшку... За Полюшку... За горькую родимую Криушу... За дом, отнятый коммуняками... и спалённый...

³⁶⁸ Родион Яковлевич Малиновский (1898 – 1967) – полководец Великой Отечественной войны, маршал Советского Союза. Дважды Герой Советского Союза, Министр обороны СССР (1957–1967). Из его дневника: ««Всем нам в те годы нужно было пережить молодость, отсутствие опыта проведения операций армейского и фронтового масштаба... Всё командование на всех фронтах проходило этот этап, училось воевать, через поражения, страдания и кровь получало опыт, необходимый для завоевания. Иного пути в условиях 41 – 42 годов у нас просто не было».

– Ка-ак отнятый?

– Это я так... Сорвалось...

– Вы что-то недоговариваете.

– А как же иначе? Разве родитель всё бухает своему дитю без разборки? Дитё может не так и понять.

– А если дитю уже полста?

– Дитё и в полста дитё. Давай отойдём от этой нудоты...

Умер Сталин. На мёртвого вождя захотели многие посмотреть в Колонном зале Союзов. Была страшная давка в очереди. В давке погибли 127 человек. И уже мёртвый вождь ещё убивал...

– А был Сталин по натуре трус ещё тот. Всё оглядывался, что скажет Марья Алексевна. Во время войны он рассматривал вариант оккупации части Ирана с возможным включением её в состав среднеазиатских республик Советского Союза. Но в конечном счёте «великий кормчий» не пошёл на этот шаг, чтобы окончательно не испортить отношения с Великобританией и США. Территориальные претензии к Турции Советский Союз предъявил в самом конце войны. Планировалось наказать это государство за сотрудничество с фашисткой Германией, присоединив к себе территории, когда-то принадлежавшие Российской империи. Создание Турецкой Союзной Социалистической Республики даже не рассматривалось: оккупированные земли просто должны были распределить между Грузией и Арменией. Но закопятились США и Великобритания, и Сталин отказался от тер-

риториальных претензий... Дороговато таки обошлась стране сталинская трусость... Я вспомнил... Был в командировке в Крыму. Мне рассказывали самовидцы, как наши брали Крым. Немец, значит, в Крыму. На возвышенке. Наши идут с Кубани. Внизу, в проливе. Сверху их и заливают немец свинцом, и заливают. Вода в проливе – сплошь кровь! Неминуче всем погибнуть, а повернуть не моги. Повернёшь назад – тебя сзади свои же пристрелят. Приставлены наблюдать, чтоб наступающие не дали дёру. И поверни ты бежать – безжалостно уничтожали. В упор. А ведь всё могло быть проще... Командование армии, где политбожком был Брежнев, позже получивший звание маршала за взятие Кремля, находилось за сотни километров от боев. Сам Брежнев был в Тбилиси, гулял по ресторанам. На фронте брежневский героизм не высовывался из тени. Зато через много-много лет, когда «просто Ильич» совсем не просто стал генсеком, а там и самым главным в Верховном Совете СССР, его «героизм» кинулся набирать жуткие обороты и стал просто неуправляемым. «Просто Ильич» стал шлёпать самому себе Героя к каждому своему ебилею. Как *доборомзился*, дотянул до свежего ебилея – нате вам из-под кровати горяченький великий подвиг! Дожил до ебилея – разве не героизм? Рисуй самому себе звезду! А одну звезду он цапнул вне личного графика, не доехав даже до юбилея. Не утерпел. И за год до отхода наш «просто Ильич» выбился в четырежды Героя. Сравнялся-таки с Жуковым. Так Жуков добывал своих Героев в го-

ды войны, а «просто Ильич» – в пору болотного застоя. Не бумажный ли это героизм?.. Тот-то в войну, в Крыму... Будь власть армии на месте и видь всё, можно б было не переться в лоб, а – обойди стороной да с тыла и накрой вражину. Но как обойти – надо думать. А от дум наши начпупсы грыжу не наживали. Издали ляпали команду «Вперёд!» и дуй, Ванятка, без оглядки. Приказ надо выполнять, хоть он и пустоплюйский. Знай напроломущку при! Всех не перебьют, в России народу сверхосытку. Кто-то авось и возьмёт. И – взяли. Трусами закидали немца... Завоюй нас немец, что б было? Зажили б по-людски? Ой ли... Чёрт его маму знает... Вовсе никакого продыху... Зябко, как на Плутоне...

– Раз забежали, сынку, мы с тобой в нынешний день, скажи, что вы там перестраиваете? Старые портки перевешиваете на новые гвоздки? Так какой с этого навар?

– Нету ни портков уже, ни гвоздков...

– Ленина разбудил гомон перестройки, и Ленин воскрес. Посмотрел, посмотрел, что и как вы перестраиваете, и тихонько ушёл в глубокое подполье. А по мне, лучше б он никогда из него не выходил, особенно в семнадцатом. Как оно не по-людски началось, так оно и катится через пень-колоду... Не по уму... Доброе дело кто ночью заваривает? Ночью одни бандюганы промышляют. Чёрной ночью выхватили властёшку, сломали державу. Ломать не делать. Сломать сломали, а поставить на ноги нету умка. У Ленина был ясный план социализма? До сих пор что-то этот план не найдут,

как никак не найдут шахту, где работал Хрущёв, как не найдут заставу, где служил Черненко, как не нашли огоньковцы поле, на котором работал Горбачёв... Сляпали на бешеную руку хлипкую времяночку, холодную, голодную, прилепили вывесочку: социализм. Времяночка валится, её подпирают со всех сторон, подпирают, а она знай одно – твёрдо валится. Пришёл Горбачёв, попрыгал, попрыгал вокруг и... начал перестраивать. «У нас не было другого выхода...» По цепочке власть друг дружке передают. Властвуй, только не вздумай чего всерьёз менять! Господи! Да что в этой гнилухе перестраивать? Её надо с корня сдёрнуть и строить нормальный человеческий дом. Будет с нас времянок и временщиков в ранге «верных ленинцев». Бровастый спокинул вас в тупике, в драных штанах и полуголодных. Перестройщики смело вложили свой нескромный вкладец, геройски «вступили в фазу глубоких, фундаментальных перемен во всех сферах жизни», и теперь вы совсем без штанов и фундаментально голодные. Дуете гуманитарную помощь... Стыдоба... После балетного застоя накатила расцвет застоя. «Застой перестройки», великая болтовня... Никто не знает, чего перестраивают, и до того доперестраивались, что сидят без мыла, без спичек, без сахара... Даже без той колбасы, от которой кошки кидаются на дыбошки. Зато завелась какая-то гласность, «рот открыть уже можно, а положить в него ещё ничего нельзя». Форменный разгул демократии... Нашим дрын-бруеви-

чам³⁶⁹ вечно недостаёт умка обиходить свой дом. Коммуняки всем сулили золотое счастье – вогнали безответный народ в талонную нищету! Видали?! Билет в коммунизм – продовольственный талон!!! Нигде не ущипнуть ни продуктов, ни мануфактуры, ни другого чего для сносного житья... Сдвинулись по фазе... Урожайнейший нонешний год. Но «верные ленинцы» верны себе: – они и в урожайный год останутся безо всего. Урожайище ежли не кинут в поле, так сгноят в сусеках. Что ни посеешь, какая погода ни будь – в сусеках всегда хранятся одни кукиши. Уметь надо! «Никто так не умеет жить, как мы не умеем...» Дожили... Не то что табаку – с хлебом в Москве морока! Зато грёбаная Эфиопия жрёт наш хлебушко, говорят, *бесплатно!* А мы в урожайнейший год закупаем мучицу! Страна летит в пропасть, а президентишка и его хор «верных ленинцев» поют, подсаживая себя в тоскливые грудки: «Не можем мы поступиться социалистическими идеалами. Нас народ не поймёт». А народ уже семьдесят три года ничего не понимает. Ну как понять? Найди мне ещё где в другой земле такого президента, чтоб за пять лет царствования не одолел ни *одного* дела? Ну да за какое ни возьмись – обязательно завалит! В стране гражданская война?.. Под мильон беженцев!.. Союз разваливается?.. Да не вся ли социалистическая система расползлась?.. Германию прокал... Да за что мы бились? За что мы поклали головы в эту братскую яму? Немчурка оглядится в смехе, что надул доб-

³⁶⁹ Дрын-бруевич – верный ленинец.

рячка президентика, и не попрёт ли снова на Россию? На пятый же день, как слилась Гермашка, побежал по ихней земле голос: Германия должна жить в границах тридцать седьмого года! Германюк ещё себя выкажет! Бу-удет Мишутка локотки грызть... Это он проть своего народа герой. Какую «демократию» Вам подсуропил?.. У Кремля разрешённый митинг. В колечко слилась вся горячая Москва! А навкруг Москвы в засаду посадил десантников в касках, в бронежилетах, с оружием, с боекомплектами... Боевая техника... Боевые машины десанта... Наготове. Ждали сигнала «Ату!», по тревоге в ночь поднятые и свезённые в подмосковные леса чёрте откуда. Так собирали только раз – когда в Афганистан гнали на «интерпомощь». А что, если б дали команду бить митинговщиков? Народко проколупал про эти чёрные игрища. И тогда оборонный министрюк сбрехни. Мол, ученья шли, картошку убирали. Ишь, как лапшой кидается!? Да кто ж не знает, что учения зараньше расписываются на год весь? Кто не знает, что про учения загодя сообщается, как положено? Никаких сообщений нигде не было. Значит, не было и учений. А кто ж в бронежилетах да в касках, да при боевой технике из секретной боевой засады на картошку кидается? Так она в смерть перепужается, совсем уйдёт на дно земли. Эхаха-а... Воевать им со своим народом не привыкать... Как вы, живые подергунчики, терпите по тельвизору воскресные рыжковские проповеди-плачи? Голова правительства, а как пионер только докладает: там плохо, там плохо, там плохо...

Там коррупция, там коррупция, там коррупция... Ты ж правитель, у тебя власть в кулаке. Ты всё знаешь. Но что ж всё в тайне держишь? Возьми и придуши эту чёртову мафию. Но мафию он не душит. Но не мешает другим душить саботажем и голодом Москву, Ленинград, где к власти добижали демократы. Расчётец простенький. Видите, демократы не могут править, надо их скоренько к ноготку! Из последнего лупится, абы надёжней обмарать недовольных им, чтоб самому спокойненько сидеть на трончике. Этого пустоболта и всю его рать гонит страна в толчки из Кремля. А Горб как великий спец по части и вашим и нашим спляшем... на белом коньке с белой сабелькой... Ещё ка-ак заслоняет того «плачущего большевика» Рыжкова.³⁷⁰ Друг дружку держат, дружку держат, тем оба и целы. За некомпетентность не можем мы, говорит, Николая Иваныча отставить. Николай Иваныч порядочный человек. Слыхали? По-ря-доч-ный. Уважительная причина. Не слишком ли порядочный? Народу не даёт в частную собственность землю. Ах, вам земли?.. Да пожалуйста! Пожалуйста! Можем выдать полный коробок из-под торта! И даже новым бантиком перевяжем!! Процветайте!!! Рыжков категорически против всякой частной собственности. Но не для себя. В порядке исключения. Тихой сапой выколачивал себе солидный земельный участок... Спокойнушко порхает по дачкам генсек, вваливши страну в голод. Ему-то самому с голодом не здороваться. Нарисовал себе левой

³⁷⁰ **РЫЖКОВ** Н. И. – глава правительства СССР в 1985-1991 годах.

пяткой четыре тыщи рубляшей на месяц и води белым пальчиком. А простому народцу какая пенсия? Семь-де-сят... А прожиточный минимум? Сто пятьдесят один. Воистину, «наша цель коммунизм, вот только попасть в неё мы всё никак не можем».

– У мамы пенсия восемьдесят без двадцати пяти копеек.

– Горе, горе... Четыре тыщи и восемь десятков... Вот тебе живэ кйшка и живэ собака, как говорила Поленька. Я когда-то мечтал, чтоб у неё была шляпа с пером. А тут хлеб хоть каждый день на столе? Ну рази тёмный народко когда-нить поймёт своих комгоспод? Да и комгоспода взаимно не разбегаются понимать свой народ. Комгоспода всю жизнь живут уже в коммунизме с незапамятных лично для них времён... Для них главное не оторваться от коммунистических кормушек. Оттого и прикипели, приварились вмертвяк. Одна смерть и отпихнёт. Нужен им народ, как диабетика талон на сахар. У ниха даже промежду собой тайный насмешливый лозунг какой? «Планы партии минус планы народа!» Только и света осталось в нашем оконышке что Ельцин³⁷¹...

– О! Всех царьков в Кремль спускали на номенклатурных парашютах. А Ельцин народным духом вознёсся!

– Как ни топтал его сам Меченый, как ни топтали его *горбатые робята* – вознёсся. Первый государственный муж России! Выбрал сам господин Народ! Одним Ельциным и

³⁷¹ **Ельцин Борис Николаевич** – первый президент Российской Федерации. Избран на всеобщих выборах 12 июня 1991 года.

дышит страна. Не вырви он её из капээсэсовского болотища, всем бы нам хана. Гадалец Нострадамус ещё за четыреста лет сказал, что наша революционная властёха процарствует семьдесят три года и семь месяцев. Осталось рабской нашей каторги какие-то пустые месяцы.

– А дальше что?.. Хужей, сыне, не будет. Хужей не бывает. Хучь... Кабы ты знал, как горько моим косточкам лежать на чужине... Скажешь, Сочи тоже Россия... Россия-то Россия, да не моя. Моя Россиюшка – Новая Криуша... Столица моей души... Украли у русских Россию... Покрали у нас наши жизни в проклятом в семнадцатом...

– Папа, а зачем Вы уехали из Криуши?

– А разве Вам мамка не рассказывала?

– Да всё про вечные вербовки...

– Так и я ж ничего другого не скажу... Молодые... Кортелось мир повидать... Вольных денжаток ущипнуть... Мы и увербуйся за Полярик леса качать... Скачали там сколь годов – финн забузил. Мы и перевербуйся в Грузинию... Поближе к солнцу... У нас же было вас трое, один мень другого...

– Извините, папа. Но зачем Вы неправду говорите?

– У нас с Полею одна для вас, детки вы наши, правда. Другой правды мы не завели. Другой правды нету...

– Есть.

– Тогда ты Расскажи нам с Полюшкой правду про нас. Я ничего вам не Расскажу поверх того, что мамка рассказала

уже вам или ещё когда чего доприрасскажет...

– Мама уже ничего не расскажет...

– Почему?

– И мама... и... Глеб... уже... умерли...

– А чего ж ты сразу не сказал?

– Не знаю... Не знаю, какими словами это сложить... Не хотелось вот так сразу тревожить Вас... Уже после смерти мамы я поехал в Ваши места. В районе, в Калаче, случайно наткнулся на архив и зашёл. Дай, думаю, узнаю, что же про нас, про Долговых, история лалакает. И я узнал, что нас кулачили.

– Да, сынок... Были мы в раскулачке... Вот ты сам и узнал главную правду. А мы с мамкой вам никогда бы её не открыли. Я и мёртвый не проговорился бы...

– А почему так?

– Возради вас же... Возради вашего ж спокойя... Куда на учёбу, куда на работу – пиши бумажку про себя. Пиши: сын раскулаченных. Прочитают такое и какая учёба-работа вам засветится? Никакого ж ходу! Не лиходавцы мы какие вам... И там, за Поляриком, нарешили мы с Поленькой никогда не говорить вам про раскулачество. Не будете знать – легче отживёте... Вот чего мы, семья ссыльных переселенцев, и молчали про раскулачку, про свои принудиловские ссылки-пересылки. С купоросной Софьюшкой честно нельзя... А если что, пускай она за всё спрашет с родителей. Сын за отца не отвечаика... Когда это перегонять нас с севера в грузин-

скую малярийную сырь подымать чайные плантации, с нас, с чернорабочих, взяли расписки, что *никогда* не проявимся в Криуше и нигде не вякнем про свою высылку... Иначе нам несдобровать...

– Теперь я понял... Тётка, мамина сестра, рассказывала, что мама частенько приезжала к ней в Калач проведать. Всякий раз наскакивала и в Собацкий. Но в Криуше ни разу не показала. Страх не пускал.

– Страх за вас, сыны, не даёт покоя и мне. А я уже сорок восемь лет гнию в земле. Всё дрожу за вас... Переживаю... Софьюшка Власьевна разок погрозит пальчиком – до окончания света в страх всадит... Как меня... Даже вот мёртвый боюсь её... Во такущая она наша сахарная советская жизнь...

– Как же, папа, это жутко – всю жизнь прожить в страхе... Мне было три, когда Вы ушли на фронт, и Вас я не помню. Но мама... Вина и страх вечно жили на её лице. Во всякую минуту на протяжении шестидесяти лет она боялась ни за что ни про что быть снова наказанной! Её страх переливался невольно и в нас, и мы, её сыны, были парализованы её вечным страхом. Мы не знали природы этого страха, но он вмёртвующ правил нами уже с детских мягких лет. От того вечного материнского страха мы ступали по жизни крайне осторожно, бочком, всегда покорно забегали в задние ряды, в тень, в угол... Жизнь в вечном углу... Это ли не страшно?.. Вот только сейчас я начинаю брать в толк, почему и мы, де-

ти, безотчётно, безо всякой ясной вины, тоже чувствовали всегда себя виноватыми и вечно в боязни жались на обочинку жизни... Как страшно аукнулась ваша раскулачка... Вот только сейчас я всё это осознал и понял... Вот только сейчас у меня сошлись в голове несводимые концы... Я только вот теперь понимаю многое странное в поведении мамы... Бывало, расскажет какой-нибудь занятный случай из жизни. Мне, пленнику пера, хочется записать её историю. Кинусь записывать тут же. А она уже как-то обречённо смотрела на мою торопливую писанину и часто спрашивала робко: «Ты что это пишешь за мной? Не хочешь ли ты сдать меня *туда?!*» – и тоскливо подымала палец кверху. – «Да Вы что, ма?» – со смехом отвечал я, совершенно не понимая её абсурдного вопроса. И только вот теперь мне открылись эти странности в её поведении... Мы, сыновья, что-то вроде подозревали... Не раз спрашивали обиняками и в лоб, не кулачили ли нас. Но мама и разу не создалась.

– Ещё б сознаться... К чему болтанкой кидать вам и себе на шею петлю?

– Знаете, папа... Вот я сейчас вспоминаю... Мама не одна такая была... Ведь что первое приходит на память... Люди, с кем сводила меня жизнь... Многие из них тоже были незаконно репрессированы. У одних счёт репрессированных шёл на десятки миллионов, у других на сотни тысяч. И те и те неправы. Официальных же данных нет. Доподлинно неизвестно, сколько из них были расстреляны, сколько отдела-

лись высылками на спецпоселения с обязательной принудительной работой на самых тяжёлых участках. Однако по мелочи что-то да известно, папа. Так, по справке Вашего сельсовета Новой Криуши в одном Вашем селе в двадцать девятом проживало более 10 тысяч! Но к 1941 году уцелело лишь восемь тысяч. Репрессивная коллективизация сожрала около четверти населения. Это говорит о грандиозном размахе жестокости. В целом же по стране, повторяю, официальных данных нет. Власть тут всё держит в секрете и помалкивает. Значит, есть что скрывать? Но, думаю, со временем может, откроется? Вон... После войны нам официально пели, что во Второй мировой у нас полегло всего-то четыре миллиона. А прошло время, и уже тоже официально называют двадцать семь миллионов! Так что... Сколько лет Советам... Разве не столько лет и незаконным репрессиям? Скорбный список будет расти. Ведь учёт жертв держался в секрете. Всё открывается после. Постепенно. Один тридцать седьмой год сколько беды наворочал?.. Потом... Наказывали не только отдельных людей, а целые народы! На Кавказе... Во время войны кой-которые перебежали на сторону немцев. Ну и наказывай конкретных предателей. Ну зачем наказывать целые народы? Высыляли... Двадцать минут на сборы и до свидания в Сибири или в Средней Азии! В чеченском колхозе имени коварца... Я про Берию.³⁷² Вспомнилось, слышал... В тридца-

³⁷² **Берия** Л. П. (1899 – 1953) – один из наиболее активных организаторов массовых репрессий тридцатых – начала пятидесятых годов. Арестован в июне

тые коварец Берия был главным чекистом в Грузии.

И вот однажды в парике он присутствует на суде меньшевиков. И вдруг один подсудимый ляпнул:

– А! Дорогой Лаврентий Павлович! Я композитор. У меня музыкальный слух. Я узнал Вас по голосу.

И по приказу Берии тому композитору проткнули ушные перепонки... Оглух композитор...

Позже к Берии на отдых приехал в Абхазию Сталин.

И вызывает Берия одного своего подчинённого стрелюка и так говорит:

– У меня будет сегодня встреча с дорогим товарищем Сталиным. И на этой встрече ты должен убить дорогого товарища Сталина. Но так убить, чтоб не убить. Я вынужден буду спасти дорогого товарища Сталина от тебя, ненаглядный ты мой паршивец. Когда войдёшь, наведёшь пистолет, внимательно посмотри. Не стреляй раньше срока. Подожди, когда я успею заслонить собой дорогого товарища Сталина, тогда и стреляй. Но не стрельни так, что меня первого и уложишь. Смотри, что тебе за это будет персонально от меня! Когда увидишь, что все на своих местах, тогда и стреляй. Не прямо в нас, а чуть-чуть влево. Сделаешь как надо, я персонально отблагодарю.

Стрелюк кивнул.

Когда дорогой товарищ Берия закрыл собой более дорогого товарища Сталина, ахнул выстрел. Пуля прошла слева

в четырёх с половиной сантиметрах от правого виска очень дорогого товарища Сталина.

И очень дорогой товарищ Сталин это ясно увидел и оценил.

Высоко оценил мужественный поступок своего спасителя. Кликнул к себе на работу в Кремль. Болтались скользкие слухи, что вроде метил его в свои преемники.

И дорогой товарищ Берия не остался в неоплатном долгу. Помог более дорогому товарищу Сталину поскорей умереть.

И стрелюка не забыл отблагодарить.

Персонально расстрелял его через полчаса после фатального левака выстрела...

Или... В конце войны в селении Хайбах колхоза имени Берии согнали семьсот человек, среди которых было много стариков, больных, детей и повезли якобы к поезду. Но органы НКВД не укладывались в срок, отведенный на депортацию, и руководитель акции Михаил Гвишиани принял решение уничтожить переселенцев. За селом людей затолкали в конюшню, обложили её соломой и подожгли. Люди выбили дверь, стали выскакивать из огня, а служаки Берии их расстреливали. Никому не дали уйти... Люди Берии хотели преподнести своему патрону особенный подарок. Ведь именно сам Берия правил высылкой и был тогда на Кавказе, в Грозном. На месте.

Берия, получив доклад Гвишиани, ответил: «За решительные действия в ходе выселения чеченцев в районе Хай-

бах вы представлены к правительственной награде с повышением в звании. Поздравляю».

– Мда-а... Есть над чем подумать...

– Папа, а за что же Вас раскулачивали?

– А за то, сынку, что наши в колхоз не пошли... Сляпали там у нас колхозище. И погнали всех, как скотиняку в загон, в той колхоз. А наши не пошли. Так наших за это объявили кулаками, хоть наши и не держали ни единенького работника. Нагрозились отнять нашу хату под школу. Грозили всё повыкидывать во двор. Иди куда знаешь! – орала голодрань ленивая, эти чёрные коммунары.³⁷³ Коров, лошадей позабирам!.. И забрали... Однажды ночью подняли весь дом и под конвоем всех на станцию... В чём были, то только с нами и осталось... А всё нажитое праведным трудом хапанули чёртовы Советы... Ах, змея-подлюка эта Софья Власьева... Как верно рубанул про неё Яковлев!..³⁷⁴ Что она злая Софья-подколка, утварила с нашим родом... И из-за чего началось? Гнали ж, повторяю, в колхоз. А мой батько не пошёл... Концлагерь ему за то! И на воротах того концлагеря

³⁷³ **Чёрный коммунар** – колхозник.

³⁷⁴ Александр Николаевич Яковлев. Академик. Член Политбюро ЦК КПСС в 1987-1990 годах: «У нас был фашизм почище гитлеровского... На самом деле фашистом номер один в прошлом веке был не Гитлер, а Ленин. Он был организатором фашистского государства. В российском, разумеется, исполнении. Сталинский режим – это дальнейшее развитие фашистского государства... Все они одним миром мазаны – все эти сталины, ленины, гитлеры, пол поты... Всё это одна компания». («Литературная газета», № 31 за 2016 год, страница 5.)

висел такой плакат

**«ЖЕЛЕЗНОЮ РУКОЮ ЗАГОНИМ
ЧЕЛОВЕСТВО К СЧАСТЬЮ!»**

Отсидел. Снова гонют в колхоз. Не идёт... И тогда всех наших вытряхнули в ссылку!.. И всё наше нажитое за долгие – долгие годы досталось коммунякам... Хоть бы одним глазком глянуть, что ж сейчас деется на нашей родной земле, с которой нас сдёрнули?

– Я, папа, глянул... Не возрадуетесь... Дом наш брали под школу. Потом вывезли куда-то в поле. Слепили из него курень для чабанов. Те по пьянке его сожгли...

– А наша земля?

– С Вашего двора я привёз Вам пакетик земли... Оставлю Вам... На месте дома сейчас – пустырь. За домом у Вас был огромный сад-огород. И там пустырь. Все деревья повырубали... Без Вас вся Ваша земля умерла. Её бросили. Ничего на ней не сеяли... И все шестьдесят лет на ней живут-бесятся лишь одни сорняки.

– Ах, коммунисты... Хреновы хозяева... Ну их... А тогда, в тридцатых, распшикали всех наших по гибельным местам. Сибирь, Колыма, Заполярье... Ночью подняли и в красный телячий вагон... В Заполярье... Оттуда в Грузинию... Стариков моих отрезали от нас, загнали куда-то в Сибирщину. Так я про них ничего никогда и не узнал больше... Сибирскими холодами добились... Мы с Поленькой переколачивались из барака в барак... из барака в барак... Так из барака

и отнесли на погост и Поленьку, и Глеба?

– Отнесли... Из барака... Всю жизнь толклись в очереди на человечье жильё. Всё обещали... И только в земле твёрдо дали отдельные домовухи...

– На обещания коммунисты горячи. У нас в Криуше отчекрыжили целый дом и всё в нём, под ноль, умели всё хозяйство. А всю жизнь в нищете продрожали наши по советским сараюхам. Только покойникам нету отказа. Дали вечный домик только в земле... И это хвалёный советский рай? Ну разве наша чёрная, рабья жизнь не смертельный приговор *советскому раю*?

– И без слов ясно...

– А тогда, перед войной, думали, подыдем вас, ребятёжь, на ноги. Заживём хорошо-хорошоохонько... Зажили... С середины войны я в братской могиле... И вы в сараях-могилах... Что ж с нами так обошлись? В своём Отечестве всю жизнь без дома... Из сарая в сарай... Из сарая в сарай... Мотало, мотало ветром вечной беды, покуда не вогнало уже полсемьи под могильный холмок. Что же так с нами обошлись?.. С нашей Россией?.. Переломал вовчара хребет Россиюшке. Не своё ломал... *Этот* корнем, слышал, чужой. Неужели это верно? Полжизни жировал по заграничью. Кто топтал наш крест? Кто плевал на наш крест? Кто перебил стан России? Всё о-он... кепка картавая... Семьдесят три года тает свечечка... Неуж Кузьмичи совсем доплюют?.. Догасят?..

– Ну уж! Есть Кузьмичи. Но есть и Ни-ко-ла-евич!

– Спасибушки Богу, сберёг Николаича. Не забрал Надежду. Можь, ещё подыметесь с Николаичем...

– Обязательно подыдемся!

– Вот уже почти турнули Советы. Легче стало?

– А не то! Верная пословица... И жизнь всласть, как ушла Советов власть...

– Так-то оно способней... Вот мы толковали про Сталина... Только ж пять процентов россиян согласны жить в сталинское время... Только пять... Народ той же монетой отвечал на нелюбовь к нему Рябого. В декабре ж 1947 года Рябой отменил празднование Дня Победы, сделал 9 Мая рабочим днем. Мол, нечего таскаться со своими боевыми орденами по парадам. Забудьте свои военные подвиги, давай трудовые подвиги! Надо восстанавливать экономику! Вот такое было наплевательское отношение к победителям...

– Сталин – это чёрное, жестокое прошлое навсегда ушло...³⁷⁵ Теперь и я навконец-то спокойный буду за всех

³⁷⁵ «Детализированный опрос недавно опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По нему, лишь 5 % населения России хотели бы жить при Сталине. Вот ключевая цифра. И если кто-то на каких-то других цифрах хочет навязать нам тезис «Сталин жив» и для России запрос на Сталина актуален, то эти 5 % просто кричат: «Сталин мертв!» Мертв как политик, как государственная модель и как лозунг. Сталин – это прошлое. Не будущее, и нет запроса на Сталина в настоящем. Сталин – прошлое, как Иван Грозный, Борис Годунов и Николай Второй или Степан Разин. Неактуальная часть нашей истории». (Телеканал «Россия – 1», Дмитрий Киселёв. Программа «Вести недели», 21 апреля 2019 года. 20 часов.)

вас!.. Толкай чёрт в спину те проклятушие Советы... Подальше от России... Горько всё вспоминать... Меня ка-ак топтали эти проклятухи Советы, ка-ак топтали... Кулак!.. Кулак!.. Всё отняли... Репрессии...³⁷⁶ В ссылку согнали... В Заполярье, в малярийной гнили Грузии ломали. Брезговали мной. А прищучила война, меня, инвалидного кулака, тут же угребли под ружьё в счёт какого-то чалдона... Откупился тот тараканий подпёрдыш от фронта, от смерти. Да я бы и сам пошёл... Война... Держава в беде... Я б и сам пошёл, только по-честному власть всё крути... А так... Обидно... Тяжко, сынку, преть мне здесь в подземелье вдальке от вас. Я б, может, тут и не был, может, и по сей бы день жил при семье... с Вами... если бы... Да что... Проклятые Советы кулака убрали – в вечный голод сами пали... Работать на земле так и не научились... Что ни посеют – нужду да голод жнут... Вовеки бы эти Советы не знать... Забудем их... Прежде чем подосвиданькаться, давай лучше на памятку сымемся. А то мы в последний раз сымались когда? Всей семейкой?.. Ты в пелёнках у матери на коленях... В Насакиралях, в том совхозе-колонии, под ёлкой... Тому десятков пять... Спустись на Северную, десять. Там фотофабрика. Тебе сразу скажут: на мемориале не сываем. Нету у нас там своей точки. Зато

³⁷⁶ «Все обвиняли царский режим в репрессиях. А с чего началось становление советской власти? С массовых репрессий. Я уже не говорю про масштаб, он просто такой наиболее вопиющий». В.В.Путин. 25 января 2016.) Подробнее смотрите в его же материалах «Ленин заложил под Россию «атомную бомбу», страницы 593 – 604.

у вокзала целых три точки у них. Даже с обезьянкой сымут. А к мемориалу – сотни три шагов! – лень подняться... Ты там не особо слушай. Попроси позвать Юру Коломийчука. Безотказный парняга. Один и ходит к нам... Сымет...

Я и Валя снимались с отцом, но не видели его.

По мрамору стены лились к плечу буквы, выстраивались в нашу фамилию. Меня встречно клонило к ним, толкало подойти ближе – я не мог перешагнуть через полосу капусты с маленькими рдяными цветками и такими же рдяными листочками, («Без боли неба не взрастёт цветок капустака...»), не мог перешагнуть через плотную ершистую, ровно подстриженную легустру, зелёный кустарничек ростом в пояс.

Две живые полосы, красная и зелёная, промыто, светло улыбались вдоль всей дуги стены. И ничего печальней не видел я в жизни.

Юра снимал *нас* четыре раза. И всё это время что-то во мне набухало, зрело. Наконец, когда он щёлкнул в последний раз затвором и стал закрывать свой аппарат, я не выдержал и заплакал, опускаясь на корточки.

2

*Помогать в нужде друг другу
Мы обязаны всегда.
Друг – нам верная опора,
Если встретится беда.*

Шота Руставели

От отца мы поехали с Валентиной в Насакирали.

И на первой же остановке, в Адлере, увидели, что весь простор у станции был заставлен палатками.

– Кто в палатках? – спросил я грузина проводника (поезд был тбилисский).

– А, кацо! Месхи!

– Что они здесь делают?

– Спроси, дорогой, у них.

Я Валентину за руку и из вагона.

– У тэбя, чито, родствэнники срэды ных эст? – зло пустил вослед проводник.

У меня не было родни среди месхов.

Но я не мог как-то так просто проскочить мимо.

Я не мог и самому себе объяснить, почему я пошёл. Встал и пошёл. Ноги сами пошли. И что мне оставалось делать?

Меж старых, закупанных дождями, объединенных солнцем и устало обвислых палаток, пришибленно бродили люди.

В сторонке на траве лёжа читал газету плотный закоптелый мужик. Под головой у него державно сопел крупный пожилой пёс.

Мужик в досаде саданул кулачиной в газету.

Пёс даже охнул.

– Вы за что бьёте газету? – спросил я.

– Её не побить... Разорвать мало!

Он проворно подлетел ко мне, горячечно подолбил куцатым порепанным в тяжких трудах пальцем по статье «Приезжайте, Твистоми³⁷⁷ вам поможет».

– Проституткин статиа! Смотри, ка-ак пишэт!.. Ка-ак пишэт!..»... грузин, живущий за пределами родной земли, находится за границей... Места компактного проживания моих сородичей... Турция, Иран, Франция, Москва, Саратов, Дагестан...» А где здесь Фергана? А где здесь Смоленск? Месхи им не грузины. Иностранцы! Тогда кто им Шота Руставели? Грузин перви номер! А Шота – наш! Месх! Далее. – Он воткнул яростные глаза в газетный лист: – «Мы ставим целью, чтобы проживающие за пределами Грузии её сыновья и дочери знали свои национальные традиции, литературу, историю, искусство... На сегодня в республике проживает 38 процентов представителей других национальностей, и потому мы так обстоятельно взялись за возвращение грузин в Грузию». Эти, котори пишэт, умни, как цар Ирак-

³⁷⁷ **Твистоми** (груз.) – землячество. (Речь о статье в газете «Заря Востока» от 18 июля 1990 года.)

ли. Зачем брехать? Каких грузин он возвращает, эсли нас даже на грузински порожка не пускает? Шоссе на Сухум от нас закрыли, все гори закрыли! Ми уже знаем, в Гагре эст «временный штаб народно-освободительного движения по предотвращению незаконного шествия на Грузию». А! Наше возвращение на Родину – незаконное шествие на Грузию! Ми идём домой! Наш дом – Ахалцихе! Руставели эщё в двенадцати вэк написал «Витязь в тигровой шкуре». Ми древни... Болной Сталин послал нас на Фергана... «Братки» узбеки сколько убивал нас?.. Мы идём к себе на дом. А нас не пускают домой! Эти там, – кинул он руку в сторону Грузии, – много об себе понимамай!.. Лениви! Трусливи! Воришки! Это крэпко лубит, – щёлкнул себя пальцем по горлу. – Горди, как орли, безделники!..

– Постоите. Вы зачем оскорбляете целую нацию? Что Вы говорите?

– Это не я. Это великий грузин Илия³⁷⁸ сказал про них ровно сто двадцать лет назад. Ты читал его стихе «Как поступали, или История Грузии XIX века»?

Из потайного нагрудного кармана он достал чавчавадзевский томик. Раскрыл на нужных страницах и подал мне:

– На! Читай!

³⁷⁸ **Илья Чавчавадзе** (1837 – 1907) – основоположник критического реализма в грузинской литературе.

КАК ПОСТУПАЛИ, ИЛИ ИСТОРИЯ ГРУЗИИ XIX ВЕКА

*Повстречав однажды деда,
Я зевнул, как полагалось.
Он зевнул, и вот беседа
Между нами завязалась.
«Дед, – сказал я, – ты на свете
Жил немало. Сделай милость,
Чем, скажи мне, в годы эти
Наше племя отличалось?»*

*Например, когда иссякли
Судьбы Грузии единой
И ушел от нас Ираклий³⁷⁹,
Благодетель наш старинный, -
Как тогда мы поступали?»
– «Как тогда мы поступали?
Всем известно: рот разинув,
Лишь чесались да зевали».*

³⁷⁹ **Ираклий Второй** – царь Кахетии (1744 – 1762) и Картли-Кахетии (1762 – 1798), стремился к объединению разрозненных грузинских владений в централизованное государство, свободное от ирано-турецкого господства. Заключил Георгиевский трактат (1873) о союзе с Россией, в котором видел необходимое условие прогресса и мирного развития родной страны.

*«А когда Георгий³⁸⁰ в горе
Воцарился на престоле
И враги восстали вскоре,
Чтобы он не правил боле, -
Как тогда мы поступали?»
– «Как тогда мы поступали?
Разоряясь понемногу,
На куски друг друга рвали*

*«А когда от неустройства
Стал не рад Георгий жизни
И не стало в нас геройства,
Чтоб служить своей отчизне, -
Как тогда мы поступали?»
– «Как тогда мы поступали?
Мы за помощью в Россию
Со слезницей побежали».*

*«А когда лезгин весною
Царь привел для ополченья
И пожертвовал казною
Ради общего спасенья, -
Как тогда мы поступали?»
– «Как тогда мы поступали?»*

³⁸⁰ **Георгий XII Багратиони** (1746 – 1800) – последний царь (с 1798) Картли-Кахетии (Восточная Грузия), сын Ираклия Второго. Не имея сил для борьбы против внешней и внутренней агрессии, Георгий XII просил Павла Первого о принятии Грузии в подданство России. Павел Первый подписал манифест о присоединении Грузии к России 22 декабря 1800 года.

*На тахте мы развалились
И душою возликовали».*

*«А когда почил в могиле
наш Георгий, и царевы
Братья, ссорясь, повалили
Царства нашего основы, -
Как тогда мы поступали?»
– «Как тогда мы поступали??
Мы их все поодиночке
Превосходно предавали».*

*«А когда в державе павшей
Воцарился царь соседский
И судьбы отчизны нашей
Стал швырять, как мячик детский, -
Как тогда мы поступали?»
– «Как тогда мы поступали?
Мы, отвагою пылая,
На Кабахи³⁸¹ в мяч играли».*

*«А когда нам становилось
С каждым годом тяжелее
И когда явивший милость
Затянул петлю на шее, -
Как тогда мы поступали?»
– «Как тогда мы поступали?»*

³⁸¹ **Кабахи** – старинный ипподром в Тбилиси, на месте которого был разбит общественный сад.

*На одной мы сковородке
Все поджариваться стали».*

*«А когда в жестоком пекле
День мы прокляли рожденья,
И мыслишки в нас окрепли,
И пришло в порядок зренья, -
Как тогда мы поступали?»
– «Как тогда мы поступали?
Собираясь на задворках,
Перешептываться стали».*

*«А когда про эти речи
Услыхали наши власти
И, загнав в хлевы овечьи,
Проучили нас отчасти, -
Как тогда мы поступали?»
– «Как тогда мы поступали?
Мы в испуге друг на друга
Клеветали, клеветали».*

*«А когда ценой доноса
Кой-кто спасся невредимый
И смотреть мы стали косо
На печаль земли родимой,-
Как тогда мы поступали?»
– «Как тогда мы поступали?
Мы без просыпа от счастья
Пировали, пировали».*

*«А когда весь день с гостями,
Позабыли мы про дело,
И мошна за кутежами
Понемногу опустела, -
Как тогда мы поступали?»
– «Как тогда мы поступали?
Мы именья друг у друга
Оттягали, оттягали».*

*«А когда таким манером
Разорили мы друг друга,
И, к крутым прибегнув мерам,
Подожгли свой дом с испуга, -
Как тогда мы поступали?»
– «Как тогда мы поступали?
У костра мы грели руки
И на бога уповали».*

*«А когда все наше знанье
Превратилось в пепелище
И когда у нас дворяне
Стали немощны и нищи, –
Как тогда мы поступали?»
– «Как тогда мы поступали?
Мы вскарабкались повыше
Да крестьян в тиски зажали».*

«А когда крестьян подвластных

*Унесло времен течение
И в именьях столь прекрасных
Наступило разоренье, -
Как тогда мы поступали?»
– «Как тогда мы поступали?
Эх, сынок, к чему вопросы!
Тут-то мы и застонали».*

*«А когда мы этим стоном
Крепостных не возвратили
И о рабстве отмененном
Понемногу позабыли, -
Как тогда мы поступали?»
– «Как тогда мы поступали?
Банк придумали земельный
И над ним же хохотали»,³⁸²*

*«А когда, полезный детям,
Банк услышал от кого-то:
«Я бездетен, с банком этим
Мне возиться неохота», -
Как тогда мы поступали?»
– «Как тогда мы поступали?»*

³⁸² **Банк придумали земельный** – имеется в виду дворянский банк, основы которого были заложены в 1873 году при непосредственном участии и руководстве И.Чавчавадзе; открыт же он был в 1875 году. Председателем его был избран И.Чавчавадзе, в течение 30 лет остававшийся на этой должности. Благодаря доходам банка существовали все основные грузинские культурно-общественные учреждения: общество по распространению грамотности среди грузин, грузинский театр, грузинская гимназия, хозяйственная школа и др.

*Мы, с правительством поладив,
«На плечо!» учиться стали».*

*«А когда...» – Но рассердился
Старый дед и крикнул строго:
«Что ко мне ты прицепился?
Отвяжись ты ради Бога!
«Как тогда мы поступали?
Как тогда мы поступали?»
Как и ты без дела шлялись
Да язык, как ты чесали.*

24 августа 1871

– Вах-вах... – глубокомысленно покачал я головой, прочитав стих.

И больше ничего я не мог сказать.

– «Братки» узбеки убивал нас мно-ого... Спасибо, Россия взял к себе.

– Вам не нравится в России?

– На Россия хороши народ, зато бе-едни, как в Африке...

Нас в разни село посилал по пять-шесть семья. Рассяли, как пепел Индири Ганди по Гангу. Зачем живи на чужой сторона, когда у тебе эст свой Родина? Зачем?

– Но ваш поход на Родину – это кровь?

– Да. Но смерт дома лучше, чем живи у чужих. Нас тища и эщё половина тища... Пойдём! Ми устали без дома...

Сухумская электричка явилась не запыхавшись с опозданием на два часа.

И никто не роптал.

Мы ехали в страну хаоса, где всё смешалось, как в дурном сне.

В Гудауте электричка стала.

Путь перегорожен автобусами.

Что? Почему?

Оказывается, Абхазия объявила независимость, забыв спросить на то высочайшего согласия сухумских локомотивщиков.

А сухумские локомотивщики против независимости.

Быстренько забастовали.

Красный свет зажгли и в ту, и в ту сторону.

Ровно за пять минут до полуночи.

За божескую плату мы добрались на попутках до Пшапи.

А наутро одно автобусное место из Адлера в сторону в южную подскочило до 170 рублей.

Ну... До Пшапи допшикали, а дальше как добираться?

Пока голосовали, меня чуть было не забрили в вояки.

И кто?

Пацанва грузинская. Подвалила стадом и сразу хором:

– Слюши! Оставайся давай живи у нас. Жэна будэт на мор купаться, а ти будэшь ночью ду-ду-ду-ду из калашник абхазов с нами косить. Ми им покажэм нэзависимост!

– Милаи! – взмолился я. – Умаяла меня ваша простота.

Что поёте-то? Что за фенькин номер? Кто я у вас?

- სტუმარი!

Гост! Сами дорогои ча-

лавэк!

– И что же вы, ханурики, гостю суёте в руки автомат? За-ставите бить тех, с кем веками плечо в плечо жили? Не-ет уж! Свои сациви кушайте вы, дружики, сами!

Попутный «жигуль» подкинул нас до Самтредиа.

Ему налево. В Кутаис.

Нам направо. В Махарадзе.

Мы живой ногой на станцию. Может, поезда пошли?

Какой там!

Во все стороны, насколько брал глаз, составы сонно тяну-лись зелёными хатками.

Бесприютная пассажирская детворня скучно бродила под вагонами. Как куры.

В вагонной куцей тенёшке прели от азиатской жары отды-хальщики. Трёх поворотов не доскакали до моря!

На наш немой вопрос дремавший на вагонных ступеньках старчик буркнул:

– Мёртвый сезон в распале. Восемнадцать тыщ нашего брата вляпалось в самтредский капканице. Тоже нашли иг-рушку... Свою паршивую политику нашими слезами разво-дят!

Пикетчики тут скакали за двумя зайками. Поверх расчёта с клятой независимостью им ещё надо выжать из Тифлиса срочную сессию и принять новый закон о выборах. Не просто новый, а более демократичный. Более!

Но при чём здесь эти несчастные, замордованные люди с поездов?

Натанеби.

Мы из автобуса – напротив поезд на Махарадзе раздувает пары. Объявляют отправку.

Едва влетели в вагон – двери за нами зло, с шипом сошлись, как бархатные крематорские створки за опускающимся в огонь гробом.

Пустой ветхий вагон скрипел, пьяненько пошатывался.

Было такое впечатление, что он мог вот-вот лишиться какой-нибудь своей важной части, если вообще не рассыпаться прахом.

Мы с Валентинкой таращились за окно на дивы кавказские. Что горы вдали, что сады окрест – всё радость, всё восторг, всё ах!

В вагоне было всего-то два грузина, и те резались в шахматы.

Мы сели напротив.

Присутствие зрителей подогрело игроков.

Тот, что помоложе, энергично сунул своего ферзя в серёдку доски с аварийным криком:

– Мат!

Грузину постарше думать как-то не терпелось.

Он схватил своего короля и торжественно, с ликующим приступом водрузил впритык к чужому ферзю.

Тоже с ритуальным криком:

– Атэц!

Начался объединённый крик. С обменными тычками. Они как бы отталкивались друг от друга.

И с поминанием *мамы* во всех падежах.

Причём несчастная *мама* поминалась исключительно на русском языке. Похоже, в знак глубокого уважения к русским гостям.

У нас прокис интерес к их борьбе до королей,³⁸³ и мы утянулись в соседний вагон.

Кроме нас теперь во всем вагоне была лишь одна-разъединая дебелия тетёха с толстым властным лицом и с причёской «Куда хочу, туда торчу!»

Мы сели поближе к ней и, не убирая глаз с окна, жаловались меж собой. Что же мы сели без билетов? А ну ревизор?!

Тетёха с лукавой бесшабашинкой послала нам короткий вопросец в разведку:

– Сталин живёт?!

– Ну! – в тон ей дуря резанул я, лишь бы отвязалась со скользкими наскоками.

³⁸³ **Бороться до королей** – играть до полной победы одной из сторон (в шахматах).

Тетёха младенчески воссияла.

Что хотелось бабе, то и приснилось!

– Маладэц, генацвалико! Сиди спокойно. На билэт нэ волнуйся! Ти идёшь на мой страна – правильно знай моя язык! Я на твой доме знай твои езык. Консэнсунс, да! И рэвизор ти не бойся. Здэс рэвизор я!

А чтоб я не засомневался, кто именно, она приложила лопатную ладонищу к гренадерской груди.

– А эсли придёт эта... – она ужала плечи, сторбилась, нарочито затрясла рукой и сделала ею несколько тех движений, какие обычно делает ревизор, пробивая дырочки на вашем билете, – так ми эго машинку эту, – она опять пожимкала рукой, – вибросим чэрэз окно вмэстэ с ным! Нэ бойся!.. Он придёт на вагон... Ми луди добри... Пустим... Пускай эдэт, если хочэт. Но молчи. Тыхо, бобик! Эсли скажэт: давай покажи билэта, я скажю эму культурно: сначала ти давай покажи свою билэту! Сам бэз билэт, а с тэбе требуэт! Покажи, нахал, свой! Он всё равно ничэго не покажи. Нэту! Сама зайка-замазайка!.. Ти бэз билэт, он бэз билэт... Какои разница? Ми эму эсчо здэлаем крупни штраф! Нэ бойся!

И, право, безбилетные страхи как-то сами собой отлились.

Мы с Валентиной плотней, надёжней подсели к окну.

Боже, что за небесные места!

Где ещё увидишь такие картинки?

Долго ли, коротко ли мы ехали...

С обрыва мальчишка махал поезду рукой.

На какой-то миг наши глаза столкнулись.

Малец зверовато дрогнул, подхватил с земли каменюку и запустил в нас.

Едва удёрнулись мы за вагонную стену, как окно с гремучим звяком ссыпалось на пол.

Ну паршивец!

Неужели мои рыжие усы так подожгли этого загорелого тимуровца?

Поезд, слава Богу, не стоял на месте, знай себе шёл, и жарившие вдогонку камни уже не нагоняли нас.

– Перегрелся паинька на кавказском солнышке, – промямлил я.

Наша спутница вяло подставилась сквозняку, что туго ударил в разбитое окно.

– Хатэл – махал... Хатэл – кидал... Чито хочешь, генацвалико, дэлай... Пэрэстройка!.. Камни, пожалуйста, бэй!.. Сразу нови воздух пришла!

Она лениво загребала рукой к себе воздух и больше ничего не говорила.

Скоро мы пристыли где-то посреди двора.

Из соседних вагонов ватно вышли распаренные парни.

Пали на травку отдохнуть.

Бычок рядом перестал собирать травку.

С верёвки в панике пялится на них.

– Почему так долго стоим? – допытывается нетерпеливый молодой голос. – Что стряслось?

– Страшная чепешка. Это до скончания века. Авария! Проводница попала под машиниста. Пока вытащат из-под этого разврателли...

– Не вяжи чего зря. Машинистик в очереди за картошку героем бьётся!

Я перешёл к окну напротив.

Знакомый пейзаж.

Мерия!

В этом местечке жила русская лётная воинская часть.

У ларька очередина в три обмота.

Машинист боком протирается сквозь толпу, нерешительно бормочет, будто мусолит во рту огурец:

– И товарищи... и граждане... и все остальные примкнувшие к дорогой очереди любезные господа... Я только спросить... Я только спросить...

Ещё на подступах к прилавку он готовно раскрыл мешок.

Это его и погубило.

– Мешок спрячь и так спрашивай! – потребовала злая очередь.

– Я не мешок свой спрашиваю... Я вас спрашиваю... Не видали, куда пошли два моих друга Сунь Ху Чай и Вынь Су Хим?

Очередь заозиралась.

Что за друзья? Куда могли уйти?

Очередь опрометчиво потеряла бдительность, и машинист тут же проявился у прилавка.

– Эй! Синоптик!³⁸⁴ – пробивается к нему капитан, тощий длинный горбыль. – Не крути нам мозги! Умней всех? Да?

– Да! – с вызовом подтверждает машинист. – И этого не стыжусь!

– А я говорю – нет! Без почему³⁸⁵ недоучила тебя школа. Ты знаешь, что такое советская очередь? Очередь тебе не шалтай-болтай! Очередь – святое дело! Очередь, наконец, – это подход к прилавку *по-коммунистически!* *По-ком-му-ни-сти-чес-ки!!!* Все культурно стоят, вежливым стерильным дыханием в затылок согревают друг друга... А он один напроломище лезет! Не ломай порядок. Я научу тебя ходить борздой! Давай, сизокрылый, лети в хвост очереди!

– Притронешься, тарзан, – сам полетишь!

– А ну крути отсюда педали, пока не дали!

Капитан хватает его за руку и выдёргивает из переднего края доблестной очереди.

– Доволен, что сильнятка? – полульстиво выговаривает машинист, и в мгновение снова просекается на подступах к дороговому прилавку, тычет в свой сипло вздыхающий паровозишко:

– Люди! Думайте ж вы умом! Забойтесь Бога. Мне ли тор-

³⁸⁴ Синоптик – всезнайка, примерный ученик.

³⁸⁵ Без почему – наверняка.

чать в вашем базаре?

– Ты на работе. Куда тебе ещё спешить?

– Уступите мне без очереди. Иначе вы все останетесь без картошки! Вы что, хотите, чтоб тут были все мои пассажиры? Да если они узнают, что здесь дают картошку... Все до одного набегут!

Крики. Толкотня. Гам.

– Крэмл... Сэссия... – хладнодушно поясняет тетёха, ни к кому не обращаясь.

Машинистик умудряется боком прорезаться прямо к весам. Худобный капитан тут же вылавливает его за мешок из давки. Снова отлучает от призового первого места.

Правда, можно было выпустить мешок и спасти первое место.

Но во что тогда брать проклятую картошку?

Машинист соскакивает с тормоза, с подпрыгом – он мелок ростом – мазнул великанистого костлявого обидчика по метровой щеке.

Конечно, в ответ получает свою звончайшую.

– Плюйрализм... – уныло сообщает нам бабец.

Мужики раскипелись, как истинные витязи, хоть и без тигровых шкур, кидаются друг на дружку.

Между ними проворно влезает какая-то мурлетка. Может, благоверная долговязика? Не баба, а таран! Пробует растолкать их.

Только не драка!

– Баба нам указ!?! – энергично спросили друг у друга драчуны.

Оба оскорблены и потому объединёнными силами наваливаются на бабу. Отшвыривают её к плетню.

Она резано взвизгивает.

– Гла-асност... – кисло тянет вагонная наша толстея. – Наплюйрализма бил... гласност бил... А консэксус... – картошка – нэту...

– Уйди через пять минут! – хрипит морёный дуб.³⁸⁶ – Не наш ты, хачапур, пельмень! От меня до следующего дуба шагом марш! Отвинчивай отсюда!.. На шестой минуте – ё твою картошку! – задушу!

– Не успеешь, бесценный! – петушится машинист и моляще окидывает голову очереди. – Ты что, троганый? Или таракановки перехлебнул?

Очередь молча сдаёт назад. Уступает.

Дубчик снимает с запястья часы, держит перед глазами.

Ему кажется, секундная стрелка обманывает.

Он подозрительно пересчитывает за нею сонные секунды.

На отходе четвёртой минуты машинист с беременным чувалом приседает чуть благодарно перед капитаном и вприбежку несётся к паровозу, довольно припевая:

– У верблюда два горба-а,
Потому что жизнь – борьба-а...

³⁸⁶ **Морёный дуб** – сухой, жилистый человек; атлет.

На рельсах машинист споткнулся и упал.

Прелая завязка лопнула. Мелкокалиберная, как горох, картошка ликующе брызнула во все стороны.

Весь хвост очереди угнулся подбирать ненаглядную картошку.

Капитан на кислом распутье.

С одной стороны, шестая уже минута стучит, а клоп всё здесь. С другой стороны, не у ларька, а совсем на новой, нейтральной территории. Душить? Не душить? Да и проездом он тут... Гость вроде. Гостя душить? Вроде как не по-кавказски...

Наконец, картошка вся в полном сборе, мешок прочно завязан.

Разомлелая радость разлилась по лицу машинистика.

С корточек он прилип спиной к мешку, ухватился обоими кулачками за хохолок, а поднять не может.

– Замечательно... – оправдательно шепчет хмырик. – Спасибо вам, Михал Сергеич, за предупреждение, что в ближайшие год-полтора всех нас ждут трудные времена. Господи! Что мне год-полтора, когда у меня есть *целый* мешок картошки! Что всем нам год-полтора, когда мы целых семьдесят три откуковали! Хватили мурцовки!³⁸⁷. Как «Отче наш» заучил я наизусть вашу дорогую указивку: «Надо их выдержать, пройти достойно этот крутой перевал в исто-

³⁸⁷ **Хватить мурцовки** – хлебнуть горя.

рии страны на пути к её большому и славному будущему». И выдержим, и пройдем достойненько! Не привыкать! И готовы строевым шагом войти-с в ваше славненькое, в ваше светленькое-с. Шаг наработали с семнадцатого. Стаж! Хватит состязаться в мычании! Хватит собирать шерсть с пупка. За дело!!!

– Клоп-демагог! – сердито пыхнул поджара. – Кто за тебя будет поднимать твой мешок? Ну... музи-зюзи... Разве что по симпатии к тебе...

Морёный дуб схватил поперёк мешок, метнул к себе на горб.

Машинистик как держался за хохолок, так и держится, дурчась, завис у капитана за спиной.

Все хорошо засмеялись, захлопали:

– Вот так мульти-пульти!

– Вот так муropriятие!

– Стон со свистом!

Так под шлепоток понёс мускулан вразнокачку мешок и машиниста к паровозу.

– Вот «разутой социализм с человеческим лицом»! – крикнул кто-то. – Один везёт другого! Ну, страна мудряков!

Худобкий мушкетёр капитан спустился из кабины.

В шутке кинул наверх машинисту-побродяге:

– За такой стервис с тебя причитается стопарец... Нет!

Полный ограничитель³⁸⁸ мураша!³⁸⁹

– Завезу к следующей очереди! Вот мы и пришли к солгасию.

– Лети, муля! Да не проскочи коммуну!

ՃՅԹՈՆԵՐ!

– Так точно, ³⁹⁰ Спасибо за помощь.

Невесть откуда взялась у магазинчика гармошка, и наш поезд отходил под частушки.

Под окошком плачет нищий,
Подавала советской тыщей.
Бросил тыщу на песок,
Просит хлебушка кусок.

Перестройка, перестройка,
Хорошо идут дела.
Даже Рая Горбачёва
Поросёнка завела.

По талонам – горькую,
По талонам – сладкую.
Что же ты наделала,

³⁸⁸ **Ограничитель** – стакан.

³⁸⁹ **Мураш** – муравьиный спирт, обычно употребляемый лётчиками.

³⁹⁰ Господин.

Голова с заплаткою!

Не пойду я на работу,
А пойду на танцы я.
Нас Америка прокормит,
ФРГ и Франция.

Дальше мы звенели на всех парах без единой остановушки.

Видимо, машинист давно картошки не ел.

Тихое изумление, замешанное на неясной тревоге, не давало мне отойти от окна. За окном встречно текли-лились места родней не назовёшь.

Сверкнула блёсткая петля дороги.

Каждый день во все три года я дважды пронёсился по ней.

В школу – из школы.

В школу – из школы.

Как заведённый.

Отозвался внизу весёлым, торопливым стуком мост через Натанебку.

Затолпились по обе руки знакомые дома.

Дремотная махарадзевская окраинка.

С ноющим сердцем глянул я на нашу спутницу, кивнул на окно.

– Махарадзе!

Она чужевато поморщилась.

– Генацвалико! Гдэ Махарадзе?

Я показал на мелькавшие корпуса званской чайной фабрики.

– Генацвалико! Махарадзе ми проехали!

– Не могли мы Махарадзе проехать. В Махарадзе тупик.

– Она тоскливо пошатала головой:

– Эсчо прѳшли год проехали... Эсчо прошли год Махарадзе получил свои стари име Озургети... Вот! Даже написали!

Верхом она качнулась к разбитому окну.

Мы как раз остановились напротив вокзалика.

Над входной дверью болезненно белели буквы ростом в локоть:

ОЗУРГЕТИ

Я помог тѳтетке.

Ссадил еѳ узлы на землю, и мы расстались без слѳз, без поцелуев. Хватило просто улыбок.

В редкий снег или в дни, когда велосипед мой был сломан, я бегал в школу через станцию.

Бывало, скачешь, скачешь по этим путям в масляной траве. Ни конца, на границы! И громадный был вокзалина, неприступный. Иной раз боязно было через него пройти. Обежишь по боковой каменной лесенке и дальше.

Теперь мне бежать некуда.

Вроде вокруг всё то же.

А как-то всё мало, тесно лежит, будто в кулачке.

Не подмолодел я за эти три десятка лет, состарился и вокзалик. Смотрит заброшенно, уныло... В зале всё как было. Только газетный киоск вынесли под окна на перрон, и в полу пробили выход в город.

Справа стоял памятник Филиппу Махарадзе.

Только выглянул в город и сразу видишь главную достопримечательность, этот памятник человеку, чьё имя город носил с тридцать четвёртого года.

Памятник сейчас в деревянном тулупе-нахлобучке.

Почему он взят в доски?

– Так лучша, – вшёпот пояснила вагонная спутница. Она ждала троллейбус. – Когда пришёл пэрэстроика, кто-то вместо цветы поставил Пилипе ведро с дарами выгребной ями. Ведро убрали, памятник закрыли на доска.

– Был же, вроде, видный революционер?

– Какой револсинер? Видни бандыта бил!

– И кто же бандиту поставил памятник?

– Видни бандыту сдэлали памятник эсчо виднэи бандыты!

Вокзальная улица слилась на главную Театральную площадь с театром Цуцунавы.

В Озургетах, в семье военного, родился Немирович-Данченко.³⁹¹

В Москве, в музее МХАТа, я видел выписку из свидетель-

³⁹¹ **Немирович-Данченко Владимир Иванович** (1858-1943) – реформатор русского театра, режиссёр, народный артист. Вместе с К.С. Станиславским основал в 1898 году Московский Художественный театр (МХАТ).

ства о рождении:

В метрической книге троечастной, хранящейся при церкви Кавказского линейного № 32 батальона во имя Успения пресвятыя Богородицы, за тысяча восемьсот пятьдесят девятый год в мужской графе под № 1 значится

1858 года декабря 11 дня рождение, а генваря 18 дня крещение

Владимир.

Восприемники: Озургетский уездный начальник, по армии капитан и кавалер Александр Николаев сын Подколзин и Озургетской городской полиции надзирателя князя Цулукидзе жена Мария Георгиевна Цулукидзева. Таинство крещения совершил батальонный священник Иоанн Шменев с церковниками Петром Гладким и Алексеем Поповым.

Сделал выписку тот же отец Иоанн.

Он подписался так:

Кавказского линейного № 32 Батальона

Священник Шменев.

Итак, в Озургетах родился Немирович-Данченко.

Тот самый.

Знаменитый, как солнце.

Но здесь сделали вид, что ни про Немировича, ни тем более про Данченка и не слыхивали ни одним ушком. Прива-рили театру имя Цуцунавы. Кто такой Цуцунава? И вида ни-

какого не надо делать. Ничего и так не знаешь.

В мою школьную пору театр ещё строили.

Зато над площадью уже могуче плыл самый крупный в мире памятник Сталину. Не в пятьдесят шестом, не то в пятьдесят седьмом пограничники еле взорвали. Слит был на века.

Теперь на площади был суший театр, декорация к пьесе из жизни кочевников. Брезентовые палатки, натянутые верёвки, раскладушки, вёдра, топоры. Голодающие были в белых повязках на головах.

К тумбоватым колоннам театра, скопированного с Большого в Москве, были спинками распято приставлены одноногие фанерные щитки с плакатами-лозунгами.

В бразильском фильме «Рабыня Изаура» (дело происходило в прошлом веке) новый фазендейро Альваро *за три часа* отпустил на волю своих рабов и раздал им всем всю свою фазенду в аренду.

В Китае поделили землю между крестьянами за одну зиму!

А у нас семьдесят три года тянут земельную резину.

Читаю с плакатов.

«Землю – нам, крестьянам!»

«В КПСС произошел раскол: по одну сторону оказалась партия, по другую – ум, честь и совесть нашей эпохи!»

«Коммунисты – выдающиеся творцы чистоты магазинных полок».

«В 1913 году Россия занимала по жизненному уровню тринадцатое место в мире. Сейчас мы прочно удерживаем шестьдесят восьмое место. Вечная слава перестройке!»

«Да здравствуют нищие Советского Союза! самые нищие во всем мире!»

«В перестройке главное не победа, а участие».

«Коммунизм – высшая стадия фашизма! Высшую меру – высшей стадии!»

«Фашизм и коммунизм – две трагедии, очень похожие друг на друга».

*«Не ладно в лагере марксизма,
В святых основах явный сбой.
И бродит призрак коммунизма
Уже с протянутой рукой».*

*«Коммунисты всех стран!
Соединяйтесь и убирайтесь!»*

Наискосок от Сталина жировал райком партии.

И как только Сталина снесли, райком быстренько перебежал в новёхонький дворец у памятника Ленину.

У памятников как-то солидней, надёжней живётся.

У Ленина, по другую руку, прикопалась и наша школка.

А в старом её здании на улице Ниношвили, на бугре, где я учился, теперь детский дом.

Меня впустили.

Я побродил, побродил по коридору, по своим классам.

На камчатке, в углу я сидел плечом к плечу с глуховатым простодушником из Лайтур Георгием Мачавариани. Вот тут сидел Тоганян... А тут Лидуша Сидорова... А тут Зиночка Свешникова, сладкая моя сердечная занозка. А тут Нина Решетникова... А тут Лида Кобенко... Где они? Что они?..

Все они собирались на выпускной.

А я не пошёл.

А в чём бы мне идти? В кирзовых сапожищах? В застиранной до смерти вельветовой рубаше?

А чуть раньше все они снимались на общую карточку. У меня нет той карточки и меня нет на ней.

Я было полез фотографироваться, пристроился в задних рядах, да вспомнил, не на что будет выкупить карточку, и, угнувшись, вылез из радостного, суетливого содома. Как жаль, что никто не заметил, не вернул меня тогда...

Во дворе я сломил веточку с толстой, с одутловатой ёлки, под которой, опоздав в дождь на первый урок, выжидал переменку; сорвал листок с чайного куста... Всё память...

Да было ли всё то, что было?

По временам мне кажется, не было, как нет и старого тор-

гового центра в городке, что выгорел в пожар. На том месте разбили огромную клумбу. И теперь там почти круглый год цветут цветы.

Обежал, поклонился я всем милым уголочкам в городке, и поскакали мы к себе в Насакирали. На пятый.

Только взбежали от станции по Леселидзе на горку, ан вываливается медведем из кладбищенской хмури волоокая кепка с метровой щетиной вокруг орлиной сморкалки.

– Дорогой! Знакомимся будем-да! – и, голодно пялясь на мою половину, пихает мне четвертной.

– В честь чего ты навяливаешь мне зелёную селёдку с топлёным маслом?

– Давай-да мнэ твой дэвушка!

Однако этот носорог мандариновый наглуха порядочный. Швырнуть в рожу? А может, поломать спектаклик? В рожу никогда не поздно подать.

С видимой неохотой я взял бумажку, потёр в пальцах.

– Всего-то одна?

– О! Мнэ эщё эст! Во-от!

– Не пойдёт. Дешёво ценишь моё знакомство.

– Аба, мнэ болша нэту!

Я раскинул руки:

– Помочь ничем не могу.

– Пачаму не магу? Пачаму? Ти нэ нада. Твой красиви кошечка дай один час. Любимся будем-да!

Эка повело хачапура на шашлык.

– Раз я вне игры, так к кошечке и обращайся.

Я сунул ему назад его бумажки.

Не берёт. Вылупился быком.

– Нэт... Отдай сама...

– Да нет уж, дорогунька. Отдавай сам. У нас самообслуживание. И потом... Глянем-ка, что тут передавать...

Я смотрю синие двадцатипятирублёвки на свет.

– Ха! Да ты чего фальшивки съёшь? Смотри, кто тут нарисован? Ленин. Тогда и чалься к нему. А вот когда *она*, – показываю на Валентинку, – будет нарисована, тогда и поговорим...

Я вдвое сложил бумажки, лениво изорвал в мелочь и этой мелочью осыпал его.

– Пачаму моя денга порвал?

– Потому что ты слишком рано спрыгнул с дерева! – Рывком я надёрнул ему кепку на носяру. – Посиди на дереве ещё с тыщу лет, хоть изредка делай дум-дум... Тогда, чичирка, может, что-нибудь да поймёшь. Цвети и пахни, букет Кавказа!

– А чито, букэт нэ чалавэк?

– Пламенный! Дай тебе Бог жену с тремя грудями! Ну, а пока боженька раскачается... Грустно станет, сходи к Дуньке Кулаковой!³⁹² Утешит... Всё, мурзик сдох!

Я покивал ему двумя пальцами, и мы со своей дражайшей отбыли.

³⁹² Дунька Кулакова – об онанизме.

Как-то паршиво на душе.

Не ожидал я от себя такой прыти.

Но что же делать?

Загорелый чукча выкупает у тебя на час твою жену, и ты воссодействуешь?

– Как ты с этим дикушей крутовато... – упрекает Валентина.

– А с кем миндальничать? Эти выше пояса – в мире животных, ниже пояса – очевидное – невероятное!³⁹³

– И не подозревала, что ты такой у меня петух! – выговаривает моя женьшениха. – А ну стукни этот долбокрут?

– Черныш труслив. Один на один никогда не сунется. А вот стая на одного, не задумываясь, налетит. Мы, грузины, народ горячий, семеро одного не боимся! А чего мне, русскому, бояться таких семерых?!

– То-то, гляжу, такой ты смельчуга.

– В школу ездил – кучкой кавказня налетала. А встретишь кого из них одного – сразу дрожемент в ногах и дристаным зайцем ускакивает прочь!.. А ты... А ты чего лыбилась при джорджике?

– Ласковое слово и кошке приятно.

– Ну не дурилка картонная? Ой... Будет этот джорджик в гробу... Одним добрым словком обогрей – вскочит и запля-

³⁹³ Выше пояса – в мире животных, ниже пояса – очевидное – невероятное. Переосмысление названий телепередач «В мире животных» и «Очевидное – невероятное».

шет!

Из пролетавших мимо машин всё живое обомлело пялилось на моё сокровище, шагавшее рядом со мной. Конечно, раз есть на что глянуть, кто ж отвернётся? Да в этих кавказских джунглях?

Нам дудели, останавливались, шумно, как муха на аэродроме, вели себя и набивались подвезти.

Я ни на что не обращал внимания, брёл по обочинке – нос в землю.

Какой-то обнаглелый красный «Москвичок» совсем тихонько прижал меня к канаве и остановился с открытой наразмашку дверью.

Дверь мягко тукнула меня и сама собой пошла закрываться.

Вгорячах я подпихнул её что было мочи.

Она захлопнулась – как выстрелила.

– Силне, дорогой, можно! – насмешливо посоветовал знакомый гортанный голос из «москвичовых» недр.

Ба!

Юрка! Клык! Дружок из детства!

Со своим драгоценным приданым. С Оксанкой!

В кои-то веки встретились!

В таком случае не велик грех и обняться, и поцеловаться.

От этих неожиданных гостей одно смущение.

То Оксанка одна была сзади, разлилась во все сиденье. А теперь жмись к мужу под локоть.

Но ничего.

Хоть и трудно, а перекочевала, из дверки в дверку еле втёрлась, угнездилась горушкой наперед.

– А мы в баню у город ездили, – докладывает Оксана и промокает платочком потный лоб. – Смотримо, знакомецкие путешественники. Как там столица?

– Да на месте.

– То ж и хорошо! А у нас, чёрт его маму знай, раскипелась мамалыга!.. Лёгкий ты на вспомин. Утром тольке вспоминала, а ты к вечеру и заявись собственным портретом.

– Чёрным матюжком вспоминала? – со смешком подкинул я, не спуская глаз со встречно летящих заборов, столбов.

– И шутя таких слов не носи... Разь мы забыли, кто нам Ритку в прядильщицы на Трехгорку примостил? А где одна нос просунула... Ритка вытащила Зойку... А тамочки и Эдика, в первый же месяц после армии. «Москвичи» делает! Да и мы с Юркой... Если что... Умоемся почище да в Москву навсегда... К своим костогрызикам... В душе мы уже москвичи!

– Мы с ней, – Юрка кивнул на Оксану, – уже труха. А все наши корешочки, славь тебя и Бога, в Москве! Свои семьи... Как лето, на побывку свозят внучек. У нас их сейчас целых три штуки. Дома московский базар!

– Сладкий базар! – подпела Оксана. – Приедем, увидишь сам.

– Разумеется... А что тут у вас за мамалыга кипит?

– И не говори... – Юрка кисло покивал головой. – Вкуса кипящей мамалыги не разберёшь... Такая мутотень!.. Перестройку надо делать. Но зачем распускать такую демократию? Совсем сгорбился Горбачёв. Морфинисты и алики правят жизнью! Тпру-у! не едет! Н-но! не везёт! Совсем жизняка взрбежь покатилаь!

– Да! Да! – спешит Оксанка словами. – Зубастовка на зубастовке... Голодовка на голодовке... В зубастовки поезд из Тибилиса три раза после апреля не приходил... Автобусы не ходят, такси не ходят... Одни алкаши ходят по плантациях и напрямую командуют: сегодня не работаем! Хотите жить, иди отдыхай домой! И люди уходят. В гараж к Юрке приходят два хватливых бородача: «Сегодня бастуем, не работаем. Завтра тоже. И потом... Такой держим динамизм». Все дурошлётцы послушно расходятся. У другой раз снова расходятся... В третий раз опять те же зашибленные бородачи: сегодня не работаем. Подходит Юрка с монтировкой: «У меня внучек полный гарем навезли. Кормить будешь?» – «Нэт». – «Ну и иди, мухет, к ё матери!» И поехали работать шофера. С тех пор что-то про зубастовку нам больше не докладывают. Забыли? И смех и горе... Я у себя в больничке шуткой нетнет да и спрошу баб на лавочке, как прохожу: голодовщиков на сегодня нету? Нету, отвечают. Жалько. Мне, поварёше, всё б меньше готовиться...

– Бесится с жиру народ! – распаляется Юрка. – Даже город переназвали на старый порядок. Снова Озургети!

– А что означают эти Озургети?

– А чёрт его маму узнает! Вроде слово с турецким пердежом. Я слышал, переводят так: сери здесь и иди дальше. Сшалели с воли. Готовы навалить и здесь, и там. И кто валит? Расскажи про Кишия, – подтолкнул локтем Оксанку в бок.

Оксанка засмеялась.

– Это коме-едища-а... Видали голодовщиков у театра? Тогда тоже бастовали на тех же театральных порожках. У Феде Дударя соседец... Кишия преподобный... Ну... В одно слово, вдаретый дурцой. Лени-ивый на работу. Разведаль про эту голодовку... На рани попрыгал в город и себе побастовать и поголодовать за общее ж великонькое царское дело. Прибёг... Ага... Сел... Ель отпыхался. Сидит... Тёща узнала, места не находит. Ох-ох-охуньки! Мой умный бедный зятюшка простудится на каменных ступеньках! Другим, говорят, райком дал подушки, матрасы, одеяла. А моему то ли даст, то ли раздумает?.. Ой, как бы не умáлили веку! И следом попёрла ему всё это сама. Деньжатишки прихватила. Ну, лёг дурындас на свою мягку постельку, честно с утра до обеда доголодовался и думает: всё равно тугрики ночью могут если не шпионерить-скомсомолить, то уж скоммуниздить наверняка, сбегаяю-ка я тайком в кишкодром³⁹⁴ да хоть кину чего на кишку и буду дальшь, до самого ж вечера, на всю катушку голодовать. По-сухому. Официально! Но он не только хорошо поел, его сильно пронесло дальше. Он ещё хóроше

³⁹⁴ **Кишкодром** – столовая.

выпил. Приходит весёлой восьмёрочкой, культурно снимает шляпу, шляпу к груди, на все боки всем чинно кланяется и садовится на грустнующие ступеньки. А «сухие» голодные бастуны, желтолицыя трупы, его не поняли. И ну шмотовать! «Ты, дизик,³⁹⁵ нашу идею испакостил! Мы за идею страдаем. А ты пьёшь, гадюк!» – «Да не пил я вовсе... Я так... Нечаянно немножко почитал классиков...»³⁹⁶ – «Ах ты ж кладенец!»³⁹⁷ Ну получай же ты, пролетарский болт кривой!» Отбузовали кре-пень-ко. Наклали доверху!.. Особенно отремонтировали бестолковку...³⁹⁸ Ну, позвали скорую. Надо взять в капиталку. Валяется теперь другой вот месяц в больнице... А на второй день после боя бастуны разбрелись... Дело рассохлось... Тёща в горе. Весь же зять в больнице! А что ещё больней, пропали подушка, одеяло, матрас. Сто рублей чистого убытку! А зятю, *умному* зятю, что станется? Вернётся брякотливый и будет пить и ждать новой зубастовки.

– Это ещё не укат, – коротко хохотнул Юрка. – А так... Пустой плевков в космос. А вот послушай... Был у нас прошлым летом шорох... Полный уссывон!.. Это как помер наш генералюк...

– Кто?

– Да дуректор же совхоза! Полжизни дирижировал сов-

³⁹⁵ **Дизик** – дезертир.

³⁹⁶ **Читать классиков** – пить спиртное.

³⁹⁷ **Кладенец** – предатель.

³⁹⁸ **Отремонтировать бестолковку** – разбить голову.

хозом. Дважды Герой... И поехал он прошлым летом в райком. Всем бюро утвердили ходатайство для верхов, чтоб ему, нашему дирижу, посодействовали поскорейше въехать в бессмертие. Тут порядок какой? Раз он дважды Герой, ему при жизни положен памятник. Памятника мало. Давай одновременно приваривай совхозу и имя нашего дерюги. Ну, всё утрясли, подписали. И дунул он в счастье к зубному. Отремонтировал хлебогрызку... Вставил полчелюсти... Счастливый в квадрате летит домой. В один день два хороша! Ну, думает, где два, там и третье выползет. Так и вышло по его... Ага... У райкома, на бугре, напротив памятнику Ленину, его тормознула хичовая бельмандючка... По культурному если молоденькая путешественница автостопом. Глянул он на неё... Фау! Фактуристая факушка. Фик-фок и сбоку бантик! Он, партподданный, любил всё большое, основательное. И всё это было у неё. Под божественный фундамент,³⁹⁹ как на спецзаказ, судьба подставила и фундаментальные ножи... Глаз не оторвать. У бедного аж фуфайка заворачивается!

«Куда нада, лубимая?» – спрашивает.

«Докуда бензину хватит, неотразимый!»

Халява, сэр!

«Эдэм на мой личны Багама! На мой Кэмп-Дэвид!⁴⁰⁰ Извини... На твои Кэмп-Дэвид!.. Дару тэбэ навэчно!»

«Так скорей вези показывай свой подарок!»

³⁹⁹ **Фундамент** – задница.

⁴⁰⁰ **Кэмп-Дэвид** – знаменитое ранчо одного из президентов США.

И этот фанерный утконос⁴⁰¹ привозит её на отшибку нашего центрального посёлушка. Это за старой школой/ На бугре. Там выбурхали новенький совхозный санаторий для детишек. Назавтра официально сдают. Показывает хазар ей этот санаторий и отдаёт ключи со словами:

«Ми как истинни вэлики вэрни лэнинци всо дэлай зараньше! Завтра сдайом эту санаторью. Зачэм ждять завтра? Сдадым сэгодня любимиму чалавэку! Встали на трудови вахту в чэст съезда любими партии да, аба, сдали досрочно! Какая гдэ прэтэнзыя? У тэбэ эст прэтэнзыя?»

«Нет».

«У мнэ тожа нэту. Ми с тобои настоящи строитэли на коммунизма! Получи! – и отдаёт ключи. – А санатори здэс никогда нэ будэт, пока эст у мне ти!»

И с этими словами сорвал вывеску и бросил в чулан.

К этому ушибленному, бывало, пойдёшь чего по мелочи попросить... Фигули на рогули! Фига восемь на семь! А тут на первой минуте залётной двустволке преподносит такую фазенду с целым дворцом в придачу! Благо, не своё. Совхозное! В дитячем санатории бордельеро открыть!

Ну, позвенели они красным винцом – целую фугаску⁴⁰² притушили! – и двинулся наш фрикаделистый⁴⁰³ разговеться.

⁴⁰¹ **Утконос** – человек с большим носом.

⁴⁰² **Фугаска** – большая бутылка вина.

⁴⁰³ **Фрикаделистый** – полный, жирный.

«Давай лубимся!» – поступило спецуказание от красного пахаря.

«Уха-баха! Щас!.. Щас!.. Только ушки накрахмалю!»

Но разговеться по полной ему толком так и не довелось.

Упёрся старчик бивнем – тут тётя Ханума пришла.⁴⁰⁴

– Не может быть, – засомневался я.

– Фактически тебе говорю!.. То ли головка закружилась от высоты, то ли сердчишко раздумало тукать... Толстым брёвнышком скатился ухабистый со шпанки. Развалился наш тупидзе по полу на всю комнату. Фюзеляжем⁴⁰⁵ вверх, руки раскидал в стороны. Когда-то был турбовинтовой.⁴⁰⁶ Да весь вышедши.

Посинел красный богатырь!

Ну что ж, всякому овощу свой фрукт.

Но самое смешное было на похоронах.

Слетелся весь районный партбомондище.

И такую несли хренотень!

«Он был настоящий верный ленинец! Настоящий закалённый большевик! Он всю свою героическую жизнь – долта! – без малейших колебаний отдал построению коммунизма! Он был великий борец на своём посту! Он борцом за счастье всех людей на земле и сгорел на боевом посту!»

От тундрыки!

⁴⁰⁴ Тётя Ханума пришла – о смерти.

⁴⁰⁵ Фюзеляж – пузо.

⁴⁰⁶ Турбовинтовой – сильный, деловой, энергичный.

Что ж, прорешка у какой-то шалашовой шлэнды – мартен, плавильня?

Вот таковецкая приключилась у нас фука-ляка-бяка-кака.

Так наш совхоз остался без верного, матёрого лениюги, без закалённого старого большевичка, без директория, без его имени и даже без памятника ему. Ну разве это не всепланетное горе?

Было что-то постыдное в том, что ехал я в машине по *этой* дороге.

И в детстве, и в молодости без мала двадцать годков я своими ножками остукивал эти камешки. В город, в школу или ещё за чем, и из города всегда только пешком, иногда на велосипеде.

Автобусы в нашу сторону не закруживали, на попутки я не просился. Ни разу не проехал на машине. А тут на! За сколькою пору выблеснула свиданка и прожечь в «Москвиче»?

Совестно...

Надо пройти.

С асфальтового бугра «Москвич» на полном скаку ухнул на бетонный мостище, широко, плакатно перемахнувший и Натанебку, и долинку при ней. Чуть выше по реке сипел дымами какой-то баламутный заводшко.

Раньше это место на дороге было самое тихое, пустое, закутанное необъяснимым очарованием. Ни домов по бокам,

ни огней. Один лишь пеший деревянный мосток в шаг ширью скрипел под тобой да в обвальные дожди напрочь закрывало всю долину вселомной, полоумной водой.

Сейчас всё вокруг закутали дымы.

За эти дымы мне совестно перед этой речонкой, что замелела, жалко сжалась под метровым холодным бетоном. Выйти б... Постоять... Как раньше забрести б обутым, одетым в воду и, раскидав в стороны руки, со всего роста навзничь пасть...

Но как выйдешь? Ещё обидится друг из детства.

И я против воли тяну лямку вежливого трёпа.

– Как местные, коренники, к вам относятся?

– Разно... – Юрка вздохнул. – Кто в Насакирали относился по-доброму, так тот и бежит той старой доброй стёжкой. Но таких всё меньше. Уже кое-кто сапурится. А кто подслучай и вякнет: в Грузии должно жить девяносто пять процентов грузин. Должно... Да пока половина грузин живёт за пределами Грузии. Арифметика кислая. И в то же время... Бывает, незнакомый кто бахнет прямо в глаза: рус, долой из Груз! Бэгом на своя Рус! Да разве мы это и раньше не слышали?

– Я б, – встряла Оксанка, – в двадцать четыре отсюда убралась, уберись они из Москвы.

– Ты-то у нас пионерочка. Повсегда готовая!

– Оно и тебя недолго собрать, – отстегнула Оксанка. – Дело не в этом... Дело... Как они определяют, кто свой, кто

чужак? По паспорту? По лицу? Что, у меня на лбу печать вдаретая: украинка? Вот я здесе тридцать пять лет. Всю здорovou уклала в Грузинию... В чай... Какая ж я чужачка? А Юрка? Здесе вродился! Под каким солнцем загораешь, той загар и мажет... Гля, как зажарился! Слитый грузиняка! Замашки все грузинские. Голос грузинский, говорит – будто камни во рту перекатывает. Язык ихний знает. Свои, совхозные грузины, с ним по-грузински гыр-гыр-гыр. И поедь куда, везде его за грузинца примают. Конечно, заговаривают по-грузинячы. И он в ответ по-ихнему гыр-гыр-гыр. От зубов только отсвечивает! Он тут чужак? Рази он своей волей тут выбежал в жизнь? Горевые родительцы-репрессивцы расстарились. Лучше б они старались где под Воронежем. А не спеклось. Беда выперла в Грузинию. У нас весь совхоз одни репрессированные... Выселенчуки... Горькие рабы... Свезли со всего света в каторгу. Почти задарма гнут позвонки... Совхоз – колония... Только что колючкой не огородили... Не тебе толковать... Май. Самый напор чая. Можно б подзаработать. А они норму раз и утрой, – и ты получаешь не больше чем в сентябре, когда сбор чай хилится уже на спад... На жалких копейках всю жизнью и едешь... Эх-х... Так... Вон дорогу от Гагр до озера Рица пробивали в жутких горах в тридцать третьем репрессированные голодающие с Поволжья. Дорогу ту так и называют: дорога русского голода. А наш совхоз не на русском ли голоде возрос? Не на русской ли беде? По высылке в тридцатые сюда спихивали в черно-

рабочие. В трудовых книжках не писали: рабочий. А жирнуче лепили одно: *чернорабочий*. Чёрный вол! Чтоба ты знал своё место... Тучами пихали сюда всех, у кого закружились нелады с Софьей Власьевной. Гнали репрессированных русских, украинцев, армян... У кого не стало тогда своего куска, своего берега... В ту пору все они оюшки как нужны были здесь. Кругома малярийные леса-болота непролазные... Сушили болота, крушили леса и на тех горьких просторах возвели чайные да мандариновые плантации!.. Понастроили всего своима горбами!.. Перетёрли какое лихо и теперьше кати отседа? Да нет, мы погодим... Копаешься им, как жук, всё копаешься, а тебя ещё молотят... А совхоз «Лайтурский» возьми? А шёлкомоталку? Кто там на самых трудных, на самых чёрных работах? Русский, вкраинец, армяшик. Конечно, для причуди попадаютса изредка и здешняки. Бригадир там, агроном, дирюга...⁴⁰⁷ Здешняки только пальчиками водят. А наичаще у себя по садам домашне винцо лёжа у чур⁴⁰⁸ содють вприкуску с виноградом. То у них главно занятие в жизни. Ещё они спекули хорошие. Наломают даремной мимозы в горах и лё-ёп в Москву Пят рублэ одына штюка!.. Ну, разгонят инокровцев. Кто ж им работу будет править? Сами? Ой лё... Той-то кричат они, да негромко: рус, долой из Груз! Подумывают, как бы сызнава созывать не пришлось.

⁴⁰⁷ **Дирюга** – директор.

⁴⁰⁸ **Чури** (xehb) – гигантский глиняный кувшин, в котором хранится самодельное вино. Обычно чури зарывают по садам в землю.

– Я-то, – хмыкнул Юрка, – к своим с завязанными глазками дойду до Москвы. Как тот кот...

– Какой? – заинтересовался я.

– А не читал в «Труде»? Не тебе говорить... Между Арменией и Азербайджаном кипит – перестройка! – необъявленная войнуха. Ну, раз ночью в мамкином наряде пришлось азербайджанской семье на бронетранспортёре бежать из Армении аж за Баку. Про кота забыли. Не до того. Через 473 дня к ним явился за 650 километров ихний кот.

– Как он узнал новый адрес? У кого дорогу спрашивал? – залюбопытствовала моя Валентина. – Кто ему отвечал?

– Мир не без добрых людей... Только мне отсюда не уйти. Как уйти от матери?.. От отца?.. Как уйти от родительской могилы?

Разговор обломился.

И как-то уже не подымался.

Могилы заставят молчать всякого.

На развилке Юрка взял к Мелекедурам.

– Стоп! Стоп, машинка! – потрянул я Юрку за плечо. – Мы выйдем... Надо бы пешочком...

– Зачем, когда есть тачка? И тут ближе. Мелекедури. Чайная фабрика. А там на бугор взлетел, и мы у цели. Дома. Лет десять тому мы перебрались с пятого в центр совхоза.

– Нет, нет...

– Ну давай круголя через ваш пятый?

– Нет. Вы ежайте через Мелекедури. А мы пройдемся...
По воздуху юности... А на ночь к вам. Гарантируем. Мы на
один день. Абы одним глазком глянуть на родные места...
На том мы и расстались.

3

*Все мы, люди, одинаковы, только надгробные
памятники разной величины.*

П. Канижся

С годами я всё реже наезжал из Москвы в свои Насаки-ралики.

С поезда, с автобуса ли пеше, как сейчас, бежишь к себе на пятый. И всегда боишься не застать уже кого-то.

В этот август едва застал в живых наш дом.

Первый раз мы расстались эхэ-хэ когда. Поверх тридцати лет тому.

Был тогда наш дом молодой, красивый, крепкий. В нём было лучшее у нашей семьи жильё. Правда, тесное. На четверых одна комнатка!

Но...

До этого дома и после него наша семья жила всегда в сарайных бараках, где, к слову, нам никогда также не давали больше одной комнаты. Всегда только одна комната...

Стены из армянского розового туфа обещали этому дому вечную жизнь.

А тут подходишь, всё в тебе примирает.

Брошенный, пустоглазый дом захлестнули со всех сторон дикие ромашки. Окна выбиты, двери выдраны. На крылечках сбиты подпоры, крыши над крыльцами нависли, раскля-

чилились мёртвыми козырьками. Того и жди, падут.

Угинаясь, я заробело промигнул в нашу комнату.

Пол местами вырван. На уцелелых половицах горки сора.
И кругом распадающийся дух отходящей жизни.

Со стены, рядом со ржавой подковой, я сломил пластинку
синеватой побелки.

Горьким, ясным блеском отгоревших здесь наших дней
плеснула она в душу.

Мне услышалось давешнее, как по утрам мама весело топ-
талась на крыльце, с сапог резиновых сбивала веником снег.

Значит, ночью таки выпал! Дождались праздничка!

Некогда! Снег помрёт! Не успеешь накататься! Скорей
вставай!

И без завтрака летишь в школу.

Пока добежишь до своих ненаглядных двоек, выше глаз
накатаешься с горушек на полотнянках сумках с книжками.

Снег в Насакираликах заворачивал не во всякую зиму.

А когда и набегал, так не на век.

Был нетерпеливый, нелёжкий.

Лёг бы себе барином и лежи до мая.

Так нет.

Всё куда-то спешил.

Утром в колено, сжат морозцем.

А с обеда уже ручьями резво скакал к долу с весёлыми
песнями...

То мне увиделось, как мама с кривой табуретки белила по-

толок самодельной толстой кистью из кукурузных рубашек. От едучей извёстки пальцы обмотала тряпицами. Как знать, может, в пластинке ещё живы синие полосы, что выбегали из маминой руки...

Я завернул пластиночку в листок, спрятал в паспорт и всё воедино положил в тайный карман на груди.

И не знал я пока, что вскорую снесут наш дом, вырубят чай перед нашими окнами. И на месте дома, и на месте чайной плантации посадят орехи...

На косогоре нет барака, где жила Женя и где мы встретились всего-то раз.

Нет как не было.

Весь тот простор задёрнула травяная злоба.

Нет персика, что служил нам штангой в футбольных войнах...

Нет танцплощадки...

Нет тропки, что глянцево сливалась спиралью с обрыва в каштановой роще ко дну оврага, к кринице...

Старый рыхлый бугор ссунулся, красно замаял криницу, но не совсем. В неглубокой ясной воде еле заметен живой ток из груди земли...

Криничная вода уже никому не нужна? Ржавые колонки у домов обломили, обрезали к ней дорогу?

Боже, боже...

Посёлочек ужали, согнали в два дома.

И те наполовину пусты.

Надстроенные уже позже нас вторые этажи не круглый ли год тоскуют в обнимку с печальными, плачущими ветрами. Городские помогальщики когда-то приезжали на сбор чая, какую неделю в них перебедуют...

Сохнет, умирает жизнь...

Уже вечер.

Но нигде ни души. Ни старого, ни малого.

Все на чаю?

Будут работать дотемна, пока рук своих не увидят? Как и в наши старые давние дни?

Нечаянно мы с женой набрели на фуфаечный комочек.

Комочек шевельнулся у стены.

Это была бабушка Федора. Федора Солёная.

В одной бригаде с мамой работала.

Бабушка вроде узнала меня. Виновато улыбнулась.

– Что же, – спрашиваю, – Вы сидите прямо на земле?

– А мне так, Тоник, теплей... – Голос у старушки слабый-слабый, взгляд с надломом. – Кольку выглядаю...

– Дождётесь сына. Потом что?

– В хату пидемо... В хате холодно одной... В обед вынес, я и греюсь... Трусюсь... Ах, кабы я, хворуша, ходила... Я б ему чай подмогала ирвать. Всю жизнь чай ирвала, ирвала... А чай сам меня порвал...

Старушка задумчиво замолчала, прикрыла глаза.

Казалось, она заснула.

Но тут же вздрогнула, слабо всплеснула сухими ручками:

– Ой, Тоник! Шо ж я брешу тебе? Колька чай не ирвёт, а рубит...

– Это как?

– А топором... Цальдой...

– Я вас не понимаю.

– А думаешь, я шо понимаю? Такое тут горе варится... Я тебе проскажу всё по порядку... Может, тогда и поймёшь. Ты помнишь, как ты ирвал чай? Руками, по одной чайинке и кидай в корзинку на боку. А лет десять назад стали собирать машинами. Японьскими... Вручную мы набирали в день двадцать-тридцать кил. А машиной... Не сто, так все двести! Работка не сахар, потяжеле любой каторги... Пойди по плантациях, ещё увидишь везде столбы, столбы, столбы под проводами. По тем проводам бежал ток... Все плантации упутали проводами... На столбах розетки... Включай да собирай. Делов – то! Это постороннему глазу всё легко, впросто. А... Сама машина весит кил двадцать. При ней мешок, куда собирается чай. И в тот мешок войдёт кил двадцать пять. Да кабельный шнур. Полсотни метров. Обмотаешься им и тянешь за собой. В том шнуре тоже кил пятнадцать... И выходит, что весь день ты таскаешь с зари до зари пуда под четыре отакой заразы. И это круглый год за вычетом лише зимы да ранней весны. На Колыме такую каторгу видали? Ох лё!

– Значит, соберёшь чай вокруг одного столба на полсотни метров. Потом идёшь танцевать вокруг другого столба?

– А куда денешься? Идёшь... Так и танцуешь со столбами... Го-орькая каторжанция... А ну нянчить такую дуру машину всейкий день!? Да она ещё без глаз, нарежет тебе чёрте чего. Потому до того, как поднести её к кусту, зорко осмотри куст, где какая бузина, папоротник там иль ещё какая сорная глупость – счახни с куста, подчисть его... Ну... Хорошо, плохо ли, а грузинский чаёшенька шёл. Но вот накрыла нас перестройка... Там... Ещё хуже... Отплюнулась Грузиния от России... Как ото не по-людски начиналось... Огнём да страхом скидали до кучи нам цэй Советский Союзище. И шо? Как криво сляпали, так оно и разляпилось на старые куски. На огне да на страхе вдолгую ль шо уживёт?.. Так вот, значит, отскокла Грузиния от России, как сытая горошинка от стенки, и пришла нашему чаю полная смерть.

– Даже так?

– Та-ак... Грузиния хóроше кушала с широкой русской ладонушки и хлебушек, и масличко, и всё прочее... На русском токе хóроше работали машины в русских руках, работала чайная фабричка. Русский ток гнал воду из Супсы, поливал чайные плантации. И вдруг всё пало! Как с обрыва кто толкнул. Стал ток идти с перебоем. И пришла совхозу смерть. Чай вовремя не убрал, чудок перестоял... Это уже не чай, а лешева облицовка. И покатилося всё кувырком... Не работают чайные машины... Стоит чайная фабрика... Чай

задичал... И вот, Тоник, то, за шо бились репре... репрессированные батьки... Твои батько с мамкой, я со своим Митькой... Мы в тридцатые корчевали здесеньки леса, сушили болотины, везде растыкивали чай... А наши дети, – мой же Колька! – теперь вот этот самый чай под огороды вырубают! Какие страхи... Русские поставили на ноги совхоз... Обихаживали... И... И русские же плохие... Нас и раньше здешняки не душили любовью. А зараз... Кипячёно косоурятся, косоурятся... И съехали все русские, кому было куда ехать по Россиюшке... Остались гнилушки, кому некуда податься... Такие, как вот я... От нас ни жару ни пару... Но и мы ждём своего близкого часу... Нам тоже отъезжать, да не вдалече, под дорогу в питовнике... Там Боженька примае всех... В паспорта не заглядае, не спрашуе, хто ты... Русский, грузинец?.. Не стало в совхозе русских – не стало в совхозе и жизни... А грузинец в работе разь особо сине горит? Зато винцо, песенки да пустодевки... Это ему мёдом по сердцу. Да чаю не этот *медок* нужен! Померла в Насакиралях жинзя... Вот так... И куда от этого денешься?

Она горько замолчала.

Я не знал, что ей сказать.

И тоже молчал.

Наконец, на долгом вздохе она снова заговорила:

– Без русских помер чаёк... Померла в Насакиралях жинзя... Жали что... Померли наши какие труды... Считаю, в Насакиралях чаю уже нема. А остался кой да где на сторо-

не, при домах... у редкого частника. Вручную ото ирвуть... Вручную протирают и сушат кто по-под койкой, кто на чердаке. И на баночки продають по базарям. А кто поразворотистей, на продажь гонять аж на Кубань. Наш русский рублеюшка понаваристей их ларька⁴⁰⁹...

Она помолчала, отдохнула и тихо зажаловалась:

– Слабость... Совсем на свале... До угла, хворушка, полз-ма не доползу... Ты не знаешь, Тоник, чем я Бога огневила? Лёньку взяв... Сына старшака... У тридцать пять годов... Самэ жить та жить... Хозяина восема вжэ лет як прибрал... Похоронетые рядома... Як я ни просюсь... Не бере...

– Это чего ты, Солёниха, там такое плетёшь с огнёвой болести? – шумнула от соседнего крыльца бабка, мыла с ножом кастрюлю. – Это куда ж ты, горюха, так дужэ просисся? И с кем ты тама?.. Голос навроде-ка из знакомских...

– Та Польки Долгихи младшенькой. Иди-но, Лещиха, по-здоровкайся та повидайся... А то тебе, молодёна, великий грех на веку будет.

Баба Надя бельмасто пошла на голос.

Она видела совсем плохо.

– Ах, Тошик, Тошик... Молодец... Значитя, не забуваешь наш пятый да нас, чайных гнилушек... Як тамочки мамка? Бачить?

– Мама померла, – тихо ответил я.

Баба Надя меня не услышала. Продолжала своё:

⁴⁰⁹ **Лари** – денежная единица Грузии.

– А я... Тошик! Ты таку дурошлѣпку бачил? Вся оглохла... Вся сослепла, а не помираю. Всѣ не как у людей. Ты попервах помри, а тама и слепни. А я сослепла вся и жива. Всѣ не как у людей... Уроде ще недавно молоди булы... Леса туточки невпролазь... корчувалы... Болота сушили да чай втыкали. Без нас, без русского дурака, рази б завѣлся туте чай? Были б те ж глушь да дичь, что и даве. Чай е... Все мы в той гадский чай ушли... А игде твуй батько? А игде Семи-сыновы? Анис та Аниса? Средь бела дня пропали... Как в воду пали... За вольное слово так покарать людей... Анис и твуй батько товаришували як... Больши дружбаны булы. В вечер, було, сядуть на крыльце... Поють... А отпели...

– Дедушка Федя дома?.. – с опаской глянул я на их окно.

– Дома... Под ёлкой за питовником. И как... Райка со своим не то в кино пойшли... Из кина вертаются. А у нас свое кино... Мы удвох вечеряли... Уже кончали... Ага... Только дывлюсь, мий хилится, хилится ко мне и кинул голову мне на плечо... Ага... Я думала, от шуткуе. А он как сшутковал? По-мер. Бога грех виноватить, хорошо помер. Не болел, не лежал так... Даже неголодный помер... Мы булы неразливные. На чаю век удвох паслись... Ты знаешь, с войны он прибежал с одной рукой. Почтарѣм был. Письма-газеты раскидал по людям и ко мне подмогать. Одной рукой дѣргал той проклятуху чай... На базарь удвох... Даже ругаться удвох... Наша руганка без зла була... Не руганка... А так, одна забавность... И за что он меня покарал? Исподтиха... Осталась

я одна, как слепой столб под дорогой... Гляди, с горя глаза повредились. Навроде как корка кинулась... Темно... Я тут и с Райкой побалакаю, и с зятём, и с Солёнихой... А он тама один да один... Что ж не проведать? Подпекла я орешков... Завязала в платок горячих этих орешков, яблок, яиц и пошла. Дорогу я знала на кладбище по памяти. Иду знай себе, иду и забурхалась в чайни кусты... Заблудилась на печке. Куда ни посунусь – кусты и кусты. Обняла я... Прижалась ще к тёплому своему гостинцу и завыла. Спасибо, её Колька мимо бежал с работы, привёл до хаты... Ну, думаю, раз самой не доплыть к Федюшке у гости, надо с кемось хоть гостинчик передать. Тут под раз слышу, один перестройщик оттентелева бредёт с песняками...

– Кто, кто? – подлип я с вопросом.

Баба Федора махнула бабе Наде:

– Надь! Ты мало передохни... А я пояснение подам... Тоник, бачишь ото вертикушку?

Наискосок от угла дома на колодах серел бесколёсый, безоконный кузовок горбатой «Победы». Над ней на шесте ветер туго вытягивал в ровную полосу белую тряпицу с пёстрой надписью.

ЧАЙХАНА

«Перестройка – мать родная», -

прочитал я вслух.

– От! От! – подхватила баба Надя.

– Спервача, – говорит баба Федора, – назвали свою чай...

хану «Перестройка имени Горбачёва». Но им хóроше въяснили, шо это имя может им вскочить в колымскую десятиточку. Тогда оне сбежали чудок ниже. Раскатились подлизаться...» Перестройка имени дорогого товарища Горбачёва». Опеть неувязка. Чёрный намёк. Дорогой-то он дорогой. Тольке не сердцу нашему, а желудку. Очередищи!.. Хоть Горбач прибёг к власти и давно, а с продуктами всё по-брежнему... Ой, вру я!.. Хуже! Ещё хуже стало с продуктами! Намного хуже! Очередищи за хлебом длиньше Горбачёвой петли.⁴¹⁰ В магазинах пустота... А и в беде посмеиваются у нас: «Пей – вода! Ешь – вода! Жирный не будешь никогда!» Люди в былочки повыхудились... Таскают одни скелеты... Чаше стали болеть. В больничке нашей, как в голодном приюте... Ой, Горбач... Сплошная кумедная борьба за перестройку. Или он нас...

– ... попугать хочет в рамках «социалистического выбора и коммунистической перспективы», – подсказал я.

– Дажно у меня эта дуристика в зубах навязла. Гнилую лапшу или те же спички и то только по талонам вырвешь. Так шо за «дорогого» тоже можно срок поймать. У нас жа тольке трупы топтать дозволено. С трупа и живой царёк видней... Помялись, помялись, на том и сели. Назвали «Перестройка – мать родная». В той «Перестройке», – сердитей пустила баба Федора слова, – пьянь перестраивается с человека на

⁴¹⁰ **Горбачёва петля** – очередь в винный магазин (во времена антиалкогольной кампании М.Горбачёва).

скотиняку. В получку – хоть камни с неба катись! – по-под окнами взадь-вперёдку, взадь да назадь шастае тайный допрос-брякотень: «Вася (Ваня, Витя...) ты уже сбегал на пилораму?⁴¹¹ Уже перестроился?» – «Ещё не успел». – «Ну!.. Давай в Израиль и обратки!⁴¹² Кидай скорей вшивый рубляш на срочное политическое мэро-приятие. Тара своя. Закусь своя. Взрывчатка всенародная. Сбор трубим ровнышко в восемь... Ну, я попрыгал к сороке-воровке!»⁴¹³ В восемь крадкома сбегаются в «Перестройку». У каждого свой ограничитель, редко у кого луковичка, ещё реже хлебный ломтёк. Наичаще всё нюхачи. Рванут по гранёному и носы в гору, как петухи на водопое – нюхают воздух. Закусюють это!..

– На таковского нюхача с чайной фабрики я и налетела, – пожаловалась баба Надя. – Мне б умолчать, пропустить его мимо. А меня дёрнула дурь за язык, я и ляпани: ты всё одно будешь мимо Федюшки проходить, возложь мой кулёк орешков и два яблочка ему на холмок у крестика. Он руку протяне, возьме... «Уже взял!» – заржал нюхач, и хрустнуло моё бедное яблочко на жеребцовых зубьяках. От паразитяра! Какое распушение себе дал! «Ты, бавушка, – брякотит, – не убивайся, в растрату я тя не втолку. Войди в мою положению... Весь горю с первача. На сухач петровский дерябнуть! Перенедоел... Каково? Ни крошки ваши обормоты не под-

⁴¹¹ **Пилорама** – совместное распитие спиртного.

⁴¹² **В Израиль и обратно** – очень быстро.

⁴¹³ **Сорока-воровка** – буфетчица.

несли заесть. Хулиганствие высшего пилотажа! Хоть бы пол-
ленинградского военного подарунчика...⁴¹⁴ первую серию...
Сгорю ж синим пламешком. Пепел завтра найдёшь где в канаве.
А зачем таки утраты человечеству? А мы с тобой в обменку...
Я сейчас умолочу твои яблоки, докачаюсь до хаты, и свои такие же
только уже четыре положу от твоего имени. Идёт? В обмен? Взаимно?..» Я молчу. Он подал мне спасибо,
да я домой не донесла... Этот охлой комедно поклонился и уёрзнул.
Побрёл, знай дерёт себе похабень:

– Перестройка – мать родная,
Хозрасчёт – отец родной.
На хрена родня такая,
Лучше буду сиротой.

Ох, господи... «Лишить человека ума очень легко, лишить дурачества невозможно»... Вот шо... Да шо мне его яблоки? Я свои хотела... Я, Тоша, что попрошу... Как во все приезды, по старой детской дружбе ты на ночь пошатаешься к Юрке в центр. Идти можно сюдой, как обычно. А можно и через четвёртый, через питовник. Так дажно ближей до Юрки будет... Мимо Федюшки... Я дам кулёк орешков, яблочков, яичек... Передашь?

– О чём речи...

⁴¹⁴ В виду имелось то, что «детям Ленинграда на Новый 1942 год в качестве подарка было выдано по два солёных помидора и по сто граммов сметаны».

Нижней травяной дорогой побрели мы с Валентиной мимо задичалого лужка, где когда-то резались в футбол с пачанвой с четвёртого, мимо питомника...

В сетке солнцами пылали баб Надины яблоки, тянули из памяти печальные картинки из давних дней...

С бугра, из жутковатых еловых зарослей, сиротливо глянул свежий брусок креста, и мы свернули влево с гравийной шоссейки.

Кладбище было опутано проволокой. Для надёжности по верху пустили колючку. Раскляченные старые воротца, сбитые из слег, поникло приоткрыты.

Чуть выше вприжим с кладбищенской проволокой сутулится сумрачный домина.

Во дворе скакали в хороводе вокруг зевающей собаки чёрные, закопчённые тарзанята.

Куры греблись у ближних крестов, сбочь в луже охала хавронья.

Неужели больше негде было сесть этому пришлому думовладельцу?

Сколько помню, совхоз хоронил в соседнем селе. В Мелекедурах. Там кладбище обнесено чугунной витой ажурной оградой. Свиньи не трутся о кресты.

В совхоз понавезли несчастных аджарцев, выселенцев с-под турецкой границы. Жестоко повыкидывали их из родных гнёзд. Властям показались они ненадёжными. Слишком

горячо горели глазки в турецкую сторону. Их сюда и столкали. «На перевоспитание». Чтоб чуток поостыли...

Конец двадцатого века...

Конец чёрного, могильного советского века...

Советы надёжно валяются. Вышло их время. Но и сейчас, в предсмертной агонии, Советы всё перевоспитывают неугодных, перевоспитывают, перевоспитывают... За семьдесят три года никак не угомонятся... Чёрный, могильный советский век...

Стали Насакирали числом поболее. Заимели свой сельсоветишко. А потому заимели и право на своё кладбище.

Теперь хоронят наши у себя вот здесь. У питомника.

На горке, совсем рядом чайная фабричонка.

Непокойно было живущим тут, под дорогой, от этой грязи. Она вечно гнусавила на всю округу день-ночь, вечно заливала мазутом всё сущее в несчастной нашей речонке Скурдумке.

Но сейчас фабричка молчит. Без русского тока молчит...

Умерла...

Кресты, кресты, кресты...

Как взмахи рук в беде зовущих.

Эти кресты – Россия, навеки покинутая на чужбине.

*Остановись, прохожий,
Помяни наш прах.*

*Мы у себя дома,
А ты еще в гостях.*

*Познахирин Иван Иванович
1926 – 1972*

*Клыкков Иван Лупович
1913 – 1980*

*Уткин Андрей Алексеевич
1908 – 1973*

*Уткин Николай Андреевич
1930 – 1979*

*Третьяков Афанасий Маркович
1902 – 1982*

*Соленый Леонид Дмитриевич
1940 – 1975*

*Соленый Дмитрий Дмитриевич
1905 – 1982*

*Чочиа Ермиле Яковлевич
1896 – 1979*

*Косаховский Сергей Данилович
1922 – 1987*

Нет, не уйти мне от этих могил...

Бочаров Иван Лукьянович
1908 – 1976

Бочарова Дарья Андреевна
1918 – 1987

Лещев Федор Николаевич
1913 – 1983

Простаков Тимофей Андреевич
1916 – 1975

Комиссаров Иван Федорович
1937 – 1984

Сербин Петр Иванович
18. 08. 1910 – 8. 02. 1988

Половинкин Филарет Федорович
1900 – 1981

Половинкин Иван Филаретович
14. 06. 1925 – 11. 06. 1989

Всего-то на немножко опоздал я, дядя Ваня...

Всего-то на пустяк...

В молодые дни мои при встречах вы не бежали обнимать меня, я не бежал обнимать вас. Но стоило мне уехать из На-сакирали, как всё перекувыркнулось кверху кармашками. Не пойму досегодня, почему гостевой стол стал сводить нас? Стоило мне приткнуться на ночь то ли у Клыковых, то ли у Бочаровых, то ли у Семисыновых, как вы с Груней выцарапывали меня к себе.

Я до того рассмелел, что в прошлый приезд уже сам при-шлёпал со станции прямо к вашим.

Вы были в совхозной больнице.

Колодезное радио быстрее всяких ног донесло до вас весть, и вы убежали из больницы.

Я сидел ел.

Незаметно, на пальчиках, вы подкрались со спины... Ёжик без ножек... Ваша стерня до сих пор жжёт мне щёку. И кто же знал, что то был последний ваш поцелуй?

– Почему вы в больнице? – спросил я. – Что с вами?

– А! Чтой-то там брешут про тяжёлое с лёгкими! – в под-битом смешке отмахнулись вы от больничных расспросов. – Брешут, брешут! Начисто брешут!

– Ага! Так и брешут... – неуверенно возразил приёмный ваш сын Владимир, уже взрослый, кавалер. – Кашляешь вон, бациллы раскидываешь!

– Ну-к, бацилла! Шлёп-шлёп отсюда! Беги лучше умой «Жигулёнка».

Парень послушно пошёл мыть машину, и вы вернулись к

докторам.

– С лёгкими у меня ничего тяжёлого... Порядец!.. Что они понимают? В гроб усандалить – милости прошу! А вылечить – извини-подвинься... Брешут на мои лёгкие... Меня, Антониони, – стихил он голос, шатнулся верхом ко мне, – другая болезнь затолкала... Полный звездац! Невысказанные мысли называется.

– По науке это остеохондроз.

– Да какая там наука? Ты это случаем выбежал на науку. Никаковского твоего этого ос... Это у нас родовое. Ты хоть голос моего покойника батечки слышал? Да что я пытаю... Я сам-то слышал раз на году... Всё молчал, молчал... В закрытый рот муха не залетит... Молчуком и отошёл... Я тоже весь в папаньку. Жизнюка тако счастье навалила на душу... Людям не похвалишься...

– Ванька! Ветрогон! Сгасни! – прикрикнула старуха мать. – Накидал у сэбэ лишних рюмок, у дурь и покатило?!

– У нас, мамо, гласность же!

– У дураков она никовда не выводилась.

Вы покорно затихли, сронили голову на подставленные кулаки.

Со свежа холмок лежит рассыпчато, пушисто, похож на приоткрытый рот. Кажется, говорится мне:

«Я был тем, чем нынче ты. Ты будешь тем, чем нынче я».

Буду, буду. Куда же я денусь? Не миновать, в сухом дере-

ве не пыхнешь, не дыхнешь, не ворохнёшься. Земля еси, в землю отъидеши...

Если бы не мать, может, вы и рассказали в последнюю нашу встречу, *что* мяло вас всю жизнь. Я уже всё *то* знал. С уха на ухо добежало и до Москвы.

Та ваша тайна-беда ясно объяснила мне вас...

И уходила она на Украину. В голодомор.

В тридцать третьем году
Люди падали на ходу.
Ни коровы, ни свиньи,
Только Сталин на стини.

Ну, не мне вам рассказывать...

Всё сами знаете...

Вспомните...

Тридцать третий – первый год второй сталинской пятилетки. Именно во второй пятилетке, как торжественно было заявлено всему миру, СССР построит у себя коммунизм. И начали строить коммунизм... голодом. И где? На Украине. Это ж житница, не какая-нибудь там Чукотка. Куда девался хлеб тридцатого – тридцать второго годов? Ушёл, как ходило по газетам, за граничку, ушёл на валюту для сталинской индустриализации с коммунизмом. А народ с голоду пух, «аж шкура лопалась, с трещин сочилась вода». Люди ели людей, ели кошек, собак, крыс. По самым щепетильным подсчётам, только на Украине умерло от голода в тридцать третьем году

семь миллионов двести тысяч человек. Это только по Украине. А по России скольким ещё голод срубил жизни?

Мать покормила вас с Василием и увела в лес.

Уложила в скирду.

– Отдохнуть, хлопцы...

Вы послули.

Вы один проснулись... Матери нет...

Вы бегом домой.

А Василия, младшего брата, забыли разбудить. Остался Василий спать один в лесу.

Война осыпала вас орденами.

Подбавил орденов и совхоз.

Но ордена не закрывали раны в душе.

Вся ваша семья, семья ссыльных переселенцев, все годы тишком от мира разыскивала Василия. Достаток не грел вас, лад в чужих нищих семьях рвал вас на куски. Не отсюда ли и злоба? Не отсюда ли и отчуждение?

В конце концов уже стареющий Василий отыскался.

Приехал.

Отец-мать молили:

«Переезжай к нам! Всё тебе оставим!»

Но он-то что ответил!

«Из копны я вскочил в детдом. Потом меня приняли одинокие врачи. Теперь они старенькие. Они мне родители, не вы. И *своих* родителей я не брошу. На похороны отца-матери

приеду. Больше меня тут не будет».

Так и сделал.

На похороны *вашего* отца приехал. Но на ваших похоро-
нах, дядя Ваня, он уже не появился.

Та ночь в скирде навсегда стала между вами, братьями,
навсегда развела вас.

Прав Василий? Не берусь судить. И вам я не судья.

И мать судить не берусь, хотя и всякий зверь не бросит
своё дитя на погибель.

То не мать, то голод, то сталинский коммунизм, то сталин-
ская рука вела вас с братом в лес. И если б всё можно было
столкнуть на голод, то б и отец-мать должны были остаться
в копне. Почему они выбрали только вас двоих? Только на
вас на двоих не находилось хлеба? Если уж горе хлебать, так
всем по одинаковой ложке.

Чёрная тайна...

Неправда, когда говорят, что тайна умирает вместе с че-
ловеком. Вы не унесли свою тайну с собой. Она пережила
вас, ушла к живым. Что ей, неприкаянной, теперь делать?

Старики бросили на смерть своих детей, и Бог наказал.
Не дал детям этих стариков счастья рожать самим. Матрёна
со своим Порфирием бездетно дожимают свой век. Вы по-
бежали кланяться детдому. Взяли мальчика какой-то стака-
новки-шалашовки. Парень не задался. Пьёт, сбивает баклу-
ши. Не он ли и спихнул вас до срока в могилу?

Простите, дядя Ваня.

В молодую пору я не понимал, почему вы сыпали на чужие раны соль вёдрами вместо того чтоб положить пластырь. Не понимал, почему вас жестоко бодрило лишь злое счастье. Я не знал, не ведал истинной вашей беды, не видел её страшных, чёрных корней и судил о вас только по тому, хочу верить, случайному, наносному, что видел. Ясность пришла полная, когда большие годы-уроды уже разлучили нас. А теперь простите, что побеспокоил. Мир вашему одинокому тесному домику...

Из Насакиралей шатнулся я в Чакву.⁴¹⁵

В нашу столицу чая.

Божий рай-уголок...

Лау Джонджау и Ксения Бахтадзе

*Без чая человек не способен воспринимать красоту.
Японская поговорка*

Первая неудачная попытка разведения чая у Чёрного моря в сороковых годах XIX века принадлежит наместнику царя на Кавказе князю М. С. Воронцову.

И лишь...

В 1892 году промышленник-чаеоторговец Константин Попов встретился в Китае с человеком, чье имя навсегда вой-

⁴¹⁵ **Чаква** (в переводе с менгрельского) – каменный колодец.

дет в историю русского чаеводства, с учёным Лау Джонджау (родился в 1870 году в провинции Кантон).

«Как специалист по чайной культуре – вспоминал Лау Джонджау – приехал я из Китая в Батум ровно 30 лет назад по приглашению русского чаоторговца Константина Попова. Он заинтересовался этой культурой и решил разводить чайные плантации в своих имениях в Батумской области. Я и десять моих соотечественников прибыли в Батум 4 ноября 1893 года. Разбивку чайных плантаций я начал в Чакве в имении «Отрадном», затем в имениях в Салибаури и в Капрешуми.

В 1896 году мне удалось приготовить первый чай на Кавказе. Дела шли успешно. В 1900 году на всемирной торгово-промышленной выставке в Париже чай, приготовленный мною с плантациями Попова, получил большую золотую медаль с надписью: «За лучший в мире кавказский чай Константина Попова».

На этой выставке министр земледелия А. О. Ермолов, знакомый ещё по Батуму, рекомендовал меня в удельное ведомство. Поступив на государственную службу, наша семья сохранила самые добрые отношения с Поповым. Он хорошо знал, что не ради материальных выгод я оставил службу у него.

За добросовестное отношение к делу начальник управления уделов России князь Кочубей разрешил в 1909 году постройку дома специально для моей семьи. В составлении

плана дома, в котором я живу сейчас, и в оформлении его фасада принимал участие и я. Дом построен в китайском стиле по проекту немецкого архитектора.

По истечении десяти лет службы я был награжден орденом Св. Станислава, а главное управление уделов предложило перейти в русское подданство, со всеми правами высших чиновников. Я благодарил начальство, но преданный своему отечеству, от подданства отказался.

Я стал первым китайцем, получившим орден от Российского правительства, и могу гордиться, что впервые в России ввел на вверенной мне фабрике восьмичасовой рабочий день.

В 1911 году по разрешению императора я купил земли близ Батума и на своей плантации вырастил чай, который на первой батумской сельскохозяйственной выставке получил Большую серебряную медаль.

В 1925 году я получил Орден Трудового Красного знамени из рук нового Советского правительства.

За долгие годы, проведенные здесь в непрерывной работе, единственным моим развлечением была охота и лошади.⁴¹⁶ В течение многих лет я знакомился с жизнью и обычаями этого края. С русскими, грузинами, греками, армянами, евреями. В характере и обычаях грузин я нашел много сходства с характером китайцев. У меня много знакомых и друзей среди всех наций и отношение ко мне и моей семье самое

⁴¹⁶ Эта страсть к лошадям стала для Лау роковой.

искреннее.

Дети окончили батумскую гимназию. Старший сын потом окончил Петербургский университет.

Мы были знакомы со многими представителями передовой русской интеллигенции. Бальмонтом, Есениным, с семьёй знаменитого питерского хирурга Гаевского.

В этом моём доме в Чакве сохранилась частица истории общения наших народов, частица истории культур.

30 лет на Кавказе...

Я с семьёй решил возвратиться домой. Вернувшись на Родину, видя ее дивную природу, я буду видеть и вспоминать любимую Аджарию. Мир её народу и полного расцвета его творческим силам, подобно восходу солнца, которое чем выше поднимается по небосводу, тем светит ярче и ярче».

(Вскоре после отъезда Лау на Родину приехала в Советский Союз его внучка Лю. Вышла замуж за грузинского художника Гиви Кандарелли. Более сорока лет преподавала китайский язык в тбилисском университете. Председатель грузино-китайского общества «Великий шёлковый путь».)

Лау Джонджау – пионер чайного дела у нас в стране.

В Китай он вернулся в 1925 году.

А через два года в Чакву приехала Ксения Ермолаевна Бахтадзе, выпускница тбилисского политехнического института.

Продолжательница дела Лау.

Академик ВАСХНИЛа.

Депутат Верховного Совета СССР.

Бахтадзе вывела более двадцати новых сортов чая.

За пять лет до её смерти я встречался с нею в Чакве.

И теперь я ехал в Чакву поклониться праху Великой Ксении.

Сердце пало моё, заплакало в Чакве, у могил Ксении Ермолаевны Бахтадзе и Владимира Андреевича Приходько.

Одним крылом селекционный питомник – чай, бамбук, магнолии – взлетал к вершинке бугра, где в сырой тени ёлок супились, горевали за оградой два намогильных знака.

Отсюда как на ладонке море; у изголовья питомник, всё дело жизни. К участкам китайского, индийского, японского чаёв примыкают участки с новыми, уже выведенными здесь Ксенией Ермолаевной при поддержке Владимира Андреевича двадцатью сортами местного чая.

Ещё в девятнадцатом веке русские начали разводить чай в Чакве. Воистину, Чаква – «слон чайного русского дела».

Отошёл Владимир Андреевич в 1966 году – судьба отсчитала ему 64 года, – и Ксения Ермолаевна сама выбрала место для последнего успокоения в верхней точке питомника. Ограду заказала на две могилы. Мужу и себе.

Я бывал у Ксении Ермолаевны и после давней чаквинской истории, переписывался с нею, писал о ней в одном московском популярном журнале.

Я знал её простые, как взгляд ребёнка, желания. Лечь в землю рядом с Владимиром Андреевичем. У обоих будут одинаково тихие надгробные знаки. И будет на них написано на родном языке семьи – на русском. Владимир Андреевич украинец, Ксения Ермолаевна грузинка. А говорили они меж собой по-русски. Русский был родным языком семьи.

Ксения Ермолаевна умерла в субботу 25 ноября 1978 года, (родилась 6 февраля 1899). Два месяца недобрала до восьми десятков.

И послушались её живые?

Похоронили рядом. А в остальном...

Памятники совершенно разные.

Не спутаешь, кто рядовой агроном, ни за что репрессированный лагерник, выселенец. А кто академик.

У него на памятнике написано по-русски, а у неё – царственной вязью по-грузински.

Выходит, в жизни они говорили на разных языках?

Не понимали друг друга?

И в обиде смотрит Владимир Андреевич из обычной альбомной карточки на просторно разлитое по чёрному мрамору какое-то чужое, смятое печалью лицо жены.

«Ксеничка, милая, что же они с нами так?.. А?.. Двадцать семь лет я не видел тебя, всё в Чу один да один. И теперь, когда мы рядом, они нас разлучают?»

Зачем же вы, живые, ссорите и мёртвых?

Светлому будущему – светлую память!

В. Колечицкий

Домой, в Москву, мы возвращались с женой через областной город В.

Каждая деревнюшка норовит сшить себе костюмчик по Москве.

Местные комцарьки ни в чём не хотели отставать от цэковских.

В цэка как?

Вот первого секретаря обкома собрались провожать на пенсию. Смотрят. Рьяно служил партии? Вроде рьяно.

И в столицу выкатывают пенсионера. Получай цэковские палаты, продолжай радоваться советской жизни!

Откинул лапоточки цэковский шишкарь – его тащат на красный погост. Под кремлёвскую стеночку.

А чем провинция хуже Москвы? Разве нельзя учредить для партэлиты свой красный погост? Всю жизнь парттруженничек кормился из спецмагазинов, лечился в спецбольницах, отдыхал в спецсанаториях, сидел в спецтюрьмах... А откинул коняшки партбожок – и кончилась спецжизнь? Партправитель ложись в землю рядом со всяким сбродом? Было время, ложились. Больше нету сил играть в любовь к народу, в спецдемократию. Откроем свой спецпогост! И назовём мудро:

Аллея почётного Захоронения

Приглашаем *всех* желающих!

От А до Я!

Приглашаем-то всех. Да положим на Аллее самых спец-достоиненьких!

Приближалась красная совдата. Годовщина Октября!

Надо поднести подарок. Что за праздник без подарка? Всё должно как положено.

И решено было поднести к дате ах подарок.

Аллею!

Наметили день и час торжественного открытия.

Но мало открыть.

Надо на открытии и не менее торжественно похоронить на Аллее первого почётного спецжмурика.

Кем откроется Аллея?

Кто захватит призовое местечко номер один?

Кто к сроку нырнёт в гроб? Именно в предпраздничную неделю?

Говорят, между почётными кандидатами в спецжмурики разгорелась нешуточная война. Ради любимой и славной КПСС каждому зуделось лечь костями не раньше и не позже кануна праздника. Дорога ложечка к обеду! Иначе останешься без обеда. То есть без первого распочётного места на Аллее.

И кто ж, думаете, лёг трупом на открытии Аллеи?

Горбылёв!

Говорят, спецсмерть ему была устроена по большому спецблату.

Но это говорят.

А вот то, что он ухватил первенькое местечко – это уже не разговоры. Это исторический факт.

И кто бы мог подумать! Наш пострел и тут поспел!

Тупица, развратник...

Но какой *наш* тупица! Какой *наш* развратник! Какой партсынуля! Какой верный ленинец! *Верно* служил всю жизнь компартии – получи первое место на красном погосте!

Правил к красному погосту и Пендюрин.

Но не срослось вот.

А как славно-то всё шло...

Наконец-то перевели его из Верхней Гнилуши в обком.

В первый рабочий день побежал первый раз на дорогой обкомовский горшок. С ногами взлез на горшок чинно-благородно и котовато замурлыкал любезный сердцу народный романсишко:

– На мосту стояли тр-р-рое:

Она, он и у него...

Его вульгарное пенье на полуслове вдруг сломил грубый

стук сбоку. Из соседнего кабинета.

– Пендель! А что это ты такой антикультурный? Как истинный красный помидор!⁴¹⁷ Навстречу в коридоре прожёт молча. Ха! Купил вертолёт!⁴¹⁸ Мне этот помёт Валькирии⁴¹⁹ не понравился. Не рановато ли ты пендюрочку настроил?⁴²⁰ Ну, чего молчишь? Попа-ал ты в засаду... Со страху, говоришь, даже рейтинг упал? Прямо в самогонный аппарат?⁴²¹

Пендюрин с замирающим сердцем вслушивался в знакомый голос сбоку и боялся вздохнуть. Неужели он посмел не заметить кого-то из обкомовского генералитета? Наверняка кто-то из шишколобых. Обкомовская килька так бы не отважилась с ним греметь крышкой.

Голос говорившего у него на слуху.

Но он никак не мог угадать, кто же именно базарит.

– Ну ты, унесённый в унитаз цукерок,⁴²² чего молчишь? До тебя ещё не доехало, что бесплатный секс бывает только в мышеловке? Ну что, винтики крутятся? Шевелишь понималкой и никак не угадаешь, кто за стеночкой? Сама Понарошкина!..⁴²³ Всё равно молчишь? Отвечай, ты где такой бу-

⁴¹⁷ **Красный помидор** – коммунист.

⁴¹⁸ **Купил вертолёт** – прошёл, не поздоровавшись.

⁴¹⁹ **Помёт Валькирии** – опера Р. Вагнера «Валькирия» («Полёт Валькирии»).

⁴²⁰ **Пендюрочку настроить** – пребывать в хорошем настроении после победы.

⁴²¹ **Самогонный аппарат** – унитаз.

⁴²² **Цукер** – красавец мужчина.

⁴²³ **Понарошкина** – Ирина Понаровская, певица.

рости набрался, что начальство в упор не замечаешь? Прогладь, шкварыга, пиночетки⁴²⁴ и уёбывай своим ходом из обкома, покуда я тебя не опустил в шурф! Целую неделю сидел я честно-благородно на строгой диете.⁴²⁵ Но ты, скотобаза, как видишь, выбил меня с культуры. Мухой отсюда! Я дал овцу,⁴²⁶ а ты, огрызок удачи, живо шустри отсюда! Вон из нашего ёбщества! Хоть в самую Ебаторию!⁴²⁷ Вечно загорать! Не исчезнешь по моему собственному желанию – подвешу за кокосы! Да будешь уже беспартянок!⁴²⁸

Пендюрин затаил дыхание.

«Какой это бере-мере-бис⁴²⁹ так круто разорывается?»

Голос вроде знакомый и незнакомый. Нет, ничего пока не вякать. Для точности надо послушать ещё.

– Э! Ринго Сталин!..⁴³⁰ Чего молчишь? Лапшемёт проглотил? И на Сталина, рогожа трёпаная,⁴³¹ рассмелился не откликаться? Ну рог зоны! Ну ненаглядный рогозон!⁴³² Повто-

⁴²⁴ **Пиночетки** – чёрные тапочки с мехом. (Пиночетки от Пиночет – чёрный генерал.)

⁴²⁵ **Быть на диете** – временно не ругаться матом.

⁴²⁶ **Овцу** – особо важное ценное указание.

⁴²⁷ **Ебатория** – Евпатория.

⁴²⁸ **Беспартянок** – беспартийный.

⁴²⁹ **Бере-мере-бис** – поджигатель.

⁴³⁰ **Ринго Сталин** – Ринго Старр, ударник рок-группы «Битлз» (Beatles).

⁴³¹ **Рогожа трёпаная** – опустившаяся проститутка.

⁴³² **Рогозон, рогзоны** – председатель совета воспитателей в воспитательно-трудовой колонии; активный заключённый-общественник.

ряю по твоей бессловесной просьбе, даун. Знай, целый обком, наша медвежья берлога, нам с тобой тесна на двоих! Похорошему заворачивай отсюда свои оглобельки. Не то ёрш твою медь!.. На красоту пожил, пофестивалил в Гнилуше и полный писец! Капитально же ты там замочил рога!.. Скажешь, сам такой. Такой, да не такой! Мои фортели, после которых я слетел с каменского насеста, в дорогом обкоме приняли благосклонно. Повысили. Взяли к себе поближе. Мои штучки – плюнуть можно, да растереть нечего. А вот твои... Ну, шевелишь рогами? Доходит?.. Одни эфиопские налоги за приём в партию во что тебе выльются? Мелко не покажется! Вагон твоих штукерий в документиках ждут не дождутся отправки по вер-хам-с... Попадёшь под такие молотки!.. Молебен я кончил. Сдавай рога в каптёрку⁴³³ и умахивай отсюда, пока дышать даю! Ты не забыл, как учил товарищ Суворов, который генералиссимус? Товарищ Суворов, который генералиссимус, учил: «Опасности лучше идти навстречу, чем дожидаться её на месте». Ну, ты глину уже метнул? Так что выходи, хампетентный Леопольдишка. Понимаю, момент переживательный... Не вздумай гнать беса в поле!⁴³⁴

Пендюрин узнал голос Горбылёва, и в нём всё примёрло.

В Гнилуше Пендюрин был первым секретарём райкома.

⁴³³ Сдать рога в каптёрку – стать смирным.

⁴³⁴ Гнать беса в поле – усугублять сложную ситуацию.

А вторым – Горбылёв.

Много кровушки Пендюрин, этот персональный «коричневый карлик»,⁴³⁵ попортил Горбылю, пока не выпер из райкома.

И круто затосковал, когда узнал, куда выпер неугодника.

В обком!

Правда, с десятилетней пересадкой в Каменке.

Да не простым инструкторишкой, кем сам был сейчас, а сразу в замзавы!

За долгие годы разлуки Горбылёв уматерел, протёрся в завы крупного отдела, свёл тесную дружбу с мохнатыми комлапами. Совсе-ем не похож на того дурачка со свистком, каким был в Гнилуше.

Дурак со свистком – эту кличку припендюрил Горбуне сам Пендюрин.

Устанавливали у райкома памятник Владимиру Ленину. Если расшифровать пендюринское имя Владлен (Владимир Ленин), так дело отважно наплёскивалось на вопрос. Кому ж тогда именно ставили памятник?

⁴³⁵ Ученые Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) обнаружили невидимую планету в составе Солнечной системы. По мнению американских специалистов, появление глобальных катаклизмов, происходящих с перерывом в несколько десятков миллионов лет, вызвано действием именно этой планеты «Немесис» («Звезда смерти»). Исследователи утверждают, что она превосходит по размерам Юпитер в пять раз и является «коричневым карликом», не поддающимся визуальному наблюдению. Гравитационные поля «Немесис» направляют в сторону Земли поток метеоритов, комет и астероидов, что может привести к глобальным катастрофам.

Кому??

Пендюрин сидел на подоконнике второго этажа и из своего кабинета гордо наблюдал в распахнутое окно, как устанавливали именно ему памятник. Так именно он чувствовал себя. Устанавливали не какому-то мифическому Владимиру Ленину, а именно вот ему, живому, конкретному, сидящему на подоконнике и грызущему семечки.

И так понравилась Пендюрину мысль, что это именно ему устанавливают, что он, забывшись, в приветствии кинул руку вперёд, когда Ленин, подхваченный экскаватором, закрутился в воздухе на тросах и на какой-то миг повернулся протянутой пустой рукой к самому Пендюрину.

Пендюрин не мог опуститься до того, чтоб не поздороваться с вождём и в ответ приветственно, широко вскинул руку.

Поздоровался с собой!

И захохотал.

Многие зеваки это увидели и себе засмеялись над выходкой Пендюрина.

Работами руководил Горбылёв.

Во имя подправки репутации Пендюрина он должен бы был посвистеть в свисток – никто не смеялся над хозяином района! – а он то ли зазевался, то ли нарочно дал народу посмеяться над Пендюриным, не посвистел, не оборвал недостойный, пошлый смешок, и тогда Пендюрин крикнул из своего высока Горбылёву:

– Что же ты, дурак со свистком, молчишь? Почему не руководишь спецработами как положено?

Дурак со свистком!

Так и приварилась эта кличка к Горбылёву.

Но в следующую минуту с приплодом оказался и сам Пендюрин. Рикошетом ему досталась кличка Дурак Без Свистка.

Так за глаза стали его звать все знакомые с того момента, когда он, сидя на подоконнике и наблюдая за тем, как ведёт установку памятника Горбыль, крикнул ему:

– Становь Ильича протянутой ручкой ко мне!

А сам дополнительно в восторге подумал:

«Славно-то как! Хорошая мысль таки не прибежала опосля. Пришла ко времени. Вот так утром завтра приходишь к себе в кабинет, распахиваешь окно, а к тебе в приветствии дерёт каменную ручку сам Картавенький:

– Здравствуйте, Владлен Карлович!

– Здравствуйте, Владимир Ильич!

Тако славненько перекинешься с утреча сладкими словцами с самим и на весь день заряжен высоковольтной коммунистической энергией».

А наутро подкатывает Пендюрин к райкому на «Волжанке» и на судорожном вздрог видит форменное безобразие. К нему, к подъезжающему Владлену Карловичу Пендюрину, вождь стоит неприличным местом!

«Гм... Мне глубоко кажется, мог бы и повернуться лицом...»

Но все обиды увяли, как только Пендюрин поднялся к себе на второй этаж, враспах толкнул окно и в ответ на вскинутую руку вождя приветно помахал. Здравствуйтесь, здравствуйтесь, Владимир Ильич!

Вроде всё стало на свои места. Да не совсем.

Вызвал Пендюрин Горбылёва:

– Слушай! Ты знаешь, какое чэпэ сегодня приключилось? Подъезжаю я к рейхстагу, а твой Ленин торчит ко мне спиной. Как вкопанюк! Мы его приветили на своей земле... А он... Что за дичь? Вот так каждое утро и начинай с того, что смотри ему в тоскливый багажник? Ничего интересного... Не бельведерочка какая...

– А что же ты хочешь?

– Совсем малого, дупель! Чтоб *всегда* Ленин был ко мне лицом!

– И когда подъезжаешь? И когда из своего кабинета перемахиваетесь ручками?

– Именно! Подъезжаю – он мне машет, едва выскочи я из-за угла. Я у себя в кабинете, – он уже снизу – (райком был на бугорке) – мне угодливо машет наверх. Нельзя ли, чтоб Ленин вращался?

– Нельзя.

– Вот так всегда! Вечный дубизм! О чём я ни попроси тебя... Нельзя и нельзя! Архирешительно нельзя!! Сотрись с экрана! Говорить нам больше не об чём.

Побежал по району смешок. И что это такой странный во-

ждюк прикопался у рейхстага? Ко всем идущим в рейхстаг демонстративно стоит спиной!

Особенно это дёргало жалобщиков. Мол, и в рейхстаге нам правда не светит, раз сам Ленин уже на подходе повернулся к нам нижним бюстом и радостно машет ручкой рейхстагу. Понимай так: что рейхстаг ни делай, всё правильно!

Обком приказал Горбылёву за одни сутки развернуть Ленина лицом к идущим в райком.

И как только Ленин встал спиной к райкому, Пендюрин в отместку решил выпереть из своих замов Горбылёва. Но и это его не успокоило. Смертная скука сжала его. Он увидел, что люди, шедшие, наверное, со своими бедами в райком, уже не все подходили потом к райкомовской двери.

Они пристывали у Ленина и жаловались ему.

Ревность подпекала Пендюрина.

Однажды он налил с горочкой до полного одухотворения и, открыв своё окно, стал, как селёдка с глазами камбалы, слушать, что несли гнилушанские ходоки.

– Владимир Ильич! Что нам делать? Жрать нечего – одна солома осталась!

– А вы ешьте солому.

– Так мы же так мычать начнём!

– Ну почему же? Я вот по утрам липовый медок кушаю, а не жужжу.

– Владимир Ильич, я колхозник. Приехал в райцентр ку-

пить пару сапог, а денег не хватает. Вот до чего мы дошли! У вас голая голова, а у меня – ноги...

Другой крестьянин жаловался, что нечем в его колхозе коров кормить.

– А вы, батенька, – отвечал Ленин, – скрестите корову с медведем. Чтоб гибрид получился. Доится, как корова, а зимой сосёт лапу, как медведь.

На грязной лошади верхом подлетел секретарь колхозной парторганизации:

– Владимир Ильич! У нас хорошо развито соцсоревнование. Хоть и говорят, что оно похоже на соревнование социалистической системы с нервной, а мы, встав на трудовую вахту в честь Октября, рапортуем вам о своих больших успехах. Недавно на повестке колхозного собрания у нас было два вопроса: строительство сарая и строительство коммунизма. Ввиду отсутствия досок сразу перешли ко второму вопросу. Правда, у нас ещё попадаются недалёкие товарищи и не верят, что мы построим коммунизм. Так как их мне убедить?

– Кулаком! Кулаком!

Прискакал и председатель колхоза «Ветхий ленинский завет» Суховерхов:

– Владимир Ильич! Мы уже одной ногой находимся с вами в коммунизме. Но другой мы пока ещё в социализме. И

долго мы так враскорячку стоять будем?

– А вы не стойте на месте! Работать, работать и ещё раз работать!

Из толпы ходоков выдвинулся вперёд мужик с жалобой на произвол ВЧК.

– А вы к Дзержинскому обращались? – спросил Ленин.

– Обращался. И он послал меня на хрен.

– Кристальной души человек этот Феликс Эдмундович! – воскликнул Ленин. – Другой на его месте к стенке бы поставил.

Среди ходоков затесался и один еврей со своей бедой.

Еврей в российской глубинке – эта такая диковинка.

Так вот эту диковинку милиционер и не подпустил к Ленину.

Накричал:

– Вы в своём уме? Вы что, не знаете, что Ленин давно умер?

– У вас всегда так. Если вам нужно, так он вечно жив, а если нужно бедному еврею, так он давно умер.

И тут пошли звонки.

– Владимир Ильич! Участники кронштадтского мятежа арестованы. Что с ними делать?

– Гасстгелять! Но перед гасстгелом напоить чаем. И

непегеменно горячим!

Новый звонок. Дзержинский:

– Владимир Ильич! Когда расстреливать – до обеда или после обеда?

– Пгенепегеменно до обеда! А обеда отдать детям. Дети рабочих голодают!

Позвонила и секретарь.

– Владимир Ильич, вам посылка из Красного Креста.

– Детям! Отдайте всё детям!

– Там презервативы.

– Оставьте двадцать штук Дзержинскому, а остальное проколоть и меньшевикам.

Дозвонился и министр сельского хозяйства.

– Товарищ Ленин! Мне после смещения предложили возглавить онкологический центр. Но я же в этом ничего не понимаю!

– Но вы же руководили сельским хозяйством – и хлеба не стало. Займётесь онкологией – может быть, рака не станет!

В сторонке, справа, у клуба, построенного на месте снесённой коммунистами церкви, местный шансонье убажрал под гитару абсолютный слух Ильича:

– Прошла зима, настало лето,
Спасибо партии за это!
За то, что дым идёт в трубе,
Спасибо, партия, тебе!
За то, что день сменил зарю,
Я партию благодарю!
За пятницей у нас суббота –
Ведь это партии забота.
А за субботой – выходной.
Спасибо партии родной!
Спасибо партии с народом
За то, что дышим кислородом!
У моей милой грудь бела –
Всё это партия дала.
И хоть я с ней в кровати сплю,
Тебя я, партия, люблю.

Теперь, сидя на обкомовском горшке, Пендюрин с ужасом думал, что же ему делать. У Горбыля были такие свидетельские плюхи, что Пендюрин даже в ужасе зажмурился и побоялся сразу открывать глаза. Ведь только одну плюшку выкинь в верхах Горбуха – гулять Пендюрину по «диким степям Забайкалья, где золото роют в горах». Но если до прогулки по Забайкалью, совмещённой с мытьём брусники на нарах, дело и не докувыркается, то уж по минимуму вылетит он из обкома, как пердёж из старой дохлой кобылы.

– Ну что, Пенделёк, окопался на века на обкомовском горшочке? Наивно считаешь, что в шторм любая гавань хороша,

в том числе и наша какальня? Чего молчишь? Долго собираешься держать стойку?⁴³⁶ Прямо скажу, ситуёвина у тебя шваховая. Хватит, хренов Ильичок, думствовать! Или мозгуешь, какие пульки мне лить? Ускрёбывай, мухомор, отсюдушки по первому звону! Не то мыль верёвку! Я мэн крутой. У меня теперь не сорвётся, как в Гнилуше... Я ясно сказал, как коммунист пока коммунисту? Или ты уже не желаешь им быть?

– Ну к чему такая крутота?.. Ну к чему весь этот кайфолом?.. Понимаешь... Мне глубоко кажется, меня могут не понять. Перевели сюда с повышением... Все друг дружке радовались... И в первый же день просись в уход! Ну не глупо? Сергей Сердитыч, милоха... Ну... ёк-макаёк... Не надо монстрить... Не обижайся... Хоть слегка следи за метлой...⁴³⁷ Ты когда-то был ладливый... Вспомни... Мы с тобой почасту завершали трудовой день незабываемым офицерским троеборьем...⁴³⁸ Ка-ак хвастались друг перед дружкой спецхарчами...⁴³⁹ А потом – любезное перекрёстное опыление юных неваляшек... Е-есть что вспомнить. Человечища ж когда-то был, между прочим! Умняга!.. Мозган!.. Что с тобой случилось? Да тампон тебе на язык! Ну, японский городской Но-

⁴³⁶ **Держать стойку** – не признаваться.

⁴³⁷ **Следить за метлой** – контролировать свою речь.

⁴³⁸ **Офицерское троеборье** – распитие спиртного напитка, состоящего из пива, вина и водки.

⁴³⁹ **Харчами хвастать** – страдать рвотой.

буёси!.. Давай мы, ёжки-мошки, похерим войнишку между нами. Я большъ не буду подпускать тебе вони!

– А клавиатуру пожевать не хочешь?

– Да честное партийное!

– Иша! С понтом под зонтом!⁴⁴⁰ Да мне с прибором положить на твоё честное партийное! Какой ты, попа с ушками, сейчас шёлковенький да простой, как ситцевые трусы... А я помню тебя другого. Смелюра был... Кто орал? Кто бил себя пяткой в грудь и орал: «Сживу со свету! Загоню дальше Колымы!» Кто орал?.. А как прищемили ему авеню ля залупон дверью, так сразу лапки кверху. Не буду... Не буду... А я буду! Пока не урою тебя, гаду. Пока не впишешься рогами в морг!

– Извини, Сергунчик... Сейчас круче тебя только яйца, выше тебя только звёзды... Мне глубоко кажется... Давай забудем все встречные пинки и отмочим канкан. Отметим столетие канарейки!

– Кончай эти подхалимажные глупизди! Захлопни, одноклеточный, свою помойку и слушай! Прикрываем эту муоту! Даю тебе, *мелшоратор*, сроку две недели. Упиливай отсюдушки! Делай срочный отскок! От-ру-ли-вай!.. Не уберёшься, педерастяпа, своим ходом – понесут вперёд чёрными пиночетками. Я уж постараюсь, будь спокоен... Мелко не покажется!.. У тебя ж, козлина вонючий, не то что рыльце в пушку – вся рожа в дерьме! Бабий везувец!.. Весь Везувий!..

⁴⁴⁰ С понтом под зонтом! – так я тебе и поверил!

Кто взлетел с пупка Кафтайкиной в райком комсомола? В райком партии, в этот гнилушанский рейхстаг? Даже в обком? Ты хорошенько помнишь своё восшествие на партпрестол? Не забыл ни один кривой этапчик своего большого пути?.. Кто за эфиопские налоги восстанавливал в партии жульё, покрывал всех гнилушанских ворюг? У меня в документах всё ясно прорисовано кого, где, когда, за сколько... Кто из райкома комсомола, из райкома партии сделал пенисные корты? Может, ты разбежался и обком превратить в тот же пенисный корт или в бабслейленд? Не позволим-с! Пэцэ тебе!.. Думал, всю жизнь будешь с автоматом Калашникова бегать наперевес да мять заплесневелую горжетку кафтайкинскую? Думал, будешь без конца парить вверх к новым чинам и попутно к высотам коммунизма? Отлетался Ленин в Разливе! Твоя вринцесса Кафтайкина срочно скурвилась под ноль, и седая прореженная горжетка по обкомовскому реестру оттранспортирована на склад готовой продукции⁴⁴¹. Держать тебя здесь больше некому! Ну что, рейтинг глубоко упал и писькин домик осиротел?.. А то... Ишь, разлетелся! Тыр-пыр, едем на Таймыр! Жих-жих! Жих-жих! Чух-чух!.. Чух-чух!.. Чух-чух!.. Но до Таймыра не доехал. Керосинчику не хватило-с. А впрочем, может и хватить, если я похлопочу... Не будь чем щи разливают. Просись, поплавок унитарный, сейчас же куда поглуше пока своей волею... Отпускаю... Не злой я ровно две недели. Две недельки я могу с

⁴⁴¹ Склад готовой продукции – кладбище.

тобой покамасутриться...⁴⁴² Ты испаряешься с обкомовской широты – мне совершенно монопенисно,⁴⁴³ что с тобой там. Я тебя не знаю! Секи момент...

– С такого разговора всё темно, как у негра в дупле... Ну зачем тащить сюда прошлое?.. Попал я в бидон... Я ж всю жизнь протолокся в глуши. И снова своей волей ломись туда же? Да как же проситься, отрыжка ты пьяного бегемота?

– А мне, ваше ничевошество, до лампочки Ильича!

– Ну ка-ак?!

– Просто... Муханизм простушка... Ну ты, болтунец⁴⁴⁴...
Перевязал уже кобылку?⁴⁴⁵

– По полной программе.

– Вот и ладушки! А то привык чесать на низок.⁴⁴⁶ Сейчас же, нирвана-нисшита,⁴⁴⁷ топай к своему заву. Садани себя кулачком в волосатую сисыку и восплачь... Не могу я, дубопляс, дорогие обкомовские ковры топтать! Недостойный я спермотазавр! Ж-ж-жалаю назад! На передовые родные соц-рубеежики! В народ! В самую глубинищу! На передний край святой борьбы за наше светленькое-чёрненькое. Всё тебя, аленький цветочек, учи!

⁴⁴² **Камасутриться** – возиться.

⁴⁴³ **Монопенисно** – безразлично, всё равно.

⁴⁴⁴ **Болтунец** – импотент.

⁴⁴⁵ **Перевязать кобылу** – сходить в туалет.

⁴⁴⁶ **Чесать на низок** – применять шулерские приёмы в картёжной игре.

⁴⁴⁷ **Нирвана-нисшита** – рок-группа «Нирвана».

– Повторяю... Ну ни в зуб галошей... Я ж только оттуда!

– Снова, неюзабельный,⁴⁴⁸ просись. Не всё, мол, достроил... Не имеете права отказать святому порыву святой души!

Пендюрин запечалился.

«Где же вы мои, тужья-друзья?»

Самое тяжёлое в старости – это мысли о молодости.

Он ватно вспомнил свою голосистую партайбаронессу Кафтайкину, свою сексопилочку-ненасыточку Надежду Константиновну. Помогла въехать в обком. Вот бы кто ему помог сейчас тут угнездиться!

Да куда!

Его Надежда Константиновна хоть и не ровесница вождёвой Надежде Константиновне, но коньки уже склеила.

«Вот и кончились весёлые похождения пестика и тычинок... И мой автограф, поди, сотлел уже на её лобке... Я на мелководье... Ах, Надюха, Надюха!.. Как ты посмела покинуть на произвол судьбы своего верного одномандатника? Ну не глупь?.. Безответственный, необдуманный шаг! Помогла влезть в обкомовский рейхстаг – партийное спасибо! Дала мёду, так дай же и ложку! Помогла б ещё прочно окопаться тут, а там и склеивайся на здоровье!.. А то... Как видишь, от перестановки слагаемых суммочка крепонько меняется... Бросить одного на растерзание горбылей. Кукуй один среди этих монстриг... Слопают ведь!...»

⁴⁴⁸ **Неюзабельный** – непригодный к употреблению.

Горбылёвские хлопцы-партократики так турнули несчастного Пендюрина, что он снова приочутился в глухой глубинке.

Через месяц Пендюрин уже вставлял ума в районном сельце Новая Усмань.

Это ж такая могильная спецдыра...

Ельцинский президентский указ о прекращении деятельности компартии в России насмерть перепугал Пендюрина.

Он достал из холодильника початую бутылку сталинского⁴⁴⁹ коньяка, на вздохе пихнул в карман и, не закрывая кабинет на ключ, побрёл домой.

До дома было метров триста.

Это расстояние он ни разу не прошёл своими ногами. Утром и вечером эту пустую трёхсотку чёрно прожигала на бешеной скорости «Волга». Пендюрин любил быструю езду не меньше Неолита Ильича.

Но сейчас Пендюрин не стал вызывать шофёра, и осталась в гараже его «Волга», рейхстаговский бугровоз.

Он решил, что больше не войдёт в свой рейхстаг.

Он шёл и не шёл. Ватные ноги еле несли его.

В кутерьме скверика у райкома бузили усманские алики.

Драли козла кто как мог.

Расскажу я вам, робята,

⁴⁴⁹ Сталинским называли в парткругах обычный грузинский коньяк, который любил Сталин.

Как тоскливо без жаны.
Утром встанешь – сердце бьётся
Потихоньку об штаны.
По весне кол торчком,
Тяжело, братцы.
Приходите к нам в райком –
Палками кидаться.
Я не помню, как заснула
У шофёра на руке.
Просыпаюсь – целки нету,
Три рубля торчат в руке.
Всё вам, девочки, припевочки,
А мне не до того.
Умер дедушка на бабушке –
Сдавал на ГТО.
И немцу не дала,
И грузину не дала.
Свою узкую –
Только русскому!
У кого какая милка,
У меня дак секлетарь.
Не даёт пощупать титьки,
Говорит: «Пониже шарь!»
Харят нас и тут и там
Коммунисты разные.
Неужель мы оттого
Сами станем красные?
Полюбила я парторга,
У него партийный орган.

С ним любиться нипочём –
Обмотан орган кумачом.
Всё запреты да запреты.
Делай то, не делай это.
На черта такая жизнь?
Государство, отвяжись!
Коммунисты нас терзали
Чуть не весь двадцатый век.
И до смерти затерзали
Миллионы человек.
Коммунистов изберут,
Все продукты пропадут.
А предприниматели
Пойдут к такой-то матери.
Был при Сталине порядок:
Десять, двадцать и расстрел!
Голосуй за коммунистов,
Если снова захотел!

Дома Пендюрин меланхолично поиграл горниста – из горлышка безотрывно выдул почти всю бутылку и, не удержав её, выронил. Бутылка с веселым звоном покатилась под диван, выплёскивая остатки коньяка на пол.

– Мыш...ка... норуш... ка... Сейчас же вылезай! – погрозил он бутылке ватным кулаком.

Но бутылка почему-то не показывалась из-под дивана. Он устало махнул рукой и разгромленно загудел:

– *«Как-то ночью на закате заглянул я в личный чум.*

*Там мужчина бледнолицый выковыривал изюм.
Я наглею, я зверею, надоело объяснять:
Сядем у канавы
День полярный провожать».*

Тут вернулась на рейхстаговском членовозе из области, из спецпарикмахерской, Лика.

Присела на корточки перед ним. Пошатала за плечо.

Он еле разлепил один мутный глаз.

– Я слышала... Ну что, звездочёт коньячных этикеток, проводил полярный день? Ох-охушки-и... Полный перебор... Похоже, оприходовал весь боекомплект...⁴⁵⁰ И пол влажный,⁴⁵¹ и сам влажный... Под завязушку наборомзился?⁴⁵²

– Не путай сюда своего Бровастого. И вообще кончай баллоны катить, вшегонялка!.. – Он лёг щекой на стол, устало закрыл глаза. – Я теперь свободен, как негр в Африке. Больше в присутствие не иду... Прощай, мой рейхстаг...

– Или ты, Глупчик, недоперепил? Что за бред уснувшего генсека?

– Не бред, а суровая реальность. Накатила годинушка... Поспевай только отскакивать!

– До такого договориться... Цок-цок... Кре-епенько сма-

⁴⁵⁰ **Боекомплект** – спиртное.

⁴⁵¹ **Влажный** – пьяный.

⁴⁵² **Боромзить** – так генсек ЦК КПСС Л.Брежнев произносил слово *бороздить*.

зал утомлённый организм... Ну!.. В сторону твою реальность. Займёмся моей. – Она кокетливо глянула в зеркало на стене, чуть взбила сзади волосы на голове. – Как тебе новая причёска? Оцени.

Он вяло кинул руку в сторону и устало шепнул:

– Прощай...

– Да ну ладно тебе бурить мозги! Это в честь-то чего прощай?

– Прощай, спецфигаро...⁴⁵³ Прощай, – глянул на пустую бутылку из-под коньяка, выглядывала из-за ножки дивана. – Прощай, спецбуфетик... И ты, кусик... прощай... И наш бурдюнтник прощай. Все прощайте... Прощай наша сладкая жизнь... Безвыходняк...

Лица чувствительней шатнула его плечо.

– Сколько тебе говорить: не пей? Или ты забыл, что водка – пережиток прошлого, настоящего и будущего? А ты... Похоже, мой алконавт словил-таки сегодня белочку⁴⁵⁴? Ответил на красный террор белой горячкой? Проспишься и белочка убежит снова в лес!

– Некуда бежать белочке... Ты что, не слыхала?

– Слыхала, несчастушко ты мой. И что? Борька пукнул, а ты в обморок упал? Нашёл кого бояться! Да они с Горбатым поцапались у цэковской кормушки. Борька и дерани в дерьмократы. А так кинь пятнистый Горб ему сладенькое местеч-

⁴⁵³ **Фигаро** – парикмахер.

⁴⁵⁴ **Словить белочку** – напиться до белой горячки.

ко и сидел бы помалкивал... Борьки бояться не надо. Свой же! Из коммунистов! А коммунисты ничего серьёзного не сделают!

– Это верняк! Мы вон семьдесят три года бегали при власти. И чего мы сотворили?.. Хорошего?.. А шиш мы чего сотворили хорошего. А за всё прочее... Нас мало повесить за ногу или за кокосы!

– Ну!.. Ты рассуждаешь, как какой паршивый диссидент или бомж... Первому ли секретарю райкома такое лепить?

– А другое, миланя, не лепится... За то, что мы за семьдесят три года утворили со страной, с народом – за ногу повесить ещё большая честь. Та-ак устряпали коммуняки великую державу... Ведь наша советская жизнь – это Варфоломеевская ночь, растянувшаяся на семьдесят три года! О!.. Вот что мы сотворили!.. Нас только на это и хватило... Как ночью хапнули Зимний, так всю ночьку длиной в семьдесят три года знай и воспитывали без перерыва на обед... Воспитывали несчастных строителёчков коммунизма... И ка-ак воспитывали... Ссылками... Лагерями... Тюрьмами... Свинцом... свинцом... Голодом... Все воспитывали кому не лень! Вот они, злецы, дорогие наши воспитатели...

Пендюрин трудно подошёл к огромному настенному цитатнику в дорогой золочёной раме.

На работе, в райкоме, у него весь стол в цитатах под стеклом. Цитатами уклеен потолок его «Волги». И дома цитатник в полстены. Просвещённый ленинец! Всюду просвещай-

ся!

– Воспитывали все! От Фили Железкина до матроса Железняка! Только успевали горемыки получать по девять грамм свинца...

Лица ехидно хохотнула:

– Ты с перехвату про какого Филию Железкина толкуешь? У нас такого нет.

– А этот куда девался? – Пендюрин ткнул кулаком в цитату Дзержинского. – К-куда он подевался?

– Так это не Филия. А весь Феля... Фелюшка... «Железный Феликс»...

– И как он учил? Слушай. Цитирую... «Пролетарское принуждение во всех своих формах, начиная от расстрелов, является методом выработки коммунистического человека из материала капиталистической эпохи». Какая железная жестокость!.. Для Фелечки человек вовсе не человек, а «материал». Эти сдвинутые по фазе фелечки и колбасили всю чёрнознамённую Советскую Варфоломеевскую ночь... В Москве слетел памятник Фелечке... Это кричат уже теперь нам: «Эй, советские коммуняки! Которые временные! Слазь!» Такова селявуха... Пришло время нам слезать с трюнишка... Залили его кровушкой, попили народной кровушки... Как только и отвечать? Как страшно... Жертвенные стоны из жестокой Советской Варфоломеевской ночи рвут меня... Не уходят от меня... Какие мы... Коммунисты... Нас только и хватило на орденосную Советскую Варфоломе-

евскую ночьку имени Ленина-Сталина и примкнувших к ним кудряша Неолита. На ночьку длиной в семьдесят три года. Как минимум за эту ночьку покаяться партии надо, попросить у народа прощения за все наши изнушения да поругания... Целых семьдесят три года терзать Россию... Загубленный век России... Убитый русский век... За всё за это просить у народа прощения и каяться... Тогда, может, и уцелеем... А так... Как бы эти дерьмократы не порвали нас на куски. Мы их семьдесят три года не жалели. Пожалеют ли они нас? Не пожалеют! Ведь за то, что мы делали, без слов кидают к стенке! Только ты, горяченький, раньше срока не кидайся к стенке сам.

– Я-то не кидаюсь. Дела, что за спиной стоят, поджимают к стенке.

– А что ж ты творил таковские дела?

– Творил. Да своей ли волей? Я винтик... Гаечка... Куда сверху крутили, туда и крутился...

– А ты уже сам не крутил?

– Крутил в унисон с кручением сверху. И докрутился... Ты хоть мне скажи, что ж мы такое строили все семьдесят три года?

– А ты, первый секретарь райкома, не знаешь?

– Не знаю. А думаешь, первый в обкоме знает? Или Горбачёв?

– Подсказываю... На костях заключённых строили светлое будущее...

– Тот-то и беда! Всему ж миру пример, как гниёт СССР! Коммунизм – всепланетная смерть! Ну кто не знает, где коммунисты прошли – мёртвая остаётся пустыня? Вон учёные доказали, что на Марсе была жизнь. Бы-ла!.. А теперь – нетушки! Куда она упрясалась? Может, коммунисты там строили своё светленькое-чёрненькое? А с Плутоном что? И во-все худо. Самая холодная планета. Вечно зюзя минус двести тридцать! Всегда темно! Не коммунисты ли и там пошухарили и выдавили Плутона в самую даль от Солнца?.. Не остави коммунистических чумиков, они и Земле не состроят ли судьбу Плутона? Ох-ох...

– Оя! Глупов! Несчастный ты мой железный носик...⁴⁵⁵ Что ты так страшно пугаешь? А мне, между прочим, глубоко не страшно.

– Тот-то и не страшно, что ты великая глупоня... Коммунизм невозможно построить не только в отдельно взятой стране, не только на отдельно взятой планете, скажем, Земля, – его не построить даже в одном самом маленьком советском доме!

– Ой, диванный ленивец Глупов! Ловишь глюки!⁴⁵⁶

– Лучше ещё разок послушай... Немного базы... Коммунизм – это избытие по ноздри (как обещается несчастному народу) и право **каждого** на чужое имущество. Что зна-

⁴⁵⁵ **Железный нос** – тюремный политработник.

⁴⁵⁶ **Ловить глюки** – галлюцинировать, находиться в заторможенном состоянии.

чит изобилие по ноздри? Это жить, как жил Бровеносец в Потёмках. Этот Потёмкин мог проветривать на своих сорока двух личных автомашинах свои легендарные брови, которые, кстати, так толсто растут от чёрной рыбной икры, а во все не от кабачковой или баклажанной. Вся держава вмахивала на одного жителя коммунизма и его ближнее и дальнее спецокружение вплоть до колхозных партторгов. И, по теории, **каждый** в России должен бы жить так. А кто ж, скажи, создаст такую жизнь к а ж д о м у россияну? Каждому русскому? Никто и никогда! И тут на сцену выбегает Его Величество Право **Каждого**. Берём пример. В самой крохотной развалюхе княжат лишь две семьи. У одного хозяина из личного транспорта только две ноги и разбитый ещё в детстве самокат, а у другого – мерседес. Объявили коммунизм и... Конечно, владелец мерседеса наверняка не позарится на соседа самокат. Но самокатчик? Не захочет ли он **по праву** пересесть на мерседес? Мне глубоко кажется, захочет. Один полез отнимать, второй – защищать. И так повсюду. Друг другу перебьют. На том копец и коммунизму, и народу, и стране... Лунный пейзаж... Вот что оставит коммунизм. Так что коммунизм – это смерть всех и вся... Ну и случись невозможное, построят коммунизм во всём мире, как разбегались большевики поначалу, – всё равно смерть! Где мы тогда будем зерно закупать?... Сами ж не вырастим... Хоть так – смерть, хоть этак – смерть. Так что русский коммунизм – это только круговая смерть...

– Выходит, мы смерть строили все семьдесят три года?

– Называй как хочешь!.. Гнали туфту. На крови, на лжи, на грязи, на голоде чего светленького выстроишь? У нас даже своей идеи не было. И не украли ли мы её у церкви? Церковь чему учит? Не убий, не укради там что плохо лежит... Словом, не скоммуниздь!.. Довольствуйся малым. Старайся делать всё для других, и счастье тебе персонально боженька на подносе поднесёт уже за гробом. Мы и перехвати эту песенку. Гори в трудах! Трудись во имя будущего! А когда оно придёт это будущее? Через год? Через сто? Кудряшик уж как усердно стучал себя по кокосам – смертно обещал коммунизм к двадцати четырём ноль-ноль 31 декабря 1979 года или, на крайний случай – это уже наточняк! – выстрою я вам ваш коммунизм к нолю часов к нолю минут 1 января 1980 года! Гор-ряч-чуще обещал. Но! Всё по нолям!.. Прошли и двадцать четыре ноль-ноль 31 декабря 1979 года. Прошли и ноль-ноль часов ноль-ноль минут 1 января 1980-го... Всё прошло! А господин Великий Коммунизм так и не прорисовался. Это и не шелохнуло партправителей... Ну, не вышло у Кудряшика с коммунизмом для людей на отдельно взятой одной шестой Земли, так, может, всем миром сгандобим этот распроклятуший коммунизмишко для коров на отдельно взятой колхозной ферме? И тут – толстый прочерк. Ничего... Ничего мы не можем... Ни для людей, ни даже для скота...

– Глупыч! Где ж это ты строил коровий коммунизм?

– Бы-ыстро ты всё забываешь!.. Да в «Родине»! У преподаваемого Митрофанушки Долгова!.. Фу ты, ну ты, ноги гнуты! Сам забыл! Да я ж тебе про твоего родного батечку толкую!.. По приказу из области... Всей областью и ляпали... В коллективизацию сгоняли несчастный народушко в колхозы и с уха на ухо летало: «Житуху сулят ладную! Будем жить вместе в одном большом красивом доме! Будем укрываться одним расписным одеялком!..» Охохошеньки... Ни дома... ни одеялка... Зато через полвека Митрофанушка при помощи не всей ли области сгандобил-таки один громадину дом для коров, натянул крышу. Были коровы раскиданы, если не вру, по чёртовой дюжине гнилых фермочек, а тут свёз в кучу. В один комплекс! Идиотская показушная гигантомания! А ну столкай под одну крышу три тыщи рогов! Да шесть тыщ копыт!.. Коровья с-сем-меюшка о-го-го! Один «стол» – конвейер... Всё на кнопочках!.. Культурно лопай свою солому, не отползая от конвейера! Так не хотят лопать под одной крышей! Тесно, видите, им. Да сыро... Да душно... Да сквозняки... Да неудобно... И протест какой дают? В окна, конечно, не бросались... С цепью на шее не бросишься в окно... Да и высокогато оно... Так они ноги на решётчатых полах увечат! Назло, что ли? Не примам ваш коммуонализм! Дурочек нашли!.. Сами вы, люди, по отдельным домам-квартирам расползлись! А мы мучайся экой оравищей в одной куче!? Дудушки! Все падём демонстративно, только в ваш коммунизм нас на цепи не затащишь. Упрёмся и не

пойдём. У человека две ноги, а у нас – четыре. Крепче вашего упрёмся! И не сдадимся! И не сдались... Какие им ещё условия подноси на блюдечке? Надо было всех вывезти на господское житие на проспект Му-му⁴⁵⁷ в Москве? Так мы сами в глушинке шарачимся... Ну... Изувечила бурёха копыта – всё одно что осталась без ног. Обезноженная корова не корова... А инвалидка-вовочка...⁴⁵⁸ Всё стадо изувечили, оно и отбросило копыта... Сшарахнули на мясокомбинат... И весь мудозвонский коммунизм... Ни для людей, ни для животных... Не смогли... А как гордо мечталось до восьмидесятого... Его Величество Коммунизм!.. Прожгли эту мифическую станцию без остановки. Нет в природе такой станции. Негде и остановиться. За семьдесят три года докувыркались в муках до пустых магазинных полок, до талонов даже на спички. Но – гордо обещаем всем счастье в будущем! Всё в будущем, за что никто из вчерашних или сегодняшних строителей никогда не будет отвечать. Эту идею перехватили у церкви, а саму церковь скрутили в бараний рог. Два медведя в одной берлоге не крутись!

– Ну, Глуп Глупыч! – вздохнула Лика. – Тебя послушай, не поверишь, что ты первый секретарь. А так, какой базарный болтунец... Неужели и там, – вскинула палец, – так ваши говорят?

– А думаешь, иначе? На собрании, на активе одно. А в ту-

⁴⁵⁷ **Проспект Му-му** – Коровинское шоссе в Москве.

⁴⁵⁸ **Вовочка, ВОВочка** (здесь) – инвалидка Великой Отечественной войны.

гом партийном кругу – пострашней всех вместе взятых диссидентов! Никто не имеет и представления об этом коммунизме, никто не знает, с чем его едят. Но все твёрдо знают, что никакого коммунизма никогда не будет. А будет то, что успеешь сам сегодня урвать. Власть у тебя. Рви! Всеми доступными способами. С семнадцатого ж года едут коммунаки на одних спец, спец, спец... Потому как власть советская пришла – жизнь по-мёртвому пошла! И не будь этого спецпартдопинга, не то что строительства коммунизма – самого этого слова никто б уже давно не слышал.

– Эх куда хватанул мой Глупов!

– А ничего я и не хватал... Ты думаешь, чего все лезут в партию? Из-за любви к ней? Из-за горячего желания строить какой-то никому не ведомый коммунизм? Да нужен он как мёртвому припарка! Жрать да повкусней все хотят, вот и лезут! Мы ж так поставили дело на поток, что без партии человеку, будь он семи пядей хоть во лбу, хоть в зад... Будь он хоть разгениальный, а без партии ему ни вздохнуть ни пёрднуть! Тут и закрутишься... На предприятиях как? Партактив. Ля-ля-ля, три рубля... С трибуны строим коммунизм! Отлялякались... С одного собрания разными дорожками стригут господа коммунисты. Рядовой партподанный в голоде бежит домой, передёргивает ремень на дырочку уже. А партактивистик? А партактивистик-стрикулистик, этот коммунистический прихвостень-подпёрдыш вперемишку с оборотнем, уже с трибуны неотрывно пялится на

заветную спецдверку, куда он летит, едва закройся сборня. В той спецкомнате для активистов уже заждались продуктовые спецнаборчики... Нагруженный активистик вышагивает в мажоре. Партдопинг ему не в утруждение. Он заработал! С трибуны коммунизм строил! В пламенных речах готов был кровушку вёдрами проливать! Ну как не подкормить этого отважистого трибунного строителёчка светленького-весёленького? Вот и подкормили. Всё путём! Эх-х... За коммунистами пойдёшь – дорогу к могиле найдёшь... Вот... А в деревне... Ты вот не знаешь, где в магазинах двери. А всё почему? А потому, что есть график... Раз в неделю в определённый час один из двадцати колхозов района по очерёдке-графику завозит нам домой, к чёрному ходу, или полтелка или полсвиньи... И другие также продукты... Не меряно, не вешано, не считано... А *приёмный* мешочек на чердаке тебя не греет? А *залётный*?

– Да, Глупов, тебя послушать... Страшно...

– Тебе страшно слушать. А каково мне делать?.. Его и на пушечный выстрел нельзя подпускать к партии, а он хочет вступить. Хочет вкусно жить. Он хочет, чтоб и я не засох. В лапу столько суёт, что про все красные идеалы разом забудешь... Витаминчик **В**⁴⁵⁹ я любил... На *приёмные* взятки набрали полмешка золота... А в партии дорвался до власти, он и вовсе распоясался. Грабит при белом дне. Залетел... Ниже уже и не пасть. Гнать, гнать из партии! А он тебе откупной

⁴⁵⁹ **Витамин В** – взятка.

такой – пустишь всё на тормозах, выговорешник ему. Воруй и дальше, да почаще *кайся!* *Залётный мешок* толще... На золоте сидим... А в народ с ним не выйди. На казённые копейки в золоте не утонешь... Стукнут куда надо, можешь умыть-ся... Грязь, грязь, грязь... Страшно... И подумать страшно, как мы испоганили народ... Кулака... Этого Святого Труженника, кормильца России, придушили. И стало на земле царевать деревенское шоболо... Лодыри, вертухаи, ворюги... Поплы-ыло говнецо... Всю Россию залило... Это говно никогда не хотело знаться с трудом. И работать его не заставишь. А воровать не учи. Воровством жило все семьдесят три года!

– Глупов! Не глупи. Не наговаривай на славных советских сельских труженников!

– Ах тебе, если б наговаривал... Мне б легче было... Мы провели у себя в районе опрос. И подтвердились жуткие мои догадки. Шестьдесят пять процентов опрошенных не видят ничего стыдного в воровстве. Вот подарочек! Раз оправдывается воровство, то зачем работать навывкладку? И шестьдесят процентов не возьмут земли больше того, что у них есть в подсобном хозяйстве. Каждый второй не хотел бы иметь в доме туалет, каждый третий считает, что машина ему не нужна... Это как же так пещерно жить? Это отчего же они так хотят жить? Мы так долго приучали их во всём воздерживаться, что они дальше дохлого минимума не хотят и заглядывать? Мы научили их так жить? Или всё-таки за семь-

десять три года нам так и не удалось чёрного кобеля отмыть добела? Кулака срубили под самый корень. Новых подлинных тружеников не смогли вырастить на земле... Что же с таким народом? Мне глубоко кажется, какой коммунизм построишь с таким народом?

– Ну, вот... Тебе уже и весь народ не угодил... Крепенько подловил нынче белочку. Крепенько...

– А как не ловить? – чуть не плача шепчет Пендюрин, помахивая журналом «Политическое самообразование». – Вот тут чёрным по белому... Глянь сама на эту чужь!

Она заглянула в журнал, куда он показывал, и отшатнулась.

– Да не с тобой ли, алконавт, они *там*, в журнале, пили?

– Да нет... Они раньше...

– Ну надо такую бурость напечатать?! – И она воткнула нос в журнал, стала уже вслух читать: «... **идеологическая борьба социализма с коммунизмом вступила в решающую стадию**». Строили, строили, боролись, боролись и уже не знают, чего они строят, кто с кем борется... Ну надо же! «Борьба социализма с коммунизмом»! Перехлебнули они *там*!

– Если они *там*, – Пендюрин трудно поднял скрюченный палец, – если они *там* перехлебнули, так мне сам Господь повелел по таковскому случаю наехать на бутылочку... Смешалось всё в этом идиотском советском маразме...

– А кто смешивал? Вот такие парткозлы, как ты, и сме-

шивали!

Пендюрин не знал, какими словами отбиваться. И смолк. Да не навек.

– Знаешь, – зажаловался он, – мы самая богатящая в мире держава! У нас на триста восемьдесят триллионов одной природной ренты... Это газ, нефть... минералы там разные. Всё это принадлежит всему народу. А что от этого имеет рядовой там гражданин? Да ни хераськи! Но в той же Норвегии, сам читал в газете, «доходы от природной ренты идут на лицевые счета всех норвежцев» Поняла? **Всех!** У нас каждомуросло богатств на 167 тысяч долларов! А в США в десять раз – меньше! Но как живут они? А как живём мы?

– Жи-вём? Мы – жи-вём? Если мы живём, то кто тогда только существует? Что же вы, коммунисты... «Ни один эпихальный прогноз Ленина не оправдался»! С чем и поздравляю вас! Что же вы, паразитяры, при таких богатствах так и не смогли за целых семьдесят три года создать нормальную, человечью жизнь? Или ты не согласишься, если я скажу, что советская власть – это Варфоломеевская ночь, растянувшаяся на семьдесят три года? Я лгу? Это неправда? Чего молчишь? Щёлкая пртплёткой, сколько ещё веков вы собираетесь дурить народ байками про тот идиотский райский коммунизм?! Ско-олько???

– Знаешь, кусик, ленинское слово забудется. Что наплёл нам Ильич – то не сбудется! Никогда!.. Советское дело на весь же мир загремело... Ну, Ленин Лениным... Да своя-то

башня где была? Куда вело, туда и брело... Историческая лень... Историческое равнодушие... Мы были безразличны к тому, что творилось уже при нас, молодых. Значит, мы позволяли... Помогали злу укрепляться. Да рано или поздно приходится платить за свою вчерашнюю пассивность... По такой жизни, кусик, пора нам всем уходить... Нарулились!.. Приехали... к разбитому корыту... Консенсус – всему делу венсенсус!

– Да кончай ты свои дзёрури!⁴⁶⁰ Ничего я не поняла, наум,⁴⁶¹ насчёт венсенсуса. Не рановато?

– По нашим делам – давно пора! Не могу... Думаешь, я не знаю, как меня за глаза?.. И Борман... И даже Крутой Адик...⁴⁶² Крутой Адик с партплёткой! Сколько можно?.. Венсенсус и точка!

– Это не ты... Если не агдам сухейн,⁴⁶³ так «коньяк две косточки» за тебя говорят, затюканный ты мой горький партпредводитель всея Гнилуши.

– Забылась? Мы в Усмани сейчас... Хотя... Усмань разве не та же Гнилуша? Да у нас вся страна – Гнилуша!.. Вся страна – один лагерь... Не кто-то за меня, а я сам говорю только то, что думаю... – Он провёл указательным пальцем

⁴⁶⁰ **Дзёрури** – вид песенного сказа, а также театра кукол в Японии.

⁴⁶¹ **Наум** – отец.

⁴⁶² **Крутой Адик** – Адольф Гитлер.

⁴⁶³ **Агдам сухейн** – дешёвое некачественное вино. (Шутл. от имени арабского диктатора Саддама Хусейна.)

по горлу. – Вен-сен-сус!

Лица вспыхнула:

– Да убирался бы ты со своим венсенсусом ко всем чертям на пасеку! Проспишься – и весь венсенсус!

– Этого, наумиха,⁴⁶⁴ больше не заспишь... – прошептал он.

– Это что же, по-твоему, всем партколхозом лезь в одну петлю?

– Всем...

Она тоскливо улыбнулась:

– Оп-паньки... А давки у петли не будет? Или мы в очередь... По талончикам, по талончикам... Как в магазине? Не-ет... Да видела я всё это в гробу в белых адидасах! Не побегу я за талончиком... Кто-то должен и остаться на хозяйстве... И к чему такая спешка? Если кто боится ответа завтрашнему дню – это его болячки. Но лично я... Пусто отошла моя жизнь... Хоть кое-что и намечалось... Не задалась жизнь моя... Отгорела в холопской драке за чёрствую корочку...

– Безбашенная! Это при мне-то?!

– Или я к тебе, разнесчастный ты мой человек, прыгнула с мамкина колена? Может, сыну улыбнётся новая жизнь?

– Гм... Напомнила... Сын-то у тебя свой есть. А где мой? Разве тебе не поручалось именем партии? – криво посмеялся он.

⁴⁶⁴ Наумиха – мать.

– Да брось ты! Много чего она поручала...

– Ни сына... Ни дочки... Никакого моего отросточка...

Жирный прочерк... И строгим выговором с занесением в личное дело уже не поправишь...

– Может, хоть моему сыну жизнь улыбнётся?



– Жить и дальше только надеждами? Какими?.. Ну какими ещё? Мы и так уже ско-олько жили одними надеждами. Нет, так больше жить невозможно. Вечно думай одно, говори другое, делай третье... На что ещё надеяться? Чего ещё ждать? Чего??. Уж ка-ак ждали кудрявого ком-

мунизма! Подмылись... причесались... Подтянули трусишки... Поправили галстучки... А он... А он, паршивец, умыл нас! Р-раз и в сторону! Выплыл на гнилом Западе! Да ого-го за сколько лет до восьмидесятого! Ну что? Снова жди? Чего? Туже затягивай поясок да ещё сильнее лупи партплёткой?! Загоняй горький народушко в светленькое? Глядишь, лет через сто выдадим на-гора этот проклятый коммунизм! К понедельничку первого января две тыщи восьмидесятого года? Ой... Шерсть с пупков облезет, и пупки не то что поразвяжутся у нас, но уже и сотлеют! Пропадай ты пропадом, светленькое-чёрненькое! Эхма! На конце концов, «есть идеи, за которые легче умереть, чем жить с ними».

Ночью Владлен Карлович Пендюрин застрелился.

1991

Приложение

ВЛАДИМИР ПУТИН О ЗАКЛАДКЕ ЛЕНИНЫМ «АТОМНОЙ БОМБЫ» ПОД РАЗВАЛ СССР

Газета «Известия» 21 января 2016 года писала:

Путин: «Ленин заложил под Россию «атомную бомбу»

Президент считает, что именно действия Владимира Ильича привели к развалу Советского Союза

Президент России Владимир Путин сегодня на Совете по науке и образованию высказался о поэме Пастернака «Высокая болезнь», где автор рассуждает о роли Ленина в мировой революции.

Глава Курчатовского института Михаил Ковальчук предложил на заседании Владимиру Путину создать для научной среды «организации, которые должны управлять течением мысли в конкретных направлениях», процитировав при этом строки Бориса Пастернака о Ленине: «Он управлял течением мысли /И только потому – страной». Он предложил создать

или найти такие организации, которые будут ответственны за общественное мнение «в конкретных направлениях».

Владимир Путин ответил, что управлять течением мысли нужно, но так, чтобы эти меры привели к правильным результатам, «а не как у Владимира Ильича». «В конечном итоге эта мысль привела к развалу Советского Союза, вот к чему. Там много было мыслей таких: автономизация и так далее. Заложили атомную бомбу под здание, которое называется Россией, она и рванула потом. И мировая революция нам не нужна была. Вот такая мысль там тоже была», – сказал президент.

Путин: воплощение идей социализма в России было далеко от сути

СТАВРОПОЛЬ, 25 января 2016. Межрегиональный форум Общероссийского народного фронта (ОНФ) – РИА Новости.

– Идеи социализма были правильными, но их воплощение в России было далеко от их сути, заявил президент Владимир Путин и для примера напомнил, что большевики критиковали предыдущий режим за репрессии, а сами с них и начали.

Он также заявил, что большевики в борьбе за власть подписали мирный договор с Германией, так что Россия в Первой мировой войне «проиграла проигравшей стране», рас-

стреляли царскую семью с детьми и слугами, уничтожали священников – и если задуматься об этом, возникают разные оценки исторических фактов.

Президент признался, что ему очень нравились и до сих пор нравятся коммунистические и социалистические идеи.

– Если мы, – сказа он, – посмотрим Кодекс строителя коммунизма, который широко тиражировался в Советском Союзе, он очень напоминает Библию, и это не шутка – это такая выдержка из Библии. Идеи-то они вообще хорошие – равенство, братство, счастье, но практическое воплощение этих замечательных идей в нашей стране были далеки от того, что излагали социалисты-утописты.

Путин в который раз говорил на форуме о жестокости незаконных репрессий:

«Все обвиняли царский режим в репрессиях. А с чего началось становление советской власти? С массовых репрессий. Я уже не говорю про масштаб, он просто такой наиболее вопиющий. Пример – это уничтожение, расстрел царской семьи вместе с детьми. Но могли бы быть еще какие-то идейные соображения по поводу того, чтобы искоренить, так сказать, возможных наследников. Но зачем убили доктора (царской семьи) Боткина? Зачем убили всю прислугу? Людей, в общем-то, пролетарского происхождения. Ради чего? Ради того, чтобы скрыть преступление», – сказал Путин на форуме ОНФ в понедельник.

Путин призвал не разделять общество вопросом о сохранении Ленина.

«Ведь, понимаете, мы никогда раньше об этом не задумывались. Ну, хорошо, сражались с людьми, которые воевали с советской властью с оружием в руках (в Гражданскую войну). А священников чего уничтожали? Только в 1918 году 3 тысячи священников расстреляли, а за десять лет – 10 тысяч, на Дону там сотнями под лед пускали», – добавил Путин.

Президент подчеркнул, что когда над этим начинаешь задумываться, возникают разные оценки данных фактов.

В качестве примера он привел письмо Ленина, в котором тот писал о необходимости расстрелять как можно больше представителей реакционной буржуазии и священнослужителей.

«Вы понимаете, такой подход как-то не очень вяжется с некоторыми нашими бывшими представлениями о самой сути власти», – заявил глава государства.

Путин добавил, что в Первой мировой войне «получилось, что мы проиграли проигравшей стране». Советская Россия в марте 1918 года заключила с Германией и ее союзниками сепаратный Брестский мир. В ноябре Германия капитулировала перед странами Антанты. «Через несколько месяцев (после Брестского мира) Германия капитулировала, а мы оказались проигравшими проигравшей стране. Уникальный случай в истории. Ради чего? Ради борьбы

за власть», – сказал президент.

30 ОКТ 2017, 17:56. Обновлено 30 окт 2017, 18:43

Путин считает, что прошлые политические репрессии не имеют оправдания

Глава государства также заявил, что четкость и однозначность оценки репрессий поможет не допустить их повторения

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что репрессии в прошлом страны невозможно ни оправдать, ни забыть.

Выступая на открытии мемориала жертвам политических репрессий, глава государства напомнил исторические факты, когда «каждому могли быть предъявлены надуманные и абсолютно абсурдные обвинения, миллионы людей объявлялись врагами народа, были расстреляны или покалечены, прошли через муки тюрем или лагерей и ссылок».

«Это страшное прошлое нельзя вычеркнуть из национальной памяти и тем более – невозможно ничем оправдать. Никакими высшими так называемыми благами народа», – подчеркнул Путин.

«В истории нашей страны как и в любой другой немало сложных, противоречивых этапов. О них спорят, их обсуждают, предлагают разные подходы для объяснения тех или

иных событий. Это естественный процесс познания истории и поиска истины, но когда речь идет о репрессиях, о гибели и страданиях миллионов людей, тут достаточно посетить Бутовский полигон, другие братские могилы жертв репрессий, которых немало в России, чтобы понять: никаких оправданий этим преступлениям быть не может», – заявил президент.

По его мнению, «политические репрессии стали трагедией для всего нашего народа, для всего общества, жестоким ударом по нашему народу, по его корням, культуре, самосознанию». «Последствия мы ощущаем до сих пор. Наш долг – не допустить забвения», – убежден глава государства.

Путин также заявил, что четкость и однозначность оценки репрессий поможет не допустить их повторения. «Сама память, четкость и однозначность позиции в отношении этих мрачных событий служит мощным предостережением к их повторению», – сказал он.

Президент напомнил, что идея создания памятника жертвам политических репрессий родилась еще в годы хрущевской оттепели, но такие мемориалы стали создаваться только в последние десятилетия. «Сегодня в столице мы открываем стену скорби – грандиозный, пронзительный монумент – и по смыслу и по своему воплощению. Он взывает к нашей совести, чувствам, к осмыслению периода репрессии, состраданию их жертв», – сказал Путин.

Он выразил благодарность авторам монумента, властям

Москвы, взявшим на себя основные расходы по финансированию возведения монумента, а также всем гражданам, которые внесли свои личные средства на создание памятника. «Он важен для нас, важен для всей страны сегодня и еще важнее – для молодых людей, для будущего России», – выразил уверенность президент.

Путин процитировал слова Натальи Солженицыной о периоде репрессий: «Знать, помнить, осудить и только потом простить». «Полностью присоединяясь к этим словам. Нам и нашим потомкам надо помнить о трагедии репрессий, о тех причинах, которые их породили. Но это не значит – призывать к сведению счетов. Нельзя снова подталкивать общество к опасной черте противостояния», – подчеркнул глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что сейчас «важно опираться на ценности доверия и стабильности». «Только на этой основе мы можем решить задачи, которые стоят перед обществом и страной, перед Россией, которая у нас одна», – резюмировал он.

Путин: последствия политических репрессий ощутимы до сих пор

30 октября 2017. Русская служба ВВС

Президент России Владимир Путин назвал полити-

ческие репрессии в бывшем Советском Союзе ударом по народу, который в России «ощущается до сих пор». По словам Путина, «никаких оправданий этим преступлениям быть не может». Он призвал не допустить забвения жертв, но не «сводить счеты».

Владимир Путин выступил в понедельник на церемонии открытия памятника жертвам политических репрессий в центре Москвы, на пересечении проспекта Академика Сахарова с Садовым кольцом.

«Для всех нас, для будущих поколений, что очень важно, важно знать и помнить об этом трагическом периоде нашей истории, когда жестоким преследованиям подвергались целые сословия, целые народы: рабочие и крестьяне, инженеры и военачальники, священники, государственные служащие, ученые и деятели культуры», – цитирует агентство РИА Новости выступление Путина.

«Политические репрессии стали трагедией для всего нашего народа, для всего общества, жестоким ударом по нашему народу, по его корням, культуре, самосознанию, последствия мы ощущаем до сих пор», – сказал российский президент.

«Нам и нашим потомкам надо помнить о трагедии репрессий, о тех причинах, которые их породили, но это не значит призывать к сведению счетов, нельзя снова подталкивать общество к опасной черте противостояния. Сейчас важно для всех нас опираться на ценности доверия и стабильности,» –

заявил Путин.

При Сталине и после него

Политические репрессии в СССР начались в период после октябрьского переворота 1917 года, продолжились в 1920-х годах рядом дел о политических преступлениях и с разной интенсивностью массово продолжались вплоть до смерти Иосифа Сталина в 1953 году.

Несмотря на разоблачение Хрущевым культа личности Сталина и реабилитацию многих невинно осужденных, в последующие десятилетия в СССР репрессии продолжились. Советская власть жестоко подавила десятки массовых стихийных протестов, а кампании по преследованию диссидентов не прекращались вплоть до начала горбачевской перестройки.

30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Дата была выбрана в память о голодовке, которую 30 октября 1974 года начали узники мордовских и пермских лагерей. Политзаключенные объявили ее в знак протеста против политических репрессий в СССР.

Сталинский удар: 80 лет назад в СССР начался Большой террор

Манифест футуризма: об ответственности интеллектуалов

Период 1937-1938 года, когда репрессии приобрели осо-

бенно массовый размах, называют «Большим террором».

Первые массовые расстрелы произошли на Левашовском полигоне под Ленинградом 2 августа 1937 года и на Бутовском полигоне в Подмосковье 8 августа. Только в двух этих местах были убиты соответственно 45 тысяч и 20 тысяч человек.

ОВ общей сложности с августа 1937-го по ноябрь 1938 года НКВД арестовал 1 548 366 человек, из которых 1 344 923 были осуждены, в том числе 681 692 расстреляны. Казнили в среднем по полторы тысячи человек в день.

Джон Иванов

Как Путин жестко раскритиковал Сталина и Ленина

13 декабря 2019

Президента России Путина сложно обвинить в предвзятости и нелюбви к СССР, ведь он выходец из структур КГБ и не раз с теплотой вспоминал о советском периоде. Несмотря на это, Владимир Путин неоднократно высказывался о лидерах советского государства первой половины 20-го века – Ленине и Сталине. Эти высказывания носили преимущественно негативный оттенок, особенно в адрес Сталина.

Что Путину не понравилось в правлении Сталина?

Основание для критики Сталина Путин называет его **жестокость к собственным гражданам**. Путин заявлял, что

Сталин, безусловно, был **тираном**, отметив, что многие называют его **преступником**.

Говоря о Второй Мировой войне Путин высказал мнение, что страна была к ней не готова, ведь **сталинский режим разрушал жизнь народа постоянными репрессиями**. Возможно, что Путин в том числе говорил и о чистке командного состава красной армии конца 1937-38 гг.

Особое внимание Путин уделил **осуждению репрессий и массовых расстрелов при Сталине**. Он признал что от репрессий пострадали миллионы советских людей, а способ принуждения заключённых к труду через ГУЛАГ – неприемлем. Жесткой критике удостоился и культ личности Сталина, Путин сравнил его с преступлением против своих людей.

Говоря о **массовых расстрелах** 20 тысяч человек в **Бутовском полигоне** под Москвой в 1937-1938 гг. и расстрелу 22 тысяч польских офицеров в Катыни в 1940 г. Путин заявил о **колоссальных масштабах трагедий**, ответственности **сталинизма** и недопустимости оправдания таких действий **тоталитарного сталинского режима**. Путин надеется, что ничего наподобие сталинизма в России больше никогда не будет.

Что Путину не понравилось в правлении Ленина?

Неоднократно Путин высказывался и о вожде мирового пролетариата – Ленине, назвав национальным предательством заключение большевиками **сепаратного Брестско-**

го мира в первую мировую войны.

Назвав Ленина «Стариком», Путин раскритиковал его за то, что тот заложил атомную бомбу под Россию и тысячелетнюю российскую государственность, а она потом рванула.

Большая пресс-конференция Путина 2019: вопрос № 10 про Ленина

Стенограмма большой пресс-конференции Путина 19 декабря 2019 года

В.Путин: Что касается фигуры Ленина в нашей истории, и какие, собственно говоря, у меня оценки в этой связи складываются. Он был скорее не государственный деятель, а революционер, на мой взгляд.

И когда я говорил о тысячелетней истории нашего государства – оно было строго централизованным, унитарным государством, как известно. Что предложил Владимир Ильич Ленин? Он предложил фактически даже не федерацию, а конфедерацию. По его решению этносы были привязаны к конкретным территориям и получили право выхода из состава Советского Союза.

Вот смотрите, строго централизованное государство – в конфедерацию фактически, с правом выхода и с привязкой этносов к территории. Но даже территории нарезаны были так, что они не всегда соответствовали и до сих пор соответствуют традиционным местам проживания тех или дру-

гих народов. Поэтому сразу возникли болевые точки, они и сейчас ещё между бывшими республиками Советского Союза имеют место быть, и даже внутри Российской Федерации. Две тысячи таких точек, стоит только отпустить на секунду – мало не покажется. Это первое.

Кстати, Сталин был против такой организации, он даже статью написал об автономизации. Но в конечном итоге принял ленинскую формулу. И что получилось? Вот сейчас мы с коллегой с Украины говорили по поводу наших отношений. Но в ходе создания Советского Союза исконно русские территории, которые к Украине вообще никогда не имели никакого отношения (всё Причерноморье, западные земли российские) были переданы Украине со странной формулировкой «для повышения процентного соотношения пролетариата на Украине», потому что Украина была сельская территория и считалось, что это мелкобуржуазные представители крестьянства, их раскулачивали подряд по всей стране. Это несколько странноватое решение. Но тем не менее оно состоялось. Это всё наследие государственного строительства Владимира Ильича Ленина, и теперь мы с этим разбираемся.

Но ведь что они сделали? Они связали будущее страны со своей собственной партией, и потом в Конституции кочевало это из Основного закона в другой. Это основная политическая сила. Как только партия затрещала, начала рассыпаться – за ней начала рассыпаться и страна. Вот что я имел в виду. Я придерживаюсь этой точки зрения и сейчас.

Причём, вы знаете, я длительное время проработал в разведке, которая была составной частью очень политизированной организации – КГБ СССР, и у меня были свои представления о наших вождях и так далее. Но сегодня, с позиции моего сегодняшнего опыта, я понимаю, что кроме идеологической составляющей есть ещё и геополитические. Они совершенно не учитывались при создании Советского Союза. Всё это было очень политизировано в своё время. Партия начала разваливаться, повторяю, и всё, и страна за ней посыпалась. Этого нельзя было допустить. Это ошибка. Абсолютная, кардинальная, фундаментальная ошибка при государственном строительстве.

Теперь что касается тела или не тела. Дело совершенно не в этом. И, на мой взгляд, не нужно трогать, во всяком случае, до тех пор, пока есть, а у нас есть очень много людей, которые с этим связывают свою собственную жизнь, свою судьбу, связывают с этим определённые достижения прошлого, советских лет. А Советский Союз, так или иначе, безусловно связан с вождём мирового пролетариата Владимиром Ильичом Лениным. Поэтому туда очень забираться – зачем? Надо просто идти вперёд, и всё, и развиваться активно.

Путин обвинил КПСС в развале СССР

текст: /Infox.ru

опубликовано 23 сен '16 13:59

точник: ИТАР-ТАСС

Президент России Владимир Путин на встрече с руководством политических партий в Кремле заявил, что СССР не надо было разваливать, можно было идти по пути демократических преобразований, но компартия продвигала разрушительные для страны идеи.

«Вы знаете, как я отношусь к развалу Советского Союза. Совсем необязательно было это делать. Можно было провести преобразования, в том числе демократического характера, без этого. Но хочу обратить ваше внимание на то, что во главе нашего бывшего Отечества, СССР, находилась коммунистическая партия. Не какая-то другая, которая продвигала идеи национализма, либо другие разрушительные идеи, которые губительны для любого государства», – цитирует Путина РИА «Новости».

Ранее, в 2005 году, в послании Федеральному собранию Путин уже отзывался о развале СССР как о «крупнейшей геополитической катастрофе века». По его словам, «для российского народа оно стало настоящей драмой».

Путин назвал виновника распада СССР

8 мая 2018

Советский Союз достиг больших успехов под руководством КПСС, при ней же он перестал существовать. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания

Госдумы.

Путин согласился, что достижения Компартии СССР неоспоримы. Среди них – освоение космического пространства, создание ядерного щита и многое другое.

«Геннадий Андреевич (Зюганов. – Прим. ред.) не упомянул только одного. Под чутким руководством Коммунистической партии Советский Союз прекратил свое существование. И здесь радоваться нечему», – сказал глава государства. Президент напомнил, что именно КПСС была правящей партией в Советском Союзе, а посему ее лидеры напрямую причастны к событиям 1991 года.

Владимира Путин неоднократно высказывался о своем сожалении по поводу развала СССР. Еще в 2005 году в послании Федеральному собранию он охарактеризовал это событие как крупнейшую геополитическую катастрофу ушедшего века.

В интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну глава государства пояснил, почему так считает. По его словам, за границей в одночасье оказались 25 миллионов русских. Граждане Советского Союза, подчеркнул он, жили в рамках одной страны, они была работа, жилье. «В стране возникли сначала признаки, а потом и полномасштабная гражданская война», – подчеркнул Путин.

Кроме того, отметил он, была разрушена система социальной защиты, здравоохранения, перестали функционировать целые отрасли экономики, многие люди оказались за чер-

той бедности, в плачевном состоянии оказались вооруженные силы. «Про это тоже нельзя забывать», – добавил глава государства.

О распаде СССР Владимир Путин упомянул и в июле прошлого года в ходе общения с одаренными детьми в лагере «Сириус». По словам Путина, развал Советского Союза является событием, оказавшим наибольшее влияние на его жизнь.

КОММУНИЗМ И БОГ

Зюганов высказался по поводу идеи упоминания бога в Конституции

Москва. 11 февраля 2020 года. INTERFAX.RU – КПРФ не возражает против упоминания бога в преамбуле Конституции России, заявил председатель ЦК Компартии Российской Федерации Геннадий Зюганов.

Отвечая на пресс-конференции в центральном офисе «Интерфакса» на вопрос о возможности упоминания бога в преамбуле Конституции, Зюганов заявил, что «это образ скорее, который соответствует нравственно-духовным основным ценностям нашей державы», и напомнил об упоминании бога в гимне РФ.

По мнению лидера КПРФ, библейские сюжеты стали частью коммунистической идеологии. «Я, когда изучал Биб-

лию, в послании апостола Павла (...) – там главный лозунг коммунизма «Кто не работает, тот и не ест», – рассказал Зюганов.

«Собственно говоря, мы во многом моральный кодекс строителя коммунизма списали из Библии. И кто бы там ни пытался говорить другое, то просто положите рядом эти документы», – заключил лидер КПРФ.

С инициативой о включении упоминания бога в Конституцию ранее выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Между тем против этого выступил глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников. В СПЧ⁴⁶⁵ сочли некорректным упоминать бога в Конституции.

Президент России Владимир Путин 15 января в послании Совету Федерации предложил поправки в Конституцию, которые, в частности, меняют механизм формирования правительства. 20 января Путин внес в Думу законопроект с поправками в Конституцию, он был принят в первом чтении 23 января.

⁴⁶⁵ СПЧ – Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (также используется название **Совет по правам человека**, сокр. СПЧ). Совет является консультативным органом.